ДЕНИС ДАВЫДОВ
СОЧИНЕНИЯ





Денис Давыдов.
Гравюра М. Дюбурга с картины А. Орловского (1814 г.)

ДЕНИС ДАВЫДОВ

сочинения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1962

Предисловие,
подготовка текста
и примечания
Вл. ОРЛОВА

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ ДЕНИСА ДАВЫДОВА
(1784—1839)

Я слушаю тебя — и сердцем молодею...
Пушкин — Денису Давыдову

1

Он был удивительно и всесторонне талантлив. Во всем, что бы ни делал. Талантливо дружил с людьми, талантливо воевал, талантливо писал стихи и прозу, талантливо прожил свою не такую уж легкую жизнь. Друзья и приятели,— а их было у него множество,— любили его, а еще больше любовались им. И в самом деле, наверное, нельзя было не залюбоваться этим живым, всегда деятельным, на редкость обаятельным, искрометно веселым и бесспорно умным человеком, неистощимым на выдумку, с острым словом на языке, с душой нараспашку. Всегда и везде — в чопорном светском салоне, на шумной дружеской пирушке, под бивачной палаткой, за письменным столом — он кипел и пенился или, говоря его языком, «горел, как свечка».

Таков был Денис Васильевич Давыдов — прославленный партизан 1812 года, заслуженный генерал, известный поэт, авторитетный теоретик военного дела и военно-исторический писатель, а вместе с тем состоятельный помещик, оборотистый хозяин, винокуренный заводчик, страстный охотник, беспечный говорун, дамский угодник.

И вот что наиболее замечательно: он сам, можно сказать, трудами своих рук, писательским пером и всем поведением создал свой живописный, неповторимо оригинальный образ, сделал его всеобщим достоянием и, наконец, сам поверил в свое создание. Литературная деятельность Дениса Васильевича в зрелую пору его жизни была посвящена, в сущности, одной задаче — как можно убедительнее и доказательнее

обосновать присвоенную им себе репутацию «одного из самых поэтических лиц русской армии».*

И нужно признать: он преуспел в этом деле. Сила его обаяния была так велика, что он буквально заразил ею свое поколение. Немногочисленные голоса недоброжелателей и скептиков были заглушены дружным хором искренних почитателей и красноречивых льстецов.

Сам великий Пушкин — первый тому пример. Между ними было пятнадцать лет разницы. Когда мальчик-лицеист горящими глазами провожал в Царском Селе полки, уходившие на Отечественную войну, «и в сень наук с досадой возвращался», Давыдов был уже офицером, окуренным боевым порохом. После войны они познакомились, потом, несмотря на разницу в годах, подружились, и Пушкин через всю жизнь пронес увлечение «Денисом-храбрецом», не переставал восхищаться им, запоминал каждое его острое слово (один из эпиграфов к «Пиковой даме» — давыдовская острота, застрявшая в памяти Пушкина) и даже всерьез утверждал, что не кому другому, а именно Давыдову был обязан тем, что не поддался в молодости влиянию модных поэтов (Жуковского и Батюшкова) и «почувствовал возможность быть оригинальным».

Конечно, это преувеличение. Но как характерно оно для отношения к Денису Давыдову его современников! Тот же Пушкин в самый тяжелый, закатный год своей жизни при одном воспоминании о Денисе отходил душой и молодел сердцем:

Тебе, певцу, тебе, герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.

Чуть ли не все русские поэты первой трети XIX века наперерыв воспевали Дениса Давыдова. Антология обращенных к нему стихотворных посланий и мадригалов — совершенно необходимое дополнение к собственным его сочинениям. ** В этих стихах живет и обрастает под-

---

* Призывая своих литературных друзей написать (после его смерти) «общими силами» фундаментальную его «некрологию», которая бы «осталась надолго», Давыдов признавался в письме к Н. М. Языкову: «Шутки в сторону и не в похвалу себе сказать, а я этого стою: не как воин и поэт исключительно, но как один из самых поэтических лиц русской армии. Непристойно о себе так говорить, но это правда...»

** См. эту антологию в книге: Денис Давыдов, Стихотворения, «Библиотека поэта» (Малая серия, изд. 3), Л. 1959.

робностями все тот же созданный «певцом-гусаром» автопортретный образ. Стихотворцы самых разных манер и темпераментов подхватили давыдовскую тему, окунулись в его поэтическую стихию, и даже на самом языке их многочисленных вариаций лежит явственный отпечаток резко самобытного, «распашного» давыдовского слога.

Анакреон под нарядным гусарским доломаном, пламенный боец и счастливый певец вина, любви и славы, забубенный весельчак и прямодушно-благородный человек, равно чуждый лести и низкопоклонства, спеси и чванства, заклятый враг надменных дураков, не бьющий поклонов «барской половине», народный герой, крещенный на боевые подвиги самим Суворовым, знаменитый усач с декоративным белым локоном на лбу, чьи изображения «на ухарском коне, в косматой бурке» украшают и богатые палаты, и скромные хижины, и небезызвестны в чужих странах (портрет Давыдова висел в кабинете Вальтера Скотта),— таковы некоторые (далеко не все!) грани яркого, играющего всеми красками образа, прочно вошедшего в сознание людей давыдовского поколения.

Время пощадило этот образ. Кто не помнит очаровательного гусара Ваську Денисова в «Войне и мире»! Как он ругается на мосту, как совершает дерзкий «налет» на обоз с провиантом, как танцует мазурку с Наташей Ростовой, как пишет ей письмо... Но Толстой смотрел на своего героя уже издали и глазами художника-реалиста. В парадный романтический портрет Анакреона под доломаном он внес новые черты: «...маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами. На нем был расстегнутый ментик, спущенные, в складках, широкие чикчиры, и на затылке была надета смятая гусарская шапочка».*

Образ ничего не потерял в обаянии, но кое-что приобрел в достоверности. Да, Анакреон под доломаном был очень невелик ростом, и нос у него был чрезмерно коротковат, да и в жизни он вовсе не только «пил, любил да веселился», ибо служебный путь его не был усеян розами, а, напротив, сопровождался тяжелыми обидами, досадами и даже «гонениями», как говаривал сам Денис Васильевич.

«Моя жизнь — борьба». Эти слова Вольтера поставил Денис Давыдов эпиграфом к своим военным запискам. Эпиграф содержит в себе двойной смысл. Один — открытый: борьба на полях сражений, борьба за честь и независимость родины. Другой — прикровенный: борьба, которую пришлось вести в глубоких недрах военного департамента с «людьми сухого рассудка» — выскочками, карьеристами, бюрократами, просто злобными ничтожествами, со всеми теми, кто дружно пресло-

---

* Разумеется, простодушный и простоватый Васька Денисов не есть зеркальное отражение Д. В. Давыдова, каким тот был в действительности. Речь идет не о реальном человеке, но об его литературном образе.

довал знаменитого партизана,— преследовал за все, что в нем их раздражало: за народную славу, за беспощадный язык, за презрение к фрунтомании, к «изящной ремешковой службе», за вольный, непокорный нрав, за все, что звучало дерзким вызовом мертвому аракчеевскому миру субординации, нормы и ранжира.

Борьба и в том и в другом смысле — вот главный сюжет давыдовской поэзии и прозы. На первом плане возникают широкие, эпические картины эпохи наполеоновских войн — дивного, величавого века, когда весь земной шар дрожал от «громов победных». Но за этими картинами явственно проступает богатый лирический «подтекст» — исполненный многозначительных намеков патетический рассказ о мечтах, надеждах, подвигах и обидах истинного героя этой гомерической эпохи, чью судьбу несправедливо «попрали сильные». Обе темы постоянно сталкиваются, переплетаются, оттеняют одна другую,— и их взаимодействие и контрастность вносят в рассказанную Денисом Давыдовым историю его жизни то человеческое содержание и драматическое напряжение, без которых история эта могла бы превратиться в олеографическую картинку.

2

Денис Давыдов отличался независимостью и твердостью своих взглядов и умел отстаивать их. Но это обстоятельство не дает оснований модернизировать его взгляды, преувеличивать меру его свободомыслия. Такая оговорка тем более необходима, что в последнее время наблюдается тенденция подгримировать Давыдова под политического бунтаря, породнить его с декабристами.

Это не отвечает действительному положению вещей. К дворянским революционерам Денис Давыдов не принадлежал. Он был типичным фрондером — то есть оппозиционером, бунтарем внутри своего класса. Он не посягал на коренные устои дворянской монархии, но допускал порой достаточно острую критику кое в чем не устраивавшего его государственного и общественного уклада.

Фрондерский закваc Денис Васильевич всосал, как говорится, с молоком матери. Он вырос в очень своеобразной, почти кастовой среде военных профессионалов, снискавших почет и прочное общественное положение в «Екатеринин век», под знаменами Румянцева и Суворова. Громкие победы русского оружия во второй половине XVIII столетия — вот что в первую голову сформировало идеологию и психологию людей этого круга. Екатерина, не забывавшая ни того, что случалось в России с царями, ни драматических обстоятельств собственного воцарения, побаивалась своих «орлов», усердно «ласкала» и задаривала их, и они привыкли считать себя солью земли, украшением дворянства, опорой

государства. Типичным представителем этого круга был отец Дениса Давыдова — родовитый и довольно состоятельный помещик и бригадир, служивший с Суворовым. Женат он был на дочери видного екатерининского генерала. В семье господствовал «суворовский дух».

В 1796 году благополучию и душевному спокойствию людей этого круга был нанесен сильнейший удар. Воцарение Павла мгновенно изменило в России всю обстановку, и наиболее болезненно перемены сказались в военно-профессиональной среде. Деспот и самодур, ненавидевший мать и все, что было сделано при ней, Павел первым делом обрушился на армию, стремясь искоренить в ней «суворовский дух». Старые заслуженные генералы и офицеры увольнялись или сами вынуждены были подать в отставку.

В это время и образовалась военно-дворянская фронда, пылавшая ненавистью к «курносому злодею», который самовластно посягнул на казавшиеся незыблемыми дворянские вольности. Фронда эта была явлением широким и достаточно аморфным; бо́льшую часть ее составляли те, чье негодование не шло дальше протеста против стеснительных форм быта, запрета на круглые шляпы или фасон прически и т. п. Но находились люди, думавшие о гораздо более серьезных вещах.

В 1798 году по доносу была раскрыта противозаконная деятельность довольно многочисленного офицерского кружка, образовавшегося в Смоленске. Следствие выяснило, что участники кружка изучали французских просветителей и атеистов, обсуждали вопрос о перемене политического режима в стране (вплоть до цареубийства), собирали и распространяли стихи «возмутительного содержания».

Для нас в данном случае наиболее существенно, что во главе смоленского кружка стояли два видных офицера суворовской школы — единоутробные братья А. М. Каховский и столь известный впоследствии А. П. Ермолов. Оба они были родственно связаны с Денисом Давыдовым (двоюродные братья). Более того: отец Дениса — бригадир Василий Денисович — тоже оказался прикосновенным к делу «смоленских заговорщиков», и это обстоятельство, по-видимому в первую очередь, определило его дальнейшую несчастливую судьбу. В том же 1798 году он был исключен из военной службы (внешним поводом послужили какие-то беспорядки, обнаруженные в его полку), причем с конфискацией всего имения. Руководителей и наиболее активных участников смоленского кружка постигли серьезные репрессии: Каховский был посажен в крепость, Ермолов — после двукратного ареста — сослан в Кострому, прочие были тоже разосланы по крепостям и поселениям (с воцарением Александра все они вернулись).

Сам Денис Давыдов по молодости лет к смоленскому кружку прямого отношения не имел, но вся эта нашумевшая в свое время история

не могла, естественно, не оставить глубокого следа в его сознании и памяти. Служебная катастрофа, постигшая отца, повергла семью в нищету и больно ударила по ее самолюбию. Юный Денис, которому предстояло обрести место под солнцем, оказался в тяжелом положении и ощущал себя тоже безвинной жертвой «тирана». Здесь истоки его страстной ненависти к аракчеевщине и «пруссачеству», ко всему, что насиловало и принижало человека.

Свою кровную связь с попавшими в опалу «суворовцами» Денис Давыдов чувствовал глубоко и гордился ею. Первым его покровителем и руководителем оказался все тот же А. М. Каховский, которого в автобиографии Денис именует «отличным человеком». Именно к нему поспешил он, когда пришло время определяться на службу. Это произошло в начале 1801 года — уже после 12 марта (убийство Павла), когда молодые дворяне, окрыленные новыми надеждами, дружно потянулись в столицу.

Переворот 12 марта был совершен по инициативе крупнопоместного дворянства, чьи интересы вошли в резкое противоречие с политикой Павла. Непосредственными исполнителями были офицеры гвардейских полков — и опять-таки очень многие из них в самом непродолжительном времени стали ближайшими приятелями Давыдова. Полунищий юноша без достаточного образования и сколько-нибудь прочных связей в «свете», он сумел занять среди привилегированной гвардейской молодежи заметное положение и даже выдвинулся в качестве присяжного острослова и сатирического стихотворца.

Устранение Павла, как известно, было встречено в дворянской среде бурным ликованием. Но вот что говорит наблюдательный современник (Н. Греч): «Нельзя сказать, чтоб и тогда были довольны настоящим порядком дел... Порицания проявлялись в рукописных стихотворениях. Самое сильное из этих стихотворений было «Орлица, Турухтан и Тетерев», написанное не помню кем». Действительно, военно-дворянская фронда и в условиях нового царствования не склонила головы и не замкнула уста. Александр, торжественно объявивший, что будет править по заветам «возлюбленной бабки», на деле оказался заядлым формалистом, помешанным все на той же «прусской системе», ревнителем плацпарадной муштры и строжайшей дисциплины. Суворовские традиции по-прежнему оставались в забвении, любимые армией ученики Суворова — такие, как Кутузов, Багратион, Милорадович,— не пользовались расположением царя.

В такой обстановке Денис Давыдов, не без труда ставший (осенью 1801 года) эстандарт-юнкером блестящего Кавалергардского полка, дал волю своей живости и острословию. Он пустился писать сатиры, иносказательные басни и эпиграммы самого вольного содержания, задевая военное начальство, светскую и придворную знать и даже самого царя.

Нужно думать, из того, что было им в это время сочинено, дошло до нас не все. Но и то, что известно — упомянутая Гречем притча «Орлица, Турухтан и Тетерев», басни «Голова и Ноги» и «Река и Зеркало», сатира «Сон»,— дает достаточно ясное представление о характере и направлении раннего давыдовского творчества.

Опыт только что минувших событий не прошел для Давыдова даром. Удушение тирана, совершенное руками нескольких смелых генералов и офицеров, вселяло уверенность в том, что и при иных обстоятельствах они могут оказаться вершителями судеб империи. Гвардейский сатирик недвусмысленно намекал в своих стихах, что царское «величество» можно при случае и «об камень расшибить», и — в противоречие с утешительными россказнями «о добром царе» — высказывался в том смысле, что лучше всего «не выбирать в цари ни злых, ни добрых петухов».

Стихи Давыдова пошли по рукам и произвели в обществе известное впечатление. Политическая острота его басен была столь велика, что они еще долго — вплоть до тридцатых годов — переписывались в заветные тетрадки, заучивались наизусть и служили целям революционной агитации. Участники декабристских кружков называли их в числе наиболее популярных «вольных» сочинений, «дышащих свободою» и «способствовавших развитию либеральных понятий».

Сатирические упражнения кавалергардского офицера, конечно, вскоре стали известны и высшему начальству — и автору сильно «мыли голову». Особенно законопреступной должна была показаться притча об Орлице, Турухтане и Тетереве, где Александр I без обиняков назван «глухой тварью» (он действительно был тугоухим), «бестолковым разиней», «скупягой из скупых», отдавшим царство на произвол «любимцев» — людей с «гнусной прихотью», которые «невинность гнут в дугу, срамцов обогащают».

Давыдов подвергся довольно суровому (по тем временам показного «либерализма») наказанию: после соответствующих внушений в сентябре 1804 года его удалили из гвардии, из столицы и послали служить в глухое захолустье, в армейский гусарский полк. И хотя вскоре (в середине 1806 года), благодаря хлопотам влиятельных друзей, Давыдова вернули в гвардию, военная карьера его была в самом начале подорвана. С тех пор к нему плотно пристала репутация человека дерзкого и неблагонадежного, и таковым он навсегда остался в мнении высшего начальства. В Отечественную войну Давыдов очень выдвинулся, но официальное признание его заслуг было совершенно недостаточным. В мирной обстановке он и вовсе не пришелся ко двору, и при первом удобном случае его отстранили от службы. В 1822 году ему было дважды отказано в просьбе направить его служить на Кавказскую линию.

и А. П. Ермолов (хлопотавший за Давыдова) утверждал, что причина отказа — «впечатление, сделанное им в его молодости».*

Между тем встряска, которую пережил Давыдов, научила его осторожности, и с открытым политическим вольномыслием, проявившимся в его ранних стихах, он простился. С дворянскими революционерами он не нашел, да и не искал общего языка.

Вот как высказался сам Давыдов (в откровенном, дружеском письме) насчет политических проектов, рождавшихся в раннем декабристском кружке М. Ф. Орлова и М. А. Дмитриева-Мамонова: «Что мне до конституционных прений!.. Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу; я ему говорил и говорю, что он болтовнею своею воздвигает только преграды к службе своей, которою он мог быть истинно полезен отечеству. Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть самовластие в России. Этот домовой долго еще будет давить ее, тем свободнее, что, расслабясь ночною грезою, она сама не хочет шевелиться, не только привстать разом... Я представляю себе свободное правление, как крепость у моря, которую нельзя взять блокадою, приступом — много стоит, смотри Францию. Но рано или поздно поведем осаду и возьмем с осадою... войдем в крепость и раздробим монумент Аракчеева... Но Орлов об осаде и знать не хочет; он идет к крепости по чистому месту, думая, что за ним вся Россия двигается, а выходит, что он да бешеный Мамонов, как Ахилл и Патрокл (которые вдвоем хотели взять Трою), предприняли приступ». (Письмо к П. Д. Киселеву от 15 ноября 1819 года.)

О чем говорит эта тирада? Да, Давыдову тоже не нравится «самовластие» (в том смысле, какой придавался этому слову в XVIII — начале XIX века) — то есть произвол «самовластительного злодея». Но какова же, однако, его позитивная программа, каким представляется ему «свободное правление»? Символический образ его — раздробление монумента Аракчеева, то есть ликвидация все той же стеснительной, наступающей на горло тупой полицейской силы. Но если взять все, что мы знаем о Давыдове, решительно ни из чего не видно, что он сомневался в абсолютизме как исторически сложившейся в России форме государственной власти. Он пытался обосновать свою политическую веру с точки зрения военного человека, призванного оберегать величие и могущество родины: «Народ конституционный есть человек отставной в шлафроке, на огороде, за жирным обедом, на мягкой постели, в спорах бостона. Народ под деспотизмом — воин в латах и с обнаженным

* При Николае I Давыдов в результате настойчивых и довольно унизительных для него ходатайств был допущен к участию в персидской (1826) и польской (1831) кампаниях, после чего окончательно «распоясался», выйдя в отставку с чином генерал-лейтенанта.

мечом, живущий на счет того, кто приготовил и огород, и обед, и постель; он войдет в горницу бостонистов, задует свечи и заберет в карман спорные деньги. Это жребий России, сего огромного и неустрашимого бойца, который в шлафроке и заврется, и разжиреет, и обрюзгнет, а в доспехах умрет молодцом». Заметим, что это сказано тоже в дружеском, доверительном письме (от 2 июня 1818 года) — к П. А. Вяземскому, настроенному в то время весьма радикально.

Во всяком случае, как видим, Денис Давыдов совершенно отчетливо и недвусмысленно выразил свое скептическое отношение к политическим планам декабристов, свое неверие в тактику революционного «приступа».

Другое дело, что он был человеком честным, благородным и просвещенным и что отказ от революционной тактики уживался у него с искренним осуждением вопиющих беззаконий крепостнического «правопорядка». С негодованием и презрением говорит он о «пресмыкающихся», для которых слова «отечество», «общественная польза» и т. п.— пустой звук, которые ждут от власти лишь «взгляда, кусок эмали или несколько тысяч белых негров». По службе в Южной армии в 1816—1819 годах Давыдов общался со многими активными участниками тайных обществ. Он до некоторой степени втянулся в круг их практических интересов, в частности — увлекся ланкастерской системой взаимного обучения, которую декабристы насаждали в армии, умело используя ее в своих агитационно-пропагандистских целях. С уважением приглядываясь и прислушиваясь к М. Ф. Орлову, он хочет стать «с веком наравне» и тоже погружается в изучение модной политической литературы — Бенжамена Констана, Бентама, Сея.

Однако он решительно отказался от вступления в тайное общество,— хотя мы знаем, как легко и бездумно вступали в него многие, оказавшиеся впоследствии случайными и нестойкими попутчиками декабристов. Несмотря на перенесенные обиды и «гонения», постоянно наталкиваясь на недоверие высшей власти, он верой и правдой служил самодержавию. И сама критика военной системы царизма, на которую не скупился Давыдов, вызвана была именно тем, что негодная эта система омрачала былую славу русского оружия, унижала и позорила русскую армию, истребляла память о ее великих победах и героических характерах.

Чем дальше и глубже шла русская общественная жизнь, тем больше замыкался Денис Давыдов в своем преклонении перед «славной» стариной и неприятии «жалкой» современности. Все, что окрыляло передовую общественность тридцатых годов, встречало у стареющего Давыдова самый резкий протест. Всякое проявление смелой, независимой мысли он уже рассматривал как злонамеренное покушение на славу России. Его бурный, огненный патриотизм постепенно вырож-

дался в националистическую непримиримость ко всему «чужому». Это сказалось в его оценке польских событий 1831 года, в его публицистической прозе и, конечно, в самом известном его произведении — в «Современной песне», которою завершил он свое поэтическое творчество.

Этот злой стихотворный памфлет лишний раз доказывает, что сила настоящего искусства взрывает изнутри даже ложную, фальшивую идею, влиянию которой поддался художник. Сердитая воркотня упрямого старовера против «новых людей» и «новых понятий» давным-давно утратила всякий смысл, а блеск и соль неотразимой сатиры восхищают и доныне. Давыдов имел в виду разоблачить тогдашних либералов со своей реакционно-националистической позиции, но временна́я подоплека испарилась, а обобщенная характеристика барина-крепостника, перерядившегося в либерала,— осталась и в течение долгого времени активно действовала в литературе, потому что Давыдов-художник проник в самую суть либерализма и пригвоздил его отточенным как штык стихом и убийственными рифмами, удивительными по своему смысловому наполнению:

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.

Тот огорчительный факт, что Денис Давыдов не принадлежал к лагерю дворянских революционеров своего времени и более того — к концу жизни поддался реакционно-националистическим настроениям, не умаляет ни обаяния его личности, ни его значения как выдающегося деятеля русской военной истории, ни роли, которую сыграл он в развитии нашей поэзии. В том, что написано Давыдовым, пробиваются подчас неверные ноты. Но их заглушает звонкая, полногласная, на редкость энергичная, призывная и заразительная музыка великолепного таланта, который и сам нисколько не постарел за целых полтора века, и помогает нам, людям совсем другой эпохи, «молодеть сердцем»

3

Вершина жизни и деятельности Дениса Васильевича Давыдова — незапамятный 1812 год. Он сам называл себя «человеком, рожденным единственно для рокового 1812 года». Действительно, в обстановке эпической всенародной борьбы, всеобщего патриотического воодушевления и нравственного подъема Давыдов раскрылся во всей полноте — как личность, как характер, как военный деятель. В героике 1812 года он обрел также содержание и пафос своего литературного творчества.

В военном деле Давыдов был новатором, смело ломавшим рутину. Ко времени Отечественной войны он уже обладал достаточно богатым практическим опытом боевой службы, накопленным в сражениях с французами, шведами и турками в Восточной Пруссии, Финляндии и на Балканах, в 1806—1810 годах. Ему повезло: он служил под начальством таких выдающихся полководцев суворовской школы, как Багратион и Кульнев.

Военные теоретики прусской выучки, задававшие тон в русской армии, высокомерные и бездарные советники Александра I, вроде печально известного Пфуля, сочиняли громоздкие, математически расчисленные диспозиции, согласно которым «первая колонна марширует сюда, вторая колонна — туда...» — и с треском проигрывали сражение за сражением. Кутузов, Багратион, Милорадович, Раевский, Дохтуров, Ермолов и другие генералы «русской партии» до глубины души презирали штабных «методиков» и весь их батальный кордебалет и выдвигали, в противовес им, совершенно иные принципы воинского дела, которые с полным основанием можно назвать творческими: живую инициативу, находчивость, чувство ответственности, тактику ближнего боя, личную отвагу. Громадное значение в этом кругу придавалось правильно налаженным отношениям между командиром и его подчиненными. Суворов привил своим ученикам любовь и уважение к солдату, повседневную заботу об его нуждах. Как глубоко усвоили передовые офицеры эти суворовские уроки видно, между прочим, из воспоминаний Давыдова о благородном Кульневе.

Более пяти лет Давыдов почти неотлучно находился при любимце русской армии Багратионе. Служить с ним было особенно почетно, но и особенно трудно. Не щадивший в бою собственной жизни, Багратион требовал от своих адъютантов и ординарцев полного презрения к опасности, безотказной исполнительности, привычки самому отвечать за себя. В «поучительной школе» Багратиона и легендарно храброго Кульнева Давыдов овладел искусством авангардного и арьергардного боя, прошел курс «аванпостной службы».

Все это очень пригодилось ему в 1812 году. В частности, можно предположить, что, обдумывая свой план партизанских действий, он воспользовался опытом «малой войны», развернувшейся в 1808 году в Финляндии, где все, начиная с природных условий театра военных действий и кончая пассивным (а подчас и активным) сопротивлением местного населения, вынуждало на ходу изобретать новую тактику, не предусмотренную никакими правилами «методиков».

Бесспорно также, что Давыдов разделял общее в ту пору восхищение испанскими «гверильясами» 1809 года — народными партизанами, перед которыми спасовали многоопытные маршалы Наполеона. Впоследствии, во вступительной части своего «Опыта теории партизанских действий»,

Давыдов писал о «гверильясах»: «Их подвиги будут всегда служить примером для начальника партии; он увидит, как должно пользоваться местностью той земли, на которой ведется брань, и гневом народа, восставшего для мщения».

В том же «Опыте» Давыдов вспоминал и пример Суворова, в молодости совершавшего «партизанские подвиги» и «почерпнувшего в сем роде войны быстроту в действиях, ловкость в изворотах, внезапность в нападениях, единство в натиске»,— словом, все, что составляло суть его полководческого искусства.

Короче говоря, Давыдов был подготовлен к тому, чтобы в 1812 году выступить инициатором партизанских «поисков». Но главное, что подсказало Давыдову его «план», это, конечно, сразу же выявившийся народный характер войны. Он быстро и глубоко постиг эту истину — и в этом его бесспорная и неотъемлемая заслуга. В черновой рукописи «Дневника партизанских действий» есть одно замечательное место: говоря о патриотическом подъеме крестьянства, Давыдов охарактеризовал его как «поэзию подвига, от которого нравственная сила рабов вознеслась до героизма свободного народа».

Давыдов понял, что эта война — нечто совершенно иное, нежели все прошедшие до нее боевые кампании. Там одетый в мундир русский крестьянин сражался и умирал на чужой земле, во имя каких-то неясных ему политических расчетов. Здесь — впервые за двести лет (если не считать проникновения шведов на Украину при Петре) — он увидел неприятеля на своей родной земле, ощутил смертельную угрозу своей жизни, вере, национальной независимости. Воля народа к борьбе и победе вспыхнула в 1812 году с небывалой силой, воодушевила всех русских передовых людей, поразила и заставила крепко призадуматься крепостников, повергла в неприятное изумление Наполеона и его маршалов. Высоко поднявшаяся волна народного самосознания обусловила характер войны и определила ее исход.

Эту сторону дела очень хорошо поняли декабристы. «Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то народ русский впервые ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной»,— говорил А. Бестужев. «Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении»,— утверждал И. Якушкин.

Несчастливое начало войны, сдача Смоленска, дальнейшее отступление русских войск, насилия и мародерство французов — все это еще более ожесточило и воодушевило народ и армию. «Между солдатами не было уже бессмысленных орудий,— говорит тот же Якушкин,— каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле». Крестьяне целыми деревнями шли в ополчение. После падения Смоленска стихийно

возникла и стала все шире разворачиваться народная партизанская война. «Дубина народной войны поднялась со всею своею грозной и величественной силой» (Лев Толстой).

Денис Давыдов еще задолго до вторжения «Великой армии» (которого все ждали) отпросился у Багратиона из адъютантов во фронт и был зачислен (в апреле) в Ахтырский гусарский полк, с которым и отступал с боями до Колоцкого монастыря — в Гжатском уезде Смоленской губернии. Здесь 21 августа, за пять дней до Бородинской битвы, он красноречиво изложил Багратиону свой план партизанских действий и заручился его поддержкой. Багратион выхлопотал у Кутузова (только что назначенного главнокомандующим) позволение сформировать для Давыдова «на пробу» небольшой конный отряд — из пятидесяти гусаров и восьмидесяти казаков. С этой малой силой Давыдов и направился в тыл французской армии. Обо всем дальнейшем живо и увлекательно рассказано в «Дневнике партизанских действий».

Конечно, не один Давыдов в русской армии думал о выгодах партизанских действий. Бесспорно, и сам Кутузов предусматривал «малую войну» в своих далеко идущих стратегических планах. Но обстоятельства сложились так, что именно Денису Давыдову выпало на долю положить почин армейскому партизанскому движению, развернувшемуся параллельно, а зачастую и сливавшемуся с народной партизанской войной.

В основе плана, предложенного Давыдовым вниманию начальства, как раз и лежала глубокая и верная мысль о перерастании «войсковой войны» в «войну народную». Давыдов особенно настаивал на том, что «обратное появление» даже небольшого отряда русских войск на территории, захваченной неприятелем, «ободрит» крестьян и позволит создать из них серьезную боевую силу.

В этом Давыдов видел важнейшую свою задачу. Он широко пользовался помощью крестьян и дворовых, распространял среди них воззвания к поголовному ополчению, обучал их начаткам воинского дела, снабжал оружием и боеприпасами, взятыми у неприятеля. Тонкое чутье подсказывало Давыдову, как нужно держать себя в подобных условиях. Здесь все было важно, вплоть до внешнего облика. Дабы не смущать народ гусарской формой, которую можно было спутать с французской, он отпустил бороду, надел мужицкий армяк и на грудь повесил икону Николая Чудотворца. Таким впоследствии его рисовали живописцы и воспевали поэты:

...Клянусь, Давыдов благородный,
Я в том отчизною свободной,
Твоею лирой боевой,
И в славный год войны народной
В народе славной бородой!

Почин Давыдова вполне оправдал себя, и после оставления Москвы по приказу Кутузова было сформировано еще несколько армейских партизанских отрядов. Наиболее известные из них (Фигнера, Сеславина, Дорохова, Кудашева, Орлова-Денисова, Вадбольского) сыграли заметную роль в дальнейшем ходе войны. Однако военные бюрократы и в этом случае остались верны себе: они смотрели на партизанских начальников косо, как на людей несерьезных, вышедших из-под контроля и дерзко нарушающих все узаконенные «правила» ведения войны. «Методики», окружавшие Александра I, старались всячески преуменьшить успехи партизанских отрядов, брали их под сомнение, подвергали обидным насмешкам.

Была еще одна, более глубокая причина, благодаря которой партизанское движение — и общенародное и армейское — старались поставить в определенные рамки и взять под строгий надзор. Правительство вынуждено было пойти на вооружение народа, но сделало это скрепя сердце, со страхом. Дать крепостному рабу оружие в руки — значило, по мнению столпов режима, искушать судьбу, ибо это могло разбудить нового Пугачева. Подъем национального самосознания только укреплял крепостников в опасении, что крестьянская масса, идя на безусловные жертвы во имя спасения родины, ждет за них в будущем воздаяния, а таковым могла быть только ликвидация или хотя бы заметное ослабление крепостного гнета. Поэтому патриотическое воодушевление народа сразу же стали регулировать и умерять. Один из лидеров крепостнической элиты московский главнокомандующий Растопчин очень ясно выразил ее опасения, заявив: «Мы еще не знаем, как повернется русский народ». А будущий декабрист Федор Глинка, со своей стороны, заметил меланхолически: «Война народная слишком нова для нас. Кажется, еще боятся развязать руки».

При таком отношении правящих кругов к вооружению народа даже и армейские партизанские отряды, начальники которых активно содействовали развязыванию народной войны, рассматривались наверху как затея довольно опасная и, в конечном счете, может быть, не оправдывающая себя. В дальнейшем эта настороженность сказалась на отношении к партизанам законопослушных официальных историков Отечественной войны, у которых деятельность Давыдова, Фигнера, Сеславина и других «героев-удальцов» не нашла должного признания.

Это, в свою очередь, обижало и раздражало партизан. Все они были людьми с обостренным самолюбием и, как правило, впадали в хвастливый тон и преувеличение своей роли. Так, Сеславин, теряя чувство меры, доказывал, будто он явился чуть ли не главным виновником победы над Наполеоном.

Не совсем избежал этого греха и Денис Давыдов, утверждая, например, что партизанские действия в 1812 году «едва ли не играли

первую роль во второй эпохе всей войны» (то есть от вступления французов в Москву и до изгнания их за Неман). Впрочем, он был все же гораздо трезвее и сдержаннее того же Сеславина и даже в полемическом задоре сохранял меру: признавал, что летучим партизанским отрядам было не под силу вступать в позиционный бой со сколько-нибудь крупными соединениями противника.

В записках Давыдова об Отечественной войне можно обнаружить и другие уязвимые места. Так, он недооценивал стратегический план Кутузова, поставившего целью истребить врага и освободить Россию ценой малой крови, всемерно щадя собственные силы. Далее: коренная принадлежность Давыдова к «русской партии», к Багратионовско-Ермоловскому кругу, сказалась в пристрастном отношении к Барклаю (впрочем, Давыдов отдавал должное личным качествам этого «несчастливого вождя»), в безудержной идеализации Ермолова, в не совсем верном освещении своего конфликта с «немцем» Винценгероде (очерк «Занятие Дрездена»).

Однако отдельные ошибки и преувеличения, допущенные Давыдовым, не колеблют значения его записок как первоклассного источника для русской военной истории начала XIX века. Остается пожалеть, что далеко не все из громадного запаса наблюдений и воспоминаний Давыдова нашло отражение в его записках. О многом он не успел написать, о другом не решался говорить в тогдашних цензурных условиях (почти все очерки Давыдова пострадали от цензуры), кое в чем был связан тем обстоятельством, что люди, которых он касался, были еще живы.

При всем том записки Давыдова отличаются благородной независимостью тона. Он писал в сознании своей правоты и неотъемлемого права свободно судить о людях и событиях — как человек, который собственной рукой навсегда «врубил свое имя» в 1812 год. Отсюда — резкая критико-полемическая направленность его записок.

Рисуя широкую картину минувшей героической эпохи, Давыдов не скрывает ее теневых сторон. На все у него есть своя критическая точка зрения. Он говорит о бездарности, невежестве, самодурстве, лихоимстве отдельных военачальников, которым самодержавие вверяло судьбу армии, раскрывает кулисы войны, за которыми подчас вершились неприглядные делишки — местничество, неразборчивое в средствах соперничество, всякие кляузы и подвохи.

В высшей степени характерна независимость позиции Давыдова-мемуариста в отношении Александра I. В галерее героев 1812 года для царя вообще не нашлось места,— и это носило тем более вызывающий характер, что Давыдов не скупился на восторженные похвалы по адресу «первого солдата мира» Наполеона. Он не терпел, когда льстивые официальные историки (которых он ядовито именовал «баснописцами») пускались в разглагольствования о мнимых военных талантах Алек-

сандра. Прочитав описание кампании 1814 года, составленное верноподданным Михайловским-Данилевским, Давыдов писал Пушкину: «...неужели нельзя славить русское войско без порицания Наполеона?.. А все эти выходки Данилевского для чего? Для того, чтобы поравнять в военном отношении Наполеона с Александром: будучи не в состоянии возвысить последнего до первого, он решился унизить первого до последнего».

Отношение Давыдова к поверженному Наполеону — то же, что у Пушкина и других передовых русских людей двадцатых годов, несколько позже — у Лермонтова. Для всех них это жестокий и сильный враг, оставивший по себе «кровавую память», но и «великий человек», гигант, феномен, над тенью которого вместе и отяготела «ненависть народов» и горит «луч бессмертия». Поэтому

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!

Эта нота уважения к павшему гиганту громко звучит в записках Давыдова. А его гневная отповедь новой Франции, «изменившей» Наполеону *, предвосхищает по тону написанное вскоре лермонтовское «Последнее новоселье».

Восхищение Наполеоном не помешало Давыдову вступить с ним в спор — как с историком войны 1812 года — и разоблачить пущенную им в ход версию о морозах как главной причине гибели «Великой армии». Версия эта была дружно поддержана во французской мемуарно-исторической литературе, а впоследствии проникла и в русскую историографию. Давыдову принадлежит заслуга первого решительного и доказательного опровержения этой легенды (см. очерк «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?»).

Наконец, военные записки Дениса Давыдова, как и вся остальная его проза, замечательны как собственно литературный памятник, который находится в тесном соотношении и со стихотворным его творчеством, воспринимаясь как некая целостная художественная структура. Это уже особая тема.

4

Читая стихи и прозу Дениса Давыдова, мы попадаем в совершенно особый, очень ясно определенный в своем содержании мир человеческих чувств, мыслей, инстинктов, стремлений и поступков. Мир этот отли-

---

* См. Денис Давыдов, Военные записки, М. 1940, стр. 436—437.

чается своим внутренним единством, цельностью. Он держится, как на стержне, на тщательно и подробно выписанном образе литературного героя, исполненном удивительной жизненной конкретности.

Это отнюдь не характерный для литературы начала XIX века условно-романтический (либо «чувствительный», либо «мятежный») персонаж с готовым мироощущением, стандартными темами душевных переживаний, заданным поведением, но действительно выхваченный прямо из жизни и находящийся в постоянном движении человек со своим индивидуальным характером, с богатой биографией, с неординарной и не лишенной драматизма судьбой, даже (имея в виду «Некоторые черты из жизни...») — с именем и фамилией. Короче говоря, это сам Денис Васильевич Давыдов собственной персоной, во всем разнообразии своих жизненно достоверных и литературно воссозданных портретных черт.

В этой стихотворной и прозаической автобиографии есть все: война, бранные подвиги и бивачные досуги военного человека, кутежи и любовь, радости и обиды, дружба и вражда, лирика и сатира, мелочи быта, вроде полученного в подарок чекменя, и всемирно-исторические события, овеянные «вековечной славой».

Наиболее показателен в этом отношении сочиненный Давыдовым красноречивый éloge — похвальное слово о себе самом, выданное за сочинение «друга-сослуживца»,— с тем, однако, лукавым расчетом, что читатель догадается, кто — настоящий автор. Это как бы заставка ко всему, что написал Давыдов: здесь крупным планом дан портрет героя, плакатно резко очерчен его характер, сжато, но выразительно рассказано о том, чем отличился он в жизни. Поэт «не по рифмам и стопам», но по чувству, воображению, «залету и отважности военных действий», пропевший свою песню в огне и дыму наполеоновского века,— таково основное содержание образа, возникающего в автобиографии. Все остальное — в стихах и в прозе — развивает эту суммарную характеристику, включает ее в общий исторический и бытовой контекст эпохи, обогащает множеством подробностей.

Одно дополняет и оттеняет другое. Повествование участника «всесокрушительных событий» сплетается с интимными признаниями лирической исповеди, «перуны войны» — с «жестоким пуншем». Частный быт, естественно, шире представлен в стихах, но и мемуарный свой цикл поэт-партизан строил как интимный дневник воина, которому ничто человеческое не чуждо. В «Замечаниях на некрологию Н. Н. Раевского» (написанную Д. Бутурлиным) Давыдов отметил как недостаток ее, что Раевский «представлен только на коне, в дыму битв и с гласом повелительным», тогда как хотелось бы видеть его «душу»: «Мы ищем человека, и видим в некрологии одного храброго и искусного генерала... Вообще нельзя довольно надивиться жалкому обыкно-

вению почти всех некрологов и биографов нашего времени, представляющих знаменитых вождей не иначе, как в мундирах, застегнутых на все крючки и пуговицы».

Зато себя самого Денис Васильевич представил читателю не в парадном мундире, а в партизанском чекмене нараспашку, и это наиболее роднит его мемуарную прозу со стихами, где на ту же тему говорится в тех же выражениях, но уже в применении к собственной особе: «Долой, долой крючки, от глотки до пупа!»

Я не поэт, я партизан, казак:
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком
И беззаботно, кое-как
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимый бивак.

Такова поэтическая декларация Давыдова — продуманная и четкая. В ней звучит и кокетство, и самооправдание, но и уверенность в себе, сознание своей непохожести на других и права на эту непохожесть. «Бивак», который Денис Давыдов раскинул в русской поэзии, в самом деле был независимым. Смысл его декларации в том, что в поэзии он такой же партизан, как и на войне, и потому не следует мерить его на общий аршин, укладывать в норму и ранжир. Давыдов спешит заверить читателя, что как партизанская его служба была дерзким вызовом «людям сухой души и тяжкого рассудка», точно так же и поэзия его — вызов литературным уставщикам, «милиции критиков», стоящей на страже строгих правил.

При всей целостности стихотворного творчества Дениса Давыдова в нем можно выделить три основных раздела или, если угодно, три «главы» поэтической автобиографии: во-первых, ранние гусарские песни, затем — элегический цикл 1814—1817 годов и, наконец, преемственно связанные с ранней «гусарщиной» те стихи двадцатых-тридцатых годов, которые написаны от лица «старого гусара».

Как поэт Давыдов выступил в самом начале века, когда торжественно распевали последние одописцы, назойливо щебетали стихотворцы «слезливого цеха», еще не раскрылся Жуковский и только начинал Батюшков. Время в поэзии было переходное, довольно тихое,— и тем громче прозвучал в ней новый, неожиданный, совершенно простецкий и порядком развязный голос:

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!..

Ну-тка, кивер набекрень,
И — ура! Счастливый день!

Ради бога, трубку дай!..

Эффект был велик. В поэзии не хватало этой простоты, живости, естественного тона, жизненной конкретности. «Кто в молодые годы не повторял стихов Давыдова, кто не списывал этих удалых стихов?.. Кто из молодых людей не воображал себя Бурцовым?» — вспоминал современник.

«Зачашные песни» Давыдова родились, конечно, не на пустом месте. Они имели свои литературные истоки в интимной, «домашней» лирике Державина и Капниста, в буффонских стихах И. М. Долгорукова и некоторых других поэтов. Но Давыдов привнес в эту не слишком заметную традицию нечто свое, принадлежащее ему исключительно, а именно — дух «гусарства». Он-то и придал его поэзии особый колорит и особое звучание.

«Гусарство» было характернейшим бытовым и психологическим явлением русской жизни эпохи наполеоновских войн, которая, как заметил однажды П. А. Вяземский, «оставила в умах следы отваги и какого-то почти своевольного казачества в понятиях и нравах». Конечно, много было в этом эффектного позерства, пустого озорства и просто бесшабашного разгула, но вместе с тем «гусарство» служило во времена Аракчеева, «Священного союза» и архимандрита Фотия своеобразной формой протеста против мертвящей казенщины, ханжества, лицемерия, многоразличных способов духовного и общественного угнетения личности. Не случайно высшие власти чрезвычайно нервно реагировали на любые вспышки гусарского «молодечества».

Успех ранних стихов Дениса Давыдова, очевидно, в первую очередь и объяснялся тем обстоятельством, что они утверждали неотъемлемое право человека на «волю и распашку», на независимую личную жизнь, на веселье и смех. Однако герой этих стихов — не просто забубенный гуляка, который знать ни о чем не хочет, кроме чарки да трубки. Нет, им владеют и высокие, благородные чувства — жаркая любовь к родине, отвага, прямодушие, верность в дружбе и товариществе. Он веселится, пока есть для этого время:

Стукнем чашу с чашей дружно!
Нынче пить еще досужно;
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят.

И тогда уже будет не до гульбы, а настанет «иной пир», на котором есть где разгуляться человеку, наделенному чувством чести и сознанием долга:

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!..

В послевоенные годы Давыдов не избежал влияния литературной моды — и попробовал свои силы в элегическом жанре. Элегии у него

менее свежи и самобытны, нежели стихи песенного и сатирического склада. Он сам считал, что они уступают его «гусарщине», потому что «слишком пахнут старинной выделкой, задавлены эпитетами, и краски их суть краски фаянсовые». Это справедливо в отношении поэтики, но по логике вещей элегии не противоречат «гусарщине», поскольку в них раскрывается еще одна и очень существенная сторона душевной жизни и житейских связей героя давыдовской лирики: любовь наравне с ратоборством и кутежами органически входит в состав его поэтической автобиографии. Сам Денис Васильевич писал: «Сердце мое может включить в каждую кампанию свой собственный журнал, независимый от военных происшествий... Я ничем не поверяю хронологию моей жизни, как соображая эти эпохи службы с эпохами любовных ощущений».

Любовные радости и огорчения, составляющие сюжеты давыдовских элегий, во всех случаях соотнесены с темой войны и образом воина. Герой элегического цикла — все тот же «воспитанник побед», ставший «робким пленником» прекрасной женщины, и все перипетии его неудачного романа перемежаются воспоминаниями о «шумной сече боя», и даже когда он укоряет неверную за измену, мысль его закономерно возвращается к тому, что жребий его — «пасть в боях».

Наконец, третью «главу» лирической автобиографии составляют более поздние стихи, в которых образ героя претерпевает известную метаморфозу, хотя самая суть его остается все той же. Теперь это уже не кипящий юностью «удалец», а «старый гусар», умудренный житейским опытом, переживший не только упоение в бою и в страсти, но и выпивший полную чашу обид и унижений. Поэзия «вольной жизни» приобретает сатирический оттенок. Старый гусар не изменил «младым привычкам» и по-прежнему любит «разгульный шум, умов, речей пожар и громогласные шампанского оттычки», но еще более воодушевляет его презрение к лжи и условностям большого света:

Бегу век сборища, где жизнь в одних ногах,
Где благосклонности передаются весом,
    Где откровенность в кандалах,
    Где тело и душа под прессом;
Где спесь да подлости, вельможа да холоп,
Где заслоняют нам вихрь танца эполеты...

Судьба Давыдова питала его поэзию. Воин, «рано брошенный в тревоги», он собственной рукой «вырубил» себе славу народного героя, но его преследует низкая зависть и тупая злоба,— так возникают в контрастном противопоставлении и во внутреннем единстве две темы, особенно увлекающие поэта: «воспоминания эпических войн, опасностей, славы» и «злоба на гонителей», вытесняющих героя «с поля

битв на пашню». Обращаясь к этим темам, Давыдов обретает высокий драматический пафос:

Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы...

Тем же пафосом проникнута мемуарная проза Давыдова. Воспоминания о подвигах и негодование на «гонителей» позволяют ему в форме воспоминаний свести счеты с жалкой современностью, с новыми «героями» николаевской эпохи вроде Паскевича и особенно ненавистного Дибича с их сомнительными победами и вполне несомненной бездарностью. Особенно резко ирония и сарказм Давыдова проявились в «Воспоминаниях о польской войне 1831 года», опубликование которых в тогдашних цензурных условиях оказалось невозможным. Здесь запечатлена целая галерея истинных вождей русской армии: «Ахилл наполеоновских войн» Багратион, с «горделивой поступью, орлиным взглядом, геройской осанкой»; Барклай — «скромный, важный, величественный»; Кутузов — «умнейший, тончайший, просвещеннейший и любезнейший»; Ермолов с его «величавой осанкой, классическими чертами лица, глазами, исполненными жизни и огня»,— вождь, под начальством которого «каждый солдат становился героем»... А вот — для контраста — портрет «ничтожного выскочки» Дибича: «Низенький, толстенький, с опухлою и воспаленною физиономиею, небритый, немытый, с рыжими нечесаными волосами, в запачканном сертуке».

В основе литературной работы зрелого Давыдова лежали поиски «мужественной силы и энергической простоты». Они увенчались отличными успехами. Вот, к примеру, как рассказано им об отступательном марше дивизии Неверовского из Красного: «Я помню, какими глазами мы увидели эту дивизию, подходившую к нам в облаках пыли и дыма, покрытую потом трудов и кровью чести! Каждый штык ее горел лучом бессмертия!» Или взять хотя бы великолепное описание Прейсиш-Эйлауской битвы. Энергической силой дышат и стихи Давыдова, в которых он отводил наболевшую душу:

Давно ль под мечами, в пылу батарей,
И я попирал дол кровавый,
И я в сонме храбрых, у шумных огней,
Наш стан оглашал песнью славы?..
Давно ль... Но забвеньем судьба меня губит,
И лира немеет, и сабля не рубит.

Но при этом он никогда не впадал в напыщенность. От этого его спасала полная свобода обращения со словом, что сказалось в ранних стихах и навсегда вошло в привычку. Он не видел разницы между

«высоким» и «низким» слогом, поскольку и тот и другой, находя соответственное применение, свободно совмещались в живой, непринужденной речевой манере его героя. В этом прежде всего и состоял секрет резкой неподражаемости его языка, на которую указывал Пушкин. Давыдов писал легко, весело, остроумно, играя словами, каламбуря, посмеиваясь и не чинясь, прослаивая литературную речь грубоватым просторечием и характерной «солдатской говоркой».

Только литературные чистоплюи могли возмущаться «грубостью» давыдовского языка. Не без намерения ошеломить читателя Давыдов поместил в сборнике своих стихотворений, изданном в 1832 году, такие вещи, что некоторые слова пришлось заменить точками. Озорство известного писателя, пребывавшего к тому же в генеральском чине, смутило слишком чопорных читателей, на что в одном из журналов сразу откликнулись в том смысле, что книги, дескать, пишутся не для одних девушек: «Ради бога! И так слишком много поддельного, начиная от дамских локонов до посланий русских стихотворцев. Дайте хоть на минуту видеть человека не связанным!»

Неподдельность, естественность, несвязанность — вот подлинная творческая стихия Дениса Давыдова. Белинский, очень высоко оценивший его и как стихотворца и как прозаика,* говорил: «Он был поэт в душе: для него жизнь была поэзиею, а поэзия жизнью,— и он поэтизировал все, к чему ни прикасался...» Даже то, что у другого могло обернуться пошлостью, безвкусицей, «казарменной замашкой», у Давыдова «получает значение, преисполняется жизнью, облагораживается формою».

Давыдов был искуснейшим мастером художественной формы, хотя и заверял, что мало обращает внимания на отделку своих творений (это и фактически не соответствует истине: рукописи Давыдова свидетельствуют о больших затратах творческого труда). Все типические черты его самобытной манеры обусловлены представлением о творчестве как стихийно-страстном состоянии «энтузиазма», «душевного восторга» и «воспаленного воображения». Искусство должно «ворочать душу и жечь воображение». Чтобы писать стихи, говаривал Денис Васильевич, «надобна гроза, буря, надобно, чтобы било нашу лодку».

Он и писал с таким бурным воодушевлением, как, пожалуй, никто другой из поэтов и прозаиков его времени,— разве что один Языков мог соперничать с ним в стремительности стиховых темпов. Недаром Вяземский сравнивал «пылкий стих» Давыдова с пробкой, вырываю-

---

* «Давыдов как поэт решительно принадлежит к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии»; «как прозаик он имеет право стоять на ряду с лучшими прозаиками русской литературы».

щейся из бутылки шампанского, а тот же Языков характеризовал его образами, заимствованными из художественного арсенала самого поэта-партизана:

Не умрет твой стих могучий.
Достопамятно-живой,
Упоительный, кипучий,
И воинственно-летучий,
И разгульно-удалой.

Лучшие стихи Дениса Давыдова остались в памяти и на языке народа. Кое-что из них вошло даже в пословицу. Отличная, увлекательная, проникнутая глубоким патриотическим чувством проза его тоже выдержала испытание временем. Стоит напомнить, как призывно прозвучала она в недавнее время — в годы Великой Отечественной войны.

Неподдельность и самобытность таланта Дениса Давыдова, неповторимость его языка и красок, реалистическая конкретность созданного им автопортретного образа и, наконец, яркий национальный колорит его творчества, полного отзвуков славного 1812 года,— все это и сегодня сохраняет свою притягательную силу.

Вл. ОРЛОВ

Некоторые черты из жизни Дениса Васильевича Давыдова

Денис Васильевич Давыдов родился в Москве 1784 года июля 16-го дня, в год смерти Дениса Дидерота. Обстоятельство сие тем примечательно, что оба сии Денисы обратили на себя внимание земляков своих бог знает за какие услуги на словесном поприще!

Давыдов, как все дети, с младенчества своего оказал страсть к марширований, метанию ружьем и проч. Страсть эта получила высшее направление в 1793 году от нечаянного внимания к нему графа Александра Васильевича Суворова, который при осмотре Полтавского легкоконного полка, находившегося тогда под начальством родителя Давыдова, заметил резвого ребенка и, благословив его, сказал: *«Ты выиграешь три сражения!»* Маленький повеса бросил псалтырь, замахал саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека.

Розга обратила его к миру и к учению. Но как тогда учили! Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества: учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке; тому же учился и Давыдов до тринадцатилетнего возраста. Тут пора была подумать и о будущности: он сел на коня, захлопал арапником, полетел со стаею гончих собак по мхам и болотам — и тем заключил свое воспитание.

Между *порошами* и *брызгами,* живя в Москве без занятий, он познакомился с некоторыми молодыми людьми, воспитывавшимися тогда в Университетском пансионе. Они доставили ему случай прочитать «Аониды», полупериодическое собрание стихов, издаваемое тогда Н. М. Карамзиным. Имена знакомых своих, напечатанные под некоторыми стансами и песенками, помещенными в «Аонидах», воспламенили его честолюбие: он стал писать; мысли толпились, но, как приключение во сне,

без связи между собою. В порывах нетерпения своего он дума победить препятствия своенравием: рвал бумагу и грыз перья, но не тут-то было! Тогда он обратился к переводам, и вот первый опыт его стихосложения:

Пастушка Лиза, потеряв
Вчера свою овечку,
Грустила и эху говорила
Свою печаль, что эхо повторило:
«О, милая овечка! Когда я думала, что ты меня
Завсегда будешь любить,
Увы, по моему сердцу судя́,
Я не думала, что другу можно изменить!»

В начале 1801 года запрягли кибитку, дали Давыдову в руки четыреста рублей ассигнациями и отправили его в Петербург на службу. Малый рост препятствовал ему вступить в Кавалергардский полк без затруднений. Наконец привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукóю и треугольною шляпою.

Таковым чудовищем спешит он к двоюродному брату своему А. М. Каховскому, чтобы порадовать его своею радостью; но увы, какой прием! Вместо поздравлений, вместо взаимных с ним восторгов этот отличный человек осыпал его язвительными насмешками и упреками за вступление на службу неучем. «Что за солдат, брат Денис,— заключил он поразительный монолог свой,— что за солдат, который не надеется быть фельдмаршалом! А как тебе снести звание это, когда ты не знаешь ничего того, что необходимо знать штаб-офицеру?» Самолюбие Давыдова было скорбно тронуто, и с того времени, гонимый словами Каховского, подобно грозному призраку, он не только обратился к военным книгам, но пристрастился к ним так, что не имел уже нужды в пугалищах, чтоб заниматься чтением.

Между тем он не оставлял и беседы с музами: он призывал их во время дежурств своих в казармы, в госпиталь и даже в эскадронную конюшню. Он часто на нарах солдатских, на столике больного, на полу порожнего стойла, где избирал свое логовище, писывал сатиры и эпиграммы, коими начал ограниченное словесное поприще свое.

В 1804 году судьба, управляющая людьми, или люди, направляющие ее ударами, принудили повесу нашего выйти в Белорусский гусарский полк, расположенный тогда в Киев-

ской губернии, в окрестностях Звенигородки. Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, *затянулся, натянулся* и пустился плясать мазурку до упаду.

В это бешеное время он писал стихи своей красавице, которая их не понимала, потому что была полька, и сочинил известный призыв на пунш Бурцову *... который читать не мог оттого, что сам *писал мыслете.*

В 1806 году, быв переведен в Лейб-гусарский полк поручиком, Давыдов явился в Петербург. Вскоре загорелась война с французами, и знаменитый князь Багратион избрал его в свои адъютанты. Давыдов поскакал в армию, прискакал в авангард, бросился в сечу, едва не попался в плен, но был спасен казаками.

По заключении мира Давыдов возвратился в Россию и написал «Договоры», «Мудрость» и несколько других стихотворений.

Зимою 1808 года объявлена война Швеции. Давыдов является в армию, ждет обещанного приступа Свеаборгу, но, узнав о начатии переговоров для сдачи этой крепости, он спешит к Кульневу на север; следуя с ним до окрестностей Улеаборга, он занимает с командою казаков остров Карлое и, возвратясь к авангарду, отступает по льду Ботнического залива, до селения Пигаиоков, а оттуда до Гамле-Карлеби. При селении Химанго, в виду неприятельских аванпостов, он перевел Делилеву басню «La Rose et l'Etourneau. **

В течение этой кампании Давыдов неотлучно находился при авангарде Кульнева в северной Финляндии; сопутствуя ему во время завоевания Аландских островов, он с ним расставлял пикеты, наблюдал за неприятелем, разделял суровую его пищу и спал на соломе под крышею неба.

В течение лета 1809 года князь Багратион поступает на степень главнокомандующего Задунайскою армиею; Давыдов находится при сем блистательном полководце во всех сражениях того года.

1810 года обстоятельства отрывают князя Багратиона от армии; граф Каменский заступает его место, и Давыдова снова приписывают к авангарду Кульнева. В поучительной школе этого неусыпного и отважного воина он кончает курс аванпостной службы, начатой в Финляндии, и познает цену спар-

---

* Этот Бурцов служил в одном полку с Давыдовым и умер в 1813 году. *(Прим. Давыдова.)*

** «Роза и Скворец».

танской жизни, необходимой для всякого, кто решился *нести службу, а не играть со службою.*

Возвратясь после рущукского приступа к генералу своему, получившему тогда главное начальство над 2-ю западною армиею, Давыдов находился при нем в Житомире и Луцке без действия, если исключим курьерские поездки и беседы его с соименным ему покорителем Индии (Бахусом или Вакхом, иначе Дионисием).

Начинается Отечественная война. Давыдов поступает в Ахтырский гусарский полк подполковником, командует 1-м баталионом оного до Бородина;* подав первый мысль о выгоде партизанского действия, он отправляется с партиею гусар и казаков (130-ю всадниками) в тыл неприятеля, в середину его обозов, команд и резервов; он действует против них сряду десять суток и, усиленный шестьюстами новых казаков, сражается несколько раз в окрестностях и под стенами Вязьмы. Он разделяет славу с графом Орловым-Денисовым, Фигнером и Сеславиным под Ляховым, разбивает трехтысячное кавалерийское депо под Копысом, рассеивает неприятеля под Белыничами и продолжает веселые и залетные свои поиски до берегов Немана. Под Гродном он нападает на четырехтысячный отряд Фрейлиха, составленный из венгерцев: Давыдов — в душе гусар и любитель природного их напитка; за стуком сабель застучали стаканы и — город наш!!!

Тут фортуна обращается к нему *задом.* Давыдов предстает *пред лицо* генерала Винценгероде и поступает под его начальство. С ним пресмыкается он чрез Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. Не стало терпения! Давыдов рванулся вперед и занял половину города Дрездена, защищаемого корпусом маршала Даву. За таковую дерзость он был лишен команды и сослан в главную квартиру.

Справедливость царя-покровителя была щитом беспокровного. Давыдов снова является на похищенное у него поприще, на коем продолжает действовать до берегов Рейна.

Во Франции он командует в армии Блюхера Ахтырским гусарским полком. После Краонского сражения, в коем все генералы 2-й гусарской дивизии (что ныне 3-я) были убиты или ранены, он управляет двое суток всею дивизиею, а потом бригадою, составленною из гусарских полков — того же Ахтыр-

---

* Тогда гусарские полки состояли из двух баталионов; каждый баталион заключал в себе пять эскадронов в мирное и четыре эскадрона в военное время. *(Прим. Давыдова.)*



П. И. Багратион. Гравюра С. Карделли

ского и Белорусского, с которыми он проходит чрез Париж. За отличие в сражении под Бриеном (Ларотьер) он производится в генерал-майоры.

1814 года Давыдов возвращается из Парижа в Москву, где предается исключительно поэзии и сочиняет несколько элегий.

Во время мира он занимает место начальника штаба пехотных корпусов: вначале 7-го, а потом 3-го.

В 1819 году он вступает в брак, а в 1821 году *бракует* себя из списков фронтовых генералов, состоящих по кавалерии. Но единственное упражнение: застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от глотки до пупа надоедает ему до того, что он решается на распашной образ одежды и жизни и, в начале 1823 года, выходит в отставку.

Со вступлением на престол императора Николая Давыдов снова оплечается знаками военной службы и опоясывается саблею. Персияне вторгаются в Грузию. Государь император удостоивает его избранием в действующие лица и на ту единственную пограничную черту России, которая не звучала еще под копытами коня Давыдова. Он вырывается из объятий милого ему семейства и спешит из Москвы в Грузию: в десять дней Давыдов за Кавказом. Еще несколько дней — и он с отрядом своим за Безобдалом, в погоне за неприятелем, отступающим от него по Бамбакской долине. Наконец еще одни сутки — и он близ заоблачного Алагёза поражает четырехтысячный отряд известного Гассан-хана, принудив его бежать к Эриванской крепости, куда спешит и сам сардар эриванский с войсками своими от озера Гохчи. Тут открывается глазам Давыдова Арарат в полном блеске, в своей снеговой одежде, с своим голубым небом и со всеми воспоминаниями о колыбели рода человеческого.

После сей экспедиции Давыдов занимается строением крепости Джелал-Оглу, которую довершает около декабря месяца. Зимою, во время бездействия, он получает от генерала Ермолова отпуск в Москву на шесть недель, но едва успевает он обнять свое семейство, как снова долг службы влечет его за кавказские пределы. Но эта поездка не приносит ему успеха прошлогоднего: на этот раз перемена климата не благоприятствует Давыдову, и недуг принуждает его удалиться к кавказским целительным водам, где, тщетно ожидая себе облегчения, он находится вынужденным уже безвозвратно отбыть в Россию.

До 1831 года он заменяет привычные ему боевые упражнения занятиями хозяйственными, живет в своей приволжской деревне, вдали от шума обеих столиц, и пользуется всеми

наслаждениями мирной, уединенной и семейной жизни. Там сочиняет он «Бородинское поле», «Душеньку», «Послание Зайцевскому» и проч.

Тяжкий для России 1831 год, близкий родственник 1812, снова вызывает Давыдова на поле брани. И какое русское сердце, чистое от заразы общемирного гражданства, не забилось сильнее при первом известии о восстании Польши? Низкопоклонная, невежественная шляхта, искони подстрекаемая и руководимая женщинами, господствующими над ее мыслями и делами, осмеливается требовать у России того, что сам Наполеон, предводительствовавший всеми силами Европы, совестился явно требовать, силился исторгнуть — и не мог! Давыдов скачет в Польшу, 12 марта он находится уже в главной квартире армии, в местечке Щенице, а 22-го — в Красноставе, где кочует порученный ему отряд войск, состоящий из полков: трех казачьих и Финляндского драгунского.

Шестого апреля он берет приступом город Владимир-на-Волыни и низлагает в нем одно из главных ополчений мятежников Волынской губернии.

Двадцать девятого апреля он, вместе с генерал-маиором графом Толстым, загоняет корпус Хржановского под пушки крепости Замостья.

Седьмого июня, командуя авангардом корпуса генерала Ридигера в сражении под Лисобиками, Давыдов принимает на щит свой все удары главных сил неприятеля и не уступает ему ни шагу. Бой длится более трех часов. Генерал Ридигер, пользуясь стойкостью пехоты Давыдова, обходит сражающихся, ударяет в тыл неприятеля и сим искусным и отважным движением обращает победу на свою сторону. За этот бой Давыдов производится в генерал-лейтенанты.

В течение августа Давыдов, продолжая командовать то различными отрядами, то всею кавалериею корпуса генерала Ридигера, действует за Вислою между Варшавою и Краковым. Наконец, командуя в предмостном укреплении на Висле при местечке Казимирже, он отбивает учиненное на него всем корпусом Ружицкого нападение, предпринятое 28 августа, и по совершенном низложении мятежа русскою армиею возвращается в Москву, на свою родину, к своему семейству.

Давыдов немного писал, еще менее печатал; он, по обстоятельствам, из числа тех поэтов, которые довольствовались *рукописною* или *карманною* славою. Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотрщиков. Запрещенный товар — как запре-

щенный плод: цена его удвоивается от запрещения. Сколько столовых часов под свинцом таможенных чиновников стоят в лавке; на вопрос: долго ли им стоять? — отвечают они: *вечность!*

Общество любителей российской словесности, учрежденное при Московском университете, удостоило Давыдова избранием в число своих действительных членов, и он примкнул в нем к толпе малодействующих. Однако сочинение его «Опыт партизанского действия» и издаваемые ныне «Стихотворения» дают ему право на адрес-календарь Глазунова и на уголок в Публичной библиотеке, в сем богоугодном и странноприимном заведении, куда стекаются любовники гулливых барышень Парнаса. При всем том Давыдов не искал авторского имени, и как приобрел оное — сам того не знает. Бóльшая часть стихов его пахнет биваком. Они были писаны на привалах, на дневках, между двух дежурств, между двух сражений, между двух войн; это пробные почерки пера, чинимого для писания рапортов начальникам, приказаний подкомандующим.

Стихи эти были завербованы в некоторые московские типографии тем же средством, как некогда вербовали разного рода бродяг в гусарские полки: за шумными трапезами, за веселыми пирами, среди буйного разгула.

Они, подобно Давыдову во всех минувших войнах, появлялись во многих журналах наездниками, поодиночке, наскоком, очертя голову; день их — был век их.

Сходство между ними идет далее: в каждой войне он пользовался общим одобрением, общею похвалою; в мирное время о нем забывали вместе с каждою войною. То же было и с журналами, заключающими стихи его, и с его стихами. Кому известна ныне служба его во время войн в Пруссии, в Финляндии, в Турции, в России, в Германии, во Франции, в Грузии и в Польше? Кто ныне знает о существовании какой-нибудь «Мнемозины», какого-нибудь «Соревнователя просвещения», «Амфиона» и других журналов, *поглощенных вечностью* вместе со стихами Давыдова?

Никогда бы не решился он на собрание рассеянной своей стихотворной вольницы и на помещение ее на *непременные квартиры* у книгопродавца, если бы добрые люди не доказали ему, что одно и то же — покоиться ей розно или вместе.

Сбор этот стоил ему немалого труда. Некоторые стихотворения были исторгнуты им из покрытых уже прахом или изорванных журналов, а другие, переходя из рук в руки писцов, более или менее грамотных, изменились до того, что едва были

узнаны самим автором. Мы не говорим уже о тех, которые, прославляя удалую жизнь, не могли тогда и не могут теперь показаться на инспекторский смотр цензурного комитета, и о тех, кои исключены им из списка за рифмы на глаголы, ибо, как говорит он, *во многоглаголании несть спасения.*

Как бы то ни было, он обэскадронил все, что мог, из своей сволочи и представляет команду эту на суд читателя, с ее странною поступью (allure), с ее обветшалыми ухватками, в ее одежде старомодного покроя, как кагульских, как очаковских инвалидов-героев новому поколению забалканских и варшавских щеголей-победителей! Будут нападки — это в порядке вещей. Но пусть вволю распояшется на этот подвиг санкт-петербургская и московская милиция критиков! В лета щекотливой юности Давыдова малейшее осуждение глянца сапогов, фабры усов, статей коня его бросало его руку на пистолеты или на рукоять его черкесской шашки. Время это далеко! Теперь мы ручаемся, что он ко многому уже равнодушен, особенно к стихам своим, к коим равнодушие его, относительно их красоты или недостатков, не изменялось и не изменится. И как быть иначе! Он никогда не принадлежал ни к какому литературному цеху. Правда, он был поэтом, но поэтом не по рифмам и стопам, а по чувству; по мнению некоторых — воображением, рассказами и разговорами; по мнению других — по залету и отважности его военных действий. Что касается до упражнения его в стихотворстве, то он часто говаривал нам, что это упражнение или, лучше сказать, порывы оного утешали его, как бутылка шампанского, как наслаждение, без коего он мог обойтись, но которым упиваясь, он упивался уже с полным чувством эгоизма и без желания уделить кому-нибудь хотя бы малейшую каплю своего наслаждения.

Заключим: Давыдов не нюхает с важностью табаку, не смыкает бровей в задумчивости, не сидит в углу в безмолвии. Голос его тонок, речь жива и огненна. Он представляется нам сочетателем противоположностей, редко сочетающихся. Принадлежа стареющему уже поколению и летами и службою, он свежестью чувств, веселостью характера, подвижностью телесною и ратоборством в последних войнах собратствует, как однолеток, и текущему поколению. Его благословил великий Суворов; благословение это ринуло его в боевые случайности на полное тридцатилетие; но, кочуя и сражаясь тридцать лет с людьми, посвятившими себя исключительно военному ремеслу, он в то же время занимает не последнее место в словесности между людьми, посвятившими себя исключительно

словесности. Охваченный веком Наполеона, изрыгавшим всесокрушительными событиями, как Везувий лавою, он пел в пылу их, как на костре тамплиер Моле́, объятый пламенем. Мир и спокойствие — и о Давыдове нет слуха, его как бы нет на свете; но повеет войною — и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика. Снова мир — и Давыдов опять в степях своих, опять гражданин, семьянин, пахарь, ловчий, стихотворец, поклонник красоты во всех ее отраслях — в юной деве ли, в произведениях художеств, в подвигах ли, военном или гражданском, в словесности ли,— везде слуга ее, везде раб ее, поэт ее. Вот Давыдов!

Стихотворения

ГОЛОВА И НОГИ

Уставши бегать ежедневно
По грязи, по песку, по жесткой мостовой,
Однажды Ноги очень гневно
Разговорились с Головой:
«За что мы у тебя под властию такой,
Что целый век должны тебе одной повиноваться;
Днем, ночью, осенью, весной,
Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, таскаться
Туда, сюда, куда велишь;
А к этому еще, окутавши чулками,
Ботфортами да башмаками,
Ты нас, как ссылочных невольников, моришь
И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами,
Покойно судишь, говоришь
О свете, о людя́х, о моде,
О тихой иль дурной погоде;
Частенько на наш счет себя ты веселишь
Насмешкой, колкими словами,—
И, словом, бедными Ногами
Как шашками вертишь».
«Молчите, дерзкие,— им Голова сказала,—
Иль силою я вас заставлю замолчать!..
Как смеете вы бунтовать,
Когда природой нам дано повелевать?»
«Всё это хорошо, пусть ты б повелевала,
По крайней мере нас повсюду б не швыряла,
А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да, между нами ведь признаться,

Коль ты имеешь право управлять,
Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись — как же быть, —
Твое Величество об камень расшибить».

Смысл этой басни всякий знает...
Но должно — тс! — молчать: дурак — кто всё болтает.

1803

РЕКА И ЗЕРКАЛО

За правду колкую, за истину святую,
За сих врагов царей,— деспо́т
Вельможу осудил: главу его седую
Велел снести на эшафот.
Но сей успел добиться
Пред грозного царя предстать —
Не с тем, чтоб плакать иль крушиться,
Но, если правды не боится,
То чтобы басню рассказать.
Царь жаждет слов его; философ не страшится
И твердым гласом говорит:
«Ребенок некогда сердился,
Увидев в зеркале свой безо́бразный вид:
Ну в зерка́ло стучать, и в сердце веселился,
Что может зеркало разбить.
Наутро же, гуляя в поле,
Свой гнусный вид в реке увидел он опять.
Как ре́ку истребить? — Нельзя, и поневоле
Он должен был и стыд и срам питать.
Мона́рх, стыдись! Ужели это сходство
Прилично для тебя?..
Я — зеркало: разбей меня,
Река — твое потомство:
Ты в ней найдешь еще себя».

Монарха речь сия так сильно́ убедила,
Что он велел ему и жизнь и волю дать...
Постойте, виноват! — велел в Сибирь сослать,
А то бы эта быль на басню походила.

1803

СОН

— Кто столько мог тебя, мой друг, развеселить?
От смеха ты почти не можешь говорить.
Какие радости твой разум восхищают,
Иль де́ньгами тебя без векселя ссужают?
Иль талия тебе счастливая пришла
И двойка трантель-ва на выдержку взяла?
Что сделалось с тобой, что ты не отвечаешь?
— Ах! дай мне отдохнуть, ты ничего не знаешь!
Я, право, вне себя, я чуть с ума не спел:
Я ноньче Петербург совсем другим нашел!
Я думал, что весь свет совсем переменился:
Вообрази — с долгом Н<арышки>н расплатился:
Не видно более педантов, дураков,
И даже поумнел З<агряжск>ой, С<вистун>ов!
В несчастных рифмачах старинной нет отваги,
И милый наш Марин не пачкает бумаги,
А, в службу углубясь, трудится головой:
Как, заводивши взвод, вовре́мя крикнуть: стой!
Но больше я чему с восторгом удивлялся:
Ко<пь>ев, который так Ликургом притворялся,
Для счастья нашего законы нам писал,
Вдруг, *к счастью нашему,* писать их перестал.
Во всем счастливая явилась перемена,
Исчезло воровство, грабительство, измена,
Не видно более ни жалоб, ни обид,
Ну, словом, город взял совсем противный вид.
Природа красоту дала в удел уроду,
И сам Л<ава>ль престал *коситься* на природу,

Б<агратио>на но́с вершком короче стал,
И Д<иб>ич красотой людей перепугал,
Да я, который сам, с начала свово века,
Носил с натяжкою названье человека,
Гляжуся, радуюсь, себя не узнаю:
Откуда красота, откуда рост — смотрю;
Что слово — то bon mot *, что взор — то страсть вселяю,
Дивлюся — как менять интриги успеваю!
Как вдруг, о гнев небес! вдруг рок меня сразил:
Среди блаженных дней Андрюшка разбудил
И всё, что видел я, чем столько веселился —
Всё видел я во сне, всего со сном лишился.

1803

---

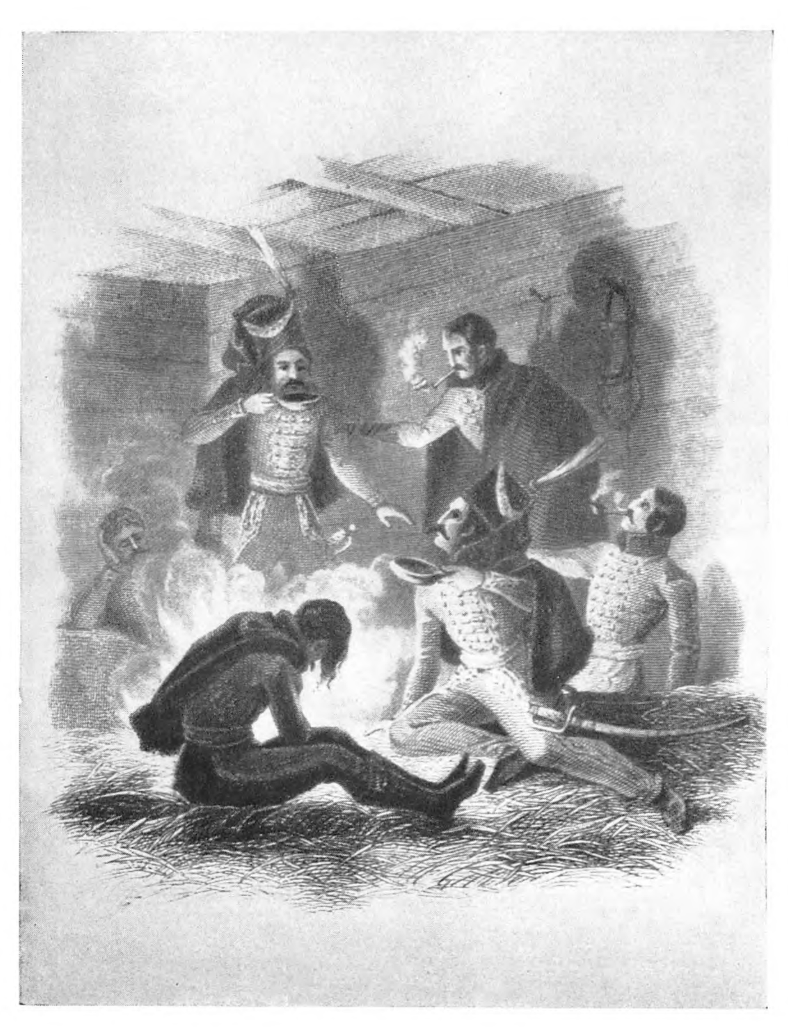
* Острое словцо.

ОРЛИЦА, ТУРУХТАН И ТЕТЕРЕВ

Орлица
Царица
Над стадом птиц была,
Любила истину, щедроты изливала,
Неправду, клевету с престола презирала.
За то премудрою из птиц она слыла,
За то ее любили,
Покой ее хранили.
Но наконец она Всемощною Рукой,
По правилам природы,
Прожив назначенные годы,
Взята была судьбой,
А попросту сказать — Орлица жизнь скончала;
Тоску и горести на птичий род нагнала;
И все в отчаяньи горчайши слезы льют,
Унылым тоном
И со стоном
Хвалы покойнице поют.
Что сердцу горестно, легко ли то забыть?
Слеза — души отрада
И доброй памяти награда.
Но — как ни горестно — ее не возвратить...
Пернаты рассуждают
И так друг друга уверяют,
Что без царя нельзя никак на свете жить
И что царю у них, конечно, дóлжно быть!
И тотчас меж собой совет они собрали

И стали толковать,
Кого в цари избрать?
И наконец избрали...
Великий боже!
Кого же?
Турухтана!
Хоть знали многие, что нрав его крутой,
Что будет царь лихой,
Что сущего тирана
Не надо избирать,
Но до́лжно было потакать —
И тысячу похвал везде ему трубили:
Иной разумным звал, другие находили,
Что будет он отец отечества всего,
Иные клали всю надежду на него,
Иные до небес ту птицу возносили,—
И злого петуха в корону нарядили.
А он —
Лишь шаг на трон,
То хищной тварью всей себя и окружил:
Сычей, сорок, ворон — в павлины нарядил,
И с сею сволочью он тем лишь забавлялся,
Что доброй дичью всей без милости ругался:
Кого велит до смерти заклевать,
Кого в леса дальнейшие сослать,
Кого велит терзать сорокопуту —
И всякую минуту
Несчастья каждый ждал,
Томился птичий род, стонал...
В ужасном страхе все, а делать что — не знают!
«Виновны сами мы,— пернаты рассуждают,—
И, знать, карает нас вселенные творец,
За наши каверзы, тираном сим вконец,
Или за то, что мы в цари избрали птицу —
Кровопийцу!..»
И в горести они летят толпой к леску
Размыкать там свою смертельную тоску.
Не гимны, Турухтан, тебе дичина свищет,
Возмездия делам твоим тиранским ищет.
Когда народ стенёт, всяк час беда, напасть,
Пернаты, знать, злодейств терпеть не станут боле!
Им нужен добрый царь,— ты ж гнусен на престоле!
Коль необуздан ты — твоя несносна власть!

И птичий весь совет решился,
Чтоб жизни Турухтан и царствия лишился.
К такому приступить гораздо делу трудно!
Однако как же быть?
Казалось многим то безумно,
Но чем иным переменить?..
Ужасно действие и пропасть в нем греха!
Да, как ни есть,
Свершили месть —
Убили петуха!
Не стало Турухтана,—
Избавились тирана!
В восторге, в радости, все птицы вне себя,
Злодея истребя,
Друг друга лобызают
И так болтают:
«Теперь в спокойствии и неге заживем,
Как птицу смирную на царство изберем!»
И в той сумятице на трон всяк предлагает:
Кто гуся, кто сову, кто курицу желает,
И в выборе царя у птиц различный толк.
О рок!
Проникнуть можно ли судеб твоих причину?
Караешь явно ты пернатую дичину!
И вдруг сомкнулись все, во всех местах запели,
И все согласно захотели,
Чтоб Тетерев был царь.
Хоть он глухая тварь,
Хоть он разиня бестолковый,
Хоть всякому стрелку подарок он готовый,—
Но все в надежде той,
Что Тетерев глухой
Пойдет стезей Орлицы...
Ошиблись бедны птицы!
Глухарь безумный их —
Скупяга из скупых,
Не царствует — корпит над скопленной добычью
И управлять другим несчастной отдал дичью.
Не бьет он, не клюет,
Лишь крохи бережет.
Любимцы ж царство разоряют,
Невинность гнут в дугу, срамцов обогащают...



«Гравюра из издания «Сочинения Дениса Давыдова. 1840 г.»

Их гнусной прихотью кто пó миру пошел,
Иной лишен гнезда — у них коль не нашел.
    Нет честности ни в чем, идет все на коварстве,
    И сущий стал разврат во всем дичином царстве.

    Ведь выбор без ума урок вам дал таков:
  Не выбирать в цари ни злых, ни добрых петухов.

1804

БУРЦОВУ

Призывание на пунш

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради бога и... арака
Посети домишко мой!
В нем нет нищих у порогу,
В нем нет зе́ркал, ваз, картин,
И хозяин, слава богу,
Не великий господин.
Он — гусар, и не пускает
Мишурою пыль в глаза;
У него, брат, заменяет
Все диваны куль овса.
Нет курильниц, может статься,
Зато трубка с табаком;
Нет картин, да заменятся
Ташкой с царским вензелём!
Вместо зеркала сияет
Ясной сабли полоса:
Он по ней лишь поправляет
Два любезные уса.
А на место ваз прекрасных,
Беломраморных, больших,
На столе стоят ужасных
Пять стаканов пуншевых!
Они по́лны, уверяю,
В них сокрыт небесный жар.
Приезжай, я ожидаю,
Докажи, что ты гусар.

1804

БУРЦОВУ

В дымном поле, на биваке
У пылающих огней,
В благодетельном араке
Зрю спасителя людей.
Собирайся в круговую,
Православный весь причёт!
Подавай лохань златую,
Где веселие живет!
Наливай обширны чаши
В шуме радостных речей,
Как пивали предки наши
Среди копий и мечей.
Бурцов, ты — гусар гусаров!
Ты на ухарском коне
Жесточайший из угаров
И наездник на войне!
Стукнем чашу с чашей дружно!
Нынче пить еще досужно;
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят.
Выпьем же и поклянемся,
Что проклятью предаемся,
Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, побледнеем,
Пожалеем нашу грудь
И в несчастьи оробеем;
Если мы когда дадим
Левый бок на фланкировке,
Или лошадь осадим,
Или миленькой плутовке
Даром сердце подарим!

Пусть не сабельным ударом
Пресечется жизнь моя!
Пусть я буду генералом,
Каких много видел я!
Пусть среди кровавых бо́ев
Буду бледен, боязлив,
А в собрании героев
Остр, отважен, говорлив!
Пусть мой ус, краса природы,
Черно-бурый, в завитках,
Иссечется в юны годы
И исчезнет, яко прах!
Пусть фортуна для досады,
К умножению всех бед,
Даст мне чин за вахтпарады
И георгья за совет!
Пусть... Но чу! гулять не время!
К ко́ням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон — и в сечу! Вот
Пир иной нам бог дает,
Пир задорней, удалее,
И шумней, и веселее...
Ну-тка, кивер набекрень,
И — ура! Счастливый день!

1804

ГУСАРСКИЙ ПИР

Ради бога, трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай
С закручёнными усами!
Чтобы хором здесь гремел
Эскадрон гусар летучих,
Чтоб до неба возлетел
Я на их руках могучих;
Чтобы стены от *ура*
И тряслись и трепетали!..
Лучше б в поле закричали...
Но другие горло драли:
«И до нас придет пора!»
Бурцов, брат, что́ за раздолье!
Пунш жестокий!.. Хор гремит!
Бурцов, пью твое здоровье:
Будь, гусар, век пьян и сыт!
Понтируй, как понтируешь,
Фланкируй, как фланкируешь;
В мирных днях не унывай
И в боях качай-валяй!
Жизнь летит: не осрамимся,
Не проспи ее полет,
Пей, люби да веселися! —
Вот мой дружеский совет.

1804

МУДРОСТЬ

Анакреонтическая ода

Мы недавно от печали,
Лиза, я да Купидон,
По бокалу осушали
И просили Мудрость вон.

«Детушки, поберегитесь! —
Говорила Мудрость нам.—
Пить не до́лжно; воздержитесь:
Этот сок опасен вам».

«Бабушка! — сказал плутишка,—
Твой совет законом мне.
Я — послушливый мальчишка,
Но... вот капелька тебе,—

Выпей!» — Бабушка напрасно
Отговаривалась пить.
Как откажешь? Бог прекрасной
Так искусен говорить.

Выпила и нам твердила
О воздержности в вине;
Еще выпив, попросила,
Что осталося на дне.

И старушка зашаталась,
Не нашедши больше слов;
Зашатавшись, спотыкалась,
Опираясь на Любовь.

1807

ДОГОВОРЫ

Довольно... я решен: люблю тебя... люблю.
Давно признанию удобный миг ловлю,
И с уст трепещущих слететь оно готово.
Но взглянешь ты — смущаюсь я
И в сердце робкое скрываю от тебя
Всё бытие мое, вмещающее слово.
Бегу тебя... вотще!.. полна
Безумная душа тобою,
В мечтах бессонницы и в жарких грезах сна,
Неотразимая! ты всюду предо мною.
Прилично ль это мне? — Прошла, прошла пора
Тревожным радостям и бурным наслажденьям,
Потухла в сумраке весны моей заря;
Напрасно предаюсь привычным заблужденьям,
Напрасно! — мне ль тебя любить?
Мне ль сердце юное к взаимности склонить?
Увы, не в techинах сердца обворожаешь!

Всё правда!.. но вчера... ты знаешь...
Могу ли позабыть наш тайный разговор!
Ты резвостью мила; но вздох, но томный взор
Но что задумчивость твоя мне обещают?
Сказать ли всё тебе? Уж в свете примечают,
Что ты не так резва, беспечна и меня
Безмолвно слушаешь. Вчера рука твоя
Моей не покидала.
Она в руке моей горела, трепетала,
И ты глядела — на кого?

Глядела на меня, меня лишь одного...
Я видел всё... да, я любим тобою!
Как выражу восторг я сердца моего?

Теперь заранее нам до́лжно меж собою
Согласно начертать сердечный договор;
Мы тем предупредим семейственный раздор,
Неудовольствия и неизбежны споры.
Вот *первая статья:*
Мы будем жить одни, глаз на́ глаз, ты да я.
Здесь тьма насмешников, которых разговоры
Кипят злословием; ехидных языков
Я, право, не боюсь; но модных болтунов,
Кудрявых волокит, с лорнетами, с хлыстами,
С очками на носу, с надутыми брыжжами —
Как можно принимать? — Нет, без обиняков,
Нет, нет, решительно: отказ им невозвратный!
И для чего нам свет и чопорный и знатный,
Рой обожателей и шайка сорванцов?
К чему, скажи ты мне, менять нам тихий кров
И мирную любви обитель
На шумный маскарад нахалов и шутов?
Бог с ними! что́ до них! я обществ не любитель
И враг любезникам. Могу ль переносить
И угождения, и в дружбе уверенья
Вертлявых шаркунов? Имеешь позволенье
Раз в месяц... два раза́ — принять и угостить
Мне с детства моего знакомого соседа
Семидесяти лет. О, как его беседа
Полезна для души! Какой он явный враг
Всем ветреным забавам, развлеченьям,
Пирам, и праздникам, и светским угожденьям.

Итак, мой сделан первый шаг,
И *первая статья* написана. *Вторая:*
Прошу театр не посещать.
Но это — жертва не большая:
Ах, нам ли время убивать,
За наслаждением искусственным стремиться?
Миг дорог для любви! Мой друг, мой юный друг,
Минута праздная чем может наградиться?
К тому ж, что видим мы в театрах? — Малый круг

Разумных критиков, а прочие — зеваки,
Глупцы, насмешники, невежды, забияки.
Открылся занавес: неистовый герой
Завоет на стихах и в бешенстве жеманном
Дрожащую княжну дрожащею рукой
Ударит невпопад кинжалом деревянным;
Иль, небу и земле отмщением грозя,
Пронзает грудь свою и, выпуча глаза,
Весь в клюквенном соку, кобенясь, умирает...
И ужинать домой с княжною уезжает.
Комедия тебя неужто веселит?
Чему учиться в ней? — лукавствовать, смеяться
Над добрыми людьми? Но можно ль забавляться
Несчастьем ближнего? — Там старичок смешит,
Что поздно полюбил,— но кто повелевает
Волнением страстей? Там мужа наряжает
Прической модною прелестная жена —
И муж бодается; насмешка не одна
Язвит любовников ревнивых!..
Чтó тут веселого? — К тому ж не вижу ль я
Опять соборища слепцов многоречивых!
Куда деваться мне? куда укрыть тебя
От жадных взглядов их и уст медоточивых?
Уж вот они,— шумят! Уж в ложе,— боже мой!..
Уж пять *наездников* меж мною и тобой...
И вот еще один теснится с извиненьем...
И я у притолки! — Любезные слова
Их слушать осужден с досадой, с нетерпеньем...
Молчу! Чтó делать мне? — Супружние права
Теряют действие в собраньях многолюдных.
Но зрелищу конец, и мы идем с толпой
К подъезду... ах, и тут не легче жребий мой:
И тут я сволочью нахалов безрассудных
Затолкан дó смерти! Они спешат, летят,
Усердствуют тебе и руку предлагают...
Возможно ль отказать? Учтивость, говорят,
Отказам первый враг. Глаза мои теряют
Тебя средь моря шуб, капотов, сертуков,
И шляп с султанами, и шапок, и чепцов!
Не черти ли назло мне путь пересекают,
Везде препятствия! — и я один брожу...
Нет, именем любви тебя прошу
Забыть навек театр, любви моей опасный!

Не всё, не всё еще: танцуешь ты прекрасно,
Я знаю; *но тебе на бáлах не бывать.*
Как, будешь ты на бал заране наряжаться,
С намереньем приготовляться,
Чтоб нравиться другим, прельщать, обворожать?..
Так, стало, для других и локоны волнисты
Завьются? Для других и яхонты огнисты,
Алмазы яркие зажгутся в волосах,
Всё это для других? — И в золоте, в лучах,
Богиня празднества, кадимая жрецами
И упоенная мольбами и хвалами,
Из жалости одной взор бросишь на того,
Кто более всех любит, и кого
Ты не нарядами, не блеском привлекаешь,
Но сердцем, но умом, но скромностью пленяешь!..
Но вальсы начались. На вальс тебя просить
Подходит юноша. Он, с видом боязливым,
Бродящим взором, торопливым,
Окинул общество и взор остановить
Решился на тебе... И кто не восхитится,
Увидевши тебя! Уж он с тобой вертúтся...
Злодей! Уж он, обняв твой гибкий, стройный стан,
Летает... дó полу из милости касаясь,
И ты лицо с лицом!.. А я?.. я, разрываясь,
Опять у притолки! А я? Опять в обман
Попался! Думал быть с тобою неразлучен,
Ждал удовольствия — теперь несносен, скучен,
В отчаянье, взбешен! — Но вальса вихрь утих,
И ты спешишь ко мне, чтоб перевесть дыханье,—
Я ожил, я забыл и горе и страданье,
Но, ах, надолго ли? — Рой франтов молодых
В погоне за тобой, и ты с одним из них —
Прекраснейшим, любезнейшим... Нет, полно!
Нет, *балы позабудь!..* Утешь меня!.. Довольно
Измучен уже я одной мечтой моей!

Для рассудительных, бесчувственных людей
Я странен, может быть? Что ж делать, друг мой милый,
Могу ли быть тебе несносен от того?
Не я виновен в том. Я сердца моего
Могу ль избавиться? Какою силой
Дам чувства новые ему?

Мне скажут: я тебя на скуку осуждаю,
Твой дом — в безлюдную тюрьму,
Столицу — в монастырь пустынный обращаю...
О нет! я сам хочу, чтоб всюду за тобой
Утехи, радости стремилися толпой...
Но я покой люблю, но скромность обожаю...
И потому *тебя в деревню призываю.*
Огромны здания не нужны нам с тобой:
Чертог, украшенный искусною рукой,
Очаровательный, чудесный,
Не так мне нравится, как сельский домик тесный,
Но светлый и простой; я тесноту люблю:
Боюсь далеко жить от той, с кем жизнь делю!
В одной же горнице кто шепчет, кто вздыхает,
Кто стукнет, заскрыпит, на цыпочках ступает,—
Я вижу, слышу, знаю всё —
И сердце от того спокойнее мое.
Чего ж еще желать блаженства к дополненью?
Во вкусе а́нглийском, простом,
Я рощу насажу, она окру́жит дом,
Пустыню оживит, даст пищу размышленью;
Вдоль рощи побежит струистый ручеек;
Там ивы гибкие беседкою сплетутся;
Березы над скамьей, развесившись, нагнутся;
Там мшистый, темный грот, там светленький лужок.
И даже огород приманит нас порою
Своей роскошною и скромной простотою.
Мы будем счастливы природой и собой!
Не далеко межа пустынников владенью...
Но сколько места в нем живому наслажденью!
Бог с ними, с бла́гами роскошных гордецов!
Им мир и блеск мирской — нам угол и любовь.
Друзья, товарищи трудов моих смиренных —
Кто будут? Жители села с простым умом;
Ум сто́ит остроты: в невежестве своем
Они почтеннее людей высокомерных,
Которых называть опасно... Замолчу!..
Итак, с тобою я в деревню полечу,
Забывши светские печальные забавы,
И общежитие, и модные уставы.
О, сколько радости нас ожидает там!
Скитаться будем мы по рощам, по горам,

Куда глаза глядят... Но только всё со мною,
 Не разлучаяся, рука с рукою.
Найдем красивый вид; мы, восхищаясь им,
Приостановимся и взоры усладим,
И сердце сладкими наполнится мечтами...
Но вечереет день, уж солнце за горами,
И сумрак стелется; мы тихою стопой
Идем, задумавшись, с растроганной душой,
Спокойны, сча́стливы. Деревню переходим,
Но мимо хижины убогой не проходим;
Там скорбь безмолвную ты в рубище найдешь...
Смотри: мать бледная с детьми к тебе теснится;
Ты всем несчастным друг, ты помощь им даешь,
И жаркая слеза из глаз твоих катится.
Так дни проводишь ты. Там щедрою рукой
Даришь приданое невесте молодой;
Там старца дряхлого ты ле́та уважаешь:
Почетную скамью на свадьбе уступаешь;
И в скромном платьице, без вычурных чудес,
Ты всем являешься посланницей небес.
Так в радостях любви мы дней не замечаем,
Так жизнь летящую в блаженство обращаем.

Ратификации трактату моему
Я с нетерпеньем жду. Доверься своему
Ты другу — *подпиши статьи первоначальны;*
Доволен будет он. Со временем ему
Осенни вечера, мечты, прогулки дальны —
Внушат важнейшие. Придет счастливый час —
И *тайные статьи* явя́тся *напоказ.*

1807, середина 1830-х годов

ЧИЖ И РОЗА

Басня

Дочь юная весны младой,
Румяна Роза расцветала
И утреннею красотой
Сердца невольно привлекала.
И Чижик Розу полюбил;
Он путь к красавице направил,
Кочующих друзей оставил
И день и ночь при Розе жил.
Качаясь на зеленой ветке,
Где ждал награды для себя,
Хорошенькой своей соседке
Он говорил: «Люблю тебя!»
«Уж многие любить клянутся,—
Сказала Роза,— так, как ты;
Когда ж лишусь я красоты,
Где верные друзья найдутся?»
«Мне быть неверным? Никогда! —
Поет любовник легкокрылый,—
Напротив, страсть моя тогда
Еще усилится, друг милый!»
Амур тогда в саду летал:
Ему ль оставить это дело?
Он вдруг дыханье удержал —
И всё в природе охладело.
Бореи свищут, прах метут;
Листочки Розы побледнели,

Зефиры, мотыльки взлетели,
И следу нет!.. А Чижик тут.
«Ах, если ты находишь счастье
В моей любви,— он говорил,—
Утешься! Я люблю в ненастье,
Как в утро красное любил!»
Бог удивился не напрасно,
Он щедро наградил чету:
Удвоил Розы красоту,
И Чиж один любим был страстно.

Смысл басни, кажется, найдён;
Его ты знаешь, друг мой милый:
Я — тот любовник легкокрылый,
Но как за верность награжден?

1808

* * *

Поведай подвиги усатого героя,
О муза, расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.

Румяный Левенгёльм на бой приготовлялся
И, завязав жабо, прическу поправлял,
Ниландский полк его на клячах выезжал,
За ним и корпус весь Клингспора пресмыкался;
О храбрые враги, куда стремитесь вы?
Отвага, говорят, ничто без головы.

Наш Кульнев до зари, как сокол, встрепенулся;
Он воинов своих ко славе торопил:
«Вставайте,— говорит,— вставайте, я проснулся!
С охотниками в бой! Бог храбрости и сил!
По чарке да на конь, без холи и затеев;
Чем ближе, тем видней, тем легче бить злодеев!» *
Всё вмиг воспрянуло, всё двинулось вперед...
О муза, расскажи торжественный поход!

1808

* Приказ Кульнева накануне нападения, которое было назначено за два часа до рассвета. (*Прим. Давыдова.*)



Я. П. Кульнев. Гравюра Ф. Вендрамини

ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ

Если б боги милосердия
Были боги справедливости,
Если б ты лишилась прелестей,
Нарушая обещания...
Я бы, может быть, осмелился
Быть невольником преступницы!
Но, Аглая, ка́к идет к тебе
Быть лукавой и обманчивой!
Ты изменишь — и прекраснее!
И уста твои румяные
Еще более румянятся
Новой клятвой, новой выдумкой!
Голос, взор твой привлекательней,
И, богами вдохновенная,
Ты улыбкою небесною
Разрушаешь все намеренья
Разлюбить неразлюбимую!
Сколько пленников скитается,
Сколько пре́зренных терзается
Вкруг обители красавицы!
Мать страшится называть тебя
Сыну, юностью кипящему,
И супруга содрогается,
Если взор супруга верного
Хотя раз, хоть на мгновение
Обратится на волшебницу!..

1808

ГРАФУ П. А. СТРОГАНОВУ

*За чекмень, подаренный им мне
во время войны 1810 года в Турции*

Блаженной памяти мой предок Чингисхан,
Грабитель, озорник, с аршинными усами,
На ухарском коне, как вихрь перед громами,
В блестящем панцире влетал во вражий стан
И мощно рассекал татарскою рукою
Всё, что противилось могущему герою.
Почтенный пращур мой, такой же грубиян,
Как дедушка его, нахальный Чингисхан,
В чекмене легоньком, среди мечей разящих,
Ордами управлял в полях, войной гремящих.
Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю;
Как пращур мой Батый, готов на бранну прю.
Но мне ль, любезный граф, в французском одеянье
Явиться в авангард, как франту на гулянье,
Завязывать жабо, прическу поправлять
И усачам себя Линдором показать!
Потомка бедного ты пожалей Батыя
И за чекмень прими его стихи дурные!

1810

МОЯ ПЕСНЯ

Я на чердак переселился:
Жить выше, кажется, нельзя!
С швейцаром, с кучером простился
И повара лишился я.
Толпе заимодавцев знаю
И без швейцара дать ответ;
Я сам дверь важно отворяю
И говорю им: «Дома нет!»

В дни праздничные для катанья
Готов извозчик площадной,
И будуар мой, зала, спальня —
Вместились в горнице одной.
Гостей искусно принимаю:
Глупцам — показываю дверь,
На стул один — друзей сажаю,
А миленькую... на постель.

Мои владенья необъятны:
В окрестностях столицы сей
Все мызы, где собранья знатны,
Где пир горой, толпа людей.
Мои все радости — в стакане,
Мой гардероб лежит в ряду,
Богатство — в часовом кармане,
А сад — в Таврическом саду.

Обжоры, пьяницы! хотите
Житье-бытье мое узнать?

Вы слух на песнь мою склоните
И мне старайтесь подражать.
Я завтрак сытный получаю
От друга, только что проснусь;
Обедать — в гости уезжаю,
А спать — без ужина ложусь.

О богачи! не говорите,
Что жизнь несчастлива моя.
Нахальству моему простите,
Что с вами равен счастьем я.
Я кой-как день переживаю —
Богач роскошно год живет...
Чем кончится? И я встречаю,
Как миллионщик, новый год.

1811

В АЛЬБОМ

На вьюке, в тороках, цевницу я таскаю,
Она и под локтем, она под головой;
Меж конских ног позабываю,
В пыли, на влаге дождевой...
Так мне ли ударять в разлаженные струны
И петь любовь, луну, кусты душистых роз?
Пусть загремят войны перуны,
Я в этой песне виртуоз!

1811

К Е. Ф. С—НУ, УБЕЖДАВШЕМУ МЕНЯ НАПИСАТЬ ЕМУ ЧТО-НИБУДЬ

Рушитель лености моей,
Оставь дремать меня в покое
Среди моих беспечных дней;
Позволь мне время золотое
Заботами не возмущать!
Я славы не хочу искать;
Хочу покоиться всечасно,
Лежа в постеле, размышлять
И век лениться сладострастно!

1813

Эпиграммы

К ПОРТРЕТУ БОНАПАРТЕ

Сей корсиканец целый век
Гремит кровавыми делами.
Ест по сту тысяч человек
И королями.

К ПОРТРЕТУ NN

Говорит хоть очень тупо,
Но в нем это мудрено,
Что он умничает глупо,
А дурачится умно.

НА К.

Bout-rimé *

В любезности его неодолимый *груз*,
В нем не господствуют ни соль, ни *перец;*
Я верю: может быть, для немок он — *француз,*
Но для французенок он — *немец.*

* Буриме — стихи на заданные рифмы.

НА НЕГО ЖЕ

А кто он? — Француз, германец,
Франт, философ, скряга, мот,
То блудлив, как ярый кот,
То труслив, как робкий заяц;
То является томим
Чувством жалостно-унылым,
То бароном легкокрылым,
То маркизом пудовым.

НАДПИСЬ К СОЧИНЕНИЯМ Г.**

Он с цветочка на цветок,
С стебелька на стебелек
Мотыльком перелетает;
Но сколь рок его суров:
Все растенья он лобзает,
Кроме... ла́вровых листов!

ЭПИГРАММА

Остра твоя, конечно, шутка,
Но мне прискорбно видеть в ней
Не счастье твоего рассудка,
А счастье памяти твоей.

Между 1805 и 1814 годами

К МОЕЙ ПУСТЫНЕ

Пустыня тихая, сует уединенна,
В тебе я позабыл все горести мои!
Но будь ты на холмах *Аи*,—
Тогда была бы совершенна!

1814

В. А. ЖУКОВСКОМУ

Жуковский, милый друг! Долг красен платежом:
Я прочитал стихи, тобой мне посвященны;
Теперь прочти мои, биваком окуренны
          И спрысканны вином!
Давно я не болтал ни с музой, ни с тобою,
До стоп ли было мне?..

. . . . .

Но и в грозах войны, еще на поле бранном,
        Когда погас российский стан,
Тебя приветствовал с огромнейшим стаканом
Кочующий в степях нахальный партизан!

1814

* * *

Гераков! прочитал твое я сочиненье,
Оно утешило мое уединенье;
Я несколько часов им душу восхищал:
Приятно видеть в нем, что сердцу благородно,
Что пылкий дух любви к отечеству внушал,—
Ты чтишь отечество, и русскому то сродно:
Он ею славу, честь, бессмертие достал.

1814

ПЕСНЯ

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
    Я люблю кровавый бой,
    Я рожден для службы царской!

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
    За тебя на черта рад,
    Наша матушка Россия!

Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами,
Днем — рубиться молодцами,
Вечерком — горелку пить!
    Станем, братцы, вечно жить
    Вкруг огней, под шалашами!

О, как страшно смерть встречать
На постеле господином,
Ждать конца под балдахином
И всечасно умирать!
    О, как страшно смерть встречать
    На постеле господином!

То ли дело средь мечей!
Там о славе лишь мечтаешь,
Смерти в когти попадаешь,
И не думая о ней!
    То ли дело средь мечей:
    Там о славе лишь мечтаешь!

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
    Я люблю кровавый бой,
    Я рожден для службы царской!

1815

ДРУГУ-ПОВЕСЕ

Болтун красноречивый,
Повеса дорогой!
Оставим свет шумливый
С беспутной суетой.
Пусть радости игривы,
Амуры шаловливы,
И важных муз сигклит,
И троица харит
Украсят день счастливый!
Друг милый, вечерком
Хоть на часок покинем
Вельмож докучный дом
И к камельку подвинем
Диваны со столом,
Плодами и вином
Роскошно покровенным
И гордо отягченным
Страсбу́ргским пирогом.
К нам созван круг желанный
Отличных сорванцов,
И, плю́щем увенчанны,
Владельцы острых слов,
Мы Вакховых даров
Потянем сок избра́нный!
Прошу тебя забыть
Нахальную уловку,
И крепс, и понтировку,
И страсть людей губить,

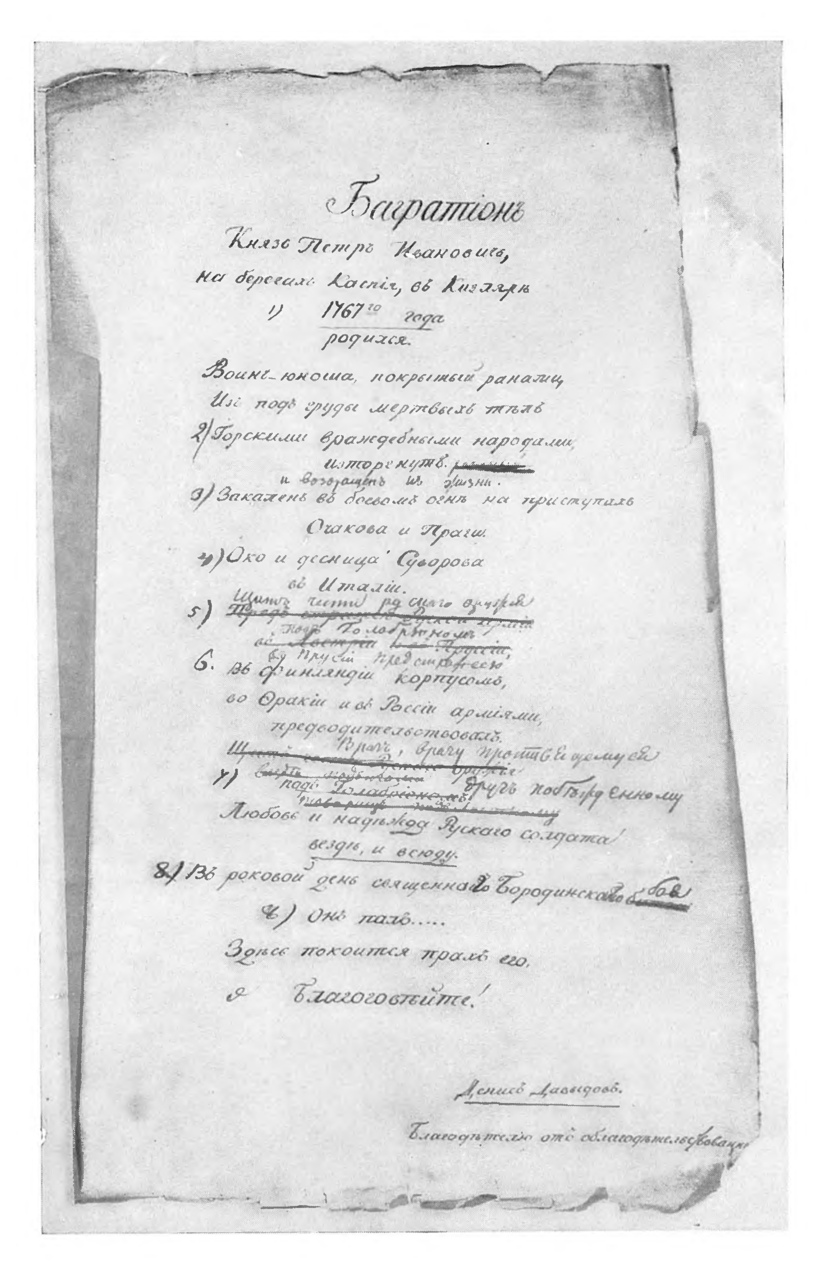
А лучше пригласить
Изменницу, плутовку,
Которую любить
До завтра, может быть,
Вчера ты обещался.
Проведавши мой зов,
На пир ко мне назвался
Эрот, сей бог богов,
Веселых шалунов
Любимец и любитель,
Мой грозный повелитель
До сребряных власов.
Я место назначаю
Почетное ему,
По сану и уму:
Прекрасного сажаю
Близ гостьи молодой
И тяжкий кубок мой
Чете препоручаю.
И пробка полетит
До потолка стрелою,
И пена зашумит
Сребристою струею
Под розовой рукою
Резвейших из харит!
Так время пробежит
Меж радостей небесных,—
А чтоб хмельнее быть,
Давай здоровье пить
Всех ветрениц известных!

1815

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА

Чтó она? — Порыв, смятенье,
И холодность, и восторг,
И отпор, и увлеченье,
Смех и слезы, черт и бог,
Пыл полуденного лета,
Урагана красота,
Исступленного поэта
Беспокойная мечта!
С нею дружба — упоенье...
Но спаси, создатель, с ней
От любовного сношенья
И таинственных связей!
Огненна, славолюбива,
Я ручаюсь, что она
Неотвязчива, ревнива,
Как законная жена!

1816



Багратіонъ

Князь Петръ Ивановичъ,

на берегахъ Каспія, въ Кизлярѣ

1) 1767-го года

родился.

Воинъ-юноша, покрытый ранами,

Изъ подъ груды мертвыхъ тѣлъ

2) Горскими враждебными народами,

исторгнутъ

и возвращенъ къ жизни.

3) Закаленъ въ боевомъ огнѣ на приступахъ

Очакова и Праги.

4) Око и десница Суворова

въ Италіи.

5) Щитъ чести русскаго оружія

подъ Голлабрюномъ

въ Пруссіи предстражею,

6. Въ Финляндіи корпусомъ,

во Өракіи и въ Россіи арміями,

предводительствовалъ.

7) Врагъ, врагу противу[illegible]

другъ побѣжденному

Любовь и надежда Рускаго солдата

вездѣ, и всюду.

8) Въ роковой день священнаго Бородинскаго боя

9) Онъ палъ.....

Здѣсь покоится прахъ его.

Я благоговѣйте!

Денисъ Давыдовъ.

Благодѣтелю отъ облагодѣтельствованнаго

Проект надписи на памятнике П. И. Багратиону. Автограф Дениса Давыдова

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ НАПИСАТЬ СТИХИ

Вы хотите, чтоб стихами
Я опять заговорил,
Но чтоб новыми стезями
Верх Парнаса находил:
Чтобы славил нежны розы,
Верность женские любви,
Где трескучие морозы
И кокетства лишь одни!
Чтоб при ташке в доломане
Посошок в руке держал
И при грозном барабане
Чтоб минором воспевал.
Неужель любить не можно,
Чтоб стихами не писать?
И, любя, ужели должно
Чувства в рифмы оковать?
По кадансу кто вздыхает,
Кто любовь в цветущий век
Лишь на стопы размеряет,
Тот — прежалкий человек!
Он влюбился — и поспешно
Славит милую свою;
Возрыдая безутешно,
Говорит в стихах: «Пою!»
От парнасского паренья
Беспокойной головы
Скажет также, без сомненья,
И жестокая: «Увы!»

Я поэзией небесной
Был когда-то вдохновен.
Дар божественный, чудесный,
Я навек тебя лишен!
Лизой душу занимая,
Мне ли рифмы набирать?
Ах, где есть любовь прямая
Там стихи не говорят!..

1816

ЭЛЕГИЯ 1

Возьмите меч — я недостоин брани!
Сорвите лавр с чела — он страстью помрачен!
О боги Пафоса, окуйте мощны длани
И робким пленником в постыдный ринь̆те плен!
Я — ваш! И кто не воспылает!
Кому не пишется любовью приговóр,
Как длинные она ресницы подымает,
И пышет страстью взор!
Когда харитой улыбнется,
Или в ночной тиши
Воздушным призраком несется,
Иль, непреклонная, над чувствами смеется
Обуреваемой души!
О вы, которые здесь прелестьми гордитесь!
Не вам уж более покорствует любовь,
Взгляните на нее и сердцем содрогнитесь:
Она — владычица и смертных и богов!
Ах, пусть бог Фракии мне срамом угрожает
И, потрясая лавр, манит еще к боям,
Воспитанник побед прах ног ее лобзает
И говорит *прости!* торжественным венкам...
Но кто сей юноша блаженный,
Который будет пить дыханье воспаленно
На тающих устах,
Познает мленье чувств в потупленных очах..
И на груди ее воздремлет утомленный?
Чего ему тогда останется желать?
Чего искать ему? — он всё уже имеет!
Он выше всех царей достоин восседать!
Он бог, пред коим мир, склонясь, благоговеет!

1814

ЭЛЕГИЯ II

Пусть бога-мстителя могучая рука
На теме острых скал, под вечными снегами
За ребра прикует чугунными цепями
Того, кто изобрел ревнивого замка
Закрепы звучные и тяжкими вратами,
За хладными стенами,
Красавиц заточил в презрении к богам!

Где ты, рожденная к восторгам, торжествам,
И к радостям сердец, и к счастью юной страсти,
Где ты скрываешься во цвете ранних лет,
Ты, дева горести, воспитанница бед,
Смиренная раба неумолимой власти!

Увижу ли тебя, услышу ль голос твой?
И долго ль в мрачности ночной
Мне с думой горестной, с душой осиротелой
Бродить вокруг обители твоей,
Угадывать окно, где ты томишься в ней,
Меж тем как снежный вихрь крути́т среди полей
И свищет резкий ветр в власах оледенелых!
Ах! может быть, к окну влекомая судьбой
Или предчувствием каким неизъяснимым,
Ты кра́дешься к нему, когда мучитель твой,
Стан гибкий обхватя, насильственной рукой
Бросает трепетну к подругам торопливым!

Восстань, о бог богов! Да пламенной рекой
Твой гнев жестокий и правдивый
Обрушится с небес на зданье горделиво,
Темницу адскую невинности младой;
И над строптивою преступника главой
Перуны ярые со треском разразятся!
Тот, кто осмелится бесчувственно касаться
До юных прелестей красавицы моей,
Тот в буйной дерзости своей
И лик священный твой повергнет раздробленный
И рушит алтари, тебе сооруженны!
А ты, любимица богов,
Ты бедствий не страшись — невидимый покров
Приосенит тебя от бури разъяренной,
Твой спутник — бог любви: стезею потаенной
Он провести прекрасную готов
От ложа горести до ложа наслажденья...

О, не чуждайся ты благого поученья
Бессмертного вождя! Учись во тьме ночной,
Как между стражами украдкой пробираться,
Как мягкою стопой чуть до́ полу касаться
И ощупью идти по лестнице крутой.
Дерзай! Я жду тебя, кипящий нетерпеньем!
Тебе ль, тебе ль платить обидным подозреньем
Владыке благ земных? Ты вспомни, сколько раз
От бдительных моих и ненасытных глаз
Твой аргус в трепетном смущенье
Тебя с угрозой похищал
И тайным влек путем обратно в заточенье!..
Всё тщетно! Я ему стезю пересекал.
Крылатый проводник меня предупреждал
И путь указывал мне прежде неизвестный.
Решись без робости, о сердца друг прелестный!
Не медли: полночь бьет,
И угасающи лампады закурились,
И стражи грозные во мраке усыпились...
И руку бог любви прекрасной подает!

1814

ЭЛЕГИЯ III

О милый друг, оставь угадывать других
Предмет, сомнительный для них,
Тех песней пламенных, в которых, восхищенный,
Я прославлял любовь, любовью распаленный!
Пусть ищут, для кого я в лиру ударял,
Когда поэтов в хоре
Российской Терпсихоре
Восторги посвящал!
Но ты не в заблужденьи,
Кого в воображеньи
Я розами венчал,
Чьи длинные ресницы
Звук стройныя цевницы
Потомству предавал!
И мне ли огнь желанья
В других воспламенять,
Мне ль нового искать
В любви очарованья?
Я страстен лишь тобой!..
Под именем другой
Тебя лишь славят струны,
И для тебя одной
Бросаю в вражий строй
Разящие перуны!
Восторгом упоен,
Века предупреждаю
И, миртом осенен,
Бессмертие вкушаю

1815

ЭЛЕГИЯ IV

В ужасах войны кровавой
Я опасности искал,
Я горел бессмертной славой,
Разрушением дышал;
И в безумстве упоенный
Чадом славы бранных дел,
Посреди грозы военной
Счастие найти хотел!..
Но, судьбой гонимый вечно,
Счастья нет! подумал я...
Друг мой милый, друг сердечный,
Я тогда не знал тебя!
Ах, пускай герой стремится
За блистательной мечтой
И через кровавый бой
Свежим лавром осенится...
О мой милый друг! с тобой
Не хочу высоких званий,
И мечты завоеваний
Не тревожат мой покой!
Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противустать,
Первый долг мой, долг священный —
Вновь за родину восстать;
Друг твой в поле появится,
Еще саблею блеснет,
Или в лаврах возвратится,
Иль на лаврах мертв падет!..

Полумертвый, не престану
Биться с храбрыми в ряду,
В память Лизу приведу...
Встрепенусь, забуду рану,
За тебя еще восстану
И другую смерть найду!

1816

ЭЛЕГИЯ V

Всё тихо! и заря багряною стопой
По синеве небес безмолвно пробежала...
И мгла, что гор хребты и рощи покрывала,
Волнуясь, стелется туманною рекой
По лугу пестрому и ниве молодой.
Блаженные часы! Весь мир в отдохновеньи!
Еще зефиры спят на дремлющих листах,
Еще пернатые покоятся в кустах,
И всё безмолвствует в моем уединеньи...

Но, боги! Неужель вы с мира тишиной
И чувств души моей порывы усмирили?
Ужели и во мне господствует покой?..
        Уже, о счастие! не вижу пред собой
        Я призрак грозный, вечно милый,
Которого нигде мой взор не покидал...
        Нигде! ни в шумной сече боя,
Ни в бранных игрищах военного покоя!..

О ты, что я в тоске на помощь призывал,
Бесчувствие! о дар рассудка драгоценный,
        Ты, вняв мольбе моей смиренной,
Нисходишь наконец спасителем моим.
        Я погибал... Тобой одним
Достигнул берега, и с мирныя вершины
Смотрю бестрепетно, грозою невредим,
На шумные валы бездонныя пучины!..

А ты, с кем некогда делился я душой,
И кем душа моя в мученьях истощилась...
Утешься: ты забыта мной!..
Но, ах, почто слезой ланита окропилась?
О слезы пламенны, теките! Я свои
Минуты радости от сих минут считаю
И вас не от любви,
Но от блаженства проливаю!

1816

ЭЛЕГИЯ VI

О ты, смущенная присутствием моим,
Спокойся: я бегу в пределы отдаленны!
Пусть избранный тобой вкушает дни блаженны,
Пока судьбой храним.
Но, ах! Не мысли ты, чтоб новые восторги
И спутник счáстливый твоих весенних дней
Изгладили меня из памяти твоей!..
О, нет! Есть суд небес и справедливы боги!
Душевны радости, делимые со мной,
Воспоминания протекших упований
И сладкие часы забвенья и мечтаний,
И я, я сам явлюсь тревожить твой покой!
Но уж не в виде том, как в дни мои счастливы,
Когда — смущенный, торопливый —
Я плакал без укор, без гнева угрожал
И за вину твою — любовник боязливый —
Себе у ног твоих прощения искал!
Нет, нет! Явлюсь опять, но как посланник мщенья,
Но как каратель преступленья,
Свиреп, неумолим везде перед тобой:
И среди общества блистательного круга,
И средь семьи твоей, где ты цветешь душой,
В уединении, в объятиях супруга,
Везде, везде в твоих очах
Грозящим призраком, с упреком на устах!
Но нет!.. О, гнев меня к упрекам не принудит:
Чья мертвая душа тобой оживлена,

Тот благости твои век, век не позабудет!
Его богам молитва лишь одна:
Да будет сча́стлива она!..
Но вряд ли счастие твоим уделом бу́дет!

1816

ЭЛЕГИЯ VII

Нет! полно пробегать с улыбкою любви
Перстами легкими цевницу золотую;
Пускай другой поет и радости свои,
И жизни счастливой подругу дорогую...
Я одинок — как цвет степей,
Когда, колеблемый грозой освирепелой,
Он клонится к земле главой осиротелой
И блекнет средь цветущих дней!
О боги, мне ль сносить измену надлежало!
Как я любил! — В те красные лета,
Когда к рассеянью всё сердце увлекало,
Везде одна мечта,
Одно желание меня одушевляло,
Всё чувство бытия лишь ей принадлежало!
О Лиза! сколько раз на Марсовых полях,
Среди грозы боев я, презирая страх,
С воспламененною душою
Тебя, как бога, призывал
И в пыл сраженья мчал
Крылатые полки железною стеною!..
Кто понуждал меня, скажи,
От жизни радостной на жадну смерть стремиться?
Одно, одно мечтание души,
Что славы луч моей на милой отразится,
Что, может быть, венок, приобретенный мной
В боях мечом нетерпеливым,
Покроет лавром горделивым

Чело стыдливое подруги молодой!
Не я ли, вдохновен, касался струн согласных
И пел прекрасную!.. Еще Москва полна
Моих, в стихах, восторгов страстных;
И если ты еще толпой окружена
Соперниц, завистью смущенных,
И милых юношей, любовью упоенных,—
Неблагодарная! не мне ль одолжена
Ты торжеством своим?.. Пусть пламень пожирает,
Пусть шумная волна навеки поглощает
Стихи, которыми я Лизу прославлял!..
Но нет! Изменницу весь мир давно узнал,—
Бессмертие ее уделом остается:
Забудут, что покой я ею потерял
И до конца веков, средь плесков и похвал,
Неверной имя пронесется!

А я? — Мой жребий: пасть в боях
Мечом победы пораженным;
И, может быть, врагом влеченным на полях,
Чертить кремнистый путь челом окровавленным...
Так! Я паду в стране чужой,
Далёко родины, изгнанником невинным:
Никто не окропит холодный труп слезой...
И разбросает ветр мой прах с песком пустынным!

1817

ЭЛЕГИЯ VIII

О, пощади! Зачем волшебство ласк и слов,
Зачем сей взгляд, зачем сей вздох глубокой,
Зачем скользит небережно покров
С плеч белых и с груди высокой?
О, пощади! Я гибну без того,
Я замираю, я немею
При легком шорохе прихода твоего;
Я, звуку слов твоих внимая, цепенею;
Но ты вошла... и дрожь любви,
И смерть, и жизнь, и бешенство желанья
Бегут по вспыхнувшей крови,
И разрывается дыханье!
С тобой летят, летят часы,
Язык безмолвствует... одни мечты и грезы,
И мука сладкая, и восхищенья слезы...
И взор впился в твои красы,
Как жадная пчела в листок весенней розы.

1817

ЭЛЕГИЯ IX

Два раза я вам руку жал;
Два раза молча вы любовию вздохнули...
И девственный огонь ланиты пробежал,
И в пламенной слезе ресницы потонули!
Неужто я любим? — Мой друг, мой юный друг,
О, усмири последним увереньем
Еще колеблемый сомненьем
Мой пылкий, беспокойный дух!
Скажи, что сердца ты познала цену мною,
Что первого к любви биения его
Я был виновником!.. Не надо ничего —
Ни рая, ни земли! Мой рай найду с тобою.

Погибните навек, мечты предрассуждений,
И ты, причина заблуждений,
Чад упоительный и славы и побед!
В уединении спокойный домосед
И мирный семьянин, не постыжусь порою
Поднять смиренный плуг солдатскою рукою,
Иль, поселян в кругу, в день летний, золотой
Взмахнуть среди лугов железною косой.
Но с кем сравню себя, как, в поле утомленный,
Я возвращусь под кров, дубами осененный,
Увижу юную подругу пред собой
С плодами зрелыми, с водою ключевой
И с соком пенистым донского винограда.
Когда вечерние часы — трудов отрада



Денис Давыдов. Литография К. Гампельна (1830-е годы)

. . .

Я часто говорю, печальный, сам с собою:
О, сбудется ль когда мечтаемое мною?
Иль я определен в мятежной жизни сей
Не слышать отзыва нигде душе моей!

1817 (?)

ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ИЗ ПАРНИ

Сижу на берегу потока,
Бор дремлет в сумраке; всё спит вокруг, а я
Сижу на берегу — и мыслию далеко,
Там, там... где жизнь моя!..
И меч в руке моей мутит струи потока.

Сижу на берегу потока,
Снедаем ревностью, задумчив, молчалив...
Не торжествуй еще, о ты, любимец рока!
Ты счастлив — но я жив...
И меч в руке моей мутит струи потока.

Сижу на берегу потока...
Вздохнешь ли ты о нем, о друг, неверный друг...
И точно ль он любим? — ах, эта мысль жестока!..
Кипит отмщеньем дух,
И меч в руке моей мутит струи потока.

1817

НЕВЕРНОЙ

Неужто думаете вы,
Что я слезами обливаюсь,
Как бешеный кричу: *увы!*
И от измены изменяюсь?
Я — тот же атеист в любви,
Как был и буду, уверяю;
И чем рвать волосы свои,
Я ваши — к вам же отсылаю.
А чтоб впоследствии не быть
Перед наследником в ответе,
Все ваши клятвы *век любить* —
Ему послал по эстафете.
Простите! Право, виноват!
Но если б знали, как я рад
Моей отставке благодатной!
Теперь спокойно ночи сплю,
Спокойно ем, спокойно пью
И посреди собратьи ратной
Вновь славу и вино пою.
Чем чахнуть от любви унылой,
Ах, что здоровей может быть,
Как подписать отставку милой
Или отставку получить!

1817

НА МОНУМЕНТ ПОЖАРСКОГО

Так правосудная Россия награждает!
О зависть, содрогнись, сколь бренен твой оплот!
Пожарский оживает —
Смоленский оживет!

1817

ПЕСНЯ СТАРОГО ГУСАРА

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?

Деды, помню вас и я,
Испивающих ковшами
И сидящих вкруг огня
С красно-сизыми носами!

На затылке кивера,
Доломаны до колена,
Сабли, ташки у бедра,
И диваном — кипа сена.

Трубки черные в зубах;
Все безмолвны, дым гуляет
На закрученных висках
И усы перебегает.

Ни полслова... Дым столбом...
Ни полслова... Все мертвецки
Пьют и, преклонясь челом,
Засыпают молодецки.

Но едва проглянет день,
Каждый пó полю порхает;
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.

Конь кипит под седоком,
Сабля свищет, враг валится...
Бой умолк, и вечерком
Снова ковшик шевелится.

А теперь что́ вижу? — Страх!
И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!

Говорят: умней они...
Но что слышим от любого?
Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова!

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?

1817

ЛОГИКА ПЬЯНОГО

Под вечерок Хрунóв из кабачка *Совы*,
Бог ведает куда, по стенке пробирался;
Шел, шел и рухнулся. Народ расхохотался.
Чему бы, кажется? Но люди таковы!
    Однако ж кто-то из толпы —
 Почтенный человек! — помог ему подняться
 И говорит: «Дружок, чтоб впредь не спотыкаться,
        Тебе не надо пить...» —
«Эх, братец! всё не то: не надо мне ходить!»

1817

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Сегодня вечером увижусь я с тобою,
Сегодня вечером решится жребий мой,
Сегодня получу желаемое мною —
Иль абшид на покой!

А завтра — черт возьми! — как зюзя натянуся,
На тройке ухарской стрелою полечу;
Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся,
И пьяный в Петербург на пьянство прискачу!

Но если счастие назначено судьбою
Тому, кто целый век со счастьем незнаком,
Тогда... о, и тогда напьюсь свинья свиньею
И с радости пропью прогоны с кошельком!

1818 (?)

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ КНЯЗЯ ПЕТРА ИВАНОВИЧА БАГРАТИОНА

Где Клии взять перо писать его дела? —
У Славы из крыла.

1810-е годы

* * *

Как будто Диоген, с зажженным фонарем
Я пó свету бродил, искавши человека,
И, сильно утвердясь в намереньи моем,
В столицах потерял я лучшую часть века.
Судей, подьячих я, сенаторов нашел,
    Вельмож, министров, прокуроров,
    Нашел людей я разных сборов —
        Фонарь мой всё горел.
Но, встретившись с тобой, я вздрогнул, удивился —
Фонарь упал из рук, но, ах!.. не погасился.

1810-е годы

БОГОМОЛКА

Кто знает нашу богомолку,
Тот с ней узнал наедине,
Что взор плутовки втихомолку
Поет акафист сатане.

Как сладко с ней играть глазами.
Ниц падая перед крестом,
И окаянными словами
Перерывать ее псалом!

О, как люблю ее ворчанье:
На языке ее всегда
Отказ идет как обещанье —
Нет на словах, на деле *да*.

И, грешница, всегда сначала
Она завóпит горячо:
«О, варвар! изверг! я пропала!»,
А после: «Милый друг, еще...»

Конец 1810-х или
начало 1820-х годов

ЛИСТОК

Листок иссохший, одинокой,
Пролетный гость степи широкой,
Куда твой путь, голубчик мой? —
«Как знать мне! Налетели тучи,
И дуб родимый, дуб могучий
Сломили вихрем и грозой.
С тех пор, игралище Борея,
Не сетуя и не робея,
Ношусь я, странник кочевой,
Из края в край земли чужой;
Несусь, куда несет суровый,
Всему неизбежимый рок,
Куда летит и лист лавровый
И легкий розовый листок!»

Конец 1810-х или начало 1820-х годов

ГУСАР

Напрасно думаете вы,
Чтобы гусар, питомец славы,
Любил лишь только бой кровавый
И был отступником любви.
Амур не вечно пастушком
В свирель без умолка играет:
Он часто, скучив посошком,
С гусарской саблею гуляет;
Он часто храбрости огонь
Любовным пламенем питает —
И тем милей бывает он!
Он часто с грозным барабаном
Мешает звук любовных слов;
Он так и нам под доломаном
Вселяет зверство и любовь.
В нас сердце не всегда желает
Услышать стон, увидеть бой...
Ах, часто и гусар вздыхает,
И в кивере его весной
Голубка гнездышко свивает...

1822

ЭПИТАФИЯ

Под камнем сим лежит Мосальский тощий:
Он весь был в *немощи* — теперь попал он в *мощи.*

1822

ВЕЧЕР В ИЮНЕ

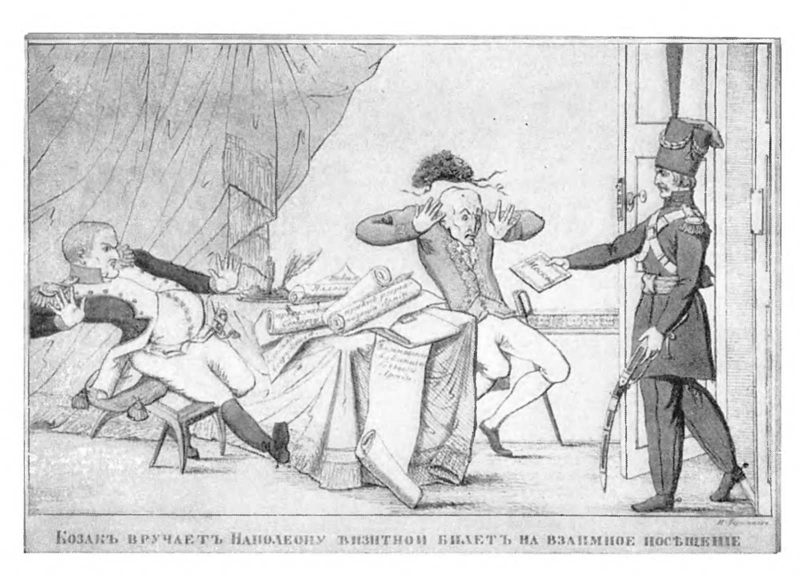
Томительный, палящий день
Сгорел; полупрозрачна тень
Немого сумрака приосеняла дали.
Зарницы бегали за синею горой
И, окропленные росой,
Луга и лес благоухали.
Луна во всей красе плыла на высоту,
Таинственным лучом мечтания питая,
И, преклонясь к лавровому кусту,
Дышала роза молодая.

1826

ОТВЕТ

Я не поэт, я — партизан, казак.
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком,
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимый бивак.
Нет, не наезднику пристало
Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой...
Пусть грянет Русь военною грозой —
Я в этой песни запевало!

1826



И. Теребенев «Казак вручает Наполеону визитный билет на взаимное посещение»



«Французский вояжер в 1812 г.»

ГЕНЕРАЛАМ, ТАНЦУЮЩИМ НА БАЛЕ ПРИ ОТЪЕЗДЕ МОЕМ НА ВОЙНУ 1826 ГОДА

Мы несем едино бремя,
Только жребий наш иной:
Вы оставлены на племя,
Я назначен на убой.

1826

ТОВАРИЩУ 1812 ГОДА, НА ПУТИ В АРМИЮ

Мы оба в дальний путь летим, товарищ мой,
Туда, где бой кипит, где русский штык бушует,
Но о тебе любовь горюет...
Счастливец! о тебе — я видел сам — тоской
Заныли... влажный взор стремился за тобой;
А обо мне хотя б вздохнули,
Хотя б в окошечко взглянули,
Как я на тройке проскакал
И, позабыв покой и негу,
В курьерску завалясь телегу,
Гусарские усы слезами обливал.

1826

ТОСТ НА ОБЕДЕ ДОНЦОВ

Брызни искрами из плена,
Радость, жизнь донских холмов!
Окропи, моя любовь,
Черный ус мой белой пеной!
Друг народа удалого,
Я стакан с широким дном
Осушу одним глотком
В славу воинства донского!

Здравствуйте, братцы атаманы-молодцы!

1826

ПАРТИЗАН

Отрывок

Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает;
Вдали Кутузова курень
Один, как звездочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,
И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит
Необозримой полосою.

И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают.

Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.
Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет — вольны боги!

Давно незнаем им покой,
Привет родни, взор девы нежный;
Его любовь — кровавый бой,
Родня — донцы, друг — конь надежный.
Он чрез стремнины, чрез холмы
Отважно всадника проносит,
То чутко шевелит ушьми,
То фыркает, то у́дил просит.

Еще их скок приметен был
На высях за преградной Нарой,
Златимых отблеском пожара,
Но скоро буйный рой за высь перекатил,
И скоро след его простыл...

1826

ПОЛУСОЛДАТ

«Нет, братцы, нет: полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!

Вы видели: я не боюсь
Ни пуль, ни дротика куртинца;
Лечу стремглав, не дуя в ус,
На нож и шашку кабардинца.

Всё так! Но прекратился бой,
Холмы усыпались огнями,
И хохот обуял толпой,
И клики вторятся горами,

И всё кипит, и всё гремит;
А я, меж вами одинокой,
Немою грустию убит,
Душой и мыслию далеко.

Я не внимаю стуку чаш
И спорам вкруг солдатской каши;
Улыбки нет на хохот ваш;
Нет взгляда на проказы ваши!

Таков ли был я в век златой
На буйной Висле, на Балкане,
На Эльбе, на войне родной,
На льдах Торнео, на Севкане?

Бывало, слово: *друг, явись!*
И уж Денис с коня слезает;
Лишь чашей стукнут — и Денис
Как тут — и чашу осушает.

На скачку, на борьбу готов,
И, чтимый *выродком* глупцами,
Он, расточитель острых слов,
Им хлещет прозой и стихами.

Иль в карты бьется до утра,
Раскинувшись на горской бурке;
Или вкруг светлого костра
Танцует с девками мазурки.

Нет, братцы, нет: полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!»

Так говорил наездник наш,
Оторванный судьбы веленьем
От крова мирного — в шалаш,
На сечи, к пламенным сраженьям.

Аракс шумит, Аракс шумит,
Араксу вторит ключ нагорный,
И Алагёз *, нахмурясь, спит,
И тонет в влаге дол узорный;

И веет с пурпурных садов
Зефир восточным ароматом,
И сквозь сребристых облаков
Луна плывет над Араратом.

Но воин наш не упоен
Ночною роскошью полуденного края...
С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека** груда снеговая...

---

* Заоблачная гора, на границе Эриванской области. *(Прим. Давыдова.)*

** Одна из высочайших гор Кавказского хребта. *(Прим. Давыдова.)*

На нем знакомый вихрь, на нем громады льда,
И над челом его, в тумане мутном,
Как Русь святая, недоступном.
Горит родимая звезда.

1826

НА СМЕРТЬ NN

Гонители, он — ваш! Вам плески и хвала!
Терзайте клеветой его дела земные,
Но не сорвать венка вам с славного чела,
Но не стереть с груди вам раны боевые!

1827

ПРИ ВИДЕ МОСКВЫ, ВОЗВРАЩАЯСЬ С ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ

О юности моей гостеприимный кров!
О колыбель надежд и грез честолюбивых!
    О, кто, кто из твоих сынов
    Зрел без восторгов горделивых
Красу реки твоей, волшебных берегов,
    Твоих палат, твоих садов,
    Твоих холмов красноречивых!

1827

ЗАЙЦЕВСКОМУ, ПОЭТУ-МОРЯКУ

Счастливый Зайцевский, Поэт и Герой!
Позволь хлебопашцу-гусару
Пожать тебе руку солдатской рукой
И в честь тебе высушить чару.
О, сколько ты славы готовишь России,
Дитя удалое свободной стихии!

Лавр первый из длани камены младой
Ты взял на парнасских вершинах;
Ты, собственной кровью омытый, другой
Сорвал на гремящих твердынях;
И к третьему, с лаской вдали колыхая,
Тебя призывает пучина морская.

Мужайся! — Казарский, живой Леонид,
Ждет друга на новый пир славы...
О, будьте вы оба Отечества щит,
Перун вековечной Державы!
И гимны победы с ладей окриленных
Пусть искрами брызнут от струн вдохновенных!

Давно ль под мечами, в пылу батарей,
И я попирал дол кровавый,
И я в сонме храбрых, у шумных огней,
Наш стан оглашал песнью славы?..
Давно ль... Но забвеньем судьба меня губит,
И лира немеет, и сабля не рубит.

1828

БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ

Элегия

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы...
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,
Ты, голосом своим рождающий в полках
Погибели врагов предчувственные клики,
Вождь Гомерический, Багратион великий!
Простри мне длань свою, Раевский, мой герой!
Ермолов! я лечу — веди меня, я твой:
О, обреченный быть побед любимым сыном,
Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!

Но где вы?.. Слушаю... Нет отзыва! С полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга.

1829

С. А. К<УШКИ>НОЙ

Вы личиком — пафосский бог,
Вы молоды, вы стройны, как Аглая,
Но я гусар... я б вас любить не мог,
Простите: *для меня вы слишком неземная!*
К вам светской страстью, как к другой,
Гореть грешно! — С восторженной душой
Мы вам, как божеству, несем кадил куренье,
Обеты чистые, и гимны, и моленье!

1829

ДУШЕНЬКА

Она еще не менее хороша для глаз, все обнимающих во мгновении и на мгновение,— как для души, которая чем больше ищет, тем более находит.

Жуковский

Бывали ль вы в стране чудес,
Где, жертвой грозного веленья,
В глуши земного заточенья
Живет изгнанница небес?

Я был, я видел божество;
Я пел ей песнь с восторгом новым
И осенил венком лавровым
Ее высокое чело.

Я, как младенец, трепетал
У ног ее в уничиженьи
И омрачить богослуженье
Преступной мыслью не дерзал.

Ах, мне ль божественной к стопам
Несть обольщения искусство?
Я весь был гимн, я весь был чувство,
Я весь был чистый фимиам.

И что́ ей наш земной восторг,
Слова любви? — Пустые звуки!
Она чужда сердечной муки,
Чужда томительных тревог.

Из-под ресниц ее густых
Горит и гаснет взор стыдливый...
Но отчего души порывы
И вздохи персей молодых?

Был миг: пролетная мечта
Скользнула по челу прекрасной,
И вспыхнули ланиты страстно,
И загорелися уста.

Но это миг — игра одна
Каких-то дум... воспоминанье
О том небесном обитанье,
Откуда изгнана она.

Иль, скучась без нее, с небес
Воздушный гость, незримый мною,
Амур с повинной головою
Предстал, немеющий от слез.

И очи он возвел к очам
И пробудил в груди волненья
От жарких уст прикосновенья
К ее трепещущим устам.

1829

Вы хороши! — Каштановой волной
Ваш локон падает на свежие ланиты;
Как мил ваш взор полузакрытый,
Как мил ваш стан полунагой!
Не вы ль оригинал живой
Очаровательной хариты,
Канóвы созданной рукой?
Вы хороши! — Но мой покой
Неколебим. Осанка величава,
Жеманная тоска искусственной любви
Не страшны мне: моя отрава —
Взор вдохновительный и слово от души.
Я их ищу давно, давно не обретая.
Вам не сродни крылатый бог:
Жизнь ваша — стрелка часовая,
Арифметический *итог.*
Но та, которую люблю, не называя...
Ах! та вся чувство, вся — восторг,
Как Пиндара строфа живая!

1829

ГЕРОЮ БИТВ, БИВАКОВ, ТРАКТИРОВ И Б...

Люблю тебя, как сабли лоск,
Когда, приосенясь фуражкой,
С виноточивою баклажкой
Идешь в бивачный мой киоск;

Когда, летая по рядам,
Горишь, как свечка, в дыме бранном;
Когда в б... окаянном
Ты лупишь сводню по щекам.

Киплю, любуясь на тебя,
Глядя на прыть твою младую:
Так старый хрыч, цыган Илья,
Глядит на пляску удалую,
Под лад плечами шевеля.

О рыцарь! идол усачей!
Гордись пороками своими!
Чаруй с гусарами лихими
И *очаровывай* б...!

Конец 1820-х или начало 1830-х годов

ГОЛОДНЫЙ ПЕС

Ох, как храбрится
Немецкий фон,
Как горячится
Наш херр-барон.
Ну, вот и драка,
Вот лавров воз!
Хватай, собака,
Голодный пес.

Кипят и рдеют
На бой полки;
Знамена веют,
Горят штыки,
И забияка
Палаш вознес!
Хватай, собака,
Голодный пес.

Адрианополь
Без битв у ног,
Константинополь
В чаду тревог.
Что ж ты, зевака,
Повесил нос?
Хватай, собака,
Голодный пес.

Лях из Варшавы
Нам кажет шиш,
Что ж ты, шаршавый,
Под лавкой спишь?
Задай, лаяка,
Варшаве чёс!
Хватай, собака,
Голодный пес.

«Всё это жжется...
Я брать привык,
Что так дается...
Царьград велик.
Боюсь я ляха!..»
А ты не бось!
Хватай, собака,
Российский пес.

Так вот кресченды
Звезд, лент, крестов,
Две-три аренды,
Пять-шесть чинов;
На шнапс, гуляка,
Вот денег воз!
Схватил собака,
Голодный пес.

1832

ГУСАРСКАЯ ИСПОВЕДЬ

Я каюсь! я гусар давно, всегда гусар,
И с проседью усов — всё раб младой привычки.
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки.
От юности моей враг чопорных утех —
Мне душно на пирах без воли и распашки.
Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех,
И дым столбом от трубочной *затяжки!*

Бегу век сборища, где жизнь в одних ногах,
Где благосклонности передаются весом,
Где откровенность в кандалах,
Где тело и душа под прессом;
Где спесь да подлости, вельможа да холоп,
Где заслоняют нам вихрь танца эполеты,
Где под подушками потеет столько ...,
Где столько пуз затянуто в корсеты!

Но не скажу, чтобы в безумный день
Не погрешил и я, не посетил круг модный;
Чтоб не искал присесть под благодатну тень
Рассказчицы и сплетницы дородной;
Чтоб схватки с остряком бонтонным убегал,
Или сквозь локоны ланиты воспаленной
Я б шепотом любовь не напевал
Красавице, мазуркой утомленной.

Но то — набег, наскок; я миг ему даю,
И торжествуют вновь любимые привычки!
И я спешу в мою гусарскую семью,
Где хлопают еще шампанского оттычки.
Долой, долой крючки, от глотки до пупа!
Где трубки?.. Вейся, дым, на удалом раздолье!
        Роскошествуй, веселая толпа,
            В живом и братском своеволье!

1832

NN

Вошла — как Психея, томна и стыдлива,
Как юная пери, стройна и красива...
И шепот восторга бежит по устам,
И крестятся ведьмы, и тошно чертям!

1833

ЕЙ

В тебе, в тебе одной природа, не искусство,
Ум обольстительный с душевной простотой,
Веселость резвая с мечтательной душой,
И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство!

1833

ВАЛЬС

Ев. Д. З<олотаре>вой

Кипит поток в дубраве шумной
И мчится скачущей волной,
И катит в ярости безумной
Песок и камень вековой.
Но, покорен красой невольно,
Колышет ласково поток
Слетевший с берега на волны
Весенний, розовый листок.
Так бурей вальса не сокрыта,
Так от толпы отличена,
Летит, воздушна и стройна,
Моя любовь, моя харита,
Виновница тоски моей,
Моих мечтаний, вдохновений,
И поэтических волнений,
И поэтических страстей!

1834

О, кто, скажи ты мне, кто ты,
Виновница моей мучительной мечты?
Скажи мне, кто же ты? — Мой ангел ли хранитель
Иль злобный гений-разрушитель
Всех радостей моих? — Не знаю, но я твой!
Ты смяла на главе венок мой боевой,
Ты из души моей изгнала жажду славы
И грезы гордые, и думы величавы.
Я не хочу войны, я разлюбил войну,—
Я в мыслях, я в душе храню тебя одну.
Ты сердцу моему нужна для трепетанья,
Как свет очам моим, как воздух для дыханья.
Ах! чтоб без трепета, без ропота терпеть
Разгневанной судьбы и грозы и волненья,
Мне надо на тебя глядеть, всегда глядеть,
Глядеть без устали, как на звезду спасенья!
Уходишь ты — и за тобою вслед
Стремится мысль, душа несется,
И стынет кровь, и жизни нет!..
Но только что во мне твой шорох отзовется,
Я жизни чувствую прилив, я вижу свет,
И возвращается душа, и сердце бьется!..

1834

РОМАНС

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,
Которой память — мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.

Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай.

Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой.

1834

* * *

Я вас люблю так, как любить вас должно:
Наперекор судьбы и сплетней городских,
Наперекор, быть может, вас самих,
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно.
Я вас люблю не оттого, что вы
Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит,
Уста роскошствуют и взор Востоком пышет,
Что вы — поэзия от ног до головы!
Я вас люблю без страха, опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы,—
Я мог бы вас любить глухим, лишенным зренья...
Я вас люблю затем, что это — *вы!*
На право вас любить не прибегу к пашпóрту
Иссохших завистью жеманниц отставных:
Давно с почтением я умоляю их
Не заниматься мной и убираться к черту!

1834

НА ГОЛОС РУССКОЙ ПЕСНИ

Я люблю тебя, без ума люблю!
О тебе одной думы думаю,
При тебе одной сердце чувствую,
Моя милая, моя душечка.

Ты взгляни, молю, на тоску мою
И улыбкою, взглядом ласковым
Успокой меня, беспокойного,
Осчастливь меня, несчастливого.

Если жребий мой умереть тоской —
Я умру, любовь проклинаючи,
Но и в смертный час воздыхаючи
О тебе, мой друг, моя душечка!

1834

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Когда я повстречал красавицу мою,
Которую любил, которую люблю,
Чьей власти избежать я льстил себя обманом,—
Я обомлел! Так, случаем нежданным,
Гуляющий на воле удалец —
Встречается солдат-беглец
С своим безбожным капитаном.

И МОЯ ЗВЕЗДОЧКА

Море воет, море стонет,
И во мраке, одинок,
Поглощен волною, тонет
Мой заносчивый челнок.

Но, счастливец, пред собою
Вижу звездочку мою —
И покоен я душою,
И беспечно я пою:

«Молодая, золотая
Предвещательница дня,
При тебе беда земная
Недоступна до меня.

Но сокрой за бурной мглою
Ты сияние свое —
И сокроется с тобою
Провидение мое!»

1834

РЕЧКА

Давно ли, речка голубая,
Давно ли, ласковой волной
Мой челн привольно колыхая,
Владела ты, источник рая,
Моей блуждающей судьбой!

Давно ль с беспечностию милой
В благоуханных берегах
Ты влагу ясную катила
И отражать меня любила
В своих задумчивых струях!..

Теперь, печально пробегая,
Ты стонешь в сумрачной тиши,
Как стонет дева молодая,
Пролетный призрак обнимая
Своей тоскующей души.

Увы! твой ропот заунывный
Понятен мне, он — ропот мой;
И я пою последни гимны
И твой поток гостеприимный
Кроплю прощальною слезой.

Наутро пурпурной зарею
Запышет небо,— берега
Блеснут одеждой золотою,
И благотворною росою
Закаплют рощи и луга.

Но вод твоих на лоне мутном
Всё будет пусто!.. лишь порой,
Носясь полетом бесприютным,
Их гостем посетит минутным
Журавль, пустынник кочевой.

О, где тогда, осиротелый,
Где буду я! К каким странáм,
В какие чуждые пределы
Мчать будет гордо парус смелый
Мой челн по скачущим волнам!

Но где б я ни был, сердца дани —
Тебе одной. Чрез даль морей
Я на крылах воспоминаний
Явлюсь к тебе, приют мечтаний,
И мук, и благ души моей!

Явлюсь, весь в думу превращенный,
На берега твоих зыбей,
В обитель девы незабвенной,
И тихо, странник потаенный,
Невидимым приникну к ней.

И, неподвластный злым укорам,
Я облеку ее собой,
Упьюсь ее стыдливым взором,
И вдохновенным разговором,
И гармонической красой;

Ее, чья прелесть — увлеченье!
Светла, небесна и чиста,
Как чувство ангела в моленье,
Как херувима сновиденье,
Как юной грации мечта!

1834



Денис Давыдов. Гравюра А. Афанасьева

25 ОКТЯБРЯ

Я не ропщу. Я вознесен судьбою
Превыше всех! — Я счастлив, я любим!
Приветливость даруется тобою
Соперникам моим...
Но теплота души, но всё, что так люблю я
С тобой наедине...
Но девственность живого поцелуя...
Не им, а мне!

1834

ЗАПИСКА, ПОСЛАННАЯ НА БАЛЕ

Тебе легко — ты весела,
Ты радостна, как утро мая,
Ты ре́звишься, не вспоминая,
Какую клятву мне дала...
Ты пра́ва. Как от упоенья,
В чаду кадильниц, не забыть
Обет, который, может быть,
Ты бросила от нетерпенья.
А я? — Я жалуюсь безжалостной судьбе;
Я плачу, как дитя, приникнув к изголовью,
Мечусь по ложу сна, терзаемый любовью,
И мыслю о тебе... и об одной тебе!

1834

* * *

Что́ пользы мне в твоем совете,
Когда я съединил и пламенно люблю
Весь божий мир в одном предмете,
В едином чувстве — жизнь мою!

1834

В былые времена она меня любила
И тайно обо мне подругам говорила,
Смущенная и очи опустя,
Как перед матерью виновное дитя.
Ей нравился мой стих, порывистый, несвязный,
Стих безыскусственный, но жгучий и живой,
И чувств расстроенных язык разнообразный,
И упоенный взгляд любовью и тоской.
Она внимала мне, она ко мне ласкалась,
Унылая и думою полна,
Иль, ободренная, как ангел, улыбалась
Надеждам и мечтам обманчивого сна...
И долгий взор ее из-под ресниц стыдливых
Бежал струей любви и мягко упадал
Мне нá душу — и на устах пылал
Готовый поцелуй для уст нетерпеливых...

1834 или 1835

* * *

Унеслись невозвратимые
Дни тревог и милых бурь,
И мечты мои любимые,
И небес моих лазурь.

Не глядит она, печальная,
На пролет надежд моих.
Не дрожит слеза прощальная
На ресницах молодых!

1834 или 1835

РОМАНС

Жестокий друг, за что мученье?
Зачем приманка милых слов?
Зачем в глазах твоих любовь,
А в сердце гнев и нетерпенье?
Но будь покойна только ты,
А я, на горе обреченный,
Я оставляю все мечты
Моей души развороженной...

И этот край очарованья,
Где столько был судьбой гоним,
Где я любил, не быв любим,
Где я страдал без состраданья,
Где так жестоко испытал
Неверность клятв и обещаний
И где никто не понимал
Моей души глухих рыданий!

1834 или 1835

* * *

Я помню — глубо́ко,
Глубо́ко мой взор,
Как луч, проникал и рощи, и бор,
И степь обнимал широко, широко...

Но, зоркие очи,
Потухли и вы...
Я выглядел вас на деву любви,
Я выплакал вас в бессонные ночи!

1836

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Прошла борьба моих страстей,
Болезнь души моей мятежной,
И призрак пламенных ночей
Неотразимый, неизбежный,
И милые тревоги милых дней,
И языка несвязный лепет,
И сердца судорожный трепет,
И смерть и жизнь при встрече с *ней*...
Исчезло всё! — Покой желанный
У изголовия сидит...
Но каплет кровь еще из раны,
И грудь усталая и ноет и болит!

1836

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Вечерний звон, вечерний звон,—
Как много дум наводит он!
Не тот, что на закате дня
Гудит в стенах монастыря,
Но тот, что пасмурной порой
Поется девой молодой...
Вечерний звон, вечерний звон,—
Как много дум наводит он!

Как он мучителен и мил!
Как он мне чувства возмутил,
Когда впервые звук его
Коснулся слуха моего!..
То был не звук, но глас страстей,
То говор был с душой моей!
Вечерний звон, вечерний звон,—
Как много дум наводит он!

Всё вторило в природе ей:
Луна средь облачных зыбей,
Пустыня в сумрачной тиши
И ропот девственной души,
Терзаемой любви тоской,
И очи, полные слезой!..
Вечерний звон, вечерний звон,—
Как много дум наводит он!

1830-е годы

Эпиграммы

* * *

Меринос собакой стал,—
Он нахальствует не к роже,
Он сейчас народ прохожий
Затолкал и забодал.
Сторож, что ж ты оплошал?
Подойди к барану прямо,
Подцепи его на крюк
И прижги ему курдюк
Раскаленной эпиграммой!

УЧЕНЫЙ РАЗГОВОР

«О ты, убивший жизнь в ученом кабинете,
Скажи мне: сколько чуд считается на свете?» —
«Семь».— «Нет: осьмое — ты, педант мой дорогой;
Девятое — твой нос, нос сизо-красноватый,
Что, так спесиво приподнятый,
Стоит, украшенный табачною ноздрей!»

* * *

Нет, кажется, тебе не суждено
Сразить врага; твой враг — детина чудный,
В нем совесть спит покойно, непробудно.
Заставить бестию *стыдиться* — мудрено...
Заставить *покраснеть* — не трудно!

1836

ЧЕЛОБИТНАЯ

Башилову

В дни былые сорванец,
Весельчак и веселитель,
А теперь Москвы строитель,
И сенатор, и делец,
О мой давний покровитель,
Сохрани меня, отец,
От соседства шумной тучи
Полицейской саранчи,
И торчащей каланчи,
И пожарных труб и крючий.
То есть, попросту сказать:
Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый,
Величавые палаты,
Мой пречистенский дворец.
Тесен он для партизана:
Сотоварищ урагана,
Я люблю, казак-боец,
Дом без окон, без крылец,
Без дверей и стен кирпичных,
Дом разгулов безграничных
И налетов удалых,
Где могу гостей моих
Принимать картечью в ухо,
Пулей в лоб иль пикой в брюхо.
Друг, вот истинный мой дом!
Он везде,— но скучно в нем;

Нет гостей для угощенья.
Подожду... а ты пока
Вникни в просьбу казака
И уважь его моленье.

1836

СОВРЕМЕННАЯ ПЕСНЯ

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы.

То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.

Деспотизма сопостат,
Равенства оратор,—
Вздулся, слеп и бородат,
Гордый регистратор.

Томы Тьера и Рабо́
Он на память знает
И, как ярый Мирабо́,
Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

А глядишь: наш Лафает,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Фраз журнальных лексикон,
Прапорщик в отставке,
Для него Наполеон —
Вроде бородавки,

Для него славнее бой
Карбонаров бледных,
Чем когда наш шар земной
От громов победных

Колыхался и дрожал,
И народ, в смятенье,
Ниц упавши, ожидал
Мира разрушенье.

Что ж? — Быть может, наш герой
Утомил свой гений
И заботой боевой,
И огнем сражений?..

Нет, он в битвах не бывал —
Шаркал по гостиным
И по плацу выступал
Шагом журавлиным.

Что ж? — Быть может, он богат
Счастьем семьянина,
Заменя блистанье лат
Тогой гражданина?..

Нет, нахально подбочась,
Он по дачам рыщет
И в театрах, развалясь,
Всё шипит да свищет,

*

Что ж? — Быть может, старины
Он бежал приманок?
Звезды, ленты и чины
Пре́зрел спозаранок?

Нет, мудрец не разрывал
С честолюбьем дружбы
И теперь бы крестик взял...
Только чтоб без службы.

Вот гостиная в лучах:
Свечи да кенкеты,
На столе и на софах
Кипами газеты;

И превыспренний конгресс
Двух графинь оглохших
И двух жалких баронесс,
Чопорных и тощих;

Всё исчадие греха,
Страстное новинкой;
Заговорщица-блоха
С мухой-якобинкой;

И козявка-егоза —
Девка пожилая,
И рябая стрекоза —
Сплетня записная;

И в очках сухой паук —
Длинный лазарони,
И в очках плюгавый жук —
Разноситель вони;

И комар, студент хромой,
В кучерской прическе,
И сверчок, крикун ночной,
Друг Крылова Моськи;

И мурашка-филантроп,
И червяк голодный,
И Филипп Филиппыч-клоп
Муж... женоподобный,—

На столѣ и на софахъ
Кипами газеты.

18.
И пребопренній конгрессъ
Двухъ графинь оглохшихъ
И двухъ толстыхъ баронессъ
[illegible] чопорныхъ и тощихъ;

19
Все исчадіе грѣха,
Стрáстное новинкой;
Заговорщица блоха,
Съ мухой якобинкой.

20
И козявка егоза,
Дѣвка пожилая,
И рябая стрекоза,
Ялда записная,

21
И комаръ, студентъ хромой,
Въ кучерской прическѣ,
И сверчокъ, крикунъ ночной,
Другъ Крылова Моськи;

22
И въ очкахъ сухой паукъ,
Длинный лазарони,
И въ очкахъ плючевый жукъ,
Разноситель вони.

23
И мурашка филантропъ,
И червякъ голодный,
И Филиппъ Филиппычъ клопъ,
Мужъ женоподобный.

[redacted]

[redacted]

24.
Все вокругъ стола, — и вотъ
Шаръ на совѣщаньѣ
Метафизикъ верхолётъ,
Президентъ собранья,

или

Все вокругъ стола — и скокъ
Въ кипятокъ совѣщанья,
Утопистъ, идеологъ,
Президентъ собранья.

«Современная песня». Автограф Дениса Давыдова

Все вокруг стола — и скок
В кипеть совещанья
Утопист, идеолóг,
Президент собранья,

Старых барынь духовни́к,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик.

Все кричат ему привет
С аханьем и писком,
А он важно им в ответ:
Dominus vobiscum! *

И раздолье языкам!
И уж тут не шутка!
И народам и царям —
Всем приходит жутко!

Всё, что есть,— всё в пыль и прах!
Всё, что процветает,—
С корнем вон! — Ареопаг
Так определяет.

И жужжит он, полн грозой,
Царства низвергая...
А России — боже мой! —
Таска... да какая!

И весь размежеван свет
Без войны и драки!
И России уже нет,
И в Москве поляки!

Но назло врагам она
Всё живет и дышит,
И могуча, и грозна,
И здоровьем пышет.

---

* Господь с вами! *(лат.)*

Насекомых болтовни
Внятием не тешит,
Да и место, где они,
Даже не почешет.

А когда во время сна
Моль иль таракашка
Заползет ей в нос,— она
Чхнет — и вон букашка!

1836

Военные записки

Ma vie est un combat...

Voltaire *

* Моя жизнь — сражение... *Вольтер.*

ВСТРЕЧА С ВЕЛИКИМ СУВОРОВЫМ

(1793)

Посвящается князю
Александру Аркадьевичу Италийскому,
графу Суворову-Рымникскому

1

С семилетнего возраста моего я жил под солдатскою палаткой, при отце моем, командовавшем тогда Полтавским легкоконным полком,— об этом где-то было уже сказано. Забавы детства моего состояли в метании ружьем и в маршировке, а верх блаженства — в езде на казачьей лошади с покойным Филиппом Михайловичем Ежовым, сотником Донского войска.

Как резвому ребенку не полюбить всего военного при всечасном зрелище солдат и лагеря? А *тип* всего военного, русского, родного военного, не был ли тогда Суворов? Не Суворовым ли занимались и лагерные сборища, и гражданские общества того времени? Не он ли был предметом восхищений и благословений, заочно и лично, всех и каждого? Его таинственность в постоянно употребляемых им странностях наперекор условным странностям света; его предприятия, казавшиеся исполняемыми как будто *очертя голову;* его молниелетные переходы, его громовые победы на неожиданных ни нами, ни неприятелем точках театра военных действий,— вся эта поэзия событий, подвигов, побед, славы, продолжавшихся несколько десятков лет сряду, все отзывалось в свежей, в молодой России полной поэзией, как все, что свежо и молодо.

Он был сын генерал-аншефа, человека весьма умного и образованного в свое время; оценив просвещение, он неослабно

наблюдал за воспитанием сына и дочери (княгини Горчаковой). Александр Васильевич изучил основательно языки французский, немецкий, турецкий и отчасти италианский; до поступления своего на службу он не обнаруживал никаких странностей. Совершив славные партизанские подвиги во время Семилетней войны, он узнал, что такое люди; убедившись в невозможности достигнуть высших степеней наперекор могущественным завистникам, он стал отличаться причудами и странностями. Завистники его, видя эти странности и не подозревая истинной причины его успехов, вполне оцененных великой Екатериной, относили все его победы лишь слепому счастию.

Суворов вполне олицетворил собою героя трагедии Шекспира, поражающего в одно время комическим буфонством и смелыми порывами гения. Гордый от природы, он постоянно боролся с волею всесильных вельмож времен Екатерины. Он в глаза насмехался над могущественным Потемкиным, хотя часто писал ему весьма почтительные письма, и ссорился с всесильным австрийским министром бароном Тугутом. Он называл часто Потемкина и графа Разумовского своими благодетелями; отправляясь в Италию, Суворов пал к ногам Павла [1*]. Было ли это следствием расчета, к которому он прибегал для того, чтобы вводить в заблуждение наблюдателей, которых он любил ставить в недоумение, или, действуя на массы своими странностями, преступавшими за черту обыкновения, он хотел приковать к себе всеобщее внимание?

Если вся жизнь этого изумительного человека, одаренного нежным сердцем [2], возвышенным умом и высокою душой, была лишь театральным представлением, и все его поступки заблаговременно обдуманы,— весьма любопытно знать: когда он был в естественном положении? Балагуря и напуская на себя разного рода причуды, он в то же время отдавал приказания армиям, обнаруживавшие могучий гений. Беседуя с глазу на глаз с Екатериной о высших военных и политических предметах, он удивлял эту необычайную женщину своим оригинальным, превосходным умом и обширными разносторонними сведениями [3]; поражая вельмож своими высокими подвигами, он язвил их насмешками, достойными Аристофана и Пирона. Во время боя, следя внимательно за всеми обстоятельствами, он вполне обнимал и проникал их своим орлиным взглядом. В минуты, где беседа его с государственными людьми стано-

---

* Цифры отсылают к примечаниям Д. Давыдова на стр. 515 наст. издания.

вилась наиболее любопытною, когда он, с свойственной ему ясностью и красноречием, излагал ход дел, он внезапно вскакивал на стул и пел петухом, либо казался усыпленным вследствие подобного разговора; таким образом поступил он с графом Разумовским и эрцгерцогом Карлом. Лишь только они начинали говорить о военных действиях, Суворов, по-видимому, засыпал, что вынуждало их изменять разговор, или, увлекая их своим красноречием, он внезапно прерывал свой рассказ криками петуха. Эрцгерцог, оскорбившись этим, сказал ему: «Вы, вероятно, граф, не почитаете меня достаточно умным и образованным, чтобы слушать ваши поучительные и красноречивые речи?» На это Суворов возразил ему: «Проживете с моих лет и испытаете то, что я испытал, и вы тогда запоете не петухом, а курицей». Набожный до суеверия, он своими причудами в храмах вызывал улыбку самих священнослужителей.

Многие указывают на Суворова как на человека сумасбродного, невежду, злодея, не уступавшего в жестокости Аттиле и Тамерлану, и отказывают ему даже в военном гении. Хотя я вполне сознаю свое бессилие и неспособность, чтобы вполне опровергнуть все возводимые на этого великого человека клеветы, но я дерзаю, хотя слабо, возражать порицателям его.

Предводительствуя российскими армиями пятьдесят пять лет сряду, он не сделал несчастным ни одного чиновника и рядового; он, не ударив ни разу солдата, карал виновных лишь насмешками, прозвищами в народном духе, которые врезывались в них, как клейма. Он иногда приказывал людей, не заслуживших его расположения, выкуривать жаровнями. Кровопролитие при взятии Измаила и Праги было лишь прямым последствием всякого штурма после продолжительной и упорной обороны. Во всех войнах в Азии, где каждый житель есть вместе с тем воин, и в Европе во время народной войны, когда гарнизоны, вспомоществуемые жителями, отражают неприятеля, всякий приступ неминуемо сопровождается кровопролитием. Вспомним кровопролитные штурмы Сарагосы и Тарагоны; последнею овладел человеколюбивый и благородный Сюшет. Вспомним, наконец, варварские поступки англичан в Индии; эти народы, кичащиеся своим просвещением, упоминая о кровопролитии при взятии Измаила и Праги, умалчивают о совершенных ими злодеяниях, не оправдываемых даже обстоятельствами. Нет сомнения, что если б французы овладели приступом городами Сен-Жан-д'Акр и Смоленском,

они поступили бы таким же образом, потому что ожесточение осаждающих возрастает по мере сопротивления гарнизона. Штурмующие, ворвавшись в улицы и дома, еще обороняемые защитниками, приходят в остервенение; начальники не в состоянии обуздать порыв войск до полного низложения гарнизона.

Таким образом были взяты Измаил и Прага. Легко осуждать это в кабинете, вне круга ожесточенного боя, но христианская вера, совесть и человеколюбивый голос начальников не в состоянии остановить ожесточенных и упоенных победою солдат. Во время штурма Праги остервенение наших войск, пылавших местью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов. Суворов, вступая в Варшаву, взял с собою лишь те полки, которые не занимали этой столицы с Игельстромом в эпоху вероломного побоища русских. Полки, наиболее тогда потерпевшие, были оставлены в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить свое мщение. Этот поступок, о котором многие не знают, достаточно говорит в пользу человеколюбия Суворова [4].

В это время здравствовал еще знаменитый Румянцев, некогда начальник Суворова, и некоторые другие вожди, украшавшие век чудес — век Екатерины; но блеск имен их тонул уже в ослепительных лучах этого самобытного, неразгадываемого метеора, увлекавшего за собою весь мир чувств, умов, вниманий и доверенности своих соотчичей, и увлекавшего тем, что в нем не было ни малейшего противозвучия общей гармонии мыслей, поверий, предрассудков, страстей, исключительно им принадлежащих. Сверх того, когда и по сию пору войско наше многими еще почитается сборищем истуканов и кукл, двигающихся посредству одной пружины, называемой страхом начальства,— он, более полустолетия тому назад, положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение. Он уверился, вопреки мнения и того и нашего времени мнимых наблюдателей, что русский солдат, если не более, то, конечно, не менее всякого иностранного солдата, причастен воспламенению и познанию своего достоинства, и на этой уверенности основал образ своих с ним сношений. Найдя повиновение начальству — сей необходимый, сей единственный склей всей армии,— доведенным в нашей армии до совершенства, но посредством коего полководец может достигнуть до некоторых только известных пределов,— он тем не довольствовался. Он удесятерил пользу, приносимую повиновением, сочетав его в душе нашего солдата с чувством воинской

гордости и уверенности в превосходстве его над всеми солдатами в мире,— чувством, которого следствию нет пределов.

Прежние полководцы, вступая в командование войсками, обращались к войскам с пышными, непонятными для них речами. Суворов предпочел жить среди войска и вполне его изучил; его добродушие, доходившее до простодушия, его причуды в народном духе привлекали к нему сердца солдат. Он говорил с ними в походах и в лагере их наречием. Вместо огромных штабов он окружал себя людьми простыми, так, например, Тищенкой, Ставраковым.

Но к чему послужило бы,— я скажу более,— долго ли продолжалось бы на своей высоте это подъятие духа в войсках, вверенных его начальству, если б воинские его дарования,— я не говорю уже о неколебимой стойкости его характера и неограниченной его предприимчивости,— если б воинские его дарования хотя немного уступали неустрашимости и самоотвержению, которые он посеял в воинах, исполнявших его предначертания? Если б, подобно всем полководцам своего времени, он продолжал идти тесною стезею искусства, проложенною посредственностью, и не шагнул исполински и махом на пространство широкое, разгульное, им одним угаданное, и которое до сей поры никто не посещал после него, кроме Наполеона?

Случай, который я хочу рассказывать, требует несколько предварительных замечаний об этом предмете, чтобы сделаться понятным во всех своих подробностях. Они не будут длинны.

Суворов застал военное искусство основанным на самых жалких началах. Наступательное действие состояло в движении войск, растянутых и рассеянных по чрезмерному пространству, чтобы, как говорили тогда, *охватить оба крыла противника и поставить его между двух огней.* Оборонительное действие не уступало в нелепости наступательному. Вместо того чтобы, пользуясь сим рассеянием войск противника, ударить совокупно на средину, разреженную и слабую от чрезмерного протяжения линии, и, разорвав ее на две части, поражать каждую порознь,— полководцы, действовавшие оборонительно, растягивали силы свои наравне с наступательною армиею, занимая и защищая каждый путь, каждую тропинку, каждое отверстие, которым она могла к ним приблизиться. Некоторые,— и те почитались уже превосходнейшими вождями,— некоторые решались изменять оборонительное действие в наступательное, растягивая силы свои еще более растя-

нутых сил неприятельской армии, чтобы, с своей стороны, *охватить оба ее крыла* и поставить ее *между двух огней* обоих крыл своих. К этому надобно прибавить так называемые демонстрации отряженными для сего частями армии на далекое расстояние, отчего только уменьшалась числительная сила главной массы, определенной для боя. К демонстрациям можно присоединить фальшивые атаки, которые никого не обманывают; размеренные переходы войск, которые только способствовали неприятелю рассчитывать время их прибытия к мете, им назначенной, следственно и предупреждать намерения их начальника; и, наконец, бóльшую заботливость о механическом устройстве подвозов с пищею в определенные сроки, чем о предметах, касающихся собственно до битв, и тем самым полное подданство военных соображений и действия соображению и действию чиновников, управляющих способами пропитания армии. Такова была стратегия того времени! Тактика представляла не менее нелепостей; когда дело доходило до сражения, важнейшие условия для принятия битвы состояли в избрании местоположения более или менее возвышенного, в примкнутии обоих крыл армии к искусственным или природным препятствиям и в отражении оттуда неприятельских усилий, *не двигаясь с места*. При нападении на неприятеля — употребление фальшивых атак, которые никого не обманывали, и действие более огнем, чем холодным оружием; нигде решительности, везде ощупь и колебание воли.

Можно представить себе, как поступил с таковыми преградами гений беспокойный, своенравный, независимый.

Еще полковником Астраханского гренадерского полка, на маневрах у Красного Села, где одна сторона предводительствуема была графом Паниным, а другая самой Екатериною, Суворов, который давно уже негодовал на методические движения, в то время почитаемые во всей Европе совершенством военного искусства, и на долговременную стрельбу во время боя,— по мнению его, ничего не решавшую,— осмелился показать великой монархине и своим начальникам образ действия, приличнейший для духа русского солдата, и испортил маневр порывом своевольным и неожиданным. Среди одного из самых педантических движений, сопряженного с залпами *плутонгами* и *полуплутонгами*, он вдруг прекратил стрельбу своего полка, двинулся с ним вон из линии, ворвался в средину противной стороны, замешал часть ее и все предначертания и распоряжения обоих начальников перепутал и обратил все в хаос. Спустя несколько месяцев, когда ему

предписано было идти с полком из Петербурга в Ригу, он не пропустил и этого случая, чтобы не открыть глаз и не обратить внимания на пользу, какую могут принести переходы войск, выступающие из расчета, укоренившегося навыком и употребляемого тогда всеми без исключения. Посадив один взвод на подводы и взяв с ним полную казну и знамя, он прибыл в восемь дней в Ригу и оттуда донес нарочным о дне прибытия полка на определенное ему место рапортом в Военную коллегию, изумленную таковой поспешностью. Вскоре прибыла и остальная часть полка, но не в тридцать суток, как предписано было по маршруту, а не более как в четырнадцать суток. Одна Екатерина, во всей России, поняла и молодого полковника и оба данные им наставления, и тогда же она сказала о нем: «Это мой собственный, будущий генерал!»

После такого слова легко было и не Суворову идти к цели свободно и без опасения препятствий; что же должен был сделать Суворов с своею предприимчивостью, с своей железною волею? И как он этим воспользовался!

Он предал анафеме всякое *оборонительное,* еще более *отступательное* действие в российской армии и сорок лет сряду, то есть от первого боевого выстрела до последнего дня своей службы действовал не иначе, как *наступательно.*

Он совокуплял все силы и всегда воевал одною массою[5], что давало ему решительное превосходство над рассеянным того времени образом действий, принятым во всей Европе,— образ действия и поныне употребляемый посредственностью, следовательно, неослабно и беспрестанно: ибо везде дорывается она до власти преимущественно пред дарованием, по существу своему гордо-скромным.

Что касается до чистого боевого действия, Суворов или стоял на месте, вникая в движения противника, или, проникнув их, стремглав бросался на него усиленными переходами, которые доныне именуются *суворовскими,* и падал *как снег на голову.*

Следствием таких летучих переходов, предпринимаемых единственно для изумления неприятеля внезапным для него нападением во время его расплоха и неготовности к бою, было предпочтение Суворовым холодного оружия огнестрельному. И нельзя быть иначе: не вытягивать же линии и не завязывать дело канонадою и застрельщиками, чтобы, встревожив противника нечаянным появлением, дать ему время прийти в себя, оглядеться, устроиться и привести положение атакованного в равновесие с положением атакующего! И весь

этот образ действия, им созданный, приспособлялся к местностям и обстоятельствам его чудесным, неизъяснимым даром мгновенной сметливости при избрании выгоднейшего стратегического пути между путями, рассекающими область, по которой надлежало ему двигаться, и тактической точки поля сражения, на коем надлежало ему сражаться. По этому пути и на эту точку устремлял он все свои силы, не развлекая их никакими посторонними происшествиями, случаями и предметами,— как не отвлекал он до конца жизни мыслей и чувств своих от единственной господствовавшей над ним страсти — страсти к битвам и славе военной.

Из кратких выписок его приказов или так называемых заметок мы видим лишь похвалы штыку и презрение к ружейной пальбе; это значило, что надо было, избегая грома, часто мало вредящего и отсрочивающего развязку битв, сближаться с неприятелем грудь с грудью в рукопашной схватке. Везде видна решительность и быстрота, а не действие ощупью. Он любил решительность в действиях и лаконизм в речах; длинные донесения и рассказы приводили его в негодование. Он требовал «да» или «нет», или лаконическую фразу, выражающую мысль двумя-тремя словами. Он был непримиримым врагом немогузнаек, о которых говорил: «От проклятых немогузнаек много беды». Однажды Суворов спросил гренадера: «Далеко ли отсюда до дальнейшей звезды?» — «Три суворовских перехода»,— отвечал гренадер. Презирая действия, носящие отпечаток робости, вялости, излишней расчетливости и предусмотрительности, он старался возбудить в войсках решительность и смелость, которые соответствовали бы его залетным движениям.

Суворов в конце своего знаменитого поприща предводительствовал австрийцами против французов [6], он покорил Италию, в которой много буйных голов обнаруживали явную непокорность законным властям. Пусть австрийцы, французы, италианцы скажут: где и в каком случае Суворов обнаружил жестокость и бесчеловечие? К концу кампании половина армии Моро с генералами Груши́, Периньон, Викто́р, Гардан и другими были взяты в плен. Обращение Суворова с пленными и вышеупомянутыми лицами могло ли сравниться с поведением австрийцев и англичан, которые томили своих пленных в смрадных, сырых казематах крепостей и понтонах?

Все немало изумлялись постоянству, с которым Суворов с юных лет стремился к достижению однажды избранной им

цели, и выказанной им твердости душевной, необходимой для всякого гения, сколько бы он ни был глубок и обширен. Я полагаю, что еще в юности Суворов, взвесив свои физические и душевные силы, сказал себе: «Я избираю военное поприще и укажу русским войскам путь к победам; я приучу их к перенесению лишений всякого рода и научу их совершать усиленные и быстрые переходы». С этою целью он укрепил свое слабое тело упражнениями разного рода, так что, достигнув семидесятилетнего возраста, он ежедневно ходил по десяти верст; употребляя пищу простую и умеренную, он один раз в сутки спал на свежем сене и каждое утро обливался несколькими ушатами воды со льдом.

Избрав военное поприще, он неминуемо должен был встретить на нем много препятствий со стороны многочисленных завистников и вынести немало оскорблений. Первым он противопоставил диогеновскую бочку, и пока они занимались осуждением его причуд и странностей, он ускользал от их гонения; пренебрегая вторыми, он терпеливо следовал по единожды избранному пути. Он стремился к одной главной цели — достижению высшего звания, для употребления с пользой необычайных дарований своих, которые он сознавал в себе. Он мечтал лишь о славе, но о славе чистой и возвышенной; эта страсть поглотила все прочие, так что в эпоху возмужалости, когда природа влечет нас более к существенному, нежели к идеальному, Суворов казался воинственным схимником. Избегая общества женщин, развлечений, свойственных его летам, он был нечувствителен ко всему тому, что обольщает сердце. Ненавистники России и, к сожалению, некоторые русские не признают в нем военного гения; пятидесятитрехлетнее служение его не было ознаменовано ни одной неудачей; им были одержаны блестящие победы над знаменитейшими полководцами его времени, и имя его до сих пор неразлучно в понятиях каждого русского с высшею степенью военного искусства; все это говорит красноречивее всякого панегирика.

Предвидя, что алчность к приращению имения может увеличиваться с летами, он заблаговременно отстранил себя от хозяйственных забот и постоянно избегал прикосновения с металлом, питающим это недостойное чувство. Владея девятью тысячами душами, он никогда не знал количества получаемых доходов; будучи еще тридцати лет от роду, он поручил управление имениями своим родственникам, которые доставляли его адъютантам, избираемым всегда из низшего класса военной

иерархии, ту часть доходов, которая была необходима для его умеренного рода жизни[7].

Познание слабостей человечества и неослабное наблюдение за самим собою составляли отличительную черту его философии; когда старость и думы покрыли чело его сединами и морщинами, достойными наблюдения Лафатера, он возненавидел зеркала, которые надлежало выносить из занимаемых им покоев или закрывать полотном, и часы, которые также выносили из занимаемых им комнат. Многим эти оригинальные причуды казались весьма странными; они относили их к своенравию Суворова. Обладая в высшей степени духом предприятия, он, подобно свежему юноше, избегал всего того, что напоминало ему о времени, и изгонял мысль, что жизнь его уже приближается к концу. Он не любил зеркал, вероятно, потому, что мысль увидеть себя в них стариком могла невольно охладить в нем юношеский пыл, убить в нем дух предприятия, который требовал всей мощи душевной, всей любви к случайностям, которые были свойственны лишь молодости. Фридрих Великий, имея, вероятно, в виду ту же самую цель, стал румяниться за несколько лет до своей кончины.

Таким образом, укрепив свое тело физическими упражнениями, введя в заблуждение зависть своими причудами, терпеливо перенося разного рода оскорбления, наблюдая постоянно за собою и, наконец, предавшись душою лишь страсти к славе, Суворов, с полной уверенностью в силе своего гения, ринулся в военное поприще. Он достиг генерал-маиорского чина лишь на сорок первом году жизни, то есть в такие лета, когда ныне многие, удостоившись получить это звание, спешат уже оставить службу. Кто из нас не видал тридцатилетних генерал-маиоров, ропщущих на судьбу, препятствующую им достигнуть следующего чина чрез несколько месяцев? Суворов при производстве своем в генерал-маиоры был почти вовсе неизвестен, но зато какой быстрый и изумительный переход от этой малой известности к великой и неоспоримой славе! Генерал Фуа сказал о Наполеоне: «Подобно богам Гомера, он, сделав три шага, был уже на краю света». Слова этого известного генерала могут быть вполне применены к нашему великому и незабвенному Суворову.

И этого-то человека судьба позволила мне видеть и, что еще для меня лестнее, разменяться с ним несколькими словами в один из счастливейших дней моей жизни!

Вот как это было.

За несколько месяцев до восстания Польши Суворов командовал корпусом войск, расположенных в губерниях Екатеринославской и Херсонской. Корпусная квартира его была в Херсоне. Четыре кавалерийские полка, входившие в состав корпуса: Переяславский конно-егерский, Стародубский и Черниговский карабинерные и Полтавский легкоконный — стояли лагерем близ Днепра, в разных пунктах, но близких один к другому. Полтавский находился у села Грушевки, принадлежавшего тогда княгине Елене Никитишне Вяземской, после того, как уверяли меня, какому-то Стиглицу, а нынче — не знаю кому. Дом, занимаемый нашим семейством, был высокий и обширный, но выстроенный на скорую руку для императрицы Екатерины во время путешествия ее в Крымскую область. Лагерь полка отстоял от дома не далее ста шагов. Я и брат мой жили в лагере.

В одну ночь я услышал в нем шум и сумятицу. Выскочив из палатки, я увидел весь полк на конях и на лагерном месте одну только нашу палатку неснятою. Я бросился узнать причину этого неожиданного происшествия. Мне сказали, что Суворов только что приехал из Херсона в простой курьерской тележке[8] и остановился в десяти верстах от нас, в лагере одного из полков, куда приказал прибыть всем прочим полкам на смотр и маневры.

Я был очень молод, но уже говорил и мечтал только о Суворове. Можно вообразить взрыв моей радости! Впрочем, радость и любопытство овладели не одним мною. Я помню, что покойная мать моя и все жившие у нас родственники и знакомые, лакеи, кучера, повара и служанки, все, что было живого в доме и в селе, собиралось, спешило и бежало туда, где остановился Суворов, чтобы хоть раз в жизни взглянуть на любимого героя, на нашего боевого полубога. Заметим, что тогда еще не было ни побед его в Польше, ни побед его в Италии, ни победы его *над самою природою на Альпах*, этой отдельной пиндарической оды, заключившей грандиозную эпопею подвигов чудесного человека.

Вскоре мать моя и мы отправились вслед за полком и за любопытными и остановились в пустом лагере, потому что войска были уже на маневрах. Суворов приказал из каждого полка оставить по малочисленной команде для разбития палаток, а с прочими войсками начал действовать, и действовать *по-своему:* маневр кипел, подвигался и кончился в семнадцати

верстах от лагерного места. К полудню войска возвратились. Отец мой, запыленный, усталый и окруженный своими офицерами, вошел к нам в палатку. Рассказы не умолкали. Анекдоты о Суворове, самые пролетные его слова, самые странности его передавались с восторгом из уст в уста. Противна была только требуемая им от конницы *лишняя* (как говорили тогда офицеры) быстрота в движениях и продолжительное преследование мнимого неприятеля, изнурявшее людей и лошадей.

Но всего более не нравился многим следующий маневр: Суворов разумел войско оружием, а не игрушкой, и потому требовал, чтобы каждый род войска подчинял все второстепенно касающееся до боевого дела,— как, например, свою красивость и стройность,— той цели, для которой он создан. Существенная обязанность конницы состоит в том, чтобы *врезываться* в неприятельские войска, какого бы они рода ни были; следственно, действие ее не ограничивается одной быстротою скока и равенством линий во время скока. Ей должно, сверх того, вторгаться в средину неприятельской колонны или фронта и рубить в них все, что ни попадется под руку, а не, проскакав некоторое расстояние, быстро и стройно обращаться вспять под предлогом испуга лошадей от выстрелов, не коснувшись ни лезвием, ни копытом до стреляющих. Для прекращения подобной отговорки Суворов приучал лошадей им командуемой конницы к скоку во всю прыть, вместе с тем приучал и к проницанию в средину стреляющего фронта, на который производится нападение. Но чтобы вернее достигнуть этой цели, он не прежде приступал к последнему маневру, как при окончании смотра или ученья, уверенный в памятливости лошадей о том построении и даже о том командном слове, которым прекращается зависимость их от седоков.

Для этого он спешивал половинное число конных войск и становил их с ружьями, заряженными холостыми патронами, так, чтобы каждый стрелок находился от другого в таком расстоянии, сколько нужно одной лошади для проскока между ними; другую же половину оставлял он на конях и, расставя каждого всадника против промежутка, назначенного предварительно для проскока в пехотном фронте, приказывал идти в атаку. Пешие стреляли в самое то время, как всадники проскакивали во всю прыть сквозь стреляющий фронт; проскочив, они тотчас слезали с лошадей, и этим заключался каждый смотр, маневр или ученье. Посредством выбора времени для такого маневра лошади так приучились к выстрелам,



А. В. Суворов. Гравюра Joh. Neidl с портрета И. Крейцингера (1799 г.)

пускаемым, можно сказать, в их морду, что вместо страха они, при одном взгляде на построение против них спешивающихся всадников с ружьями, предчувствуя конец трудам своим, начинали ржать и рваться вперед, чтобы, проскакав сквозь выстрелы, возвратиться на покой в свои коновязи или конюшни. Но эти проскоки всадников сквозь ряды спешившихся солдат часто дорого стоили последним. Случалось, что от дыма ружейных выстрелов, от излишней торопливости всадников или от заноса некоторых своенравными лошадьми не по одному, а по нескольку вдруг, они попадали в промежуток, назначенный для одного: это причиняло увечье и даже смертоубийство в пехотном фронте. Вот отчего маневр был так неприятен тем, кому выпадал жребий играть роль пехоты. Но эти несчастные случаи не сильны были отвратить Суворова от средства, признанного им за лучшее для приучения конницы к поражению пехоты: когда доносили ему о числе жертв, затоптанных первою, он обыкновенно отвечал: «Бог с ними! Четыре, пять, десять человеков убью; четыре, пять, десять тысяч выучу»,— и тем оканчивались все попытки доносящих, чтобы отвлечь его от этого единственного способа довести конницу до предмета, для которого она создана.

За полчаса до полночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова или, по крайней мере, слышать слова его, потому что ученье начиналось за час до рассвета, а в самую полночь, как нас уверяли, он выбежит нагой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом: по этому сигналу трубачи затрубят *генерал-марш,* и войско станет седлать лошадей, ожидая *сбора,* чтобы садиться на них и строиться для выступления из лагеря. Но, невзирая на все внимание наше, мы не слыхали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в ту ночь, но никогда, ни прежде, ни после, сего не делывал, и что все это была одна из выдумок и увеличение разных странностей, которые ему приписывали.

До рассвета войска выступили из лагеря, и мы спустя час по их выступлении поехали вслед за ними в коляске. Но угонишься ли за конницею, ведомою Суворовым? Бурные разливы ее всеминутно уходили от нас из виду, оставляя за собою один гул. Иногда между эскадронами, в облаках пыли, показывался кто-то скачущий в белой рубашке, и в любопытном народе, высыпавшем в поле для одного с нами предмета, вырывались крики: *«Вот он, вот он! Это он, наш батюшка, граф Александр Васильевич!»* Вот все, что мы видели и слышали. Наскучив,

наконец, бесплодным старанием хотя однажды взглянуть на героя, мы возвратились в лагерь в надежде увидеть его при возвращении с маневров, которые, как нас уверяли, должны были окончиться ранее, чем накануне.

И подлинно, около десяти часов утра все зашумело вокруг нашей палатки и закричало: *«Скачет, скачет!»* Мы выбежали и увидели Суворова во ста саженях от нас, скачущего во всю прыть в лагерь и направляющегося мимо нашей палатки.

Я помню, что сердце мое упало,— как *после* упадало при встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и внимание, весь был любопытство и восторг, и как теперь вижу толпу, составленную из четырех полковников, из корпусного штаба, адъютантов и ординарцев, и впереди толпы Суворова — на саврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой рубашке, в довольно узком полотняном нижнем платье, в сапогах вроде тоненьких ботфорт, и в легкой, маленькой солдатской каске формы того времени, подобно нынешним каскам гвардейских конно-гренадеров. На нем не было ни ленты, ни крестов,— это мне очень памятно, как и черты сухощавого лица его, покрытого морщинами, достойными наблюдения Лафатера, как и поднятые брови и несколько опущенные веки; все это, невзирая на детские лета, напечатлелось в моей памяти не менее его одежды. Вот почему не нравится мне ни один из его бюстов, ни один из портретов его, кроме портрета, писанного в Вене во время проезда в Италию, с которого вернейшая копия находится у меня, да бюста Гишара, изваянного по слепку с лица после его смерти; портрет, искусно выгравированный Уткиным, не похож: он без оригинального выражения его физиономии, спящ и безжизнен.

Когда он несся мимо нас, то любимый адъютант его, Тищенко,— человек совсем необразованный, но которого он перед всеми выставлял за своего наставника и как будто слушался его наставлений,— закричал ему: «Граф! что вы так скачете; посмотрите, вот дети Василья Денисовича».— «Где они? где они?» — спросил он и, увидя нас, поворотил в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена; подозвав нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдат, друг мой?» Смелый и пылкий ребенок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: «Я люблю графа Суворова; в нем все — и солдаты, и победа, и слава».— «О бог помилуй, какой уда-

лой! — сказал он.— Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот (указав на моего брата) пойдет по гражданской службе». И с этим словом вдруг поворотил лошадь, ударил ее нагайкою и поскакал к своей палатке.

Суворов в сем случае не был пророком: брат мой весь свой век служил в военной службе и служил с честью, что доказывают восемь полученных ран,— все, кроме двух, от холодного оружия,— ран, издалека не получаемых; а я не командовал ни армиями, ни даже отдельными корпусами; следовательно, не выигрывал и не мог выигрывать сражений. При всем том слова великого человека имели что-то магическое: когда спустя семь лет подошло для обоих нас время службы и отцу моему предложили записать нас в Иностранную коллегию, то я, полный слов героя, не хотел другого поприща, кроме военного; брат мой, озадаченный, может быть, его предсказанием, покорился своей судьбе и, прежде чем поступил в военное звание, около году служил в Московском архиве иностранных дел юнкером.

В этот день все полковники и несколько штаб-офицеров обедали у Суворова. Отец мой, возвратясь домой, рассказывал, что пред обедом он толковал о маневре того дня и делал некоторые замечания. Как в этом маневре отец мой командовал второю линиею, то Суворов, обратясь к нему, спросил: «Отчего вы так тихо вели вторую линию во время третьей атаки первой линии? Я посылал к вам приказание прибавить скоку, а вы все продолжали тихо подвигаться!» Такой вопрос из уст всякого начальника не забавен, а из уст Суворова был, можно сказать, поразителен. Отец мой известен был в обществе необыкновенным остроумием и присутствием духа в ответах; он, не запутавшись, отвечал ему: «Оттого, что я не видал в том нужды, ваше сиятельство!» — «А почему так?» — «Потому, что успех первой линии этого не требовал: она не переставала гнать неприятеля. Вторая линия нужна была только для смены первой, когда та устанет от погони. Вот почему я берег силу лошадей, которым надлежало впоследствии заменить выбившихся уже из сил».— «А если бы неприятель ободрился и опрокинул бы первую линию?» — «Этого быть не могло: ваше сиятельство были с нею!» Суворов улыбнулся и замолчал. Известно, что он морщился и мигом обращался спиною в ответ на самые утонченные лесть и похвалу, исключая тех только, посредством которых разглашалась и укоренялась в общем мнении его непобедимость; эту лесть и похвалу он любил, и любил страстно, вероятно, не из тщеславия, а как нравственную

подмогу и, так сказать, заблаговременную подготовку непобедимости.

Вечером мы с матерью нашей и со всеми домашними поспешили обратно в Грушевку. Важное происшествие приготовлялось для нашего дома. Суворов, по особенной благосклонности к моему отцу, сам назвался к нему на обед. Не помню точно, но, кажется, это было во время петровского поста, или день обеда был в среду или пятницу; только мне весьма памятны хлопоты и суматоха в доме для приискания поболее и получше рыбы и для приготовления других любимых им блюд.

Не менее забот было и при устройстве приема и угощения знаменитого гостя,— так, чтобы ход обыкновенного его образа жизни и привычных странностей и прихотей не получил ни малейшего изменения.

К восьми часам утра все было устроено. В гостиной поставлен был большой круглый стол с разными постными закусками, с *благородного размера* рюмкою и с графином водки. В столовой накрыт был стол на двадцать два прибора, без малейшего украшения посреди, без ваз с фруктами и с вареньем, или без плато, как тогда водилось, и без фарфоровых кукол на нем. Ничего этого не было; Суворов этих прихотей ненавидел. Поставлен был длинный стол, на нем скатерть, а на скатерти двадцать два прибора, и все тут. Не было даже суповых чаш на столе, потому что кушанья должны были подаваться одно за другим, с самого пыла кухонного огня, прямо к сидящим за трапезою; так обыкновенно делывалось у Суворова. В одной из отдельных горниц за столовой приготовлены были: ванна, несколько ушатов с холодною водою, несколько чистых простынь и переменное его белье и одежда, привезенные из лагеря.

Маневры того дня кончились в семь часов утра, то есть в семь часов утра войска были уже на марше к лагерю. Отец мой, оставив свой полк на походе, поскакал в лагерь во всю прыть своего черкесского коня, на котором был на маневрах, чтобы там переменить его, скорее приехать к нам и до прибытия Суворова исправить то, что требовало исправления для его принятия. Уже он был на половине пути от лагеря к Грушевке, как вдруг с одного возвышения увидел около двух верст впереди себя, но несколько в боку — всадника с другим всадником, отставшим довольно далеко; оба они скакали во все поводья по направлению к Грушевке; это был Суворов с одним из своих ординарцев, скачущий туда прямо с маневров. Отец мой усилил прыть своей лошади, но не успел при-

ехать к нашему дому прежде сего шестидесятитрехлетнего старца-юноши. Он нашел уже его, всего опыленного, на крыльце, трепавшего коня своего и выхвалявшего качества его толпе любопытных, которою был окружен. «Помилуй бог, славная лошадь! Я на такой никогда не езжал. Это не двужильная, а трехжильная!» [9] Тут отец мой пригласил и провел его в приготовленную ему комнату, а сам занялся туалетом: подобно Суворову, он весь покрыт был пылью, так что нельзя было угадать черт лица его.

Начали наезжать приглашенные на этот же обед другие гости: я помню тогда дежурного генерала при Суворове — Федора Ивановича Левашова, маиора Чорбу, Тищенку, о котором сказал прежде. Тут были также полковники полков, собранных на маневры, все чиновники корпусного штаба Суворова, с ним прибывшие, и несколько штаб-офицеров Полтавского полка. Из полковников памятны мне только Юрий Игнатьевич Поливанов (кажется, тогда уже в бригадирском чине) и подполковник Карл Федорович Гейльфрейх. Все сии гости были в полном параде, в шарфах, и все находились в гостиной, где был отец мой, одетый подобно другим, во всю форму, мать моя, мы и одна пожилая госпожа, знакомая моей матери, приехавшая из Москвы вместе с нами. Она с первого взгляду не понравилась Суворову и была предметом насмешливых взглядов и шуток во все время пребывания его у нас.

Мы все ожидали выхода Суворова в гостиную. Это продолжалось около часу времени. Вдруг растворились двери из комнат, отделенных столовою от гостиной, и Суворов вышел оттуда чист и опрятен, как младенец после святого крещения. Волосы у него были, как представляются на его портретах. Мундир на нем был генерал-анщефский того времени, легкоконный, то есть темно-синий с красным воротником и отворотами, богато шитый серебром, нараспашку, с тремя звездами. По белому летнему жилету лежала лента Георгия первого класса; более орденов не было. Летнее белое, довольно узкое исподнее платье и сапоги, доходившие до половины колена, вроде легких ботфорт; шпага на бедре. В руках ничего не было — ни шляпы, ни каски. Так я в другой раз увидел Суворова.

Отец мой вышел к нему навстречу, провел его в гостиную и представил ему мать мою и нас. Он подошел к ней, поцеловав ее в обе щеки, сказал ей несколько слов о покойном отце ее, генерал-поручике Щербинине, бывшем за несколько

лет пред тем наместником Харьковской, Курской и Воронежской губерний. Каждого из нас благословил снова, дал нам поцеловать свою руку и сказал: «Это мои знакомые»,— потом, обратясь ко мне, повторил: «О, этот будет военным человеком! Я не умру, а он выиграет три сражения». Тут отец мой представил ему родную сестру мою, трехлетнего ребенка. Он спросил ее: «Что с тобою, моя голубушка? Что ты так худа и бледна?» Ему отвечали, что у нее лихорадка. «Помилуй бог, это нехорошо! Надо эту лихорадку хорошенько высечь розгами, чтоб она ушла и не возвращалась к тебе». Сестра подумала, что сеченье предлагается ей самой, а не лихорадке, и едва не заплакала. Тогда, обратясь к пожилой госпоже, Суворов сказал: «А об этой и спрашивать нечего; это, верно, какая-нибудь *мадамка*». Слова сии сказаны были без малейшей улыбки и весьма хладнокровно, что возбудило в нас смех, от которого едва мы воздержались. Но он, не изменяя физиономии, с тем же хладнокровием подошел к столу, уставленному закусками, налил рюмку водки, выпил ее одним глотком и принялся так плотно завтракать, что любо.

Спустя несколько времени отец мой пригласил его за обеденный стол. Все разместились. Подали щи кипячие, как Суворов обыкновенно кушивал: он часто любил их хлебать из самого горшка, стоявшего на огне. Я помню, что почти до половины обеда он не занимался ничем, кроме утоления голода и жажды, средь глубокого молчания; и что он обе эти операции производил, можно сказать, ревностно и прилежно. Около половины обеда пришла череда и разговорам. Но более всего остались у меня в памяти частые насмешки его над пожилою госпожой, что нас, детей, чрезвычайно забавляло, да и старших едва не увлекало к смеху. В течение всего обеда он, при самых интересных разговорах, не забыл ловить каждый взгляд ее, как скоро она обращалась в противную от него сторону, и мгновенно бросал какую-нибудь шутку на ее счет. Когда она, услышав его голос, оборачивалась на его сторону, он, подобно школьнику-повесе, потуплял глаза в тарелку, не то обращал их к бутылке или стакану, показывая, будто занимается питьем или едою, а не ею. Так, например, взглянув однажды на нее тогда, как она всматривалась в гостей, он сказал вполголоса, но довольно явственно: «Какая тетеха!» И едва успела она обратиться на его сторону, как глаза его опущены уже были на рыбу, которую он кушал весьма внимательно. В другой раз, заметив, что она продолжает слушать разговоры тех же гостей,

он сказал: «Как вытаращила глаза!» В третий раз, увидев то же, он произнес: «Они там говорят, а она сидит да глядит!»

Тищенко сказывал после, что из одного только уважения к матери моей Суворов ограничил подобными выходками нападки свои на госпожу, которая ему не понравилась, но что обыкновенно он, дабы избавиться от присутствия противной ему особы, при первой встрече с нею восклицал: «Воняет, воняет! Курите, курите!» И тогда привычные к нему чиновники, зная уже, до кого речь касается, тайно подходили к той особе и просили ее выйти из комнаты. Тогда только прекращались его восклицания.

После обеда он завел речь о лошади, на которой ездил на маневрах и приехал к нам на обед. Хвалил ее прыткость и силу и уверял, что никогда не езжал на подобной, кроме одного раза в сражении под Козлуджи. «В сем сражении,— сказал он,— я отхвачен и преследуем был турками очень долго. Зная турецкий язык, я сам слышал уговор их между собою, чтобы не стрелять по мне и не рубить меня, а стараться взять живого: они узнали, что это был я. С этим намерением они несколько раз настигали меня так близко, что почти руками хватались за куртку; но при каждом их наскоке лошадь моя, как стрела, бросалась вперед, и гнавшиеся за мною турки отставали вдруг на несколько саженей. Так я спасся!»

Пробыв у нас около часа после обеда весьма разговорчивым, веселым и без малейших странностей, он отправился в коляске в лагерь и там отдал следующий приказ:

«Первый полк отличный; второй полк хорош; про третий ничего не скажу; четвертый никуда не годится».

В приказе полки означались собственным именем каждого; я назвал их номерами. Не могу умолчать, однако, что первый номер принадлежит Полтавскому легкоконному полку.

По отдании этого приказа Суворов немедленно сел на перекладную тележку и поскакал обратно в Херсон.

Спустя несколько месяцев после мирных маневров конницы и насмешек над пожилою госпожой на берегах Днепра Польское королевство стояло уже вверх дном, и Прага, залитая кровью, курилась [10].

ВСТРЕЧА С ФЕЛЬДМАРШАЛОМ ГРАФОМ КАМЕНСКИМ

(1806)

В 1806 году 4 июля я был переведен из ротмистров Белорусского гусарского полка, что ныне гусарский полк принца Оранского, в Лейб-гвардии гусарский полк поручиком [11]. В конце сентября я приехал в Петербург и немедленно переехал в Павловск, где квартировал эскадрон, в который я был назначен. Эскадронный командир был давний мой друг и один из виновников перевода моего в гвардию, сослуживцы же — ребята добрые. Мы жили ладно. Во всем полку нашем было более дружбы, чем службы, более рассказов, чем дела, более золота на ташках, чем в ташках, более шампанского (разумеется, в долг), чем печали... Всегда веселы и всегда навеселе!

Может быть, в настоящих летах моих я благословил бы участь мою и не желал бы более; но мне тогда было двадцать два года от роду: я кипел честолюбием, уставал от бездействия, чах от избытка жизни.

Сверх того, положение мое относительно к товарищам было истинно нестерпимое. Оставя гвардию, не слыхавшую еще боевого выстрела, я провел два года в полку, который не был в деле, и поступил обратно в ту же гвардию, которая пришла из-под Аустерлица. От меня еще пахло молоком, от нее несло жженым порохом. Я говорил о рвении моем; мне показывали раны, всегда для меня завидные, или ордена, меня льстившие. Не раз вздох ропота на судьбу мою заструил чашу радости.

Наконец пришла весть о разбитии прусской армии под Иеной. Заговорили о движении войск наших на помощь пораженным союзникам, и фельдмаршал граф Каменский вызван

был из деревни для начальствования армиею. Я ожил. Как бешеный пустился я в столицу, чтобы разведать о средствах втереться к нему в адъютанты или быть приписанным к какому-нибудь армейскому полку, идущему за границу.

Тщетны были старания мои. Я не мог найти не только ходатая, но даже человека, в котором бы хотя мало-мальски отозвалось брожение чувств моих. Везде на поэзию, кипящую и в душе, и в глазах, и в словах моих, встречал я прозаическое словцо: *«Это вам делает честь!»* — «Умилосердитесь! Я не похвалы прошу, я прошу помощи: не дайте мне заглохнуть в гарнизонной службе и на придворных балах; дайте подышать чистым воздухом!» — *«Вы знаете, что государь не любит волонтеров».* Я принимал за клевету такое святотатственное слово насчет государя императора, почитая за сверхъестественное дело, чтобы русский царь не любил тех, кои рвутся вперед. Тем заключились все попытки мои у людей могучих.

Между тем колонны батюшек и бабушек, дядюшек и тетушек, как будто войско, принадлежавшее Наполеону, лезли на приступ 9-го нумера Северной гостиницы, где остановился фельдмаршал. Всякий просил его о своем кровном, все просьбы были удовлетворяемы, и, к большему моему терзанию, я должен был быть свидетелем сборов к отъезду в армию многих моих знакомых и приятелей.

Отчаяние решило меня: 16-го ноября, в четвертом часу *пополуночи*, я надел мундир, сел в дрожки и приехал прямо к самому фельдмаршалу. Я избрал час сей для того, чтобы предупредить новую колонну родственников, готовившуюся на рассвете к новому приступу.

К тому ж всякий чудак любит чудное, а *набег* среди ночи юного поручика, служившего без связей и протекции, на престарелого фельдмаршала, живого, ярого и строптивого, не так-то близок был к обыкновенным правилам общежития и даже благоразумия. Все спало на дворе и в гостинице. Нумер 9-й, к коему вела крутая, тесная и едва освещенная лестница, находился в третьем этаже [12]. У входа в оный был маленький коридор, в коем теплился фонарь. Погода была холодная. Пришед к дверям нумера, я завернулся в шинель и прислонился к стене в ожидании какого-нибудь выходца из горниц, чтобы войти с ним вместе в переднюю, оглашаемую сиповатым храпом какого-то дюжего денщика фельдмаршала.

Однако первый пыл решимости моей убавился, когда я, осмотрев себя, взглянул на коридор, едва освещенный гаснувшим уже фонарем, и сообразил с сими очевидными предметами

час, избранный мною на торжественное представление себя высокой особе, и младенческое своенравие всех почти стариков с просонков, приправленное необузданными порывами гнева, принадлежавшими лично фельдмаршалу графу Каменскому. Подумав немного, я сбросил с себя шинель, давшую мне вид Абеллино или Фра-Диаволо, и решился дожидаться развязки сего игрища в одном мундире.

Слышу, отворяется дверь, и маленький старичок, свежий и бодрый, является предо мною в халате, с повязанною белой тряпицею головою и с незажженным в руке огарком. Это был фельдмаршал. Увидя меня, он остановился. *«Кто вы таковы?»* — спросил он меня. Я назвал себя. *«К кому пришли?»* — *«К вашему сиятельству»*. Он взглянул мне быстро в глаза, пошел вдоль коридора к фонарю, зажег свой огарок и, на обратном пути, поровнявшись со мною, сказал мне: *«Пожалуйте сюда»*. Я пошел за ним; он молчал и шел с огарком впереди меня. Перед входом в спальню я из уважения хотел было остановиться, пока удостоюсь особого зова. Приметя сие, он сказал довольно сердито: *«Нет, пожалуйте сюда»*. Я вошел в спальню. Тогда он, воткнув огарок в подсвечник, стоявший на столике подле кровати, спросил меня: *«Что вам надо?»* Я объявил желание мое служить на войне. Он вспыхнул, начал ходить скорыми шагами взад и вперед по горнице и почти в исступлении говорить: *«Да что это за мученье! Всякий молокосос лезет проситься в армию, когда я еще и сам не назначен к месту! Замучили меня просьбами! Да кто вы таковы?»* Я повторил мое имя. *«Какой Давыдов?»* Я сказал имя отца моего.

Тут он смягчился, вспомнил о своей приязни с ним и даже с дедом моим; начал поименно называть моих родственников, так что едва не добрался до выходца из Золотой Орды Минчака Касаевича, родоначальника Давыдовых. Потом, подойдя ко мне ближе, с видом, однако, добродушия, он сказал: *«Помнится мне, что ты против воли должен был однажды выйти из гвардии? За что? Скажи мне правду, как бы ты сказал ее покойному отцу своему»*. Я рассказал приключение сие со всею откровенностью лет и характера моего. Он слушал со вниманием, иногда улыбался, иногда хмурился, и я, как ястреб, взмывал над местами, от коих примечал, что брови его начинают смыкаться, падал стремглав и уцеплялся за те, от коих предчувствовал улыбку. Когда я кончил, он, пожав мне руку, сказал: *«Ну, хорошо, любезный Давыдов! Нынче же буду просить тебя с собою; расскажу государю все: как ты ночью,— слыхано ли это! — ночью ворвался ко мне в горницу, как я тебя принял —*

прости меня! — за неблагонамеренного человека... Право, я думал, что ты хочешь застрелить меня! Правду сказать, я смерти никогда не боялся, а в моих летах еще менее боюсь ее; но ты весьма был похож на подозрительную особу. Признайся!» Я извинялся, что осмелился обеспокоить его в такой необыкновенный час. *«Нет, нет, напротив,—* возразил он с пылкостию,— *это мне приятно, это я люблю, это значит ревность неограниченная, горячая; тут душа, тут сердце... я это знаю, я чувствую!»*

Итак, распростясь с фельдмаршалом, я возвратился домой с надеждою на успех. Сердце мое обливалось радостью, чад бродил в голове моей; уже я командовал полком, уже я решил важное сражение и едва ли не победителем Наполеона бросился на постель, на коей не мог сомкнуть глаз от душевного волнения. Надежда в эти лета так похожа на подлинность.

Поутру заговорили в гвардии и в городе о моем наездническом наскоке на фельдмаршала; но от него я ничего не получал. Назавтра я приехал к нему в девять часов утра, чтобы узнать о моей участи. Улица была заперта дрожками и каретами. Я вошел в горницы, полные чиновниками, и остановился у притолки. Ударил час развода. Фельдмаршал, выходя садиться в карету, увидел меня, бросился ко мне, обнял меня и, взяв в сторону, сказал мне: *«Я говорил о тебе, любезный Давыдов! Просил тебя в адъютанты к себе в несколько приемов, но мне отказано под предлогом, что тебе надо еще послужить во фронте. Признаюсь тебе, что по словам и по лицу государя я вижу невозможность выпросить тебя туда, где тебе быть хотелось. Ищи сам собою средства, и поверь, что какие бы ты ни нашел пути, чрез кого бы ты ни достиг своей цели, я всегда с радостию приму тебя и доставлю тебе случай отличиться».* С этим словом он исчез, а я остался как вкопанный!.. Но когда потянулась вслед за ним и мимо меня процессия *избранных,* я взглянул на нее, пожал плечами и улыбнулся, как никогда сатана не улыбался!

Я не распространился бы в описании этого случая, мало любопытного для других, хотя и насладительного для меня воспоминанием о первом порыве моем к поприщу, столь давно, столь неослабно, горячо и страстно мною пробегаемому, если б случай этот не выводил на сцену человека, поколением нашим забытого и новому поколению почти неизвестного; а между тем этот человек имел счастие в течение пятидесятилетнего служения отечеству нести в общем мнении и в мнении самого Суворова высокую честь единственного его соперника в эпоху людей превосходных. Такая честь не есть удел посредственности...

Этою попыткой я не мог удовольствоваться; закусив повода, я бросался на каждую стезю, которая, как казалось мне, могла вести меня к моей цели.

Находясь уже давно в самых дружественных отношениях с моим эскадронным командиром, я потому был весьма обласкан сестрою его, весьма значительною в то время особой. Проводя обыкновенно время мое в ее великолепном, роскошном и посещаемом вельможами, иностранными послами и знатными лицами доме, я потому имел довольно обширный круг знакомых. Поиск мой в 9-й нумер Северной гостиницы сделался, как я уже сказал, предметом минутных разговоров той части столицы, которая от тунеядства питается лишь перелетными новостями, какого бы рода они ни были. Дом Марьи Антоновны Нарышкиной, как дом модный, принадлежал к этому кварталу. Едва я после вышесказанного происшествия вступил в ее гостиную, как все обратилось ко мне с вопросами об этом; никто более ее не удивлялся смелому набегу моему на бешеного старика.

Этот подвиг, который удостоивали называть чрезвычайным, много возвысил меня в глазах этой могущественной женщины. В заключение всех восклицаний, которыми меня осыпали, она мне наконец сказала: «Зачем вам было рисковать, вы бы меня избрали вашим адвокатом, и, может быть, желание ваше давно уже было бы исполнено». Можно вообразить себе взрыв моей радости! Я отвечал, что время еще не ушло, что одно внимание и участие ее служит верным залогом успеха, и прочие в том же вкусе фразы. Она обещала похлопотать обо мне; она, может быть, полагала, что во мне таится зародыш чего-либо необыкновенного и что слава покровительствуемого может со временем отразиться на покровительницу; я поцеловал с восторгом прелестную руку и возвратился домой с такими же надеждами на успех, как по возвращении моем из Северной гостиницы. Чрез два дня я узнал, что все мои просьбы рушились о приговор не лишать меня изящного занятия равняться во фронте и драть горло перед взводом.

Казалось, что приговор мой был подписан и что судьба решительно отказалась оживотворить меня своей улыбкой. Что ж вышло? Приезжает курьер Валуев с известием о болезни фельдмаршала и об отбытии его из армии. Спустя два дня является другой курьер, граф Васильев, с донесением Беннингсена о победе при Пултуске, и государь назначает князя Петра Ивановича Багратиона командиром авангарда действующей армии, которую препоручает генералу Беннингсену.

Какое, по-видимому, могли иметь влияние на военную участь

бедного гусарского поручика, ходившего с бичом по манежу или сидевшего за круговой чашей с товарищами, фельдмаршал или Пултуск, или Беннингсен, или Багратион? Первому отказали насчет меня, когда ему ни в чем не отказывали; Беннингсен не ведал даже о моем существовании; о Пултуске я знал только по карте; а Багратион знаком был со мною только мимоходом: здравствуй, прощай, и все тут!

Я в день приезда графа Васильева был в Петербурге для свиданья с братом и весьма мало ожидал ходатайства обо мне князя Багратиона, будучи убежден в неудаче его попыток, если бы он и вздумал предпринять их. Узнав о назначении его в армию, мне и в голову не входило проситься к нему в адъютанты! Вот каким образом исполнились мои желания.

Князь, получив из уст государя известие о назначении своем и о позволении взять с собою несколько гвардейских офицеров, заехал в то же утро к Нарышкиной с тем, чтобы спросить ее, не пожелает ли она, чтобы он взял с собою брата ее (моего эскадронного командира), так как он уже служил при князе в Аустерлицкую кампанию с большим отличием, был ему душевно предан и всегда говаривал, что он ни с кем другим не поедет в армию. Нарышкина немедленно согласилась на предложение князя, прибавив к этому, что если он вполне желает ее одолжить, то чтобы взял с собою и Дениса Давыдова. Одно слово этой женщины было тогда повелением; князь поехал на другой день к императору, и я по сие время не знаю, как достиг он до той цели, до коей фельдмаршал достигнуть не мог, несмотря на все его старания. Ничего не подозревая обо всем этом, я в день решения своей участи приехал, по обыкновению, обедать к Нарышкиной вместе с ее братом. Она, увидев его, поспешила объявить ему, что он едет с князем Багратионом; меня бросило в дрожь; Борис Четвертинский, любивший меня, как брата, зная, как велико было желание мое ехать в армию, спросил ее: «А он? — показывая на меня.— А он?» — «Нет, опять отказ!» — отвечала она. Я побледнел.

Заметив это, она испугалась, бросилась ко мне и сказала: «Виновата, я хотела пошутить, и вы едете». Я не помню, что в то время со мною сделалось; но меня уверяли, что я едва не бросился к ней на шею.

Во время обеда я не мог есть; не кровь, но огонь пробегал по всем моим жилам, и голова была вверх дном! После обеда я бросился к князю Багратиону, который вечером должен был отправиться к своему месту. Он жил в доме князя Гагарина на Дворцовой набережной. Когда я приехал, кибитка была уже

подвезена к его крыльцу[13]. Стыжусь своей слабости! Я хотя был уверен, что князь не обманул Нарышкину, объявив ей о соизволении государя на отъезд мой в армию, и был также уверен, что и Нарышкина не обманула меня, но, опасаясь разочарования, я лучше хотел остаться в неведении, чем удостовериться в истине, может быть, для меня ужасной! И что же? Вместо того чтобы спросить князя, точно ли я к нему назначен и когда прикажет мне ехать, что необходимо следовало бы сделать, я, простившись с ним, проводил до кибитки, не промолвив о себе ни слова! Когда уже он был далеко, я, устыдясь самого себя, не без усилия поехал к графу Ливену (исправлявшему тогда должность директора военнопоходной его величества канцелярии), который решительно объявил мне, что я назначен адъютантом к князю Багратиону и что на другой день будет о том отдано в приказе.

Выехав из Петербурга 3 января, я догнал около Пскова князя Федора Гагарина (служившего тогда корнетом в Кавалергардском полку) и вместе с ним приехал в Вильно. Там нашли мы множество гвардейских офицеров наших, из коих помню только Рындина (убитого генерал-маиором при Проводах 1829 года), барона Дамаса, довольно основательно владевшего русским языком (который был потом министром военным, потом министром иностранных дел во Франции, а еще позднее наставником герцога Бордоского), Пущина (что ныне генерал-маиор в отставке), Фридрихса (что ныне шталмейстером при дворе), Мандрыку (что ныне генерал-маиор) и прочих. Все эти офицеры были командированы для обучения порядку службы новоформировавшихся армейских полков. Мы хотели, отдохнув несколько дней в Вильно, воспользоваться балами и прочими увеселениями города, а потом уже скакать к месту назначения. Но узнав, что в армии ждут с часа на час генерального сражения, кровь моя снова закипела, и я поспешно оставил Вильно.

Проездом через Скидель я заезжал в Озерках к Шепелеву, который был тогда полковником и формировал Гродненский (что ныне Клястицкий) гусарский полк; там нашел я эскадронных командиров полка его и моих приятелей Степана Бибикова, Александра Давыдова, вечного маиора, но славного впоследствии генерала Кульнева, Горголия, познакомился с славным впоследствии Ф. В. Ридигером, отцом-командиром моим в войну 1831 года, столь справедливо его прославившую; он был тогда, кажется, штаб-ротмистром или ротмистром Гродненского полка.

В Гродно я заезжал к жене полковника Бороздина (что умер генералом-от-кавалерии); он так же, как и Шепелев, окончив

формирование полка Финляндского драгунского, был уже за границей в Лике.

Никогда не забуду той радости, с которой я первый раз в жизни переехал чрез границу нашу. Как было для меня все ново, необыкновенно! Весьма естественно любоваться чистыми, красивыми городками и селениями и каткими дорогами, осененными деревьями, но меня радовали и аккуратные немцы с пудовыми их шутками насчет Наполеона, от нашествия которого, однако же, не в шутку их в дрожь бросало; и бирсуп, и бутерброд, и грубые почтальоны, так учтиво обходящиеся с лошадьми своими! Я ехал на Августово, Лик, где ночевал у Бороздина, Рейн, Гутштадт, и 15-го, в девять часов утра, приехал в Либштадт, в минуту выступления главной квартиры и главной армии в Морунген, где 13-го числа был атакован и разбит Бернадотом Евгений Иванович Марков, командовавший частию авангарда армии.

Получив в Петербурге и на пути несколько пакетов на имя главнокомандующего, я был представлен ему и имел честь вручить их ему лично. Мне приятно было встретить в комнате его множество моих петербургских приятелей и знакомых. Все меня обступили; всякий спрашивал о друзьях, о любезных, в Петербурге оставленных. Многим из нашей молодежи надоела война, производимая в такое суровое время года, без решительных успехов и при всякого рода недостатках. Многие вздыхали о петербургской роскошной жизни. «Глупый ты человек,— говорили мне они,— черт тебя сюда занес! Как дорого бы мы дали, чтоб возвратиться назад! Ты еще в чаду, мы это видим,— погоди немного, и мы услышим, что ты скажешь». Они представляли мне разные трудности, меня ожидающие. Я отвечал им, что я заранее знал, куда еду: туда, где дерутся, а не туда, где целуются, и уверен был и буду, что война не похлебка на стерляжьем бульоне. И подлинно, я не думал тогда о трудах и опасностях: так неограниченность надежд и к этому еще так сильно новое мое положение, так сильно новые, разнообразные и живые картины действовали на мои чувства. Довольно сказать, что с детства моего я дышал только боевой службой, был честолюбив до крайности и имел только двадцать два года от роду.

Прибыв на почтовых, я не имел верховой лошади, чтобы ехать вместе с войсками. Один из приятелей моих уступил мне на переход до Морунгена одну из заводских лошадей своих, и мы отправились. Я ехал при Павлоградском гусарском полку с его шефом генерал-маиором Чаплицом и полковником графом

Орурком, ныне генерал-лейтенантом. На походе я познакомился с некоторыми офицерами, между коими были князь Баратаев, Ясон и Степан Храповицкие. Я не думал тогда, что с последним буду служить в великий 1812 год партизаном и заключу с ним братскую дружбу на кровавых пирах войны Отечественной!

Не могу описать, с каким восторгом, с каким упоением я глядел на все, что мне в глаза бросалось! Части пехоты, конницы и артиллерии, готовые к движению, облегали еще возвышения справа и слева — в одно время, как длинные полосы черных колонн изгибались уже по снежным холмам и равнинам. Стук колес пушечных, топот копыт конницы, разговор, хохот и ропот пехоты, идущей по колени в снегу, скачка адъютантов по разным направлениям, генералов с их свитами; самое небрежение, самая неопрятность одежды войск, два месяца не видавших крыши, закопченных дымом биваков и сражений, с оледенелыми усами, с простреленными киверами и плащами,— все это благородное безобразие, знаменующее понесенные труды и опасности, все неизъяснимо электризировало, возвышало мою душу! Наконец я попал в мою стихию!

Но сколь чувства и мысли человека подвластны различным впечатлениям! Сейчас военное ремесло казалось мне с привлекательнейшей стороны; пройдя несколько верст вперед, оно явилось мне во всей нагой отвратительности.

Мы подошли к деревне Георгенштель, к самому тому полю, на коем за два дня пред приходом нашим был разбит Марков. Селение сие было разбираемо на костры тою частию войск наших, которой было определено провести ночь на этом месте. Некоторые из жителей стояли вне селения с немою горестию, без слез и ропота, что всегда для меня было и есть поразительнее стенаний и вопля. Неопытный воин, я доселе полагал, что продовольствие войск обеспечивается особенными чиновниками, скупающими у жителей все необходимое для пищи, доставляющими необходимые эти потребности в армию посредством платы за подводы, нанимаемые у тех же жителей; что биваки строятся и костры зажигаются не из изб миролюбивых поселян, а из кустов и деревьев, находящихся на корне; словом, я был уверен, что обыватели тех областей, на коих происходят военные действия, вовсе не подвержены никакому несчастию и разорению и что они ничто более, как покойные свидетели происшествий, подобно жителям Красного Села на маневрах гвардии. Каково было удивление мое при виде противного! Тут только удостоверился я в злополучии и бедствиях, причиняе-



М. Ф. Каменский. Гравюра А. Осипова.

мых войною тому классу людей, который, не стяжая в ней, подобно нам, солдатам, ни славы, ни почестей, лишается не только последнего имущества, но и последнего куска хлеба, не только жизни, но чести жен и дочерей и умирает, тощий и пораженный во всем, что у него есть милого и святого, на дымящихся развалинах своей родины,— и все это отчего? Оттого, что какому-нибудь временщику захотелось переменить красную ленту на голубую, голубую на полосатую!

На этом же поле позорище другого рода потрясло мою душу. Мы вступили, как я сказал, на равнину Морунгенской битвы. «Уже,— как говорит один из благозвучных наших прозаиков,— уже отстонало поле, уже застыла кровь; тысячи лежали на снегу. Опрокинутые трупы с отверстыми, потусклыми очами, казалось, еще глядели на небо; но они не видали уже ни неба, ни земли. Они валялись, как сосуды драгоценного напитка, разбросанные и раздробленные насильственной рукой в пылу буйного пира. Мрачный зимний день наводил какую-то синеватую бледность на сии свежие развалины человечества, в которых за два дня пред тем бушевали страсти, играли надежды, и свежие желания кипели, как лета пылкой юности».

Я из любопытства рассматривал поле сражения. Прежде ездил по нашей, а потом по неприятельской позиции. Видно было, где огонь и где натиски были сильнее, по количеству тел, лежавших на тех местах. Артиллериею авангарда нашего командовал тогда полковник Алексей Петрович Ермолов, и действие ее было, во всем смысле слова, разрушительно в пехотных колоннах и линиях неприятельской конницы, ибо целые толпы первой и целые ряды последней лежали у деревни Пфаресфельдшен, пораженные ядрами и картечью, в том же порядке, как они шли или стояли во время битвы.

Вначале сия равнина смерти, попираемая нами, которые спешили к подобной участи, сии лица и тела, искаженные и обезображенные огнестрельным и рукопашным оружием, не произвели надо мною никакого особого впечатления; но по мере воли, даваемой мною воображению своему, я — со стыдом признаюсь — дошел до той степени беспокойства относительно самого себя или, попросту сказать, я ощутил такую робость, что, приехав в Морунген, я во всю ночь не мог сомкнуть глаз, пугаясь подобного же искажения и безобразия. Если бы рассудок имел хотя малейшее участие в действии моего воображения, то я легко бы увидел, что таковая смерть не только не ужасна, но завидна, ибо чем рана смертоноснее, тем страдание кратковременнее,— а какое дело до того, что после смерти

будешь пугать живых людей своим искажением, сам того не чувствуя! Слава богу, с рассветом дня воспоследовало умственное мое выздоровление. Пришед в первобытное состояние, я сам над собою смеялся и, как помнится, в течение долговременной моей службы никогда уже не впадал в подобный пароксизм больного воображения.

День дневки я пробыл в Морунгене и обедал у главнокомандующего, к которому заходил еще и вечером. Хотя я был весьма неопытен в военном ремесле, но помню, что меня крайне удивила нескромность Беннингсена и прочих генералов, при главной квартире находившихся. Я был сам свидетелем, как Беннингсен, К<норринг>, граф Толстой, лежа на карте, сообщали друг другу о предположениях своих. Они объявляли свои намерения при множестве разного рода чиновников военных и статских, адъютантов и иностранцев!

Шестнадцатого января, рано поутру, я купил себе верховую лошадь и в сопровождении одного казака отправился к князю Багратиону, принявшему уже начальство над авангардами Маркова, Барклая-де-Толли и Багговута. Команды первого и последнего находились тогда в деревне Бибервальд, лежащей на пути из Любемиля в Дейч-Эйлау; команда Барклая была в отделе. На пути моем я объехал конницу Корфа и графа Петра Петровича Палена у Грос-Готсвальда, где купил еще лошадь верховую в Сумском гусарском полку; следуя далее, в Остеродском лесу проехал мимо кочующей на дороге около озера Борлингзе дивизии графа Остермана; ночью, приехав в Любемиль, я явился к Н. А. Тучкову, коего дивизия находилась в сем городе, и рано поутру прибыл к своему месту. На пути присоединились ко мне ехавшие так же, как и я, в авангард, Митавского драгунского полка поручик Хитров и один казачий офицер, коего я забыл имя.

Князь квартировал в красивой и обширной избе прусского поселянина. Он занимал большую горницу, где стояла кровать хозяйская, на которой ему была постлана солома; пол этой горницы был также устлан соломою. В свите его тогда находились Кавалергардского полка полковник князь Трубецкой (что ныне генерал-адъютант и генерал-от-кавалерии), граф де Бальмен, граф Грабовский, Афросимов, Эйхен и прочие. Вскоре я увидел Евгения Ивановича Маркова и Барклая, тогда еще в генерал-маиорских чинах, генерал-маиора Багговута, полковников Юрковского, Ермолова, Турчанинова и прочих; аванпостами командовал Юрковский. Я помню, что в то время, хотя Барклай был украшен лишь Георгием и Владимиром 4-й степени

и штурмовой Очаковской медалью, но уже пользовался репутацией мужественного и искусного генерала.

В течение пятилетней моей службы при князе Багратионе в качестве адъютанта его я во время военных действий не видал его иначе, как одетым днем и ночью. Сон его был весьма короткий — три, много четыре часа в сутки, и то с пробудами, ибо каждый приезжий с аванпостов должен был будить его, если привезенное им известие того стоило. Он любил жить роскошно: всего было у него вдоволь, но для других, а не для него. Сам он довольствовался весьма малым и был чрезмерно трезв. Я не видал, чтобы он когда-либо пил водку или вино, кроме двух рюмок мадеры за обедом. В то время одежда его была: сертук мундирный со звездою Георгия 2-го класса, бурка на плечах и на бедре шпага, которую носил он в Италии при Суворове; на голове картуз из серой смушки и в руке казацкая нагайка.

От суровости времени года в сию кампанию не глядели за формою, и мы все то носили, что более другого грело. Я было надел на себя лейб-гусарский ментик, но меня уговорили снять его, дабы избегнуть опасности быть ранену или убиту от своих, потому что в корпусе Бернадота, который в то время ближе других находился к нам, был 10-й гусарский полк, носивший красные ментики, подобно Лейб-гусарскому полку.

Материалы для современной военной истории (1806—1807)

I

УРОК СОРВАНЦУ

(1807)

Посвящается сыновьям моим: Василию, Николаю, Денису, Ахиллу и Вадиму

Армия наша отступала от Янкова к Прейсиш-Эйлау.

В то время арьергард получил новое образование: он разделен был на две части.

Одной командовал генерал-маиор Барклай-де-Толли, другой — генерал-лейтенант князь Багратион.

Двадцать третьего января первый из них дрался близ Деппена, прикрывая отступление армии к Вольфсдорфу.

Двадцать четвертого пришла очередь князю Багратиону прикрывать отступление ее от Вольфсдорфа к Ландсбергу.

Сколько помню я, арьергард князя Багратиона состоял из полков: Екатеринославского и Малороссийского гренадерских, Псковского пехотного, нескольких егерских, Елисаветградского и Александрийского гусарских, Курляндского драгунского, какого-то уланского, нескольких казачьих и до сорока орудий артиллерии.

Частные командиры арьергарда были славные впоследствии генерал-маиоры: граф Петр Петрович Пален, Марков, Багговут, граф Ламберт и уже в то время знаменитые полковники: Ермолов, командовавший всей артиллерией арьергарда, князь Михаил Петрович Долгоруков, Гогель и Юрковский. Последний командовал передовою цепью.

Вольфсдорфское дело было первым боем моего долгого поприща. Не забуду никогда нетерпения, с каким я ждал первых

выстрелов, первой сечи! При всем том, как будто сомневаясь в собственном мужестве, я старался заимствоваться духом у сподвижников князя Багратиона, поглощая душой игру их физиономий, взгляды их, суждения и распоряжения, которые дышали любовью к опасностям и соединялись с какою-то веселою беззаботностью о жизни. Но более всех действовал на меня сам князь. Я еще не видал его возвышенного духа в полном развитии; но мое воображение уже проникало сквозь его величавое спокойствие в хранилище нравственной силы и гениальных соображений, которые в нем зажигались и извергались из него в самом пылу битвы по мере безнадежности на успех и возрастающей уверенности в гибели.

На рассвете неприятель начал сбивать передовую нашу цепь под Варлаком, верстах в четырех от Вольфсдорфа. Арьергард стал в ружье на месте своего ночлега за Вольфсдорфом, параллельно к большой дороге, ведущей из Гутштадта в Либштадт. Позиция эта заслоняла проселочную дорогу, проходящую мимо Петерсдорфа на Дитрихсдорф и далее на Аренсдорф, Опен и Кашауен, по которой арьергард должен был отступать вслед за армией. Угол леса, находящийся между Вольфсдорфом и Эльдитеном, наполнился егерями 5-го егерского полка. Малый кавалерийский отряд двинулся рысью для наблюдения за неприятелем со стороны нашего левого фланга.

Французский авангард, предшествуемый фланкерами и за которым следовала вся сила армии, изредка стрелял из одного, иногда из двух орудий по нашей передовой цепи; выдвигал громады свои на снежные холмы и спускался с них по направлению к Вольфсдорфу.

Юрковский, под прикрытием ближайших к неприятелю казаков своей команды, то останавливался, то снова тянулся косвенно к боевой линии арьергарда, на правый фланг 5-го егерского полка, за угол леса.

Будучи адъютантом князя Багратиона и, следственно, без команды, я выпросился у него в первую цепь будто бы для наблюдения за движением неприятеля, но, собственно, для того, чтобы погарцевать на коне, пострелять из пистолетов, помахать саблею и — если представится случай — порубиться.

Я прискакал к казакам, перестреливавшимся с неприятельскими фланкерами. Ближайший ко мне из этих фланкеров, в синем плаще и медвежьей шапке, казался офицерского звания. Мне очень захотелось отхватить его от линии и взять в плен. Я стал уговаривать на то казаков; но они только что не смеялись над рыцарем, который упал к ним как с неба с таким

безрассудным предложением. Никто из них не хотел ехать за мною, а у меня, слава богу, случилось на ту пору именно столько благоразумия, сколько было нужно для того, чтобы не отважиться на схватку с человеком, к которому, пока я уговаривал казаков, уже подъехало несколько всадников. К несчастию, в моей молодости я недолго уживался с благоразумием. Вскоре задор разгорелся, сердце вспыхнуло, и я как бешеный толкнул лошадь вперед, подскакал к офицеру довольно близко и выстрелил по нем из пистолета. Он, не прибавив шагу, отвечал мне своим выстрелом, за которым посыпались выстрелы из нескольких карабинов его товарищей. То были первые пули, которые просвистали мимо ушей моих. Я не Карл XII, но в эти лета, в это мгновение, в этом упоительном чаду первых опасностей я понял обет венценосного искателя приключений, гордо взглянул на себя, окуренного уже боевым порохом, и весь мир гражданский и все то, что вне боевой службы, все опустилось в моем мнении ниже меня, до антиподов! Не надеясь уже на содействие казаков, но твердо уверенный в удальстве моего коня и притом увлеченный вдруг овладевшей мною злобой — бог знает за что! — на человека мне неизвестного, который исполнял, подобно мне, долг чести и обязанности службы,— я подвинулся к нему еще ближе, замахал саблею и принялся ругать его на французском языке как можно громче и выразительнее. Я приглашал его выдвинуться из линии и сразиться со мною без помощников. Он отвечал мне таким же ругательством и предлагал то же; но ни один из нас не принимал предложения другого, и мы оба оставались на своих местах. Впрочем, без хвастовства сказать, я был далеко от своих и только на три или на четыре конские скока от цепи французских фланкеров, тогда как этот офицер находился в самой цепи. С моей стороны было сделано все,— все, за что следовало бы меня и подрать за уши и погладить по головке.

В это самое время подскакал ко мне казачий урядник и сказал: «Что вы ругаетесь, ваше благородие! Грех! *Страженние* — святое дело, ругаться в нем все то же, что в церкви: бог убьет! Пропадете, да и мы с вами. Ступайте лучше туда, откуда приехали». Тут только я очнулся и, почувствовав всю нелепость моей пародии троянских героев, возвратился к князю Багратиону.

Мудреное дело начальствовать арьергардом армии, горячо преследуемой. Два противоположные предмета составляют основную обязанность арьергардного начальника: охранение спокойствия армии от натисков на нее неприятеля во время от-

ступления и вместе с тем соблюдение сколь можно ближайшей смежности с нею для охранения неразрывных связей и сношений. Как согласить между собою эти две, по-видимому, несогласимые необходимости? Прибегнуть ли к принятию битвы? Но всякая битва требует более или менее продолжительной остановки, во время которой умножается расстояние арьергарда от армии, более и более от него удаляющейся. Обратиться ли к одному соблюдению ближайшей с нею смежности и, следственно, к совершенному уклонению себя от битвы? Но таковым средством легко можно подвести арьергард к самой армии и принесть неприятеля на своих плечах. Багратион решил эту задачу. Он постиг то правило для арьергардов, которое, четырнадцать лет после, изложил на острове св. Елены величайший знаток военного дела, сказав: «L'avantgarde doit presser les attaques; l'arrière-garde doit manoeuvrer» («Авангард должен беспрерывно напирать, арьергард должен маневрировать»). И на этой аксиоме Багратион основал отступательные действия арьергардов, коими он в разное время командовал. Под начальством его никогда арьергард не оставался долго на месте и притом никогда безостановочно не следовал за армиею. Сущность действия его состояла в одних отступательных перемещениях с одной оборонительной позиции на другую, не вдаваясь в общую битву, но вместе с тем сохраняя грозную осанку частыми отпорами неприятельских покушений,— отпорами, которые он подкреплял сильным и почти всеобщим действием артиллерии. Операция, требующая всего гениального объема обстоятельств, всего хладнокровия, глазомера и чудесной сметливости и сноровки, коими князь Багратион так щедро одарен был природою.

Все это было свыше моих понятий. Гусарский штаб-ротмистр, я жаждал горячей битвы: по моей стратегии она была необходима, и в том, что она состоится, ручалась мне известная неустрашимость князя, которого первою обязанностью была, по моему мнению, защита Вольфсдорфской позиции всеми силами и мерами, хотя бы это стоило всего арьергарда. Я так был убежден в глубокомысленности моего рассуждения, так уверен был в том, что все пошло бы иначе, если б меня послушались, что сам Суворов или Наполеон не были бы в состоянии убедить меня в противном! Вот единственная причина взрыва моей невежественной самонадеянности, подвергшей меня опасности, от которой избавило меня одно провидение.

Тотчас по возвращении моем из передовой цепи к князю, я послан им был к 5-му егерскому полку с приказанием

оставить занимаемый им лес и отступить к Дитрихсдорфу, где избрана была для арьергарда вторая позиция. Это меня удивило и огорчило. «Как! — думал я,— когда так мало еще войск вступило в дело, когда в 5-м егерском полку ни одно еще ружье не закоптилось порохом, а уже отступление! Где же та неустрашимость князя, которую так выхваляли и восхваляют?» Однако я поскакал к егерям и выполнил поручение.

Между тем передовая цепь наша, продолжая перестрелку с неприятельскими фланкерами, отодвинулась уже к лесу, который должны оставить егеря. Случилось так, что, возвращаясь от них к моему месту после отданного им повеления и перебирая в голове моей средства, как бы *исправить промах* князя Багратиона, решившегося оставить Вольфсдорфскую позицию без сильного отпора неприятельских нападений, я проезжал сквозь ту же передовую цепь, средь которой, за час пред тем, я так гомерически и только что не экзаметрами ругался с французским офицером. Надо было, чтоб я еще увидел и того урядника, который прозою своего благоразумия прервал мое эпическое исступление. Я подъехал к нему, и вдруг мысль гораздо сумасброднее той, от которой он отвлек меня, вспыхнула в моей голове! Черт знает, где я читал, что в некоторых сражениях появлялись люди, прежде не замеченные, и силою воли и дарования исторгали победу у неприятеля, действуя наперекор предначертаний главного начальства. Как же не испытать судьбы своей? Может быть, и я не менее их одарен великими дарованиями; может быть, и я избран провидением для подобного подвига, и... воображение мое полетело и занеслось бог знает куда! Я задумал ударить с передовою цепью на неприятеля, опрокинуть его и тем увлечь за собою 5-й егерский полк, который только что начал собираться,— чтобы выступать из леса. Увидевши успех мой, полагал я, князь подкрепит меня всем арьергардом и даст знать о том Беннингсену, который немедленно возвратится со всею армиею. Одним словом, я возмечтал не более и не менее как разбить весь неприятельский авангард горстью всадников и егерей и быть даже главным виновником поражения самого Наполеона. И все это пришло мне в голову не за кулисами, а на самой сцене, на коей я собственными глазами видел все расстояние от Вольфсдорфа до Варлака покрытым густыми колоннами пехоты и конницы с несметным числом артиллерии,— следственно, я мог, кажется, удостовериться в нелепости моего предприятия; но страсть говорила громче рассудка, что часто со мной бывало и в других случаях. Полный своего горнего плана, я спро-

сил урядника: «А что, брат, если б ударить?» — «Для чего ж нет, ваше благородие»,— отвечал он и, указывая на фланкеров, которые вертелись у нас под носом, прибавил: «Их здесь немного; с ними можно справиться; давеча мы были далеко от пехоты, а теперь близко: есть кому поддержать».— «Ну, подбивай же на удар своих казаков,— сказал я ему,— а я примусь подбивать гусар и улан» (их было рассыпано взвода два в казачьей цепи). Нам удалось. Цепь вся *гикнула* и дружно бросилась в сечу; мы перемешались с неприятельскими фланкерами. Сабельные удары посыпались, пули засвистали, и пошла потеха. Я помню, что и моя сабля поела живого мяса; благородный пар крови курился и на ее лезвии.

Сеча продолжалась недолго.

Французские фланкеры, смятые нашими, пошли на уход; но, в запальчивости погони, мы неожиданно встретились с их резервами, которые прискакали на помощь. Это были драгуны, с конскими хвостами, развевавшимися на гребнях шлемов. Они бросились на нас с жадностью; посыпались свежие удары, и мы, в свою очередь, сбитые и опрокинутые, обратились в бегство вдоль опушки леса, где уже не было егерей, чтобы поддержать нас. Весь огромный план моего сумасбродства рушился, и я, подобно Наполеону после Ватерло, пасмурный и суровый, возвращался к князю, направляясь мимо Вольфсдорфа к Дитрихсдорфу, куда тянулись все войска арьергарда. Я ехал один лощиною, в полной беспечности насчет неприятеля, ибо растрепавшие нас драгуны удовольствовались успехом и нас не преследовали. Но едва поднялся я на возвышение, как вдруг встретился, почти лицо с лицом, с шестью французскими конно-егерями, едущими из Вольфсдорфа для надзора за движением главных сил арьергарда. Я вздрогнул. Увидеть их и поскакать прочь — было действием одного и того же мгновения. Они вдогонку выстрелили по мне из карабинов и жестоко ранили мою лошадь, которая, однако ж, продолжала скакать на первых порах, не уменьшая прыти. Я думал, что отделался; но не тут-то было! Они уже настигали меня, обскакивая справа и слева. Я окинул глазами окрестность, не увижу ли какой-либо подмоги, и увидел только хвосты колонн арьергарда, подходившие к Дитрихсдорфу, верстах в трех от меня. На всем поле до самого леса не было уже никого из наших. Гибель казалась неизбежною. На мне накинута была шинель, застегнутая у горла одною пуговицей, и сабля голая в руках, у седла пистолеты, которых я не успел зарядить после выстрелов на передовой цепи. Один из моих

преследователей, видно, на лучшей лошади, чем его товарищи, догнал меня, но не на такое расстояние, чтоб достать саблею, а только чтоб ухватиться за край моей шинели, раздувавшейся от скока. Он воспользовался этим и чуть-чуть не стащил меня с лошади. К счастию, шинель расстегнулась и осталась в его руках. Я безостановочно продолжал скакать к лесу, преследуемый и настигаемый все ближе и ближе, потому что лошадь моя ослабевала и начинала укрощать скок от полученной ею раны. Зима была кроткая, и оттого болота были обманчивы: под снегом лежала топь непроходимая.

Я скакал не по дороге, а как попало, и, как на беду, наскакал на ту часть опушки леса, куда примыкало неприметное для глаз болото. Лошадь моя рухнула в него со всего маху, провалилась по брюхо, упала на бок и издохла. Еще две секунды — и острие надо мною! Смерть или плен были бы моею участью!

В самый этот момент около двадцати казаков, посланных Юрковским для надзора за неприятелем и приведенные сюда одним провидением, выскочили с криком из лесу, немного повыше болота, в котором я загряз с моею лошадью, и погнали моих преследователей обратно к Вольфсдорфу. Но один из них, истинный мой спаситель, посадил меня позади себя и привез к Юрковскому, который дал мне лошадь из-под убитого гусара. Так я возвратился к арьергарду, стоявшему уже на позиции под Дитрихсдорфом.

Между тем князь, коего доброта сердца не уступала высоким качествам геройской души, беспокоился на мой счет и беспрестанно спрашивал обо мне каждого возвращавшегося из передовой цепи. Никто не мог дать ему удовлетворительного ответа, куда я девался.

Наконец я предстал пред него на чужой лошади, без шинели, в грязи, в снегу, в крови, но, признаться, с каким-то торжественным видом — и от избежания беды, и от полной уверенности в превосходстве моего подвига. Разумеется, что я утаил и от князя и даже от товарищей моих грандиозные замыслы и предначертания, которые и тогда уже начинали казаться мне донкишотством. Я рассказал им только о преследовании меня неприятелем и спасении меня казаками. Князь слегка пожурил меня за опрометчивость, и, сколько я мог заметить, с одобрительной улыбкою, и приказал дать свою бурку в замену сорванной с меня шинели. Он вскоре представил меня даже к награждению.

II

ВОСПОМИНАНИЕ О СРАЖЕНИИ ПРИ ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ

1807 года января 26-го и 27-го

Посвящается
Алексею Петровичу Ермолову

Дела минувших лет...
Оссиан

Сражение при Прейсиш-Эйлау почти свеяно с памяти современников бурею Бородинского сражения, и потому многие дают преимущество последнему перед первым. Поистине, предмет спора оружия под Бородиным был возвышеннее, величественнее, более хватался за сердце русское, чем спор оружия под Эйлау; под Бородиным дело шло — *быть* или *не быть* России. Это сражение — наше собственное, наше родное сражение. В эту священную лотерею мы были вкладчиками всего нераздельного с нашим политическим существованием: всей нашей прошедшей славы, всей нашей настоящей народной чести, народной гордости, величия имени русского,— всего нашего будущего предназначения. Предмет спора оружия под Эйлау представлялся с иной точки зрения. Правда, что он был кровавым предисловием Наполеонова вторжения в Россию, но кто тогда видел это? Несколько избранных природою, более других одаренных проницательностию; бóльшей же части из нас он оказался усилием, чуждым существенных польз России, единым спором в щегольстве военной славы обеих

сражавшихся армий, окончательным закладом: чья возьмет, и *понтировкою* на удальство, в надежде на рукоплескание зрителей, с полным еще бумажником, с полным еще кошельком в кармане, а не игрою на последний приют, на последний кусок хлеба и на *пулю в лоб* при проигрыше, как то было под Бородиным.

Итак, не оспоривая священного места, занимаемого в душах наших Бородинской битвою, нельзя, однако ж, не сознаться в превосходстве над нею Эйлавской относительно кровопролития. Первая, превышая последнюю восемьюдесятью тысячами человек и с лишком шестьюстами жерлами артиллерии, едва-едва превышала ее огромностью урона, понесенного сражавшимися. Этому причиною род оружия, чаще другого употребленного под Эйлау. В Бородинской битве главным действовавшим оружием было огнестре́льное, в Эйлавской — рукопашное. В последней штык и сабля гуляли, роскошествовали и упивались до́сыта. Ни в каком почти сражении подобных свалок пехоты и конницы не было видно, хотя, впрочем, свалки эти не мешали содействию им ружейной и пушечной грозы, с обеих сторон гремящей и, право, достаточной, чтобы заглушать призывы честолюбия в душе самого ярого честолюбца.

Мне было тогда немного более двадцати лет; я кипел жизнью, следственно, и любовью к случайностям. К тому же жребий мой был брошен, предмет указан и солдатским воспитанием моим и непреклонною волею идти боевою стезей, и неутомимою душою, страстною ко всякого рода отваге и порывавшеюся на всякие опасности; но, право, не раз в этом двухсуточном бое проклятая Тибуллова элегия *«О блаженстве домоседа»* приходила мне в голову. Черт знает, какие тучи ядр пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг меня, рыли по всем направлениям сомкнутые громады войск наших и какие тучи гранат лопались над головою моею и под ногами моими! То был широкий ураган смерти, все вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание, продолжавшееся от полудня 26-го до одиннадцати часов вечера 27-го числа и пересеченное только тишиною и безмолвием ночи, разделившей его свирепствование на два восстания.

Таково было действие и огнестрельного оружия в Эйлавском сражении. Но и в этом, как и во всех сражениях, оно производило более шуму, чем гибели, более потрясало нервную систему и воображение человека, чем достигало цели всякого оружия: вернейшего и скорейшего истребления противников.

В этом отношении огнестрельные действия далеко уступают рукопашным схваткам, где удары даром не расточаются; падая на предметы, находящиеся под самым лезвием и потому не требующие, подобно огнестрельному оружию, прицелов издали, производящих удары неверные, гадательные, вредящие более количеством, чем собственным своим достоинством.

Чтобы вполне обнять положение обеих армий, сражавшихся в сей знаменитой битве, надо взять свыше.

При обозрении театра войны того времени мы видим, что он граничил к северу с Фриш-Гафским и Куриш-Гафским заливами, или с частью Балтийского моря; к югу — с Австрийскою Галициею, землею тогда нейтральною;[14] к западу — с Вислою, а к востоку — с Неманом, границею России, что составляло около трехсот верст длиннику и до двухсот верст поперечнику. На этом тесном пространстве необходимо было обеим армиям избегать смежности и с Галициею и с морем, чтобы не быть опрокинутою противною армиею или в море, или в пределы нейтрального государства. Уважение это решило генерала Беннингсена оставить Пултуск и перенести действие в Старую Пруссию. Малейшая медленность в сем случае угрожала нам неотразимым бедствием, потому что главные силы французов находились тогда не против Пултуска, а в направлении от Цеханова к Макову. Чрезвычайная ростопель воспретила Наполеону достичь до избранной им цели и способствовала нам совершить перемещение наше чрез Остроленку, Тикочин, Биалу, Щучин и Рейн.

На сем окружном марше главнокомандующий наш — генерал Беннингсен, оставя корпус Эссена 1-го в Высоко-Мазовецке, а дивизию Седморацкого в Ганиендзе, Иоганнисбурге и Николайкине для связи Эссена с главными силами армии, двинулся с ними к Бартенштейну.

В то время расположение французской армии было следующее:

гвардия, 12 тысяч, в Варшаве;

корпус Ланна, 23 тысячи, между Брок и Остроленки, против Эссена 1-го;

корпус Даву, 34 тысячи, в Мишеницах;

корпус Сульта, 30 тысяч, в Билленберге;

корпус Ожеро, 11 тысяч, в Нейденбурге;

резервный кавалерийский корпус, 20 тысяч, под командою Мюрата, в окрестностях Билленберга;

корпус Бернадота, 17 тысяч, почти вне круга боевых происшествий, в Эльбинге[15].

Все эти войска размещались уже по кантонир-квартирам; только корпус Нея, состоявший из 22 тысяч человек пехоты и кавалерии Бессиера, преследовал прусский корпус Лестока вниз по Аллеру, в направлении к Фридланду, и чрез это находился почти на пути, по которому следовала наша армия.

Беннингсен узнал о сем залетном положении Нея в Рейне. Пользуясь бездействием французской армии, он вознамерился отрезать и истребить этот корпус на походе. Все наши силы обратились на Рёссель и Бишофштейн. К несчастью, исполнение не соответствовало достоинству плана. Переходы были медленны, к тому же и направление было не довольно наперерез, что дозволило Нею и Бессиеру пробраться чрез Прейсиш-Эйлау, а потом между Пассаргою и Аллером к Гильгенбергу и беспрепятственно примкнуть к массе своей армии.

Между тем Бернадот, узнав о предприятии нашем на Нея и Бессиера, постиг опасность, которой подверг бы себя дальнейшим пребыванием на берегу моря и между крепостями Данцигом и Грауденцом, тогда еще занятыми прусскими войсками. Оставя окрестности Эльбинга, он двинулся на Голланд и, вступив в Морунген, подвинул авангард свой к Либштадту.

В это время армия наша, прошедши Гейльсберг, подошла к Аренсдорфу, а авангард ее, под командою генерал-маиора Маркова, атаковал Либштадт.

Неприятельский авангард отступил с уроном. Марков следовал за ним и атаковал самого Бернадота в Морунгене, но понес от него значительное поражение и принужден был отойти к главной армии, прибывшей в Либштадт.

Тут надлежало нам прекратить дальнейшее наступление, потому что, перейдя уже черту расположения главных неприятельских сил, оставшихся между Омулевы и Наревы, оно подвергало нас потере сообщений наших с дивизиею Седморацкого, с корпусом Эссена 1-го и, что всего важнее, с нашей границей и заключало действие наше между Фриш-Гафским заливом, Вислою и французскою армиею в случае вступления ее на пройденные нами пути. Но, невзирая ни на что, в намерении отвлечь Бернадота от главной французской армии и вместе с тем освободить Грауденц от блокады [16], мы продолжали подвигаться в бездну гибели, преследуя Бернадота, отступавшего на Дейч-Эйлау и Стразбург к Торну. Уже главная квартира была около Любемиля; в Ризенбург вступил прусский корпус Лестока; в Дейч-Эйлау — авангард князя П. И. Багратиона [17], а аванпосты его, под командою полковника Юрковского,— в Стразбург. Однако какое-то неопределенное чувство тревожило Бен-

нингсена насчет соотносительного положения нашего с главными силами Наполеона. Чтобы сколько-нибудь исправить оное защитою затыльных сообщений наших, главнокомандующий счел необходимым оставить корпус Сакена в Зебурге и корпус князя Голицына[18] в Алленштейне, и таковым полумероприятием только что прибавил протяжение армии, подвергнув Сакена и Голицына натиску превосходного числом неприятеля и нимало не улучшив положения главной армии, направленной к ложному предмету действия. Но русский бог велик! Вдруг аванпостные казаки авангарда берут в плен французского офицера, посланного курьером от маршала Бертье к Бернадоту с Наполеоновым приказанием напирать на армию нашу и не выпускать ее из виду и, между тем, с извещением его о движении всех французских сил на Вилленберг, Пассенгейм и Алленштейн. Багратион мгновенно проник опасность. Он в ту же минуту отослал и пленного курьера, и перехваченную бумагу к Беннингсену, и, не дожидая дальнейшего повеления от него, сам собою обратил авангард вспять и пустился на соединение с армиею усиленными переходами. Однако, предвидя неминуемость генерального сражения, он, в намерении обессилить неприятельскую армию целым корпусом войск, не забыл и о Бернадоте; он приказал Юрковскому атаковать его аванпосты, сбить их и преследовать целый день, дабы чрез то уверить его, что намерение наше теснить его всеми силами не изменилось и продолжится. Приказание Юрковскому заключалось постскриптом, в котором предписано ему было обратное движение при наступлении ночи и поспешнейшее следование для примкнутия к авангарду по приложенному маршруту.

Предприятие это увенчалось желаемым успехом. Бернадот, не получив повеления Наполеона, перехваченного казаками, остался в неведении о направлении главных сил французов в тыл нашей армии, угрожавшей ей такою гибелью. К тому же он полагал, что натиск Юрковского поддерживается всем авангардом, а авангард следовал за всей нашей армией и продолжал отступление к Торну, что отсрочило прибытие его на Эйлавское поле сражения несколькими сутками.

Юрковский примкнул к авангарду несколькими часами позже присоединения оного к армии под Янковым; но прусский корпус Лестока, быв от Янкова гораздо отдаленнее Багратиона, не мог уже надеяться достигнуть до сего пункта безопасности и потому избрал путь на Саальфельд, Вормдит и Мельзак, стараясь всегда находиться на одной высоте с нею по мере отступления армии.

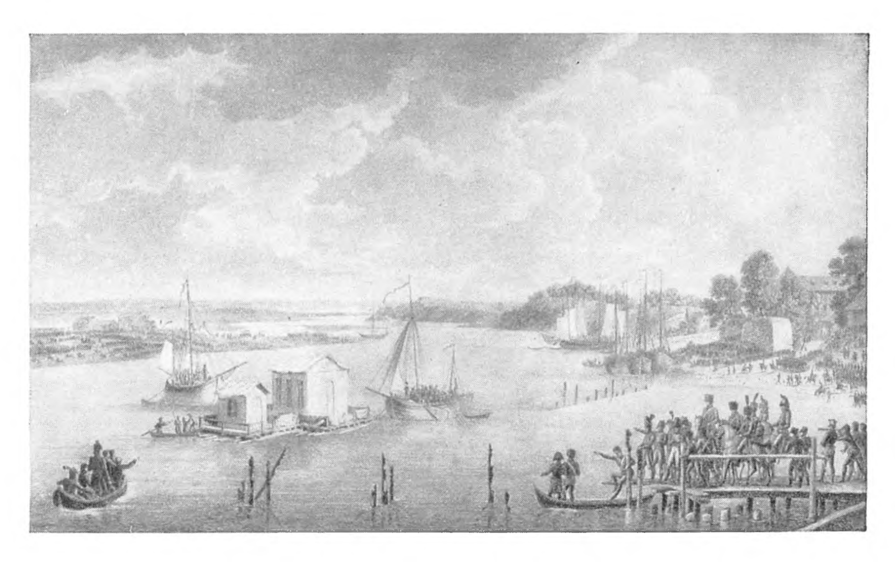
Двадцать второго января наш авангард застал всю армию, сосредоточенную при Янкове, лицом к лицу с французскою армиею, полагавшей янковский путь занятым одним корпусом князя Голицына и изумленною неожиданною встречею всех сил наших, готовых к отпору ее натисков, ибо известие о взятии казаками посланного к Бернадоту курьера тогда еще не дошло до Наполеона. Обманутый в стратегическом предприятии своем, он вознамерился посредством тактического действия на наш левый фланг возвратить потерянное, поставя армию нашу в то самое положение, которого избегла она быстрым перелетом от Дейч-Эйлау к Янкову. Вследствие чего Сульт атаковал Бергфрид, деревню, к коей примыкал левый фланг наш, а генерал Гюо поскакал с бригадою легкой кавалерии к Гутштадту. Мы отстояли Бергфрид; но Гутштадт, заключавший часть обозов армии без охранных войск, попался в руки французов — партизанский набег, замечательный при общем тогдашнем неведении правил этого рода действий.

2

При наступлении ночи армия наша отошла к Вольфсдорфу, оставя для прикрытия сего отступления арьергард генерал-маиора Барклая-де-Толли на оставленном ею месте.

Поутру 23-го Барклай поднялся вслед за армиею, но на пути был атакован превосходными силами, целый день сражался, потерял много, особенно при Деппене, но к вечеру примкнул к армии, стоявшей уже на боевой позиции при Вольфсдорфе. Ночью армия снялась с позиции и потянулась по направлению к Ландсбергу. Арьергард Багратиона сменил утомленный накануне арьергард Барклая и остался при Вольфсдорфе для того же предмета, для которого оставлен был накануне арьергард Барклая при Янкове.

Двадцать четвертого, поутру, Багратион атакован был наступавшим неприятелем. Битва была горячая, но, несмотря на усилия французов, щегольство в порядке сохранено было во всех частях арьергарда. К вечеру он потянулся вслед за армиею, направляясь чрез Толбаш и Кашауэн, и прибыл в Бергерсвальд, в трех верстах от Фрауэндорфа, где на несколько часов приостановилась главная армия. В этот день прусский корпус Лестока, шедший на одной высоте с арьергардом нашим по направлению на Вормдит, атакован был корпусом Нея, отряженным исключительно против него от главной французской



Встреча на Немане Наполеона и Александра I
23 июня 1807 года. Гравюра Ламо и Мюльбаха

армии на походе ее из Янкова к Вольфсдорфу. В одно и то же время отряжен был от этой же армии и корпус Даву на Гейльсберг; это было сделано в видах облегчения шествия войск по тесной от снегов дороге, причинявшей чрезмерное растягивание маршевой колонне.

В ночь на 25-е армия наша выступила к Ландсбергу, но не одною уже, а двумя колоннами, для избежания, подобно французской армии, затруднения в движении одною колонною по пути, заваленному снегами. 1-я колонна потянулась большою дорогою; 2-я, под начальством Сакена, на Сперывартен и Петерсгаген; арьергард Барклая прикрывал отступление первой; арьергард Багратиона шел на Клаузитен, Паулен и Попертен в Ландсберг, где примкнул к армии почти в одно время с Барклаем, который на пути своем под Гофом понес сильное поражение.

Бросив взгляд на карту, мы увидим, что направление сего трехсуточного нашего отступления нимало не перечило основной мысли Наполеона отрезать нас от сообщения наших с Неманом, или, что одно и то же, с Россиею, и подавить нас тылом к морю, то есть к Фриш-Гафскому заливу. В противодействие этой мысли, к чему должны были клониться усилия наши в течение сего трехсуточного отступления? К сохранению сообщений с Неманом посредством движения всею громадой войск наших от Янкова к Гутштадту, вместо того чтобы идти нам к Вольфсдорфу; или от Вольфсдорфа к Гейльсбергу, вместо того чтобы идти нам к Ландсбергу; или от Ландсберга к Домнау и Фридланду, вместо того чтобы идти нам к Прейсиш-Эйлау. Таким движением мы неминуемо нарушили бы все намерения Наполеона, ибо, избавясь посредством его от охвата левого нашего фланга правым флангом французской армии, мы тем заслонили бы сообщения наши с Россиею и удалились бы от Фриш-Гафского залива, к которому более и более приближался тыл наш, по мере отступления и направления нашего к Эйлау и Кенигсбергу.

Но стратегические виды решительно пожертвованы были каким-то мнимым тактическим выгодам, основанным на ложном мнении, что войску русскому столько же необходимо для битвы местоположение открытое, сколько французскому закрытое или изобилующее естественными препятствиями, и что, сверх того, *войску нашему, от малого навыка его к стройным движениям в боях, выгоднее оборонительное, чем наступательное действие;* как будто за семь лет перед тем при Суворове оно знало не только сущность, а даже название сего рода действия! Как будто бы Альпы, с их ущельями, пропастями, потоками и

заоблачными высями, принадлежат более равнинам, чем закрытым и изобилующим естественными препятствиями местностям!

Но таково было рассуждение всех вообще военачальников того времени, и на сем-то рассуждении основана была мысль *на открытом местоположении при Эйлау сразиться оборонительно.*

Между тем Наполеон, не зная, что Беннингсен избрал Эйлау полем битвы, и привыкнув трехдневным опытом достигать нашу армию под вечер и видеть уходящею с занятой позиции во время ночи, предполагал Прегель и кантонир-квартиры за Прегелем единственными предметами нашего отступления. Ни в каком случае не думал он и не мог думать, чтобы сражение ожидало его под Эйлау — на пункте, не представляющем не токмо стратегического, но даже тактического преимущества перед Янковым, Вольфсдорфом и Ландсбергом, оставленными нами без спора оружия. С этою мыслию он следовал за нами по большой дороге, имея в двенадцати или двадцати пяти верстах от главных сил своих — вправо Даву на Гейльсбергской дороге, а влево, верстах в двадцати, Нея, преследовавшего прусский корпус Лестока в направлении к Крейцбургу, и на несколько суток позади себя Бернадота, неизвестного о происходящем.

Ночью на 26-е армия наша выступила от Ландсберга и, по неимению двойного пути, довольно битого и широкого, потянулась к Эйлау одною колонною. Арьергард Багратиона оставлен был в Ландсберге для прикрытия этого движения. По случаю мешкотного выступления армии с места ночлега и медленности ее в движении одною колонною Багратион принужден был отсрочить отступление арьергарда до восьмого часа утра. В восьмом часу неприятельские колонны двинулись, спустились со снежных высот Гофа и, подобно широкому потоку, расстлались по всему пространству от Гофа до Ландсберга. Бой завязался. Мы отступали, теснимые и давимые превосходством сил. Не дошедши до половины расстояния от Ландсберга до Эйлау, весь арьергард уже вступил в дело. Подошло местоположение открытое: нужно было более кавалерии. Багратион послал меня [19] к главнокомандующему просить у него несколько конных полков на подкрепление арьергарда. Беннингсен приказал мне взять два первые конные полка, которые я встречу на пути не дошедшими еще до позиции. Жребий пал, кажется, на С.-Петербургский драгунский и Литовский уланский полки, с которыми я рысью отправился чрез Эйлау к арьергарду, подошедшему уже к мызе Грингофшен. Кирасирский его величества и два

драгунские полки, Каргопольский и Ингерманландский, присланы были вслед за конницей, мною приведенной.

Между тем неприятель продолжал напирать сильнее и сильнее. Арьергард отступал в порядке и без волнения. Несколько полков 8-й пехотной дивизии подошли к нему на подмогу, ибо не все еще войска вступили на избранное для них боевое поле и вся батарейная артиллерия была на походе проселочною дорогою, вправо от армии. Необходимо было удержать стремление неприятеля, чтобы дать время и батарейной артиллерии примкнуть к армии, и армии довершить свое размещение и упрочить оседлость позиции. Возвратясь к Багратиону, я нашел его, осыпаемого ядрами и картечами, дававшего приказания с геройским величием и очаровательным хладнокровием. Вскоре сражавшиеся с обеих сторон столкнулись, потому что Багратион, получа подкрепление и вместе с тем известие о неготовности еще армии к бою, остановился, а Наполеон, считая на беспрерывное отступление Багратиона, продолжал прилив своей армии, напирая волнами на волны. Ружейный огонь трещал по всей линии и не раз прерываем был звуками железа об железо. Полтавский и Софийский пехотные полки ходили на штыки с успехом на 46-й линейный. С.-Петербургский драгунский полк, ведомый полковником Дехтяревым, ударил на 18-й линейный, который шел от Грингофшена между озером и холмом, находящимся возле мызы, затоптал этот полк, рассеял его и взял одного орла. Полковник Ермолов, командовавший всею артиллериею арьергарда, сыпал картечи в густоту наступавших колонн, коих передние ряды ложились лоском; но следующие шагали по трупам их и валили вперед, не укрощаясь ни в отваге, ни в наглости.

Несмотря на все наши усилия удержать место боя, арьергард оттеснен был к городу, занятому войсками Барклая, и ружейный огонь из передних домов и заборов побежал по всему его протяжению нам на подмогу, но тщетно! Неприятель, усиля решительный натиск свой свежими громадами войск, вломился внутрь Эйлау. Сверкнули выстрелы его из-за углов, из окон и с крыш домов; пули посыпались градом, и ядра занизáли стеснившуюся в улицах пехоту нашу, еще раз ощетинившуюся штыками. Эйлау более и более наполнялся неприятелем. Приходилось уступить ему эти каменные дефилеи, столько для нас необходимые. Уже Барклай пал, жестоко раненный; множество штаб- и обер-офицеров подверглись той же участи или были убиты, и улицы завалились мертвыми телами нашей пехоты. Багратион, которого неприятель теснил так упорно, так

неотступно, числом столь несоизмеримым с его силами, начал оставлять Эйлау шаг за шагом. При выходе из города к стороне позиции он встретил главнокомандующего, который, подкрепя его полною пехотною дивизиею, приказал ему снова овладеть городом во что бы то ни стало, потому что обладание им входило в состав тактических его предначертаний. И подлинно, независимо от других уважений, город находился только в семистах шагах от правого фланга боевой нашей линии. Багратион безмолвно слез с лошади, стал во главе передовой колонны и повел ее обратно к Эйлау. Все другие колонны пошли за ним спокойно и без шума, но при вступлении в улицы все заревело *ура,* ударило в штыки — и мы снова овладели Эйлау. Ночь прекратила битву. Город остался за нами.

Заняв его достаточным числом пехоты, Багратион снабдил начальствовавшего над нею приказаниями и наставлениями, распустил прочие войска арьергарда по местам, назначенным им в диспозиции, и, *не имев уже команды,* отправился в главную квартиру, которая занимала тогда мызу Ауклапен, в трех верстах от Эйлау, в тылу нашей линии.

Пожар костров запылал в обеих армиях. Казалось, что все кончено до следующего утра. Вышло иначе. Взятие приступом города произвело то, что производит всякий удачный приступ: разброд по улицам и по домам большой части войска, которое предалось своевольству и безначалию. Надлежало собрать и устроить его. Начальствовавший над ним прибег к единственному в таких случаях способу — к барабану; но он забыл, что находится лицом к лицу с неприятелем, которого бивачные огни пылали почти у ворот города, и недостаточно обдумал дело. Он приказал *ударить сбор,* не назначив даже места, где его ударить. Барабаны загремели, но в стороне города, не ближайшей к неприятелю, а самой отдаленной от него, или, лучше сказать, у самого отверстия улиц, ведущих из города к позиции нашей армии. Можно вообразить, что произвела подобная оплошность! Едва барабанный бой раздался по городу, как все хлынуло к точке сбора, оставя и ворота эйлавские, и площадь, и улицы без защиты. Неприятель этим воспользовался, вступил по пятам нашим в пустой город и расположился с полною решимостию удержать его за собою во что бы то ни стало.

Неожиданное и, можно сказать, несчастное происшествие это, угрожая правому флангу нашему внезапным ночным нападением, принудило Беннингсена исключить на всю ночь из боевого порядка всю 4-ю пехотную дивизию, усилить ее Архангелогородским пехотным полком и расположить между армиею и

городом и, сверх того, передвинуть ближе к отверстиям улиц батарею из сорока батарейных и двадцати легких орудий, заложенную прежде на самой оконечности правого фланга армии. Но тем не ограничилась неблагоприятность этого обстоятельства: оно лишило нас на другой день средства, за пять еще часов до прибытия корпуса Даву на поле сражения, двинуть все наши силы на правый фланг французской армии, бывшей тогда без этого корпуса, без корпуса Бернадота, лишенной всяких опор флангам своим и расположенной за городом, на оси которого мы безопасно могли предпринять этот решительный поворот вправо и воспользоваться превосходством и сил наших и местности. Наконец оно перенесло на сторону неприятельской армии все выгоды, представляемые опорою на Эйлау, на оси коего она уже, а не наша армия, совершила на другой день поворот влево, примкнула к подходившему на поле сражения корпусу Даву и, охватя им весь левый фланг наш, подавила его к Кенигсбергской дороге и тем исполнила виды Наполеона, которые с самого начала движения от Наревы клонились к тому, чтобы отстранить нас от последнего прямого сообщения с Россиею, отбросить к Кенигсбергу и к Фриш-Гафскому заливу. Словом, по занятии неприятелем Эйлау, нам ни минуты не следовало оставаться на избранном нами боевом поле и надлежало немедленно отойти к Домнау или Фридланду. Перемещение безопасное по случаю свободного в этом направлении отверстия, еще не пересеченного корпусом Даву, и ночи, которой оставалось более чем на семь часов времени, следовательно, по крайней мере на двадцать верст переходу. Но воля главнокомандующего была непоколебима: жребий был брошен.

3

Армия наша, заключавшая в себе от семидесяти восьми до восьмидесяти тысяч, размещена была так.

Она примыкала правым флангом к большой Кенигсбергской дороге у селения Шлодитена[20] и шла несколько косвенно к городу; потом, не доходя около полуверсты до города, образовала тупой угол и упиралась левым флангом к Клейн-Саусгартену.

Деревня Серпальтен, находившаяся впереди Саусгартена, занята была слабым отрядом генерал-маиора Багговута.

Пять пехотных дивизий: 2-я, 3-я, 5-я, 7-я и 8-я построены были в две линии; два баталиона каждого полка развернутым

фронтом, третий позади их в колонне; при них было более двухсот орудий.

Резерв, состоявший из двух дивизий, 4-й и 14-й, построен был в две густые колонны и имел при себе шестьдесят орудий конной артиллерии. Вначале он расположен был по обеим сторонам мызы Ауклапен; но при рассвете переведен был ближе к центру армии.

Вся конница разделена была на три части и расставлена на флангах и в средине армии, где находилось не более двадцати восьми эскадронов; казацкие полки расположены были на обоих флангах уступами.

Независимо от артиллерии, размещенной вдоль линии и находившейся при резерве, 1-я батарея из сорока батарейных и двадцати легких орудий заложена была вначале на правом фланге армии, у Кенигсбергской дороги, а по занятии неприятелем города подвинута на семьсот шагов от него; 2-я батарея из семидесяти батарейных орудий расположена была почти на центре армии, в версте от города; и 3-я из сорока батарейных — между сею батареею и Саусгартеном. Ко всем трем батареям примыкали войска первой нашей линии, как куртины к бастионам.

Прусский корпус Лестока, усиленный русским Выборгским пехотным полком и простиравшийся почти до восьми тысяч человек, был еще далеко, но направлялся к Альторфу, то есть к правому флангу нашей позиции, заманивая одною бригадою, командуемой генералом Плоцом, Нея к Крейцбургу для отвлечения его от круга решительных происшествий и от содействия его в приготовлявшемся бое.

Правым флангом командовал генерал-лейтенант Тучков 1-й; срединою — генерал-лейтенант Сакен; левым флангом — генерал-лейтенант граф Остерман-Толстой; резервом — генерал-лейтенант Дохтуров; всею кавалериею — генерал-лейтенант князь Голицын; артиллериею — генерал-лейтенант Резвой. Багратион, который был всех моложе в чине генерал-лейтенанта, не имел особой команды и назначен был к Дохтурову.

Французская армия в ночь с 26-го на 27-е расположена была в следующем порядке:

у передовых строений города и в городе — пехотная дивизия Легранда;

на правой стороне города — пехотная бригада Вивиена; на левой — пехотная бригада Фере (обе составляли пехотную дивизию Леваля);

к правому флангу бригады Вивиена примыкала пехотная дивизия Сент-Илера.

Все сии три дивизии составляли корпус Сульта.

На правом фланге дивизии Сент-Илера, уступом,— драгунская дивизия Мильо;

за городом, по обеим сторонам Ландсбергской дороги, находились драгунские дивизии Клейна и Груши;

уступом от их левого фланга, позади пехотной бригады Фере,— гвардейская кавалерийская дивизия;

на левом ее фланге, выступом,— легкие кавалерийские бригады Кольберта, Гюо и Брюера; а уступом — кирасирская дивизия Гопульта;

легкая кавалерийская бригада Дюронеля — на оконечности левого фланга всей армии, между ею и селением Альторф;

позади кирасир Гопульта, на дороге от Эйлау к селению Стробенену,— пехотный корпус Ожеро́;

пешая гвардия Наполеона и его собственный бивак — на холме между Эйлау и мызою Грингофшен;

пехотный корпус Даву — верстах в двадцати от армии, на Бартенштейнской дороге;

пехотный корпус Нея — на Мельзакской дороге к Цинтену, около селения Гусенен, верстах в двадцати пяти от армии;

пехотный корпус Бернадота — на несколько суток позади армии.

Местоположение занимаемой нами позиции представляло слегка холмистую равнину, примыкающую левой стороною к легким возвышениям, господствующим над нашим левым флангом, положение которого столь опасно было и в стратегическом отношении. Снег покрывал землю; это затрудняло перемещение артиллерии, а оледенелые и покрытые снегом небольшие озера, рассеянные по полю сражения, были весьма обманчивы, представляя плоскости, по-видимому удобные, но в существе своем опасные для движения артиллерии. Болота были еще непроходимы даже и для пехоты! Лес из кустарников находился между селениями Саусгартеном, Кушитеном и мызой Ауклапеном. Погода была вообще ясная, хотя нередко отемняемая скоропостижными и пролетными появлениями густого снега. Стужа легкая, не превышавшая трех или четырех градусов.

С утренним полусветом армия поднялась и стала в ружье. Еще костры курились на месте ночлега между войсками, которые черными полосами рассекали белое, незапятнанное поле будущего сражения; еще нигде изнутри их не сверкнуло ни одного выстрела; только видно было некоторое волнение в

линиях и колоннах, приходивших в окончательный порядок; 4-я пехотная дивизия и Архангелогородский полк возвратились на свое место, в состав главного резерва армии. Ободняло, и со светом дня грянула шестидесятипушечная батарея нашего правого фланга. Часть неприятельской артиллерии, ночевавшей позади передних строений города, выдвинулась из-за них и отвечала на вызов,— и Наполеон увидел собственными глазами, что дело уже идет к битве не с арьергардом, как он думал, а со всею нашею армиею. Не может быть, чтобы в эту минуту великий полководец не упрекнул себя в удалении корпусов Нея и Даву на такое расстояние от армии, на каком они тогда находились, и не подосадовал на судьбу, лишившую его в такой решительный день содействия корпуса Бернадота. Обстоятельство это не прошло бы ему даром за семь лет прежде, когда Суворов был еще на коне пред русскими знаменами. Но оттого, что уже не было Суворова, нельзя было пренебрегать Беннингсена, полководца не без замечательных достоинств по многим отношениям. Гонцы полетели к Даву и к Нею с приказаниями немедленно обратиться им к Эйлау.

Между тем жестокая канонада гремела вокруг города, и главные силы французской армии начали размещаться. Легкие кавалерийские бригады Дюронеля, Брюера, Гюо и Кольберта остались влево от Эйлау. Пехотная дивизия Леваля, соединив все три бригады, расположилась левым флангом к этим легконным бригадам, а правым — к городу. Пехотная дивизия Легранда выдвинулась вперед города и примкнула к правому флангу Леваля. Корпус Ожеро́ построился в две линии: дивизия Дежардена составила первую, а дивизия Гюдле вторую линию. Обе эти дивизии примкнули левые свои фланги к церкви, находящейся у оконечности города, где находился Наполеон во все время сражения.

За Ожеро́ расположилась кирасирская дивизия Гопульта, примыкая слева к пешей гвардии, стоявшей позади церкви за возвышением. За Гопультом стала конная гвардия, а вправо, на одной с ним линии, драгунская дивизия Груши. Дивизия Сент-Илера (от корпуса Сульта) примкнула к правому флангу первой линии Ожеро́, заслоня собою драгунскую дивизию Клейна, и составила оконечность всей армии.

Канонада с обеих сторон загоралась по мере развития французской армии параллельно нашей. Она сделалась общею, но все гремела с бо́льшею силою около города, нежели на других пунктах; с нашей стороны потому, что мы посредством

ее старались воспретить дивизиям Легранда и Леваля нападение на наш правый фланг, а с неприятельской — для привлечения внимания нашего более на наш правый, чем на левый фланг, и для облегчения чрез то усилия Даву, коего прибытие на оконечность оного долженствовало решить участь сражения.

Уже огонь из нескольких сот орудий продолжался около трех часов сряду, но ничего замечательного не происходило ни с неприятельской, ни с нашей стороны.

Получив известие о незамедлительном прибытии корпуса Даву, коему велено было при направлении его к армии принять вправо от Бартенштейнской дороги, на которую он перешел с Гейльсбергской, Наполеон приказал всему центру главной армии двинуться вправо же, для связи действия своего с действием Даву. Войска двинулись; но в самую эту минуту закрутилась метель с густым снегом, так что в двух шагах ничего не было видно. Корпус Ожеро́ потерял дирекцию и, отделясь от дивизии Сент-Илера и всей кавалерии, предстал, неожиданно и для нас и для себя, пред центральною батареею нашею в самую минуту прояснения погоды. Семьдесят жерл рыгнули адом, и град картечи зазвенел по железу ружей, застучал по живой громаде костей и мяса. В одно мгновение Московский гренадерский, Шлиссельбургский пехотный и пехотная бригада генерала Сомова, склоня штыки, ринулись на него с жадностию. Французы всколыхнулись; но, ободрясь, они подставили штыки штыкам и стали грудью.

Произошла схватка, дотоле невиданная. Более двадцати тысяч человек с обеих сторон вонзали трехгранное острие друг в друга. Толпы валились. Я был очевидным свидетелем этого гомерического побоища и скажу поистине, что в продолжение шестнадцати кампаний моей службы, в продолжение всей эпохи войн наполеоновских, справедливо наименованной эпопеею нашего века, я подобного побоища не видывал! Около получаса не было слышно ни пушечных, ни ружейных выстрелов, ни в средине, ни вокруг его: слышен был только какой-то невыразимый гул перемешавшихся и резавшихся без пощады тысячей храбрых. Груды мертвых тел осыпа́лись свежими грудами; люди падали одни на других сотнями, так что вся эта часть поля сражения вскоре уподобилась высокому парапету вдруг воздвигнутого укрепления. Наконец *наша взяла!*

Корпус Ожеро́ был опрокинут и жарко преследован нашею пехотою и прискакавшим генерал-лейтенантом князем Голицыным с центральной конницей на подпору пехоты. Задор

достиг до невероятия: один из наших баталионов, в пылу погони, занесся за неприятельскую позицию и явился у церкви, в ста шагах от самого Наполеона; об этом упомянуто самими французами во всех описаниях войн того времени. Минута была критическая. Наполеон, коего решительность умножалась по мере умножения опасности, приказал Мюрату и Бессьеру с тремя дивизиями Гопульта, Клейна и Груши и с конною гвардиею ударить на гнавшиеся при криках *ура* войска наши. Движение, необходимое для спасения хоть части сего корпуса, и притом для предупреждения общего с нашей стороны натиска, в случае, если Беннингсен на это отважится. Более шестидесяти эскадронов обскакало справа бежавший корпус и понеслось на нас, махая палашами. Загудело поле, и снег, взрываемый двенадцатью тысячами сплоченных всадников, поднялся и завился из-под них, как вихрь из-под громовой тучи. Блистательный Мюрат в карусельном костюме своем, следуемый многочисленною свитою, горел впереди бури, с саблею наголо, и летел, как на пир, в средину сечи. Пушечный, ружейный огонь и рогатки штыков, подставленных нашею пехотою, не преградили гибельному приливу. Французская кавалерия все смяла, все затоптала, прорвала первую линию армии и в бурном порыве своем достигла до второй линии и резерва, но тут разразился о скалу напор волн ее. Вторая линия и резерв устояли, не поколебавшись, и густым ружейным и батарейным огнем обратили вспять нахлынувшую громаду. Тогда кавалерия эта, в свою очередь преследуемая конницею нашею *сквозь строй* пехоты первой линии, прежде ею же смятой и затоптанной, а теперь снова уже поднявшейся на ноги и стрелявшей по ней вдогонку,— отхлынула даже за черту, которую она занимала в начале дня. Погоня конницы была удальски запальчива и, как говорится, *до дна* (à fond). Оставленные на этой черте неприятельские батареи были взяты достигшими до них несколькими нашими эскадронами; канониры и у некоторых орудий колеса были изрублены всадниками, но самые орудия остались на месте от неимения передков и упряжей, ускакавших от страха из виду.

В этой рукопашной схватке и в приливе и отливе кавалерии дивизионные генералы: кавалерийский Гопульт, гвардейский Далман, генерал-адъютант Корбино[21] и пехотный Дежарден легли на месте битвы. Сам маршал Ожеро́, дивизионный генерал Гюдле и бригадный Лошет были ранены; некоторые другие бригадные генералы и множество штаб-офицеров, как Лакюе, Маруа, Бувьер и прочие, понесли подобную же участь. Два эскадрона гвардейских конных гренадеров, которые составляли

хвост уходившей неприятельской кавалерии, были охвачены нашею конницею и положили жизнь между первою и второю линиями, 14-й линейный полк лишился всех офицеров, а в 24-м линейном осталось в живых только пять. Весь корпус Ожеро́, три кавалерийские дивизии и конная гвардия представляли лишь одни обломки. Шесть орлов было взято нашими.

Какая была минута для дружного и совокупного напора всех сил наших на дивизию Сент-Илера, оставшуюся без подпоры и без надежды на какую-либо подпору! Все вокруг этой дивизии было или истреблено, или расстроено и, что всего важнее, лишено духа не только помогать ей, но даже защищаться. Сверх того, еще было не более одиннадцати часов утра, следовательно, оставалось еще два часа до прибытия корпуса Даву на поле сражения. Но чтобы пользоваться подобными минутами, не довольно глубокого познания своего дела, не довольно духа твердого и ума расчетливого: все это мертво без вдохновения, без того порыва непонятного, неизъяснимого, мгновенного, как электрическая искра, который столько же необходим поэту, витию, как полководцу; принадлежность Наполеона, принадлежность Суворова — поэтов и витий действия, как Пиндара, как Мирабо — полководцев слова.

Благоприятный случай, обещавший оружию нашему так много выгоды, исчез. Войска наши, гнавшиеся за неприятелем, принуждены были возвратиться в состав главных сил армии, из которой не было выдвинуто ни одного баталиона им на помощь, и расстроенный неприятель, пользуясь их отливом, сплотился, устроился и ободрился. Тогда обе сражавшиеся армии вошли в то самое положение, в котором находились они до резни и сечи, до бойни, бесполезно пожравшей такое множество, и все эти чудеса храбрости, все это самоотвержение, весь этот героизм воинов, загромоздивших трупами своими поле кровавого прения, обратился ни во что, как будто его и не бывало!.. Действие ограничилось жестокою канонадою, снова разлившеюся по всему протяжению обеих армий, и побиением ею новых тысячей, *так, от нечего делать,* до прибытия к французам корпуса Даву, к нам — прусского корпуса Лестока.

Настал второй период сражения.

Около первого часу пополудни на гребне высот, которые виднелись от нас влево и к которым примыкал наш левый фланг, замелькало несколько отдельных всадников. За ними показались громады конницы, а там выдвинулись громады пехоты и артиллерия. Горизонт зачернел и взволновался. Холмы Саусгартена, дотоле безмолвные, сверкнули, оклуби-

лись дымом и *проглаголали.* Даву ответствовал им из сорока орудий и потек лавою на боевое поле в одно время с приблизительным к нему движением дивизии Сент-Илера, подкрепленной кавалерийской дивизией Мильо. На левом фланге Сент-Илера, уступом от него, двинулись потерпевшие уже в бою кавалерийские дивизии Клейна, Груши и Гопульта: они были построены в три линии. К левому флангу этой кавалерии примкнул остаток корпуса Ожеро́, построенный в две линии. За ними расположилась пешая гвардия, а позади Гопульта — не менее кавалерийских дивизий потерпевшая конная гвардия. Дивизии же Легранда и Леваля так, как и четыре легкие кавалерийские бригады, остались на своих местах.

Все внимание, и наше и неприятельское, обратилось к Даву и к нашему левому флангу.

Поскакали адъютанты по Альторфской дороге с повелениями Лестоку увеличить поспешность к прибытию его не к правому уже флангу армии, а чрез Шмодитен к левому. Некоторая часть конницы и артиллерии, находившихся на нашем правом фланге и на центре, потянулась к тому же левому флангу, который неприятельские силы подавляли более и более к центру, давно уже терпевшему от батарей, расположенных за каменными строениями города; они обстреливали продольными выстрелами все протяжение армии нашей от Эйлау до Ауклапена и леса, находящегося между Саусгартеном, Ауклапеном и Кушитеном.

Обстоятельства представлялись не в красивом виде. Даву, оттеснив левый фланг наш за лес, занял пространство, разделяющее Кушитен и Саусгартен, заложил на высотах Саусгартена огромную батарею и с своей стороны ударил ядрами прямо в протяжение нашей армии, пронизываемое уже продольными выстрелами из Эйлау. Селение Кушитен наполнилось его пехотою одновременно с пехотою дивизии Сент-Илера, забравшеюся в мызу Ауклапен, где была ночью главная квартира Беннингсена. Граф Остерман с неустрашимостью, граф Пален с спокойствием героев отражали нападение, успехами усилившееся,— но тщетно! Беспорядок начинал сказываться в наших войсках. Вся часть поля сражения, от Кушитена до Шмодитена, покрылась рассеянными солдатами: они тянулись к Кенигсбергской дороге под прикрытием тех из своих товарищей, которые, не теряя ни духа, ни устройства, обливали еще кровью своею каждый шаг земли, ими оспариваемой. Перекрестный огонь умножавшихся батарей неприятеля пахал, взрывал поле битвы и все, что на нем ни находилось. Обломки

ружей, щепы лафетов, кивера, каски вились по воздуху; все трещало и рушилось.

Среди бури ревущих ядр и лопавшихся гранат, посреди упадших и падавших людей и лошадей, окруженный сумятицею боя и облаками дыма, возвышался огромный Беннингсен, как знамя чести. К нему и от него носились адъютанты; известия и повеления сменялись известиями и повелениями; скачка была беспрерывная, деятельность неутомимая; но положение армии тем не исправилось, потому что все мысли, все намерения, все распоряжения вождя нашего — все дышало осторожностью, расчетливостью, произведениями ума точного, основательного, сильного для состязания с умами такого же рода, но не со вспышками гения и с созданиями внезапности, ускользающими от предусмотрений и угадываний, основанных на классических правилах. Все, что Беннингсен ни приказывал, все, что ни исполнялось вследствие его приказаний,— все клонилось лишь к систематическому отражению нападений Даву и Сент-Илера, противуставя штык их штыку и дуло — их дулу, но не к какому-либо неожиданному движению, выходящему из круга обыкновенных движений, не к удару *напропалую и очертя голову* на какой-либо пункт, почитаемый неприятелем вне опасности.

И подлинно, как шло дело? Даву продолжал напирать, охватывая более и более левый фланг нашей армии, тогда как часть центра и правый фланг оной, не двигаясь с места, постепенно и мало-помалу отделяли от себя частицы пехоты, конницы и артиллерии на подпору отступавшему левому флангу, не предпринимая ничего совокупного, ничего решительного, ничего того, что бы могло скоропостижностью своею ошеломить противника. Впрочем, немало приносило нам пользы и одно кой-какое преграждение натисков правого неприятельского фланга: отсрочивая решительное поражение, оно давало время корпусу Лестока прибыть на поле битвы. Но для сего следовало подкреплять сей фланг большими массами, а не мелкими частицами.

Багратион, который в минуты опасности поступал на свое место силою воли и дарования, двинул резерв к Ауклапену и обратил его лицом к Даву и Сент-Илеру. Ермолов прискакал к тому же пункту с тридцатью шестью конными орудиями, выдвинул их из-за резерва, осыпал брандскугелями Ауклапенскую мызу, мгновенно зажег ее и принудил неприятельскую пехоту из нее удалиться; генерал-маиор граф Кутайсов прибыл также сюда с двенадцатью орудиями, но позднее.

Тогда, не теряя ни минуты, он бросился к ручью, рассекавшему лес, и сразился с заложенными на нем батареями, не перепуская вместе с тем ни одной пехотной колонны ни к лесу, ни к Ауклапену, ни к Кушитену для подкрепления войск, ввалившихся в это последнее селение. Но эти успехи, или, лучше сказать, эта отсрочка угрожаемой гибели, не могла быть продолжительна. Для похищения у неприятеля решительной победы надлежало не только *остановить,* но *поразить* Даву натиском на его правый фланг и вместе с тем угрозить тылу его общим наступлением на корпус Ожеро́ и кавалерии, которая к нему примыкала. Для последнего мы еще обладали достаточной силой, но для первого нам необходим был прусский корпус, который все не являлся.

Наконец прискакали адъютанты с известием о приближении Лестока, столь давно, столь нетерпеливо нами жданного. Занявши бо́льшую часть корпуса Нея битвою с бригадою генерала Плоца и преследованием ее к Крейцбургу, Лесток с главными силами своими, состоявшими из девяти баталионов и двадцати девяти эскадронов [22], обратился на Лейсен, Гравентен и Альторф. Уже было около четырех часов пополудни; дорога Альторфская зачернела войсками, и Беннингсен поскакал к ним навстречу — и для ускорения их прихода, и для того, чтобы направить их по собственным его видам. Заметно было, что по прибытии главнокомандующего к сему корпусу стремление его усилилось. Лесток направлен был к Шмодитену; он миновал это селение и, не доходя до Кушитена, построил войска в боевой порядок. Правую колонну составлял русский Выборгский пехотный полк, левую — полк Рюхеля; в резерве за ними — гренадерский баталион Фобецкого развернутым фронтом. Пехотный полк Шёнинга, построенный в колонну, оставив селение влево, ударил на неприятельскую пехоту, пред ним находившуюся, опрокинул ее и прогнал в лес. Генерал Каль, с конницею и одним полком казаков, примкнувших к нему от главной армии, оставя Кушитен вправо, напал на неприятельскую кавалерию, примыкавшую к этому селению, расстроил ее и, обратясь на пехоту, выбегавшую в расстройстве из Кушитена, затоптал и истребил бо́льшую часть ее, не допуская ее до лесу, в котором скрылась первая пехота.

В этом случае Выборгский пехотный полк отбил три орудия, взятые французами у нашего левого фланга, во время его отступления.

Овладев Кушитеном, Лесток поворотил войска вправо и построил их лицом к лесу. Полк Шёнинга составил правый фланг,

гренадерский баталион Фобецкого и Выборгский пехотный — средину, а полк Рюхеля — левый фланг корпуса. Вторую линию составили кирасирский полк Вагенфельда и драгунские полки Ауера и Бачко. Легкоконный полк *Товарищей* построился на левом фланге пехоты.

В это время отступавший левый наш фланг остановился и устроился, а резерв его, под командою генерал-маиора графа Каменского, и конница резерва, под командою генерал-маиора Чаплица, двинулись на подпору прусскому корпусу.

Атака на лес была произведена с превосходным мужеством и с замечательным устройством. Лес был очищен частью огнестрельным, частью холодным оружием. Вот момент общего натиска всей средины и всего главного резерва нашей армии на разжиженные от утреннего боя корпус Ожеро́, конную гвардию и три кавалерийские дивизии Клейна, Груши и Гопульта, соединившие левый фланг с правым флангом французской армии. Подобное движение даровало победу Наполеону под Аустерлицом.

Но армия наша осталась на месте, ограничив действие свое одною канонадою. Напору Лестока содействовала собственная его артиллерия, бившая в лицо войска Даву и Сент-Илера, и артиллерия Ермолова, низавшая продольными выстрелами линию этого корпуса и сей дивизии по всему протяжению от левого до правого их фланга.

Несмотря на это общее с нашей стороны бездействие, предоставлявшее все усилия одному Лестоку и артиллерии Ермолова, неприятель не устоял против них. Отступление его, начатое сперва с устройством, обратилось наконец в предосудительный беспорядок, который достиг до того, что двадцать восемь орудий, частью подбитых и частью ничем не поврежденных, были брошены им на месте сражения. Наступивший мрак и неведение об этом не дозволили прусскому генералу украсить день эйлавский такими важными трофеями. Даву и Сент-Илер, оставив поле битвы, расположили войска свои по обеим сторонам Саусгартена; передовая цепь и караулы их заняли место в нескольких саженях впереди его. Вся неприятельская линия рассекала поле сражения от Саусгартена к Эйлау. У Эйлау остались на прежних местах пехотные дивизии Леваля и Легранда; но четыре легкие кавалерийские бригады подвинулись к Альторфскому ручью для открытия сообщения с частью корпуса Нея, подходившего уже к Альторфу.

С нашей стороны войска расположились так.

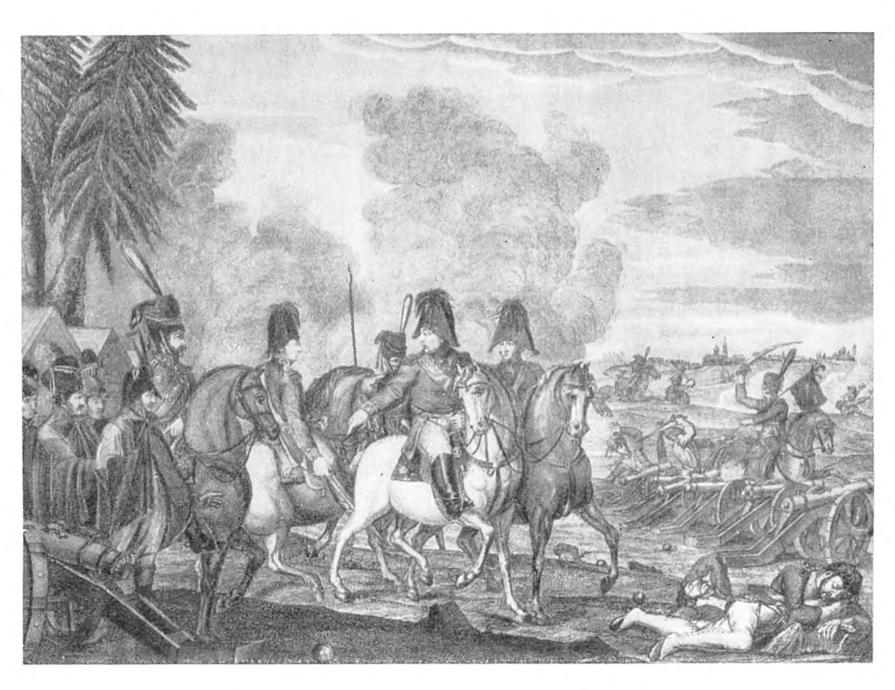
Передняя линия их, примкнув левым флангом к дороге, идущей от Кушитена в Домнау, шла вдоль ручья, текущего от Ауклапена, и рассекала лес почти надвое. Оттуда линия эта проходила впереди Ауклапена и упиралась в центральную батарею нашу, игравшую столь значительную роль в первом периоде сражения. К этой батарее примыкали войска правого фланга, как примыкали они в первоначальном их построении перед сражением. Это наступательное положение сражавшихся войск по прекращении битвы доказывает отсутствие решительного перевеса оружия одной армии над другою. Как французская, так и наша остались в занимаемых ими позициях с некоторым только изменением на левом нашем фланге, уступившем несколько саженей места корпусу Даву и дивизии Сент-Илера по причине наступления сумрака, который затруднил битву.

Еще один час дня — и Лесток неминуемо овладел бы артиллериею, оставленною французами между Кушитеном и Саусгартеном, и принудил бы самый корпус Даву и дивизию Сент-Илера отступить за Саусгартен и далее.

Глубокая ночь более и более густела над Эйлавским полем, упитанным кровью. Все окружные селения пожирались пламенем, и отблеск пожаров разливался на войска утомленные, но еще стоявшие под ружьем и ожидавшие повелений своих начальников. Кое-где видны уже были вспыхнувшие костры биваков, вокруг коих толпились или к которым пробирались и ползли тысячи раненых. Искаженные трупы людей и лошадей, разбитые фуры, пороховые ящики и лафеты, доспехи и оружие — все это, здесь разбросанное, там сваленное в груды, придавало равнине живописность ужаса и разрушения, достойную кисти вдохновенного творца *Последнего дня Помпеи.*

Бой прекратился, но недоумение: «Возобновить ли битву, или отступить нам к Кенигсбергу, французам — к Висле?» — обуревало мысли верховных вождей обеих армий. Упрямейший восторжествовал не возобновлением нападения, но дождавшись утра на месте битвы. Беннигсен оставил поле около полуночи и на нем несколько эскадронов для надзора за неприятелем и прикрытия армии, потянувшейся к Кенигсбергу; Лесток отошел чрез Алленбург в Вело. Погони не было. Французская армия, как расстрелянный военный корабль, с обломанными мачтами и с изорванными парусами, колыхалась еще грозная, но неспособная уже сделать один шаг вперед ни для битвы, ни даже для преследования.

Вдруг закипели ружейные выстрелы в Шмодитене. Мы



«Победа при Тарутине над Мюратом, королем Неаполитанским, 6-го октября 1812 года. На поле сражения изображены фельдмаршал князь Кутузов, генерал барон Беннингсен, командовавший в тот день, граф Орлов-Денисов и граф Остерман».
Гравюра С. Карделли по рисунку Д. Скотти (1814 г.)

изумились. Первая наша мысль обратилась к Нею, вышедшему из нашей памяти. И подлинно, Ней, прибыв с частию своего корпуса в Альторф в девять часов вечера, нашел там прусский гренадерский баталион капитана Куровского, который, видя несоразмерность сил своих с неприятельскими, оставил селения и отошел к армии. Генерал Лиже-Белер с 6-м и 39-м полками легкой пехоты следовал за ним и вступил в Шмодитен, селение, полное нашими ранеными и командами, прибывшими для их прикрытия. Последние открыли огонь по французам, и перестрелка завязалась. Тотчас отряжен был к ним на помощь Воронежский пехотный полк и несколько орудий; но неприятель, не дожидаясь нашего отряда, отступил в Альторф, и тем прекратилась тревога.

Двадцать восьмого числа армия наша, отдохнув в Мюльгаузене, продолжала путь свой к Кенигсбергу, вокруг которого остановилась, оставив в арьергарде князя Багратиона в Людвигсвальде.

Французская армия, опасаясь на пути вперед нового сражения, осталась около Эйлау; двадцать четыре эскадрона только двинулись для наблюдения на берега Фришинга, к Мансфельду и Людвигсвальду, и то по истечении с лишком двух суток и по уверенности Наполеона в прибытии армии нашей к Прегелю.

Пятого февраля Наполеон решился отступить за Пассаргу для занятия кантонир-квартир и оставил Эйлау, преследуемый нашим авангардом и всеми казачьими полками под начальством своего атамана Платова, который с того дня начал свою европейскую репутацию.

Обратное шествие неприятельской армии, несмотря на умеренность стужи, ни в чем не уступало в уроне, понесенном ею пять лет после при отступлении из Москвы к Неману,— в уроне, приписанном французами одной стуже, чему, впрочем, никто уже ныне не верит. Находясь в авангарде, я был очевидцем кровавых следов ее от Эйлау до Гутштадта. Весь путь усеян был ее обломками. Не было пустого места. Везде встречали мы сотни лошадей, умирающих или заваливших трупами своими путь, по коему мы следовали, и лазаретные фуры, полные умершими или умирающими и искаженными в Эйлавском сражении солдатами и чиновниками. Торопливость в отступлении до того достигла, что, кроме страдальцев, оставленных в повозках, мы находили многих из них выброшенных на снег, без покрова и одежды, истекавших кровию. Таких было на каждой версте не один, не два, но десятки и сотни. Сверх того, все деревни, находившиеся на нашем пути, завалены были больными и

ранеными, без врачей, без пищи и без малейшего призора. В сем преследовании казаки наши захватили множество усталых, много мародеров и восемь орудий, завязших в снегу и без упряжи.

Урон наш в этом сражении простирался почти до половинного числа сражавшихся, то есть до 37 тысяч человек убитых и раненых: по спискам видно, что после битвы армия наша состояла из 46 800 человек регулярного войска и 2500 казаков[23]. Подобному урону не было примера в военных летописях со времени изобретения пороха.

Оставляю читателю судить об уроне французской армии, которая обладала меньшим числом артиллерии против нашей и которая отбита была от двух жарких приступов на центре и на левом фланге нашей армии.

Трофеи наши состояли в девяти орлах, исторгнутых из рядов неприятельских, и в двух тысячах пленных. Прусский корпус взял два орла.

4

Трогательное происшествие случилось со мною после сражения. За год и два месяца армия наша поражена была под Аустерлицом. Кавалергардский полк разделил поражение с прочими. Служивший в этом полку поручиком родной брат мой, тогда двадцатилетний юноша, был жестоко ранен: он получил пять ран саблею, одну пулею и одну штыком и был оставлен замертво в груде трупов на поле сражения. Так пролежал он до глубокой ночи. Ночью он очнулся, встал и кое-как добрел до огня, сверкавшего из ближайшей деревни, которую нашел полную русскими ранеными, между коими он и поместился. Спустя трое суток двое кавалергардов, подобно ему, но гораздо легче его раненных,— Арапов и Барковский,— уговорили его идти вслед за отступавшею армией нашей, и он, не зная о ее направлении, побрел вместе с ними, как бродят люди, изнуренные страданиями и голодом. Путешествие их продолжалось недолго. Гвардейский конно-гренадерский эскадрон, отряженный из французской армии для собрания раненых как французских, так и русских, настиг странников и объявил им об их участи. Делать было нечего: надлежало повиноваться. Эскадрон пошел далее, но командир оного препоручил брата моего и его двух товарищей одному из офицеров своего эскадрона для доставления их в Брюн, где тогда находилась главная квартира Наполеона.

Но *бедненький ох, а за бедненьким бог!* — говорит пословица. Офицер сей был поручик Серюг, племянник министра Маре (герцога Бассано). На его произвол отданы были и жизнь и смерть брата моего. Я говорю — и жизнь и смерть, потому что ненависть французов к русским и русских к французам началась с этой эпохи. В обеих армиях вошло в обычай срывать с пленного последний покров, последнюю обувь и, изнеможенного голодом, усталостью, стужею или ранами, предавать смерти. Начальство этого не приказывало, но за этакие поступки никогда не взыскивало. Человеколюбивый и сострадательный Серюг не был еще заражен этими гнусными примерами. Соболезнуя злополучию своего пленника, он простер свою снисходительность до того, что воспретил ему идти пешком, посадил на лошадь и, видя его ослабленным от голода, разделил с ним последний кусок собственного хлеба. Так привез он его до пастора ближайшего села, приказал ему накормить его при себе досыта, снарядил для него повозку и отправил его в Брюн, оживя его дружеским и, можно сказать, братским участием. Кроме того, он дал брату слово отыскать его в Брюне, куда надеялся вскоре возвратиться, и, на случай невозврата, взял с него слово прибегнуть прямо к дяде его, министру Маре, и требовать от него всех вспомоществований, необходимых в его положении.

Все это слышал я от брата по возвращении его из плена и за несколько недель до отъезда моего в армию.

Прибыв с арьергардом в Людвигсвальд 29 января, я отпросился у князя Багратиона в Кенигсберг для собственных надобностей и, по прибытии туда, пристал у генерала Чаплица, исправлявшего тогда должность коменданта города. Чаплиц объявил мне, что какой-то французский офицер, раненный в последнем сражении, спрашивал обо мне или, лучше сказать, осведомлялся, нет ли в армии нашей гвардии поручика Давыдова? Я один был гвардии поручик Давыдов в целой армии и, из любопытства узнать имя этого французского офицера, просил показать себе именной список пленных чиновников. Каково было мое удивление, когда имя *гвардии конно-гренадерского поручика Серюга* первое бросилось мне в глаза при раскрытии огромного фолианта! Увидеть это имя и бежать к Серюгу было одним движением. Я еще не добежал, еще не видал его в лицо, а уже был братом его, другом, вечным другом и страстным братом. Надобно сказать, что жители Кенигсберга, узнав о прибытии армии нашей к стенам города, опасались отступления ее далее и занятия города французами, почему,

дабы предварительно заслужить Наполеонову благосклонность, они употребили все старание испросить у Беннингсена позволение разобрать по домам своим раненых французских офицеров для пользования и содержания их на своем иждивении. Разумеется, что в этом фортуна более благоприятствовала племяннику министра, чем другому. Серюг пользовался гостеприимством богатейшего гражданина в Кенигсберге.

Я нашел его в высоком, роскошно убранном доме, коего весь первый этаж предоставлен был на его волю. Кровать с занавесью, белье отличное, ширмы, столики, диваны, обширные кресла возле кровати, полусвет и курение в комнате, и врач, и лекарства,— ни в чем не было недостатка. Но он лежал бледный, изнеможенный, в жестоких страданиях. Несколько сабельных ран по голове и по рукам не столько его беспокоили, сколько мучила его рана пикою в пах, глубокая и смертельная. Я тихо и осторожно подошел к кровати страдальца и объявил ему мое имя. Мы обнялись как будто родные братья. Он спросил о брате моем с живейшим участием; я благодарил за сохранение мне его и предложил себя к его услугам с душевным чувством. Он на это отвечал мне: «Вы видите, я на попечении доброго человека и ни в чем не нуждаюсь. Однако вы можете мне сделать большое одолжение. Без сомнения, между пленными есть раненые моего взвода; не можете ли вы исходатайствовать у начальства двух или хотя одного из моих конно-гренадер для пребывания подле меня. Пусть я умру, не спуская глаз с мундира моего полка и гвардии великого человека».

Разумеется, что я бросился к Беннингсену и Чаплицу, испросил у них позволения на избрание из толпы пленных двух конно-гренадер взвода Серюга и уже чрез два часа явился к нему, сопровождаемый двумя его усачами, осенёнными медвежьими шапками и одетыми во всю форму. Нельзя изъяснить радости несчастного моего друга при виде своих сослуживцев. Изъявлению благодарности не было бы конца без просьбы моей прекратить порывы сердца, столь изнурительные в его положении.

Двое суток я не оставлял Серюга ни денно, ни нощно; на третьи все кончилось: он умер на руках моих и похоронен на кенигсбергском кладбище.

За гробом шли двое упомянутых французских конно-гренадер и я — поручик русской гвардии. Странное сочетание людей и мундиров!

Глубокая печаль живо выражалась на лицах старых рубак, товарищей моих в процессии... Я был молод... Я плакал.

III

ТИЛЬЗИТ В 1807 ГОДУ

1

1807 года 2-е июня ознаменовано было неимоверною храбростию, неимоверными усилиями войск наших, и при всем том этот день был днем бедственным для нашего оружия. Помещенная в боевой порядок наперекор основным правилам военного искусства, заваленная превосходным числом неприятеля, засыпанная на тесном пространстве густою массою чугуна и свинца, частью вбитая в тесные улицы Фридланда, частью опрокинутая с крутых берегов в Алле, армия наша тянулась к Прегелю, чтобы оградить себя от дальнейших покушений неприятеля.

Не забуду никогда тяжелой ночи, сменившей этот кровавый день. Арьергард наш, измученный десятисуточными битвами и ошеломленный последним ударом, разразившимся более на нем, чем на других войсках, прикрывал беспорядочное отступление армии, несколько часов пред тем столь грозной, стройной и красивой. Физические силы наши гнулись под гнетом трудов, нераздельных со службою передовой стражи. Всегда бодрый, всегда неусыпный, всегда выше всяких опасностей и бедствий, Багратион командовал этой частью войск; но и он, подобно подчиненным своим, изнемогал от усталости и изнурения. Сподвижники его, тогда только начинавшие знаменитость свою,— граф Пален, Раевский, Ермолов, Кульнев — исполняли обязанности свои также чрез силу; пехота едва тащила ноги, всадники же дремали, шатаясь на конях.

На рассвете армия прибыла в Веалу и в продолжение дня перешла через Прегель; арьергард, соединясь с нею, истребил мост. Все войско, сколько позволило время, устроилось и пошло далее на Таплакен, Клейн-Ширау и Пепелкен, в направлении к Тильзиту. Порядок марша был следующий: впереди гвардия со всей батарейною артиллериею, за ними два полка легкой кавалерии правого фланга (остальною кавалериею этого фланга Беннингсен усилил арьергард), потом вся тяжелая кавалерия обоих флангов, наконец вся пехота и легкая артиллерия, и с ними главная квартира; арьергард заключал шествие.

Но прежде чем продолжать очерк этого отступления, необходимо взглянуть на предшествовавшие оному стратегические распоряжения обоих полководцев.

Наполеон стоял на Пассарге; передовой корпус его армии, корпус Нея, находился в Гутштадте и окрестностях его.

Беннингсен, устрашенный действием в смежности Фриш-Гафского залива, к которому едва не была приперта армия его во время зимней кампании, избрал новую черту действия. Он расположил войска свои по течению Алле, от окрестностей Гутштадта до Шипенбейля, занимая ими Гейльсберг и Бартенштейн; назначил Гейльсберг пунктом соединения всех сил своих для генерального сражения и покрыл возвышения, облегающие город, многочисленными укреплениями. Распорядок этот не подлежал бы осуждению, если б черта действия, избранная Беннингсеном, заслоняя единственное основание армии нашей — Неман и Россию, заслоняла вместе с тем и магазины, на Немане или между Неманом и нашей армией расположенные. Но никаких магазинов не существовало по этому направлению. Напротив, Беннингсен отстранил их от естественного и истинного основания своего и, заслоняя Неман и Россию, оставил и даже умножил съестные и боевые запасы в Кенигсберге, находившемся на правом фланге армии и почти вне круга боевых происшествий. Таким распорядком он подверг и магазины и подвозы, высылаемые из них в армию, неминуемой гибели при первой необходимости оставить Гейльсберг, при первом шаге его на правый берег Алле.

Оплошность эта не могла укрыться от проницательного и всеобъемлющего взгляда полководца, каков был Наполеон. Он решился воспользоваться ею не только потому, что долг всякого военачальника пользоваться ошибками противника, но и по необходимости. Область, которую изнуряли войска его, расположенные на кантонирских квартирах в течение двух месяцев, и область, столько же времени изнуряемая войсками на-

шими по тем же причинам и в которую он намеревался вторгнуться, не представляли никакого средства к пропитанию. Надлежало иметь заранее строенные магазины, а эти магазины, как я выше сказал, устроены нами только в Кенигсберге. Разумеется, что Наполеон немедленно определил в мысли своей город этот предметом своего действия, тогда как мы забыли даже оставить в нем достаточный гарнизон для охранения его от наскока самой малочисленной партии гусар неприятельской армии.

Но, чтоб овладеть Кенигсбергом, не подвергая себя той же самой опасности, в коей находился Беннингсен во время зимней кампании, надлежало выбить армию нашу из гейльсбергских укреплений и отбросить ее на правый берег Алле; средство это не было упущено из виду. Французская армия, перейдя чрез Пассаргу, подходила к Гейльсбергу, обнимая левым крылом своим наше правое крыло. Тогда только Беннингсен вспомнил о Кенигсберге. Три способа представлялись ему к сохранению, хотя на некоторое время, Кенигсберга: один в отражении Наполеона от гейльсбергских укреплений, разбитии его армии и преследовании ее за Пассаргу и далее к Висле; другой — в перемещении всей армии нашей к Фриш-Гафскому заливу, не принимая сражения под Гейльсбергом (движение тогда уже опасное и от смежности с неприятелем почти невозможное; к тому же если б оно и удалось, то снова подвергло бы армию нашу тому бедственному положению, в коем находилась она во время зимней кампании); наконец третий — в направлении прямо в Кенигсберг вместо всей армии некоторой части оной. Беннингсен избрал последний, тем более что и самое положение дел сему способствовало. Прусский корпус Лестока, действовавший на нижней Пассарге у Спандена, был отрезан от нашей армии движением левого крыла французской армии от Эльдитена к Гутштадту. То же произошло и с русским отрядом графа Каменского, возвращавшегося из-под Данцига после неудачной попытки пробиться в эту крепость прежде покорения ее французами. Беннингсен воспользовался обоими обстоятельствами. Лесток, усиленный русским отрядом Каменского, что составило около двенадцати тысяч человек, поспешил к Кенигсбергу.

В это время Наполеон атаковал армию нашу, защищавшую гейльсбергские укрепления, и после неимоверных усилий, продолжавшихся до глубокой ночи, был отбит с чрезвычайным уроном.

Мы победили не наступательно, а оборонительно, но победили и, следственно, могли на другой день воспользоваться победой — атаковать неприятеля. Беннингсен простоял весь этот день в укреплениях и на третий, с армией, ободренной успехом, мало понесшей урону и нисколько не расстроенной, перешел на правый берег Алле, вдоль которого потянулся к Прегелю. Наполеон достиг своего предмета не победою, а неудачею. Таковых примеров мы не видим в истории. Нет столь мало предприимчивого коменданта крепости, который не произвел бы из нее хоть слабой вылазки после отбитого приступа,— не только чтобы решился оставить ее, будучи победителем.

Между тем как мнение о чрезвычайной предприимчивости противника своего принуждало Беннингсена уклоняться от генерального сражения, с Наполеоновой стороны уверенность в недостатке предприимчивости Беннингсена увлекала его в самые опрометчивые действия. Он видел урон, расстройство и, следственно, некоторое потрясение духа в бо́льшей части своей армии, что нераздельно со всяким неудачным приступом. Он видел армию нашу, отступавшую после успеха своего не от бессилия, не от расстройства, не от боязни — чего никогда не бывает в самых посредственных войсках, зарытых по горло в смертоносных укреплениях и отразивших от сих укреплений неприятеля, штурмовавшего их с чистого и открытого местоположения. Он видел все это и не принял в уважение ничего из им виденного. Он, как кажется, не хотел сознаться, что оставление гейльсбергских укреплений и отступление наше вдоль Алле к Прегелю не что иное, как следствие воли, управлявшей нами, а не победы его над нами; что ничего окончательного еще не воспоследовало и что рассечение гордиева узла еще впереди; а, следовательно, для сего перёда надо более войска. Без этого предположения нельзя поверить, чтобы этот великий полководец решился отрядить Мюрата с корпусами Сульта, Даву и бо́льшею частью кавалерии, всего около пятидесяти тысяч человек, вслед за Лестоком, и только что с двумя третями армии приступил бы к решению участи войны, впервые для него более полугода продолжавшейся.

Нет сомнения, что вернее и безопаснее было бы Наполеону, оставя без внимания Лестока в Кенигсберге, идти всеми силами вслед за нашей армией к Нижней Алле, и только по одержании над ней победы отделить от главных своих сил корпуса, отделенные еще из-под Гейльсберга. Единым направлением их от Нижней Алле, чрез Тапиао в Лабиао, он беспрепятственно и вдруг достиг бы до двух предметов: до овладения Кенигсбергом

без выстрела и до неминуемой гибели корпуса Лестока, коему, кроме Лабиао, не было другого выхода.

Лесток узнал 4-го числа о поражении Беннингсена под Фридландом и об отступлении армии нашей к Тильзиту. Он немедленно оставил Кенигсберг и поспешил к Лабиао, чтобы оттуда выйти на тильзитский путь. Постигая всю опасность положения своего, он не шел, он летел туда без отдыхов. Мюрат, овладев нашими магазинами в Кенигсберге, оставил при них корпус Сульта и, отослав Даву чрез Тапиао в главную армию Наполеона, пустился в погоню за Лестоком с одною кавалериею. Он догнал его, но тогда уже, как Лесток прошел открытое местоположение и у Лабиао вступил в леса и болота, где кавалерия была бесполезна. Между тем 3-го числа Наполеон направил из Фридланда корпус Нея на Инстербург и следовал за нами с главными силами.

Не зная об оставлении Сульта в Кенигсберге и о примкнутии Даву к Наполеону и увлеченный мнением, что при малейшем медлении в отступлении Ней с собственным корпусом и Мюрат с корпусами Даву и Сульта могут прибыть на тильзитский путь и стать между нами и Тильзитом, Беннингсен рассудил, что бóльшая опасность предстоит армии нашей нападением на нее войсками Нея и Мюрата с тыла, чем в напоре всей французской армии спереди от Велау. Это в некотором отношении весьма справедливое рассуждение едва не решило Беннингсена всею громадою войск без исключения достигнуть поспешнее до узла путей, исходящих из Инстербурга и Лабиао и соединяющихся с тильзитским путем при деревнях Ваннаглаукен и Шиллупишкен. Но такой род отступления произвел бы другого рода опасность. Главная масса французской армии, не встречая ни преград, ни отпоров от арьергарда нашего, который поступил бы тогда в состав главных сил, могла, как говорится, сесть нам на плеча и жаркими, неотступными натисками довершить нашу гибель прежде, чем достигли бы мы до правого берега Немана.

Чтобы сколько-нибудь укротить стремление Наполеона со стороны Велау и, вместе с тем, избегнуть преграды, которую могли воздвигнуть нам Мюрат и Ней на пути отступления нашего к Тильзиту, приходилось жертвовать арьергардом. Багратион оставлен был при Таплакене с повелением отражать натиски Наполеона и отступать как можно медленнее за армиею, которая в то же время усилила переходы свои. Так, полтора года пред тем Кутузов, в такой же почти крайности и по тем же причинам, оставил того же Багратиона под

Голлабрюном и Шенграбеном против огромных корпусов Ланна, Сульта и Мюрата. Но как там, так и тут та же звезда горела над питомцем Суворова. Казалось, что провидение хранило его до Бородинского дня, чтобы сочетать великое событие с великою жертвою, другое Каннское побоище со смертью другого Павла Эмилия.

В течение всего 3-го числа преследование производилось без сильных натисков, без той наглости, которая отличала французские войска при малейшей удаче. Но 4-го мы приметили умножение сил в преследовавших нас войсках и почувствовали железную волю их верховного предводителя. Арьергард наш был жестоко тесним под Клейн-Ширау, Битенене и Попелкене. Узел путей, соединяющихся в Ваннаглаукене и Шиллупишкене, был от нас еще далеко, главная же армия еще далее. О войсках Лестока, также и о посланных партиях для надзора за движением и направлением Нея, мы не получали никакого известия: было от чего прийти в отчаяние!

В этот день, как будто для развлечения нас от неблагоприятных обстоятельств, прибыло в арьергард несколько башкирских полков, только что пришедших в армию. Вооруженные луками и стрелами, в вислоухих шапках, в каких-то кафтанах вроде халатов и на лошадях неуклюжих, малорослых и тупых, эти жалкие карикатуры удалых черкесских наездников присланы были в арьергард,— как нас уверяли тогда,— с намерением поселить в Наполеоне мысль о восстании на него всех народов, подвластных России, и тем устрашить его. Но то ли было время, чтобы морочить людей фантасмагориями,— еще менее такого положительного человека, каков был Наполеон? Не народы невежественные и дикие, а триста тысяч резервного, регулярного войска, стоящего на границе с примкнутыми штыками и под начальством полководца, знающего свое дело, предприимчивого и решительного,— вот что тогда могло устрашить Наполеона. Я не спорю, что при вторжении в какое-либо европейское государство регулярной армии нашей, восторжествовавшей уже несколько раз над войсками этого государства,— я не спорю, что тучи уральцев, калмыков, башкирцев, ринутых в объезд и в тыл неприятельским войскам, умножат ужас вторжения. Их многолюдство, их наружность, их обычаи, их необузданность, приводя на память гуннов и Аттилу, сильно потрясут европейское воображение и, что еще не менее полезно, вместе с воображением и съестные и военные запасы противной армии. Но после поражения под Фридландом, но при отступлении к Неману, когда и самая наша

пехота, артиллерия и конница с трудом уже преграждали сокрушительный победоносный ход наполеоновских громад к границам России, открытой и не готовой на отпор вторжения,— как можно было охмелять себя несбыточными надеждами! Как было уверять себя в успехе, противопоставляя оружие XV столетия оружию XIX-го и метателям ядр, гранат, картечи и пуль — метателей заостренных железом палочек, хотя бы число их доходило до невероятия!

Как бы то ни было, но французы и те из русских, которые впервые увидели башкирцев, встретили их единодушным смехом,— достойное приветствие воинственной красотою — безобразия, просвещением — невежества. Вечером много было рассказов о приключениях с башкирцами в течение этого дня. Что касается до меня, я был очевидцем одного только случая, весьма забавного.

На перестрелке взят был в плен французский подполковник, которого имя я забыл. К несчастию этого подполковника, природа одарила его носом чрезвычайного размера, а случайности войны пронзили этот нос стрелою насквозь, но не навылет; стрела остановилась ровно на половине длины своей. Подполковника сняли с лошади и посадили на землю, чтобы освободить его от этого беспокойного украшения. Много любопытных, между коими и несколько башкирцев, обступили страдальца. Но в то время как лекарь, взяв пилку, готовился пилить надвое стрелу возле самого пронзенного носа, так, чтобы вынуть ее справа и слева, что почти не причинило бы боли и еще менее ущерба этой громадной выпуклости,— один из башкирцев узнает оружие, ему принадлежащее, и хватает лекаря за обе руки. «Нет,— говорит он,— нет, бачка, не дам резать стрелу мою; не обижай, бачка, не обижай! Это моя стрела; я сам ее выну...» — «Что ты врешь,— говорили мы ему,— ну, как ты вынешь ее?» — «Да, бачка! возьму за один конец,— продолжал он,— и вырву вон; стрела цела будет».— «А нос?» — спросили мы.— «А нос? — отвечал он,— черт возьми нос!..»

Можно вообразить хохот наш.

Между тем подполковник, не понимая русского языка, угадывал, однако ж, о чем идет дело. Он умолял нас отогнать прочь башкирца, что мы и сделали. Долг платежом красен: тут, в свою очередь, французский нос восторжествовал над башкирскою стрелою.

Пятого числа положение наше не улучшилось. То же неведение о Лестоке и о Нее, та же неотвязчивость авангарда в

преследовании, те же усилия, то же самоотвержение войск наших при отражении натисков неприятеля! Рассуждая об ожидающей нас участи с одним из ближайших тогда приятелей моих, гвардии Семеновского полка штабс-капитаном бароном Дибичем [24], мы как-то нечаянно и в одно время оглянулись вправо и увидели около пятидесяти прусских гусар, скакавших к правому флангу нашей позиции. Я езжал на коне не манежно, но бойко, на казацкую руку, и конь подо мной был залетный. В одно мгновение я уже съехался с пруссаками и немедленно прискакал с ними к Багратиону. Они объявили ему, что Лесток благополучно прошел чрез Гросс-Баумвальдский лес, что французы далеко от него отстали, что они еще далее отстанут по причине плотины, рассекающей этот лес более чем на две мили,— плотины узкой и сверх того изломанной и разрытой в разных местах войсками Лестока. Мы ожили! Но судьба не довольствовалась одним подарком. В ту же минуту пришло донесение, не менее счастливое: партии наши, посланные к стороне Инстербурга для наблюдения Нея, прислали известие, что он, не обращаясь уже к тильзитскому пути, взял направление к Гумбиннену; следственно, и с этой стороны горизонта небо прояснилось. Дела наши приняли иной оборот; спасение наше было уже несомненно!

Наконец того же дня к вечеру Тильзит и Неман — предметы, для беспрепятственного и покойного достижения коих главною армиею брошен был арьергард напропалую,— были достигнуты армиею нашею.

Все войска, составлявшие ее, расположились боевым порядком у Дранговской кирки для прикрытия начавшейся переправы тяжестей.

Эти важные для нас события развязали руки Багратиону; он избавился от обязанности удерживать в самом дальнем расстоянии от нашей армии вдесятеро против арьергарда сильнейшие громады войск, предводимых самим Наполеоном. Ней и Мюрат не угрожали уже тылу его, и действие его могло ограничиваться одними легкими и обыкновенными отпорами неприятеля, напиравшего на фронт его от Велау.

В таком положении были дела наши, когда я, 6-го поутру, послан был к Беннингсену с уведомлением о прекращении опасности арьергарду с тыла, о сохранении войсками и устройства, и бодрости духа, о соединении Мюрата с главною армиею и о направлении корпуса Нея на Гумбиннен.

Я не застал уже армии нашей у Дранговской кирки. Переправя тяжести свои чрез Неман, она сама уже предпри-

няла переправу, и главная квартира перешла в Тильзит. Проехав за кирку, я повстречал скакавшего от Беннингсена в арьергард маиора Эрнеста Шёпинга, одного из остроумнейших наших товарищей и собеседников. «Что нового, Шёпинг»? — спросил я его. «Новое то,— отвечал он мне,— что я везу письмо от Беннингсена к Багратиону. Беннингсен предписывает ему войти чрез меня в сношение с французами и предложить им перемирие, пока приступим к переговорам о мире. Вот тебе все новое. Прощай!»

Нет, не могу выразить, что произвело во мне это известие! Я не скажу, чтобы в отношении собственно к себе мне противны были и перемирие и самый мир. Напротив, беспрерывные отступления, даже после успехов, беспрерывные занятия новых позиций, будто неприступных, а между тем при появлении неприятеля немедленно оставляемых, и решительное отсутствие наступательного действия — приводили меня в отчаяние. Мне такого рода война истинно надоела, даже опостыла. Ко всему этому положение дел представлялось мне так, как оно было в существе своем: обнаженным от всех оптических обманов и обольщений. Несоразмерность дарований Беннингсена с гением Наполеона, несоразмерность числительной силы армии нашей с неприятельской армиею, некоторая уверенность в непобедимости Наполеона, вкравшаяся уже тогда в дух бóльшей части войска, вещественное расстройство армии после Фридландского поражения, недостаток в резервах, чрезмерное расстояние от нас не готовой еще милиции и множество других обстоятельств, не менее важных,— все это было мне известно, и все это от нескольких слов Шёпинга исчезло из моей памяти. Я ничего не видал, я ничего не чувствовал другого, кроме срама приступать к миру без отмщения за Фридланд, и из себя выходил от негодования, как будто на меня лично обрушалась обязанность ответствовать отечеству за оскорбление его славы и чести. В безумии моем я поспешил к Беннингсену, чтобы уверить его в отличном еще положении арьергарда и в возможности смело продолжать военные действия на столько времени, сколько ему заблагорассудится. Как будто все зависело от арьергарда? Как будто довольно было одного клока войск для борьбы с полководцем, против которого признавали недостаточною и целую армию? Такова молодость!

Я прискакал в главную квартиру. Толпы разного рода людей составляли ее. Тут были англичане, шведы, пруссаки, французы-роялисты, русские военные и гражданские чиновники, разночинцы, чуждые службы и военной и гражданской,

тунеядцы и интриганты,— словом, это был рынок политических и военных спекуляторов, обанкрутившихся в своих надеждах, планах и замыслах.

Войдя в дом, занимаемый Беннингсеном, я узнал, что хотя он еще отдыхает, но что скоро выйдет в залу. От нечего делать я возвращался уже на улицу, чтобы до появления Беннингсена посмотреть на идущие войска к переправе и на приготовление моста к сожжению. В эту минуту счастье навело меня на такого воителя, моего знакомца, которого одно выражение физиономии противоречило уже мерам, гнездившимся в голове моей. Это бледное и трепещущее привидение, узнав от меня намерение мое, возмечтало, видно, что Беннингсен непременно и беспрекословно уважит все то, что я, двадцатилетний сорванец, предложу ему. Ужас обуял его. Он принялся доказывать мне, как предосудительно подчиненному давать советы такой высокой особе, каков главнокомандующий, особенно в мои лета, в моем чине (Лейб-гусарского полка штабс-ротмистра) и при малой моей опытности; что, впрочем, все уже решено и что, кроме насмешек и прозвания «la mouche du côche» *, я ни до чего другого не достигну. Замечание это было жестоко справедливо, и оно потрясло решимость мою до основания. Я призадумался и, очнувшись, окинул глазом то (давно ли еще столь бодрое и уверенное в низложении Наполеона?) общество, которым был окружен. Этого было довольно, чтобы наложить печать на уста мои. Не было сомнения, что при таковых рыцарях нечего было и помышлять о продолжении борьбы с неприятелем. Тут только разглядел я, в какой мир я попал, и узнал, до какой степени та часть армии, которая живет под крышами и так редко вдается в случайности сражений, различествует от той, которой крышею служит шатер небесный и которую за два часа перед тем я оставил под пулями и ядрами, готовою хоть на вековые войны.

В главной квартире все было в тревоге, как за полчаса до *светопреставления*. Один Беннингсен был неизменен. Он страдал, это видно было, но страдал скорбию безмолвною, мужественною, римскою скорбию; это был Сципион, пораженный Аннибалом при Тессине. Едва он показался в зале, я подошел к нему и передал ему то, с чем был прислан от Багратиона, не прибавя ни слова из нелепой мысли, посетившей меня после моей встречи с Шёпингом. Я уже был излечен от нее благоразумием испуганного моего знакомца и зрелищем испуганной

* Человек, суетящийся без толку.

главной квартиры, которой дух более или менее, рано или поздно, но всегда и неминуемо должен отозваться в войсках, ею управляемых. Известие, привезенное мною о безопасном положении, в которое вступил арьергард, было, как казалось, приятным подарком для Беннингсена; взор его прояснился. После некоторых вопросов его и ответов моих аудиенция кончилась, и я возвратился к своему месту.

Между тем армия наша все 6-е и часть 7-го числа беспрерывно переходила на правый берег Немана, под прикрытием арьергарда, который, невзирая на предложение Беннингсена, давно уже полученное Наполеоном, теснимый авангардом его, продолжал сражаться. Наконец все войска без исключения перешли через Неман, кроме нескольких десятков казаков, ближайших к фланкерам неприятельским и с ними перестреливавшихся. Послано было приказание им примкнуть поспешнее к войскам, перешедшим уже за реку. В самую эту минуту французские конно-егеря и драгуны показались в городе и бросились за ними. Казаки скакали, не примечая, что передовой из преследователей, с саблею наголо, был сам Мюрат; но они успели уже коснуться до правого берега Немана, когда он только что вскакал на мост. Мост вспыхнул почти под мордой красивого коня его и в миг обнялся пламенем. Опрометчивый паладин остановился, круто поворотил коня назад и шагом возвратился в город; Неман разделил сражавшихся. Во время перемирия в Тильзите Мюрат хвастал этою погонею и уверял, что он хотел особою своею перескакать чрез мост и показаться на нашем берегу. «Жаль, что этого не было, ваше высочество,— отвечал ему кто-то из наших,— мы имели бы лишнего пленного».

Армия наша расположилась так.

Главная квартира в Амт-Баублене.

Пехота и регулярная кавалерия — между Погегеном и Вилькишкеном.

Гвардия — в Бенниккайтене.

Прусский корпус Лестока — в Амт-Винге.

14-я русская пехотная дивизия — против Рагнита (куда прибыл корпус Нея), простираясь до Юрбурга.

Все казачье войско — на заливных лугах Немана, против сожженного моста.

Авангард и квартира Багратиона поместились сначала в деревне Шаакене, на дороге, проходящей из Амт-Баублена в Вилькишкен, на берегу одного из заливов Немана; но за несколько дней до заключения мира авангард был распущен, а квартира Багратиона переведена в Погеген.

Тем кончилась война 1806 и 1807 годов.

Какой чудесный переворот менее чем в два года!

В 1805 году, в августе, Франция, сопредельная другим государствам, из которых каждое обладало подобными и ни в чем не уступавшими ей средствами и могуществом, покоилась в границах своих за Рейном. В 1807 году, в начале июня, не существовало уже между Франциею и Россиею ни одного государства, вполне независимого; все они более или менее покорялись одной воле, воле завоевателя, который с высоких берегов Немана пожирал уже ненасытным взором землю русскую, синеющую на горизонте.

2

Восьмого числа поутру я находился в главной квартире в Амт-Баублене. При мне приехал туда с ответом на предложенное Беннингсеном перемирие адъютант маршала Бертье, Луи Перигор (племянник Талейрана). Я знал его за три года прежде в Петербурге, когда он числился при французском посольстве. Но там я видал его мальчишкою и во фраке; а тут увидел его возмужалым и в гусарском платье. Он был недурен собою и казался еще красивее в черном ментике, который весь горел золотом, в красных шароварах и в медвежьей шапке, что французы называют colback.

Перигор принят был весьма вежливо. Это было в порядке вещей, но, к сожалению, с излишнею снисходительностью к его наглости. В зале, где находились сам Беннингсен со множеством других генералов и разного рода чиновников, с непокрытыми, как всегда и везде водится, головами, Перигор вошел нос кверху и в шапке на голове, остался в ней до обеда, не снимал ее за обеденным столом Беннингсена и так был до самого своего отъезда. Все это сделано было под предлогом, что военный устав французской армии запрещает снимать шапки и каски офицерам, когда на них лядунки, означающие время службы. Пусть так; но кто мешал Перигору, по исполнении данного ему поручения, снять лядунку и после лядунки шапку? Он тем соблюл бы и законы военного устава своей армии и гораздо прежде их принятые обществом и вкоренившиеся уже в него законы общежития, что, впрочем, всегда соблюдалось французами и прежде и после Перигора. Надо полагать, что не в его голове родилась эта дерзкая мысль. Она внушена была ему свыше, как мерило нашей терпимости; а терпимость наша служила, может быть, мерилом числа и



Французы Голодныя крысы, Въ Командѣ у старостихи Василисы,

А. Венецианов. «Французы — голодные крысы в команде у старостихи Василисы»



«Если бы французы не скакали так, как крысы, то не попали бы в мышеловку к Василисе»

рода требований, которые явились при переговорах о мире. Как знать? Легко могло случиться, что со сбитием долой шапки с головы Перигора вылетело бы и несколько статей мирного трактата из головы Наполеона. *Дело было в шапке,* но мы не умели,— я не хочу сказать: мы не смели,— воспользоваться этим случаем. Это умышленное пребывание с покрытой головой, при нашем главнокомандующем и при наших генералах и чиновниках, было почувствовано всеми, но никто не сказал ни полслова о том Перигору, хотя бы посредством косвенной шутки[25].

Боже мой! какое чувство злобы и негодования разлилось по сердцам нашей братии, молодых офицеров, свидетелей этой сцены! Тогда еще между нас не было ни одного космополита; все мы были старинного воспитания и духа, православными россианами, для коих оскорбление чести отечества было то же, что оскорбление собственной чести. Разгоряченное воображение наше представило нам Перигора каким-то татарским послом, приехавшим за данью в стан великих князей российских, каким-то гордым римлянином, другим Попилием, обводившим вокруг нас черту мечом своим, с приказом не переступать чрез нее, пока не покоримся всем его требованиям. Поступок Перигора был первым шагом к оскорблению нашего достоинства, столь часто впоследствии оскорбленного Лористоном, Савари и в особенности Коленкуром проклятой и наглой памяти; но зато, в день победного вступления нашего в Париж, надо было видеть, как все эти лица униженно прибегали к великодушию нашего государя.

Когда вспомнишь об этой тяжкой эпохе, продолжавшейся пять лет сряду, и тут же взглянешь на Россию и увидишь, что она теперь, и представляешь себе все то, что она совершила без помощи, без подпоры доброжелателей и союзников, одна сама собою, собственным духом, собственными усилиями,— тогда, не краснея, говоришь и об Аустерлице, и о Фридланде, и о нечестивых наполеоновских надзорщиках, о всех этих каплях, упавших в океан событий 1812 года,— тогда гордо подымаешь голову и мыслишь: я русский.

Того же дня, в шестом часу пополудни, отправился в Тильзит генерал-лейтенант князь Лобанов-Ростовский для переговоров о перемирии, которое заключено было 9-го числа и ратификовано Наполеоном 10-го. Важнейшие статьи условия состояли: в определении демаркационной черты обеих противных армий по тальвегу или по средине Немана; в начатии военных действий (в случае несогласия обеих договаривавшихся сторон) не прежде истечения одного месяца, считая ото дня объявления

о прекращении перемирия; в заключении перемирия с прусскою армиею особо от российской и в принятии всех возможных мер к поспешнейшему заключению окончательного мира.

Последняя статья была необходима для Наполеона. Невзирая на победу его под Фридландом и на угрозительное пребывание его на Немане, обстоятельства его были в существе своем не так благоприятны, как казались. Впереди Россия с ее неисчислимыми средствами для себя, без средств для неприятеля,— необъятная, бездонная. Позади Пруссия,— Пруссия без армии, но с народом, оскорбленным в своей чести, ожесточенным, доведенным до отчаяния насилиями завоевателей, не подымающим оружия потому только, что не к кому еще пристать, и ожидающим с минуты на минуту восстания Австрии. С своей стороны, Австрия, потрясенная Ульмом и Аустерлицом, но обладающая еще трехсотсорокатысячной армиею [26], готовою к военным действиям, и коей восьмидесятитысячный авангард уже двинут был к северным границам Богемии, в область, прилегавшую к путям сообщения Наполеона с Франциею. Вот положение, которое беспокоило сего великого полководца в Тильзите и которое понуждало его к требованию поспешнейшего заключения мира.

Император Александр находился тогда недалеко от главной квартиры своей армии.

Одиннадцатого, в три часа пополудни, Наполеон послал обер-гофмаршала своего Дюрока к его величеству с приветствиями и с ратификованным им актом перемирия. Государь весьма милостиво принял Дюрока и ратификовал акт, им привезенный. Кажется, тогда же назначено было то достопамятное свидание, коего шумом воспользовался Наполеон, существенною пользой — Александр, которое произвело, с одной стороны, предложение, с другой — согласие, причинившее первую ошибку Наполеона, увлекшую его от ошибки к ошибке до окончательной его гибели. Я говорю о восстании его на Испанию [27].

Тринадцатого был этот торжественный и любопытный день. Так как демаркационная черта проходила по тальвегу или средине Немана, то на самой этой средине, возле сожженного моста, построены были два павильона вроде строющихся на реках купален, четвероугольных и обтянутых белым полотном. Один из них был и обширнее и красивее другого. Он определен был для двух императоров; меньший — для их свит. Павильоны эти построены были по приказанию Наполеона командовавшим артиллериею его армии генералом Ларибоассьером. На одном из фронтонов большого видно было с нашей стороны огромное *A;* на другом фронтоне, со стороны Тильзита, такой же величи-

ны литера N, искусно писанные зеленою краскою. Две больших, но обыкновенных барки с гребцами приготовлены были на обеих сторонах реки для поднятия обоих монархов с их свитами и доставления их к павильонам. Правый берег Немана, занимаемый тогда нами,— луговой и пологой, следственно, уступающий в высоте левому берегу, принадлежавшему тогда французам. Это местное обстоятельство было причиной, что все пространство земли, от самого города до первых возвышений, на коих лежали селения Амт-Баублен, Погеген и другие,— все было для них открыто и видимо, тогда как мы ничего другого не могли видеть, кроме Тильзита, торчавшего на хребте высокого берега и потом сходящего по скату его к Неману. Однако нам ясно представлялось все, что происходило в этой части города. Мы видели толпы жителей, мы могли даже различать мундиры всякого рода войск, там роившихся, и любоваться стоявшей по обеим сторонам главной улицы, от сгиба оной до берега Немана, старой гвардией, которой часть построена была несколькими линиями, обращенными лицом в нашу сторону. Все это войско ожидало появления непобедимого вождя своего, громоносного своего полубога, чтобы приветствовать его в минуту быстрого его проскока к пристани.

С нашей стороны никаких приготовлений не было сделано, кроме барки с гребцами и, в виде конвоя, одного полуэскадрона Кавалергардского полка и одного полуэскадрона, или полного эскадрона, прусской конной гвардии. Войска эти расположены были на берегу реки, правым флангом против сожженного моста, левым — к некогда богатой крестьянской усадьбе, называемой Обер-Мамельшен-Круг и находящейся почти у самого берега, на повороте дороги, проложенной мимо ее из Тильзита в Амт-Баублен. Эта усадьба назначена была местом кратковременного приюта для императора Александра, дабы прибыть ему к барке и потом к павильону не ранее и не позже Наполеона. Долго искали красивее пристанища, но никакого уже строения на берегу не существовало; все разобраны были на бивачные костры,— да и это строение представляло вместо крыши одни стропилы, ибо вся солома, служившая крышей, снята была войсками для кормления лошадей, нуждавшихся не токмо в сене, но и в соломе.

Поутру некоторые из главных генералов наших съехались верхами в Амт-Баублен, где находился уже император. Князь Багратион туда же приехал, и я, пользуясь званием его адъютанта и жаждавший быть свидетелем такого необыкновенного

зрелища, следовал за ним, одетый в богатый лейб-гусарский ментик.

Все были в парадной форме по возможности. Государь имел на себе преображенский мундир покроя того времени. На каждой стороне воротника оного вышито было по две маленьких золотых петлицы такого же почти рисунка, какой теперь на воротниках преображенского мундира, но несравненно меньше. Эксельбант висел на правом плече; эполетов тогда не носили. Панталоны были лосиные белые, ботфорты — короткие. Прическа тем только отличалась от прически нынешнего времени, что покрыта была пудрою. Шляпа была высокая; по краям оной выказывался белый плюмаж, и черный султан веял на гребне ее. Перчатки были белые лосиные, шпага на бедре; шарф вокруг талии и андреевская лента чрез плечо. Так был одет Александр.

Теперь одежда эта показалась бы несколько странною; но тогда она всем нравилась, особенно на тридцатилетнем мужчине такой чудесной красоты, стройности и ловкости, коими одарен был покойный император.

Около одиннадцати часов утра государь, прусский король, великий князь Константин Павлович и несколько генералов, назначенных сопровождать государя на барке, сели в коляски и отправились к берегу Немана, по Тильзитскому тракту. Прочие генералы с адъютантами своими скакали верхами по обеим сторонам колясок; эта процессия, без сомнения, видна была из Тильзита. Так прибыли мы в Обер-Мамельшен-Круг. Коляски остановились, и все вошли в огромную сельскую горницу. Государь сел близ окна, лицом ко входу. Он положил свою шляпу и перчатки на стол, стоявший возле него. Вся горница наполнилась генералами, с ним приехавшими и у коляски его скакавшими. Мы, адъютанты, вошли вслед за нашими генералами и поместились на дне картины, у самого входа.

Я не спускал глаз с государя. Мне казалось, что он прикрывал искусственным спокойствием и даже иногда веселостию духа чувства, его обуревавшие и невольно высказывавшиеся в ангельском его взгляде и на открытом, высоком челе его. И как могло быть иначе? Дело шло о свидании с величайшим полководцем, политиком, законодателем и администратором, пылавшим лучами ослепительного ореола, дивной, почти баснословной жизни, с завоевателем, в течение двух только лет, всей Европы, два раза поразившим нашу армию и стоявшим на границе России. Дело шло о свидании с человеком, обладавшим увлекательнейшим даром искушения и, вместе с тем, одаренным не-

обыкновенной проницательностью в глубину характеров, чувств и мыслей своих противников. Дело шло не об одном свидании с ним, а, посредством этого свидания, об очаровании очарователя, об искушении искусителя, о введении в заблуждение светлого и положительного гениального его разума. Необходимо было отвлечь силы, внимание и деятельность Наполеона на какое-либо предприятие, которое по отдаленности своей могло бы дать время Европе хотя сколько-нибудь освободиться от загромоздивших ее развалин; России — приготовить средства для отпора покушений на независимость ее, рано или поздно государем предвиденных.

Вот что волновало мысли и душу Александра, и вот что им достигнуто было вопреки мнения света, всегда обворожающегося наружностью. Как и что ни говори, но победа в этом случае несомненно и неоспоримо осталась за нашим императором, это можно доказать самыми фактами. Наполеон очнулся от заблуждения своего только в конце 1809 года, когда великодушное упрямство испанцев отвлекло уже бо́льшую часть сил его от Европы и когда мы, будучи его союзниками, так явно уклонялись от содействия ему в войне с Австриею, чтобы сохранить с нею те связи дружества, которые нам немало пригодились в эпоху Отечественной войны.

Не прошло получаса, как кто-то вошел в горницу и сказал: «Едет, ваше величество». Электрическая искра любопытства пробежала по всех нас. Государь хладнокровно и без торопливости встал с своего места, взял шляпу, перчатки свои и вышел с спокойным лицом и обыкновенным шагом вон из горницы. Мы бросились из нее во все отверстия, прибежали на берег и увидели Наполеона, скачущего во всю прыть между двух рядов старой гвардии своей. Гул восторженных приветствий и восклицаний гремел вокруг него и оглушал нас, стоявших на противном берегу. Конвой и свита его состояли, по крайней мере, из четырехсот всадников.

Почти в одно время оба императора вступили каждый на свою барку. Государя сопровождали: великий князь Константин Павлович, Беннингсен, граф (что ныне князь) Ливен, князь Лобанов, Уваров и Будберг, министр иностранных дел. С Наполеоном находились: Мюрат, Бертье, Бессьер, Дюрок и Коленкур. В этот день король прусский не ездил на свидание; он оставался на правом берегу реки вместе с нами.

О, как явственно,— невзирая на мою молодость,— как явственно поняла душа моя глубокое, но немое горе этого истинного отца своего народа, этого добродетельнейшей жизни человека!

С какими полными глазами слез, но и с каким восторгом глядел я на монарха, сохранившего все наружное безмятежие, все достоинство сана своего, при гибели, казалось, неотразимой и окончательной!

Но вот обе императорские барки отчалили от берега и поплыли. В эту минуту огромность зрелища восторжествовала над всеми чувствами. Все глаза обратились и устремились на противный берег реки, к барке, несущей этого чудесного человека, этого невиданного и неслыханного полководца со времен Александра Великого и Юлия Кесаря, коих он так много превосходил разнообразностью дарований и славою покорения народов просвещенных и образованных.

Я глядел на него в подзорную трубку, хотя расстояние до противного берега было невелико и хотя оно, сверх того, уменьшалось по мере приближения барки к павильону.

Я видел его, стоявшего впереди государственных сановников, составлявших его свиту,— особо и безмолвно. Время изгладило из памяти моей род мундира, в котором он был одет, и в записках моих, писанных тогда наскоро, этого не находится,— но, сколько могу припомнить, кажется, что мундир был на нем не конно-егерский, обыкновенно им носимый, а старой гвардии. Помню, что на нем была лента Почетного Легиона, чрез плечо по мундиру, а на голове та маленькая шляпа, которой форма так известна всему свету. Меня поразило сходство его стана со всеми печатными изображениями его, тогда везде продаваемыми. Он даже стоял со сложенными руками на груди, как представляют его на картинках. К сожалению, от неимения опоры подзорная трубка колебалась в моих руках, и я не мог рассмотреть подробностей черт его так явственно, как бы мне этого хотелось.

Обе барки причалили к павильону *почти* одновременно, однако барка Наполеона немного прежде, так, что ему достало несколько секунд, чтобы, соскочив с нее, пройти скорыми шагами сквозь павильон и принять императора нашего при самом сходе его с барки; тогда они рядом вошли в павильон. Сколько помнится, все особы обеих свит не входили в малый павильон, а оставались на плоту большого, знакомясь и разговаривая между собою. Спустя около часа времени они позваны были в большой павильон к императорам. Там-то Наполеон, сказав каждому из них по приветствию, говорил более, чем с другими, с Беннигсеном. Между прочим он сказал ему: «Вы были злы под Эйлау» («Vous étiez méchant à Eilau»), выражая сим изречением упорство и ярость, с какими дрались войска наши в

этом сражении, и заключил разговор с ним этими словами: «Я всегда любовался вашим дарованием, еще более вашею осторожностью» («J'ai toujours admiré votre talent, votre prudence encore plus»). Самолюбие почтенного старца-воина приняло эту полуэпиграмму за полный мадригал, ибо во мнении великих полководцев *осторожность* почитается последней военной добродетелью, *предприимчивость* и *отважность* — первыми. Этот анекдот рассказывал мне Беннингсен несколько раз, и каждый раз с новым удовольствием.

Так как Наполеон встретил императора Александра при выходе его из барки, то этикет требовал, чтобы император Александр проводил Наполеона до той барки, на которой он приехал, что и было сделано, и тем заключилось первое свидание.

Французы ликовали!

Музыканты сочиняли и играли марши и танцы разного рода в честь *достопамятного свидания,* в честь *дружбы великих монархов* и прочее. Стихотворцы сочиняли романсы, стансы и песни на те же предметы.

У меня остался в памяти отрывок одной из них — «Le radeau»:

Sur un radeau
J'ai vû deux maitres de la terre;
Sur un radeau
J'ai vû la paix, j'ai vû la guerre
Et le sort de l'Europe entière
Sur un radeau *.

Следующих куплетов не припомню, но вот конец последнего:

. . . .
Je gagerai que l'Angleterre
Graindrait moins une flotte entière
Que ce radeau **.

Что касается до нас, одно любопытство видеть Наполеона и быть очевидными свидетелями некоторых подробностей свидания двух величайших монархов в мире — несколько развлекли чувства наши; но тем и ограничивалось все наше развлечение. Общество французов нам ни к чему не служило; ни один из нас не искал не только дружбы, даже знакомства ни с одним из них, невзирая на их старание — вследствие тайного

* На одном плоту я видел двух повелителей мира; на одном плоту я видел и Мир, и Войну, и судьбу целой Европы — на одном плоту.

** Бьюсь об заклад, что весь флот Англии менее страшен, чем этот плот.

приказа Наполеона — привлекать нас всякого рода приветливостями и вежливостью. За приветливости и вежливость мы платили приветливостями и вежливостью,— и все тут. 1812 год стоял уже посреди нас, русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть.

Я не буду описывать свидания, сменившего на другой день первое свидание; это значило бы повторять мною сказанное. Разница между ними состояла в том только, что в последнем участвовал король прусский, что некоторые из особ свиты императора уступили места свои на барке другим особам и что государь и прусский король приглашены были на жительство в Тильзит.

Спеша привести в исполнение последнее обстоятельство, Наполеон в то же утро приказал вывести часть гвардии своей из половины Тильзита и приготовить эту половину города нашей гвардии. Там же приказал он отвести два лучшие дома для обоих монархов.

Этого же дня, в шесть часов пополудни, государь переехал в Тильзит. Наполеон встретил его величество у самого берега при выходе его из лодки. Вся французская пешая и конная гвардия стояла в параде по обеим сторонам главной улицы, от пристани до наполеоновской квартиры, куда государь приехал верхом рядом с Наполеоном. Там был обеденный стол, к которому приглашены были только великий князь Константин Павлович и Мюрат.

Вечером вступила в половину города, оставленную французской гвардией, часть нашей гвардии, назначенная находиться при высочайшей особе. Она состояла из одного баталиона Преображенского полка, под командою того же полка полковника графа Воронцова (ныне генерал-губернатор Новороссийских губерний), из одного полуэскадрона Кавалергардского полка, под командою того же полка ротмистра Левашева (ныне генерал-от-кавалерии и граф), из одного полуэскадрона, или взвода, Лейб-гусарского полка, под командой того же полка штабс-ротмистра Рейтерна (умер генерал-лейтенантом), и из нескольких лейб-казаков.

Дом, который занимал государь, находился на большой улице и отстоял от дома, занятого Наполеоном, в саженях восьмидесяти или в ста. Он был двухэтажный, хотя весьма неогромного объема; имел парадное крыльцо, впрочем, довольно тесное, но украшенное четырьмя колоннами. Вход на это крыльцо был прямо с улицы, по трем или четырем ступеням, между двух из средних колонн его фасада. Крыльцо это при-

мыкало к довольно просторным сеням, представляющим три выхода: один в правые, другой в левые комнаты нижнего этажа и третий — прямо, на довольно благовидную и опрятную лестницу, ведущую в верхний этаж, обитаемый самим государем. Войдя на этот этаж, направо находилась общая комната; она была в симметрии с внутренним покоем государя и соединялась с этим покоем проходной комнатой, из коей была дверь на балкон, поддерживаемый колоннами парадного крыльца.

Кроме упомянутой мною части гвардии, находившейся в Тильзите с Воронцовым, Левашевым и Рейтерном, никому не позволено было, ни из наших, ни из прусских войск, приезжать в Тильзит. Разумеется, что из этого числа исключены были адъютанты, по случаю необходимых иногда сношений армии с императорскою главною квартирою, и, разумеется, что я не преминул воспользоваться этой привилегиею. Впрочем, любопытство видеть Наполеона восторжествовало над всеми надзорами. Множество наших генералов, штаб- и обер-офицеров, для избежания препятствий, одевались в партикулярные платья и проживали в Тильзите по нескольку дней. После кампании, столько тяжкой и продолжительной, Тильзит казался нам земным раем. Что же касается до высоких гостей этого города, я полагаю, что, невзирая на взаимное их согласие, приветливости, угождения и, если смею прибавить к этому священное слово, *дружбу*, по крайней мере *наружную*,— я полагаю, что род жизни, которую вели они, не соответствовал нраву и привычкам ни того, ни другого.

Дни шли за днями почти однообразно. В полдень или в час пополудни завтрак, вроде обеда. В шесть часов или император Александр приезжал к Наполеону верхом с малочисленными своими конвоем и свитою или Наполеон приезжал к Александру, также верхом, с огромною своею свитою и с огромным своим конвоем. Потом отправлялись они вместе на маневры [28] каких-либо французских войск, или всей гвардии вообще, или гвардии же по частям, или корпуса Даву. Заметить надо, что, невзирая на близкое расположение корпуса Ланна от Тильзита, этот корпус ни разу не был представлен государю, потому что он состоял из одних обломков, оставшихся после понесенного им урона под Гейльсбергом и Фридландом. По окончании маневров Наполеон обыкновенно приглашал государя к себе, где в восемь часов они садились за трапезу. Почти ежедневно, в десять или в одиннадцать часов вечера, Наполеон посещал государя без этикета, по-дружески, пешком, один, без свиты, без охранной стражи, в той исторической шляпе, в том историче-

ском сером сертуке, от коих земля дрожала и которые, казалось, курились еще дымом сражений на самых дружеских беседах. Там он пил чай и оставался с глаза на глаз с государем до часу, а иногда и до двух часов за полночь.

Король прусский переехал в Тильзит 16-го и с того дня часто провождал время с Александром и Наполеоном,— кроме вечерних бесед. Королева прибыла 25-го, за два только дня до заключения мира.

Все, что происходило явно и торжественно, имело очевидными свидетелями не одного меня, и потому можно надеяться, что кто-нибудь дополнит и исправит мною забытое или ошибочно представленное. Достойно сожаления, что никому нельзя описать происшествий, гораздо важнейших: разговоров обоих императоров с глаза на глаз при первой встрече их в павильоне и на упомянутых вечерних беседах. Все это происходило без свидетелей и, следственно, осталось без историка. Вот невозвратная утрата!

Другие происшествия, гораздо менее любопытные, но много еще занимательные и потому драгоценные для истории, имея свидетелей, могли бы быть описаны ими со всеми подробностями,— это сношения обоих монархов, не совсем тайные, не совсем публичные: разговоры, шутки, пролетные мнения и иногда невольно вырывавшиеся предположения их, словом, разные мысли, которые они сообщали один другому во время прогулок, на маневрах, за обедами,— везде, куда мы, молодые офицеры, не имели права, ни средств проникнуть. К сожалению (по крайней мере, относительно этого предмета), многих из этих свидетелей нет уже на свете, а оставшиеся в живых кончают дни свои с полным равнодушием к исполинским, к эпическим событиям того времени, как беззаботные аисты на развалинах Трои.

Имея некоторое право посещать Тильзит, я просил князя Багратиона о дозволении мне ездить туда как можно чаще. Князь, столько же взыскательный начальник во всем, что касалось до службы, сколько снисходительный и готовый на одолжения подчиненных своих во всяком другом случае, согласился на мою просьбу без затруднения и почти ежедневно посылал меня с разными препоручениями к разным особам, проживавшим тогда в Тильзите. Это обстоятельство представило мне средство видеть почти ежедневно Наполеона, и часто на расстоянии одного или двух шагов от себя, не далее.

Чтобы избежать повторений, я опишу только первую мою встречу с ним; прочие, кроме кой-каких особенностей, не до-

стойных внимания, во всем сходствовали с этой первою встречею.

Не помню, которого числа, знаю только, что скоро после переезда государева в Тильзит, князь Багратион послал меня с запискою к одному из чиновников императорской главной квартиры. Я нарядился в парадный лейб-гусарский мундир и переехал чрез Неман на лодке. Особа, к которой я послан был, находилась в общей комнате дома, занимаемого государем. Я нашел в этой комнате князя Куракина и князя Лобанова, уполномоченных тогда при переговорах о мире, прусского фельдмаршала Калькрейта, некогда покорителя Майнцкой крепости и свежего еще и знаменитого защитника Данцига, множество министров и других государственных сановников. При мне вошел Коленкур с какою-то особого рода надменною и наглою учтивостью. Он прислан был Наполеоном с приглашением государя на маневры в шесть часов и к его обеденному столу после маневров. Спесивая осанка этого временщика переступала меру терпимости! После, во время посольства своего в Петербурге, он был еще напыщеннее и неприступнее; но, боже мой! надо было видеть его восемь лет после, под Парижем, в утро победного вступления нашего в эту столицу!

Исполня данное мне препоручение, я пошел к однополчанам моим, конвойным лейб-гусарам, где пробыл до шестого часу в нетерпении и в надежде рассмотреть Наполеона лучше, чем я видел его, плывшего на барке.

В шестом часу я уже был на парадном крыльце дома государя.

Не прошло получаса, как услышал я топот многочисленной конницы и увидел толпу всадников, несущихся во всю прыть по главной улице к дому его величества. Это был Наполеон, окруженный своею свитою и конвоем.

Толпа, сопутствовавшая ему, состояла, по крайней мере, из трехсот человек. Впереди скакали конные егеря, за ними все, облитые золотом, в звездах и крестах, маршалы и императорские адъютанты (то же, что у нас генерал-адъютанты). За этою блестящею толпою скакала не менее ее блестящая толпа императорских ординарцев (officiers d'ordonnance, род наших флигель-адъютантов), перемешанных со множеством придворных чиновников, маршальских адъютантов и офицеров генерального штаба, также чрезвычайно богато и разнообразно одетых. Вся эта кавалькада замыкалась несколькими десятками другой части, скакавших впереди конных егерей. В самой средине

этой длинной колонны, между маршалами, скакал сам Наполеон.

И вот он у крыльца. Один из двух бессменных пажей его, Мареско, сын славного инженерного генерала, хорошенький мальчик лет семнадцати, одетый в гусарском коричневом доломане с золотом и в треугольной шляпе с полями, соскочил с лошади своей, бросился перед лошадь Наполеона и схватил ее обеими руками под уздцы. Наполеон сошел, или, лучше сказать, спрыгнул с нее, и так быстро вбежал на крыльцо и прошел мимо меня к лестнице, ведущей в государевы покои, что я едва мог заметить его. За ним пошли маршалы и адъютанты его; но все прочие чиновники, свита и конвой его остались верхами на улице. Мюрат, шедший вслед за Наполеоном, встретясь у крыльца с великим князем Константином Павловичем, занялся с ним разговором и не пошел далее. Я долго смотрел на этого Мюрата, на этого, без сомнения, одного из блистательнейшей храбрости военачальников европейских конниц. Его красивость стана и лица, его карусельный род одежды, со всем тщанием и со всем кокетством модной красавицы носимый, бросались в глаза. Известно, что он наряжался богаче и великолепнее на те сражения, в которых он предвидел более опасностей. Но известно также, что, при этом рыцарском духе, дарования его ограничивались яростью в сечах, картинною наружностью и одним навыком механического построения громад кавалерии и действием ими на пункты, указанные Наполеоном.

Мареско вошел на крыльцо и остановился возле меня, препоруча придворному, распудренному и покрытому галунами, конюшему держать Наполеонову лошадь у самых ступеней крыльца. Я помню, что лошадь эта была рыжая, очень небольшого роста, но чистейшей арабской крови и с длинным хвостом. Седло на ней было бархатное малиновое, чепрак такой же, золотом шитый, оголовье из золотого галуна; удила и стремена из литого золота.

Вдруг зашумело на государевой лестнице. Маршалы и адъютанты сходили с нее не останавливаясь и быстро шли к лошадям своим. Мареско предупредил их. Он стремглав бросился с крыльца к Наполеоновой лошади, которую, приняв от конюшего, взял под уздцы, как прежде. Несколько лет пред тем республиканец, несколько часов пред тем гордый вельможа,— Коленкур, в богатом обер-шталмейстерском мундире и с двумя звездами на груди, держал одною рукою стремя для наполеоновской ноги, другою — хлыст для руки его, ожидая подхода барина своего к лошади.

Наполеон вышел из сеней на крыльцо рядом с государем и от тесноты крыльца остановился так близко ко мне, что я принужден был попятиться, чтобы как-нибудь случайно не толкнуть его. Он рассказывал что-то государю весело и с жаром. Я ничего не слышал. Я весь был зрение. Я пожирал его глазами, стараясь напечатлеть в памяти моей все черты, все изменения физиономии, все ухватки его. К счастью моему, он, как будто в угождение мне, заговорился более, чем обыкновенно говаривал на ходу к какому-нибудь предмету, и оттого пробыл возле меня, конечно, более двух минут. Я был доволен, но не совсем. Мне непременно хотелось видеть явственнее цвет глаз и взгляд его, и он в эту минуту, как бы нарочно, обратил голову на мою сторону и прямо взглянул мне в глаза. Взгляд его был таков, что во всяком другом случае я, конечно, опустил бы веки; но тут любопытство мое все превозмогло. Взор мой столкнулся с его взором и остановился на нем твердо и непоколебимо. Тогда он снова обратился к государю с ответом на какой-то вопрос его величества, сошел со ступеней крыльца, надел шляпу, сел на лошадь, толкнул ее шпорами и поскакал, как приехал: почти во все поводья. Все это было сделано одно за другим, без антрактов. В ту же секунду все впереди его, все вокруг него, все позади его стоявшие всадники различных чинов и званий разом двинулись с места, также во все поводья, и все великолепное зрелище, как блестящий и громозвучный метеор, мгновенно исчезло из виду.

Я уже сказал, сколько поражен был сходством стана Наполеона со всеми печатными и тогда везде продаваемыми изображениями его. Не могу того же сказать о чертах его лица. Все виденные мною до того времени портреты его не имели ни малейшего с ним сходства. Веря им, я полагал Наполеона с довольно большим и горбатым носом, с черными глазами и волосами, словом, истинным типом италианской физиономии. Ничего этого не было.

Я увидел человека малого роста, ровно двух аршин шести вершков, довольно тучного, хотя ему было тогда только тридцать семь лет от роду и хотя образ жизни, который он вел, не должен бы, казалось, допускать его до этой тучности. Я увидел человека, державшегося прямо, без малейшего напряжения, что, впрочем, есть принадлежность всех почти людей малого роста. Но вот что было его собственностию: это какая-то сановитость благородно-воинственная и, без сомнения, происходившая от привычки господствовать над людьми и чувства морального над ними превосходства. Не менее замечателен он был

непринужденностию и свободою в обращении, так и безыскусственною и натуральною ловкостью в самых пылких и быстрых приемах и ухватках своих, на ходу и стоя на месте. Я увидел человека лица чистого, слегка смугловатого, с чертами весьма регулярными. Нос его был небольшой и прямой, на переносице которого едва приметна была весьма легкая горбинка. Волосы на голове его были не черные, но темно-русые, брови же и ресницы ближе к черному, чем к цвету головных волос, и глаза голубые,— что, от его почти черных ресниц, придавало взору его чрезвычайную приятность. Наконец, сколько раз ни случалось мне видеть его, я ни разу не приметил тех нахмуренных бровей, коими одаряли его тогдашние портретчики-памфлетисты.

В этот день и, впрочем, во все последовавшие дни мундир на нем был конно-егерский, темно-зеленый, с красною выпушкою и с отворотами наискось, срезанными так, чтобы виден был белый казимировый камзол с маленькими мундирными пуговицами. Эполеты на нем были золотые полковничьи, подобные нынешним нашим эполетам полных генералов, без звездочек. На мундире его была звезда и крестик Почетного Легиона. Нижнее платье белое казимировое, ботфорты выше колена, из мягкой кожи, весьма глянцевитые и с легкими золотыми шпорами. Шпага на бедре и шляпа в руке, пока не подходил он к лошади.

Из свиты его я заметил маршала Ланна, человека сухощавого и с физиономиею, поражавшею стойкостью, предприимчивостью и решимостью, и маршала Даву, дебелого, довольно высокого роста, лысого, с очками на носу и по наружности своей мало достойного внимания, но уже знаменитого воина по Ауэрштетской победе, собственно ему принадлежащей. О Бертье и о прочих маршалах и генералах я умолчу: время изгладило образы их из моей памяти. Для дополнения описания наружности Наполеона я представляю здесь немногим известное письмо остроумного принца де Линь, видевшего его несколькими только днями после меня. Из этого письма я перевожу на русский язык те только места, которые относятся единственно до Наполеоновой особы.

«Наконец я видел этого делателя и разделывателя королей. Узнав, что после побед своих, свиданий своих и заключения мира, он возвращается в Париж и будет проездом в Дрездене, я из Теплица приехал туда 17/5 июля. Мы с герцогом Веймарским втерлись в толпу народа, стоявшего у дворцовой лестницы.

Император с королем всходили на нее так медленно, от многочисленности и неловкости саксонских низкопоклонников, что я без труда

мог осмотреть первого из них с ног до головы. Мне понравилось положение головы его и осанка его, благородно-воинственная. Эта осанка — не великих господ по *дипломам,* обыкновенно пышущая презрением или наглостью, которые принимаются за благородство. Взгляд его был тверд, тих и величествен. Казалось, что он мыслил о многих важных предметах, что давало величавое спокойствие физиономии, и она была в истинном и естественном положении своем. Но физиономия эта не понравилась мне на другой день от принужденной улыбки ложного добродушия, чувствительности и покровительства,— улыбки, которою он, во время посещения своего картинной галереи, угощал народную сволочь и меня вместе с нею.

Я не отставал от него и всегда находился на одной высоте с ним, позади толпы, между которой он шел. Я был похож на влюбленного человека, который, чтобы не опустить с глаз милую свою, танцующую экосез, следует за ней вниз и вверх рядов экосеза. Так я не терял ни единого взгляда, ни единого звука голоса его. Звук этот показался мне немного простонароден. Он бросил несколько вопросов и замечаний отрывисто и, что меня удивило, на манер Бурбонов, с коими он также сходствует и некоторым качаньем с боку на бок, на ходу и стоя на месте. Что производит это: престол французский или умышленность?

Все замечательно в человеке, который не говорит и не делает ничего даром и без цели. Так, например, я приметил, что он удостоивал легким вниманием Магдалину Корреджиеву, картины Тициановы, трех граций, прелестный эскиз Рубенса и прочие, и останавливался пред обыкновенными картинами, представляющими сражения или какие-нибудь важные исторические события. Опять спрошу: как это случилось,— само собою или с намерением? Нет сомнения, что это было сделано для зрителей.

Наполеон купался, давал аудиенции в ванне, просыпался и вставал в пять часов, навещал в госпиталях раненых под Иеной, осматривал укрепления города и кадетский корпус, где экзаменовал кадетов, держа каждого экзаменующегося за ухо.

Странная эта привычка или ухватка! Он то же делал с князем Иоанном Лихтенштейном при мирных переговорах в Брюне. Случилось, что, не соглашаясь на некоторые статьи, на которые прежде был согласен, он вздумал, по-прежнему, взять за ухо уполномоченного генерала. Лихтенштейн, отстраняясь, сказал ему: *«Если герой нашего века не то говорит во вторник, что говорил он в понедельник,— он вероломствует и мрачит свою славу: военному человеку не пристойно иметь с ним дело: я пришлю к нему министра».* Это победило Наполеона.

Вот другое обстоятельство, которое отвлекло меня от представления к нему и в Вене, и в Дрездене; он обошелся бы со мною или очень ласково, или очень грубо. В первом случае я потерял бы уважение к себе и между своими; во втором — он смутил бы меня упреками за мои шутки на его счет (ибо ему все известно). Что бы я отвечал ему, если бы он сказал мне: *«То вы, сударь, называете меня Сатаною 1-м, то землетрясением, то чертом-человеком, то Магометом Калиостро».*

Он, может быть, не знает всего удивления, всего восторга, питаемого мною к нему, чудеснейшему существу, которому подобного не было еще в этом мире!»

Наконец 27 июня заключен был мир. Войска наши выступили в Россию; князь Багратион отправился в Петербург, и я туда же. Отдых наш был непродолжителен: в январе месяце мы уже были с войсками, воюющими в Финляндии. Это напоминает мне слова незабвенного друга моего и боевого собрата Кульнева: «Матушка Россия,— говаривал он тогда,— тем хороша, что все-таки в каком-нибудь углу ее да дерутся». В то время был еще другой угол, где дрались,— это Турция, куда князь, следственно, и я за ним, явились по прекращении военных действий в Финляндии.

Блаженная была эпоха для храбрости! Широкое было поприще для надежд честолюбия!



«Бегство французов из Москвы в 1812 году октября 12 дня. Генерал-маиор Иловайский 4-й преследует неприятеля. Французский солдат, пожирающий лошадиное мясо, показывает ужасный голод, существующий между неприятелями. Вдали виден маршал Мортье в коляске, убегающий с свитою своею и с разными колоннами французского арьергарда»
Гравюра С. Карделли по рисунку Д. Скотти (1814 г.)

ВОСПОМИНАНИЕ О КУЛЬНЕВЕ В ФИНЛЯНДИИ

(1808)

Война в Финляндии во время самого разгара своего не обратила на себя взоров ни граждан, ни военных людей. Не до того было общему любопытству, утомленному огромнейшими событиями в Моравии и в Восточной Пруссии, чтобы заниматься войною, в коей число сражавшихся едва ли доходило до числа убитых и раненых в одном из сражений предшествовавших войн. К тому же первая половина ее ничем другим не была ознаменована, как вооруженною прогулкою войск наших почти до границы Лапландии и покорением первоклассной крепости слабыми канонадами и наскоками нескольких сотен казаков. Надо согласиться, что и средства, которые доставили нам такие важные приобретения, мало имели права на общее внимание. Зато уверенность в незатруднительном завоевании края этого так усилилась, что когда сосредоточенный неприятель напал на разбросанные по клокам войска наши, когда вспыхнула война народная, когда подвозы с пищею и с зарядами прекратились от набегов жителей, когда пожары разлились по неизмеримому пространству лесов, сквозь которые надлежало нам пробиваться, когда каждый шаг вперед и назад требовал всеминутных пожертвований жизни,— тогда мирные соотечественники наши не хотели верить доходившим до них слухам и, в заблуждении своем, приглашали нас письмами на веселия столицы и на семейственные удовольствия.

А между тем кровь храбрых орошала тундры финские, запекалась на скалах, по ним рассеянных! А между тем лучшую часть жизни мы провождали под инеями севера, средь океана

вековых лесов, на берегах озер пустынных, гоняясь за славою, которой не было ни одного отголоска в отечестве!

По заключении мира с Швециею новые грозы нахлынули, новые бедствия, новые торжества увлекли и участия, и обеты, и усилия в другую сторону,— и финляндская война, поглотясь событиями, еще огромнейшими предшествовавших, погибла в неизвестности.

Я пишу не историю, следственно, не беру на себя обязанности вызывать эту войну к бессмертию. Писатель-наездник,— я и тем буду доволен, если записки мои напомнят товарищам моим очаровательные минуты нашей юности, и мечты, и надежды честолюбия, и опасности, на которые мы бросались, и кочевья, и беседы оссиановские у пылающих пней, под пасмурным небом.

При первом взгляде на карту Финляндии мы видим, что область эта составлена из неправильного *четвероугольника*, к которому приставлен равнобедренный *треугольник*.

Основанием первому служит северный берег Финского залива, боками: восточный берег Ботнического залива от Або до Вазы и перпендикуляр, падающий от Куопио на Аборфорс; крышею — дорога, лежащая от Вазы на Лаппо, Линдулакс и Койвисто в Куопио.

Эта крыша четвероугольника составляет основание треугольника, коего один бок образуем продолжением восточного берега Ботнического залива от Вазы до Улеаборга, другой — дорогою, идущею от Куопио чрез Индесальми к сему же городу.

Непрерывная трясина, усыпанная скалами и осененная дремучим лесом, обширные озера, одни в другие впадающие, и дороги, направляющиеся в виде радиусов к малому числу средоточий и редко где имеющие между собою поперечные сообщения, составляют поверхность Финляндии.

Тавастгуст есть главное средоточие дорог четвероугольника; сверх того, пункт этот имеет сообщения со всеми средоточиями и треугольника, как чрез Лаппо с Ни-Карлеби, чрез Линдулакс с Гамле-Карлеби, чрез Койвисто и Куопио или чрез Гейнолу, Сент-Михель и Куопио с Улеаборгом. Последний город есть, так сказать, застежка всех дорог Финляндии и единственное сообщение с Швециею в летнее время. Зима прибавляет еще два сообщения с Швециею: одно чрез Аландские острова близ Або, другое — чрез Кваркенский пролив близ Вазы.

Все пространство Финляндии, так, как и восточный берег Ботнического залива, не имеют искусственных укреплений. Но

северный берег Финского залива защищаем Свеаборгом, крепостью первого класса, коей порт может поместить до шестидесяти военных кораблей, крепостцою Свартгольмом и укрепленными мысами Перкелаутом и Гангоутом, пересекающими береговое плавание гребным флотилиям.

Вся приморская часть этого края много отличается от внутренней относительно благосостояния, опрятности, кротости нравов и даже просвещения жителей. Можно сказать, что, пока едешь от Аборфорса до Або и от Або до Улеаборга,— едешь еще Европою: торговля, сближая людей, стирает с них кору природы и однообразит обычаи и общежитие; но чем более погружаешься в глубину этой области, тем более видишь, что нравы народа, оттеняясь мало-помалу, сливаются наконец с суровою и мрачною его обителью.

Так, по крайней мере, было в 1808 году.

Военная сила Финляндии доходила до пятнадцати тысяч человек регулярных войск и до четырех тысяч милиции, разбросанных по всей области. Из числа их до шести тысяч находилось в крепостях Свеаборге и Свартгольме; остальным тринадцати тысячам приказано было немедленно сосредоточиваться у определенных им пунктов при первом известии о наступательном нашем движении. Тавастгуст был назначен сборным местом для тех войск, которые обитали в южной части четвероугольника; Ваза и оба Карлеби — для находившихся в северной части оного и в южной части треугольника; Куопио — для живущих в Саволакской провинции, а Улеаборг — сборным местом для всех частей, собравшихся в Тавастгусте, в Куопио и в обоих Карлеби.

Сверх того, наистрожайше повелено было фельдмаршалу Клингспору, назначенному главнокомандующим шведской и финской армий, не принимать сражения до собрания последней в Улеаборге.

В конце января армия наша расположена была между Фридрихсгамом и Нейшлотом. Она состояла из трех дивизий: 5-й, 17-й и 21-й. Первою командовал генерал-лейтенант Тучков 1-й, 17-ю — генерал-лейтенант князь Горчаков 1-й (вскоре после — генерал-лейтенант граф Каменский), последнею — генерал-лейтенант князь Багратион. К этим дивизиям присоединены были три эскадрона лейб-казаков и полки: Финляндский драгунский, Гродненский (что ныне Клястицкий) гусарский и один донской казачий полк Лощилина.

Пятая дивизия разделена была на три отделения: два, под личным надзором дивизионного командира, находились в окре-

стностях Нейшлота, один, под командою генерала Булатова, в окрестностях Вильманштранда.

Вся армия заключала в себе до двадцати тысяч человек пехоты и конницы и препоручена была генералу-от-инфантерии графу Буксгевдену.

Много было толков насчет времени, когда удобнее начинать действия. Некоторые предлагали перейти границу немедленно, другие советовали отсрочить до весны.

Выгоды зимней кампании состояли в том, что Швеция не была еще в готовности. Финские полки, рассеянные по всему пространству Финляндии, не начинали еще собираться; шведские — еще не прибыли на театр действия. Финляндская область лишена была тех естественных преград, коими она, освобожденная от льдов и снегов, изобилует. Свеаборгская крепость не была ни совершенно вооружена для регулярной обороны, ни достаточно снабжена военными и съестными потребностями. Сверх того, расположенная на островах, она доступнее зимою, чем по вскрытии льдов, тем более что некоторые из укреплений требовали еще окончательной достройки; да и те, кои были достроены, имели предметом защиту гавани; следовательно, весь отпор их обращен был к морю, а не к твердой земле, откуда должны были производиться нами осада или приступ. Не в лучшем положении находились и прочие укрепления северного берега Финского залива.

Бесспорно, что отсрочка до весны способствовала нам дождаться войск, идущих изнутри России, и начать действия с бо́льшими силами; что весною движением к Вазе или Улеаборгу мы могли отрезать от Швеции финские войска, лишенные зимних проходов чрез Кваркен и Аланд. Но сравнились ли бы выгоды эти с выгодами зимней кампании и не потеряли ли бы они значимости от неудобств, с ними сопряженных и их превышающих? Во-первых: видя армию нашу скопляющеюся несколько месяцев на границе Финляндии, шведское правительство могло воспользоваться этим временем, чтобы собрать финские войска, усилить их своими и принять все меры к укреплению важнейших стратегических пунктов, как то: Тавастгуста, Куопио, Лаппо, Койвиста и Улеаборга. Обладая Свеаборгом и всеми укрепленными пристанями северного берега Финского залива, долженствующими уже быть тогда в готовности, правительству этому подручно было предпринимать значительные высадки и действия во фланг и в тыл армии нашей, в случае углубления ее в недра Финляндии. Наконец вскрытие рек и озер вжимало войска наши в дороги, врезанные, подобно

желобам, в непроходимую поверхность, и лишало равнин и прямых сообщений, словом, того необходимого простора для наступательной войны, который столь удобен для предположений и расчетов начальников, оборонительно действующих.

Правительство наше предпочло зимнюю кампанию весенней.

Вследствие чего дивизии Горчакова назначено было действовать на Свеаборг, дивизии Багратиона — на Тавастгуст, дивизии Тучкова чрез Куопио — на Вазу.

Военные действия открылись 8 февраля.

При вступлении войск наших в пределы неприятельские я был в отпуску. Московские веселости, тогда истинно-упоительные, кружили мне голову. Двадцатитрехлетний юноша и уже Лейб-гусарского полка штабс-ротмистр, и уже с двумя крестами на шее и с двумя на красном ментике, горящем в золоте, я утопал в наслаждениях и, как в эти лета водится, влюблен был до безумия.

Первый слух о войне с Швециею и о движении войск наших за границу выбросил меня из московских балов и сентиментальностей к моему долгу и месту, как Ментор Телемака, и я не замедлил догнать армию нашу в Шведской Финляндии, на полном ходу ее.

На пути к Гельсингфорсу, на станции Сибо, я познакомился с проезжавшим, подобно мне, к генералу своему Архангелогородского пехотного полка поручиком и адъютантом графа Каменского, Закревским. Знакомство, памятное для взаимной нашей дружбы, тридцатый год искреннейшей и не изменявшейся ни в каких случаях.

В Гельсингфорсе находились тогда главная квартира графа Буксгевдена и назначенные для осады Свеаборга войска под начальством графа Каменского. Тут я впервые увидел адъютанта графа Буксгевдена, Невского пехотного полка поручика Нейдгарта, что ныне генерал-адъютантом и командиром 6-го пехотного корпуса.

Ежедневные канонады по крепости,— канонады тощие и только что дразнившие неприятеля,— и канонады из крепости по нашим батареям, войскам и городу, истинно разрушительные, но более еще приготовление фашин и лестниц, с разглашением от главнокомандующего нашего о скором приступе, задержали меня в Гельсингфорсе. Я на это решился как потому, что знал образ мыслей и чувств начальника моего, который, в случае приступа, с радостию узнал бы о содействии адъютанта своего в таком отважном предприятии, так и потому, что по направлению 21-й дивизии из Тавастгуста в Або не было

неприятеля, следственно, нельзя было и ожидать там никакого сражения.

В это время случилось забавное происшествие, вряд ли кому известное или, может быть, давно уже забытое. Во время войны в Восточной Пруссии, восемь месяцев пред войною в Финляндии, Гродненский гусарский полк находился в авангарде князя Багратиона, и потому я был известен всем офицерам этого полка. В Гельсингфорсе пришел ко мне квартирмейстер оного, поручик Малевский или Маековский,— точно фамилии не помню, но что-то на это похожее. В бытность нашу в авангарде он слыхал меня, толкующего вкось и вкривь о военных операциях, и видал меня, смотрящего часто на карту, что было, как кажется, достаточно для удостоверения его в моих высоких военных способностях и познаниях. Полагая, что никто лучше меня не знает о местопребывании штаба полка, к коему он спешил по исполнении данных ему поручений в Петербурге, он явился ко мне с просьбою направить его ближайшим трактом к этому штабу. Восхищенный доверенностию его и зная, что штаб Гродненского гусарского полка находится при 21-й дивизии, я важно развернул карту, счел число переходов от Тавастгуста до Або, определя на каждый по двадцати пяти, а иногда и по тридцати верст, и, соображаясь со днем выступления этой дивизии из Тавастгуста, *утвердительно* объявил Малевскому или Маековскому, что *штаб полка его теперь в Або*. В расчете этом я не принял в соображение одного только обстоятельства: я забыл, что на карте нет снегу, особенно глубокого, что широкие дороги, на ней показанные, превращены тогда были в тропинки, по которым конница не могла идти иначе, как в один конь, пехота — рядами, а артиллерия и тяжести — с чрезвычайным затруднением, так что вместо двадцати пяти и тридцати верст в сутки 21-я дивизия не в состоянии была проходить в сутки более десяти или двенадцати верст.

Квартирмейстер мой отвесил мне низкий поклон за оказанную ему услугу и, спокойный и полный уверенности в точности показаний двадцатитрехлетнего сорванца-стратегика, пустился в путь на почтовых и въехал в средину Абова, как в средину Москвы или Петербурга.

В Абове не было ни слуха ни духа о наших войсках; правда, что не было в нем также и неприятельских; но была чернь, но был университет, как всякая чернь, как всякий университет, бурные и ярые против всего того, что им под силу. К счастию, никакой обиды не было причинено нашему от страха уже трепетавшему рыцарю, потому что он успел, прежде чем раз-

неслась весть о его приезде, скрыться у ландсгевдена или губернатора города, у коего пробыл он ни живым, ни мертвым до дня прибытия к Абову одного из отрядов 21-й дивизии. Не все еще. Тут только начинается истинный триумф нашего квартирмейстера. Едва показались войска наши, как ландсгевден и главные чиновники Абова перепугались более еще испуганного их гостя. Они немедля прибегли к Малевскому или Маековскому с просьбою о принятии города под свое покровительство и об уведомлении начальника отряда, что город покорился уже российскому оружию с минуты прибытия в него первого российского офицера — самого г-на Малевского. Малевский, ободрясь, нарядился в свой парадный мундир, сел на лошадь ландсгевдена и отправился к отряду, сопровождаемый несколькими гражданскими чиновниками.

Между тем начальник отряда, увидя издали толпу в мундирах и впереди оной — гусарского офицера, принял ее за неприятельскую партию, высланную из города для обозрения силы войск, составляющих авангард наш. Все в нем пришло в движение, начали строиться в боевой порядок, размещаться на позицию, выдвигать пушки и едва ли не взводить курки ружей,— как вдруг белый платок, которым замахал завоеватель-квартирмейстер и вслед за тем прискок его к отряду вывели всех из заблуждения. Оставалось мирно и торжественно вступать в Або и сочинять реляцию,— разумеется, уже менее доступную для Малевского, чем столица Финляндии с ее 280 чугунными пушками и с ее шлоссом, заключавшим в себе 323 таких же пушек. Я недолго оставался в Гельсингфорсе. Едва начались переговоры о сдаче Свеаборга, как я уже погонял лошадей по Абовской дороге.

В Абове явился я к моей должности и, вместе с тем, попал на балы и увеселения. Князь Багратион объявил нам, что 21-й дивизии ничего другого не оставалось, кроме веселья, ибо военные действия в южной Финляндии прекратились и вряд ли после покорения Свеаборга, Свартгольма и мысов Гангоута и Перкелаута возобновятся,— по крайней мере, с некоторой значимостию.

Я рассудил, что если уже гоняться за светскими увеселениями,— выгоднее для меня ехать обратно в Москву, где этого рода увеселения на русскую руку: шумны, роскошны и, сверх того, полны поэзиею: присутствием моей красавицы,— чем оставаться в Абове с неловко прыгающими чухоночками, довольно свежими и хорошенькими, но ни в каком случае не стоящими ружейных выстрелов, для которых пожертвовал я радостями

моего сердца. Мысль эта решила меня проситься у князя на север, к генералу Раевскому и Кульневу, которые преследовали финские войска к Улеаборгу. Там еще пахло жженым порохом; там было и мое место. На такого рода просьбы князь отвечал всегда согласием и похвалами. В душе его был отголосок на все удалые порывы юношей, жадных к боевым приключениям и случайностям.

После двухсуточного пребывания моего в Абове длинные финские сани несли уже меня по пустынным и снежным озерам и холмам между скал и дремучих лесов Финляндии. Я скакал в Вазу.

В то время народонаселение было равнодушно и еще покойно. Жители не питали к нам ни малейшей злобы. Проезды курьеров и всякого рода обозов производились с такою же безопасностию, как в средине России. Вскоре рассеяние по всей области пятитысячного финского войска, сдавшегося в Свеаборге и отпущенного главным начальством нашим восвояси, и неудачи войск наших на севере — все изменили.

В Вазе был Раевский. Я остался бы при этом полном дарований и неустрашимости военачальнике, при этом с детства моего столь любимом мною человеке, если б Кульнев не командовал авангардом его и, следственно, если бы он не был впереди Раевского, не был ближе его к неприятелю. Я поехал к Кульневу, которого догнал в Гамле-Карлеби и от авангарда которого не отлучался до окончания завоевания Финляндии.

О Кульневе много и многие говорили, даже писали и печатали,— всякий по-своему, всякий как слыхал о нем или видал его мимоходом. Некоторые полагали его необыкновенным воином, достойным высших степеней, а потому и командования большими армиями; другие — только храбрым, но без образования человеком, неучем и грубым гусаром.

Прежде чем сказать несколько слов о Кульневе, я предъявляю права мои на верование тому, что я скажу о нем.

Я познакомился с Кульневым в 1804 году, во время проезда моего чрез город Сумы, где стоял тогда Сумский гусарский полк, в котором Кульнев служил маиором. Знакомство наше,— хотя он был меня старее ровно двадцати одним годом,— знакомство наше превратилось в приязнь в продолжение войны 1807 года в Восточной Пруссии. Мы тогда были: я — Лейб-гусарского полка штабс-ротмистром; Кульнев — подполковником Гродненского гусарского полка, в который он переведен был из Сумского. Но в годах 1808 и 1809 в Финляндии и в 1810 в Турции приязнь наша достигла истинной, так сказать, задушев-

ной дружбы, которая неослабно продолжалась до самой его блистательной и завидной смерти. В последних двух войнах, финляндской и турецкой, мы были неразлучны: жили всегда вместе, как случалось,— то в одной горнице, то в одном балагане, то у одного куреня под крышею неба; ели из одного котла, пили из одной фляжки. Вот в каком отношении мы были один к другому.

Кульнев родился в 1763 году и получил образование в кадетском корпусе при знаменитом директоре Бецком, в самую блистательную эпоху этого военного училища. Кульнев знал удовлетворительно артиллерийскую науку и основательно — полевую фортификацию, теоретически и практически. Он порядочно изъяснялся на языках французском и немецком, хотя писал на обоих часто ошибочно, но познания его в истории, особенно в русской и римской, были истинно замечательны. Военный человек *и еще гусар,* он не хуже всякого профессора знал хронологический порядок событий и соотношения между собою единовременных происшествий, выводил из них собственные заключения, полные здравого смысла и проницательности, и любил предлагать подвиги некоторых римских и русских героев в пример молодым офицерам, служившим под его начальством. Слог приказов, отдаваемых им войскам своим, рапорты начальству, усиленные и быстрые переходы отрядов, ему вверяемых, и притом некоторые странности в образе жизни его, приватные и явные, принимаемы были за подражание Суворову. Это напрасно. Служа при этом великом человеке во время польской войны 1794 года, Кульнев платил ему, подобно всем русским воинам, дань удивления; он, можно сказать, боготворил его и всегда говаривал о нем со слезами восторга, но никогда не старался подражать ему ни в каких странностях. Он одарен был слишком сметливым умом, чтобы решиться на подражание причудам, которые искупаются одними только гениальными качествами и бессмертными подвигами.

Кульнева причуды происходили от его веселого нрава, никогда, ни от чего не унывавшего, и от неподдельной, самобытной оригинальности его характера. Суровый образ жизни предпочтен им был роскошному образу жизни от бо́льшего приличия первого солдатскому быту. К тому же и не из чего было ему роскошествовать. Из скудного жалования маиорского, а потом из весьма в то время недостаточных жалований полковничьего и генерал-маиорского он ежегодно и постоянно, до конца своей жизни, уделял треть на содержание дряхлой

и бедной своей матери, о чем знает весь город Люцин, где она жила. Другую треть употреблял он на необходимые потребности для военного человека: мундиры, содержание верховых лошадей, конной сбруи и прочее; наконец последнюю — на пищу себе. Эта пища состояла из щей, гречневой каши, говядины или ветчины, которую он очень любил. Всего этого готовилось у него ежедневно вдоволь, на несколько человек. «Милости просим,— говаривал он густым и громким своим голосом,— милости просим, только каждого гостя с своим прибором, ибо у меня *один»*. Питейным он,— подобно того времени гусарским чиновникам,— не пресыщался: стакан чая с молоком поутру, вечером — с ромом; чарка водки перед завтраком, чарка — перед обедом, для лакомства — рюмка наливки, а для утоления жажды — вода или квас; вот все питейное, которое употреблял Кульнев в продолжение суток. На водку он был чрезмерно прихотлив и потому сам гнал и подслащивал ее весьма искусно. Сам также заготовлял разного рода закуски и был большой мастер мариновать рыбу, грибы и прочее, что делывал он даже в продолжение войны, в промежутках битв и движений. «Голь хитра на выдумки,— говаривал он, потчевая гостей,— я, господа, живу по донкишотски, странствующим рыцарем печального образа, без кола и двора; потчую вас собственным стряпаньем и чем бог послал».

Это отчуждение от роскоши, этот избранный им скромный род жизни давали ему более, чем людям богатым, но увлеченным прихотями сластолюбия и расточительности, средства помогать неимущим. Независимо от этого средства Кульнев обращал самую службу свою на вспомоществование своим родственникам. Получа однажды известие о крайности, в коей находилась его мать, и видя необходимость послать ей пять тысяч рублей, он после Куортанской победы, в которой особенно отличился, просил графа Каменского заменить этою суммой генерал-маиорский чин, назначенный ему в представлении об отличившихся. Граф согласился. Сумма была прислана Кульневу и немедленно отослана им бедной и обожаемой им старушке. В другой раз, во время турецкой войны, получил он высочайшее награждение по тысяче рублей ассигнациями в год, на двенадцать лет, и передал право это малолетной родной племяннице, крестнице своей, с тем, чтобы эти деньги посылаемы были из кабинета в опекунский совет и хранились бы там до ее замужества.

Но этого мало. Благодеяния его не ограничивались одним кругом родственников его. Они простирались далее, хотя в дру-

том виде. Он был неослабным покровителем разжалованных в рядовые штаб- и обер-офицеров, служивших в его отрядах. Во время турецкой войны их было в авангарде его до двадцати человек; все они пользовались самым ласковым, можно сказать, отеческим обхождением его, и все они выведены им были в офицеры в продолжение одной кампании. Пленные неприятели обретали в нем заступника и утешителя. Французский генерал Сен-Женье, взятый им в плен под Друею в 1812 году, залился слезами, услыша о его смерти. Левенгельм, Клерфельт и все офицеры и солдаты финские и шведские, подпавшие участи плена во время войны в Финляндии, отзывались с восторгом о его рыцарских поступках и не переставали питать к нему чувства живейшей благодарности. Жители области, в коей воевал Кульнев, не подвергались ни оскорблениям, ни разорению от солдат его; мало в чем разнился образ жизни их во время войны с образом их жизни в мирное время. Молва о его великодушии разносилась повсюду. Когда, по завоевании северной Финляндии, он приехал в Або и вошел на бал князя Багратиона, все сидевшие в зале абовские жители обоего пола, узнав, что то был Кульнев, встали со своих мест, танцевавшие оставили танцы, и все общество подошло к нему с изъявлением благодарности за сохранение спокойствия к собственности жителей той части Финляндии, где он действовал, и за оказанные им благодеяния родственникам их, попавшимся к нему в плен; всему этому я был очевидным свидетелем.

Но странное дело! Воин, до того сочувствовавший всякому страждущему существу, что крик птицы или скота, которых резывали на бивачных кухнях вблизи куреня его, отвращал его от пищи на целые сутки и более,— этот самый воин был ненасытим зрением погибающих в сражениях и неукротим в гневе на подчиненных своих за малейший проступок их в военном деле. Последним не было пощады. Грозные насчет их приказы, злые, насмешливые им выговоры, внушаемые ему умом, склонным к язвительности и едкости, делали службу под его начальством не всегда приятною, часто нестерпимою. Но строгость с нижними чинами за упадок духа в сражении и грабительство мирных жителей доводила его до такого исступления, что нужны были слова его истинных друзей,— и то после первого взрыва и наедине с ним,— чтобы воздержать его от бесчеловечной жестокости с виновными. Зато попечительность его о пище и благосостоянии солдата, как в военное, так и в мирное время, простиралась за пределы обыкновенной попечительности. «Солдат должен быть чист честью,— гова-

ривал он,— а чтобы иметь право воздерживать его от похищения чужого добра, надо, чтобы он ни в чем не нуждался; у голодного брюха нет уха».

Начальствуя всегда авангардами, Кульнев был неусыпен в надзоре за неприятелем и говаривал: «Я не сплю и не отдыхаю для того, чтобы армия спала и отдыхала». И подлинно, он почти не спал и не отдыхал. Он, можно сказать, надевал на себя одежду при начатии войны и снимал ее с себя при заключении мира. Все разоблачение его на ночной сон состояло в снятии с себя сабли, которую клал у изголовья. Только в течение дня, по возвращении дальних разъездов с уведомлением о далеком расстоянии неприятеля и бездействии оного, тогда только он позволял себе умыться и переменить белье, после чего немедленно и в ту же минуту опять надевал на себя одежду и в ней провождал ночь, имея коня оседланным у балагана или куреня своего. При первом известии с передовой цепи о выстреле или о движении неприятеля Кульнев являлся с одним только ординарцем или вестовым к той части цепи, откуда слышен был выстрел или где примечен был неприятель. Там, на самом месте происшествия и своими собственными глазами, он видел, нужно ли подымать весь авангард или часть оного, и стоит ли тревога эта, чтобы будить и тревожить всю армию или корпус, к коему принадлежал авангард, им командуемый. Во время ночи каждый возвратившийся начальник разъезда должен был будить его и доносить, видел или не видел, встретил или не встретил неприятеля, все одно. Число разбудов этих доходило иногда до семи и восьми в продолжение ночи. А так как я жил с ним в одном балагане или у одного куреня, то часто разъездные, не зная, кто из нас в котором углу спит, будили меня вместо Кульнева и тем по целым ночам не давали мне покоя, что было истинно невыносимо.

Я уже говорил о взыскательности Кульнева за грабительство, производимое иногда нижними чинами; взыскательность эта простиралась и насчет недостатка стойкости их в сражениях. Он был жестоко строг к тем солдатам, которые уклонялись от неприятельских выстрелов и оставляли свои места под предлогом снабжения себя патронами в замену исстрелянных ими. Для прекращения такого зла он предварительно наряжал особые и малочисленные команды, которых долг состоял только в том, чтобы переносить из парка патроны, находиться во время дела позади стреляющей цепи и снабжать патронами нуждающихся в них застрельщиков. То же было предписано и артиллерии. Сверх того, бдительно надзирал Кульнев, чтобы

застрельщики и артиллеристы, первые — не оставляли цепи, а вторые — не свозили орудий с мест своих под предлогом недостатка патронов и зарядов. Те, которые выстреляли свои патроны или заряды, должны были оставаться на своих местах не стреляя, до раздачи запасных патронов и зарядов, принесенных им назначенными для сего командами. Это было необходимо в Финляндии, где все сражения были огнестрельные и происходили в лесистых местах, усыпанных огромными скалами. Это было необходимо в войне, в которой полки наши, потерпевшие в Австрии и в Восточной Пруссии, полны были рекрутов, непривычных к бою, которые, пользуясь местностию, закрывавшею их от надзора офицеров и старых солдат, выбрасывали после первых выстрелов патроны из своих сум и уходили в парк под предлогом снабжения себя новыми патронами. Распорядок Кульнева прекратил хитрую выдумку людей, избегавших опасности, и приказом, чтобы они оставались на своих местах с пустыми ружьями, сумами и артиллерийскими ящиками, — следственно, без возможности отвечать неприятельским выстрелам своими собственными выстрелами, — принудил их быть бережливее в растрате патронов и зарядов и стрелять с бо́льшею меткостию.

В отрядах Кульнева я впервые заметил новый тогда способ усиливать цепи застрельщиков. Мне давно уже в глаза бросалось неудобство усиливать их с *тыла*. Таким усиливанием только что умножалась густота в цепях и вместе с густотой поселялся в них беспорядок, который доходил до превращения цепи в безобразную толпу солдат, стреляющих один в другого. Резервы Кульнева располагаемы были более позади флангов цепи застрельщиков, чем позади тыла их, дабы при отступлении этой цепи от неприятеля действовать на его фланги. Посредством распорядка этого никогда цепь наша не густела и потому никогда не превращалась в толпу, вредившую более себе, чем неприятелю. Он же, атакованный не столько во фронт, как во фланг или во фланги свои, не мог долго продолжать преследования и отступал часто в беспорядке. Мало сведущий в построениях и движениях войск на мирных полях экзерсиций, я не знаю, находится ли этот способ действий в правилах егерской службы, но в истинном бою, в лесистой Финляндии он был чрезвычайно полезен, особенно в решительной Оровайской победе, которая приписана была графом Каменским Кульневу, награжденному за нее георгиевским крестом 3-го класса.

Чтобы окончательно изобразить Кульнева, прибегаю к самому ему, выписывая несколько строк из его писем и приказов.

После десятилетней службы в маиорском чине, без надежды на производство в следующий чин и уже на сорок втором году жизни, Кульнев решился оставить службу. Он писал к родному брату своему в начале 1805 года:

«Признаюсь тебе, что сия война остается последним моим поприщем. Я не упущу случая и буду служить в ней, как верный сын отечества. После удалюсь в общую нашу деревушку Болдырево[29]. Мне скучно стало не видать перемены в службе моей».

Но тут как бы взыграло солдатское сердце. Он, опомнясь, продолжает:

«Впрочем, la guerre a ses faveurs, ainsi que ses disgrâces *, надо во всем полагаться на волю божию».

«Для чести и славы России, равно и для подпоры несчастного нашего семейства, я не буду щадить живота моего».

Того же году и к тому же брату:

«Я надеюсь, что ты не покинешь бедную мать нашу, и уверяю тебя с моей стороны, что, где бы я ни был, она будет получать определенную мною ей треть. Ежели же меня убьют, то коней и рухляди моей останется ей на три года, ибо все стоит более тысячи рублей. Вот все мое имение, которое нажил я в продолжение двадцатилетней моей службы. Прощай. Благослови на одоление врагов. Заклинаю тебя не покидать любезную мать, а паче, буде меня не станет».

1807 году, к другому брату:

«Поздравляю тебя с чадом. Больше ни о чем не прошу бога, как только, чтобы он был счастливее меня. Да послужат ему некогда примером и наставлением несчастия мои, которые довольно отличительны. Будучи всеми любим, ведя скромную и честную жизнь, я целый век гоним судьбой. Сравнивая сие с злодеяниями людей, которые в этой жизни наслаждаются всеми благами, необходимо надо предполагать, что есть будущая жизнь, в которой отличится зло от добра. Вот единое утешение для каждого христианина, и оно подкрепляет дух мой, который по сие время, благодаря бога, не унывал, полагаясь во всем на волю провидения, и будучи уверен, что все создано к наилучшему концу».

Приказ офицеру, занимавшему пост близ Вазы, в 1808 году:

«...Ежели бы у вас осталось только два человека, то честь

* Война несет и милости и немилости.

ваша состоит в том, чтоб иметь неприятеля всегда на глазах и обо всем меня уведомлять. Впрочем, старайтесь отстаивать пункт, который вы защищаете, до самого нельзя; к ретираде всегда есть время, к победе — редко».

Другой приказ того же года:

«Разные пустые бабьи слухи отражать духом твердости. Мы присланы сюда не для пашни. У государя есть крестьяне на это. Честь и слава — наша жатва; чем больше неприятеля, тем славнее. Иметь всегда на памяти неоднократно уже повторяемые мною слова: *честная смерть лучше бесчестной жизни»*.

Брату своему, в том же году:

«Будь терпелив и не скучай. За богом молитва, за государем служба не пропадают. Какая служба была несчастнее моей! Теперь все переменилось, и я — довольнейший из смертных своею участию. (Он получил тогда чин полковничий и крест св. Георгия 3-го класса.) Лучше быть меньше награждену по заслугам, чем много без всяких заслуг. С каким придворным вельможею, носящим Владимира 1-го класса, поравняю я мой Владимир 4-го с бантом?»

ПРИКАЗЫ

30 января 1808 года:

«Вчерашний марш был для всех ровен. В эскадронах, мне вверенных, и лейб не позноблено ни одного, а в эскадроне полкового командира — четыре человека. Из сего должно заключить, что сапоги были тесны, не могли вместить теплой обуви, и более способны для летнего парада, чем для зимнего военного похода. Лучше прилежать к настоящей службе, пещись о благе подчиненных, чем удручать тело человеческое пустым и ни к чему не нужным щегольством, а паче в такое время, когда идешь приобретать новую честь и славу».

9 июня того же года:

«Быть готову к движению. Людей никуда не отлучать; придать силы им крутою кашицею. Провиантских много наскакало; требовать от них все, что следует, а не дадут — рапортовать мне. Кормленый солдат лучше десяти тощих; предполагать маршу нельзя; пойдем на тридцать верст, а очутимся за сто».

1 июня 1809 года:

«Иметь неусыпное смотрение за чистотою тела солдатского. Государь щедро все отпускает: можно иногда и мясца из двой-

ного жалованья поесть. Эти деньги пожалованы не для того, чтобы по рукам раздавать, а должны быть в артели,— а артель есть душа и кормилица солдатская».

15 июля 1809 года. Письмо в Белорусский гусарский полк, которого Кульнев назначен был шефом:

«Чистота и опрятность есть источник здравия солдатского. При доброй пище пещися о них по долгу христианскому и обязанности службы; вести в эскадронах ежедневную записку, что́ солдаты ели, какого роду было варево; а когда кашицы поспели, то давать повестку к кашам, и тогда все бросают свою работу. О чем вынужденным нахожусь напомнить, ибо замечено мною неоднократно, что одни едят, а другие работают,— а начальник, глядя на то равнодушно, с сытым желудком, курит трубку, не думая о том, что одни съедят вдвое, а другим ничего не достанется».

Письмо туда же, 1810 года:

«Обучать солдат, как предписано было от главнокомандующего, отнюдь не более трех часов в сутки, но знать, чему обучать, на что должно испытывать самих господ офицеров, достаточно ли они знают свое дело, без чего ученье не есть ученье, а мученье».

Приказ при выступлении на завоевание Аландских островов, 1809 года:

«С нами бог! Я пред вами. Князь Багратион за нами».

Другой:

«На марше быть бодру и веселу; уныние свойственно одним старым бабам. По прибытии на Кумлинген — чарка водки, кашица с мясом, щит и ложе из ельнику. Покойная ночь!»

Третий:

«Серьги солдату носить неприлично. Это предоставлено одним женщинам. Солдат должен щеголять опрятностию и чистотою амуниции. Кто носит серьги, тот о звании солдата не имеет никакого понятия».

1812 года, будучи на Двине, следственно, недалеко от города Люцина, где жил брат его (мать его тогда уже скончалась), он писал к нему:



А. Венецианов. «Крестьянин Иван Долбила...»



И. Теребенев. «Русский Сцевола»

«Я повозку мою по сие время не отыщу; остался в одном мундире; пить и есть нечего. Привези, брат, водочки и кусок хлеба подкрепить желудок, ибо с самого начала этой войны я еще не спал и порядочно не ел».

Тогда же и к нему же:

«Ежели я паду от меча неприятельского, то паду славно. Я почитаю счастием пожертвовать последнею каплею крови моей, защищая отечество».

Как Кульнев чувствовал, как говорил, так он и сделал. Спустя несколько дней после этого письма, 1812 года 20 июля, в сражении под Клястицами, ядро оторвало ему обе ноги; он упал и, сорвав с шеи своей крест св. Георгия, бросил окружавшим его, сказав им: «Возьмите! Пусть неприятель, когда найдет труп мой, примет его за труп простого, рядового солдата и не тщеславится убитием русского генерала».

Кульнев был росту высокого, почти двух аршин и десяти вершков. Был сухощавым, но ширококостным и немного сутуловатым мужчиною. Волосы имел он темно-русые, с сильною проседью. Он был лица продолговатого, нос имел довольно большой, прямой, с малой горбиною, и носил довольно длинные усы, соединявшиеся с огромными бакенбардами. Я недавно где-то читал, что он носил какой-то черный гусарский ментик или доломан, с черными шароварами. Несправедливо. В Финляндии он носил Гродненского гусарского, а в Турции Белорусского гусарского полка ментик или доломан, смотря по времени года, как все гусары; только одежда его была не офицерская, а рядового гусара, то есть сшитая из толстого солдатского сукна, с гарусными снурками и оловянными пуговицами. Рейтузы носил он форменные офицерские и фуражку также форменную. Правда, что он надевал иногда финский колпак или разного рода скуфьи и ермолки; но то делывал он из балагурства, может быть, из страсти носить что-нибудь странное на голове, ибо однажды он одел на голову и носил до износа подаренный ему мною табачный кисет зеленого сафьяна и шитый золотом. Все это делывал он, однако, на биваке, вне службы, но никогда на службе и перед войском.

Представя Кульнева, каким он был, с его качествами и недостатками, я скажу в заключение, что он менее, может быть, замечателен по военному духу и подвигам своим, чем по коренным чувствам русским и по истинно русскому образу мыслей. Смело можно сказать, что Кульнев был последним чистого рус-

ского свойства воином, как Брут — последним римлянином. Другие, не менее его храбрые, не менее его предприимчивые, не менее его алчные к военным приключениям воины оказались рядом с ним, а некоторые еще, от благоприятных обстоятельств, и с бо́льшим блеском; но все они по круговращению чувств и мыслей своих принадлежат столько же нашему, сколько чужому небу. Кульнев был нашею родной, нашей неподвижно-русской звездою, как звезда Полярная. Он был таким, как мы представляли себе россиян того времени, когда все их сделки, все обещания, все клятвы их скреплялись одним словом: *«Да будет мне стыдно»* — и соблюдались не от страха законов, а от страха упреков собственной совести; когда любовь к отечеству и любовь к престолу сливались в одну струю и были одним и тем же чувством; когда жаркая и вместе с тем покорная любовь к родителям и тайные и безмолвные благодеяния врагам почитались делом естественным, обыкновенным. Таков был Кульнев как человек, как гражданин. Память о нем для нас, современников, для нас, друзей и боевых товарищей его, неизгладима и священна, особенно когда вековые отпечатки нашей национальности и самобытности так быстро, так очевидно стираются чужеземными лжемудрствованиями и подражаниями, разнородными с русским духом.

Обращаюсь теперь к военным действиям.

Во время проезда моего из Гельсингфорса в Абов и из Абова, чрез Вазу, в Гамле-Карлеби Свеаборгская крепость покорилась нашему оружию. Шведские войска, защищавшие ее и составлявшие седьмую часть гарнизона, отправлены были пленными в Выборг, но около шести тысяч финских войск распущены были по домам с паспортами. Ошибка, как я уже заметил, причинившая нам много вреда в течение летней кампании и даже при первом отступательном шаге войск наших из северной Финляндии.

Между тем главнокомандующий граф Буксгевден, не принимая в уважение слабость отрядов наших, действовавших на севере, не переставал посылать им повеления за повелениями об усилении преследования и натисков на Клингспора, которого войска, по мере отступления к Улеаборгу, более и более сосредоточивались и вместе с тем усиливались войсками, приходящими из Швеции. Обстоятельство это предзнаменовало неудачи, ибо вся наша 21-я дивизия оставалась без действия в Абове и в окрестностях Абова, 17-я дивизия или войска, облегавшие Свартгольм и Свеаборг, вступили в эти крепости в качестве гарнизонов, а резервы, подошедшие из России,

употреблены были на защиты берегов от десантов, до коих было еще довольно времени. От сего произошло, что между клоком войск, действовавшим на севере, и главными силами, оставшимися в южной Финляндии, было более шестисот верст пространства пустого и без малейшего резерва. Я не критикую, я не рассуждаю, я представляю распоряжение это так, как оно было.

Первого апреля Кульнев занял Калаиоки. 3-го, за два часа до рассвета, выступил он к атаке в Иппери, в самый час выступления противу него авангарда неприятельской армии. Пехота наша, состоявшая из трех баталионов и шести орудий, под командою подполковника Карпенки и маиоров Вреде и Конского, пошла большою дорогою, тогда как два эскадрона гусар и до двухсот казаков, под командою маиора Силина, составлявшие ее левый фланг, шли по льду Ботнического залива, недалеко от берега. Дело завязалось на самом рассвете, и ружейный огонь пехоты загорелся на большой дороге и в лесах, сквозь которые она пролегала. В это время шведские драгуны Ниландского полка, съехав с берега, показались на льду против нашей конницы и двинулись на малую часть казаков, впереди ее рассыпанных. Казацкие фланкеры начали отъезжать и заманивать расстроенную уже от единого движения вперед неприятельскую конницу. Увидя это, Кульнев и я, оставя пехоту, поскакали к нашей коннице, но она, не дождавшись нас, ударила, смяла и опрокинула ниландских драгун. Мы только что успели насладиться действием казацких пик и погонею казаков за неприятелем по гладкой и снежной пустыне Ботнического залива. Картина оригинальная и прелестная! Много драгун было поколото, много взято в плен. Но посреди сумятицы этой нам бросилась в глаза группа всадников, около которых более толпилось казаков и которая еще защищалась. Мы направились во весь скок в эту сторону и услышали слова: «Koulneff, Koulneff! sauvez nous la vie!» («Кульнев, Кульнев! спасите нам жизнь!»). Это был генерал Левенгельм, королевский адъютант, только что за несколько дней пред тем прибывший в армию из Стокгольма для исправления должности начальника главного штаба, и адъютант его капитан Клерфельд — молодой человек, бывший у нас накануне парламентером; при них было несколько драгунов. Кульнев остановил направленные на них пики, соскочил с лошади и кинулся обнимать пленных чиновников. Кровь Левенгельма заструилась по усам и бакенбардам Кульнева, ибо Левенгельм был ранен пикою в горло, к счастию его, не так опасно, как вначале мы вообразили.

Преследование продолжалось до села Пигаиоков.

Левенгельмова рана была немедленно перевязана цирульником отряда нашего; после чего как он, так и адъютант его, ободренные приветствием и ласками Кульнева, отправлены были при конвое к генералу Раевскому, выступившему уже из Вазы к нам на подпору.

Во время перехода к Пигаиокам я, для смеху, сочинил мысленно стихи и проговорил их Кульневу. Вот все, что из них помню:

Поведай подвиги усатого героя,
О муза! — расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.

Румяный Левенгельм на бой приготовлялся
И, завязав жабо, прическу поправлял,
Ниландский полк его на клячах выезжал,
За ним и корпус весь Клингспора пресмыкался.
О храбрые враги! Куда стремитесь вы?
Отвага, говорят, ничто без головы.

Наш Кульнев до зари, как сокол, встрепенулся,
Он воинов своих ко славе торопил:
«Вставайте,— говорил,— вставайте, я проснулся!
С охотниками в бой! Бог храбрости и сил!
По чарке, да на конь, без холи и затеев;
Чем ближе, тем видней [30], тем легче бить злодеев!»
Все в миг воспрянуло, все двинулось вперед...
О муза, расскажи торжественный поход!

На другой день мы пошли далее. Почти без сопротивления заняли Брагештат, но в Олькиоках встретили неожиданный нами отпор, впрочем недолго продолжавшийся.

Напрасно было бы напоминать Кульневу об осторожности и неослабности в надзоре его за бдительностью передовой стражи относительно нечаянного нападения на отряд наш. Этого было не нужно. Деятельность, неусыпность и строгость Кульнева в сем отношении были неограниченны. Но необходимо было разочаровать его от уверенности, что отступление Клингспора продолжится до бесконечности, и удостоверить его, что отступление это происходит от стратегических видов, то есть от соединения всех шведских и финских войск у Улеаборга, а не от страха, поселенного в него залётною и опрометчивою погонею нашею. Я взял на себя обязанность вывесть

Кульнева из заблуждения, спорил с ним до изнеможения, почти до ссоры, и все тщетно. Он забыл, что по мере отлива финских войск к Улеаборгу,— к этому узлу или застежке всех дорог Финляндии,— все финские войска, идущие по ним, сами собою и единым направлением своим сосредоточиваются у этого города. Он забыл, что вместе с тем клоки войск его и Раевского, оторванные от наших главных сил, оставшихся на северном берегу Финского залива, подвигаются к тому же Улеаборгу без опоры и надежды на усиление себя свежими войсками. Не принимая ничего этого в уважение, он, в чаду успехов своих, шел вперед без оглядки.

Шестого апреля отряд наш наткнулся снова на неприятеля. Это было у Сигаиокской кирхи. Он занимал позицию, которой, казалось, не хотел уступить даром. Мы атаковали живо. Начальные натиски наши были успешны, и финский арьергард снимался уже с позиции, чтобы следовать за отступавшими главными силами. Вдруг Клингспор переменяет мысль, останавливает отступление и возвращает почти половину армии своей на подпору арьергарда. Огонь возобновляется с сильнейшею яростию. Финские войска, под огнем десяти своих орудий, строятся в колонны, наклоняют штыки и бросаются нам навстречу. Кульнев и дух войск наших, возвышенный успехами, продолжавшимися до этого дня непрерывно, приветствуют неприятеля по долгу и чести. Огневое дело обращается в штыковую резню. Финны и шведы в этом роде битв достойные состязатели русских. Схватка была молодецкая, но превосходство численной силы неприятеля над нашею восторжествовало, и должно было восторжествовать. Мы уступили место сражения. Урон с обеих сторон простирался до тысячи человек. Со стороны нашей был убит 24-го егерского полка маиор Конский; со стороны неприятеля — полковник Флеминг. Кульнева бог спас: ядро пролетело так близко к нему, что импетом своим обожгло ему ногу.

На другой день Клингспор оставил приобретенное им место сражения и сосредоточился между Лиминго и Люмиоки. Мы немедленно вступили в Сигаиоки. Между тем генерал Раевский не переставал идти вслед за нами и остановился в Пигаиоках, где соединился с 5-ю пехотною дивизиею, пришедшею из Куопио и заключавшею в себе не более трех тысяч человек. Одна из бригад этой дивизии, под командою генерала Булатова, состоявшая из двух тысяч человек, оставлена была на пути, лежащем из Куопио в Улеаборг, для преследования отступавшей к этому городу неприятельской бригады Кронштета.

Генерал-лейтенант Тучков 1-й командовал 5-ю дивизиею и, по старшинству над Раевским, принял начальство над всеми войсками, действовавшими в северной Финляндии, коих числительная сила не превышала семи тысяч человек.

Кульнев, наказанный поражением под Сигаиоками за опрометчивость свою, обратился к благоразумию. Мы остались в Сигаиоках, соблюдая всевозможную воинскую осторожность, но ничего уже не предпринимая вооруженною рукою и поджидая Булатова, коему предписано было от Тучкова сойти с большой Куопиоской дороги у Францила, чтобы идти к Револаксу — деревне, отстоящей от Сигаиоков не далее восьми или десяти верст.

Но так как Кульнев не мог долго оставаться в бездействии, то 12 апреля он послал меня с одним эскадроном гусар и одной сотней казаков на остров Карлое. Этот остров лежит в десяти или пятнадцати верстах от берега, почти против самого Улеаборга. Мне предписано было выгнать оттуда неприятеля, но ничего не предпринимать более, чтобы не навлечь на себя войск из неприятельского авангарда, на фланге и почти в тылу которого находился этот остров. Я пришел в Карлое на рассвете и застал там несколько фуражиров с слабым прикрытием. Бой наш продолжался недолго. Несколько неприятельских всадников было побито; несколько было взято в плен; остальные спаслись бегством едва при первом обзоре приближавшейся к острову моей команды. В течение дня я благополучно прибыл к отряду, из коего был послан.

Того же числа, то есть 12 апреля, Булатов вступил в Револакс, и около того же времени войска Тучкова и Раевского подвинулись к Брегештадту.

Неприятельская армия оставалась в Лиминго и Люмиоках. Сосредоточенные силы ее достигли уже тогда до четырнадцати тысяч человек. Надлежало ожидать скорой развязки, для нас невыгодной, по удалению нашему от главной армии и по несоразмерности сил наших с противными силами, вдвое нас превышавшими.

Пятнадцатого апреля воспоследовала эта развязка.

1812 год

Il y a bien des qualités essentielles pour executer dans les circonstances ordinaires des dispositions qu'un autre a arretées, à la porteé d'esprit nécéssaire pour, dans un cas imprêvu, prendre conseil que de soi-même et discerner d'inspiration de qui est juste et bon, au milieu de l'extraordinaire et de l'irregulier.

Foi. Guerre de la péninsule, t. IV *.

...cette guerre de partisans, si difficile, si perilleuse, si active, pour laquelle il faut être continuellement à cheval et en meditation et qui demande au plus haut dégré dans le même homme, l'action et la pensée...

Nêcrologie du général Hugo **.

I

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ [31]

Недавно случилось мне читать записки Наполеона. Владетель сей любопытной книги ссудил меня оною на короткое время: он спешил в путь далекий, невозвратный.

Я сдержал слово и, несмотря на пролетное чтение, успел вполне насладиться и смелыми очерками, и неожиданными мыслями и выражениями, и вообще какою-то воинственною оригинальностию пера сего чудесного человека. Смело можно

* Есть немало важных качеств и для того, чтобы в обычных обстоятельствах исполнить чужие распоряжения, и для того, чтобы в непредвиденном случае, в обстоятельствах необычных и не предусмотренных правилами, самому решить, что правильно и хорошо. *(Фуа. Война на полуострове, т. IV.)*

** ...партизанская война, исполненная таких трудностей, таких опасностей, столь деятельная,— война, во время которой всегда нужно быть на коне и в размышлении,— в высочайшей степени требует от одного и того же человека действия и мысли. *(Некрология генерала Гюго.)*

сказать, что Наполеон явился на сем новом для него поприще, каковым бывал он на поле брани: везде исполин мысли, везде с своим собственным, цельным характером, но — увы! — и в том и в другом случае, играя легковерием людей, он представляет им обстоятельства и события так, как хочет, чтобы они их видели, а не таковыми, каковы они в существе своем. Может быть, что в первом положении он считал на средство сие, как на самое действительное, чтобы увлекать умы за колесницею победителя. Но поэт в душе, порабощенный сим увлекательным воображением своим, он мало-помалу уверил себя в истине всех ложных сказаний, им же самим вымышленных и для заблуждения других обнародованных. Так Руссо любил идеальную Юлию, как существо живое, его любившее; так пламенный Тасс уверился наконец, что битвы под стенами Иерусалима происходили не иначе, как они изображались в бессмертном его творении.

Я могу ошибаться, но правдоподобность на стороне моего мнения: смотрите, как решительно, с каким нетерпением, можно сказать, с какою досадою Наполеон опровергает в записках своих неоспоримые доказательства и деяния, всему свету известные!.. Притворство не имеет подобных порывов. Впрочем, какая бы ни была причина неосновательным описаниям, разбросанным по сей сокровищнице военных и политических наблюдений,— причина не оправдывает следствия, и мы не без удивления видим, как новый историк, опровергая и уничтожая описания подвигов тех войск и военачальников, которые против него сражались, касается наконец и до службы русских партизанов.

«Ни один больной,— говорит он,— ни один отстранившийся, ни одна эстафета, ни один подвоз не были взяты в течение сей кампании от Майнца до Москвы. Не проходило дня без получения известия из Франции; не проходило дня без того, чтобы Париж не получал писем из армии» [32].

Потом четырнадцать страниц далее он говорит: «Во время движения на Москву он никогда не имел в тылу своем неприятеля.

Во время двадцатидневного пребывания его в сей столице ни одна эстафета, ни один подвоз с зарядами не были перехвачены, ни один почтовый укрепленный дом (таковый находился на каждом посту) не был атакован; артиллерийские подвозы и военные экипажи дошли беспрепятственно» [33].

И, наконец, семь страниц далее, опять обращается к тому же предмету и повторяет: «Во время Аустерлицкой, Иенской,

Фридландской и Московской кампаний ни одна эстафета не была перехвачена, ни один обоз с больными не был взят; не проходило ни одного дня, чтобы главная квартира не получала известия из Парижа»[34].

Слова, падшие с такой высоты, не суть уже шипение раздраженной посредственности, столь давно преследующей партизанов наших. Это удары Юпитера; звук их может увековечиться в общем мнении, как увековечились в нем все те ложные предания, кои равнодушие людей поленилось исследовать, повторяя беспечно то, что уже было другими сказано.

Я один из обвиняемых. Честь вооружает меня против нареканий ужасных, сокрушительных, может быть, неотразимых. Но что делать? Новый Леонид, иду на громады Ксеркса! Мнение мое о партизанской моей службе не равняется с тем вниманием, коим почтили ее мои соотчичи; однако оно не упадает и до презрения. Я скажу более: я считаю себя рожденным единственно для рокового 1812 года, но рожденным подобно тому рядовому солдату, который в дыму и в сумятице Бородинской битвы, стреляя наудачу, убил десяток французов. Как ни мало употребил он на то и знания и дарования, при всем том судьба определила его *уменьшить* неприятельскую армию десятью человеками и содействовать общему ее истреблению своим товарищам.

Так я думаю о себе, уменьшив неприятельскую армию по мере способов, предоставленных мне начальством, и способностей, данных мне природою.

В воле Наполеона налагать, в числе прочих, и на меня проклятие за пролитую кровь его воинов; но не отнимай он у меня дел моих, не стирай с сабли моей кровавых обрызгов, сих отпечатков чести, купленных мною трудами и ежеминутною жертвою жизни... Это моя собственность; это мой участок в славе земляков моих, тем для меня драгоценнейший, что он один возвышается на моей жизни, бесплодной в своей юности и в преклонности своей ничего для честолюбия не обещающей! Но какой избрать способ к защите сей собственности? Предать известности эфирные строки моих собственных записок в надежде, что они затмят во мнении людей неизгладимое начертание чрезвычайного человека, было бы верх дерзости, смешной и бесполезной; да и кто возьмет на себя труд читать описание, поступившее в область вымыслов с тех пор, как клеймо отвержения горит на каждом листе его?

Опровергнуть падшие на партизанов наших нарекания доказательствами, которые были бы основательнее нареканий?

Постараемся отыскать их в бюллетенях французской армии, как известно, самим Наполеоном сочиненных; в «Монитере», в сем единственном официальном журнале французского правительства; в письмах маршала Бертье к начальникам корпусов большой армии; в отбитых у неприятеля бумагах, хранящихся в главном штабе государя императора, и в тех описаниях русской кампании, коих сочинителей нельзя упрекнуть в пристрастии к нашему войску.

Отыскав документы сии, представим тогда и собственные записки.

Наполеон говорит: «Во время Аустерлицкой, Иенской и Фридландской [35] кампаний ни одна эстафета не была перехвачена, ни один обоз с больными не был взят; не проходило дня, чтоб армия не получала известия из Парижа».

Правда, что в кампаниях Аустерлицкой и Иенской мы не слыхали ни об одном партизанском покушении. Я полагаю, причиною сему бездействию — оцепенение австрийских и прусских военачальников от понесенных ими решительных поражений при самом открытии обеих кампаний. Оцепенение сие столь сильно охватило самые твердые души, что сам Блюхер, подобно прочим прусским генералам, не постыдился положить оружие в Радкове, имев под командою своею сверх тридцати трех баталионов, пятьдесят четыре эскадрона, с коими он мог, видя беду неминуемую, броситься к Гамбургу или Лауэнбургу и, перейдя Эльбу, долго наносить неприятельской армии чувствительные удары партизанской войной. Я уверен, что будь отсрочка Иенскому сражению на столько времени, сколько нужно было, чтобы прусское войско несколько приобыкло к разнообразию военных случайностей, то не только Блюхер, но и генералы, менее его одаренные мужеством и духом предприятия, и они обратились бы к сему последнему средству погибающей храбрости и извлекли бы из оного неожиданную пользу для отечества. Как бы то ни было, но слова Наполеона насчет кампаний Аустерлицкой и Иенской, относительно к партизанскому действию, справедливы и не подлежат ни малейшему возражению.

Нельзя того же сказать о так называемой им Фридландской кампании (что мы называем кампаниею 1807 года в Восточной Пруссии).

С самого начала сей кампании русская армия встретила неприятеля с твердостью. Под Пултуском она отразила часть Наполеоновой армии и отступила потому только, что битва с нашей стороны произведена была не на той точке, где следо-

вало произвести оную. Главные силы французской армии обращены были тогда не на Пултуск, а стремились из Плоцка и Торна и угрожали громадами своими правый фланг нашей армии, находившийся у Голомина и Макова. Следственно, как при успехе, так и при неудаче нам нельзя было оставаться у Пултуска, еще менее — преследовать к Варшаве французские войска, отраженные при Пултуске. Малейшее замедление, малейший шаг вперед вдоль границы Восточной Галиции, тогда принадлежавшей Австрии, вовлекли бы нас к потере сообщения с Россиею или к необходимости нарушить границу нейтрального государства. Рассуждение сие решило Беннингсена к немедленному отступлению и к переносу театра войны в Старую Пруссию — к направлению ошибочному и кое-как исправленному перехватом курьера Наполеонова к Бернадоту, коего армия наша преследовала уже к Торну; сосредоточением при Янкове и сражением при Прейсиш-Эйлау — битвой упрямой, но нерешительной, после коей каждая сторона хвалилась победой: мы — потому, что удержали поле сражения, французы — потому, что после боя российская армия отошла к Кенигсбергу.

Итак, победа французов при Фридланде есть единственная победа неприятеля в сем походе; но прежде сего несчастного для нас события мы имели время частными сшибками приучить легкие войска наши к военным случайностям. Около полугода сряду продолжалась школа сия. Нечаянные успехи поощрили к обдуманным. Наконец размышление, соединенное с отвагою, наблюдения, опытность и навык довели нас до некоторых предприятий в истинном смысле партизанской войны. Но предприятия сии, быв плодом частных вдохновений и порывов, а не соображения главного начальства, совершались еще, так сказать, на выдержку и без связи между собою. Далеко им было до того, чтобы составить *целое* и идти дружным натиском к общей решительной цели, ибо и самая цель сия не была еще известна ни начальникам, ни наездникам нашим.

Спустя долгое время, после разрушительных неудач в недрах России, когда гибель отечества напрягла умственные и существенные силы наши к его спасению,— тогда только удостоверились мы в бóльшей или меньшей пользе, могущей произойти от согласного действия легких войск, в партии устроенных, на сообщения наступательной неприятельской армии, по мере бóльшего или меньшего протяжения сообщения ее со средоточием ее средств и запасов.

Итак, соглашаясь в том, что партизанские наезды, произведенные в кампании 1807 года, были чужды влияния вышнего начальства, и следственно и взаимного между собою согласия в достижении цели, тогда неизвестной, я не могу согласиться в том, чтобы наездов сих вовсе не было! Бюллетени и «Монитер» — архивы истины относительно признания в неудачах французской армии — возопиют на несправедливость мою! Да и самые записки Наполеона, оценяя для точнейшего определения важность одной из перехваченных депешей в сей кампании, представят нам собственные слова его, весьма справедливо изображающие бедственное положение, коему подверглась бы армия наша, если б депеша сия дошла до своего назначения. Между тем они принесут нам и другую услугу: в них мы увидим явное противоречие удостоверению, в той же книге изложенному, и которое я оспариваю.

Начнем с записок, а потом приведем в свидетели «Монитер» и бюллетени.

«После сражения при Пултуске, в декабре 1806, командовавший российскою армиею генерал Беннингсен выступил к нижней Висле с тем, чтобы напасть на маршала принца Понте-Корво (Бернадота), занимавшего Эльбинг. Наполеон оставил Варшаву 15/27 января 1807, сосредоточил армию в Вилленберге и двинулся на левый фланг русских в намерении опрокинуть их на Фриш-Гаф. Снег и лед покрывали землю. Беннингсенова армия находилась в крайней опасности; уже французская армия достигла до тыла оной, как вдруг казаки схватили офицера главного штаба принца Невшательского (Бертье). Взятые на нем депеши известили о движении. Беннингсен, испуганный, поспешно стянулся к Алленштейну» [36] и прочее.

Вот что объявлено о том же в «Монитере»:

«Французская армия еще не трогалась с места. Все другие корпуса оставались в своих квартирах в совершенном обезопасении.

Она медлила для того, чтобы действие неприятеля более обрисовалось, и боялась малейшим движением обратить внимание его на бедствия, коим он подвергался.

Между тем движение русских прояснялось каждый день более и более. Они прошли Остероде и вступили в Лебаву. Тогда по сигналу, поданному во французской главной квартире, войска поднялись и совокупно устремились на левый фланг неприятеля в намерении зайти ему в тыл. Но на войне встречаются обстоятельства, не подвластные расчетам. Офицер, принадлежавший главному штабу, послан был к принцу Понте-

Корво с описанием движения войск французской армии. Начальник главного штаба извещал принца о намерении императора и предписывал ему отступить до самого Торна, дабы заманить далее неприятеля. Офицер сей был схвачен казаками и не успел разорвать депеши своей. Итак, российский генерал узнал заблаговременно об опасности, которая постигла бы его сорока восемью часами позже. Сие способствовало ему прибыть 3 февраля (22 января) со всею армиею в Алленштейн и встретить в боевом порядке шедшую по сему пути французскую армию. Таковое обстоятельство показалось неизъяснимым. Тайна открылась на другой только день, когда узнали, что посланный офицер был взят неприятелем и не успел сжечь депеши» [37].

«Монитер» заключает статью сию повторением: «Он (неприятель) был бы истреблен, если бы офицер, посланный с депешами к принцу Понте-Корво, сжег оные, ибо все было так разочтено, что неприятель не прежде сорока восьми часов мог известиться о том, о чем узнал по сим депешам. Российская армия избегла гибели посредством одного из происшествий, которые представлены случаю, дабы напоминать людям, что он вмешивается во все соображения, во все события и что если решительные удары, истребляющие армию и преобразующие ход кампании, суть плоды опытности и гения, то не менее того они нуждаются и в его содействии» [38]. Таковой курьер стоит ста эстафетов, часто привозящих известия о сплетнях парижских актеров или о пустословии Бруто — болтунов Пале-Рояля.

В течение сей кампании были взяты и другие курьеры, между коими находился и известный императорский ординарец Монтескью; но так как о них не было упомянуто в официальных бумагах, то и я о них умалчиваю.

Относительно же больных известно, что при нападении на корпус маршала Нея, 24 мая (5 июня) при Гутштадте и 25/6 при Анкендорфе, не только больные сего корпуса, но и обозы, парк, канцелярия и собственные экипажи маршала достались в добычу казакам Платова, переплывшим чрез Алле, а потом и чрез Пассаргу. В доказательство тому, что они действовали в тылу неприятеля, служит 78-й бюллетень французской армии, в коем сказано о деле при Анкендорфе: «Наш урон состоял в ста шестидесяти человеках убитых, двухстах раненых и двухстах пятидесяти взятых в плен. Бо́льшая часть последних были схвачены казаками, которые поутру, прежде атаки, пришли в тыл армии». 78-й бюллетень, 31 мая (12 июня) 1807 года, Гейльсберг [39].

Из сего видно, что отряд Платова, составленный из десяти казачьих полков, Павлоградского гусарского, 1-го егерского и двенадцати орудий конной артиллерии, прежде атаки еще пришел в тыл четырнадцатитысячному корпусу, внезапно атакованному с трех сторон восьмидесятитысячною армиею. Спрашиваю всякого истинно военного человека: мог ли Платов не похитить все то, что находилось на самом удобнейшем месте для похищения? И впрямь, если уже там взяты все при корпусе находившиеся важнейшие бумаги, кои доныне хранились у генерала Беннингсена, если, по сказанию самого бюллетеня, там же взяты и двести пятьдесят здоровых солдат, то каким же способом могли избежать той же участи транспорты больных? Их перемещать было не легче самих артиллерийских парков и провиантских фур, которые, не имев времени от внезапной атаки убраться заблаговременно в отдаленное и безопасное место, попались также в руки летучему корпусу атамана.

Впрочем, зачем привязываться к словам? Намерение Наполеона очевидно: говоря о беспрепятственном ходе эстафетов и о неприкосновенности до больных его, он не столько имел в виду и эстафеты и больных, как доказательство, что в течение сей кампании все затыльные части его армии были недоступны и что на них войска наши ничего не отбили. Вот сущность обвинения. Итак, прибавим к сему следующее.

В одном из бюллетеней сказано: «Генерал Виктóр (он командовал тогда вторым корпусом большой армии) проездом в Штеттин был с адъютантом своим схвачен партиею, производившей в той стране поиски и состоявшею в двадцати пяти гусарах». 53-й бюллетень, 10 (22) января 1807, Варшава.

В другом: «В стороне Вилленберга три тысячи русских пленных были освобождены партиею, состоявшею в тысяче казаков». 60-й бюллетень, 5/17 февраля 1807, Эйлау. Тут нужно замечание: пленные сии были освобождены не казаками, а Киевским драгунским полком, командуемым тогда генерал-маиором Львовым. Генерал сей послан был для сего предмета из отряда Седморацкого, занимавшего Иоганисбург. Он пришел в тыл французской армии во время движения оной к Прейсиш-Эйлау и, отбив в окрестностях Вилленберга не три тысячи русских, а до пяти тысяч русских и прусских пленных, веденных из армии в Варшаву, невредимо возвратился с ними в Иоганисбург.

Если этого не довольно, то вот еще случай, служащий мне сильнейшею подпорою:

13/25 января Бернадот разбил авангард наш под Морунгеном и до глубокой ночи преследовал оный к Либштадту, не заботясь о первом местечке, оставшемся в тылу победительного корпуса и прикрытом самым наступательным движением оного. К несчастию французского маршала, того же числа к вечеру прибыли в село Лоокен полки: Сумский гусарский и Курляндский драгунский, командованные тогда — первый графом Петром Петровичем Паленом, а последний флигель-адъютантом князем Михаилом Долгоруким. Приметя, что пушечный гул более и более подвигается к Либштадту, Пален счел за стыд оставаться в бездействии тогда, как другие дерутся, и рассудил самовольно пуститься в тыл французского корпуса. Между тем, дабы не оставить занятый им пункт, который мог входить в состав дальнейших предначертаний главного начальства, он к отважности соединил и благоразумие, взяв из всего отряда только три эскадрона драгун и два эскадрона гусар, с коими помчался на Экерсдорф и Гимельфорт и прибыл в глубокую ночь к Морунгену, упраздненному от войск, но заставленному тяжестями французского корпуса. Пален и Долгорукий немедля ворвались в улицы и разбудили острием и выстрелами стражу корпусной квартиры, покоившуюся под покровом победы. Все, что ни находилось в Морунгене, все попалось в руки эскадронам нашим, так что 15/27 числа, когда Бернадот, вследствие наступательного на него движения всей нашей армии, возвратился с корпусом своим в Морунген, то не нашел в нем ничего, кроме одних мертвых тел, изрубленных повозок и носимых ветром бумаг его канцелярии. От карет и верховых лошадей до последней рубашки Бернадота — все досталось в добычу предприимчивым исполнителям сего подвига [40].

Сим мог бы я заключить возражения насчет кампании 1807 года; но справедливость требует, чтобы я не умолчал и о собственном нашем неумении извлечь всю пользу, которую представляли нам огромные полчища, прибывшие в армию с берегов Дона, Кубани и Урала. И подлинно, за исключением ударов, мною упомянутых, из коих только два принадлежат казакам, вся служба их ограничивалась содержанием передовой стражи и действием на одной черте с линейными войсками — действием, совершенно разнородным с их склонностями, оковывающим и подвижность, и сноровку, и хитрость — сии главные качества всякого воинственного народа, коего методические уставы не заключили еще в графы европейского однообразия.

Отряд атамана Платова состоял, как я уже выше сказал, в

полках: десяти казачьих, одном гусарском, одном егерском и в двенадцати орудиях конной артиллерии. Какое было назначение оному отряду?

До марта месяца он находился в авангарде главной армии. От 1 (13) марта до 24 мая (5 июня) он составлял при Пассенгейме связь главной армии с корпусом, действовавшим на Нареве, а потом, до Тильзита, он не выходил из состава боевой линии той же главной армии. Какая произошла из этого польза? Никакая или весьма скудная! Казацкое войско било, было бито, нападало, отступало и, наконец, отступило до Тильзита вместе с прочими войсками армии... Но боже мой! Какое представлялось ему поле для развития его природной удали!

Если бы во время движения французской армии от Вилленберга чрез Алленштейн и Ландсберг к Прейсиш-Эйлау бóльшая часть казачьих полков была оставлена на правом берегу Алле, между Зебургом и Гейльсбергом, для действия партиями на тыл неприятеля, как сие сделал генерал Львов с одним драгунским полком...

Если бы впоследствии, вместо того чтобы в окрестностях Пассенгейма заниматься около трех месяцев пустыми перестрелками с новонабранными польскими войсками, параллельно против них стоявшими около Инденбурга, казаки наши, разделясь на партии, предприняли бы поиски, с одной стороны, между Гогенштейном и Гилленбургом на сообщение главной французской армии с Торном, а с другой, чрез Хорцелен и Присниц на сообщение корпуса Массены с Варшавою...

Если бы во время наступательного движения французской армии на Гейльсберг казачьи полки двинуты были от Гейльсберга чрез Гутштадт вдоль левого берега Пассарги на Морунген, Прейсиш-Голланд и Мюльгаузен, и, наконец, если бы во время отступления нашей армии от Фридланда к Тильзиту означенные полки, отойдя к Гердауэну, вдруг ринулись бы оттуда чрез Фридланд к Кенигсбергу...

Тогда только они принесли бы истинную пользу общему делу. Действуя в совершенном смысле партизанской войны, в земле, с нами союзной и против конницы усталой и неспособной, при самой свежести своей, к отражению партизанских натисков — неожиданных, пролетных,— они неминуемо посеяли бы разрушение и ужас в тылу французской армии. Без сомнения, не им удержать можно было великого полководца на победоносном ходу его; но, по крайней мере, отвлеча за собою бóльшую часть его конницы, они чрез то лишили бы его того орудия, посредством коего предприятия его доходили до



М. Б. Барклай-де-Толли. Гравюра К. Зенфа (1816 г.)

меты быстрее, решительнее, узел битвы рассекаем был внезапнее, преследования производились неотступнее.

По сию черту возражения мои относились к кампании, до которой Наполеон коснулся только мимоходом; теперь приступаю к той войне, в коей набеги и поиски вступили в состав общего предначертания главного начальства и, нанеся чувствительнейшие удары неприятелю, обратили на себя особенное внимание Наполеона.

Станем отвечать по статьям.

«Во время движения на Москву, он (Наполеон) никогда не имел в тылу своем неприятеля».

Тут представляется некоторое затруднение. Как разуметь слова: «Dans sa marche sur Moscou?» — «Во время Московского похода», то есть: *«во время Московской кампании»* или *«во время движения на Москву»?* По последнему смыслу Наполеон прав, ибо до вступления его в столицу легкая конница наша содержала только передовую стражу, и партизанской войны еще не было. Первый наезд оказался при Цареве-Займище 2/14 сентября, в самый день занятия Москвы, а второй — 9/21 сентября, при селе Перхушкове. Я бы держался последнего смысла и, следственно, не приступил бы к возражению, если бы сам историк, продолжая говорить о том же предмете, не уничтожил сего смысла следующими словами: *«Ни один подвоз не был взят в течение сей кампании. Во время Московской кампании ни одна эстафета не была перехвачена»*, и прочее,— доказательство, что он имел в виду *всю кампанию,* то есть действие от Немана до Москвы, пребывание в Москве и отступление из Москвы до Немана.

Для решения сей задачи надлежит объяснить и следующую. *Он не имел в тылу своем неприятеля.* Как разуметь слова сии — в тактическом или стратегическом смысле? Если в тактическом, то Наполеон опять прав, ибо армия его, расположенная по московским предместьям лицом в поле, имела в тылу своем только Белый город, Китай-город и Кремль [41], занятые главною и корпусными квартирами, ей принадлежащими. Но сего нельзя предположить; Наполеон был не комендантом или не начальником полиции, чтобы ограничить круг действия команды своей пределами шлагбаумов. Начальствуя несметными силами, одаренный изящнейшими таинствами военного искусства, одаренный всеобъемляющим, дальновиднейшим взором и необыкновенным чувством соотношений, он, конечно, видел далее Камер-коллежского вала [42], и потому нельзя думать, чтобы он хотел уверить нас в том, что тыл всякой армии гра-

ничит только с лазаретными фурами, хлебопеками и дежурствами. Из сего видно, что он говорит не о тактическом, а о стратегическом тыле своем, то есть не о Белом городе и Кремле, а о пространстве, по которому армия его пришла и чрез которое получала она съестные и боевые подвозы, долженствовала иметь сношение с фланговыми своими корпусами, с союзными государствами и с Франциею и по которому надлежало ей отступать в случае неудачи.

Разумея так, сказание Наполеоново — ошибочно: не прошло пяти дней по занятии Москвы французской армией, как уже сообщение ее подверглось опасности искусным движением Кутузова с Рязанской дороги на Калужскую,— движением, возбудившим во всей армии нашей восторг и удивление, но о превосходстве коего и по сие время умалчивают иностранные писатели или от низкого чувства зависти, или просто от невежества. Итак, одна тарутинская позиция, столько же наступательная в отношении стратегическом, сколько оборонительная по местности и укреплениям своим,— одна уже позиция сия сама собою опровергает упрек Наполеонов. А когда прибавим к тому отряд Дорохова и партию Сеславина, производившие поиски между Смоленской и Боровской дорогами в направлении к Вязьме, отдельные команды: князя Вадбольского — между Вереей и Можайска, Бенкендорфа — между Можайска и Волоколамска, Чернозубова — между Можайска и Сычевки, Фиглева [43] — в окрестностях Звенигорода, и мою партию — между Гжатью и Дорогобужем,— тогда смело можно сказать, что слова Наполеона брошены весьма опрометчиво для писателя, стяжавшего в потомстве звание историка.

«Во время двадцатидневного пребывания в Москве...»

Наполеоново пребывание в Москве продолжалось не двадцать, а тридцать четыре дня. Он вступил в Москву 2/14 сентября, а выступил из нее 7/19 октября. Замечание сие весьма важно, ибо сии четырнадцать дней суть главнейшие союзники превосходства тарутинского пункта, имевшего столь непосредственное влияние на судьбу неприятельской армии. И подлинно, выступи армия сия четырнадцать дней прежде, то ни один замысел фельдмаршала не достиг бы до полной зрелости! Армия наша не успела бы усилиться частию войск, формированных князем Лобановым, в самом лагере учения рекрут и поступивших в линейные полки ратников не пришли бы к окончанию, с Дону не успели бы прибыть двадцать четыре полка казаков,— что с находившимися при армии полками составило более двадцати тысяч истинно легкой конницы, причинившей

столь много вреда неприятелю во время его отступления,— дух армии не возвысился бы от победы, одержанной над неприятельским авангардом 6/18 октября, и, наконец, ход продовольствия не успел бы еще вступить в колею навыка так, чтобы при преследовании неприятеля подвозы могли кругообращаться постоянно из армии в хлебороднейшие губернии, а из них в армию везде, где она ни находилась. Все сие случилось между 23 сентября (5 октября) и 7 (19) октября.

В противоположность сему последние четырнадцать дней довершили расстройство неприятельской армии. Недостаток в продовольствии оказался уже по истечении двадцатидневного срока, ибо все то, что еще оставалось под рукою, все окончательно израсходовалось, а по израсходовании всего бродяги умножились и разврат обуял все части армии. Если бы армия сия выступила четырнадцать дней прежде, то она не только избегла бы голода, но и прошла бы все расстояние от Москвы до Смоленска путем сухим и погодою ясною по той причине, что осень была необыкновенно теплая, а стужи и вьюги поднялись только 26 октября (7 ноября) около Дорогобужа, то есть в то время, в которое неприятель мог уже быть за Смоленском. Я не упрекаю, я не критикую, а рассказываю, оставляя самому читателю делать заключение о важности тех четырнадцати дней, о коих Наполеон умалчивает.

«Ни один почтовой укрепленный дом (таковой находился на каждом посту) не был атакован».

Партизаны не должны были этого предпринимать, ибо таковые предприятия не в духе партизанского действия. Что может понудить партизана к приступу? Два предмета: или овладение каким-либо подвозом, курьером и чиновником, остановившимися в укрепленном почтовом доме для кратковременного отдыха, или утверждение себя на пути сообщения неприятеля.

Но до первого всякий партизан может достичь без тех усилий, которых требует приступ: ему стоит только расположиться в каком-либо скрытном месте, смежном с большою дорогою, между двумя почтовыми станциями (étapes), и добыча, на которую он метит, вскоре явится пред ним на чистом поле. А до последнего он никогда достичь не может, ибо при первом появлении пред ним самой малочисленной пехотной команды казаки его должны непременно оставить место, стоившее им столь дорого, или, защищая, погибнуть в нем для предмета, совершенно противного их назначению.

Но полагая, что партия и удержит за собою означенный укрепленный пост и тут успех произведет более вреда, нежели пользы, он прикует партию к одному месту и чрез то принудит подвозы миновать сие место окружными дорогами, тогда как посредством беспрестанной подвижности и появления на нескольких пунктах в одни сутки той же партии мало что от нее ускользнуть может.

Если же для того штурмовать укрепления, чтобы по взятии немедленно оставлять их, то это дело безумия, а не отважности, и таковой партизан немного напартизанит, как ни была бы огромна его партия.

Но когда нужда востребовала, то не только укрепленный дом, но и валом и палисадами обнесенный городок Верея сорван был отрядом генерала Дорохова; и да не подумали, что городок сей защищаем был малым числом войск: в нем взято одними пленными триста семьдесят семь рядовых, пятнадцать штаб- и обер-офицеров и одно знамя [44].

«Ни один больной, ни один отстранившийся не были взяты».

Справедливее было бы сказать: ни один гошпиталь не был взят, пока армия шла к Москве и пока находилась в сей столице; и вот почему: когда армия следовала к Москве, то, как уже я упомянул, партизанов еще не было, а неприятельские больные оставляемы были на пути по городам и по обнесенным оградами монастырям, где вместе с ними оставлялись и войска как для охранения их, так и для прикрытия съестных и боевых подвозов, следующих к армии.

Когда же армия сия вступила в Москву, то больные не отсылались уже назад, а помещались в самой столице; итак, мудрено было партизанам нашим врываться в улицы городов и лезть чрез ограды монастырей для подвига, хотя освященного пользою отечества, но в существе своем всегда ненавистного для сердца всякого истинного воина! К тому же это были бы приступы, но приступы чуждые всего того, что составляет прелесть отважного предприятия, чуждые великодушной, возвышенной цели и той поэзии кровавого ремесла нашего, без коей мы не что иное, как привилегированные душегубцы!

Впрочем, отсрочка продолжалась недолго; не всякий ли знает, что при общем отливе неприятельской армии ни один гошпиталь не успел быть упразднен, и все они без малейшего усилия попались в руки победителям.

Что же касается до безопасного перемещения больных из одного гошпиталя в другой по случаю стечения их в одном и уменьшения в другом гошпитале, что касается до благополуч-

ного проживания в тылу неприятельской армии отстранившихся от нее, по-нашему называемых бродягами,— то нарекание сие уничтожается одним уже пребыванием партий наших на самом том пространстве, на коем Наполеон рассеял и больных и бродяг своих. Кого уверить можно, чтобы многочисленные партии наши, рыскавшие вдоль большой Смоленской дороги от Москвы до Дорогобужа, хладнокровно смотрели на все сии тянувшиеся мимо их и грабившие вокруг них необузданные шайки разбойников, не причиняя им ни малейшего вреда? Да если бы партии на сие и решились, то можно ли, чтобы поселяне, имевшие столь сильное право на личное мщение, можно ли, чтобы поселяне допустили шайки сии беспрепятственно предавать огню и мечу их самих и их имущества? В доказательство, что не так безопасно было кругообращение людей и подвозов по неприятельскому пути сообщения, как о том сказано в сочинении, мною оспариваемом, служит предложение, сделанное 23 сентября (5 октября) Лористоном о прекращении народной войны, которая, возбуждаемая и поддерживаемая партизанами, причиняла толикий вред неприятелю. Фельдмаршал отвечал: «Народ разумеет войну сию нашествием татар и, следовательно, считает всякое средство к избавлению себя от врагов не только не предосудительным, но похвальным и священным». Этого мало: встревоженный умножением действия в тылу своей армии, Наполеон побеждает гордость свою и возобновляет предложение Лористона 8/20 октября из села Троицкого. Маршал Бертье в письме своем к князю Кутузову говорит между прочим: «Генералу Лористону препоручено было предложить вашей светлости меры, чтобы сообразовать военные действия с правилами, установленными во всех войнах, дабы государство не несло более зла, как то, которое происходит из самой сущности войны» [45]. На сие фельдмаршал отвечал: «Весьма трудно обуздать народ, оскорбленный всем тем, что пред ним происходит, народ, не видавший двести уж лет войны в недрах своего отечества, готовый за него погибнуть и не умеющий различать принятые обычаи от тех, кои отвергаемы в обыкновенных войнах. 9/21 октября 1812. Тарутино» [46].

Впрочем, не одни бродяги, но и самые фуражиры погибали в сей борьбе войск с целой нацией. Взглянем, что о том говорят Ларрей, генерал-доктор главной французской армии, господин Шамбре, сочинитель «Истории нашествия на Россию», и, наконец, сам Наполеон:

«Начальники неприятельской армии поддерживали наших начальников в надежде на мир, уверяя, что прелиминарные пункты будут на днях подписаны.

А между тем тучи казаков облегали места, на коих расположены были войска наши, и ежедневно похищали у нас великое число фуражиров» [47].

«К изнурению фуражиров соединялось поражение, наносимое им казаками, подъезжавшими даже к заставам Москвы» [48].

Повеление Наполеона к Бертье. Гжатск. 22 августа (3 сентября) 1812 г.: «Напишите генералам, командующим корпусами, что мы ежедневно теряем много людей от беспорядка, господствующего в образе, принятом войском для отыскания пищи; что без отлагательства нужно, чтобы они условились между собою насчет мер, кои должны быть соблюдаемы для прекращения *случаев, угрожающих армии разрушением, что число людей, забираемое неприятелем, простирается ежедневно до нескольких сотен;* что следует непременно, под опасением жесточайшего наказания, запретить солдатам отлучаться поодиночке, а посылать за пищею войска (руководствуясь учреждением для фуражиров) командами, наряженными с каждого корпуса, если армия стоит совокупно, или с каждой дивизии, если армия разделена на части; чтобы генерал или штаб-офицер начальствовал над сими сборными командами и чтоб достаточное число войск всегда при оных следовало — для прикрытия их от казаков и поселян во время фуражирования; чтобы старались там, где найдут жителей, получать от них провиант и фураж посредством мирного требования, не причиняя им большого вреда насильством и похищением других предметов. Наконец исполнение предписания сего столь важно, что, без сомнения, ревность к службе генералов и корпусных начальников изыщет все средства к прекращению неустройств, о коих идет дело. Вы не преминете написать также Неаполитанскому королю (Мюрату), командующему конницею, о том, что необходимо нужно, чтобы конница его прикрывала фуражирование и обеспечивала от казаков и неприятельской конницы команды, посылаемые из лагеря для этого предмета. Вы предложите принцу Экмюльскому (Даву) не подходить к авангарду ближе двух лье (восьми верст). Вы ему внушите необходимость сей меры, дабы фуражиры, искав фуража и провианта, всегда находились в некотором отдалении от неприятеля. Наконец вы заметите герцогу Эльхингенскому (Нею), что он ежедневно более теряет людей в фуражировании, нежели в сражении, и что необходимо нужно, чтобы первое производилось

с бо́льшим устройством, и не так далеко высылаемы были фуражиры»[49].

Итак, если фуражиры, всегда ходившие на добычу совокупнее бродяг и, несмотря на упреки, делаемые им Наполеоном, оберегавшиеся с некоторыми правилами и устройством, не могли избежать плена или смерти, то как бродяги, затерянные в земле, им неизвестной, влачившиеся без определенной цели, без начальников, иногда без патронов и всегда без подпоры,— как могли они проживать невредимо среди народа озлобленного, вооруженного и кипящего мщением? Если бы, точно, партизаны и поселяне сложа руки глядели на неистовства, производимые сею безопасною для них сволочью, то зачем было Бертье и Лористону предлагать князю Кутузову принятие мер для сообразования военных действий с установленными во всех войнах правилами? Зачем было Наполеону хлопотать насчет устройства фуражирования, ибо, как видно, он не другим чем признавал бродяг своих, как фуражирами без начальства и без совокупности фуражирующими? Не всё ли говорят слова сии: «Во-первых, мы ежедневно теряем много людей от беспорядка в отыскивании пищи; во-вторых, без отлагательства нужно условиться насчет мер, кои должны быть приняты к прекращению случаев, угрожающих армии разрушением; в-третьих, число людей, забираемых неприятелем, простирается до нескольких сотен ежедневно, и, в-четвертых, Ней ежедневно теряет более людей на фуражировании, нежели в сражении»? Но полно о бродягах, истребление коих, впрочем, более было делом поселян, нежели партий, устроенных и ринутых на сообщение неприятеля с целью гораздо важнейшей той, которая состояла только в защите собственности от сей отрепи французской армии.

«Ни одна эстафета не была перехвачена...»

Не говоря уже о тех, кои попались мне в руки, я упомяну только о некоторых перехваченных курьерах другими партизанами.

Мне, может быть, скажут, что донесения начальству не суть документы верные и неоспоримые; согласен, но только в случае, когда они представляют одно число убитых — во всех нациях и во всех армиях всегда преувеличенное относительно к своим противникам и уменьшенное относительно своих войск. Что же касается до донесений о пленных или о перехваченных курьерах и депешах, ими возимых, то сомнительность в оных вкрасться не может, ибо пленный или курьер лично представляется в главную квартиру, допрашивается и поступает в спи-

сок тех пленных, кои прежде его были взяты, а депеши, отобранные от них, хранятся под номерами, что можно и теперь видеть в главном штабе государя императора.

Итак, вот мои доказательства:

В рапорте фельдмаршала к государю императору от 22 сентября (4 октября) сказано: «Сентября 11/23 генерал-маиор Дорохов, продолжая действия с своим отрядом, доставил перехваченную им у неприятеля почту в двух запечатанных ящиках, а третий ящик — с ограбленными церковными вещами; 12/24 сентября поймано его же отрядом на Можайской дороге два курьера с депешами», и прочее.

В рапорте генерала Винценгероде к государю императору из города Клина от 3/15 октября сказано: «На сих днях сим последним подполковником (Чернозубовым) взяты два французские курьера, ехавшие из Москвы с депешами».

Фельдмаршал доносит также государю императору от 1/13 октября о взятии 24 сентября (6 октября) курьера близ Вереи подполковником князем Вадбольским.

Генерал Винценгероде доносит государю императору от 8/20 октября из села Чашникова о взятии курьера в следующих словах:

«Я получил рапорт от подполковника Чернозубова, находящегося со вверенным ему полком на Можайской дороге между городами Гжатском и Вязьмою».

Вот сей рапорт: «Прибыв с полком, мне вверенным, к деревне Теплухе на большой Московской дороге, находящейся где учреждена французская почта (étape), я успел схватить неприятельского почталиона (estafette), пред моим прибытием выехавшего из сей деревни. Все бумаги, при нем найденные, при сем к вашему превосходительству представляю вместе с одним офицером французских войск, взятым на само́й большой дороге. После сего я пошел прямо по той же самой дороге к Цареву-Займищу и на пути взял в плен одного офицера и тридцать восемь рядовых, которых, для доставления в Тверь, препроводил к сычевскому исправнику. До упомянутого Царева-Займища я не мог дойти по причине встретившейся в большом числе пехоты, препровождавшей обоз, которого часть отбив, я поворотил назад, и имею ночлег сего числа в деревне Холме, в пятнадцати верстах от большой дороги. Вашему превосходительству о сем донести честь имею, равно и о том, что в сих предприятиях содействовали мне города Сычевок дворянский предводитель Нахимов и исправник Богуславский».

Господин Шамбре в «Истории нашествия на Россию» опро-

вергает с успехом слова Наполеона, мною здесь оспариваемые; он говорит: «Наполеон в сем случае сам себе противоречит в письмах своих от 3, 23, 24, 26 и 27 сентября (н. м.), так, как и от 6, 10, 23 и 24 октября, 9 ноября, 2 декабря (н. м.) и в других еще письмах, мною не объявленных оттого, что я не нашел в них ничего достойного замечания. Сверх сих писем, донесения генерала Бараге-Дильера, приложенные к сему второму изданию, довольно удостоверяют не в собственном заблуждении Наполеона, а в умышленном старании его привести других в заблуждение, дабы чрез то прикрыть славу и самолюбие свое от нападок. Без сомнения, он не решился бы на сказание, мною оспариваемое, если бы знал, что часть писем его, Бертье и других генералов, ведомости о движениях войск и иные драгоценные документы, необходимые для описания нашествия на Россию, будут некогда обнародованы; так, что событие, долженствовавшее, по-видимому, более других быть недоступным любопытству, является, напротив, одним из известнейших событий нашего времени» [50].

Вот некоторые выписки из сих писем: «Мы не получали эстафетов после прибывшей 7/19 октября. Недостает тех, кои должны были прибыть 8/20, 9/21 и 10/22» [51]. «Доведите до его (маршала Викто́ра) сведения, что по сие время не получая эстафетов, я не знаю, что происходит в его стороне» [52]. «Император не получил двух эстафетов; быть может, что это следствие нашего отступления к Сенно, которое открыло великое пространство земли неприятелю» [53].

И наконец господин Шамбре заключает: «Во время отступления Наполеона от Смоленска до Молодечно он получил только две депеши из Франции, и то чрез Марета (герцога Бассано). На доставление первой из сих депешей отважился польский дворянин, об имени коего я умолчу, дабы не подвергнуть его подозрению; вторую доставил ему еврей за деньги,— он встретил Наполеона в Камене после перехода чрез Березину» [54].

Теперь мы подошли к главному предмету партизанского действия, а именно к похищению и истреблению неприятельских подвозов с боевыми и съестными припасами, отрядов, команд и войск, проходящих в армию или из оной. Достигли ли партизаны наши до сего предмета, или нет, мы увидим это по достоверным документам, коими вооружен я. Прежде сего представим легкий очерк того положения, в коем находились пути сообщения французской армии; очерк сей принадлежит не мне, а господину Шамбре. «Неведение его (Наполеона)

о движениях сего генерала (Кутузова), умножаясь от русских партий, рыскавших вокруг Москвы, ввергло его в совершенное недоумение насчет намерения неприятеля. Партии сии, беспокоя фуражиров с неутомимою деятельностию, пресекли все прямые сообщения между Мюратом, Бессьером и Понятовским. Предприятиям их способствовали те из поселян, кои оставались еще в селениях, давая им знать о движениях французских войск. Наконец взятием нескольких артиллерийских палубов и нескольких команд между Москвою и Можайском Дорохов преградил путь подвозам и принудил оные прекратить их шествие. Для восстановления сего сообщения Наполеон отрядил 11/23 сентября гвардейских драгун, две роты гвардейской конной артиллерии и один линейный полк. Отряду сему предписано было остановиться в селе Вязёме, находящемся на столбовой дороге в 7 лье (28 верстах) от Москвы. Спустя несколько дней, 14/26 сентября, он еще отрядил на половину пути от этого села к Москве дивизию Брусьера, припадлежавшую корпусу Евгения, легкую кавалерию того же корпуса и гвардейских конных егерей с артиллерийскою конною ротою. Так как дорога от Можайска к Смоленску весьма обеспокоиваема была партиями, то приказано было Наполеоном отправлять войска из сего последнего города не иначе, как совокупно и не в меньшем числе, как в тысячу пятьсот человек» [55].

Теперь перейдем к документам.

Донесение к Бертье генерала Бараге-Дильера, военного губернатора Смоленской губернии, жительствующего в Вязьме.

«Вязьма. 8/20 сентября.

Число и отвага вооруженных поселян в глубине области, по-видимому, умножается. 3/15 сентября крестьяне деревни Клушина, что возле Гжатска, перехватили транспорт с понтонами, следовавший под командою капитана Мишеля. Поселяне повсюду отбиваются от войск наших и режут отряды, кои по необходимости посылаемые бывают для отыскания пищи. Неистовства сии, чаще происходящие между Дорогобужем и Можайском, достойны, по моему мнению, внимания вашей светлости. Без отлагательства нужно взять меры к преграждению новым беспокойствам, причиняемым крестьянами, или укротить их наглость наказаниями за прошедшие преступления» [56].

«Казаки рыщут на флангах наших. Разъезд, состоявший в сто пятьдесят гвардейских драгун, под командою маиора Мартода, попался в засаду казаков между дорогами Московской и Калужской. Драгуны изрубили триста человек, пробились, но оставили двадцать человек на поле сражения. Они были взяты, а вместе с ними и маиор, тяжело раненный». 23-й бюллетень, 10/22 октября, Москва [57].

«Казаки показались на Смоленской дороге, в двадцати четырех или в двадцати восьми верстах отсюда. Они в числе тридцати человек напали нечаянно на подвоз артиллерийских снарядов, состоявший в пятнадцати ящиках, и сожгли оный». Бертье к Мюрату, от 10/22 сентября, Москва [58].

«Вы, конечно, уже извещены о том, что произошло на Можайской дороге; но это не что иное, как казаки, которые в числе около сорока человек напали нечаянно в одной деревне на пятнадцать артиллерийских палубов и подорвали их. Император послал маиора Летора с двумястами пятьюдесятью драгунами на Можайскую дорогу, в самое то место, где мы ночевали. Маиор Летор имеет повеление остановить все кавалерийские команды, которые следуют в армию, отчего отряд его достигнет до полуторы тысячи или до двух тысяч человек. С сим отрядом он назначен прикрывать дорогу...», и прочее. Из письма Бертье к Бессьеру, 10/22 сентября, Москва [59].

«Пятьсот или шестьсот казаков, пресекших Можайскую дорогу, нам причинили много вреда. Они подорвали пятнадцать артиллерийских палубов и взяли два резервные эскадрона, шедшие в армию, то есть около двухсот конных солдат. Эскадроны сии принадлежали резервной команде генерала Ланюса, который по неосторожности своей расположил их вправо от себя. После сего казаки хотели атаковать большой подвоз артиллерийских снарядов, но ружейная стрельба от оного их удалила. Так как я уже извещал вас, маиор Летор прибыл вчера в дом князя Голицына, что на Можайской дороге, с двумястами конных солдат. По известиям, данными вами, и также по известиям, полученным от короля (Мюрата), его величество приказал генералу Сент-Сюльпису выступить со всеми своими драгунами на подкрепление маиора Летора, если нужда востребует. Я полагаю, что этой нужды не будет, ибо движение войск, посланных вами к Подольску и к Десне, должно вовсе удалить казаков от Можайской дороги». Из письма Бертье к Бессьеру, 11/23 сентября, Москва [60].

Наполеон к Бертье, Москва, 11/23 сентября: «Уведомьте генерала Бараге-Дильера и герцога Абрантесского (Жюно),

что кавалерия и артиллерия, которые должны прикрывать транспорты, должны следовать совокупно, ночевать в каре близ транспорта и ни под каким предлогом не раздробляться; начальник транспорта должен ночевать среди его; всякий начальник, который не будет соблюдать этих повелений, будет наказан за нерадение и будет виновен в случае взятия транспорта. Подтвердите это повеление в Смоленск, чтобы каждый транспорт был посылаем под командою штаб-офицера и под прикрытием тысячи пятисот человек пехоты и кавалерии, исключая из сего числа артиллерийских, инженерных и обозных погонщиков. Дайте знать, что я с прискорбием вижу отправления транспортов с слабыми прикрытиями. Вследствие сего повеления сочините приказ насчет образа кочеванья транспортов и пошлите оный к начальникам транспортов 5-го и 6-го. Независимо от сего приказа, представьте пред глаза мои уложения насчет транспортов и прикрытий оных. Мне помнится, что в них весьма ясно изложены средства, как транспорты должны быть охраняемы. Если так, то надо будет перепечатать сии уложения и разослать их по всем комендантам укреплений отсюда до Ковны» [61].

От того же к тому же, Москва, 12/24 сентября: «Уведомьте генерала Сент-Сюльписа, что я получил письмо его. Объявите ему, что на свободный проезд от Можайска до Москвы я гляжу как на весьма важное дело, и что я полагаюсь на него в охранении этого пути; что ему надлежит расположиться на том пункте, на котором он теперь находится и который есть центральный; что он должен открыть сообщение с герцогом Абрантесским (Жюно), находящимся в Можайске, и что я рекомендую ему прикрывать эстафеты при проезде их мимо его отряда; что полковник Летор обращается под его команду и что я отдаю на волю его расположить Летора уступом там, где заблагорассудит. Предпишите ему и более всего настаивайте, чтобы он имел патрули для прикрытия курьеров. Нужно было бы узнать: отозваны или нет казацкие отряды, назначенные для перехвата оных? Я полагаю, что он уже послал двести или триста человек на то место, где отряд генерала Ланюса был взят тому несколько дней. Генерал Летор выступает нынче или завтра; все-таки чрез это прибавится лишний патруль на дороге» [62].

Выписка из письма Бертье к Бессьеру от 14/26 сентября: «Канонада, которую вы вчера утром слышали на правой стороне от вас, была предпринята по наблюдательному отряду гвардейских драгун, не так, как до́лжно, введенных в дело

маиором Мартодом, который взят или убит. Мы потеряли в сей безрассудной схватке несколько гвардейских драгун, взятыми или убитыми, маиора, капитана, старшего адъютанта и до двадцати драгун ранеными. Мы также потеряли несколько человек и пехоты. Безрассудно начальствуемый отряд был нечаянно атакован тремя тысячами человек войска с орудиями» [63].

Наполеон к Бертье, Москва, 15/17 сентября: «Я позволяю генералу Бараге-Дильеру располагать польским полком, как он хочет. Так много отрядов идет к нам сзади, что ему легко будет проучить поселян» [64].

Генерал Бараге-Дильер к Бертье, Вязьма, 18/30 сентября: «Я получил письмо вашей светлости. Огорченный содержанием оного и видя, что император, хотя и не явно, обвиняет меня в нерадении относительно образования губернии, мне вверенной, отчего, по его мнению, происходят беспорядки на пространстве от Смоленска до Можайска, я спешу отвечать как можно откровеннее и короче. Прежде всего скажу: я образовал военное и гражданское управление Смоленской губернии, в чем удостоверяет прилагаемое при сем уложение; но для извлечения всех средств из неприятельской области, в коей жители вооружены против нас, надо две вещи: во-первых, достаточное число войск для занятия важнейших пунктов, дабы чрез то принудить жителей к повиновению, и для изгнания тех, кои управляют ими с оружием в руках. Во-вторых, когда не существует никакого сходства в языке завоевательной армии с языком завоеванного народа [65], тогда нужно иметь людей, говорящих обоими языками, дабы повеления и нужды наши могли быть оным понимаемы. До сего же времени, исключая Смоленска, который ваша светлость снабдила сильным гарнизоном и где находится несколько доброхотных помещиков, я во всей губернии нигде не имею ни того, ни другого пособия. Если исключим укрепленные станции, на дороге расположенные, то останется действующих войск: в Дорогобуже около двухсот человек пехоты и пятнадцать гусаров; в Вязьме двести десять человек пехоты и сорок гусаров; в Гжатске сто семьдесят человек. Ваша светлость можете поверить сие по ежедневным ведомостям. На другой день по прибытии моем сюда, я, вследствие вашего повеления, послал три колонны, составленные каждая из пятидесяти человек, для обозрения области и для собрания съестных припасов. *Две из них были взяты и не возвратились,* о сем я имел честь доносить вашей светлости. *Несколько подобных происшествий случилось после этого»* [66].

Наполеон к Бертье, Москва, 24 сентября (6 октября): «Напишите герцогу Беллюнскому (Викто́ру), чтобы полки, сформированные в Кенигсберге и в Витебске из отставших от полков своих людей, не прикрывали артиллерийские транспорты. Сии транспорты должны быть прикрываемы полными баталионами или частями баталионов твердого состава» [67].

От того же к тому же, Москва, 24 сентября (6 октября): «Уведомьте генерала Бараге-Дильера о всех принятых распоряжениях для образования 9-го корпуса и о месте, где оному следует находиться. Дайте знать ему, что я совершенно согласен на требование его, чтобы занять сильным отрядом Вязьму, сильным отрядом — Гжатск и сильным отрядом — Дорогобуж. Вследствие чего я приказываю вам предписать гжатскому коменданту, чтобы он не пропускал далее Гжатска, и герцогу Абрантесскому (Жюно),— чтобы он не пропускал далее Можайска команды, сюда идущие, в случае, впрочем, что войска сии не перешли уже сии пункты» [68].

«Неприятель выказывает много казаков, которые беспокоят кавалерию». 25-й бюллетень, 8/20 октября [69].

Бертье к Даву, Вязьма, 21 октября (2 ноября): «Необходимо нужно, князь, переменить образ построения, употребляемый на переходах против неприятеля, обладающего таким множеством казаков. Надо делать переходы так, как мы делали оные в Египте: обозы в средине и в столько рядов, сколько позволит дорога, полубаталион в замке́ и несколько баталионов в одну шеренгу по бокам обоза, так, чтобы при повороте во фронт огонь был отвсюду. Можно позволить, чтобы баталионы сии находились один от другого в некотором расстоянии, которое тогда должно быть занято некоторым числом орудий. Наблюдать, чтобы ни под каким предлогом не было людей, отстраняющихся поодиночке и без оружий» [70].

От того же к Нею, Вязьма, 21 октября (2 ноября): «Надо круто обуздать предприятие этой канальи казаков и обходиться с ними, как мы обходились с аравитянами в Египте» [71].

«От самого Малоярославского дела авангард не видал неприятеля, разве одних казаков, которые, подобно аравитянам, рыщут на флангах и гарцуют вокруг, чтобы беспокоить нас».

«С тех пор не видали уже русской пехоты, а одних казаков». 28-й бюллетень, 30 октября (11 ноября) [72].

«Неприятель, видевший на дороге следы ужасного злополучия, поражающего французскую армию, старался этим воспользоваться. Он окружал все колонны казаками, которые отхваты-

вали, как аравитяне в пустынях, отставшие фуры и повозки». 29-й бюллетень, 21 ноября (3 декабря) [73].

«Офицеры и солдаты много потерпели от усталости и голода. Многие лишились своего имущества от потери повозочных лошадей, некоторые — по причине засад казачьих. Казаки захватили великое число рассеянных и бродящих солдат, инженеров, генерального штаба офицеров, снимавших планы местоположений, и раненых офицеров, путешествовавших без осторожности». 29-й бюллетень, 21 ноября (3 декабря) [74].

Генерал Бараге-Дильер командовал дивизиею, составлявшеюся в Смоленске. Он расположил войска свои на дороге, идущей из Смоленска в Ельню. Приближение по сему направлению российской армии долженствовало обратить его к соединению своей дивизии. Он сего не сделал; 28 октября (9 ноября) трое русских партизанов атаковали одну из бригад его, которая, невзирая на силу свою, простиравшуюся до тысячи ста человек пехоты и пятисот конницы, положила оружие. Остальная часть дивизии едва успела скрыться в Смоленске. Партизаны взяли также многие французские депо, из коих главнейшее было в Клементьеве [75]. Бóльшая часть лошадей, употребленных для возки фур и расположенных на квартирах в окрестностях Смоленска, но в дальнем расстоянии от сего города, попались также в руки казакам.

Император объявил неудовольствие свое генералу Бараге-Дильеру за то, что, будучи известен о движении неприятеля, он не собрал войска свои. Император лишил его команды и сослал в Берлин... Там определено было судить его.

Независимо от невозвратной потери людей и лошадей, причиненной непредусмотрением генерала Бараге-Дильера, императору чрезмерно прискорбно было то, что французский корпус, состоявший из тысячи ста человек и пятисот конницы, мог положить оружие перед партизанскими отрядами!..

«Генерал Ожерó с бригадою своею был взят русскими партизанами Денисовым, Давыдовым и Сеславиным [76], соединившимися для этого предприятия». Гурго. Критический разбор «Истории 1812 года» господина Сегюра [77].

Уверяю, что здесь не конец документам, у меня хранившимся, но, опасаясь чрезмерного распространения вступления сего, а между тем поставя себе в обязанность не представлять иных документов, кроме тех, кои сам неприятель обнародовал, я не могу уже, к сожалению моему, упомянуть о тех партизанских ударах, кои, быв известны обеим сражавшимся армиям, помещены были в одних донесениях и объявлениях князя

Кутузова. И потому я не распространяюсь о поиске 8/20 октября, при Каменном и Плескове, в тыл авангарда французской армии, в коем партизан Фигнер взял пять офицеров и триста шестьдесят рядовых и отбил огромный транспорт со съестными припасами, по деревням собранными.

Я умолчу также о поиске под Быкосовым 10/22 октября, в коем партизан Сеславин сорвал завесу, покрывавшую гибельное для нас движение французской армии, о коем, впрочем, я упоминаю в записках моих как об одном из разительнейших событий сей кампании; о поиске у села Шалимова, 12/24 октября, в коем партизан князь Кудашев взял в плен двух комиссаров и четыреста рядовых; о поиске близ Медыни, 13/25 октября, в коем полковник Иловайский 9-й разбил авангард князя Понятовского, взял пять орудий, генерала Тышкевича, одного полковника и множество офицеров и рядовых; о вторичном поиске при Боровской дороге 14/26 октября, в коем партизан князь Кудашев отбил сто фургонов с провиантом и с снарядами и взял в плен около четырехсот человек; о поиске при Молодечно 21 октября (2 ноября), в коем полковник Чернышев взял три эстафеты и отбил из плена генералов Винценгероде и Свечина, а с ними вместе маиора Нарышкина и провиантского чиновника Полотова; о поиске при Борисове 16/28 ноября, в коем партизан Сеславин открыл сообщение с адмиралом Чичаговым и взял в плен три тысячи рядовых и множество офицеров.

Все сии более или менее увенчанные успехами предприятия, набеги и поиски прекратили, во время пребывания французской армии в Москве, как подвозы к ней с пищею и с зарядами, так и фуражирование; сделали почти невозможным проезд курьерам, посылаемым в отдельные корпуса, в средину Европы и во Францию, или оттуда едущим в армию; и преградили путь адъютантам и разным чиновникам, отправляемым с приказаниями в разные части армии. Сие разрушило согласие во взаимном сих частей содействии; да и самые общие перемещения армии, коих удача зависела от сохранения их в тайне, быв открываемы партизанами, встречали неожиданное противодействие. Примеры сему — при Малоярославце, при Славкове и при Смоленске, о коих я упоминаю в записках моих.

Означенные набеги и поиски неминуемо должны были умножить вред, ими наносимый, когда неприятельская армия, оставя крыши, двинулась назад путем опустошенным и бесприютным, провожаемая голодом и холодом. Денно и нощно тревожимая партизанскими партиями, она принуждена была



И. Теребенев. «Ретирада французских генералов»

против неутомимой наглости их употреблять лишнюю осторожность, изнуряющую войска на привалах и на ночлегах, ибо как было знать, особенно в ночное время, что за толпами казаков нет пехоты и артиллерии и что пустая перестрелка не обратится в бой решительный? Сверх того, неотступный надзор, беспрерывные покушения, внезапные наскоки на команды, отстранявшиеся от колонн, вселили в неприятеля опасение отлучаться от главной массы для отыскания пищи и приюта от стужи. Основываясь на смете, сделанной главным штабом российской армии, мы видим, что число пленных, взятых партиями, простирается до пятнадцати тысяч рядовых и чиновников. К этому прибавить надо чрезвычайное число фур с провиантом и одеждою, палубов с зарядами, тысячи волов и лошадей — строевых и повозочных, и прочее.

После сего я спрашиваю всякого беспристрастного человека: какое может вселить доверие та часть Наполеоновых записок, в коей раздраженный, как кажется, тяжким воспоминанием о происшедшем и не менее тяжким гнетом настоящего, он решился обнародовать, что в течение Московской кампании не было неприятеля в тылу французской армии и что она не лишилась ни одного транспорта провиантского и артиллерийского, ни одной команды, ни одной эстафеты, ни одного курьера и даже (что свыше всякого вероятия) ни одного бродяги? И кто в том уверяет? Наполеон, едва не попавшийся два раза в плен казакам нашим; а известно, что место полководцев не впереди своих войск, но в тылу оных.

Вот первый случай; не я, а неустрашимый и прямодушный генерал Рапп, находившийся тогда у стремя Наполеона, рассказывает об этом:

«Наполеон кочевал в полумиле от сего места (от Малоярославца). На другой день мы сели на коней в семь с половиною часов, чтобы осмотреть место, на коем накануне сражались. Император находился между герцогом Виченским (Коленкуром), принцем Невшательским (Бертье) и мною. Едва успели мы оставить шалаши, где провели ночь, как прилетели тучи казаков. Они выезжали из леса, находившегося впереди нас на правой стороне. Так как они были порядочно построены, то мы приняли их за французскую кавалерию. Герцог Виченский первый догадался: «Государь, это — казаки!» — «Не может быть»,— отвечал Наполеон. Они уже скакали на нас с ужасным криком. Я схватил лошадь его за узду и поворотил ее сам собою. «Да это наши!» — «Это казаки, не медлите!» — «Точно, они»,— сказал Бертье.— «Без малейшего сомнения»,—

прибавил Мутон. Наполеон дал несколько повелений и отъехал. Я двинулся вперед с конвойным эскадроном; нас опрокинули; лошадь моя получила удар пикою в шесть пальцев глубины и повалилась на меня; мы были затоптаны сими варварами. К счастию, они приметили артиллерийский парк в некотором расстоянии от нас и бросились на оный. Маршал Бессьер имел время прибыть с конногвардейскими гренадерами»... [78]

О том же деле сказано в бюллетене так: «Император перенес главную квартиру свою в деревню Городню. В семь часов утра шесть тысяч казаков, прокравшиеся в леса, произвели общее *ура* в тыл позиции и взяли шесть орудий, в парке стоявшие. Герцог Истрийский (Бессьер) двинулся вскачь со всею гвардейскою кавалериею. Он осыпал сабельными ударами орду сию, опрокинул ее, втоптал в реку, возвратил взятую артиллерию и отбил несколько фур, принадлежащих неприятелю; шестьсот казаков убито, ранено и взято в плен; тридцать гвардейцев ранено и три убито. Под дивизионным генералом Раппом убита лошадь. Неустрашимость, столько раз оказанная генералом сим, является во всех случаях... Драгунский маиор Летор отличился. В восемь часов все вошло в порядок» [79].

Это дело, называемое во французской армии «le hourra de l'empereur» (императорское ура), случилось на другой день Малоярославского сражения. До рассвета Платов отрядил часть своего летучего корпуса с генералом Иловайским за реку Лужу, несколько верст выше Малоярославца, с тем, чтобы действовать в тыл неприятельским войскам, сражавшимся накануне пред сим городом и стоящим еще на поле сражения. Иловайский ударил на артиллерийский парк, состоявший в сорока орудиях и кочевавший на Боровской дороге во время проезда Наполеона из Городни в Малоярославец к войскам вице-короля Италийского. Казаки бросились частию на парк, а частию на Наполеона и конвой его. Если бы они знали, за кого они, так сказать, рукой хватились, то, конечно, не променяли бы добычу сию на одиннадцать орудий, отбитых ими из парка и которые, невзирая на слова Раппа и 27-го бюллетеня, остались в их власти и никогда не были отбиты обратно французскою кавалериею. Поистине, кавалерия сия обратила вспять казаков, но в то время, когда сами они почувствовали необходимость возвратиться к главным своим силам. Преследование за ними продолжалось до реки, которую они перешли в брод вместе с отбитыми ими пушками, и огонь из двенадцати орудий донской конной артиллерии, открытый Платовым с правого берега

Лужи, разом остановил стремление неприятельской кавалерии. Она отступила без преследования.

Не менее ложно показание бюллетеня как о числе людей, у нас убитых, раненых и взятых в плен, так и об отбитии у казаков обозов. У партизанов и казаков нет других повозок, кроме тех, кои они отхватывают у неприятеля, да и этими повозками они не иначе пользуются, как для дальних предприятий, а не в набегах, продолжающихся несколько часов. Обыкновенные их обозы состоят в вьючных лошадях, кои в совокупности называются коша́ми.

Вот другой случай. Партизан Сеславин занял с боя местечко Забреж, в коем взял генерала Доржанса и одиннадцать штаб- и обер-офицеров. «23 октября (4 ноября) Наполеон, оставя Молодечно в девять часов утра, перенес главную квартиру в Бьеницу; Луазон должен был прибыть в Ошмяны на другой день; а так как Сморгони и Молодечно были заняты войсками, то, пользуясь безопасностию пути сообщения, Наполеон решился оставить армию и приступил втайне к исполнению сего намерения. 24 октября (5 ноября), в восемь часов утра, он оставил Бьеницу и приехал к Сморгони в час пополудни. Там, окончательно приготовясь к отъезду, он собрал генералов: Мюрата, Евгения, Бертье, Нея, Даву, Лефебра, Мортье и Бессьера, объявил им, что оставляет армию и едет в Париж, где присутствие его необходимо, сдал начальство Мюрату и в семь часов вечера отправился в путь в обыкновенной своей карете, за коей ехали сани. Он взял с собою только генералов: Коленкура, Дюрока и Мутона. Первый сидел с ним в карете, два последние в санях; на козлах сидели мамелюк и ротмистр польских гвардейских уланов, который должен был служить за переводчика[80]. Он ехал тайно под именем герцога Виченского и, полагая, что путь никем не угрожаем, взял в прикрытие один слабый конвой неаполитанской кавалерии.

«Луазон только что прибыл в Ошмяны после полудня, и по причине жестокой стужи разместил войско свое по домам. Русский полковник Сеславин, шедший также на Ошмяны, но боковыми путями, лежащими на левой стороне большой дороги, прибыл в сумерки пред сие же местечко с гусарским полком, казаками и орудиями. Не зная, что местечко занимаемо пехотною дивизиею, он ворвался в него с кавалериею, но немедленно был принужден оное оставить. Сделав несколько выстрелов из орудий, он расположился на биваках в малом расстоянии от дороги. Наполеон благополучно доехал до Ошмян, но легко,

однако, мог попасть в руки Сеславина, что, несомненно, случилось бы, если б партизан сей знал об его проезде»[81].

Дело сие произошло так. За один час пред въездом в Ошмяны Наполеона Сеславин, не зная и быв в невозможности знать об этом обстоятельстве, но только искавший неприятеля и кипящий желанием сразиться где бы и с кем бы то ни было, ворвался в Ошмяны с Ахтырскими гусарами и с казаками, в одно время как орудия его открыли огонь по магазину, находившемуся в местечке; главный караул, стоявший у квартиры, приготовленной для Наполеона, был изрублен, и магазин обуялся пламенем. Французские войска, рассеянные по домам от стужи, стали выбегать к ружью, смущенные и в беспорядке, который умножаем был мраком вечера. Некоторые войска, объятые страхом, побежали по дороге к Табаришкам, но другие, находившиеся вне местечка, бросились в оное и открыли со всех сторон огонь по Сеславину. Не имея пехоты, он отвечал им саблями и дротиками, но видя, что борьба не под силу, он принужден был оставить местечко. В сию минуту Наполеон въехал в Ошмяны и, переменя лошадей, отправился чрез Медники в Вильно, а оттуда во Францию.

Будь атака сия часом позже, то Наполеон не избежал бы плена. Конечно, подобная развязка была бы против правил драматического искусства и выгод парижских рестораторов, красавиц Пале-Рояля и наших вооруженных путешественников, совершивших на чужой счет столь неожиданное путешествие; зато какая слава для русских: мы все кончили бы дома... и без чужеземцев!

Сеславин не виноват, ибо успех в подобном случае зависит от судьбы, а не от расчетов человеческих!

Не меня упрекать можно в том, чтобы я уступал кому-либо во вражде к посягателю на независимость и честь моей родины,— не в той вражде, которая шипит и прячется, но в той, которая молча хватает за горло. Товарищи мои помнят если не удачи, то, по крайней мере, усилия мои, все клонившиеся ко вреду неприятеля в течение войны Отечественной и заграничной; они помнят также и удивление, и восторги мои, подвигами Наполеона возбужденные, и уважение к войскам его, которое питал я в душе моей среди борьбы военной. Солдат, я и с оружием в руках отдавал справедливость первому солдату веков и мира; я любовался, я обворожаем был храб-

ростию, какою одеждою она ни была облекаема, в каких бы рядах она ни ознаменовалась; и Багратионово *браво*, вырвавшееся в похвалу неприятеля среди самого пыла Бородинской битвы, отозвалось в душе моей, но ее не удивило[82]. Так чувствовал я, когда сердце мое билось под гусарским ментиком, так я чувствую за плугом и в мирном кабинете своем. Нет, не ненависть, но любовь к истине водила пером моим; впрочем, я ничего не сочинял, а подводил статьи, противуречащие некоторым статьям, помещенным в записках Наполеона, писанных наобум, наскоро и без документов. Читатель решит, на чьей стороне правда; но, во всяком случае, он, конечно, отдаст мне справедливость в том, что, русский, я не забыл приличия и вежливости в выражениях, опровергая сказания того, коего память бесстыдно тревожима некоторыми соотечественниками его, сослуживцами его и даже людьми, им облагодетельствованными!

II

ДНЕВНИК ПАРТИЗАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ 1812 года

С 1807 по 1812 год я был адъютантом покойного князя Петра Ивановича Багратиона. В Пруссии, в Финляндии, в Турции, везде близ стремя сего блистательного полководца. Когда противные обстоятельства отрывали его от действовавших армий, тогда он, по желанию моему, оставлял меня при них; так я прошел курс аванпостной службы при Кульневе в 1808 году в северной Финляндии и при нем же в Турции в 1810 году, во время предводительства графа Каменского.

В 1812 году поздно было учиться. Туча бедствий налегла на отечество, и каждый сын его обязан был платить ему наличными сведениями и способностями. Я просил у князя позволение стать в рядах Ахтырского гусарского полка. Он похвалил мое рвение и писал о том к военному министру. Восьмого апреля я был переименован в подполковники с назначением в Ахтырский гусарский полк, расположенный тогда близ Луцка. Восемнадцатого мая мы выступили в поход к Бресту-Литовскому.

Около 17 июня армия наша находилась в окрестностях Волковиска; полк наш находился в Заблудове, близ Белостока.

Семнадцатого июня началось отступление. От сего числа до назначения меня партизаном я находился при полку; командовал первым баталионом оного [83], был в сражениях под Миром, Романовым, Дашковкой и во всех аванпостных сшибках, до самой Гжати.

Видя себя полезным отечеству не более рядового гусара, я решился просить себе отдельную команду, несмотря на слова,

Дневникъ поисковъ

~~[illegible]~~

Партизана Дениса Давыдова

приведенный въ порядокъ 1814го года

ma vie est un combat

1812го годъ.

Съ 1807го по 1812й годъ я былъ Адъютантомъ Покойного Князя Петра Ивановича Багратиона, Въ Пруссіи, въ Финляндіи, въ Булгаріи, вездѣ возлѣ сего блистательного полководца; Когда же противные обстоятельства отрывали его отъ поприща военного, Онъ по желанію моему, оставлялъ меня въ дѣйствующей арміи. Такъ я прошелъ Курсъ аванпостной службы при Кульневѣ въ Северной Финляндіи въ 1808мъ и Булгаріи въ 1810мъ году.

Въ 1812мъ поздно было учиться! — туча бедствій нависела надъ отечествомъ, и каждый сынъ ее имѣлъ обязанностію платить ей наличными Сведениями и способностями. Я просилъ у Князя позволенія стать въ ряды Ахтырского Гусарского полка, онъ согласился, и писалъ къ Военному Министру слѣдующее:

26го Марта
№ 947й —

„Адъютантъ мой Лейбъ Гвардіи Гусарского полка Ротмистръ Давыдовъ, желая предстоящую Кампанію служить во фронтѣ, чтобы съ тѣмъ вмѣстѣ встретить новые случаи оказать военныя способности свои; проситъ

произносимые и превозносимые посредственностию: *никуда не проситься и ни от чего не отказываться*. Напротив, я всегда уверен был, что в ремесле нашем тот только выполняет долг свой, который переступает за черту свою, не равняется духом, как плечами, в шеренге с товарищами, на все напрашивается и ни от чего не отказывается.

При сих мыслях я послал к князю Багратиону письмо следующего содержания:

«Ваше сиятельство! Вам известно, что я, оставя место адъютанта вашего, столь лестное для моего самолюбия, и вступя в гусарский полк, имел предметом партизанскую службу и по силам лет моих, и по опытности, и, если смею сказать, по отваге моей. Обстоятельства ведут меня по сие время в рядах моих товарищей, где я своей воли не имею и, следовательно, не могу ни предпринять, ни исполнить ничего замечательного. Князь! Вы мой единственный благодетель; позвольте мне предстать к вам для объяснений моих намерений; если они будут вам угодны, употребите меня по желанию моему и будьте надежны, что тот, который носил звание *адъютанта Багратиона пять лет сряду*, тот поддержит честь сию со всею ревностию, какой бедственное положение любезного нашего отечества требует. *Денис Давыдов*».

Двадцать первого августа князь позвал меня к себе [84], представ к нему, я объяснил ему выгоды партизанской войны при обстоятельствах того времени. «Неприятель идет одним путем,— говорил я ему,— путь сей протяжением своим вышел из меры; транспорты жизненного и боевого продовольствия неприятеля покрывают пространство от Гжати до Смоленска и далее. Между тем обширность части России, лежащей на юге Московского пути, способствует изворотам не только партий, но и целой нашей армии. Что делают толпы казаков при авангарде? Оставя достаточное число их для содержания аванпостов, надо разделить остальное на партии и пустить их в средину каравана, следующего за Наполеоном. Пойдут ли на них сильные отряды? — Им есть довольно простора, чтобы избежать поражения. Оставят ли их в покое? — Они истребят источник силы и жизни неприятельской армии. Откуда возьмет она заряды и пропитание? — Наша земля не так изобильна, чтобы придорожная часть могла пропитать двести тысяч войска; оружейные и пороховые заводы — не на Смоленской дороге. К тому же обратное появление наших посреди рассеянных от войны поселян ободрит их и обратит войсковую войну в народную. Князь! откровенно вам скажу: душа болит от

вседневных параллельных позиций! Пора видеть, что они не закрывают недра России. Кому не известно, что лучший способ защищать предмет неприятельского стремления состоит не в параллельном, а в перпендикулярном или, по крайней мере, в косвенном положении армии относительно к сему предмету? И потому, если не прекратится избранный Барклаем и продолжаемый светлейшим род отступления,— Москва будет, взята, мир в ней подписан, и мы пойдем в Индию сражаться за французов!..[85] Я теперь обращаюсь к себе собственно: если должно непременно погибнуть, то лучше я лягу здесь! В Индии я пропаду со ста тысячами моих соотечественников без имени и за пользу, чуждую России, а здесь я умру под знаменами независимости, около которых столпятся поселяне, ропщущие на насилие и безбожие врагов наших... А кто знает! Может быть, и армия, определенная действовать в Индии!..»

Князь прервал нескромный полет моего воображения; он пожал мне руку и сказал: «Нынче же пойду к светлейшему и изложу ему твои мысли».

Светлейший в то время отдыхал. До пробуждения его вошли к князю Василий и Дмитрий Сергеевичи Ланские, которым он читал письмо, полученное им от графа Растопчина, в котором сказано было: «Я полагаю, что вы будете драться, прежде нежели отдадите столицу; если вы будете побиты и подойдете к Москве, я выйду из нее к вам на подпору со ста тысячами вооруженных жителей; если и тогда неудача, то *злодеям вместо Москвы один ее пепел достанется»*. Это намерение меня восхитило. Я видел в исполнении оного сигнал общего ополчения.

Весь тот день светлейший был занят, и потому князь отложил говорить ему обо мне до наступающего дня. Между тем мы подошли к Бородину. Эти поля, это село мне были более, нежели другим, знакомы! Там я провел и беспечные лета детства моего и ощутил первые порывы сердца к любви и к славе. Но в каком виде нашел я приют моей юности! Дом отеческий одевался дымом биваков; ряды штыков сверкали среди жатвы, покрывавшей поля, и громады войск толпились на родимых холмах и долинах. Там, на пригорке, где некогда я резвился и мечтал, где я с алчностию читывал известия о завоевании Италии Суворовым, о перекатах грома русского оружия на границах Франции,— там закладывали редут Раевского:[86] красивый лесок перед пригорком обращался в засеку и кипел егерями, как некогда стаею гончих собак, с которыми я носился по мхам и болотам. Все переменилось!

Завернутый в бурку и с трубкою в зубах, я лежал под кустом леса за Семеновским, не имея угла не только в собственном доме, но даже и в овинах, занятых начальниками. Глядел, как шумные толпы солдат разбирали избы и заборы Семеновского, Бородина и Горок для строения биваков и раскладывания костров... Слезы воспоминания сверкнули в глазах моих, но скоро осушило их чувство счастия видеть себя и обоих братьев своих вкладчиками крови и имущества в сию священную лотерею!

Так как 2-я армия составляла левый фланг линии, то князь остановился в Семеновском. Вечером он прислал за мною адъютанта своего Василья Давыдова и сказал мне: «Светлейший согласился послать для пробы одну партию в тыл французской армии, но, полагая успех предприятия сомнительным, назначает только пятьдесят гусар и сто пятьдесят казаков; он хочет, чтобы ты сам взялся за это дело». Я отвечал ему: «Я бы стыдился, князь, предложить опасное предприятие и уступить исполнение этого предприятия другому. Вы сами знаете, что я готов на все; надо пользу — вот главное, а для пользы — людей мало!» — «Он более не дает!» — «Если так, то я иду и с этим числом; авось либо открою путь большим отрядам!» — «Я этого от тебя и ожидал,— сказал князь,— впрочем, между нами, чего светлейший так опасается? Стоит ли торговаться несколькими сотнями людей, когда дело идет о том, что, в случае удачи, он может разорить у неприятеля и заведения, и подвозы, столь для него необходимые, а в случае неудачи, лишиться горсти людей? Как же быть! Война ведь не для того, чтобы целоваться».— «Верьте, князь,— отвечал я ему,— ручаюсь честью, что партия будет цела; для сего нужны только при отважности в залетах — решительность в крутых случаях и неусыпность на привалах и ночлегах; за это я берусь... только, повторяю, людей мало; дайте мне тысячу казаков и вы увидите, что будет».— «Я бы тебе дал с первого разу три тысячи, ибо не люблю ощупью дела делать, но об этом нечего и говорить; фельдмаршал сам назначил силу партии; надо повиноваться».

Тогда князь сел писать и написал мне собственною рукою инструкцию, также письма к генералам Васильчикову и Карпову: одному, чтобы назначил мне лучших гусаров, а другому — лучших казаков; спросил меня: имею ли карту Смоленской губернии? У меня ее не было. Он дал мне свою собственную и, благословя меня, сказал: «Ну, с богом! Я на тебя надеюсь!» Слова эти мне очень памятны!

Двадцать третьего рано я отнес письмо к генерал-адъютанту Васильчикову. У него много было генералов. Не знаю, как узнали они о моем назначении: чрез окружавших ли светлейшего, слышавших разговор его обо мне с князем, или чрез окружавших князя, стоявших пред овином, в котором он мне давал наставления? Как бы то ни было, но господа генералы встретили меня шуткою: «Кланяйся Павлу Тучкову [87],— говорили они,— и скажи ему, чтобы он уговорил тебя не ходить в другой раз партизанить». Однако если некоторым из них гибель моя представлялась в любезном виде, то некоторые соболезновали о моей участи, а вообще все понимали, что жить посреди неприятельских войск и заведений с горстью казаков — не легкое дело, особенно человеку, который почитался ими и *остряком* и *поэтом,* следственно, ни к чему не способным. Прошу читателя привести на память случай сей, когда я сойдусь с армиею под Смоленском.

Вышедши от Васильчикова, я отправился за гусарами к Колоцкому монастырю, куда тот день отступал арьергард наш под командою генерала Коновницына. Проехав несколько верст за монастырь, мне открылась долина битвы. Неприятель ломил всеми силами, гул орудий был неразрывен, дым их мешался с дымом пожаров, и *вся окрестность была, как в тумане.* Я с арьергардом ночевал у монастыря, полагая назавтра отобрать назначенных мне гусаров и ехать за казаками к Карпову, находившемуся на оконечности левого фланга армии.

Но 24-го, с рассветом, началось дело с сильнейшею яростью. Как оставить пир, пока стучат стаканами? Я остался. Неприятель усиливался всеминутно. Грозные тучи кавалерии его окружали фланги нашего арьергарда, в одно время как необозримое число орудий, размещенных пред густыми пехотными громадами, быстро подвигались прямо на него, стреляя беглым огнем беспрерывно. Бой ужасный! Нас обдавало градом пуль и картечей, ядра рыли колонны наши по всем направлениям... Кости трещали! Коновницын [88] отослал назад пехоту с тяжелою артиллерией и требовал умножения кавалерии.

Уваров прибыл с своею и великодушно поступил под его начальство. Я сам слышал, как он сказал ему: «Петр Петрович, не то время, чтобы считаться старшинством; вам поручен арьергард, я прислан к вам на помощь,— приказывайте!» Такие черты забываются, зато долго помнят каждую погрешность против правил французского языка истинного россиянина! Но к славе нашего отечества, это не один пример: Багратион, после блистательного отступления своего без ропота посту-

пивший под начальство Барклая в Смоленске; Барклай, поступивший под начальство Витгенштейна в Бауцене; Витгенштейн, поступивший снова под начальство Барклая во время и после перемирия; и прежде сего, в Италии, под Лекко,— Милорадович, явившийся под команду младшего себя по службе Багратиона,— представляют возвышенность в унижении, достойную геройских времен Рима и Греции!

Я прерываю описание жестоких битв армии. Не моя цель говорить о сражениях, представленных уже во многих сочинениях, известных свету; я предпринял описание поисков моей партии, к ним и обращаюсь.

Получа пятьдесят гусар и вместо ста пятидесяти — восемьдесят казаков и взяв с собою Ахтырского гусарского полка штабс-ротмистра Бедрягу 3-го, поручиков Бекетова и Макарова и с казацкой командой — хорунжих Талаева и Григорья Астахова, я выступил чрез село Сивково, Борис-Городок — в село Егорьевское, а оттуда на Медынь — Шанский завод — Азарово — в село Скугорево. Село Скугорево расположено на высоте, господствующей над всеми окрестностями, так что в ясный день можно обозревать с нее на семь или восемь верст пространства. Высота сия прилегает к лесу, простирающемуся почти до Медыни. Посредством сего леса партия моя могла скрывать свои движения и в случае поражения иметь в нем убежище. В Скугореве я избрал первый *притон*.

Между тем неприятельская армия стремилась к столице. Несчетное число обозов, парков, конвоев и шаек мародеров следовало за нею по обеим сторонам дороги, на пространстве тридцати или сорока верст. Вся эта сволочь, пользуясь безначалием, преступала все меры насилия и неистовства. Пожар разливался по сей широкой черте опустошения, и целые волости с остатком своего имущества бежали от сей всепожирающей лавы, куда — и сами не ведали. Но чтобы яснее видеть положение моей партии, надобно взять выше: путь наш становился опаснее по мере удаления нашего от армии. Даже места, неприкосновенные неприятелем, не мало представляли нам препятствий. Общее и добровольное ополчение поселян преграждало путь нам. В каждом селении ворота были заперты; при них стояли стар и млад с вилами, кольями, топорами и некоторые из них с огнестрельным оружием. К каждому селению один из нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли на помощь к ним и на защиту православныя церкви. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаха топор,

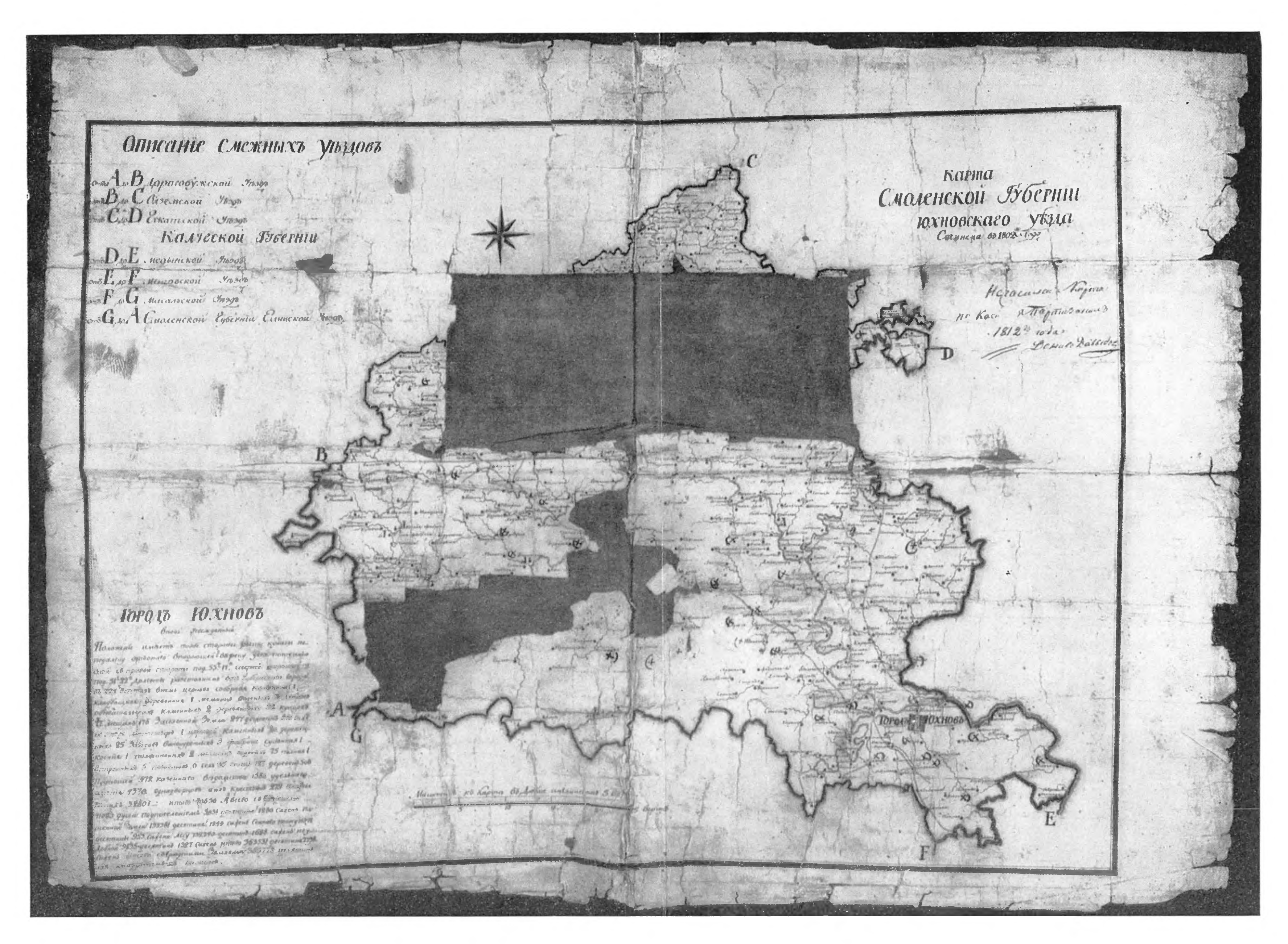
от ударов коих судьба спасла нас [89]. Мы могли бы обходить селения; но я хотел распространить слух, что войска возвращаются, утвердить поселян в намерении защищаться и склонить их к немедленному извещению нас о приближении к ним неприятеля, почему с каждым селением продолжались переговоры до вступления в улицу. Там сцена переменялась; едва сомнение уступало место уверенности, что мы русские, как хлеб, пиво, пироги подносимы были солдатам.

Сколько раз я спрашивал жителей *по заключении между нами мира:* «Отчего вы полагали нас французами?» Каждый раз отвечали они мне: «Да вишь, родимый (показывая на гусарский мой ментик), это, бают, на их одёжу схожо».— «Да разве я не русским языком говорю?» — «Да ведь у них всякого сбора люди!» Тогда я на опыте узнал, что в Народной войне должно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях и в одежде [90]. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая [91] и заговорил с ними языком народным.

Но сколь опасности сии были ничтожны перед ожидавшими нас на пространстве, занимаемом неприятельскими отрядами и транспортами! Малолюдность партии в сравнении с каждым прикрытием транспорта и даже с каждою шайкой мародеров; при первом слухе о прибытии нашем в окрестности Вязьмы, сильные отряды нас ищущие; жители, обезоруженные и трепещущие французов, следственно, близкие нескромности,— все угрожало нам гибелью.

Дабы избежать ее, день мы провождали на высотах близ Скугорева, скрытно и зорко; перед вечером, в малом расстоянии от села, раскладывали огни; перейдя гораздо далее, в месте, противном тому, где определяли ночлег, раскладывали другие огни и, наконец, войдя в лес, провождали ночь без огня. Если случалось в сем последнем месте встретить прохожего, то брали его и содержали под надзором, пока выступали в поход. Когда же он успевал скрыться, тогда снова переменяли место. Смотря по расстоянию до предмета, на который намеревались учинить нападение, мы за час, два или три до рассвета подымались на поиск и, сорвав в транспорте неприятеля, что по силе, обращались на другой; нанеся еще удар, возвращались окружными дорогами к спасительному нашему лесу, коим мало-помалу снова пробирались к Скугореву.

Так мы сражались и кочевали от 29 августа до 8 сентября. Так, полагаю я, начинал Ермак, одаренный высшим против



«Карта Смоленской губернии Юхновского уезда», подаренная Денису Давыдову П. Багратионом

меня дарованием, но сражавшийся для тирана, а не за отечество. Не забуду тебя никогда, время тяжкое! И прежде, и после я был в жестоких битвах, провождал ночи стоя, приклонясь к седлу лошади и рука на поводьях... Но не десять дней, не десять ночей сряду, и дело шло о жизни, а не о чести.

Узнав, что в село Токарево пришла шайка мародеров, мы 2 сентября на рассвете [92] напали на нее и захватили в плен девяносто человек, прикрывавших обоз с ограбленными у жителей пожитками. Едва казаки и крестьяне занялись разделением между собою добычи, как выставленные за селением скрытные пикеты наши дали нам знать о приближении к Токареву другой шайки мародеров. Это селение лежит на скате возвышенности у берега речки Вори, почему неприятель нисколько не мог нас приметить и шел прямо без малейшей осторожности. Мы сели на коней, скрылись позади изб и за несколько саженей от селения атаковали его со всех сторон с криком и стрельбою, ворвались в средину обоза и еще захватили семьдесят человек в плен.

Тогда я созвал *мир* и объявил ему о *мнимом* прибытии большого числа наших войск на помощь уездов Юхновского и Вяземского; роздал крестьянам взятые у неприятеля ружья и патроны, уговорил их защищать свою собственность и дал наставление, как поступать с шайками мародеров, числом их превышающих. «Примите их,— говорил я им,— дружелюбно, поднесите с поклонами (ибо, не зная русского языка, поклоны они понимают лучше слов) все, что у вас есть съестного, а особенно питейного, уложите спать пьяными и, когда приметите, что они точно заснули, бросьтесь все на оружие их, обыкновенно кучею в углу избы или на улице поставленное, и совершите то, что бог повелел совершать с врагами христовой церкви и вашей родины. Истребив их, закопайте тела в хлеву, в лесу или в каком-нибудь непроходимом месте. Во всяком случае, берегитесь, чтобы место, где тела зарыты, не было приметно от свежей, недавно вскопанной земли; для того набросайте на него кучу камней, бревен, золы или другого чего. Всю добычу военную, как мундиры, каски, ремни и прочее,— все жгите или зарывайте в таких же местах, как и тела французов. Эта осторожность оттого нужна, что другая шайка басурманов, верно, будет рыться в свежей земле, думая найти в ней или деньги, или ваше имущество; но, отрывши вместо того тела своих товарищей и вещи, им принадлежавшие, вас всех побьет и село сожжет. А ты, брат староста, имей надзор над всем тем, о чем я приказываю; да прикажи, чтобы

на дворе у тебя всегда были готовы три или четыре парня, которые, когда завидят очень многое число французов, садились бы на лошадей и скакали бы врознь искать меня,— я приду к вам на помощь. Бог велит православным христианам жить мирно между собою и не выдавать врагам друг друга, особенно чадам антихриста, которые не щадят и храмы божии! Все, что я вам сказал, перескажите соседям вашим».

Я не смел дать этого наставления письменно, боясь, чтобы оно не попалось в руки неприятеля и не уведомило бы его о способах, данных мною жителям для истребления мародеров.

После сего, перевязав пленных, я определил к ним одного урядника и девять казаков, к которым присоединил еще двадцать мужиков. Весь этот транспорт отправлен был в Юхнов для сдачи городскому начальству под расписку [93]. Казакам сим я приказал дождаться партии в Юхнове, уверясь, что по ее малолюдству мне нельзя будет оставаться долго в местах, неприятелем наполненных. Однако мне хотелось испытать еще судьбу с горстью моих товарищей и побороться с невозможностью; а так как обязанность моя не состояла в поражении бродяг, но в истреблении транспортов жизненного и военного продовольствия французской армии, то я, по распространении наставления, данного мною токаревским крестьянам, по всем селениям, чрез которые проходила партия моя, взял направление к Цареву-Займищу, лежащему на столбовой Смоленской дороге.

Был вечер ясный и холодный. Сильный дождь, шедший накануне, прибил пыль по тропинке, коею мы следовали связно и быстро. В шести верстах от села попался нам разъезд неприятельский, который, не видя нас, шедших лощиною вдоль опушки леса, беззаботно продолжал путь свой. Если бы я не имел нужды в верном известии о Цареве-Займище, занимаемо ли оно войском и какой оно силы, я бы пропустил разъезд этот без нападения, опасаясь, в случае упущения одного из разъездных, встревожить отряд или прикрытие транспорта, в селе находившегося. Но мне нужен был *язык,* и потому я нарядил урядника Крючкова с десятью доброконными казаками наперехват вдоль по лощине, а других десять — прямо на разъезд. Разъезд, видя себя окруженным, остановился и сдался в плен без боя. Он состоял из десяти рядовых при одном унтер-офицере. Мы узнали, что в Цареве-Займище днюет транспорт с снарядами и с прикрытием двухсот пятидесяти человек конницы.

Дабы пасть как снег на голову, мы свернули с дороги и пошли полями, скрываясь опушками лесов и по лощинам; но за три версты от села, при выходе на чистое место, встретились с неприятельскими фуражирами, числом человек в сорок. Увидя нас, они быстро обратились во всю прыть к своему отряду. Тактические построения делать было *некогда*, да и *некем*. Оставя при пленных тридцать гусаров, которые в случае нужды могли служить мне резервом, я с остальными двадцатью гусарами и семьюдесятью казаками помчался в погоню и почти вместе с уходившими от нас въехал в Царево-Займище, где застал всех врасплох. У страха глаза велики, а страх неразлучен с беспорядком. Все рассыпалось при нашем появлении: иных мы захватили в плен, не только без оружия, но даже без одежды, иных вытащили из сараев; одна только толпа в тридцать человек вздумала было защищаться, но была рассеяна и положена на месте. Сей наезд доставил нам сто девятнадцать рядовых, двух офицеров, десять провиантских фур и одну фуру с патронами. Остаток прикрытия спасся бегством.

Добычу нашу мы окружили и повели поспешно чрез село Климово и Кожино в Скугорево, куда прибыли в полдень 3-го числа.

Партия моя, быв тридцать часов беспрерывно в походе и действии, требовала отдохновения, почему она до вечера 4-го числа оставалась на месте. Для облегчения лошадей я прибегнул к способу, замеченному мною на аванпостах генерала Юрковского еще в 1807 году. Исключив четыре казака для двух пикетов и двадцать — для резерва (который хотя должен был находиться при партии, но всегда был в готовности действовать при первом выстреле пикетов), остальных девяносто шесть человек я разделил надвое и приказал в обеих частях расседлывать по две лошади на один час для промытия и присыпки ссадин и также для облегчения. Чрез час сии лошади вновь седлались, а новые расседлывались; таким образом в двадцать четыре часа освежалось девяносто шесть лошадей. В тот же день, по просьбе резерва, я позволил и оному расседлывать по одной лошади на один час.

Пятого числа мы пошли на село Андреевское, но на пути ничего не взяли, кроме мародеров, числом тридцать человек.

Шестого мы обратились к Федоровскому (что на столбовой Смоленской дороге), рассеевая везде наставление, данное мною токаревским крестьянам. На пути встретили мы бежавшего из транспорта наших пленных Московского пехотного полка рядового, который нам объявил, что транспорт их из двухсот

рядовых солдат остановился ночевать в Федоровском и что прикрытие оного состоит из пятидесяти человек. Мы удвоили шаг и едва показались близ села, как уже без помощи нашей все в транспорте сем приняло иной вид: пленные поступали в прикрытие, а прикрытие — в пленных.

Вскоре после сего я извещен был о пребывании в Юхнове дворянского предводителя, судов и земского начальства, также и о бродящих без общей цели двух слабых казачьих полках в Юхновском уезде. Известие сие немедленно обратило меня к Юхнову, куда чрез Судейки, Луково и Павловское я прибыл 8-го числа.

Пришедши туда, я бросился к двум привлекавшим меня предметам: к образованию поголовного ополчения и к присоединению к партии моей казацких полков, о коих я упомянул выше.

До первого я достиг беспрепятственно: дворянский предводитель Семен Яковлевич Храповицкий подал мне руку помощи со всею ревностию истинного сына Отечества. Сей почтенный старец не только оказал твердость духа, оставшись для примера дворянам с семейством своим на аванпостах Калужской губернии, но ознаменовал особенную силу воли и неусыпную строгость в надзоре за принятыми им мерами к подъятию оружия жителями Юхновского уезда. Отставной капитан Бельский назначен был ими начальствовать. К нему присоединились двадцать два помещика; сто двадцать ружей, партиею моей отбитые, и одна большая фура с патронами поступили для употребления первым ополчившимся, которым сборное место я показал на реке Угре, в селе Знаменском.

Второе требовало со стороны моей некоторой хитрости: означенные казацкие полки были в ведении начальника калужского ополчения, отставного генерал-лейтенанта Шепелева [94]. Личное добродушие и благородство его мне были давно известны, но я знал, что такое начальник ополчения, которому попадается в руки военная команда! Сколь таковое начальство льстит его самолюбию! На сем чувстве я основал предприятие мое. Уверен будучи, что требование сих полков в состав моей партии, если она останется от него независимою, будет без успеха, я сам, будто бы, добровольно поступил под его начальство. Еще из села Павловского я отправил к нему с рапортом поручика Бекетова. В рапорте я говорил, что, «избрав для поисков моих часть, смежную с губерниею, находящеюся под ведением его превосходительства относительно военных действий, я за честь поставляю служить под его

командою и за долг — доносить о всем происходящем». Из Юхнова я послал другого курьера с описанием слабых успехов моих и с испрошением ходатайства его об отличившихся (истинные рапорты мои посылаемы были прямо к дежурному генералу всех российских армий Коновницыну). Добрый мой Шепелев растаял от восхищения. Он уже возмечтал, что я действую по его плану, что он поражает неприятеля! 9-го числа я послал к нему нового курьера с *красноречивейшим* описанием пользы *единства* в *действии* и, как следует, заключил рапорт покорнейшею просьбою об усилении меня казацкими полками, находящимися, подобно партии моей, под его командою.

Во время продолжения дипломатической переписки моей я занимался рассылкою чрез земское начальство предписаний о поголовном ополчении.

Между тем из двухсот отбитых нами пленных я выбрал шестьдесят не рослых, а доброхотных солдат; за неимением русских мундиров одел их во французские мундиры и вооружил французскими ружьями, оставя им для приметы русские фуражки вместо киверов.

Еще мы были в неведении о судьбе столицы, как 9-го числа прибыл в Юхнов Волынского уланского полка маиор Храповицкий[95], сын юхновского дворянского предводителя, и объявил нам о занятии Москвы французами.

Я ожидал события сего и доказывал неминуемость оного, если продолжится отступление по Смоленской дороге, но при всем том весть сия не могла не потрясти душу, и, сказать правду, я и товарищи мои при первых словах очень позадумались! Однако, так как все мы были *неунылого десятка,* то и начали расспрашивать Храповицкого о подробностях. Он уверил нас, что оставил армию в Красной Пахре; что она продолжает движение свое для заслонения Калужской дороги; что Москва предана огню[96] и что никто в армии не помышляет о мире... Я затрепетал от радости и тут же всем находившимся тогда в городе помещикам и жителям предсказал спасение отечества, если Наполеон оставит в покое армию нашу между Москвою и Калугою до тех пор, пока она усилится следуемыми к ней резервными войсками и с Дону казаками. Кто маломальски сведущ был в высшей военной науке, тому последствие превосходного движения светлейшего в глаза бросалось. Я счел за лишнее учить стратегии юхновских помещиков, как некогда Колумб не заблагорассудил учить астрономии американских дикарей, предсказывая им лунное затмение. Вечером

я получил письмо калужского гражданского губернатора от 8 сентября следующего содержания:

«Все свершилось! Москва не наша: она горит!.. Я от 6-го числа из Подольска. От светлейшего имею уверение, что он, прикрывая Калужскую дорогу, будет действовать на Смоленскую. Ты не шути, любезный Денис Васильевич! Твоя обязанность велика! Прикрывай Юхнов, и тем спасешь средину нашей губернии; но не залетай далеко, а держись Медыни и Масальска; мне бы хотелось, чтобы ты действовал таким образом, чтобы не навлечь на себя неприятеля».

Я принял уверенность на меня с самолюбием смертного, но робкий совет не навлекать *на себя* (то есть на Калугу и на калужского губернатора) неприятеля — оставил без внимания.

Десятого вечером я получил от начальника калужского ополчения предписание принять в мою команду требуемые мною казачьи полки и приставшего к партии моей маиора Храповицкого.

Одиннадцатого мы отслужили молебен в присутствии гражданских чиновников и народа и выступили в поход с благословениями всех жителей. С нами пошли: отставной мичман Николай Храповицкий, титулярный советник Татаринов, шестидесятилетний старец, и землемер Макаревич; прочие помещики остались дома, довольствуясь ношением охотничьих кафтанов, препоясанные саблями и с пистолетами за поясом. К вечеру мы прибыли в Знаменское и соединились с полками 1-м Бугским и Тептярским. Первый состоял из шестидесяти человек, а второй из ста десяти.

Прежде нежели описывать действия войск, чрез неожиданное умножение поступивших из, так сказать, *разбойнической шайки в наездничью партию,* не лишнее будет познакомить читателя с частными начальниками оной.

Волынского уланского полка маиор Степан Храповицкий [97] — росту менее среднего, тела тучного, лица смуглого, вóлоса черного, борода клином; ума делового и веселого, характера вспыльчивого, человек возвышенных чувств, строжайших правил честности и исполненный дарований как для поля сражения, так и для кабинета; образованности европейской.

Состоявший по кавалерии ротмистр Чеченский [98] — черкес, вывезенный из Чечни младенцем и возмужавший в России. Росту малого, сухощавый, горбоносый, цвету лица бронзового, волосу черного, как *крыло ворона,* взора орлиного. Характер ярый, запальчивый и неукротимый; явный друг или враг;

предприимчивости беспредельной, сметливости и решимости мгновенных.

Ахтырского гусарского полка штабс-ротмистр Николай Бедряга [99] — малого росту, красивой наружности, блистательной храбрости, верный товарищ на биваках; в битвах — впереди всех, *горит, как свечка.*

Того же полка поручик Дмитрий Бекетов [100] — росту более нежели среднего, тела тучного, круглолицый, златокудрый. Сердцем — *малый,* как говорится, *рубаха,* весельчак, с умом объемистым, тонким и образованным; офицер весьма храбрый и надежный даже и для отдельных поручений.

Того же полка поручик Макаров [101] — росту высокого, широкоплечий и силы необыкновенной, без образования, но с умом точным. Агнец между своими, тигр на поле битвы.

Первого Бугского полка сотник Ситников, шестидесятилетний старец, и Мотылев, молодой офицер. Оба отличной храбрости и неутомимой деятельности офицеры.

Хорунжий Талаев и Григорий Астахов — офицеры обыкновенные.

Иловайского 10-го полка урядник Крючков [102] — молодой парень, ездок отличный и неутомимый, храбрости чистой, сметливости черкесской.

Шкляров [103] — старший вахтмистр отряда гусаров моей партии, храбрый исполнитель приказаний без размышления.

Иванов — вахтмистр Ахтырского гусарского полка. Головорез, за буянство и разврат несколько раз разжалованный мною в рядовые и за храбрость несколько раз пожалованный в вахтмистры.

Скрыпка и Колядка — надежные вахтмистры.

Гусары все были отличного военного поведения. Наименую тех из них, коих не забыл имена: Федоров, Зворич, Мацыпура, Жирко, Форост, Гробовой, Мацырюк, Пучков, Егоров, Зола, Шкредов, Крут, Бондарев, Куценко, Приман, Осмак, Лишар.

Урядники Донского войска, кои остались у меня в памяти, были: Тузов, Логинов, Лестов; казаки: Афонин, Антифеев, Волков, Володька. Сожалею, что забыл остальных, ибо бо́льшая часть из них достойны быть известными.

На 12 <сентября> я предпринял поиск в самой Вязьме. Сердце радовалось при обзоре *вытягивавшихся полков моих.* С ста тридцатью всадниками я взял триста семьдесят человек и двух офицеров, отбил своих двести и получил в добычу одну фуру с патронами и десять провиантских фур... Тут же я командовал тремястами всадников; какая разница! какая

надежда! К тому же ревность обывателей, деятельность дворянского предводителя в разглашении о поголовном ополчении, в продовольствии моей партии, в устроении на собственное иждивение лазарета в Юхнове и, наконец, спасительное движение армии на Калужскую дорогу — все улыбалось моему воображению, всегда быстро летящему навстречу всему соблазнительному для моего сердца!

На рассвете мы атаковали в виду города неприятельский отряд, прикрывавший транспорт провианта и артиллерийских снарядов. Отпор не соответствовал стремительности натиска, и успех превзошел мое ожидание: двести семьдесят рядовых и шесть офицеров положили оружие, до ста человек легло на месте; двадцать подвод с провиантом и двенадцать артиллерийских палубов с снарядами достались нам в добычу. Немедленно две фуры с патронами и триста сорок ружей поступили в распоряжение командовавшего поголовным ополчением отставного капитана Бельского; и таким образом, с первых дней я имел уже в Знаменском почти на пятьсот человек готового оружия.

Четырнадцатого мы подошли к селению Теплухе, что на столбовой Смоленской дороге, и остановились на ночлег со всею военною осторожностью. Там явился ко мне крестьянин Федор из Царева-Займища с желанием служить в моей партии. Этот удалец, оставя жену и детей, скрывшихся в лесах, находился при мне до изгнания неприятеля из Смоленской губернии и только после освобождения оной возвратился на свое пепелище. По возвращении моем из Парижа в 1814 году я нарочно останавливался в Цареве-Займище, с тем, чтобы посетить моего храброго товарища, но мне сказали, что его уже нет на свете. Он умер от заразы со многими поселянами, скрывавшимися в лесах во время его ратования. Какое поучение! И те, кои избегают смерти, и те, кои на нее отваживаются,— всем равная участь; каждому определен срок неминуемый!.. Стоит ли прятаться и срамиться!

Четырнадцатого к вечеру начали подходить мародеры, а так как мы были скрыты и во всей осторожности, то брали их без малейшего с их стороны сопротивления и почти поодиночке. К десяти часам ночи число пленных дошло до семидесяти человек и двух офицеров; у одного из них все карманы набиты были грабленными печатками, ножичками и прочим. Надобно, однако, сказать, что офицер сей был не француз, а вестфалец.

Пятнадцатого, около восьми часов утра, пикетные открыли шедшее от села Тарбеева большое количество фур, покрытых белым холстом. Некоторые из нас сели на коней и, проскакав несколько шагов, увидели их, подобно флоту, на парусах подвигавшемуся. Немедленно штабс-ротмистр Бедряга 3-й, поручики Бекетов и Макаров с гусарами и казачьи полки помчались к ним наперерез. Передние ударили на прикрытие, которое после нескольких пистолетных выстрелов обратилось в бегство; но, быв охвачено Бугским полком, бросило оружие. Двести шестьдесят рядовых разных полков, с лошадьми их, два офицера и двадцать фур, полных хлебом и овсом, со всею упряжью, попались нам в руки.

До сего времени все предприятия мои были направлены между Гжатью и Вязьмою. Успех их пробудил деятельность французского губернатора [104]. Он, собрав все конные, чрез город сей следующие, команды, составил сильный отряд (из двух тысяч рядовых, восьми офицеров и одного штаб-офицера) и предписал ему [105] очистить от набегов моих все пространство между Вязьмою и Гжатью, разбить непременно мою партию и привезти меня в Вязьму живого или мертвого [106]. О таковой *неучтивости* я извещен был еще 13 сентября, а 15-го, по взятии транспорта, уведомился чрез конного крестьянина, что отряд сей подошел уже к Федоровскому. Я старался, сколь возможно, чтобы случайность не мешалась в предприятия и извороты мои, вследствие чего вся моя партия выступила сейчас из Теплухи и пошла по дороге к селу Шуйскому. Пройдя некоторое расстояние, она по лощине, покрытой лесом, повернула круто вправо, перешла вне вида Теплухи столбовую дорогу и отступила чрез Румянцево в Андреевское. Там, проведя ночь в строжайшей осторожности, пошла усиленным шагом на село Покровское, находившееся в пяти верстах от столбовой дороги.

Перемещение мое основывалось на трех предположениях: или отряд, назначенный против меня действовать, потеряв меня из виду, обратится к первому назначению своему, то есть продолжать будет путь свой к Москве; или, гоняясь за мною от Дорогобужа до Гжати и от Гжати к Дорогобужу, и изнурит лошадей своих, и представит мне случай поразить его с меньшим затруднением; или, разделясь, чтобы охватить меня, подвергнет себя разбитию по частям.

Восемнадцатого, вечером, по прибытии нашем в село Покровское, крестьянин, пришедший с большой дороги, объявил нам, что он видел пехотного солдата, бежавшего из транспорта

пленных наших, которые остановились на ночлег в селе Юреневе, и что сей солдат ночует в селе Никольском, между Юреневым и Покровским. Я спросил крестьянина, может ли он привести ко мне солдата сего? Он отвечал, что может, но что так как одному ему идти туда страшно, то просит казака проводить его. Я ему дал известного урядника Крючкова, и они отправились.

Девятнадцатого, за два часа перед рассветом, посланные мои возвратились и привели этого солдата. Он объявил мне, что, точно, тысяча человек наших пленных остановилась в Юреневе, что часть их заперта в церкви, а часть ночует в селе по избам, где расположена и часть прикрытия, состоящего всего из трехсот человек. Я велел садиться на коней и, пока партия вытягивалась, Крючков при крестьянине и солдате рассказал мне, как, подъехав к Никольскому, они встретили прохожего, который объявил им, что при нем вошла в оное село шайка мародеров, как крестьянин оробел и не смел войти в село, но что он, Крючков, расспрося его подробно о месте, где ночует солдат, надел на себя кафтан крестьянина, вошел в село, наполненное французами, прямо пришел к сенному сараю, где, по рассказу крестьянина, должен был ночевать солдат, разбудил и вывел его оттуда. Такой отважный поступок усугубил большое уважение к нему всех его товарищей, а меня поставил в приятную обязанность донести о том самому светлейшему.

Мы обошли Никольское и остановились за четверть версты от Юренева; еще было час времени до рассвета. К несчастию, пока партия была на марше, транспорт пленных поднялся и пошел далее по Смоленской дороге, оставя место свое трем баталионам польской пехоты, шедшим от стороны Смоленска в Москву. Один из них расположился в селе, а два за церковью, на биваках. Войска сии были в совершенной оплошности, что доказывает неумышленность сего перемещения.

Основываясь на рассказе солдата и полагая, что в самом селе не более половины прикрытия, ибо другую половину я полагал около церкви, заключавшей в себе другую часть наших пленных, я с рассветом осмотрел местоположение и приказал шестидесяти человекам пехоты, прокравшись лощиною к селу, вторгнуться в средину улицы, закричать: *«Ура! наши сюда!»* и на штыках вынести вон неприятеля. Сею пехотою командовал отставной мичман Николай Храповицкий.

В одно время Бугский полк должен был объехать село и стать на чистом месте, между деревнею и церковью, дабы отрезать дорогу оставшимся от поражения. Прежний мой отряд и Тептярский полк я оставил в резерве и расположил

полускрытно около леса, приказав им открывать разъездами столбовую дорогу к Вязьме.

Распоряжение мое было исполнено со всею точностию, но не с той удачею, каковую я ожидал. Пехота тихо пробралась лощиною и, бросясь в село, вместо пленных наших и слабого их прикрытия попалась в средину хотя оплошного, но сильного неприятельского батальона. Огонь затрещал из окон и по улице... Герои! Они опирались брат на брата и штыками пробили себе путь к Бугскому полку, который подал им руку. В пять минут боя из шестидесяти человек тридцать пять легло на месте или было смертельно ранено.

Между тем Чеченский с Бугским полком совершенно пресек путь атакованному батальону, который, ожидая подкрепления, мнил до прибытия его удержаться в селе и усилил огонь по нас из изб и огородов. Кипя мщением, я вызвал охотников зажечь избы, в коих засел неприятель... Первыми на то отважились оставшиеся мои двадцать пять героев! Избы вспыхнули, и более двухсот человек охватилось пламенем. Поднялся крик ужасный, но было поздно! Видя неминуемую гибель, батальон стал выбегать из села вроссыпь. Чеченский сие приметил, ударил и взял сто девятнадцать рядовых и одного капитана в плен. Тогда батальон столпился, был несколько раз атакован и отступил с честью к двум вышеупомянутым батальонам, которые уже шли от церкви к нему на помощь. Когда они показались, я, видя, что нам нечего с ними будет делать, приказал понемногу отступать. Огонь, ими по нас производимый, причинил мало вреда, и мы, подобрав наших раненых, вскоре вышли из выстрелов. В это время один из посланных разъездов к стороне Вязьмы уведомил меня о расположенном артиллерийском парке версты за три от места сражения, за столбовою дорогою. Я, отправя раненых в Покровское под прикрытием Тептярского полка, помчался с остальными войсками к парку и овладел оным без малейшего сопротивления. Он состоял в двадцати четырех палубах, в ста сорока четырех волах для перевозки их употребленных и двадцати трех фурманщиках; прочие скрылись в лесах. Возвратясь после сего полууспешного поиска в Покровское, я был, по крайней мере, утешен тем, что опыт поисков, сделанных мною с первою моей командою на Смоленской дороге, обратили светлейшего к предложению моему, и легкие отряды назначены были действовать на путь сообщения неприятеля.

Едва мы успели расположиться в Покровском, как известился я, что новый транспорт пленных наших, числом четыреста человек, остановился неподалеку от нас. Быв уже раз

наказан за отвагу штурмовать селение, занятое пехотою, я отрядил вперед урядника Крючкова с шестью отборными казаками: Ластевым, Афониным, Володькой, Волковым и еще двумя, коих забыл имена, и велел ему, подъехав к деревне, выстрелить из пистолетов и поспешно скрыться, дабы тем, встревожа прикрытие, принудить его искать себе покойнее для привала место. Партия же следовала за Крючковым скрытно и оставалась в засаде, ожидая выхода транспорта из селения.

Совершенный успех увенчал мое предприятие. Едва Крючков и казаки его, выстреля, удалились от деревни, как весь транспорт стал вытягиваться из оной. Дав ему отойти на расстояние около двухсот саженей, партия моя поднялась на высоту и часть ее бросилась по долу в атаку. Пленные помогли атакующим, и прикрытие, в сто шестьдесят шесть человек и четыре офицера состоявшее, мгновенно было обезоружено. С добычею сей я воротился на ночлег в Покровское, откуда 20-го, поутру, пошел в село Городище как для доставления покоя моей партии, так и для личного осмотра поголовного ополчения в Знаменском. К тому же я был отягчен добычею. Поиск сей мне доставил девятьсот восемь рядовых, пятнадцать офицеров, тридцать шесть артиллерийских палубов и сорок провиантских фур, сто сорок четыре вола, которых определил я на порцию, и около двухсот лошадей, из коих, выбрав лучшие для худоконных казаков, остальные роздал крестьянам. Так как Городище в пятидесяти верстах от столбовой Смоленской дороги и, следственно, вне опасности от внезапного неприятельского нападения, то партия моя разделилась надвое. Бугский полк занял деревню Луги, в трех верстах от Городища, где я остался с другою частью моей команды. Пикеты были выставлены на двух главных дорогах, и разъезды посылаемы не далее как за три и четыре версты, каждый день по два раза.

Между тем из четырехсот отбитых наших пленных я выбрал двести пятьдесят человек и присоединил к ним остаток моей пехоты, которую назвал *«Геройским полувзводом»* [107]. В полувзвод сей я переводил только за отличие и, таким образом, мало-помалу умножил его до двух взводов. Остальных сто пятьдесят человек я отправил в Знаменское и, наименовав их *«Почетною полуротою»*, брать с них пример предписал всему поголовному ополчению.

Двадцать первого, рано, я ездил в Знаменское, где нашел уже до пятисот человек под ружьем. Бельский мне объявил, что прочие тысяча пятьсот, вооруженные также неприятельскими ружьями, находятся по деревням и в готовности при первой

повестке собраться в Знаменское. Он уверял, что рвение поселян так велико, что в случае нужды можно набрать в весьма короткое время до шести тысяч народа; но те уже будут вооружены копьями и топорами, а не ружьями. Потрясение в умах возымело действие, направление было показано... Ежели бы мы угрожаемы были миром! Я желал бы более; но тогда я и тем был доволен.

К славе нашего народа, во всей той стороне известными изменниками были одни дворовые люди отставного маиора Семена Вишнева и крестьяне Ефим Никифоров и Сергей Мартынов. Первые, соединясь с французскими мародерами, убили господина своего; Ефим Никифоров с ними же убил отставного поручика Данилу Иванова, а Сергей Мартынов наводил их на известных ему богатых поселян, убил управителя села Городища, разграбил церковь, вырыл из гробов прах помещицы села сего и стрелял по казакам. При появлении партии моей в ту сторону все первые разбежались и скрылись, но последнего мы захватили 14-го числа. Эта добыча была для меня важнее двухсот французов! Я немедленно рапортовал о том начальнику ополчения и приготовил примерное наказание.

Двадцать первого пришло мне повеление расстрелять преступника, и тот же час разослано от меня объявление по всем деревням на расстоянии десяти верст, чтобы крестьяне собирались в Городище. Четыре священника ближних сел туда же приглашены были. Двадцать второго, поутру, преступника исповедали, надели на него белую рубашку и привели под караулом к самой той церкви, которую он грабил с врагами отечества. Священники стояли перед нею лицом в поле; на одной черте с ними — взвод пехоты. Преступник был поставлен на колена, лицом к священникам, за ним народ, а за народом вся партия — полукружием. Его отпевали... живого. Надеялся ли он на прощение? До верхней ли степени вкоренилось в нем безбожие? Или отчаяние овладело им до бесчувственности? Но во время богослужения он ни разу не перекрестился. Когда служба кончилась, я велел ему поклониться на четыре стороны. Он поклонился. Я велел народу и отряду расступиться. Он глядел на меня глазами неведения; наконец, когда я велел отвести его далее и завязать глаза, он затрепетал... Взвод подвинулся и выстрелил разом. Тогда партия моя окружила зрителей, из коих хотя не было ни одного изменника и грабителя, но были ослушники начальства. Я имел им список, стал выкликать виновных поодиночке и наказывать нагайками.

Когда кончилась экзекуция, Степан Храповицкий читал: «Так карают богоотступников, изменников отечеству и ослушников начальству! Ведайте, что войско может удалиться на время, но государь, наш православный царь, знает, где зло творится, и при малейшем ослушании или беспорядке мы снова явимся и накажем предателей и безбожников, как наказали разбойника, перед вами лежащего; ему и места нет с православными на кладбище; заройте его в Разбойничьей долине» [108].

Тогда священник Иоанн, подняв крест, сказал: «Да будет проклят всякий ослушник начальства! Враг бога и предатель царя и отечества! Да будет проклят!»

После сего я читал народу наставление, данное мною токаревским крестьянам, и распустил всех по домам; а вечером послал курьера с донесением как об успехе моих поисков, так и о наказании помянутого преступника.

Двадцать третьего, поутру, известился я о кончине благодетеля моего, героя князя Петра Ивановича Багратиона. Судьба, осчастливя меня особою его благосклонностию, определила мне и то счастие, чтобы отдать первую почесть его праху поражением врагов в минуту сего горестного известия. Один пикет, стоявший на проселочной дороге, которая ведет из Городища к Дорогобужу, дал знать, что две большие неприятельские колонны идут к Городищу. Я приказал кавалерии поспешнее седлать и садиться на коней, послал с тем же к Чеченскому в Луги, а сам бросился с пехотою к выезду из села на Дорогобужскую дорогу. Намерение мое состояло в том, чтобы удержать пехотою вход неприятелю в деревню и тем дать время кавалерии изготовиться, собраться и, объехав деревню, ударить неприятелю в тыл.

До выезда — более версты расстояния. Я ехал рысью, и клянусь честью, что пехотинцы мои не только от меня не отставали, но несколько человек из них даже опередили меня. Такова была алчность их к битвам. Подъехав к дальним избам, я остановил мою команду, рассыпал между избами и огородами пятьдесят стрелков, а остальных двести двадцать пять человек, построя в две колонны, показал головы колонн и скрыл хвосты оных за строением. По учреждении всего касательно до защиты села, я поехал вперед увериться сам собою, достоин ли неприятель столь великолепного приема. Вскоре мне открылась толпа пехоты человек в четыреста. Вначале она направлялась к Городищу, но, получа несколько выстрелов от стрелков и увидя колонны мои, потянулась мимо. Тогда я уверился, что эта толпа никакого против меня дерзкого намерения не имеет. И подлин-

но, она была не что иное, как сильная шайка мародеров. Я велел стрелкам напирать на отступающих, а всей пехоте — следовать за стрелками. В это время мы увидели маиора Храповицкого, несущегося вихрем с кавалериею. Неприятель бросился в ближнюю рощу; пехота моя — за ним. Гул выстрелов и крик *ура!* загремели и слились вместе. Роща примыкала к реке Угре, на которой есть броды; за рекою же тянулся сплошной лес почти до Масальска; добыча вырывалась. Храповицкий, уроженец и житель Городища [109], с отличнейшими военными дарованиями соединял на этот случай и вернейшее местное познание. Он немедленно обскакал рощу и стал между нею и рекою, в одно время как пехота ворвалась в рощу.

Неприятель, видя неминуемую гибель, стал бросать оружие и сдаваться; я велел щадить, уверенный, что приличнейшая почесть праху великодушного — есть великодушное мщение. Тут мы увидели Чеченского, скачущего с полком своим к нам на помощь. Ему донесли, что мы разбиты и приперты к реке. Удивление его было наравне с радостью, найдя нас победителями. Неожиданное дело сие доставило нам триста тридцать рядовых и пять офицеров. Отставной мичман Николай Храповицкий, командовавший пехотою, в этом деле отличился. Возвратясь в Городище, мы отпели панихиду по нашем герое, моем благодетеле — князе Петре Ивановиче Багратионе, и выступили в село Андреяны.

В то самое время я получил повеление отделить от себя Тептярский полк к Рославлю и Брянску для содействия отряду калужского ополчения, назначенному прикрывать Орловскую губернию. Как ни тяжко мне было исполнить сие повеление, но, чувствуя важность Рославльского пункта, угрожаемого отрядами, посылаемыми из Смоленска на Орловскую дорогу, я без прекословия приказал маиору Темирову идти чрез Мутищево в Рославль.

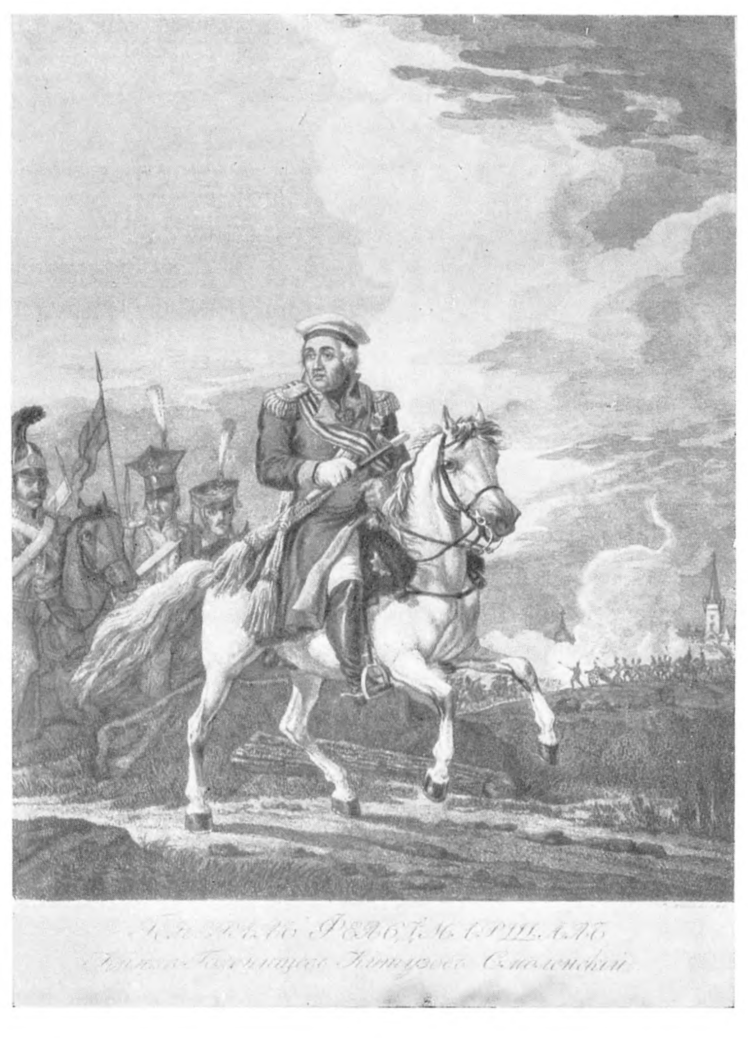
Двадцать четвертого мы узнали, что неприятельский отряд, определенный против нас действовать, проходя несколько дней без успеха между Вязьмою и Гжатью, показался между Семлевым и Вязьмою, в селе Монине. Не отступая от моего намерения, я обратился к Федоровскому и вечером прибыл в Слукино.

Двадцать пятого от Федоровского мы поворотили вправо к Вязьме, столбовой дорогой. Я хотел посредством сильной перестрелки вокруг города притянуть снова неприятельский отряд в сию сторону и тогда обратиться к Семлеву, где местоположение гораздо удобнее для действия слабым партиям.

Передовые мои открыли перестрелку под самой Вязьмою; а партия, разделясь на три колонны, по обыкновению моему, показала головы и скрыла хвосты оных. Вскоре мы услышали барабанный бой и увидели неприятельскую пехоту, которая стала отвечать на наши выстрелы, но не смела отходить от города. Я был доволен. Простояв на сем месте до вечера, мы зажгли бивачные огни и ночью скрытно отступили в Лосмино, а 26-го — в Андреяны. Прибыв туда, я послал двух крестьян в Покровское разведать о неприятельском отряде. Не прошло четырех часов, как прискакали два парня из Лосмина с донесением, что известный отряд тянулся между сим селом и Вязьмою и идет в направлении к Гжати. Желание мое исполнилось. Немедленно партия поднялась и выступила к Монину. Под вечер она подошла к селу и застала в нем сорок две провиантские фуры и десять артиллерийских палубов под прикрытием ста двадцати шести конных егерей и одного офицера. Сия команда принадлежала отряду, ушедшему за мною к Гжати усиленным маршем в полном уверении найти меня в сем направлении. Пленный офицер объявил мне, что противник мой, в исступлении от неудачи своей, пошел к Гжати и что, в случае нового неуспеха, он намерен сделать решительный поиск вдоль Угры, дабы отрезать меня от Юхнова и Калуги.

Я заметил, что некоторые партизаны, командуя отдельною частию войск, думают командовать не партиею, а армиею, и считают себя не партизанами, а полководцами. Оттого-то господствующая их мысль состоит в том только, чтобы *отрезать* противную партию от армии, к коей принадлежит она, и занимать позиции подобно австрийским методикам. Надобно один раз навсегда знать, что лучшая позиция для партии есть непрестанное движение оной, причиняющее неизвестность о месте, где она находится, и неусыпная осторожность часовых и разъездных, ее охраняющих; что партию отрезать нет возможности,— и держаться русской пословицы: *убить да уйти* — вот сущность тактической обязанности партизана. Мой противник этого не ведал, и потому мне легко было с ним управиться. Отправя добычу в город прежде мной употребляемым способом, мы продолжали путь к столбовой дороге, около которой проходили до 29-го числа с малою пользою.

Двадцать девятого партия прибыла в Андреяны, где встретил нас курьер мой, возвратившийся из главной квартиры. Он привез мне разные бумаги и известил меня о следовании, на подкрепление моей партии, казачьего Попова 13-го полка, который и прибыл в Андреяны 31-го.



М. И. Голенищев-Кутузов. Гравюра С. Карделли
с рисунка А. Орловского.

Сей полк, невзирая на усиленные переходы от самого Дона, представился мне в отличнейшем положении и усилил партию мою пятью сотнями доброконных казаков. Тогда я перестал опасаться нападения искавшего меня отряда и взял намерение самому атаковать его. Но прежде сего мне хотелось и наметать и натравить сии новые войска, составлявшие бóльшую половину моей партии. К тому же, если малочисленным отрядом можно было управлять, так сказать, разбойнически, без предварительного устройства, а братски и крутою строгостью, то сего не можно уже было продолжать с семьюстами человек. Итак, до 3 октября я принужден был заняться образованием постановлений внутреннего управления партии, показанием лучшего, по моему мнению, построения оной в боевой порядок. Сделав несколько практических примеров для нападения, отступления и преследования, я в первый раз испытал *рассыпное отступление,* столь необходимое для партии, составленной из одних казаков, в случае нападения на нее превосходного неприятеля. Оно состояло, во-первых, чтобы по первому сигналу вся партия рассыпалась по полю, во-вторых, чтобы по второму сигналу каждый казак скакал сам из вида неприятеля, и в-третьих, чтобы каждый из них, проехав по своевольному направлению несколько верст, пробирался к предварительно назначенному в десяти, а иногда и в двадцати верстах от поля сражения сборному месту.

Третьего мы выступили и пришли в село Покровское.

Четвертого я предпринял общий поиск и разделил партию на три части так, чтобы в каждой из них находилась часть Попова полка.

Две сотни оного и старую команду сборных казаков моих под начальством Попова я определил идти на речку Вязьму в лес, что между столбовой дорогою и селением, кажется, Лузинцовым. При сей части я находился.

Первый Бугский полк и сотня Попова полка с ротмистром Чеченским — чрез столбовую дорогу, на речку Вязьму, к селениям Степанкову и Вопке.

Две сотни Попова полка с Ахтырскими гусарами, под командою маиора Храповицкого,— к Семлеву; пехота оставалась в Покровском. За два часа пред рассветом все отделения были в движении. Первый отряд остановился в лесу за несколько саженей от мостика, лежащего на речке Вязьме. Два казака взлезли на дерева для наблюдения.

Не прошло часу, как казаки слабым свистом подали знак. Они открыли одного офицера, идущего пешком по дороге с ружьем и с собакою. Десять человек сели на коней, бро-

сились на дорогу, окружили его и привели к отряду. Это был 4-го Иллирийского полка полковник Гётальс[110], большой охотник стрелять и *пороть дичь*, и опередивший расстроенный баталион свой, который шел формироваться в Смоленск. С ним была легавая собака и в сумке — убитый тетерев. Отчаяние сего полковника более обращало нас к смеху, нежели к сожалению. После расспроса его обо всем, что нужно было, он отошел в сторону и ходил, задумчивый, большими шагами; но каждый раз, когда попадалась ему на глаза легавая собака его, улегшаяся на казачьей бурке,— каждый раз он брал позицию Тальмы в «Эдипе» и восклицал громким голосом: «Malheureuse passion!» (пагубная страсть); каждый раз, когда бросал взгляд на ружье свое,— увы! — уже в руках казаков, или на тетерева, повешенного на пику, как будто вывеской его приключения,— он повторял то же и снова зачинал ходить размеренными шагами.

Между тем стал показываться и баталион. Наши приготовились, и, когда подошел он в надлежащее расстояние, весь отряд бросился на него: передние казаки вроссыпь, а резерв — в колонне, построенной в шесть коней. Отпор был непродолжителен. Бóльшая часть рядовых побросала оружие, но многие, пользуясь лесом, рассыпались по оному и спаслись бегством.

Добыча состояла в двух офицерах и в двухстах нижних чинах.

В одно время ротмистр Чеченский встретил фуры с провиантом, ночевавшие в лесу на дороге от Вопки к Вязьме. Неприятель, приметя казаков, торопился становить обоз полукружием, дабы из-за него защищаться. Но Чеченский не дал им времени исполнить сего построения, ударил и овладел транспортом.

Тогда прикрытие, состоявшее из пехоты, бросилось в средину леса, продолжая огонь беспрерывный... Ярый Чеченский спéшил своих, бросился в лес и ударил на неприятеля в дротики. Сей удалой поступок довершил поражение, но стоил пятнадцати лучших бугских казаков, которые пали, тяжело ранеными и убитыми.

С своей стороны, маиор Храповицкий, выбравшись на столбовую дорогу, обратился к Семлеву. Пользуясь родом войска, составлявшим отряд его, он приказал шедшим впереди отряда Ахтырским гусарам надеть флюгера на пики[111], а казакам скрываться за ними, взяв дротики наперевес. Таким образом отряд сей казался издали польскою кавалериею, идущею от неприятельской армии к Смоленску.

Долго Храповицкий никого не встречал, но около Семлева он увидел многочисленный транспорт огромных бочек, подвигавшийся к нему навстречу с прикрытием и без малейшей осторожности, полагая отряд Храповицкого польским отрядом. Наши допустили неприятеля на пистолетный выстрел и разом, приклонив пики, закричали *ура!* и ударили со всей возможной стремительностью на него. Бо́льшая часть прикрытия рассыпалась, но поручик Тилинг с горстию своих защищался до тех пор, пока не был ранен; тут и оставлен последними его окружавшими товарищами.

Сей транспорт состоял в новой одежде и обуви на весь 1-й Вестфальский гусарский полк и (по накладной, найденной у Тилинга) стоил семнадцать тысяч франков в Варшаве.

Возвращаясь с добычею к селу Покровскому, Храповицкий был атакован сильною шайкою мародеров, засевшею в лесу, чрез который надлежало ему проходить. Видя, что нельзя пробиться сквозь неприятеля, столь выгодно расположенного, он объехал его чащею леса и благополучно прибыл в Покровское вечером, где соединился с отрядами Попова 13-го и ротмистра Чеченского.

В сем сложном поиске Попова полк не уступил ни в чем войскам, партию мою составлявшим. В оном оказались казаки отличной меткости и отважности. Лучший офицер сего полка или, лучше сказать, один из отличнейших офицеров всего донского войска был сотник Бирюков; после его заметны были хорунжие Александров и Персианов.

Пленные (коих число простиралось до четырехсот девяноста шести рядовых, одного штаб- и четырех обер-офицеров) были немедленно отправлены в Юхнов, так, как и сорок одна фура, отбитые Чеченским. Лошади, взятые из-под конвойных, частию были разделены между опешевшими и худоконными казаками, а частию розданы жителям. В тот же день поехал от меня курьер в главную квартиру. Я описал дежурному генералу сей последний поиск и просил награждения как отличившимся в действии, так и юхновскому дворянскому предводителю Храповицкому, коего попечением партия моя ни одного дня ни в чем нужды не имела, раненые получали пользование, покой и облегчение.

Окончa историческое, подошло и романическое: пред отъездом своим вошел ко мне поручик Тилинг. Он говорил мне, что казаки взяли у него часы и деньги, но что он, зная право войны, на это не в претензии, а просит только, чтобы ему возвратили кольцо им любимой женщины. Увы! и ах! — я всегда

склонен был к чувствам, обуревавшим душу г. Тилинга! Сердце мое может включить в каждую кампанию свой собственный журнал, независимый от военных происшествий. Смешно сказать, но *любовь* и *война* так разделили наравно прошедшее мною поприще, что и поныне я ничем не поверяю хронологию моей жизни, как соображением эпох службы с эпохами любовных чувствований, стоящими, подобно геодезическим вехам, на пустынной моей молодости. В то время я пылал страстью к *неверной,* которую полагал *верною.* Чувства узника моего отозвались в душе моей! Легко можно вообразить взрыв моей радости при встрече с человеком, у одного алтаря служившим одному божеству со мной. Я обещал ему стараться удовлетворить его желание, и по отправлении его в Юхнов, когда возвратился разъезд, в котором были казаки, взявшие его в плен, я был столько счастлив, что отыскал не только кольцо, но и портрет, волосы и письма, ему принадлежавшие, и немедленно отослал их к нему при сей записке: «Recevez, monsieur, les effets, qui vous sont si chers; puissent-ils, en vous rappellant l'objet aimè, vous prouver, que le courage et le malheur sont respectés en Russie, comme partout ailleurs. Denis Davidoff, Partisan» *.

Сей Тилинг жил до 1814 года в Орле, где всегда с благодарностью, но еще больше с удивлением рассказывал о сем приключении, как рассказывают о великодушии некоторых атаманов разбойников. Впоследствии я узнал, что, устав, подобно мне, менять предметы любви с каждой кампаниею, он при заключении общего мира заключил законный союз с последней им любимою женщиною и променял кочующую жизнь гусарскую на философическое уединение, променял фантасмагорию на существенность.

Пятого числа партия пошла в Андреяны. Там я узнал, что неприятельский отряд разделился надвое. Одна часть находилась в одной деревушке в направлении к селению Крутому, а другая — в Лосмине, что возле Вязьмы. Мы немедленно выступили к Крутому.

Отряд в сто человек с хорунжиим Бирюковым отправлен был к селу Белыщину. Ему велено было остановиться у этого села скрытно и посылать разъезды вправо и влево, чтобы заслонить нападение мое на неприятеля, расположенного близ Крутого. Вся же партия пошла поспешно к последнему селу,

* Примите, государь мой, вещи, столь для вас драгоценные. Пусть они, напоминая о милом предмете, вместе с тем докажут вам, что храбрость и злополучие так же уважаемы в России, как и в других землях. Денис Давыдов, партизан. *(Перевод Давыдова.)*

забирая влево, чтобы сохранить сообщение с Бирюковым и, в случае удачи, отбросить неприятеля в противную сторону той, где находилась другая часть оного. Неопределительность в расстоянии от Андреян до деревушки, находящейся близ Крутого, была причиною, что вместо того, чтобы нам прибыть часа за два перед вечером, мы прибыли тогда, как уже было темно. Надо было решиться: или отложить нападение до утра, или предпринять ночную атаку, всегда неверную, а часто и гибельную для атакующего. Всякое войско сильно взаимным содействием частей, составляющих *целое,* а как содействовать тому, чего не видишь? К тому же мало таких людей, которые исполняют долг свой, *не глядя* на то, что на них *не глядят.* Бо́льшая часть воинов лучше воюет при зрителях. Сам Аякс требовал денного света для битвы. Я знал сию истину, но знал также и неудобства отлагать атаку до утра, когда ржание одной лошади, лай собаки и крик гуся, спасителя Капитолия,— не менее ночной атаки могут повредить успеху в предприятии. Итак, с надеждой на бога, мы полетели в бой.

Мелкий осенний дождь моросил с самого утра и умножал мрак ночи. Мы ударили. При резервном полку оставалась пехота. Передовая неприятельская стража, запрятанная под шалашами, спокойно спала... и не проснется! Между тем Храповицкий и Чеченский, вскакав в деревушку, спешили несколько казаков и с криком *ура!* открыли огонь по окнам. Подкрепя их сотней человек пехоты и взяв две сотни казаков из резерва, я бросился с ними чрез речку Уду, чтобы воспретить неприятелю пробраться к Вязьме окружною дорогою. Мрак ночи был причиною, что проводник мой сбился с пути и не на то место привел меня, где обыкновенно переезжают речку. Это принудило нас спуститься как попало с довольно значительной крутизны и кое-как перебраться на ту сторону. Не зная и не видя местоположения, я решился, мало-помалу подвигаясь, стрелять как можно чаще из пистолетов и во всю мочь кричать *ура!* К счастию, неприятель не пошел в сию сторону, а обратясь к Кикину, побежал в расстройстве по дороге, которая лежит от Юхнова к Гжати.

Мы гнали его со всею партиею версты четыре. Тут я отрядил сотню казаков вслед за бегущими и велел преследовать их как можно далее, забирая влево, дабы быть ближе к партии, и потом держаться дороги между Вязьмою и Царевым-Займищем, куда я намеревался прибыть после поиска на Лосмино.

В сем деле мы взяли в плен одного ротмистра, одного офицера и триста семьдесят шесть рядовых. А так как по слу-

чаю ночной атаки я велел как можно менее заниматься забиранием в плен, то число убитых было не менее пленных.

Перевязав последних и отослав их, по обыкновению, в Юхнов, я дал вздохнуть лошадям и, отправя пехоту в Ермаки, выступил к Лосмину. Направление мое было на Белыщино, дабы, *во-первых*, соединясь с Бирюковым, заменить отрядом его сотню казаков, посланных в преследование неприятеля; *во-вторых*, получить от него сведение о неприятеле, находившемся в Лосмине, и, *в-третьих*, обратясь к Деревещину и Красному Холму, прийти от стороны Вязьмы в тыл к неприятелю и пасть на него как снег на голову.

Предположение мое совершилось бы во всей точности, если б неприятельские фуражиры, находившиеся в селе Сергенкове, не приметили моей партии и не бросились бы в Лосмино для уведомления своего начальника о шествии моем. Доброконные наездники мои погнались за этою сволочью, но так как мы были двадцать четыре часа в походе, из коих два часа — в драке, то лошади наши весьма ослабели, что дозволило нескольким фуражирам уйти и встревожить отряд, обреченный на гибель. Между тем мы подвигались рысью к дороге, что идет из Вязьмы в Лосмино. Рассветало; дождь не переставал, и дорога сделалась весьма скользкою. Противник мой имел неосторожность забыть о ковке лошадей своего отряда, которого половина была не подкована. Однако, по приходе моем к Лосмину, он меня встретил *твердою ногою*. Дело завязалось. В передовых войсках произошло несколько схваток, несколько приливов и отливов, но ничего решительного. Вся партия построилась в боевой порядок и пустилась на неприятеля, построенного в три линии, одна позади другой. Первая линия при первом ударе была опрокинута на вторую, а вторая — на третью. Все обратилось в бегство. Надо было быть свидетелем этого происшествия, чтобы поверить замешательству, которое произошло в рядах французов. Сверх того, половина отряда стала вверх ногами: лошади, не быв подкованы, валились, как будто подбитые картечами; люди бежали пешком в разные стороны без обороны. Эскадрона два построились и подвинулись было вперед, чтобы удержать наше стремление, но при виде гусаров моих, составлявших голову резерва, немедленно обратились назад без возврата. Погоня продолжалась до полудня: кололи, рубили, стреляли и тащили в плен офицеров, солдат и лошадей; словом, победа была совершенная. Я кипел радостью! Мы остановились. Пленных было: четыреста три рядовых и два офицера, все раненые. Полковник всего отряда, как уверяли,

пал на поле битвы и с ним легло до полутораста рядовых; прочие все рассыпались по полям и лесам или достались в добычу обывателям. В обоих сих делах с нашей стороны убито четыре казака, ранено пятнадцать <казаков> и два гусара; лошадей убито и ранено до пятидесяти.

Нужно ли говорить, с каким нетерпением я спешил похвалиться пред фельдмаршалом сим лучшим моим подвигом? Немедленно полетел курьер с теплым еще от огня битвы донесением, и я остался в полной уверенности, что двойная сия победа получит одобрение от самых строгих знатоков военного искусства. Между тем новые замыслы, новые тревоги, новые битвы затерли прошедшее. Я не осведомлялся в главной квартире о деле моем, полагая, что оному нельзя остаться под спудом и что там молчат от недосуга. Мне не отвечали потому, что я не спрашивал, и таковое взаимное молчание продолжалось до перемирия 1813 года. Тогда только все прояснилось: я узнал, что курьер мой захвачен был мародерами на пути к Юхнову и погиб вместе с донесением. Чрез неудачу сию подвиг, без хвастовства сказать, несущий на себе отпечаток превосходства и в соображении, и в исполнении, остался известным только моей партии, неприятельскому губернатору Вязьмы и оставшимся от поражения войскам, со мною сражавшимся. Я уверен, что это скрыли и самому Наполеону, от опасения гнева его за своевольное употребление войск, для другого предмета предназначенных.

Такова бывает участь отдельных начальников, тогда как у линейного *каждое лыко в строку становится!* Впоследствии несколько подобных дел заглохло в неизвестности, но по другим причинам. В тот день и в следующие два дня разъезды мои маячили около столбовой дороги между Вязьмою и Федоровским, где удалось им перехватить три курьера. На 8-е число партия подошла к последнему селению и соединилась с сотнею, посланною в погоню из окрестностей Крутого.

В самое то время французская армия пробудилась от продолжительного своего усыпления в Москве и двинулась на Фоминское. Намерение Наполеона состояло в том, чтобы, обойдя левый фланг нашей армии, находившейся при Тарутине, предупредить ее в занятии Боровска и Малоярославца[112] и, достигнув прежде ее до Калуги, открыть сообщение с Смоленском чрез Мещовск и Ельню. Вследствие чего, прибыв в Фоминское 11-го числа, он повелел корпусу Жюно, занимавшему Можайск, отступить в Вязьму, отряду генерала Эверса, в четырех тысячах состоявшему, выступить из Вязьмы чрез Знамен-

ское и Юхнов, а маршалу Виктóру с дивизиями Жирарда и легкою кавалерийскою идти усиленными маршами из Смоленска туда же. Стоит взглянуть на карту, чтобы увидеть, в каком положении я вскоре должен был находиться.

Между тем генерал Дорóхов, занимая отрядом своим Котово[113], что близ дороги, идущей из Москвы к Боровску, намеревался атаковать вице-короля Италианского, прибывшего 9-го числа в Фоминское, и требовал на то подкрепления, не зная, что за сим корпусом следовала вся французская армия.

Князь Кутузов, получив известие чрез Дорохова о приближении сильной неприятельской колонны, отправил из Тарутина к Фоминскому корпус Дохтурова с начальником главного штаба 1-й армии Ермоловым. Перед выступлением своим Ермолов приказал Фигнеру и Сеславину следовать по направлению к Фоминскому, с тем чтобы собрать сведения о неприятеле. Фигнеру не удалось перейти Лужу, тщательно охраняемую неприятельскими пикетами. Сеславин успел перейти речку и приблизиться к Боровской дороге; здесь, оставив назади свою партию, он пешком пробрался до Боровской дороги сквозь лес, на котором еще было немного листьев. Достигнув дороги, он увидал глубокие неприятельские колонны, следовавшие одна за другою к Боровскому; он заметил самого Наполеона, окруженного своими маршалами и гвардией. Неутомимый и бесстрашный Сеславин, выхватив из колонны старой гвардии унтер-офицера, связал его, перекинул чрез седло и быстро направился к корпусу Дохтурова.

Между тем Дохтуров с Ермоловым, не подозревая выступления Наполеона из Москвы, следовали на Аристово и Фоминское. Продолжительный осенний дождь совершенно испортил дорогу; большое количество батарейной артиллерии, следовавшей с корпусом, замедляло его движение. Ермолов предложил Дохтурову оставить здесь эту артиллерию, не доходя верст пятнадцати до Аристова; отсюда, находясь в близком расстоянии от Тарутина и Малоярославца, она могла быстро поспеть к пункту, где в ее действии могла встретиться надобность, а между тем утомленные лошади успели бы отдохнуть. Дохтуров не замедлил изъявить свое на то согласие, и корпус его к вечеру прибыл в Аристово; сам Дохтуров расположился на ночлег в деревне, а Ермолов с прочими генералами остался на биваках. Уже наступила полночь, и чрез несколько часов весь отряд, исполняя предписание Кутузова, должен был выступить к Фоминскому. Вдруг послышался конский топот и раздались слова Сеславина: «Где Алексей Петрович?» Явившись к Ермо-

лову, Сеславин, в сопровождении своего пленника, рассказал все им виденное; пленный подтвердил, что Наполеон, выступив со всею армиею из Москвы, должен находиться в довольно близком расстоянии от нашего отряда. Это известие было столь важно, что Ермолов, приказав тотчас отряду подыматься и становиться в ружье, лично отправился на квартиру Дохтурова. Этот бесстрашный, но далеко не проницательный генерал, известясь обо всем этом, пришел в крайнее замешательство. Он не решался продолжать движения к Фоминскому из опасения наткнуться на всю неприятельскую армию и вместе с тем боялся отступлением из Аристова навлечь на себя гнев Кутузова за неисполнение его предписания.

В этот решительный момент Ермолов, как и во многих других важных случаях, является ангелом-хранителем русских войск. Орлиный взгляд его превосходно оценил все обстоятельства, и он, именем главнокомандующего и в качестве начальника главного штаба армии, приказал Дохтурову спешить к Малоярославцу. Приняв на себя всю ответственность за неисполнение предписаний Кутузова, он послал к нему дежурного штаб-офицера корпуса Болховского, которому было поручено лично объяснить фельдмаршалу причины, побудившие изменить направление войск, и убедительно просить его поспешить прибытием с армией к Малоярославцу. Ермолов советовал Дохтурову захватить с собою, во время движения своего на Малоярославец, всю оставленную батарейную артиллерию; сам Ермолов с 1-м кавалерийским корпусом барона Меллера-Закомельского и с конною ротой полковника Никитина, желая лично удостовериться в справедливости показаний Сеславина, двинулся по направлению к селу Котову, где был расположен отряд генерала Дорохова. Услыхав перестрелку, которую Дорохов завязал с неприятельскими пикетами, Ермолов послал ему сказать, чтобы он тотчас ее прекратил. На это Дорохов отвечал: «Если бы Алексей Петрович находился сам здесь, он бы поступил точно так же, как и я». Опрокинув неприятельские пикеты, Дорохов наткнулся на сильные резервы; Ермолов, увидав это и боясь быть разбитым сильным неприятелем, придвинул конную роту Никитина. Подтвердив свое приказание Дорохову, он, следуя чрез небольшой лес, достиг обширной поляны, которая простирается от Боровска до самого Малоярославца.

Здесь он увидел обширный лагерь италианской армии и узнал от пленных, что Наполеон должен был обедать в тот день в Боровске.

Решившись быстро спешить к Малоярославцу, Ермолов приказал одному отважному офицеру Сысоева казачьего полка, следуя по прямому пути к Малоярославцу, хотя бы в самом близком соседстве с неприятелем, достигнуть города, собрать все возможные сведения как о нем, так и о неприятеле; ему было приказано, по исполнении поручения, отыскать начальника главного штаба по направлению к Малоярославцу. Этот смелый офицер донес вскоре Ермолову, что перед городом находились уже три баталиона италианцев, которые были задерживаемы жителями, успевшими разобрать мост; власти городские выехали весьма недавно из города, куда приезжал атаман Платов, который по отъезде своем оттуда оставил там казаков. Ермолов прибыл на рассвете к Малоярославцу, перед которым уже находилась вся армия вице-короля; Дохтуров, расположившись лагерем позади города, поручил защиту его Ермолову, которого подкрепил своею пехотою. Войска наши были два раза выбиты из города, хотя рота храброго полковника Никитина, действиями которой руководил сидевший на колокольне адъютант Ермолова Поздеев, жестоко поражала неприятеля.

Между тем фельдмаршал, придя с армиею в село Спасское, не в далеком расстоянии от Малоярославца, приказал войскам отдохнуть. Ермолов отправил в Спасское генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова с убедительнейшею просьбой спешить к городу; не получив никакого ответа, он отправил туда одного германского принца, находившегося в то время при наших войсках, с настоятельнейшей просьбой о скорейшем прибытии армии. Фельдмаршал, недовольный этою настойчивостью, плюнул. Тогда корпус Раевского выступил к Малоярославцу, и за ним тронулась вся армия. Сам Раевский, в качестве зрителя, уже давно находился близ Малоярославца, где наблюдал за ходом сражения. Выбитый в последний раз из города превосходным неприятелем, Ермолов расположил против главных его ворот сорок батарейных орудий; он намеревался, за неимением войска, встретив неприятеля жестокою канонадой, начать отступление, но прибытие армии изменило весь ход дела. Неустрашимый Коновницын выбил неприятеля из города. Князь Кутузов, приобретший большую опытность в войне с турками, прибегнул к весьма странному средству для удержания неприятеля, если бы он решился продолжать наступление. Он приказал приступить к возведению нескольких редутов в расстоянии выстрела от города; но после нескольких выстрелов неприятеля из города тысяча пятьсот человек рабо-

чих, бросив здесь весь свой инструмент, рассеялись. Город был, однако, оставлен нашими и занят неприятельскими войсками.

После битвы князь Кутузов имел весьма любопытный разговор с Ермоловым, который я здесь лишь вкратце могу передать: *Князь:* «Голубчик, ведь надо идти?» *Ермолов:* «Конечно, но только на Медынь». *Князь:* «Как можно двигаться в виду неприятельской армии?» *Ермолов:* «Опасности нет никакой: атаман Платов захватил на той стороне речки несколько орудий, не встретив большого сопротивления. После этой битвы, доказавшей, что мы готовы отразить все покушения неприятеля, нам его нечего бояться». Когда князь объявил о намерении своем отступить к Полотняным заводам, Ермолов убеждал его оставаться у Малоярославца по крайней мере на несколько часов, в продолжении которых должны были обнаружиться намерения неприятеля[114]. Но князь остался непреклонным и отступил. Если б Наполеон, дойдя до Боровска, поспешил бы направить всю армию к Малоярославцу, он неминуемо и весьма легко овладел бы этим городом; предупредив здесь нашу армию, он, без сомнения, не встречая больших затруднений, дошел бы до Юхнова, откуда безостановочно продолжал бы свое обратное шествие по краю изобильному и не разоренному.

Ермолову выпал завидный жребий оказать своему отечеству величайшую услугу; к несчастию, этот высокий подвиг, искаженный историками, почти вовсе не известен.

В самое то время партизан князь Кудашев, находившийся между Лопаснею и Вороновым, пошел в преследование неприятельского авангарда, заслонявшего движение своей армии и двинувшегося уже от берегов Мо́чи для примкнутия к хвосту оной.

Всякий военный человек, сведущий в своем деле, увидит ясно, что неприятельская армия, облепленная, так сказать, отрядами Дорохова, Сеславина, Фигнера и князя Кудашева, не могла сделать шагу потаенно, хотя спасение оной зависело от тайного ее движения мимо левого фланга нашей армии и от внезапного появления ее в Малоярославце. Чрез сие Наполеон выпутался бы из сетей, расставленных ему фельдмаршалом при Тарутине, открыл бы себе беспрепятственный путь к Днепру, по неприкосновенному краю обеими воюющими армиями; мог бы, соединясь с Эверсом, Жюно и Викто́ром, возобновить наступательное действие без малейшей опасности, имея фланги и тыл свободными. Если спустимся от следствия до причины, то удостоверимся, что извещением Сеславина решилась участь

России; но для сего нужен был решительный Ермолов, взявший на себя ответственность при своевольном обращении корпуса Дохтурова к Малоярославцу, и прозорливый главнокомандующий, проникший всю важность Малоярославского пункта и немедленно поднявшийся и прибывший туда со всею армиею восемь часов после Дохтурова[115].

Ничего не ведая о происшествиях в окрестностях Боровска и Малоярославца, мы 9-го вечером, перехватя еще одного курьера недалеко от Федоровского, отошли в Спасское. Подойдя к селу, разъездные привели несколько неприятельских солдат, грабивших в окружных селениях. Так как число их было не велико, то я велел сдать их старосте села Спасского для отведения в Юхнов. В то время как проводили их мимо меня, один из пленных показался Бекетову, что имеет черты лица русского, а не француза. Мы остановили его и спросили, какой он нации? Он пал на колена и признался, что он бывший Фанагорийского гренадерского полка гренадер и что уже три года служит во французской службе унтер-офицером. «Как! — мы все с ужасом возразили ему,— ты — русский и проливаешь кровь своих братьев!» — «Виноват! — было ответом его.— Умилосердитесь, помилуйте!» Я послал несколько гусаров собрать всех жителей, старых и молодых, баб и детей, из окружных деревень и свести к Спасскому. Когда все собрались, я рассказал как всей партии моей, так и крестьянам о поступке сего изменника, потом спросил их: находят ли они виновным его? Все единогласно сказали, что он виноват. Тогда я спросил их: какое наказание они определяют ему? Несколько человек сказали — засечь до смерти, человек десять — повесить, некоторые — расстрелять, словом, все определили смертную казнь. Я велел подвинуться с ружьями и завязать глаза преступнику. Он успел сказать: «Господи! прости мое согрешение!» Гусары выстрелили, и злодей пал мертвым.

Еще странный случай. Спустя несколько часов после казни преступника крестьяне окружных сел привели ко мне шесть французских бродяг. Это меня удивило, ибо до того времени они не приводили ко мне ни одного пленного, разведываясь с ними по-свойски и сами собою. Несчастные сии, скрученные веревками и завлеченные в ров, не избегли бы такого же роду смерти, как предшественники их, если бы топот лошадей и многолюдный разговор на русском языке не известили крестьян о приходе моей партии. Убийство было уже бесполезным; они решились представить узников своих на мою волю. Дело тем кончилось, что я велел их включить в число пленных, находив-

шихся при моей партии, и отослать всех в Юхнов, откуда они отправлены были в дальние губернии и, вероятно, погибли или на пути, или на месте с тысячами своих товарищей, которые сделались жертвою лихоимства приставов и равнодушия гражданских начальств к страждущему человечеству.

Но сколь провидение чудесно в определениях своих! Между ними находился барабанщик молодой гвардии, именем Викентий Бод (Vincent Bode), пятнадцатилетний юноша, оторванный от объятий родительских и, как ранний цвет, перевезенный за три тысячи верст под русское лезвие и на русские морозы! При виде его сердце мое облилось кровью; я вспомнил и дом родительский, и отца моего, когда он меня, почти таких же лет, поручал судьбе военной! Как предать несчастного случайностям голодного, холодного и бесприютного странствования, имея средства к его спасению? Я его оставил при себе, велел надеть на него казачий чекмень и фуражку, чтобы избавить его от непредвидимого тычка штыком или дротиком, и, таким образом, сквозь успехи и неудачи, чрез горы и долы, из края в край, довез его до Парижа здоровым, веселым, и почти возмужалым передал его из рук в руки престарелому отцу его.

Что же вышло? Спустя два дня после этого являются ко мне отец с сыном и просят об аттестате. «С радостью,— отвечал я им.— Вот тебе, Викентий, аттестат в добром твоем поведении».— «Нет,— сказал отец,— вы мне спасли сына, довершите же ваше благодеяние,— дайте ему аттестат в том, что он находился при вас и поражал неприятеля».— «Но неприятели были ваши соотечественники?» — «Нужды нет»,— возразил старик.— «Как нужды нет? Ты чрез то погубишь сына, его расстреляют, и дельно...» — «Нынче другие времена,— отвечал он,— по этому аттестату он загладит невольное служение свое хищнику престола и получит награждение за ратоборствование против людей, за него сражавшихся, следовательно, служивших против законного своего монарха».— «Если это так, господин Бод, жалка мне ваша Франция! Вот тебе аттестат, какого ты требуешь». И подлинно, я в оном налгал не хуже правителя канцелярии какого-либо главнокомандующего, сочиняющего реляцию о победе, в коей он не участвовал. Старик был прав: чрез неделю он снова пришел ко мне с сыном благодарить за новое мое благодеяние. Викентий имел уже в петлице орден Лилии!!!

Десятого и одиннадцатого мы продолжали ходить на правой стороне Вязьмы, между Федоровским и Теплухой. Под вечер разъездные дали знать, что открыли большой транспорт

с прикрытием, идущий от Гжати. Мы немедленно двинулись к нему навстречу по обеим сторонам дороги и, вышедши на пригорок, увидели весь караван сей,— увидели и ударили. Наши ворвались в середину обоза, и в короткое время семьдесят фур, двести двадцать пять рядовых и шесть офицеров попались к нам в руки. В прибавок к сему мы отбили шестьдесят шесть человек наших пленных и двух кирасирских офицеров раненых: Соковнина и Шатилова. Сии последние сидели в закрытой фуре, и, услыша выстрелы вокруг себя, приподняли крышу и дали знать казакам, что они русские офицеры. Кто не выручал своих пленных из-под ига неприятеля, тот не видал и не чувствовал истинной радости!

Двенадцатого партия отошла в Дубраву. Едва мы расположились на ночлег, как увидели едущих к нам коляску и телегу. Это был юхновский дворянский предводитель Храповицкий и обратный курьер мой из главной квартиры. Пакетов была куча; один из них был с печатью светлейшего на мое имя. В сем пакете находился рескрипт от него ко мне с рескриптом Храповицкому и особый пакет с извещением о разбитии неприятельского авангарда 6-го числа. Хотя некоторые бумаги были от 10-го, в оных ничего не было положительного об отступлении французской армии, выступившей из Москвы уже 7-го числа. При этих пакетах было много писем от *старых* и *новых* приятелей и друзей, которые осыпали меня такими похвалами, что я едва не возмечтал быть вторым Спартакием...

К умалению обратили меня проклятый генерал Эверс, посланный из Вязьмы к Юхнову, и непростительная собственная моя оплошность. Вот как дело было: 13-го мы пришли в Кикино, где праздновали награждения, привезенные курьером, и слишком рано вздумали отдыхать на недозрелых лаврах. Пикеты следовали примеру партии, а разъезды доезжали лишь до бочки вина, выставленной посредине деревни.

Четырнадцатого мы отправили обратно в Юхнов дворянского предводителя и перешли в село Лосмино в том же *расположении духа и разума,* как и накануне; но едва успели мы сделать привал, как вчетверо сильнее нас неприятель подошел в виду деревни. Будь он отважнее, поражение наше было бы неизбежно. Но вместо того чтобы авангарду его ударить с криком в деревню, где все мы были в разброде, неприятель открыл по нас огонь из орудий и стал занимать позицию! Первое подняло нас на ноги, а второе — исправило следствие постыдного моего усыпления, ибо хотя я видел две густые

колонны, но, уверен будучи, что в таковых обстоятельствах *наглость* полезнее *нерешимости,* называемой трусами *благоразумием,* я пошел в бой без оглядки. Когда же пленные, взятые передовыми наездниками, удостоверили нас, что отряд сей не что иное как сволочь всякого рода [116], тогда казаки мои так ободрились, что преступили меру нужной отважности и едва не причинили более вреда, нежели пользы.

Авангард мой ударил на авангард неприятеля и опрокинул его, но, быв в свою очередь опрокинут бросившимися вперед неприятельскими двумя эскадронами, он, вместо того чтобы уходить вроссыпь на один из флангов подвигавшейся вперед моей партии (как всегда у меня водилось), перемешался с неприятелем и скакал в расстройстве прямо на партию: если б я не принял круто вправо, то вся сия толпа вторглась бы в средину ее и замешала бы ее без сомнения. К счастию, означенный поворот партии, вовремя исполненный, поправил дело, ибо неприятель, гнавшийся за авангардом, был принят одною частию партии во фланг и, в свою очередь, обращен вспять. Тогда, воспаленные и успехом, и вином, и надеждою на добычу, едва все полки мои не бросились в преследование. Нужно было все старание, всю деятельность моих товарищей — Храповицкого, Чеченского, Бедряги, Бекетова, Макарова и казацких офицеров, — чтобы разом обуздать порыв их и осадить на месте.

Видя, что неприятель не только не смутился отражением своего авангарда, но, получив новое подкрепление со стороны Вязьмы, двинулся вперед с решимостию, я решился не противиться его стремлению и отступить тем порядком или, лучше сказать, тем беспорядком, который я испробовал в Андреянах. Вследствие чего я объявил рассыпное отступление и назначил сборным местом село Красное, за рекою Угрою, известное уже казакам моим. По данному сигналу все рассыпалось и исчезло! Одна сотня, оставленная с хорунжиим Александровым для наблюдения за неприятелем, продолжала перестреливаться и отступать на Ермаки к Знаменскому, дабы заманить неприятеля в другую сторону той, куда партия предприняла свое направление. На рассвете все уже были в Красном, кроме сотни Александрова, которая, соединясь в Ермаках с моей пехотой, отступила с нею вместе в Знаменское, занимаемое поголовным ополчением.

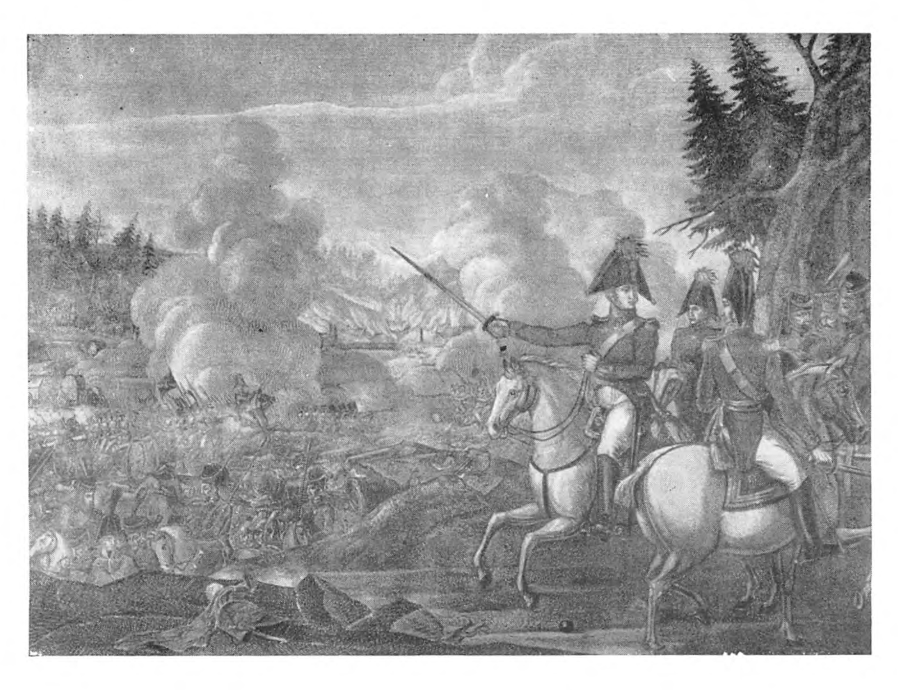
Шестнадцатого, в ночь, я получил известие от начальника сего ополчения капитана Бельского о том, что 16-го, поутру, неприятель, подошедши к последнему селу, намеревался его

занять, но, увидя в нем много пехоты, выстрелил несколько раз из орудий и отступил в Ермаки. Тогда только я узнал от пленных, приведенных ко мне со стороны сел Козельска и Крутого, что неприятельская армия выступила из Москвы, но по какому направлению и с каким предположением, мне было не известно.

Семнадцатого я выступил на Ермаки, в том намерении, чтобы, продолжая поиски к стороне Вязьмы, всегда находиться на дороге к Юхнову, откуда я получал все известия из армии, ныне, по выступлении неприятеля из Москвы, сделавшиеся столь для меня необходимыми. Я рассчитывал так, что ежели армия наша возьмет поверхность над неприятельской армией, то последняя не минует того пространства земли, на коей я находился; и что, будучи впереди ее, я всегда буду в состоянии, сколько возможно, преграждать ее отступлению. Если же армия наша потерпит поражение, то непременно отступит к Калуге, вследствие чего и я отступлю к Юхнову или к Серпейску.

Перейдя чрез Угру, авангард мой дал мне знать, что, будучи атакован неприятелем под Ермаками, он с поспешностию отступает, и что неприятель в больших силах за ним следует с чрезмерною наглостию. Я рассудил послать к нему на подмогу одну сотню, а всю партию переправить обратно чрез Угру.

Едва успел я перебраться на левый берег оной, как увидел вдали дым выстрелов и скачку кавалерии. Это была погоня за моим авангардом. Вскоре показались на горизонте две черные колонны неприятельские, идущие весьма быстро. Авангард мой прибыл к берегу, бросился вплавь и соединился с партией, а неприятельские передовые войска, остановясь на той стороне реки, стали стрелять из ружей и пистолетов, в одно время как часть оных искала броду выше того места, где находилась партия моя. Я увидел по сему, что стремление неприятеля не ограничится рекою, и потому взял меры к отступлению на Федотково. Вследствие чего и дабы совершить оное безопаснее, я немедленно послал три разъезда, по десяти казаков каждый: один на Кузнецово к селу Козельску для открытия левой стороны, дабы никакой другой неприятельский отряд не мог сбоку помешать моему отступлению, второй — в Федотково, для открытия дороги, которую партия избрала, и для приготовления оной продовольствия, а третий — в Знаменское, с повелением Бельскому оставить немедленно сие село с поголовным ополчением и с моею пехотою и поспешнее



«Победа при Малом Ярославце 12 октября 1812 года. Победа сия тем более знаменита, что ею уничтожены покушения неприятеля вторгнуться в изобильнейшие губернии империи. Дело было кровопролитное, и город осьмикратно переходил из рук в руки. В начале действия командовал генерал Докторов и при нем генерал-маиор Дорохов, потом приближилась главная армия»

Гравюра С. Карделли по рисунку Д. Скотти (1814 г.)

следовать по Юхновской дороге к селу Слободке. Сам же, желая выиграть время, пока неприятель дойдет до реки и будет чрез оную переправляться, двинулся рысью в три колонны и в два коня, чтобы по средству длины колонн показаться сильнее, нежели я был действительно. Сначала все шло удачно: перестрелка умолкла, и мы продолжали путь беспрепятственно, но едва успели пройти около семи верст, как оба первые разъезда во всю прыть прибыли к нам навстречу и уведомили меня, первый: что другая конная неприятельская колонна идет на дорогу, по коей я следую; а второй: что и в Федотково вступил неприятель. В доказательство первому известию неприятель стал уже показываться с левой стороны, а последнее подтвердил мне прибывший из Федоткова конный крестьянин, который сам видел неприятеля, вступившего в село, и с тем оттуда выехал, чтобы меня уведомить. Обстоятельства представлялись не в розовом цвете! Долгое размышление было неуместно; я немедленно, поворотя вправо на Борисенки и переправясь чрез Угру при Кобелеве, прибыл в Воскресенское, находящееся на границе Медынского уезда, возле дороги из Юхнова в Гжать.

На марше моем один урядник и два казака были посланы к Бельскому с повелением не останавливаться уже в Слободке, отступить к Климовскому заводу; сим же посланным велено было поспешнее проехать в Юхнов для уведомления дворянского предводителя, что партия отступает в Воскресенское и чтобы все бумаги, которые будут адресованы на мое имя из главной квартиры, были посылаемы прямо в означенное село.

Двадцатого, поутру, я получил уведомление от дежурного генерала об отступлении неприятеля из Малоярославца и о следовании его на Гжать и Смоленск[117]. Этого надлежало ожидать: внезапное умножение неприятельских отрядов и обозов с некоторого времени между Вязьмою и Юхновым достаточно могло удостоверить в незамедленном отступлении всей неприятельской армии. Несмотря на это, я не мог бы тронуться с места, если бы светлейший не отрядил после Малоярославского дела всю легкую свою конницу наперерез неприятельским колоннам, идущим к Вязьме. Появление большой части легкого войска с атаманом Платовым и с графом Орловым-Денисовым на пространстве, где я шесть недель действовал и которое в сие время находилось уже во власти неприятельских отрядов, принудило их удалиться частию к Вязьме, а частию к Дорогобужу и тем освободило меня из заточения в Воскресенском. Без сомнения, я лично много обязан сей

спасительной мысли; но если бы уважили неоднократные представления мои об умножении на сем пространстве числа легких войск с начала занятия Тарутина, тогда отряды, потеснившие меня почти до Юхнова, или не смели бы явиться на пространстве, столь впоследствии необходимом для нашей армии, и опустошать оное, или попались бы немедленно в руки нашим партиям. Как бы то ни было, исправлять прошедшее было поздно; следовало пользоваться настоящим, и я немедленно послал Бельскому повеление поспешнее двинуться в Знаменское, где соединился с ним того же числа вечером.

Двадцать первого я оставил поголовное ополчение на месте и, присоединя регулярную пехоту к партии, выступил в два часа утра по Дорогобужской дороге на село Никольское, где, сделав большой привал, продолжал следовать далее. От направления сего я попался между отрядами двух генерал-адъютантов: графа Ожаровского и графа Орлова-Денисова;[118] первый прислал ко мне гвардии ротмистра (что ныне генерал-лейтенант) Палицына, дабы выведать, не можно ли ему прибрать меня к рукам, а последний еще от 19-го числа прислал офицера отыскивать меня для объявления, что если я не имею никакого повеления от светлейшего после 20 октября, то чтобы немедленно поступил в его команду.

Уверен будучи, что звание партизана не освобождает от чинопослушания, но с сим вместе и позволяет некоторого рода хитрости, я воспользовался разновременным приездом обоих присланных и объявил первому о невозможности моей служить под командою графа Ожаровского по случаю получения повеления от графа Орлова-Денисова поступить под его начальство, а второго уверил, что я уже поступил под начальство графа Ожаровского и, вследствие повеления его, иду к Смоленской дороге.

Между тем я не счел не только предосудительным, но даже приличным солдатской гордости просить генерала Коновницына довести до сведения светлейшего неприятность, которою я угрожаем. «Имев счастие,— писал я ему,— заслужить в течение шестинедельного моего действия особенное его светлости внимание, мне чрезмерно больно, при всем уважении моем к графу Орлову-Денисову и к графу Ожаровскому, поступить в начальство того или другого, получив сам уже некоторый навык к партизанской войне, тогда как я вижу, что в то же время поручают команды людям, хотя по многим отношениям достойным, но совершенным школьникам в сем роде действия». Я заключал письмо мое изложением выгод

размножения, а не сосредоточивания партий при тогдашних обстоятельствах, и послал урядника Крючкова с пятью казаками в главную квартиру, находившуюся, по известиям, около Вязьмы. Я приказал ему искать меня к 23-му числу около села Гаврикова, чрез которое я намерен был следовать после поиска моего к селу Рыбкам.

Того же числа, то есть 21-го, около полуночи, партия моя прибыла за шесть верст от Смоленской дороги и остановилась в лесу без огней, весьма скрытно. За два часа пред рассветом мы двинулись на Ловитву. Не доходя за три версты до большой дороги, нам уже начало попадаться несметное число обозов и туча мародеров. Все мы били и рубили без малейшего сопротивления. Когда же достигли села Рыбков, тогда попали в совершенный хаос! Фуры, телеги, кареты, палубы, конные и пешие солдаты, офицеры, денщики и всякая сволочь,— все валило толпою. Если бы партия моя была бы вдесятеро сильнее, если бы у каждого казака было по десяти рук, и тогда невозможно было бы захватить в плен десятую часть того, что покрывало большую дорогу. Предвидя это, я решился, еще пред выступлением на поиск, предупредить в том казаков моих и позволить им не заниматься взятием в плен, а, как говорится, *катить головнею* по всей дороге. Скифы мои не требовали этому подтверждения; зато надо было видеть ужас, объявший всю сию громаду путешественников! Надо было быть свидетелем смешения криков отчаяния с голосом ободряющих, со стрельбою защищающихся, с треском на воздух взлетающих артиллерийских палубов [119] и с громогласным *ура* казаков моих! Свалка эта продолжалась с некоторыми переменами до времени появления французской кавалерии, а за нею и гвардии [120].

Тогда я подал сигнал, и вся партия, отхлынув от дороги, начала строиться. Между тем гвардия Наполеона, по средине коей он сам находился, подвигалась. Вскоре часть кавалерии бросилась с дороги вперед и начала строиться с намерением отогнать нас далее. Я весьма уверен был, что бой не по силе, но страшно хотелось погарцевать вокруг его императорского и королевского величества и первому из отдельных начальников воспользоваться честью отдать ему прощальный поклон за посещение его. Правду сказать, свидание наше было недолговременно; умножение кавалерии, которая тогда была еще в положении довольно изрядном, принудило меня вскоре оставить большую дорогу и уступить место громадам, валившим одна за другою. Однако во время сего перехода я успел, задирая и отражая неприятельскую кавалерию, взять в плен с бою сто

восемьдесят человек и двух офицеров и до самого вечера конвоевал императора французов и протектора Рейнского союза с приличной почестью.

Двадцать третьего числа я, перешед речку Осму, предпринял поиск на Славково, где снова столкнулся с старою гвардиею. Часть оной расположена была на биваках, а часть в окрестных деревушках. Внезапное и шумное появление наше из скрытного местоположения причинило большую сумятицу в войсках. Все бросилось к ружью; нам сделали даже честь стрелять по нас из орудий. Перестрелка продолжалась до вечера без значительной с нашей стороны потери. Вечером прибыло несколько эскадронов неприятельской кавалерии, но с решительным намерением не сражаться, ибо, сделав несколько движений вправо и влево колоннами, они, выслав фланкеров, остановились, а мы, забрав из оных несколько человек, отошли в Гаврюково. Поиск сей доставил нам со взятыми фланкерами сто сорок шесть человек фуражиров, трех офицеров и семь провиантских фур с разною рухлядью; успех не важный относительно добычи, но важный потому, что опроверг намерение Наполеона внезапно напасть со всею армиею на авангард наш; по крайней мере, так можно заключить по циркуляру, посланному от Бертье ко всем корпусным командирам. Нападение сие, будучи основано на тайне и неведении с нашей стороны о местопребывании всех сил неприятеля, не могло уже быть приведено в исполнение, коль скоро завеса была сорвана моею партиею.

Поутру 24-го числа я получил от генерала Коновницына разрешение действовать отдельно и повеление поспешно следовать к Смоленску. Посланный сей уведомил меня о счастливом сражении при Вязьме 22-го числа и о шествии вслед за мной партий Сеславина и Фигнера, в одно время как Платов напирал на арьергард неприятеля с тыла. Получа повеление сие, я не мог уже тащить за собою храбрую пехоту мою, состоявшую еще в ста семидесяти семи рядовых и двух унтер-офицерах; почему я расстался с нею на дороге от Гаврюкова и отправил ее в Рославль к начальнику ополчения Калужской губернии.

Теперь я касаюсь до одного случая с прискорбием, ибо он навлекает проклятие на русского гражданина. Но долг мой говорить все то, что я делал, в чем кому содействовал, кто в чем мне содействовал и чему я был свидетелем. Пусть время поставит каждого на свое место.

Около Дорогобужа явился ко мне вечером Московского гренадерского полка отставной подполковник Масленников, в обор-

ванном мужичьем кафтане и в лаптях. Будучи знаком с Храповицким с детства своего, свидание их было дружеское; вопросы следовали один за другим, и, как вопросы того времени, все относились к настоящим обстоятельствам. Он рассказывал свое несчастие: как не успел выехать из села своего и был захвачен во время наводнения края с его приливом неприятельской армии, как его ограбили и как он едва спас последнее имущество свое испрошением себе у *вяземского* коменданта охранного листа. Знав по опытам, сколько охранные листы бесполезны к охранению, мы любопытствовали видеть лист сей, но как велико было наше удивление, когда мы нашли в нем, что г. Маслеников освобождается от всякого постоя и реквизиций в уважение обязанности, добровольно принятой им на себя, *продовольствовать* находившиеся в Вязьме и проходившие чрез город сей французские войска. Приметя удивление наше, он хотя с замешательством, но спешил уверить нас, что эта статья поставлена единственно для спасения его от грабительства и что он никогда и ничем не снабжал войска французского в Вязьме.

Сердца наши готовы были извинить его: хотя русский, он мог быть слабее другого духом, прилипчивее другого к интересу и потому мог ухватиться за всякий способ для сохранения своей собственности. Мы замолчали, а он, приглася нас на мимоходный завтрак, отправился в село свое, расстоящее в трех верстах от деревни, в коей мы ночевали.

На рассвете изба моя окружилась просителями; более ста пятидесяти крестьян окрестных сел пали к ногам моим с просьбою на Масленикова, говоря: «Ты увидишь, кормилец, село его, ни один *хранц* (то есть франц или француз) до него не дотронулся, потому что он с ними же грабил нас и посылал все в Вязьму,— всех разорил; у нас ни синь-пороха не осталось по его милости!» Это нас всех взорвало.

Я велел идти за мною как окружавшим избу мою, так и встретившимся со мною на дороге просителям.

Приехав в село Масленикова, я поставил их скрытно за церковью и запретил им подходить ко двору прежде моего приказания. Казалось, мы вступили на благословенный остров, оставшийся от всеобщего потопления! Село, церковь, дом, избы и крестьяне — все было в цветущем положении! Я уверился в справедливости доноса и, опасаясь, чтобы после ухода моего страдальцы сами собой управы не сделали и тем не подали пример другим поселянам к мятежу и безначалию, что в тогдашних обстоятельствах было бы разрушительно и совершенно пагубно

для России, я решился обречь себя в преступники и принять ответственность за подвиг беззаконный, хотя спасительный!

Между тем товарищи мои сели за сытный завтрак... Я не ел, молчал и даже не глядел на все лишние учтивости хозяина, который, чувствуя вину свою и видя меня сумрачным и безмолвным, усугублял их более и более. После завтрака он показал нам одну горницу, нарочно, как кажется, для оправдания себя приготовленную: в ней все мебели были изломаны, обои оборваны и пух разбросан по полу. «Вот,— говорил он,— вот что эти злодеи французы наделали!»

Я, продолжая молчание, подал потаенно от него знак вестовому моему, чтобы позвал просителей, и вышел на улицу будто бы садиться на конь и продолжать путь мой. Когда на улице показалась толпа просителей, я, будто не зная, что они за люди, спросил: «Кто они такие?» Они отвечали, что окрестные крестьяне, и стали жаловаться на Масленикова, который уверял, что они изменники и бунтовщики, но бледнел и трепетал. «Глас божий — глас народа!» — отвечал я ему и немедленно велел казакам разложить его и дать двести ударов нагайками.

По окончании экзекуции я спросил крестьян, довольны ли они? И когда передний из них начал требовать возвращения похищенного, то, чтобы прервать все претензии разом, я его взял за бороду и, ударив нагайкою, сказал сердито и грозно: «Врешь! Этого быть не может. Вы знаете сами, что похищенное все уже израсходовано французами,— где его взять? Мы все потерпели от нашествия врагов, но что бог взял, то бог и даст. Ступайте по домам, будьте довольны, что разоритель ваш наказан, как никогда помещиков не наказывали, и чтобы я ни жалоб и ни шуму ни от одного из вас не слыхал. Ступайте!»

После сего сел на конь и уехал.

Теперь обратимся к военным действиям.

Размещение отдельных отрядов около 24-го и 25-го чисел, то есть во время нахождения главной квартиры французской армии в Дорогобуже, было следующее:

Князь Яшвиль, командовавший отрядом калужского ополчения, встретя в Ельне дивизию Бараге-Дильера, находился на обратном марше в Рославль. Генерал-лейтенант Шепелев с калужским ополчением, шестью орудиями и тремя казачьими полками — в Рославле.

Отряд графа Орлова-Денисова был на марше от Вязьмы чрез Колпитку и Волочек к Соловьевой переправе. Партия моя — вслед за оной на марше из Гаврюкова чрез Богородицкое и Дубовище к Смоленску.

Отряд графа Ожаровского от Юхнова и Знаменского — на марше чрез Балтутино в Вердебяки. Партии Фигнера и Сеславина — от Вязьмы к Смоленску, вслед за моею партией, но ближе к главным колоннам неприятельской армии. Отряд атамана Платова — вслед за арьергардом неприятеля, около Семлева.

Отряд генерала Кутузова [121] — между Гжатью и Сычевкой, в направлении к Николе-Погорелову и к Духовщине. По тому же направлению, но ближе к неприятелю,— партия Ефимова.

Пока покушался я занять большую дорогу у села Рыбков и производил поиск на Славково, граф Орлов-Денисов опередил меня, так что едва усиленными переходами я мог достичь его 25-го числа в селе Богородицком и то уже в минуту выступления его к Соловьевой переправе. Оставя мою партию на марше, я явился к графу с рапортом. Он меня принял, хотя и ласково, но при всем том весьма приметно было, сколь тревожил его вид подполковника, ускользнувшего от владычества генерал-адъютанта и пользовавшегося одинакими с ними правами. Дабы хотя на время исправить противоестественное положение сие, он пригласил меня идти вместе с ним к Соловьевой переправе, предсказывая и обещая мне, если я не последую за ним, несчастные успехи. Но я, помня лесистые места около Соловьева и быв убежден в бесполезности сего поиска, отказался, представив ему полученное мною повеление идти к Смоленску. К тому же, прибавил я, изнурение лошадей принуждает меня дать отдых моей партии, по крайней мере часа на четыре. На сие граф, усмехнувшись, сказал: «Желаю вам спокойно *отдыхать!»* — и поскакал к своему отряду, который уже вытягивался по дороге.

Я расчел верно. Покушение графа Орлова-Денисова не принесло ожидаемой им пользы, и он принужденным нашелся обратиться к прежнему пути своему. Если б партия моя была сильнее, дорого бы он заплатил за свою усмешку и долго бы помнил залет свой к Соловьеву, ибо в продолжение сего времени я открыл отряд генерала Ожеро́ в Ляхове и смог бы сделать один то, что сделал под командою графа. 26-го, на марше к Дубовищам, я приметил, что авангард мой бросился в погоню за конными французами. Вечернее время и туманная погода не позволили ясно рассмотреть числа неприятеля, почему я, стянув полки, велел взять дротики наперевес и пошел рысью вслед за авангардом. Но едва вступил в маленькую деревушку, которой я забыл имя, как увидел несколько авангардных казаков моих, ведущих ко мне лейб-жандармов французских (Gendar-

mes d'élite). Они объявили мне о корпусе Бараге-Дильера, расположенном между Смоленском и Ельнею, и требовали свободы, поставляя на вид, что дело их не сражаться, а сохранять порядок в армии. Я отвечал им: «Вы вооружены, вы французы, и вы в России; следовательно, молчите и повинуйтесь!»

Обезоружа их, я приставил к ним стражу и приказал при первом удобном случае отослать их в главную квартиру; а так как уже было поздно, то мы расставили посты и остановились на ночлег.

Спустя час времени соединились со мною Сеславин и Фигнер [122].

Я уже давно слышал о варварстве сего последнего, но не мог верить, чтобы оно простиралось до убийства врагов обезоруженных, особенно в такое время, когда обстоятельства отечества стали исправляться и, казалось, никакое низкое чувство, еще менее мщение, не имело места в сердцах, исполненных сильнейшею и совершеннейшею радостью! Но едва он узнал о моих пленных, как бросился просить меня, чтобы я позволил *растерзать* их каким-то новым казакам его, которые, как говорил он, еще *не натравлены*. Не могу выразить, что почувствовал я при противуположности слов сих с красивыми чертами лица Фигнера и взором его — добрым и приятным! Но когда вспомнил превосходные военные дарования его, отважность, предприимчивость, деятельность — все качества, составляющие необыкновенного воина,— я с сожалением сказал ему: «Не лишай меня, Александр Самойлович, заблуждения. Оставь меня думать, что великодушие есть душа твоих дарований; без него они — вред, а не польза, а как русскому, мне бы хотелось, чтобы у нас полезных людей было побольше».

Он на это сказал мне: «Разве ты не расстреливаешь?» — «Да,— я говорил,— расстрелял двух изменников отечеству, из коих один был грабитель храма божия».— «Ты, верно, расстреливал и пленных?» — «Боже меня сохрани! Хоть вели тайно разведать у казаков моих».— «Ну, так походим вместе,— он отвечал мне,— тогда ты покинешь все предрассудки».— «Если солдатская честь и сострадание к несчастию — предрассудки, то их предпочитаю твоему рассудку!» — «Послушай, Александр Самойлович,— продолжал я.— Я прощаю смертоубийству, коему причина — заблуждение сердца огненного; возмездие души гордой за презрение, оказанное ей некогда спесивой ничтожностию; лишняя страсть к благу общему, часто вредная, но очаровательная в великодушии своем! И пока вижу в человеке возвышенность чувств, увлекающих его на подвиги отважные, безрассуд-

ные и даже бесчеловечные,— я подам руку сему благородному чудовищу и готов делить с ним мнение людей, хотя бы чести его приговор написан был в сердцах всего человечества! Но презираю убийцу по расчетам или по врожденной склонности к разрушению».

Мы замолчали. Однако, опасаясь, чтобы он не велел похитить ночью пленных моих, я, под предлогом отдавать приказания партии, вышел из избы, удвоил секретно стражу, поручил сохранение их на ответственность урядника, за ними надзиравшего, и отослал их рано поутру в главную квартиру.

Мы часто говорим о Фигнере — сем странном человеке, проложившем кровавый путь среди людей, как метеор всеразрушающий. Я не могу постичь причину алчности его к смертоубийству! Еще если бы он обращался к оному в критических обстоятельствах, то есть посреди неприятельских корпусов, отрезанный и теснимый противными отрядами и в невозможности доставить взятых им пленных в армию. Но он обыкновенно предавал их смерти не во время опасности, а освободясь уже от оной; и потому бесчеловечие сие вредило ему даже и в макиавеллических расчетах его, истребляя *живые грамоты* его подвигов. Мы знали, что он истинно точен был в донесениях своих и, действительно, забирал и истреблял по триста и четыреста нижних и вышних чинов, но посторонние люди, линейные и главной квартиры чиновники, всегда сомневались в его успехах и полагали, что он только бьет на бумаге, а не на деле. Ко всему тому таковое поведение вскоре лишило его лучших офицеров, вначале к нему приверженных. Они содрогнулись быть не токмо помощниками, но даже свидетелями сих бесполезных кровопролитий, и оставили его с одним его *сеидом* — Ахтырского гусарского полка унтер-офицером Шиановым, человеком неустрашимым, но кровожаждущим и по невежеству своему надеявшимся получить царство небесное за истребление неприятеля каким бы то образом ни было.

В ночь возвратились разъездные мои, посланные к селу Ляхову, и уведомили меня, что как в нем, так и в Язвине находятся два сильных неприятельских отряда, что мне подтвердил и приведенный ими пленный, уверяя, что в первом селе стоит генерал Ожеро́ с двумя тысячами человек пехоты и частью кавалерии.

Мы решились атаковать Ляхово. Но так как все три партии не составляли более тысячи двухсот человек разного сбора конницы, восьмидесяти егерей 20-го егерского полка и четырех орудий, то я предложил пригласить на удар сей графа Орлова-

Денисова, которого партия состояла из шести полков казачьих и Нежинского драгунского полка, весьма слабого, но еще годного для *декорации какого-нибудь возвышения*.

Немедленно я послал к графу письмо пригласительное: «По встрече и разлуке нашей я приметил, граф, что вы считаете меня непримиримым врагом всякого начальства; кто без властолюбия? И я, при малых дарованиях моих, более люблю быть первым, нежели вторым, а еще менее четвертым. Но властолюбие мое простирается до черты общей пользы. Вот пример вам: я открыл в селе Ляхове неприятеля, Сеславин, Фигнер и я соединились. Мы готовы драться. Но дело не в драке, а в успехе. Нас не более тысячи двухсот человек, а французов две тысячи и еще свежих. Поспешите к нам в Белкино, возьмите нас под свое начальство — и ура! с богом!»

Двадцать седьмого числа мы были на марше. Вечером я получил от графа ответ. Он писал: «Уведомление о движении вашем в Белкино я получил. Вслед за сим и я следую для нападения на неприятеля; но кажется мне, что атака наша без присоединения ко мне командированных мною трех полков, которые прибыть должны чрез два часа, будет не наверное; а потому не худо бы нам дождаться и действовать всеми силами».

Двадцать восьмого, поутру, Фигнер, Сеславин и я приехали в одну деревушку, занимаемую полком Чеченского, верстах в двух от Белкина. Вдали было видно Ляхово, вокруг села биваки; несколько пеших и конных солдат показывались между избами и шалашами, более ничего не можно было заметить. Спустя полчаса времени мы увидели неприятельских фуражиров в числе сорока человек, ехавших без малейшей осторожности в направлении к Таращину. Чеченский послал в тыл им лощиною сотню казаков своих. Фуражиры приметили их, когда уже было поздно. Несколько спаслось бегством, бо́льшая часть, вместе с офицером (адъютантом генерала Ожеро́), сдалась в плен. Они подтвердили нам известие о корпусе Бараге-Дильера и об отряде генерала Ожеро́, кои, невзирая на следование отряда графа Ожаровского, прошедшего 27-го числа Балтутино на Рославльскую дорогу, остались неподвижными, хотя Балтутино от Ляхова не более как в семнадцати, а от Язвина в девяти верстах.

Вскоре из Белкина подошла ко мне вся партия моя, и граф Орлов-Денисов явился на лихом коне с вестовыми гвардейскими казаками. Он известил нас, что командированные им три полка прибыли и что вся его партия подходит. Поговоря со мною, как

и с которой стороны будем атаковать, он повернулся к Фигнеру и Сеславину, которых еще партии не прибыли на место, и сказал: «Я надеюсь, господа, что вы нас поддержите». Я предупредил ответ их: «Я за них отвечаю, граф; не русским — выдавать русских». Сеславин согласился от всего сердца, но Фигнер с некоторою ужимкой, ибо один любил опасности, как свою стихию, другой — не боялся их, но любил сквозь них видеть собственную пользу без раздела ее с другими. Спустя час времени все партии наши соединились, кроме восьмидесяти егерей Сеславина; а так как мне поручена была честь вести передовые войска, то я, до прибытия егерей, велел выбрать в стрелки казаков, имевших ружья, и пошел к Ляхову, следуемый всеми партиями.

Направление наше было наперерез Смоленской дороге, дабы совершенно преградить отряду Ожеро́ отступление к Бараге-Дильеру, занимавшему Долгомостье.

Коль скоро начали мы вытягиваться и подвигаться к Ляхову, все в селе этом пришло в смятение; мы услышали барабаны и ясно видели, как отряд становился в ружье; стрелки отделялись от колонн и выбегали из-за изб к нам навстречу. Немедленно я спе́шил казаков моих и завязал дело. Полк Попова 13-го и партизанскую мою команду развернул на левом фланге спешенных казаков, чтобы закрыть движение подвигавшихся войск наших, а Чеченского с его полком послал на Ельненскую дорогу, чтобы пресечь сообщение с Ясминым, где находился другой отряд неприятеля. Последствия оправдали эту меру.

Сеславин прискакал с орудиями к стрелкам моим, открыл огонь по колоннам неприятельским, выходившим из Ляхова, и продвинул гусар своих для прикрытия стрелков и орудий. Партии его и Фигнера построились позади сего прикрытия. Граф Орлов-Денисов расположил отряд свой на правом фланге партий Фигнера и Сеславина и послал разъезды по дороге в Долгомостье.

Неприятель, невзирая на пушечные выстрелы, выходил из села, усиливал стрелков, занимавших болотистый лес, примыкающий к селу, и напирал на правый фланг наш главными силами. Сеславин сменил пеших казаков моих прибывшими егерями своими и в одно время приказал Ахтырским гусарам, под командою ротмистра Горскина находившимся, ударить на неприятельскую конницу, покусившуюся на стрелков наших. Горскин атаковал,— опрокинул сию конницу и вогнал ее в лес, уже тогда обнаженный от листьев и, следственно, неспособный

к укрытию пехоты, стрелявшей для поддержания своей конницы. Стрелки наши бросились за Горскиным и вместе с ним начали очищать лес, а стрелки неприятельские — тянуться из оного чистым полем к правому флангу отряда своего. Тогда Литовского уланского полка поручик Лизогуб, пользуясь их смятением, рассыпал уланов своих и ударил. Проезжая в то время вдоль по линии с правого на левый фланг, я попался между ними и был свидетелем следующего случая.

Один из уланов гнался с саблею за французским егерем. Каждый раз, что егерь прицеливался по нем, каждый раз он отъезжал прочь и преследовал снова, когда егерь обращался в бегство. Приметя сие, я закричал улану: «Улан, стыдно!» Он, не отвечав ни слова, поворотил лошадь, выдержал выстрел французского егеря, бросился на него и рассек ему голову.

После сего, подъехав ко мне, он спросил меня: «Теперь довольны ли, ваше высокоблагородие?» — и в ту же секунду охнул: какая-то бешеная пуля перебила ему правую ногу. Странность состоит в том, что сей улан, получив за подвиг сей георгиевский знак, не мог носить его... Он был бердичевский еврей, завербованный в уланы. Этот случай оправдывает мнение, что нет такого рода людей, который не причастен был бы честолюбия и, следовательно, не способен был бы к военной службе.

Приехав на левый фланг, мне представили от Чеченского взятого в плен кривого гусарского ротмистра, которого я забыл имя, посланного в Ясмино с уведомлением, что ляховский отряд атакован и чтобы ясминский отряд поспешал к нему на помощь. Между тем Чеченский донес мне, что он прогнал обратно в село вышедшую против него неприятельскую кавалерию, пресек совершенно путь к Ясмину, и спрашивал разрешения: что прикажу учинить с сотнею человек пехоты, засевшей в отдельных от села сараях, стрелявших из оных и не сдающихся? Я велел жечь сараи,— исчадье Чингисханово — сжечь и сараи и французов!

Между тем граф Орлов-Денисов уведомлен был, что двухтысячная колонна спешит по дороге от Долгомостья в тыл нашим отрядам, и что наблюдательные войска его, на сей дороге выставленные, с поспешностию отступают. Граф, оставя нас продолжать действие против Ожеро́, взял отряд свой и немедленно обратился с ним на кирасиров, встретил их неподалеку от нас, атаковал, рассеял и, отрядив полковника Быхалова с частию отряда своего для преследования оных к Долгомостью, возвратился к нам под Ляхово.

Вечерело. Ляхово в разных местах загорелось; стрельба продолжалась...

Я уверен, что если бы при наступлении ночи генерал Ожеро́ свернул войска свои в одну колонну, заключа в средину оной тяжести отряда своего, и подвинулся бы таким порядком большою дорогою к Долгомостью и к Смоленску,— все наши покушения остались бы тщетными. Иначе ничего сделать мы не могли; как конвоировать его торжественно до корпуса Бараге-Дильера и откланяться ему при их соединении.

Вместо того мы услышали барабанный бой впереди стрелковой линии и увидали подвигавшегося к нам парламентера. В это время я ставил на левом моем фланге между отдельными избами присланное мне от Сеславина орудие и готовился стрелять картечью по подошедшей к левому моему флангу довольно густой колонне. Граф Орлов-Денисов прислал мне сказать, чтобы я прекратил действие и дал бы о том знать Чеченскому, потому что Фигнер отправился уже парламентером — к Ожеро́ в Ляхово.

Переговоры продолжались не более часа. Следствие их было — сдача двух тысяч рядовых, шестидесяти офицеров и одного генерала военнопленными.

Наступила ночь; мороз усилился; Ляхово пылало; войска наши, на коне, стояли по обеим сторонам дороги, по которой проходили обезоруженные французские войска, освещаемые отблеском пожара. Болтовня французов не умолкала: они ругали мороз, генерала своего, Россию, нас; но слова Фигнера: «filez, filez» (пошел! пошел!) покрывали их нескромные выражения. Наконец Ляхово очистилось, пленные отведены были в ближнюю деревеньку, которой я забыл имя, и мы вслед за ними туда же прибыли.

Тут мы забыли слова Кесаря: *«Что не доделано, то не сделано»*. Вместо того чтобы немедленно идти к Долгомостью на Бараге-Дильера, встревоженного разбитием кирасиров своих, или обратиться на отряд, стоявший в Ясмине, мы все повалились спать и, проснувшись в четыре часа утра, вздумали писать реляцию, которая, как будто в наказание за лень нашу, послужила в пользу не нам, а Фигнеру, взявшему на себя доставление пленных в главную квартиру и уверившему светлейшего, что он *единственный* виновник сего подвига. В награждение за оный он получил позволение везти известие о сей победе к государю императору, к коему он немедленно отправился. После сего можно догадаться, в славу кого представлено было дело, о котором сам светлейший собственноручно прибавил:

«Победа сия тем более знаменита, что в первый раз в продолжение нынешней кампании неприятельский корпус положил пред нами оружие».

Двадцать девятого партия моя прибыла в Долгомостье и тот же день пошла к Смоленску. Поиск я направил между дорогами Ельненской и Мстиславской, то есть между корпусами Жюно и Понятовского, которые на другой день долженствовали выступить в Манчино и Червонное. Этот поиск доставил нам шесть офицеров, сто девяносто шесть артиллеристов без орудий и до двухсот штук скота, употребляемых для возки палубов; но дело шло не о добыче. В сем случае намерение мое переступало за черту обыкновенных партизанских замыслов. Я предпринял залет свой единственно в тех мыслях, чтобы глазами своими обозреть расположение неприятельской армии и по сему заключить о решительном направлении оной. Мнение мое всегда было то, что она пойдет правым берегом Днепра на Катань, а не левым на Красный; единственный взгляд на карту покажет выгоду одного и опасность другого пути при движении нашей армии к Красному.

Корпуса Жюно и Понятовского, хотя весьма слабые, но были для меня камнем преткновения; да если бы я мог и беспрепятственно пробраться до Красненской дороги, и тогда я не открыл бы более того, что уже я открыл на дорогах Ельненской и Мстиславской, ибо впоследствии я узнал, что в то время бо́льшая часть неприятельской армии находилась еще между Соловьевой переправой, Духовщиной и Смоленском, на правом берегу Днепра. На сию же сторону прибыли только старая и молодая гвардия, занявшие Смоленск, четыре кавалерийские корпуса, слитые в один и расположенные за Красненской дорогой у селения Вильковичах, и два корпуса, между коими я произвел свой поиск.

Так как оружие ни к чему уже служить не могло, то я обратился к дипломатике и старался всеми возможными изворотами выведать от пленных офицеров о сем столь важном решении Наполеона; но и дипломатика изменила мне, ибо по ответам, деланным мне, казалось, что все сии офицеры были не что иное, как бессловесные исполнители повелений главного начальства, ничего не зная о предначертаниях оного...

Соименный мне покоритель Индии (Вакх, иначе Дионизий) подал мне руку помощи. Чарка за чаркою, влитые в глотки моих узников, возбудили их к многоглаголанию. Случилось так, что один из них был за адъютанта при каком-то генерале и только что воротился из Смоленска, куда он ездил за прика-

заниями и где он видел все распоряжения, принимаемые гвардиею к выступлению из Красного. «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке»,— говорит пословица; откровенность хлынула чрез край, и я все узнал, что мне нужно было узнать, даже и лишнее, ибо к столь любопытному известию он не мог не припутать и рассказы о своих любовных приключениях, которые я принужден был слушать до тех пор, пока мой вития не упал с лошади.

Это известие слишком было важно, чтобы не поспешить доставлением оного к главнокомандующему. Почему я в ту же минуту послал курьера с достаточным прикрытием по Мстиславской дороге, на коей или в окрестностях коей я полагал главную квартиру. Сам же я остался против встреченных мною войск, отвечая на стрельбу их до тех пор, пока превосходство сил не принудило меня отступить по Мстиславской дороге и провести ночь верстах в пятнадцати от Смоленска. В сии сутки мы прошли, по крайней мере, пятьдесят верст.

Неожиданная встреча и отпор, сделанный мне на ходу к Смоленску, внушили мне мысль достигнуть до Красного [123] посредством большого обхода; к тому же, быв отягчен пленными и двумястами штуками скота, я хотел сдать первых и не оставить без употребления последних в такое время, когда войска наши столь нуждались в пропитании. Вследствие чего я решился коснуться армии и потом продолжать путь мой к Красному. Грубая ошибка! Можно сказать, что расчет мой от дифференциального исчисления при поиске к Смоленску упал в *четвертое* правило арифметики при обратном движении, предпринятом мною *для раздела мясной порции!* И подлинно, взяв направление на Червонное и Манчино, где еще не было неприятеля, я мог быть у Красного 1 ноября, в самый тот день, как дивизия Клапареда, прикрывавшая транспорт трофеев, казну и обозы главной квартиры Наполеона, выступила из Смоленска по сему направлению. Правда, что известие о том дошло до меня весьма поздно; к тому же сколько дивизия сия ни была слаба, все она числом своим превышала мою партию, к тому же она была пехотная, а партия моя — конная. Однако это не отговорка! Господствующая мысль партизанов той эпохи долженствовала состоять в том, чтобы теснить, беспокоить, томить, вырывать, что по силам, и, так сказать, жечь малым огнем неприятеля без угомона и неотступно. Все в прах для сей мысли,— и пленных, и коров!.. Я сберег первых, накормил некоторые корпуса последним,— и виноват постыдно и непростительно.

Итак, пройдя несколько верст по Мстиславской дороге, я встретил лейб-гусарский эскадрон, командуемый штабс-ротмистром Акинфьевым, а в восьми верстах далее нашел несколько пехотных корпусов, расположенных для дневки. Как *корсар,* который после долговременного крейсирования открывает курящиеся берега родины, так воззрился я в биваки товарищей, так давно мною оставленных. «Берег! Берег!» — подумал я и бросился во всю прыть к избе генерала Раевского. Прием сего с детства моего уважаемого мною и в пылу боев всегда изумлявшего меня героя был таков, какого я ожидал; но посетители его встретили меня иначе; случилось так, что некоторые из них были те самые, которые при вступлении моем в партизаны уверяли меня, что я берусь не за свое дело, полагая оное чрезмерно опасным и не соответствующим моим способностям. Продолжать атаку на пункт, сделавшийся уже неприступным, было бы безрассудно, и потому они переместили батареи свои. Едва я поздоровался с Раевским и некоторыми приятелями моими, как начались улыбки, полунасмешливые взгляды и вопросы насчет двухмесячных трудов моих. Боже мой! Какое напряжение — поравнять службу мою с переездами их от обеда на обед по тарутинской позиции! Иные давали мне чувствовать, что нет никакой опасности действовать в тылу неприятеля; другие, что донесения мои подвержены сомнению; те безмерно хвалили партизанов прошедших войн с тем, чтобы унизить мои поиски; некоторые осуждали светлейшего за то, что дает место в реляциях делам, не достойным внимания; словом, видно было, сколь имя мое, выставленное во всех объявлениях того времени, кололо глаза людям, искавшим в тех же объявлениях имена свои от Немана до Москвы, а от Москвы до Смоленска, и осужденным видеть оные в одних расписаниях нашей армии. Огражденный чистой совестью и расписками на три тысячи пятьсот шестьдесят рядовых и сорок три штаб- и обер-офицера, взятых мною от 2 сентября до 23 октября [124], я смеялся над холостым зарядом моих противников и желал для пользы России, чтобы каждый из них мог выручить себя от забвения подобными расписками.

Наделив находившиеся там голодные войска отбитыми мною двумястами штуками скота, я ночевал, не помню в какой-то деревушке, у генерала Раевского, и перед рассветом выступил по направлению к Красному.

Первого ноября на походе я догнал колонну генерала Дохтурова и графа Маркова, которые в то время заезжали в какой-то господский дом для привала. Намереваясь вскоре дать отдых



И. Теребенев. «Разрушение всемирной монархии»

«Наполеон у русских в бане»

партии моей, я указал Храповицкому на ближнюю деревню и приказал ему остановиться в ней часа на два; сам же заехал к генералу Дохтурову, пригласившему меня на походный завтрак. Не прошло четверти часа времени, как Храповицкий прислал мне казака с известием, что светлейший меня требует.

Я никак не полагал столкнуться с главною квартирою в сем направлении; но хо́литься было некогда, я сел на конь и явился к светлейшему немедленно.

Я нашел его в избе; перед ним стояли Храповицкий и князь Кудашев. Как скоро светлейший увидел меня, то подозвал к себе и сказал: «Я еще лично не знаком с тобою, но прежде знакомства хочу поблагодарить тебя за молодецкую твою службу». Он обнял меня и прибавил: «Удачные опыты твои доказали мне пользу партизанской войны, которая столь много вреда нанесла, наносит и нанесет неприятелю».

Я, пользуясь ласковым его приемом, просил извинения в том, что осмелился предстать пред ним в мужицкой моей одежде. Он отвечал мне: «В народной войне это необходимо, действуй, как ты действуешь: головою и сердцем; мне нужды нет, что одна покрыта шапкой, а не кивером, а другое бьется под армяком, а не под мундиром. Всему есть время, и ты будешь в башмаках на придворных балах».

Еще светлейший полчаса говорил со мною, расспрашивал меня о способах, которые я употребил образовать сельское ополчение, об опасностях, в каких я находился, о мнении моем насчет партизанского действия и прочем. В это время вошел полковник Толь с картою и бумагами, и мы вышли из избы.

Я думал, что все кончено, и пошел обедать к знаменитому сладкоеду и обжоре — флигель-адъютанту графу Потоцкому. Но едва успели мы сесть за стол, как вошел в избу лакей фельдмаршала и объявил мне, что светлейший ожидает меня к столу. Я немедленно явился к нему, и мы сели за стол. Нас было шесть человек: сам светлейший, Коновницын, князь Кудашев, Толь, я, недостойный, и один какой-то генерал, которого я забыл и имя, и физиономию. За обедом светлейший осыпал меня ласками, говорил о моих поисках, о стихах моих, о литературе вообще, о письме, которое он в тот день писал к госпоже Сталь в Петербург[125], спросил о моем отце и о моей матери; отца он знал по его остроумию и рассказал некоторые его шутки, мне даже не известные. Мать мою он не знал, но много говорил об отце ее, генерал-поручике Щербинине, бывшем наместником трех губерний при Екатерине. После обеда я напомнил ему о моих подчиненных; он отвечал мне: «Бог

меня забудет, если я вас забуду», и велел подать о них записку. Я ковал железо, пока горячо, и представил каждого офицера к двум награждениям. Светлейший беспрекословно все подписал, и я, откланявшись ему, поехал в корчму села сего, где ожидали меня партия моя и брат мой Евдоким, которого я не видал от самого Бородина.

Спустя два часа времени мы выступили в Волково. Извещенный мною из-под Смоленска, а, может, вместе со мною и другими партиями о решительном направлении всей французской армии к Красному, светлейший намеревался атаковать ее на марше и поспешил к окрестностям сего города.

Между 1 и 4 ноября расположение партизанов было следующее:

Второго граф Орлов-Денисов, соединясь со мною, коснулся корпуса Раевского в Толстяках; мы продолжали путь в Хилтичи, куда прибыли к ночи. Отдохнув три часа, мы пошли к Мерлину.

Третьего отряд графа Ожаровского подошел к Куткову, а партия Сеславина, усиленная партиею Фигнера [126], к Зверовичам.

Сего числа, на рассвете, разъезды наши дали знать, что пехотные неприятельские колонны тянутся между Никулиным и Стеснами. Мы помчались к большой дороге и покрыли нашею ордою все пространство от Аносова до Мерлина. Неприятель остановился, дабы дождаться хвоста колонны, бежавшего во всю прыть для сомкнутия. Заметив сие, граф Орлов-Денисов приказал нам атаковать их. Расстройство сей части колонны неприятельской способствовало нам почти беспрепятственно затоптать ее и захватить в плен генералов Альмераса и Бюрта, до двухсот нижних чинов, четыре орудия и множество обоза. Наконец подошла старая гвардия, посреди коей находился сам Наполеон. Это было уже гораздо за полдень. Мы вскочили на конь и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя одного рядового от сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегали все усилия наши и остались невредимыми... Я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти угрожаемых воинов! Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, в белых ремнях с красными султанами и эполетами, они казались как маков цвет среди снежного поля! Будь с нами несколько рот конной артиллерии и вся регуляр-

ная кавалерия, бог знает для чего при армии влачившаяся, то как передовая, так и следующие за нею в сей день колонны вряд ли отошли бы с столь малым уроном, каковой они в сей день потерпели.

Командуя одними казаками, мы жужжали вокруг сменявшихся колонн неприятельских, у коих отбивали отстававшие обозы и орудия, иногда отрывали рассыпанные или растянутые по дороге взводы, но колонны оставались невредимыми.

Видя, что все наши азиатские атаки рушатся у сомкнутого строя европейского, я решился под вечер послать Чеченского полк вперед, чтобы ломать мостики, находящиеся на пути к Красному, заваливать дорогу и стараться всяким образом преграждать шествие неприятеля; всеми же силами, окружая справа и слева и пересекая дорогу спереди, мы перестреливались с стрелками и составляли, так сказать, авангард авангарда французской армии.

Я как теперь вижу графа Орлова-Денисова, гарцующего у самой колонны на рыжем коне своем, окруженного моими ахтырскими гусарами и ординарцами лейб-гвардии казацкого полка. Полковники, офицеры, урядники, многие простые казаки бросались к самому фронту,— но все было тщетно! Колонны валили одна за другою, отгоняя нас ружейными выстрелами, и смеялись над нашим вокруг них безуспешным рыцарством.

В течение дня сего мы еще взяли одного генерала (Мартушевича), множество обозов [127] и пленных до семисот человек; но гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль между рыбачьими лодками.

В сумерках Храповицкий едва не попался в плен шедшей близ дороги неприятельской кавалерии. Приняв ее за нашу, он подъехал к самому фронту неприятельскому так близко, что, будучи весьма близорук, мог уже приметить медные *одноглавые* орлы на киверах солдат и офицеров и услышать шепот их. Он бросился прочь во всю прыть; офицеры — за ним, стреляя из пистолетов, и хотя ранили лошадь его, но так легко, что он успел невредимо перелететь, так сказать, чрез яр, в сем месте находящийся, и соединиться с нами. В сем деле у Бекетова была убита лошадь ядром и несколько казаков было ранено.

После сего поиска мы отошли в Хиличи, где граф Орлов-Денисов сдал отряд свой присланному на его место генерал-маиору Бороздину. Из Хиличи я пошел в Палкино и послал сильный разъезд к Горкам с повелением пробираться в Ланни-

ки, куда я взял свое направление. В день дела нашего под Мерлиным Сеславин напал на Боево и Ляды, где отбил два магазина и взял много в плен; но в ту же ночь Ожаровский поражен был в селе Куткове. Справедливое наказание за бесполезное удовольствие глядеть на тянувшиеся неприятельские войска и после спектакля ночевать в версте от Красного, на сцене между актерами. Генерал Роге, командовавший молодою гвардиею, подошел к Куткову во время невинного усыпления отряда Ожаровского и разбудил его густыми со всех сторон ружейными выстрелами. Можно вообразить свалку и сумятицу, которая произошла от сего внезапного пробуждения! Все усилия самого Ожаровского и полковника Вуича, чтобы привести в порядок дрогнувшие от страха и столпившиеся в деревне войска их, были тщетны! К счастию, Роге не имел с собою кавалерии, что способствовало Ожаровскому, отступя в Кутково, собрать отряд свой и привести оный в прежде бывший порядок, с минусом половины людей.

Четвертого, в ночи, он прибыл в Палкино, откуда по прибытии его я выступил чрез Боево к Лядам. Около сего места партия моя снова столкнулась с французами. Тогда подходил к Лядам корпус вице-короля Италианского. Расстройство, понесенное оным на Вопе и между Смоленском и Красным, дозволило нам отбить большое число обозов и взять четыреста семьдесят пять пленных, между коими находилось несколько офицеров. Ночью на 6-е число явились ко мне в Боево Вильманстрандского пехотного полка маиор Ванслов и капитан Тарелкин, ушедшие из плена. Они объявили мне, что Наполеон при них въехал в Дубровну. Я их отослал в главную квартиру и в три часа пополуночи выступил в Ланники.

От самой Вязьмы образ нашей жизни совершенно изменился. Мы вставали в полночь. В два часа пополуночи обедали так плотно, как горожане обедают в два часа пополудни, и в три часа выступали в поход.

Партия шла всегда совокупно, имея авангард, арьергард и еще один отряд со стороны большой дороги, но все сии отделения весьма близко от самой партии. Я ехал между обоими полками иногда верхом, иногда в пошевнях, которые служили мне ночью вместо квартиры и кровати.

Когда не было неприятеля, то за полчаса до сумерков оба полка спешивались и от того приходили на ночлег с выгулявшимися лошадьми, коих немедленно становили к корму. По приведении в устройство всей военной предосторожности мы

немедленно ложились спать и во втором часу садились снова за трапезу, на конь и пускались в погоню.

Кочевье на соломе под крышею неба! Вседневная встреча со смертию! Неугомонная, залетная жизнь партизанская! Вспоминаю о вас с любовию и тогда, как покой и безмятежие нежат меня, беспечного, в кругу милого моего семейства! Я счастлив... Но отчего тоскую и теперь о времени, когда голова кипела отважными замыслами и грудь, полная обширнейших надежд, трепетала честолюбием изящным, поэтическим?

По отступлении неприятеля от Красного размещение партизанов было следующее. Отряд Бороздина, заняв Ляды 7-го и Дубровну 8-го, шел к Орше. Отряд графа Ожаровского, пройдя возле большой дороги от Нейкова до Козяков, обращен был к Горкам. Девятого Сеславин из селения Грехова, что около Корытни, шел в направлении к Копысу. Как тот, так и другой — в намерении атаковать кавалерийское депо, о коем я узнал только в Ланниках чрез разъездных, посланных мною из Палкина в Горки.

В ночь на 6-е число разъездные мои, посланные в селение Сыву, перехватили рапорт к маршалу Бертье от начальника означенного депо — маиора Бланкара. Узнав о числе войск его по ведомости, приложенной при рапорте, я рассудил, что поиски, предпринимаемые партизанами против отступающих колонн главной армии, могут без осуждения быть неудачными (плетью обуха не перешибешь), но что нападение на отдельную часть, столь необходимую французской армии, каково кавалерийское депо, надлежит произвести с полною уверенностию в успехе, дабы тем лишить кавалерию неприятельскую лучших всадников и почти всего имущества — генералов, штаб- и обер-офицеров армии.

Рассуждение сие понудило меня, во-первых, отсрочить нападение на депо ровно вшестеро сильнее моей партии, во-вторых, немедленно отослать перехваченные мною бумаги в главную квартиру, подходившую тогда к Романову (в шестнадцати верстах от меня, то есть от Ланников, где я находился), в-третьих, просить у светлейшего одного полка пехоты и двух орудий на подкрепление и, наконец, в-четвертых, употребить все способы до прибытия требуемых мною войск, чтобы не спускать с глаз означенное депо, дабы, в случае движения его за Днепр, напасть на него с тем, чем бог послал.

В ночь на 8-е число засада, поставленная мною на дороге, из Орши в Горки лежащей, перехватила прежде курьера, а

через два часа жида[128], посланных от маршала Бертье к Бланкару с повелением идти наипоспешнее за Днепр. В ту же минуту дали мне знать, что один из разъездов моих, ходивший из Савы к Горкам, вступил беспрепятственно в сие местечко, что вместо депо встретил там отряд графа Ожаровского и что, по известиям от жителей, неприятель пошел к Копысу. Немедля мы пустились, чрез Горяны и Бабиники, к сему же городу.

На походе узнал я, что депо прибыло в Копыс и заняло его, со всею воинской предосторожностию, половинным числом пеших кавалеристов, дабы назавтра прикрыть ими переправу тягостей, защищаемых другою половиною сей сволочи. Обстоятельство это понудило меня остановиться скрытно в шести верстах от Копыса, при селе Сметанке, с намерением не прежде предпринять нападение, как по переправе половины депо чрез реку, и тогда разбить поодиночке: одну часть на сей, а другую — на той стороне Днепра. Река сия не была еще схвачена льдом, одни края оной были легко замерзшими.

Девятого, поутру, мы помчались к Копысу. Почти половина депо была уже на противоположном берегу; другая половина, оставшаяся на сей стороне, намеревалась вначале защищаться против вскакавших в главную улицу гусаров моих и донского полка Попова 13-го; но коль скоро Чеченский с Бугским своим полком пробрался вдоль берега и явился в тылу оной, среди города, у переправы,— тогда все стало бросать оружие, отрезывать пристяжки у повозочных лошадей и переправляться где попало вплавь на противоположный берег. Мгновенно река покрылась плывущими и утопающими людьми и лошадьми. Берега оной и сама она завалились фурами, каретами и колясками. В улицах началась погоня и резня беспощадная, а с противного берега открылся по нас сильный ружейный огонь. Желая дать время рассыпанным по городу казакам моим окончательно очистить улицы от неприятеля, я остановился с резервом на площади у самого берега и велел привести ко мне мэра (городничего), определенного в город сей французами. По дошедшим ко мне слухам, он притеснял и даже убивал пленных наших в угождение полякам. Привели пред меня какого-то рябого и среднего роста человека. Он на чистом русском языке просил у меня позволения объясниться, в одно время как жена его с престарелой матерью своей бросились к ногам моим и просили ему помилования. Пули осыпали нас. Я им сказал, что тут не их место, и просил удалиться, дав честное слово, что господин Попов (так звали сего

мнимого мэра) нимало не пострадает, если он невинен, и отдал его под стражу до окончания дела.

Вскоре наездники мои очистили от неприятеля улицы. Я собрал полки и, невзирая на стрельбу, производимую с противного берега, пустился двумя толпами вплавь чрез Днепр, оплывая, так сказать, справа и слева линию стрелков, защищавших переправу. Еще мы не коснулись до берега, как бо́льшая часть сих стрелков пришла в смятение, стала бросать оружие и кричать, что они сдаются. Мы переправились. Я отрядил сотню казаков для забрания сдавшихся в плен, скрывавшихся в Александрии[129] и бежавших в разброде чрез столбовую Белорусскую дорогу. Вся партия пустилась за остатками депо, направление которого показывали нам брошенные фуры, повозки и отставшие пехотинцы от главной массы, состоявшей уже не более как в двести пятьдесят рядовых и офицеров, ибо все разбрелось по лесам, погибло в реке, поколото казаками и захвачено ими в плен. Сих последних было шестьсот рядовых и, помнится, около десяти офицеров.

Оконча преследование в нескольких верстах от берега, я послал поручика Макарова со ста казаками по дороге к Толочину, а подполковника Храповицкого со ста пятьюдесятью казаками в Шклов. Сам же с остальною частью партии воротился в Копыс, где удостоверился, что господин Попов не только не исполнял должности мэра, но даже скрывался с семьею своею в лесах во время властвования в сем краю неприятеля. Видя невинность сего чиновника, я поручил ему временное управление городом и велел открыть магистрат по-прежнему. Истинного же мэра отыскал и отослал в главную квартиру с описанием его неистовств с русскими пленными и лихоимства с жителями.

Не прошло двух часов, как прибыл в Копыс Шамшева казачий полк с сто пятьюдесятью Мариупольского полка гусарами, под командою подполковника Павла Ржевского. Сей офицер известил меня, что граф Ожаровский, не застав неприятеля в Горках и видя невозможность догнать его целым отрядом, отрядил часть оного к Копысу, а сам обратился к Шклову, занимаемому, по слухам, дошедшим до графа, сильным неприятельским отрядом. Хотя я верно знал, что в Шклове было не более шестидесяти человек неприятеля, при всем том не мог я чрез Ржевского не пожелать графу Ожаровскому победы и славы тем чистосердечнее, что сражение с шестьюдесятью человеками исполняло если не все, то по крайней мере первую часть моего желания. Обеты мои остались втуне,

но когда 10-го числа отряд генерала сего готовился уже переправляться чрез Днепр для атаки на Шклов, Храповицкий явился к нему из сего местечка и объявил, что он накануне еще занял оное своими казаками без сопротивления.

Спустя несколько часов после прибытия Ржевского в Копыс, прибыл туда же и Сеславин. Он немедленно переправился чрез Днепр и, простояв в Александрии до 11-го числа, выступил оттуда чрез Староселье, Круглое и Кручу вслед за французскою армиею.

В ожидании отряда, посланного с поручиком Макаровым к Толочину, я принужден был пробыть в Копысе день более, нежели Сеславин. Тут меня оставили мичман Храповицкий, титулярный советник Татаринов, землемер Макаревич и Федор, приставший ко мне из Царева-Займища. Отдав долг свой отечеству, они возвратились на родину с торжествующей совестию после священного дела! Исключая Храповицкого, два последние были бедные дворяне, а Федор — крестьянин; но сколь возвышаются они пред потомками тех древних бояр, которые, прорыскав два месяца по московскому бульвару с гремучими шпорами и с густыми усами, ускакали из Москвы в отдаленные губернии, и там,— пока достойные и незабвенные соотчичи их подставляли грудь на штык врагов родины,— они прыскались духами и плясали на могиле отечества! Некоторые из этих бесславных беглецов до сих пор воспоминают об этой ужасной эпохе как о счастливейшем времени их жизни! И как быть иначе? Как действительному статскому советнику забыть генеральские эполеты, а регистратору — усы и шпоры?

Двенадцатого я получил повеление оставить прикомандированный ко мне 11-й егерский полк на переправе при Копысе. Хотя по сей только бумаге узнал я, что, вследствие просьбы моей, полк сей был ко мне назначен,— при всем том я с сожалением переслал оному данное мне повеление. Мы подходили к лесистым берегам Березины; пехота была необходима, а пехоту у меня отнимали; что было делать? Я прибегнул к прибывшему в город генералу Милорадовичу, который на время одолжил меня двумя орудиями конной артиллерии и тем несколько исправил мое положение.

С вышесказанной бумагой я получил другую следующего содержания: «Полагая генерал-адъютанта Ожаровского весьма слабым, чтобы одному предпринять поиски на Могилев без генерал-лейтенанта Шепелева, имеете, ваше высокоблагородие, немедленно присоединиться к нему и состоять в команде его до овладения Могилевым. По овладении же, отделясь от него,

идти форсированными маршами к местечку Березине, где остановиться, ибо, вероятно, что около сего места удастся вам многое перехватить, и для того, прибыв туда, отрядить партию в сторону Бобра и Гумны. *Генерал-лейтенант Коновницын. 11 ноября. На марше к деревне Лещи»*.

Сия бумага довершила неприятность! Я всегда был готов поступить под начальство всякого того, кого вышняя власть определяла мне в начальники; скажу более: под Ляховым и Мерлином я сам добровольно поступил в команду к графу Орлову-Денисову, потому что я видел в том пользу службы; но тут обстоятельства были иные. Отряд графа Ожаровского достаточен был по силе своей для овладения Могилевым, хотя бы город сей и не был 9-го оставлен отрядом неприятельским, состоявшим в тысячу двести человек польских войск[130]. Я видел ясно, что направление, данное мне к местечку Нижнему Березину, и предписание наблюдать за неприятельскою армиею к Бобру и Гумнам основывались на предположении, что армия эта склонится к Нижнему Березину и Гумену и чрез то совершенно прекратит фланговое преследование наше, столько пользы нам принесшее! Конечно, я не в состоянии был преградить путь целой армии слабым моим отрядом, если бы дело пришло до драки; но при бедственном положении неприятеля необходимо нужно было считать и на расстройство нравственной силы оного: часто сто человек, которые нечаянно покажутся на дороге, по коей отступает неприятельская армия, напугают ее более, нежели несколько тысяч, когда дух ее еще не потрясен неудачами. Рассуждение сие решило меня идти прямо на Шклов, Головнино и Белыничи, о чем я предварительно известил как графа Ожаровского, так и Коновницына, и принял на себя ответственность за непослушание.

Тринадцатого, к ночи, партия моя прибыла в Головнино. Я узнал, что местечко Белыничи занято отрядом польских войск, прикрывающих гошпиталь, прибывший туда из Нижнего Березина, по причине появления у местечка сего отряда графа Орурка от Чичагова армии.

Рано 14-го числа мы выступили к Белыничам. На походе встретили мы Ахтырского гусарского полка поручика Казановича, который, полагая край сей очищенным от неприятеля, ездил из полка к родителям своим для свидания с ними и во время скрытного двухдневного пребывания у них видел дом родительский, посещаемый несколько раз грабителями из Белынича. Он, узнав о приближении моем к сему местечку, сел на конь и поскакал ко мне навстречу, чтобы уведомить меня о

пребывании неприятеля в местечке, о числе оного и вместе с тем чтобы быть вожатым моим по дорогам, более ему, нежели мне, известным.

Местечко Белыничи, принадлежащее князю Ксаверию Огинскому, лежит на возвышенном берегу Друцы, имеющей течение свое с севера к югу. По дороге от Шклова представляется поле плоское и обширное. За местечком — один мост чрез Друцу, довольно длинный, потому что берега оной болотисты. За мостом, на пути к местечку Эсмонам, частые холмы, покрытые лесом; от Эсмонов до Березины лес почти беспрерывный.

Мы подвигались рысью. Неприятельская кавалерия выехала из Белынича и была подполковником Храповицким и маиором Чеченским немедленно опрокинута в местечко, занятое двумя сильными батальонами пехоты. Ярость в преследовании увлекла нас на батальоны. Они встретили нас, как следует встречать нападающих, когда хочешь защищаться с честью. Видя затруднение пробиться сквозь местечко, я думал, что можно обойти его справа от стороны фольварка Фойны, но вскоре уверился, что, по причине нескольконедневной оттепели и болотистых берегов реки, еще более найду затруднения в обходе, нежели в прямом ударе. Обстоятельство это решило меня вломиться в главную улицу. Чтобы облегчить мое предприятие, я велел открыть огонь из орудий вдоль по оной улице. Неприятельская колонна расступилась направо и налево, но, пользуясь местностию, не переставала преграждать вступлению нашему в улицу густым ружейным огнем из-за изб, плетней и заборов. Я не умею отчаиваться, но было отчего прийти в отчаяние. Тщетно я умножал и усиливал покушения мои, чтобы вытеснить неприятеля из засады, им избранной: люди и лошади наши падали под смертоносным огнем, но ни на шаг вперед не подавались. Это был мой Аркольский мост! Однако медлить было некогда; с часа на час граф Ожаровский мог прийти от Могилева и, посредством пехоты своей, вырвать у меня листок лавра, за который уже я рукой хватался! Мы разрывались с досады! Брат мой Лев [131], будучи моложе всех, менее других мог покоряться препятствиям. Он пустился с отборными казаками вдоль по улице и, невзирая на град пуль, осыпавших его и казаков, с ним скакавших, ударил на резерв, показавшийся в средине оной, и погнал его к мосту. Но и удар этот ни к чему не послужил! Получа две пули в лошадь, он принужден был возвратиться к партии, которой я удержал стремление за ним, ибо долг ее был вытеснить

неприятеля из местечка, а не проскакивать чрез оное, оставляя его полным неприятельскою пехотою.

Между тем подполковник Храповицкий с отрядом гусар и казаков занял с боя гошпиталь и магазин, возле местечка находившиеся, и ожидал дальнейшего повеления. К счастию, я его не отозвал назад по совершении данного ему препоручения, ибо прибывший из графа Ожаровского отряда казачий полковник Шамшев, желая впутаться в дело, стал уже занимать гошпиталь и магазин в славу собственную. Храповицкий выгнал его вон, как хищника чужой добычи. Он оставил оную и остановился с полком своим в поле, не желая нисколько помогать нам и содействовать к овладению местечком.

Неприятель продолжал упорствовать в главной улице. Отдавая должную справедливость храбрости противников моих, но кипя желанием истребить их прежде прибытия всего отряда графа Ожаровского, коего авангардом был вышесказанный казачий полк, я решился зажечь избы брандкугелями. В самое то время неприятель начал собирать стрелков своих и строиться на улице в колонну, как казалось, для ухода. Оставя намерение зажигать избы, я немедленно приказал садить в него картечами, что ускорило выступление его из местечка. Он потянулся чрез мост по дороге к Эсмонам.

Пропустя колонну далее в поле, мы объехали оную со всех сторон, не переставая разрывать ее пушечными выстрелами. Командующий артиллериею моею поручик Павлов стрелял из одного орудия картечами и ядрами, а из другого гранатами. Хвост колонны лоском ложился по дороге, но сама она смыкалась и продолжала отступление, отстреливаясь. Наконец, в намерении воспользоваться закрытым местоположением, дабы вовсе от нас отделаться, хотя с пожертвованием части своих товарищей, начальник колонны отделил в стрелки около половины колонны. Едва войска сии успели отделиться, как командовавший отборными казаками брат мой Лев ударил на оных из-за леса, обратил их в бегство, отхватил в плен подполковника, двух капитанов и девяносто шесть рядовых, прочих частию поколол, а частию вогнал обратно в колонну,— и запечатлел кровию отважный свой подвиг [132].

Как ни прискорбно было мне видеть брата моего жестоко раненным на поле битвы, но, победя чувство родства и дружбы высшим чувством, я продолжал преследование. Еще от села Мокровичей я отрядил сотню казаков к Эсмонам с повелением разобрать столько моста на реке Ослике, сколько время позволит, и потом скрыться в засаде у переправы. Намерение

мое было сделать решительный натиск у сего пункта и тем прекратить бой, стоящий уже мне весьма дорого. И подлинно, неприятель, подшед к Эсмонам, встретил и препятствие для переправы, и ружейный огонь казаков, засевших у моста. Выстрелы оных были сигналом для нашего нападения: мы со всех сторон ударили. Колонна разделилась: одна половина оной стала бросать оружие, но другая, отстреливаясь из-за перилов моста и из-за ив, растущих вокруг оного, набросала несколько досок, разбросанных казаками моими, переправилась чрез реку и отступила лесами к Нижнему Березину.

В сем деле мы овладели магазином и гошпиталем в Белыничах. В первом найдено четыреста четвертей ржи, сорок четвертей пшеницы, двести четвертей гречихи и пятьдесят четвертей коноплей, а в последнем взяли двести девяносто человек больных и пятнадцать лекарей. Взят один подполковник, четыре капитана и сто девяносто два рядовых, весь обоз и сто восемьдесят ружей.

Справедливость велит мне сказать, что брат мой Лев был героем сего дела.

Возвратясь в село Мокровичи, я немедленно послал выбрать лучших двух хирургов из пятнадцати лекарей, отбитых нами в белыничевском гошпитале, приставил одного из них к брату, другого — к раненым казакам, и отправил весь сей караван в Шклов 15-го поутру.

Грустно мне было расставаться с страждущим братом моим и отпускать его в край, разоренный и обитаемый поляками, чуждыми сожаления ко всякому, кто носит имя русское! К тому же, если б урядник Крючков не ссудил меня заимообразно двадцатью пятью червонными, я принужден был бы отказать брату и в денежном пособии, ибо казна моя и Храповицкого никогда не превышала двух червонных во все время наших *разбоев:* вся добыча делилась между нижними чинами.

Я велел в тот же день сдать под расписку пана Лепинского, управителя графа Огинского имения, отбитые нами у неприятеля магазин, гошпиталь, ружья, обоз и пленных; послал с рапортом об сем деле курьера в главную квартиру, находившуюся в Круглом, и выступил сам по данному мне направлению.

Между тем на берегах Березины совершались громадные события. Наполеону, в первый раз испытавшему неудачу, угрожала здесь, по-видимому, неизбежная гибель. В то время как обломки некогда грозной его армии быстро следовали к Березине, чрез которую им надлежало переправиться, сюда

стремились с разных сторон три русские армии и многие отдельные отряды. Казалось, конечная гибель французов была неминуема, казалось, Наполеону суждено было здесь либо погибнуть с своей армией, либо попасться в плен. Но судьбе угодно было здесь еще раз улыбнуться своему прежнему баловню, которого присутствие духа и решительность возрастали по мере увеличения опасности. С трех сторон спешили к Березине Чичагов, Витгенштейн, Кутузов и отряды Платова, Ермолова, Милорадовича, Розена и другие. Армия Чичагова, которую Кутузов полагал силою в шестьдесят тысяч человек, заключала в себе лишь тридцать одну тысячу человек, из которых около семи тысяч кавалерии; она была ослаблена отделением Сакена с двадцатью семью тысячами человек против Шварценберга и неприбытием Эртеля с пятнадцатью тысячами человек, отговаривавшегося незнанием, следовать ли ему с одной пехотой или вместе с кавалериею. Грустно думать, что в столь тяжкое для России время могли в ней встречаться генералы, столь легко забывающие священные обязанности свои относительно отечества.

Чичагов, занимая правый берег Березины, господствующий над левым, должен был наблюдать большое пространство по течению реки, близ которой местность была весьма пересечена и болотиста. Армия Витгенштейна следовала также по направлению к Березине; утомленная, по-видимому, одержанными успехами, она подвигалась медленно и нерешительно. Мужественный, но недальновидный защитник Петрополя, гордившийся одержанием победы в каких-то десяти генеральных сражениях, был совершенно обманут французским генералом Legrand. В одном из донесений Витгенштейна сказано, что против него находилась дивизия стрелков; это были лишь стрелки, вызванные из пехотной дивизии. Генерал Legrand, ослабленный отделением значительных сил, соединившихся с Наполеоном, отступил весьма искусно от Чашников и Череи. Если бы Витгенштейн преследовал его деятельно и теснил бы французов не ощупью и не так слабо, Legrand, имея лишь весьма мало пехоты, мог бы быть совершенно истреблен или, по крайней мере, значительно ослаблен. Витгенштейн должен был понять, что развязка кровавой драмы должна была воспоследовать на берегах Березины, а потому он должен был, уничтожив или, по крайней мере, значительно ослабив войска Legrand, быстро двинуться к этой реке. Впоследствии Витгенштейн уверял, что он лишь потому не соединился с войсками адмирала, что ему

надлежало преследовать баварцев, которые, как известно, выступили из окрестностей Полоцка [133].

Прибыв весьма поздно с одним своим штабом в Борисов, Витгенштейн обнаружил впоследствии большую нерешительность относительно войск Викто́ра, которые, после переправы Наполеона чрез Березину, могли быть легко уничтожены. Между тем князь Кутузов писал адмиралу из Копыса от 13 ноября, за № 562: «Если Борисов занят неприятелем, то вероятно, что оный, переправясь чрез Березину, пойдет прямейшим путем к Вильне, идущим чрез Зембино, Плещеницы и Вилейку. Для предупреждения сего необходимо, чтобы ваше высокопревосходительство заняли отрядом дефилею при Зембине, в коей удобно удержать можно гораздо превосходнейшего неприятеля. Главная наша армия от Копыса пойдет чрез Староселье, Цегержин, к местечку Березино, во-первых, для того, чтобы найти лучше для себя продовольствие, а во-вторых, чтобы упредить оного, если бы пошел от Бобра чрез Березино на Игумен, чему многие известия дают повод к заключениям». Кутузов, с своей стороны, избегая встречи с Наполеоном и его гвардией, не только не преследовал настойчиво неприятеля, но, оставаясь почти на месте, находился во все время значительно позади. Это не помешало ему, однако, извещать Чичагова о появлении своем на хвосте неприятельских войск. Предписания его, означенные задними числами, были потому поздно доставляемы адмиралу; Чичагов делал не раз весьма строгие выговоры курьерам, отвечавшим ему, что они, будучи посланы из главной квартиры гораздо позднее чисел, выставленных в предписаниях, прибыли к нему в свое время.

Пока князь Кутузов оставался в Копысе и его окрестностях, Наполеон, усиленный войсками Викто́ра, Удино́ и остатками отряда Домбровского, подошел к Березине. Множество примеров из истории убеждают нас в невозможности силою воспрепятствовать неприятелю совершить переправу чрез реку, но затруднить ее по возможности — всегда во власти военачальника противной армии. Чичагов, которому приходилось наблюдать по течению Березины на расстоянии восьмидесяти верст от Веселова до Нижнего Березина, был введен в заблуждение следующими обстоятельствами: действием Удино́, расположившего свои посты на тридцативерстном пространстве, выше и ниже Борисова, и занявшего отрядом Ухолоды, где делались приготовления для переправы, известиями о приближении австрийцев со стороны Сморгони и, наконец, намеками Кутузова, убежденного, что Наполеон направится к Нижнему Березину. Все

это побудило Чичагова двинуться к Шабашевичам. Между тем Наполеон под прикрытием сорокапушечной батареи, устроенной близ Студенок в узком месте реки, благополучно переправился чрез нее. Слабый авангард Чаплица, не будучи в состоянии оказать сопротивления неприятелю, отступил к Стахову; двинувшись один к Зембину, этот авангард отделился бы от прочих частей армии и был бы неминуемо истреблен. Удино, переправившись во главе французской армии и расположившись между Брилем и Стаховым, занял небольшим отрядом Зембинское дефиле. Чаплиц, слабо подкрепленный Чичаговым, которого шесть гренадерских баталионов остались далеко назади, не мог даже развернуть всех сил своих, так что одна артиллерийская рота стреляла чрез головы других. Чичагов, выслав Сабанеева с войсками к Стахову, приказал изнуренным отрядам Ермолова и Платова стать там же в резерве. Завязался в лесу кровопролитный, но бесполезный бой; французская кавалерия яростно атаковала нашу пехоту, причем мужественный князь Щербатов едва не был взят в плен.

Вместо ошибочного движения на Игумен, Чичагову надлежало, заняв центральный пункт, выслать вверх и вниз по реке отряды для открытия неприятеля; движение на Игумен ничем не может быть оправдано. Что касается других обвинений, так, например, относительно порчи частей в Зембинском дефиле, Чичагов [134] в этом мало виноват; им быя послан с атаманским казачьим полком Кайсаров, которому было строго предписано испортить все гати этого дефиле. Кайсаров поднялся вверх по реке Гайне на расстояние около двадцати верст, с намерением приступить к порче гатей с тыла; глубокие и топкие места, окружающие Гайну, никогда в самую суровую зиму не замерзающие, не дозволили ему привести это предприятие в исполнение. Если б оно удалось, Наполеон нашелся бы вынужденным обратиться на Минск, которым бы вскоре неминуемо овладел. Овладение этим городом было для нас и для французов делом первостепенной важности; здесь были найдены нами богатые магазины с запасами, привезенными из Франции, которыми наша армия воспользовалась. Наполеон, овладев Минском, мог бы здесь остановиться и дать время своим войскам сосредоточиться и отдохнуть. Князь Кутузов, не желая, вероятно, подвергать случайностям исход кампании, принявшей для нас столь благоприятный оборот, и постоянно опасавшийся даже близкого соседства с Наполеоном и его гвардиею, не решился бы, без сомнения, его здесь атаковать. Неизвестно, какой бы в этом случае оборот приняли дела?

Хотя я враг правила, предписывающего строить золотой мост отступающему неприятелю, но здесь обстоятельства вынуждали нас не затруднять Наполеону движения чрез Зембинское дефиле по следующим причинам: во-первых, армии, которым надлежало соединиться на Березине для совокупной атаки, были весьма разобщены, и притом они не были, по-видимому, расположены оказать деятельное содействие одна другой, вследствие неприязни и зависти, существовавшей между военачальниками; Витгенштейн не хотел подчиниться Чичагову, которого, в свою очередь, ненавидел Кутузов за то, что адмирал обнаружил злоупотребления князя во время его командования молдавской армией. Во-вторых, Наполеон, занимая центральный пункт относительно наших армий, имел под руками восемьдесят тысяч человек; он мог легко раздавить любую армию, которая, не будучи поддержана другими, решилась бы преградить ему дорогу. Наконец французы, сознавая вполне свое гибельное положение и невзирая на понесенные страшные потери, обнаружили здесь отчаянное мужество. Отряд Ермолова перешел, вопреки приказанию Кутузова, Днепр близ Дубровны по сожженному мосту, на полуобгоревшие сваи которого были набросаны доски, которые были перевязаны веревками. Спутанные лошади перетаскивались с величайшим затруднением по этому мосту с помощью веревок, привязанных за хвосты. Переправившись чрез Днепр, Ермолов встретил жида с донесением Витгенштейна светлейшему; прочитав его, Ермолов писал отсюда Кутузову: «Я из этого донесения заключаю, что неприятель кругом обманул графа Витгенштейна, который потому отстанет от него, по крайней мере, на полтора марша». Прибыв в Лошницы, Ермолов чрез адъютанта Чичагова — Лисаневича — получил приказание поспешить к Березине. Совершив почти два перехода в одни сутки, он прибыл в Борисов, где представлялся графу Витгенштейну, который с гордостью говорил ему о выигранных им десяти сражениях. Этот рассказ мужественного защитника Петрополя был прерван неуместными аплодисментами гвардии поручика О<кунева>, известного впоследствии по своим военным сочинениям.

Это может служить мерилом той дисциплины, которая господствовала в войсках этого генерала. Умный, благородный и почтенный генерал И. М. Бегичев, бывший начальником артиллерии при взятии Праги в 1794 году и называвший графа Аракчеева в эпоху его могущества графом Огорчеевым, увидав здесь Ермолова, закричал ему, невзирая на присутствие Витгенштейна и его штаба: «Мы ведем себя, как дети, которых



«Победа при Колоцком монастыре 19 октября 1812 года, одержанная генералом-от-кавалерии графом Платовым»
Гравюра С. Карделли по рисунку Д. Скотти (1814 г.)

надлежит сечь; мы со штабом здесь, и то гораздо позднее, чем следовало, а армия наша двигается бог знает где, какими-то линиями». Ермолов, явившись к Чичагову, решился подать ему совет не портить Зембинского дефиле; он говорил, что по свойству местности, ему смолоду хорошо известной, это почти неудобоисполнимо по причине болот и топей, окружающих речку Гайну, но если б и удалось испортить некоторые более доступные гати, то они от действия мороза не могли бы затруднить движение неприятеля, который, не будучи обременен тяжестями, мог легко по ним следовать; во-вторых, адмиралу, которого армия была вдвое слабее того, чем ее полагал князь Кутузов, невозможно было одному, без содействия армии князя и Витгенштейна, бывших еще далеко позади, преградить путь Наполеону. Чичагову пришлось бы выдержать напор восьмидесятитысячной неприятельской армии на местности лесистой, болотистой и весьма невыгодной для принятия боя. На этой местности, в особенности совершенно неудобной для действия кавалерии, он мог противопоставить Наполеону лишь двадцать тысяч человек пехоты; французы же, понимая, что залог спасения заключался для них лишь в отчаянном мужестве, стали бы сражаться как львы. Наконец,— присовокупил он,— если даже удастся испортить дефиле, Наполеон будет вынужден обратиться на Минск, магазины которого были для нашей армии необходимы. Наполеону, сохранявшему присутствие духа в самых трудных случаях, удалось, после переправы чрез Березину, благополучно пройти чрез дефиле; лишь следовавшие позади французские войска были застигнуты нашими. Взятие этих войск, входивших в состав Полоцкого корпуса, свидетельствовало не в пользу графа Витгенштейна; это ясно доказывало, что они своим присутствием здесь обязаны лишь слабому преследованию этого генерала.

Если б Витгенштейн был проницательнее и преследовал неприятеля с бóльшею настойчивостью, если бы Кутузов обнаружил более предприимчивости и решительности, и оба они, сообразуясь с присланным из Петербурга планом, направили поспешнее свои войска к Березине, если б Чичагов не совершил своего движения на Игумен, был в свое время усилен войсками Эртеля и поспешил к Студенцу, не ожидая дальнейших известий со стороны Нижнего Березина,— количество пленных могло быть несравненно значительнее; быть может, берега Березины соделались бы гробницей Наполеоновой армады; быть может, в числе пленных находился бы он сам. Какая слава

озарила бы нас, русских? Она была бы достоянием одной России, но уже не целой Европы. Впрочем, хвала провидению и за то, что оно, благословив усилия наши, видимо содействовало нам в изгнании из недр России новейших ксерксовых полчищ, предводимых величайшим полководцем всех времен. Мы, современники этих великих событий, справедливо гордящиеся своим участием в оных, мы, более чем кто-либо, должны воскликнуть: «Не нам, не нам, а имени твоему!»

Ермолов, очевидец березинских событий, представил светлейшему записку, в которой им были резко изложены истинные, по его мнению, причины благополучного отступления Наполеона. Он поднес ее во время приезда в Вильну князя, сказавшего ему при этом случае: «Голубчик, подай мне ее, когда у меня никого не будет». Эта записка, переданная князю вскоре после того и значительно оправдывавшая Чичагова, была, вероятно, умышленно затеряна светлейшим. Все в армии и в России порицали и порицают Чичагова, обвиняя его одного в чудесном спасении Наполеона. Он, бесспорно, сделал непростительную ошибку, двинувшись на Игумен; но здесь его оправдывает: во-первых, отчасти предписание Кутузова, указавшего на Игумен как на пункт, чрез который Наполеон будто бы намеревался непременно следовать; во-вторых, если бы даже его армия не покидала позиции, на которой оставался Чаплиц, несоразмерность его сил относительно французов не позволяла ему решительно хотя несколько задержать превосходного во всех отношениях неприятеля, покровительствуемого огнем сильных батарей, устроенных на левом берегу реки; к тому же в состав армии Чичагова, ослабленной отделением наблюдательных отрядов по течению Березины, входили семь тысяч человек кавалерии, по свойству местности ему совершенно здесь бесполезной; в-третьих, если Чаплиц, не будучи в состоянии развернуть всех своих сил, не мог извлечь пользы из своей артиллерии, то тем более армия Чичагова не могла, при этих местных условиях, помышлять о серьезном сопротивлении Наполеону, одно имя которого, производившее обаятельное на всех его современников действие, стоило целой армии. Относительно порчи гатей в Зембинском дефиле, он виноват тем, что поручил это дело Кайсарову, а не офицеру более предприимчивому и более знакомому с свойствами местности; но так как это предприятие могло иметь невыгодные для нас последствия, оно потому не может служить к обвинению адмирала, который, будучи моряком, не имел достаточной опытности для командования сухопутными войсками.

Из всего этого я вывожу следующее заключение: если б Чичагов, испортив гати Зембинского дефиле, остался с главною массою своих войск на позиции, насупротив которой Наполеон совершил свою переправу, он не возбудил бы противу себя незаслуженных нареканий и неосновательных воплей своих соратников, соотчичей и потомков, не знакомых с сущностью дела; но присутствие его здесь не могло принести никакой пользы общему делу, ибо, по всем вышеизложенным причинам, Чичагову невозможно было избежать полного поражения или совершенного истребления своей армии, что было бы для нас, по обстоятельствам того времени, вполне невыгодно и весьма опасно. Наполеон понес бы, без сомнения, в этом случае несравненно бо́льшую потерю; но она была бы, во всяком случае, ничтожна в сравнении с тою, которой Россия была вправе ожидать от своевременного прибытия трех армий к берегам Березины.

Хотя Наполеон с остатками своего некогда грозного полчища поспешно отступал пред нашими войсками, однако могущество этого гиганта было далеко еще не потрясено. Вера в его непобедимость, слегка поколебленная описанными событиями, существовала еще во всей Западной Европе, не дерзавшей еще восстать против него. Наша армия после понесенных ею трудов и потерь была весьма изнурена и слаба; ей были необходимы сильные подкрепления для того, чтобы с успехом предпринять великое дело освобождения Европы, главное бремя которого должно было пасть на Россию. Нам потому ни в каком случае не следовало жертвовать армией Чичагова для цели гадательной и, по стечению обстоятельств, не обещавшей даже никакой пользы. В то время и даже доныне все и во всем безусловно обвиняли злополучного Чичагова, который, будучи весьма умным человеком, никогда не обнаруживал больших военных способностей; один Ермолов с свойственной ему решительностью, к крайнему неудовольствию всемогущего в то время Кутузова и графа Витгенштейна, смело оправдывал его, говоря, что ответственность за чудное спасение Наполеона должна пасть не на одного Чичагова, а и на прочих главных вождей, коих действия далеко не безупречны. Чичагов поручил генералу Чаплицу благодарить Ермолова за то, что он, вопреки общему мнению, решился его оправдывать. Хотя Наполеон, благодаря своему необыкновенному присутствию духа и стечению многих благоприятных обстоятельств, избежал окончательного поражения, а может быть, и плена, но тем не менее нельзя не удивляться превосходно соображенному плану, на основании которого три армии должны были, соединившись одно-

временно на Березине, довершить здесь гибель неприятеля. Хотя успех и не увенчал этого достойного удивления плана, однако ж не увенчал по обстоятельствам, совершенно не зависевшим от сочинителей, которые при составлении его обнаружили необыкновенную дальновидность и прозорливость. Они могли утешить себя мыслию, что история представляет немало примеров тому, что самые превосходные предначертания не были приведены в исполнение лишь вследствие ничтожнейших обстоятельств.

Шестнадцатого числа дошел до меня первый отголосок о переходе неприятеля чрез Березину[135], и я, немедленно известя о том фельдмаршала, остановился в ожидании дальнейших от него повелений. Я полагал, что, хотя бы дошедшее до меня известие о переправе было и несправедливо, все, однако же, ясно оказывалось, что неприятель обратился уже не на Нижнее Березино, как сего вначале ожидали, а прямо на Борисов, почему направление мое к Нижнему Березину ни к чему уже не служило. Расчет мой был верен, ибо 16-го, к вечеру, я получил от генерал-квартирмейстера полковника Толя письмо следующего содержания:

«Нужно уведомить вас о взаимном положении обеих армий: Чичагов 9-го числа в Борисове, авангард его под командою графа Ламберта разбил наголову Домбровского. Витгенштейн после поражения Виктóра, который шел на соединение с Бонапартом, находится в Баранах, что на дороге от Лепеля к Борисову. Авангард наш под командою Милорадовича — в Бобрах, а Платов — в Крупках. Главная наша армия сегодня выступает в Сомры (на карте Хомры), малый авангард оной под командою Васильчикова — в Ухвалы. С своей стороны, вся французская армия — на походе к Борисову. Вы очень хорошо сделаете, если немедленно и как можно поспешнее займете Озятичи и откроете лесную дорогу от сего селения к Борисову. Желательно, чтобы сей пункт был занят тщательнее, так, как и селение Чернявка, из коей пошлите разъезды на большую Борисовскую дорогу. Орлов послан со ста пятьюдесятью казаками к Чичагову; постарайтесь сделать с ним связь; вы тем угодите фельдмаршалу. Все ваши храбрые будут награждены. *Карл Толь. На походе в Сомры, 16 ноября*»[136].

Видя по письму сему разобщение Витгенштейна с Чичаговым, между коими протекала Березина и находилась неприятельская армия, простиравшаяся, по крайней мере, до восьмидесяти тысяч человек, я хотя не совсем верил известию о переправе, но не сомневался в том, что Наполеон, пользуясь

малосилием Чичагова, перейдет реку в каком-нибудь пункте украдкой или силой; по переходе же Березины я предполагал направление неприятельской армии из Борисова к Минску, потому что путь сей есть самый кратчайший из путей, идущих к Варшаве; что на нем она имела в виду соединение с корпусами Шварценберга и Ренье, отчего армия его могла снова возвыситься до ста тридцати тысяч человек; что посредством пути сего она могла избежать бокового преследования нашего, столь для него до Березины пагубного, и идти краем, несравненно менее опустошенным, нежели Виленский, чрез который проходили обе воюющие армии и по которому кругообращались все транспорты оных с начала войны. Вследствие чего я решился, несмотря на предложение полковника Толя, переправиться немедленно чрез Березину и идти на Смолевичи, что между Игумном и Минском.

За таковое ослушание я достоин был строжайшего наказания. Партизан должен и необходимо должен умствовать, но не перепускать, как говорится, ум за разум. Конечно, соединение Чичагова с Витгенштейном на правом берегу Березины умножило бы затруднения неприятелю при переправе; однако нельзя было решительно заключить, чтобы и один Чичагов не смог с ним управиться. Березина, окраеванная болотами, не была еще схвачена льдом, и правый берег ее, господствующий над левым и защищаемый тридцатью тысячами войска, представлял неприятелю довольно еще затруднений и без Витгенштейна. События доказали, что мне ни к чему не послужил ранний и отдаленный залет мой к Смолевичам, где я всегда успел бы предупредить неприятеля и из Озятичей, в случае переправы Наполеона при Борисове.

Стоило только внимательнее прочесть письмо полковника Толя и взглянуть на карту, чтобы постичь благоразумное его распоряжение.

Полагая неприятеля между селением Начею и Борисовым, извещенный о прибытии Витгенштейна в Бараны, а Чичагова к мостовому Борисовскому укреплению, он считал, что неприятелю ничего не оставалось делать, как, прикрывшись от главной армии речкой Начею, спуститься вдоль по ней к Озятичам и совершить переправу в углу, описываемом означенной речкой и Березиной. Вот причина, почему Толь посылал меня в Озятичи. При всем том я пошел на Смолевичи как будто бы для действия в тыл не неприятеля, а Чичагова армии!!

Однако при достижении Козлова Берега я получил из главной квартиры уведомление, что так как французская армия

никакого не имеет средства переправиться чрез сию реку при Борисове, то чтобы я немедленно спешил исполнить данное мне предписание генерал-квартирмейстером. Сия бумага, как и письмо последнего, была от 16-го поутру и, повелевая вторично то же, принудила меня оставить мое безрассудное предприятие, к которому я так привязался, что и при исполнении последнего повеления не мог не уведомить генерал-квартирмейстера, сколь считаю бесполезным предписанное мне направление. На кого греха да беды не бывает? Право, я по сие время не могу постичь причину сему глупому моему упрямству. Уже мы были на половине дороги к Озятичам, как догнал нас посланный ко мне в Козлов Берег курьер с другим письмом от полковника Толя, по которому он извещает меня о переправе французской армии чрез Березину и уведомляет, что главная армия идет на Жуковец, Жодин и Логойск, все на левой стороне неприятеля, и совершенно соглашается со мною в выборе направления партии моей на Смолевичи. Да простит мне генерал-квартирмейстер! В сем случае ошибка уже не на моей стороне. Важность Смолевичевского пункта состояла в том только обстоятельстве, когда бы неприятель избрал направление на Минск; при обращении же его к Вильне сей пункт терял уже свою значимость и ни для чего другого не годился, как для *ночлега* или *привала*. Направление мое долженствовало быть на Борисовское мостовое укрепление, Логойск и Молодечну; но так как поворот неприятеля с Минской дороги на Виленскую отстранял меня от оного на сто тридцать верст, то и по означенному направлению я не мог уже догнать его прежде Ковны или, по крайней мере, прежде Вильны. Чтобы удостовериться в том, надо знать, что 20 ноября, когда, после переправы моей чрез Березину, я ночевал в Уше, французская армия находилась уже в Илие. Кто взглянет на карту, тот увидит пространство, разделявшее меня от неприятеля; несмотря на то, я решился действовать по предписанию.

Не доходя пятнадцати до Шеверниц верст, я узнал, что прибыла туда главная квартира. Оставя партию на марше, я поскакал один прямою дорогою в Шеверницы. Светлейший в то время обедал. Входя в ворота, повстречался со мною английской службы полковник сир Роберт Вильсон. Он бродил около двора, не смея войти в квартиру светлейшего по причине какого-то между ними взаимного дипломатического неудовольствия. Будучи коротко знаком с ним с самого 1807 года кампании, я спросил его, что он тут делает? «Любезный друг! — отвечал он мне.— Жду известия о решительном направлении армии после

того несчастия, которое я давно предвидел, но которое при всем том не может не терзать каждое истинно английское и русское сердце!» — «Английское сердце» невольно навело на уста мои улыбку, с которою я вошел в сени избы светлейшего, и велел вызвать полковника Толя, чтобы лично от него удостовериться в известии о переправе неприятельской армии чрез Березину и узнать, не будет ли мне какого иного направления? Толь и князь Кудашев вышли ко мне в сени и звали меня в избу. Но я, ненавидя бросаться на глаза начальникам, отказался; тогда они объявили самому светлейшему о моем прибытии. Он приказал от своего имени позвать меня, обласкал меня, как он умел обласкивать, когда хотел, посадил за стол и угощал как сына.

Сколько я тут видел чиновников, украшенных разноцветными орденами, ныне возвышенных и занимающих высокие должности; их в то время возили при главной квартире подобно слонам великого Могола! Сколько я там видел ныне значительных особ, тогда теснившихся в многочисленной свите главнокомандующего и жаждавших не только приветствия и угощения, но единого его взора! Умолчу о подлостях, говоримых ими даже и мне, недостойному!

После обеда светлейший расспрашивал меня о делах при Копысе и при Белыничах, хвалил расчет мой перед нападением на депо и упрямство мое при завладении последним местом, но пенял за лишнюю строгость с Поповым, которого я принял за мэра Копыса, и прибавил с шуткою: «Как у тебя духа стало пугать его? У него такая хорошенькая жена!» Я отвечал ему, что, судя по нравственности, я полагаю, что у могилевского архиерея еще более жен, которые, может быть, еще красивее жены Попова, но я желал бы, чтоб попалась мне в руки сия священная особа; я бы с нею по-светски рассчитался. «За что?» — спросил светлейший. «За присягу французам,— отвечал я,— к которой он приводил могилевских жителей, и за поминания на эктеньях Наполеона. Чтобы в том удостовериться,— продолжал я,— прикажите нарядить следствие. Ваша светлость, можно не награждать почестями истинных сынов России, ибо какая награда сравниться может с чувством совести их? Но щадить изменников столько же опасно, как истреблять карантины в чумное время». С сим словом я подал ему список чиновников, кои присягали и помогали неприятелю. Светлейший взял оный от меня, прочитал и сказал: «Погодим до поры и до время». Я узнал после, что архиерей могилевский

был разжалован в монахи, но не знаю, по моему ли представлению или по представлению другого.

Насчет направления моего я только получил повеление догонять французов чрез Ушу, Борисовское мостовое укрепление, Логойск, Илию и Молодечно. А так как партия моя, обремененная двумя орудиями, не могла следовать за мною прямою дорогою к Шеверницам, то и заставила меня ожидать прибытия ее до полуночи.

Между тем флигель-адъютант Мишó (что ныне генерал-адъютант и граф Мишо) пристал ко мне, чтобы под покровом моей партии догнать Чичагова, к армии которого он был командирован. Оставя орудия наши, как обузу слишком тягостную для усиленных переходов, мы выступили к Жуковцу в четыре часа пополуночи.

Переправа совершилась по тонкому льду. Мы прибыли в Ушу к ночи.

Двадцатого партия выступила в поход и ночевала у Борисовского мостового укрепления. В сей ночи полковник князь Кудашев, проездом к Чичагову, пробыл у меня два часа, взял с собою Мишó и отправился далее с прикрытием одного из моих урядников и двух казаков, из коих один только возвратился, прочие два были убиты поселянами. Это было лучшее доказательство истинного рубежа России с Польшею и намек в умножении осторожности.

Около сего времени морозы, после несколькодневной оттепели, усилились и постоянно продолжались. Двадцатого я получил повеление, оставя погоню, идти прямо на Ковну [137], чтобы истребить в сем месте всякого рода неприятельские запасы. Такое же — было послано и Сеславину; но ни он, ни я не могли исполнить означенного предписания: я — по причине крутого отклонения моего к Нижнему Березину, отчего отстал на сто тридцать верст от неприятельской армии; а Сеславин — оттого, что, сражаясь с головой оной, чрез удаленность свою от главной квартиры, не прежде мог получить повеление сие, как по занятии Вильны и уже раненым.

Пока я шел от Днепра к Березине, все отряды, кроме графа Ожаровского, и все партизаны, кроме меня, следовали за главною неприятельскою армиею.

Армия сия находилась 11-го в Бобрах, имея авангард в селе Наче, 12-го — в Неменице, оставя арьергард в Лошнице. 14-го, в восемь часов утра, авангард оной начал переправляться чрез Березину у Веселова, и 16-го, к вечеру, все силы были уже на противном берегу. С нашей стороны отряд генерала Ермолова,

состоявший в четырнадцати баталионах пехоты, в нескольких полках линейной кавалерии и в двух ротах артиллерии, преследовал неприятеля от Орши к Борисову, куда прибыл 16-го числа.

Большой авангард генерала Милорадовича прибыл из Копыса в Глин 15-го, а в Негновище 17-го числа.

Пятнадцатого числа генерал Бороздин сдал отряд свой графу Орлову-Денисову, который 17-го поступил с ним в состав малого авангарда, порученного генералу Васильчикову. Сей авангард был в Ухвале 16-го и в Вилятичах 17-го числа.

Пятнадцатого отряд атамана Платова — в Колпенице, а 16-го — у самой Березины, в пятнадцати верстах выше Борисова.

Пятнадцатого под Кричею Сеславин напал с успехом на польские войска графа Тишкевича, множество поколол, набрал в плен и продолжал путь к Лошнице, где снова имел жаркую схватку с неприятелем.

Шестнадцатого сей отважный и неутомимый партизан, открыв сообщение с графом Витгенштейном, получил от него повеление во что бы то ни стало подать руку адмиралу Чичагову чрез Борисов. Исполнение немедленно последовало за повелением. Борисов был занят Сеславиным; три тысячи человек взято им в плен, и сообщение с Чичаговым открыто [138]. Семнадцатого французская армия тянулась к Зембину, и Наполеон прибыл в Камень. Генерал Ланской, занимавший Белорусским гусарским полком и казаками село Юрово, что на реке Гайне, выступил 16-го числа чрез Антополье и Словогощь к Плещенице, куда прибыл 17-го в полдень.

Он имел благое намерение идти впереди неприятеля к Вильне и преграждать всеми средствами путь головы его колонны, что мог исполнить беспрепятственно, ибо в тот день Плещеницы заняты были одною только придворною свитою Наполеона и конвоем раненого маршала Удинó. Но в то время обязанности партизана столь мало понимаемы были в нашей армии, что сей известный неустрашимостию и отважностию генерал, быв атакован подходившими от Каменя войсками, вместо того чтобы обратиться на Илие и Молодечну, истребляя магазины и заваливая дорогу, отступил обратно к авангарду Чичагова армии, тянувшейся на Зембин по пятам неприятельской армии, и довольствовался взятием генерала Каминского, тридцати штаб- и обер-офицеров и до трехсот рядовых.

Между тем граф Ожаровский получил повеление наблюдать за армиею князя Шварценберга, находившеюся в Слониме. Вследствие чего он выступил на Воложин, 26-го прибыл в Вишнев и в тот же день пошел на Трабы, Деневишки и Беняконй — в Лиды, куда вступил 1 декабря. Отряд генерала Кутузова шел от Лепеля на Вышнее Березино и Докшицы, для наблюдения за Баварским корпусом, находившимся в последнем местечке, и для преследования главной неприятельской армии по северной стороне Виленской дороги.

Партизан Сеславин шел на местечко Забреж, которое 22 ноября он занял с боя. За малым дело стало, чтобы на другой день сам Наполеон не попался ему в руки; во второй раз в течение сей кампании судьба спасла его от покушения казаков, везде и повсюду ему являвшихся как неотразимые вампиры! О случае сем говорено в вступлении сей книги.

Двадцатого партия моя обогнала отряд графа Ожаровского около Антополья, 21-го обошла кавалерию Уварова в Логойске, 22-го прибыла в Гайну, 23-го — в Илию и 24-го — в Молодечну, где догнала хвост Чичагова армии, то есть часть Павлоградских гусар и казаков под командою полковника Сталя. Вследствие повеления идти прямо на Ковну, мы свернули 25-го на Лебеду, 26-го пришли в Лоск, 27-го — в Ольшаны, 28-го — в Малые Солешки, 29-го — в Парадомин и 30-го — в Новые Троки. Там я получил повеление остановиться и ожидать нового направления.

Во время моего долговременного и бездейственного похода отряды и партии наши ворвались в Вильну, заваленную несметным числом обозов, артиллерии, больных, раненых, усталых и ленивых.

Впоследствии каждый отрядный начальник приписал себе честь занятия сей *столицы Литовского государства;* но вот истина: пока Чаплиц жевал и вытягивал периоды витийственной речи к жителям, пока Бенкендорф хо́лился для женщин и пока Кайсаров медлил у неприятельских обозов,— Тетенборн с обнаженной саблею повелел редактору виленских газет *объявить свету,* что он первый покорил город, и смеялся потом возражениям своих соперников.

Сеславин сделал иначе. Чтобы не обезобразить подвиг сей, я представляю читателю донесение его, сколько память мне позволит; пусть различит он самохвальство иноземца с геройским умалением истинного россиянина, едва намекнувшего о жестокой ране своей в описании деяний своих сотрудников. Вот оно:

«Генералу Коновницыну. С божиею помощию я хотел атаковать Вильну, но встретил на дороге идущего туда неприятеля. Орудия мои рассеяли толпившуюся колонну у ворот города. В сию минуту неприятель выставил против меня несколько эскадронов; мы предупредили атаку сию своею и вогнали кавалерию его в улицы; пехота поддержала конницу и посунула нас назад; тогда я послал парламентера с предложением о сдаче Вильны и, по получении отрицательного ответа, предпринял вторичный натиск, который доставил мне шесть орудий и одного орла. Между тем подошел ко мне генерал-маиор Ланской, с коим мы теснили неприятеля до самых городских стен. Пехота французская, засевшая в домах, стреляла из окон и дверей и удерживала нас на каждом шагу. Я отважился на последнюю атаку, кою не мог привести к окончанию, быв жестоко ранен в левую руку; пуля раздробила кость и прошла навылет [139]. Сумского гусарского полка поручик Орлов также ранен в руку навылет. Генерал Ланской был свиделетем сего дела. Спросите у него, сам боюсь расхвастаться, но вам и его светлости рекомендую весь отряд мой, который во всех делах от Москвы до Вильны окрылялся рвением к общей пользе и не жалел крови за отечество. *Полковник Сеславин. Ноября 27-го».*

По прибытии моем в Новые Троки я получил повеление от генерала Коновницына следовать на Олиту и Мсречь к Гродне, рапорты мои — продолжать писать в главную квартиру, а между тем не оставлять уведомлением обо всем происходящем адмирала Чичагова, идущего в Гёзну, и генерала Тормасова, следующего к Новому Свержену, что на Немане.

С сим повелением получил я письмо от генерал-квартирмейстера, в котором объявляет он о желании светлейшего видеть войска наши в добром сношении с австрийцами. Сии бумаги были от 30 ноября. Мы ужė сидели на конях, как вслед за сими повелениями получил я другое, по которому должен был не выходить из Новых Трок и прибыть особою моею в Вильну для свидания с светлейшим. Немедленно я туда отправился.

От Новых Трок до села Понари дорога была свободна и гладка. У последнего селения, там, где дорога разделяется на Новые Троки и на Ковну, груды трупов человеческих и лошадиных, тьма повозок, лафетов и палубов едва оставляли мне место для проезда; кучи еще живых неприятелей валялись на снегу или, залезши в повозки, ожидали холодной и голодной смерти. Путь мой освещаем был пылавшими избами

и корчмами, в которых горели сотни сих несчастных. Сани мои на раскатах стучали в закостенелые головы, ноги и руки замерзлых или замерзающих, и проезд мой от Понарей до Вильны сопровождаем был разного диалекта стенаниями страдальцев... восхитительным гимном избавления моей родины!

Первого декабря явился я к светлейшему. Какая перемена в главной квартире! Вместо, как прежде, разоренной деревушки и курной избы, окруженной одними караульными, выходившими и входившими в нее должностными людьми, кочующими вокруг нее и проходившими мимо войсками, вместо тесной горницы, в которую вход был прямо из сеней и где видали мы светлейшего на складных креслах, облокоченного на планы и борющегося с гением величайшего завоевателя веков и мира,— я увидел улицу и двор, затопленные великолепными каретами, колясками и санями. Толпы польских вельмож в губернских *русских* мундирах, с пресмыкательными телодвижениями.

Множество наших и пленных неприятельских генералов, штаб- и обер-офицеров, иных на костылях, страждущих, бледных, других — бодрых и веселых,— всех теснившихся на крыльце, в передней и в зале человека, за два года пред сим и в этом же городе имевшего в ведении своем один гарнизонный полк и гражданских чиновников, а теперь начальствовавшего над всеми силами спасенного им отечества!

Когда я вошел в залу, одежда моя обратила на меня все взоры. Среди облитых златом генералов, красиво убранных офицеров и граждан литовских я явился в черном чекмене, в красных шароварах, с круглою курчавою бородою и черкесскою шашкою на бедре. Поляки шепотом спрашивали: кто такой? Некоторые из них отвечали: «Партизан Давыдов»; но самолюбие мое услышало несколько прилагательных, от коих нахлынула на меня толпа любопытных. Не прошло двух минут, как я был позван в кабинет светлейшего. Он сказал мне, что граф Ожаровский идет на Лиду, что австрийцы закрывают Гродну, что он весьма доволен мирными сношениями Ожаровского с ними, но, желая совершенно изгнать неприятеля из пределов России, посылает меня на Меречь и Олиту, прямо к Гродне, чтобы я старался занять сей город и очистить окрестности оного более чрез дружелюбные переговоры, нежели посредством оружия. Если же найду первый способ недостаточным, то позволил мне прибегнуть и к последнему, с тем только, чтобы немедленно отсылать пленных в неприя-

тельский корпус не токмо ничем не обиженных, но обласканных и всем удовлетворенных.

Светлейший заключил тем, что, ожидая с часа на час рапорта от графа Ожаровского в рассуждении движения его вперед, он полагает нужным, чтобы я дождался в Вильне сего рапорта, дабы не предпринимать по-пустому ход к Гродне. В случае же, что граф Ожаровский не двинется из Лиды по каким-либо причинам, тогда только я должен буду идти поспешнее к назначенному мне предмету.

Ожидаемый рапорт прибыл 3-го вечером. Граф Ожаровский писал, что 2-го числа он занял Лиду и немедленно послал два полка занять Белицы, сам же остановился в первом местечке. Прочитав донесение, я сел в сани и поскакал в Новые Троки. Сборы мои никогда не были продолжительны: *взнуздай, садись, пошел,* и на рассвете партия моя была уже на половине дороги к Меречу [140]. В сем местечке мы успели захватить огромный магазин съестных припасов, который я сдал под расписку прибывшему туда командиру Московского драгунского полка полковнику Давыдову, и продолжал путь вдоль по Неману, препоруча авангард мой маиору Чеченскому и передав ему наставление, данное мне светлейшим, как обходиться с австрийцами.

Восьмого числа Чеченский столкнулся с аванпостами австрийцев под Гродною, взял в плен двух гусаров и, вследствие наставления моего, немедленно отослал их к генералу Фрейлиху, командовавшему в Гродне отрядом, состоявшим в четыре тысячи человек конницы и пехоты и тридцать орудий.

Фрейлих прислал парламентера благодарить Чеченского за снисходительный сей поступок, а Чеченский воспользовался таким случаем, и переговоры между ними завязались. Вначале австрийский генерал объявил намерение не иначе сдать город, как предавши огню все провиантские и комиссариатские магазины, кои вмещали в себе более нежели на миллион рублей запаса. Чеченский отвечал ему, что все пополнение ляжет на жителей сей губернии и чрез это он докажет только недоброжелательство свое к русским в такое время, в которое каждое дружеское доказательство австрийцев к нам есть смертельная рана общему угнетателю. После нескольких прений Фрейлих решился оставить город со всеми запасами, в оном находившимися, и потянулся с отрядом своим за границу. Чеченский вслед за ним вступил в Гродну, остановился на площади, занял постами улицы, к оной прилегающие, и

поставил караулы при магазинах и гошпиталях. Он не преминул также уведомить меня о духе польских жителей города, весьма для нас противном. Нельзя было быть иначе: город Гродна ближе всех больших литовских городов граничил с Варшавским герцогством и потому более всех заключал в себе противников нашему оружию: связи родства и дружбы, способность в сношениях с обывателями левого берега Немана и с Варшавою, с сим горнилом козней, вражды и ненависти к России,— все увлекало польских жителей сего города на все нам вредное. Напротив того, все вообще евреи, обитавшие в Польше, были к нам столь преданы, что, при всей алчности к наживе и корыстолюбию, они во все время отказывались от лазутчества противу нас и всегда и всюду давали нам неоднократные и важнейшие известия о неприятеле.

Надо было наказать первых и погладить последних.

Девятого числа я вступил в город со всею партиею моею. У въезда оного ожидал меня весь кагал еврейский. Желая изъявить евреям благодарность мою за приверженность их к русским, я выслушал речь главного из них без улыбки, сказал ему несколько благосклонных слов и, увлеченный веселым расположением духа, не мог отказать себе в удовольствии, чтобы не сыграть фарсу на манер милого балагура и друга моего Кульнева: *я въехал в Гродну под жидовским балдахином*. Я знаю, что немногие бы на сие решились от опасения насмешки польских жителей, но я не боялся оной, имев в себе и вокруг себя все то, что нужно для превращения смеха в слезы. Исступленная от радости толпа евреев с визгами и непрерывными *ура!* провожала меня до площади. Между ними ни одного поляка не было видно, не от твердости духа и не от национальной гордости, ибо к вечеру они все пали к ногам моим, а от совершенного неведения о событиях того времени. Хотя известие о выступлении из Москвы дошло до них несколько дней прежде занятия мною Гродны, при всем том они все еще полагали армию нашу в окрестностях Смоленска, а отряд мой — партиею от корпуса Сакена.

Я остановился на площади, сошел с коня и велел ударить в барабан городской полиции. Когда стечение народа сделалось довольно значительным, я приказал барабанам умолкнуть и велел читать заранее приготовленную мною бумагу, с коей копии, переведенные на польский язык, были немедленно по прочтении русской бумаги распущены по городу.

«По приему, сделанному русскому войску польскими жителями Гродны, я вижу, что до них не дошел еще слух о

событиях; вот они: Россия свободна. Все наши силы вступили в Вильну 1 декабря. Теперь они за Неманом. Из полумиллионной неприятельской армии и тысячи орудий, при ней находившихся, только пятнадцать тысяч солдат и четыре пушки перешли обратно за Неман. Господа поляки! В черное платье! Редкий из вас не лишился ближнего по родству или по дружбе: из восьмидесяти тысяч ваших войск, дерзнувших вступить в пределы наши, пятьсот только бегут восвояси; прочие — валяются по большой дороге, морозом окостенелые и засыпанные снегом русским.

Я вошел сюда по средству мирного договора; мог то же сделать силою оружия, но я пожертвовал славою отряда моего для спасения города, принадлежащего России, ибо вам известно, что битва в улицах кончается грабежом в домах, а грабеж — пожарами.

И что же? Я вас спасаю, а вы сами себя губить хотите! Я вижу на лицах поляков, здесь столпившихся, и злобу, и коварные замыслы; я вижу наглость в осанке и вызов во взглядах; сабли на бедрах, пистолеты и кинжалы за поясами... Зачем все это, если бы вы хотели чистосердечно обратиться к тем обязанностям, от коих вам никогда не надлежало бы отступать?

Итак, вопреки вас самих я должен взять меры к вашему спасению, ибо один выстрел — и горе всему городу! Невинные погибнут с виновными... Все — в прах и в пепел!

Дабы отвратить беду — не войскам моим, которые найдут в оной лишь пользу, а городу, которому грозит разрушение,— я изменяю управление оного.

Подполковник Храповицкий назначается начальником города. На полицеймейстера и подчиненных его, которые все поляки, я положиться не могу и потому приказываю всем и во всем относиться к еврейскому кагалу.

Зная приверженность евреев к русским, я избираю кагального в начальники высшей полиции и возлагаю на него ответственность за всякого рода беспорядки, могущие возникнуть в городе, так, как и за все тайные совещания, о коих начальник города не будет извещен. Кагального дело — выбрать из евреев помощников для надзора как за полициею, так и за всеми польскими обывателями города. Кагальный должен помнить и гордиться властью, которою я облекаю его и евреев, и знать, что ревность его и их будут известны вышнему начальству.

Предписывается жителям города, чтобы в два часа времени

все огнестрельное оружие, им принадлежащее, было снесено на квартиру подполковника Храповицкого. У кого отыщется таковое пять минут после истечения данного мною срока, тот будет расстрелян на площади. Уверяю, что я шутить не люблю и слово свое умею держать как в наградах, так и в наказаниях».

«Это что за столб?» — спросил я, увидя высокий столб посреди площади. Кагальный объявил, что этот столб поставлен во время празднования польскими обывателями взятия Москвы. В это время, не помню точно, но, кажется, г-н Андржикович (шурин генерала Беннингсена, ныне губернатор Волынской губернии и оплеченный анненскою лентою) подошел ко мне с унизительною ужимкою и сказал: «Cela se nomme mât de cocagne, mon colonel; les circonstances...» * Взгляд пронзительный осадил его в толпу, из которой он выступил.

«Кагальный, топоры,— и долой столб!» — Столб мгновенно рухнул на землю. «Что за картины вижу я на балконах и окнах каждого дома?» — «Это прозрачные картины,— отвечал кагальный,— выставленные, как и столб, для празднования взятия Москвы».— «Долой, и в огонь на площади!»

Когда некоторые из картин пронесли мимо меня, я приметил разные аллегорические ругания насчет России. Но самая замечательная находилась на балконе аптекаря. На ней изображались орел Франции и белый орел Польши, раздирающие на части двуглавого орла России. Я велел позвать к себе аптекаря и приказал ему к 12-му числу, то есть ко дню рождения императора Александра, написать картину совершенно противного содержания, присовокупя к орлам Франции и Польши еще двух особых орлов, улетающих от одного орла русского.

Между тем я не забыл и жителей, с домов коих сорваны были подобные аллегории. Им было велено к тому же числу выставить изображения, приличные настоящим обстоятельствам и прославляющие освобождение России от нашествия *просвещенных варваров*. Все повиновались без прекословия; один аптекарь представил затруднения, уверяя, что так как картина, на него наложенная, весьма многосложна, то он не успеет исполнить приказания в такой короткий срок. Этого было довольно. До сей поры на лице и в словах моих изображалась одна холодная строгость; я искал случая закипеть гневом, чтобы окончательно уже сразить надменность польскую. Случай предстал, и, как мне после сказывали товарищи

* Это — так называемый призовой столб, полковник; обстоятельства...



И. Теребенев. «Крестьянин увозит у французов пушку...»

мои, *безобразие мое* достигло до *красоты идеальной*... Я заревел, и электрическая искра пробежала по всей толпе поляков; об аптекаре же и говорить нечего; он вытянулся, как клистирная трубка, и побледнел, как банка магнезии. Я приказал к дому его приставить караул с тем, чтобы целые сутки 12-го числа не было у него огня не токмо в доме, но даже и на кухне, а 13-го вечером, когда нигде уже не будет иллюминации, велел ему осветить все окна и выставить на балконе означенную прозрачную картину. Так и было.

В заключение всем неистовствам (как называли их поляки, и в чем я с ними соглашаюсь), я отыскал того ксендза, который говорил похвальное слово Наполеону при вступлении неприятеля в пределы России, и приказал ему сочинить и говорить в российской церкви *слово,* в котором бы он разругал и предал проклятию Наполеона с его войском, с его союзниками и восхвалил бы нашего императора, вождя, народ и войско; а так как я не знал польского языка, то назначено ему было 11-го числа, вечером, представить рукопись свою Храповицкому для рассмотрения.

Сверх того, я назначил сотню казаков, всегда готовых для Храповицкого, когда нужно было ему прибегнуть к силе для исполнения повелений его. Эти казаки посылаемы также были патрулями по городу денно и нощно и не позволяли сборища свыше пяти человек.

Предписал запечатать магазины и оставить при них поставленные маиором Чеченским караулы.

Приказал открыть греко-российскую церковь и восстановить в ней богослужение. Двенадцатого числа, в день рождения государя императора, приказал, чтобы все городские чиновники явились ко мне с поздравлением, чтобы город был освещен плошками и чтобы звонили целые сутки во все колокола всех церквей.

И, наконец, приказал кагалу подать список всем чиновникам и обывателям, записавшимся в службу Варшавского герцогства.

Таким образом, оконча, так сказать, *площадные* дела мои, я пошел на квартиру, откуда немедленно отправил курьера в главную квартиру с донесением о благополучном исполнении возложенного на меня препоручения.

Не прошло часу, как все полезло ко мне с почтительными визитами. Всем произнесен был отрывистый отказ *донским швейцаром* моим, стоявшим с пикою у дверей. Некоторые, однако ж, были приняты: Андржикович, о коем я упомянул выше

и с коим Храповицкий должен был иметь сношения касательно продовольствия партии, старик граф Валицкий, который от старости и трусости не вдавался в военные предприятия, а от скупости не помогал деньгами, и господин Рот, венгерский выходец, почтенный старец, издавна в городе поселившийся, чуждый всех политических переворотов и имевший в нашей службе пять сыновей, всегда храбро служивших. Первый был однажды вытолкан взашей Храповицким вследствие какого-то возникшего между ними спора насчет фуража и провианта, нужного для партии; а второго я никогда не забуду выступку, когда он, *получа позволение предстать предо мною*, вползал в комнату, оплеченный голубою польскою лентою, в башмаках и со шляпою под мышкой.

Причина посещения его состояла не в бесплодном унижении, подобно его соотечественникам; он приехал с тем, чтобы выхлопотать у меня помилование от разорения, в коем он не сомневался, услыша, что я ношу бороду и командую казаками,— два обстоятельства, как уверяют, весьма неутешительные! Обладая необычайным движимым имением, завоеванным им в течение сорокалетнего упражнения на зеленой равнине стола ломберного, он дрожал, чтобы другого рода, на другой равнине и в другую игру отличившиеся игроки не лишили его явно и мгновенно того, что он исподтишка приобрел трудами долговременной своей ловкости. Как я втайне смеялся над его трепетом и изворотами, посредством коих искал он удостоверить меня в понесенных им убытках! Признаюсь, я довольно долго наслаждался его боязнью и после всякого рассказа его отвечал ему: «Однако, граф, если б *пошарить* у вас, то, верно, еще кой-что найдется!» И он на всякий таковой ответ повторял: «Дали буг, ниц ни ма!» И крестился, и глаза подымал к небу. А так как он крестился по католическому исповеданию — с левого плеча на правое, то каждый раз я заставлял его снова креститься по-нашему — справа налево, что он, наконец, сам собою уже делал.

Помуча его более часу, я заключил наше свидание просьбою, чтобы он ничего не боялся, что хотя я в бороде и командую казаками, но что ни я, ни они — не грабители. Без сомнения, он не успокоился от слов сих — и хорошо сделал, но бескорыстное поведение партии моей в одни сутки удостоверило его в истине моего уверения.

Так как во время проезда моего из Тильзита в 1807 году я провел несколько дней в Гродне, то многие из жителей

сего города меня знали и, следовательно, не минули немедленно осыпать меня приглашениями всякого рода: иные звали меня на чай, другие на ужин, некоторые разобрали между собою следующие дни для угощения меня и моих товарищей; но мы решительно от всего отказались и разделяли время между собою и обязанностию службы.

Двенадцатого числа, поутру, господин Рот вошел ко мне и объявил о приезде чиновников и всех почетных особ города для поздравления. Занимаемый мною дом был на городской площади, против ратуши. Я и Храповицкий жили в двух маленьких горницах, примыкающих к обширной, сырой зале, с самого начала зимы не топленой и по сырости своей обитаемой одними кашлями и ревматизмами. Там я заставил ждать битый час всех моих посетителей, одетых уже в губернские мундиры, с повинными головами, дрожавшими от страха и стучавшими зубами от стужи нестерпимой. Наконец я предстал пред ними в моей наездничьей одежде. Имелся список, куда кто был записан; я говорил им крупно, без запятых и точек, и заключил монолог мой приказанием идти со мною в русскую церковь молиться за царя русского и благодарить бога за избавление России.

Все, что я приказал Храповицкому, Храповицкий — кагалу, а кагал — обывателям, все исполнилось в точности и все разрывало от досады поляков, принужденных против воли прославлять и царя и народ русский, внезапно перейти от надменной походки *вооруженных рыцарей* к национальному их *ногопадению,* и вместо владычества над Россией — исполнять предписания жидовского кагала.

Тринадцатого, вечером, я получил повеление идти на Ганьондз.

Партия моя немедленно туда выступила, но я по приключившейся мне болезни принужденным нашелся остаться пять дней в Гродне.

Сего числа прибыла в Гродну кавалерия генерал-лейтенанта Корфа, а на другой день и пехота генерала-от-инфантерии Милорадовича. Первому из них я сдал магазины и гошпитали, находившиеся в этом городе, и, переехав к нему на квартиру, остался в оной до моего выздоровления.

Не могу умолчать о генерале Милорадовиче. По приезде его в Гродну, все поляки от меня отхлынули и пали к стопам его; но ему было ни до владычества своего, ни до подлости других; он в то время получил письмо с драгоценною саблею от графини Орловой-Чесменской[141]. Письмо это заключало в

себе выражения, дававшие ему надежду на руку сей первой богачки государства. Милорадович запылал *восторгом необоримой страсти!* Он не находил слов к изъяснению благодарности своей и целые дни писал ей ответы, и целые стопы покрыл своими гиероглифами; и каждое письмо, вчерне им написанное, было смешнее и смешнее, глупее и глупее! Никому не позволено было входить в кабинет его, кроме Киселева, его адъютанта, меня и взятого в плен доктора Бартелеми. Мы одни были его советниками: Киселев — как умный человек большого света, я — как литератор, Бартелеми — как француз, ибо письмо сочиняемо было на французском языке! Давний приятель Милорадовича, генерал-маиор Пассек, жаловался на него всякому, подходившему к неумолимой двери, где, как легавая собака, он избрал логовище. Комендант города и чиновники корпуса также подходили к оной по нескольку раз в сутки и уходили домой, не получа никакого ответа, от чего как корпусное, так и городское управление пресеклось, гошпиталь обратился в кладбище, полные хлебом, сукном и кожами магазины упразднились наехавшими в Гродну комиссариатскими чиновниками, поляки стали явно обижать русских на улицах и в домах своих, словом, беспорядок дошел до верхней степени. Наконец Милорадович подписал свою эпистолу, отверз милосердые двери, и все в оные бросились... но — увы! — кабинет был уже пуст: великий полководец ускользнул в потаенные двери и ускакал на бал плясать мазурку, а я сел в сани и явился 18-го числа в Тикочин, где ожидала меня моя партия.

Переступя за границу России и видя каждого подчиненного моего награжденного тремя награждениями, а себя — забытым по той причине, что, относясь во всю кампанию прямо или к светлейшему или к Коновницыну, я не имел ни одного посредника, который мог бы рекомендовать меня к какому-либо награждению,— я не счел за преступление напомнить о себе светлейшему и писал к нему таким образом:

«Ваша светлость! Пока продолжалась Отечественная война, я считал за грех думать об ином чем, как об истреблении врагов отечества. Ныне я за границей, то покорнейше прошу вашу светлость прислать мне Владимира 3-й степени и Георгия 4-го класса».

В ответ я получил (в селе Соколах, 22-го числа) пакет с обоими крестами и с следующим письмом от Коновницына: «Получа письмо ваше к его светлости, я имел счастие всеподданнейше докладывать государю императору об оказанных вами подвигах и трудах в течение нынешней кампании. Его

императорское величество соизволил повелеть наградить вас орденами: 4-го класса св. Георгия и 3-й степени св. Владимира. С приятностью уведомляю вас о сем и проч. *Декабря 20-го дня 1812 года. Вильна».*

Уверяли меня, что если бы я тогда потребовал Георгия 3-го класса, то, без сомнения, получил бы его так же легко, как и вышеозначенные награждения. Поистине я сделал ошибку, но ошибке сей причиною было высокое мнение, которое *я тогда* имел о сем ордене: я думал, что я еще не достоин третьего класса оного! И как осмелиться было требовать полковнику тот орден, который еще тогда носим был: Остерманом, Ермоловым, Раевским, Коновницыным и Паленом!

В Соколах я принужден был остановиться вследствие повеления генерал-адъютанта Васильчикова. Немедленно после сего получил повеление от генерала Коновницына следовать в Ганьондз для соединения с корпусом генерала-от-инфантерии Дохтурова и явиться в команду принца Евгения Виртембергского, а вскоре потом дошло до меня и повеление от нового дежурного генерала князя Волконского о том же предмете.

Двадцать четвертого вышло новое размещение войскам, и партия моя поступила в состав главного авангарда армии, препорученного генералу Винценгероде.

Авангард сей состоял из следующих войск:

Корпус генерал-маиора Тучкова 2-го:

			Число людей
Пехота	Запасных баталионов	20	5961
	Рекрутских	4	
	Корабельный экипаж	4	
Кавалерия	Запасных эскадронов	20	1582
	Донских казачьих полков	6	1123
Артиллерия	Батарейная рота	12 орудий	486
	Легких орудий	8 —	
	Цесарская	1 —	

2-й пехотный корпус:

4-я дивизия: четыре полка по два баталиона		2500
3-я дивизия: четыре полка по два баталиона		
Батарейная рота	12 орудий	400
Две легких роты	24 орудия	
Конная рота	12 орудий	
Два донских полка из авангарда Милорадовича.		

Отряд генерала Ланского:

Двадцать эскадронов гусар Полк уральский казачий	1527
Два уральские казачьи полка	1812

Отряд мой:

Два полка казачьих: Попова 13-го и 1-й Бугский Команда гусар и сборных казаков	550
Итого	16 041 человек

Таким образом, поступя в начальники авангарда главного авангарда армии, я сошел с партизанского поприща.

III

МОРОЗ ЛИ ИСТРЕБИЛ ФРАНЦУЗСКУЮ АРМИЮ В 1812 году?

Посвящается графу
Карлу Федоровичу Толю

Два отшиба потрясли до основания власть и господствование Наполеона, казавшиеся неколебимыми. Отшибы эти произведены были двумя народами, обитающими на двух оконечностях завоеванной и порабощенной им Европы: Испаниею и Россиею.

Первая, противуставшая французскому ополчению одинокому, без союзников и без Наполеона, сотрясла налагаемое на нее иго при помощи огромных денежных капиталов и многочисленной армии союзной с нею Англии. Последняя, принявшая на свой щит удары того французского ополчения, но усиленного восставшим на нее всем Западом, которым предводительствовал и управлял сам Наполеон, — достигла того же предмета без всяких иных союзников, кроме оскорбленной народной гордости и пламенной любви к отечеству. Однако ж все уста, все журналы, все исторические произведения эпохи нашей превознесли и не перестают превозносить самоотвержение и великодушное усилие испанской нации, а о подобном самоотвержении, о подобном же усилии русского народа нисколько не упоминают и вдобавок поглощают их разглашением, будто все удачи произошли от одной суровости зимнего времени, неожиданного и наступившего в необыкновенный срок года.

Двадцать два года продолжается это разглашение между современниками, и двадцать два года готовится передача его потомству посредством книгопечатания. Все враги России, все

союзники Франции, впоследствии предательски на нее восставшие, но в неудачном вместе с нею покушении против нас вместе с нею же разделившие и стыд неудачного покушения, неутомимо хлопотали и хлопочут о рассеивании и укоренении в общем мнении этой ложной причины торжества нашего.

Должно, однако, заметить, что не в Германии, а во Франции возник первый зародыш этого нелепого разглашения; и не могло быть иначе. Надутая двадцатилетними победами, завоеваниями и владычеством над европейскими государствами, могла ли Франция простить тому из них, которое без малейшей посторонней помощи и в такое короткое время отстояло независимость свою не токмо отбитием от себя, но и поглощением в недрах своих всей европейской армады, принадлежавшей ей, ополчившейся с нею и предводительствуемой величайшим гением веков и мира? Нации этой ли, исполненной самолюбия и самохвальства, преследуемой порицаниями и, что еще чувствительнее, карикатурами и насмешками, более всего для нее несносными, ей ли можно было признаться в истинной причине несостоятельности своей в обещаниях славы и добычи увлеченным ею государствам? И когда! Когда, обладая монополиею словесности, проникающей во все четыре части света, завоеванные ее наречием, справедливо почитаемым общим наречием нашего века, она более других народов могла ввести в заблуждение и современников и потомство насчет приключения, столь жестоко омрачившего честь ее оружия, столь насильственно прогнавшего призрак ее непобедимости! Будем справедливы; какая нация решилась бы на пожертвование такого преимущества, какая нация, напротив, не поддержала бы посредством его и кредита своего в общем мнении, и славы своего оружия, потрясенных столь неожиданным злополучием?

Франция не пренебрегла этого преимущества и похвально сделала: священнейший долг всякого народа — дорожить своим достоинством, спасать и защищать всеми мерами и всеми средствами это нравственное бытие свое, неразрывно сопряженное с его бытием вещественным. Но похвально ли для некоторых из нас, еще более для тех из нас, русских, которые, быв свидетелями, даже действовавшими лицами на этом великолепном позорище, знают истинную причину гибели нахлынувших на нас полчищ,— похвально ли им повторять чужой вымысел для того только, чтобы не отстать от модного мнения, как не отстают они от покроя фраков или повязки галстуков, изобретенных и носимых в Париже? И пусть бы разглашали это городские господчики или маменькины сынки, которым известен

огонь одних восковых свечей и кенкетов да запах пороху только на фейерверках. Словам, произносимым подобными устами, награда известна. Но грустно слышать эти же слова от тех самых людей, которым знакомы и чугун, и свинец, и железное острие, как хлеб насущный. Грустно слышать, что те, коих я сам видел подвергавших опасности и покой, и здоровье, и жизнь свою на войне Отечественной, что они приписывают теперь лавры ее одной и той же причине с врагами, против которых они так неустрашимо, так ревностно тогда подвизались; что нынче, в угождение им, они жертвуют и собственными трудами, и подвигами, и ранами, и торжеством, и славою России, как будто ничего этого никогда не бывало!

Вооруженный неоспоримыми документами, я опроверг в изданной мною некогда особой книге[142] ложное показание Наполеона, будто *в кампании 1812 года легкие войска наши не нанесли ни малейшего вреда его армии.* Теперь приступаю к другому вопросу, к опровержению того, будто *армия Наполеона погибла единственно от стужи, настигшей неожиданно и в необыкновенное время года,* а не от других обстоятельств; будто она погибла:

Во-первых, не от искусного занятия нашей армией тарутинской позиции, прикрывавшей хлебороднейшие губернии и в то же время угрожавшей единственному пути неприятельского сообщения, позиции, на которой князь Кутузов обещанием мира успел усыпить Наполеона на столько времени, сколько нужно ему было для возрождения нашей армии.

Во-вторых, не от заслонения Калужского пути при Малоярославце, чем принудил он Наполеона обратиться на Смоленский путь, опустошенный и бесприютный.

В-третьих, не от флангового марша армии от Тарутина до Березины, прикрывавшего, подобно тарутинской позиции, все жизненные и боевые наши подвозы, которые шли к нам из хлебороднейших губерний, и, вместе с тем, угрожавшего заслонить единственную отступательную черту, невольно избранную неприятелем, как скоро бы он малейше на ней замедлил.

В-четвертых, не от усилий, трудов и храбрости наших войск, расстроивших единство неприятельской армии при Малоярославце, Вязьме и Красном.

В-пятых, не от чудесного соединения, почти в определенный день у Борисова на Березине, трех армий, пришедших: одна из-под Москвы, другая из Финляндии и от Пскова, третья из Молдавии и Волыни.

В-шестых, не от истребления подвозов и фуражиров нашими партиями и не от изнурения ежечасными, денными и ночными тревогами и наездами неприятельской армии этими же партиями, которые теснили ее, как в ящике, от Москвы до Немана, не позволяя ни одному солдату на шаг отлучаться от большой дороги для отыскания себе пищи или убежища от стужи.

В-седьмых, наконец, будто армия эта погибла не от неусыпного надзора над нею тех же партий, отчего каждое движение каждой ее части было тотчас известно нашему главнокомандующему и встречало противодействие.

Я уже изложил в «Опыте партизанского действия» мнение мое на этот счет; здесь представлю мнение иностранных писателей, охлажденное от того отвратительного пристрастия, которым ознаменованы все произведения их, касающиеся до военных подвигов французской армии.

Начнем с господина Коха [143]. Он говорит:

«Вообще точность замечаний генерала Гурго достойна похвал; но пристрастие к Наполеону увлекает его к защите мнений, совершенно ложных. Таково, например, уверение его, что одна стужа причиною злополучия французской армии. Во время похода от Смоленска до Орши стужа во все четыре дня была слабее, нежели в 1795 году, когда северная армия перешла по льду Вааль и овладела голландским флотом в Зюйдерзе; слабее, нежели в 1807 году, когда огромные толпы конницы неоднократными наскоками сшибались на покрытых льдом и снегом озерах. Следственно, если, по собственному расчету генерала Гурго, французская армия состояла только в сорока пяти тысячах действовавшего войска по прибытии ее на берега Березины, то дóлжно искать иных причин ее уменьшения. Они, как кажется, состоят в недостатке распорядительности относительно продовольствия».

Но тот самый Гурго, на которого восстает господин Кох за то, что он все бедствия французской армии приписывает одной стуже, сам себе противоречит, говоря следующее: [144]

«В это время, 22 октября (3 ноября нов. ст.), то есть на обратном пути около Вязьмы, французская армия не была еще в том беспорядке и развратном положении, в каком французский историк старается показать ее... До 25 октября, то есть на обратном пути около Дорогобужа, погода была хорошая и стужа умереннее той, которую мы переносили во время кампании в Пруссии и в Польше в 1807 году и даже в Испании среди Кастильских гор, в течение зимней кампании 1808 года,

под предводительством самого императора... Октября 25-го, на обратном пути около Дорогобужа, корпуса армии еще находились в устройстве; они были составлены из дивизий, бригад и полков, хотя урон, понесенный ими в походе, много убавил числительную силу их...

Господин придворный чиновник (граф Сегюр) ошибается еще и в том, будто бы в Орше беспорядок в армии умножился; напротив, найденные в Орше запасы розданы были войскам, а оттепель, после сильных морозов, сделала биваки сносными... Что касается до сильной стужи, то меру ее определить можно тем, что Березина не была еще покрыта льдом во время переправы чрез нее».

Господин Шамбре представляет нам следующие изменения термометра: [145]

«Октября 15-го ст. ст. — *четыре* градуса стужи». (Это было на обратном пути от Малоярославца.)

«Октября 23-го — снег, следственно, стужа умеренная». (Это было на обратном пути из Вязьмы.)

«Октября 24-го — снег продолжается». (Это на обратном пути между Вязьмою и Дорогобужем.)

«Октября 25-го — снег сильнее, с ветром, следственно, немного холоднее, чем накануне». (Это было там же и уже около Дорогобужа.)

«Октября 28-го — *двенадцать* градусов стужи». (Это было на обратном пути между Дорогобужем и Смоленском.)

«Октября 31-го и ноября 1-го — *семнадцать* градусов стужи». (Это было на обратном пути в Смоленск.)

«Ноября 2-го — стужа гораздо слабее». (Это было на обратном пути, по выступлении из Смоленска к Красному.)

«Ноября 6-го — *оттепель»*. (Это было на обратном пути между Красным и Оршею.)

«Ноября 12-го — *оттепель прекращается»*. (Это было на обратном пути между Оршею и Борисовым.)

Он же продолжает:

«Не одна стужа расстроила и истребила французскую армию, потому что *второй* и *девятый* корпуса сохранили совершенный порядок, невзирая на претерпение такой же стужи, как и главная армия. Стужа, сухая и умеренная, сопровождавшая войска от Москвы до первого снега, была более полезна, нежели гибельна. Главные причины злополучия, постигшего нашу армию, были: во-первых, голод, потом беспрерывные переходы и кочевья и, наконец уже, стужа, когда она была сопряжена со снегом. Что касается до лошадей, то сыты-

ми они весьма легко переносят стужу, сколь она ни жестока. Они гибли не от нее, а от голоду и усталости...

Я уже сказал, и еще повторяю: сытые лошади переносят кочевье без затруднения, как бы стужа ни была чрезмерна. Итак, не стужа погубила лошадей французской армии, и их пало не до тридцати тысяч в одну ночь, как сказано в одном из бюллетеней... Самая жестокая стужа, в ноябре месяце, продолжалась от 28 октября до 1 ноября, ст. ст., то есть на обратном пути между Дорогобужем и Смоленском.

Сам Наполеон говорит:[146] «Еще *три* дня хорошей погоды, и армия совершила бы в устройстве отступление свое».

Генерал Жомини, в последнем своем сочинении[147], заставляет говорить Наполеона: «Главные причины неудачного предприятия на Россию относили к ранней и чрезмерной стуже; все мои приверженцы повторяли эти слова до пресыщения. Это совершенно ложно. Как подумать, чтобы я не знал о сроке этого ежегодного явления в России!.. Не только зима наступила не ранее обыкновенного, но приход ее 26 октября ст. ст. был позже, нежели как это ежегодно случается. Стужа не была чрезмерна, потому что до Красного она изменялась от *трех* до *восьми* градусов, а 8 ноября наступила *оттепель,* которая продолжалась до самого прибытия нашего к берегам Березины: один только день пехота могла переходить по льду чрез Днепр, и то до вечера; вечером оттепель снова повредила переправу.

Стужа эта не превышала стужи Эйлавской кампании: в последней громады конницы носились по озерам, покрытым льдом, и в эту эпоху река была так сильно им схвачена, что могла бы поднять целую армию с артиллериею. Но при Эйлау армия моя не расстроилась, потому что была в крае изобильном и что я мог удовлетворять всем ее нуждам. Совсем противное произошло в 1812 году: недостаток в пище и во всем необходимом произвел разброд войска; многочисленные колонны наши обратились в буйную сволочь, в которой солдаты разных полков были чужды один другому. Чтобы собраться и распутаться, нам надлежало остановиться дней на восемь в укрепленном лагере, снабженном огромными магазинами.

В Смоленске этого нельзя было сделать, и мы должны были погибнуть, потому что оттуда до Вислы не было уже места, довольно безопасного для пристанища, а у Вислы армия уже не существовала... Я прибыл в Смоленск 28 октября ст. ст. Вся армия собралась 1 ноября. Она во всем нуждалась: Спеша к Смоленску, как к земле обетованной, как к пределу своего

злополучия, что обрела она там? Обрушенные домы, заваленные больными, умирающими, и пустые магазины! Двухмесячное пребывание корпуса маршала Виктóра вокруг города, гарнизон, пятнадцать тысяч больных и раненых и проходившие команды издерживали в сутки по шестьдесят тысяч рационов.

Армия вступила в Смоленск толпами и непохожая на себя: *трехдневная, вовсе не чрезвычайная стужа* достаточна была, чтобы ее частию расстроить».

В примечании сказано: «Стужа во время кампании в Голландии в 1795 году и в Эйлавскую кампанию в 1807 году была сильнее той, которая продолжалась от Москвы до Березины. Но в этих двух кампаниях войска получали пищу, вино и водку, а не каждые сутки, как в последней кампании, кочевали голодными, с уверенностью, что завтра будет хуже.

Так как уже известно, что стужа до Березины была умереннее, а при всем том по прибытии к берегам этой реки у нас осталось не более пятидесяти тысяч из трехсот тысяч, которые я привел на берега Двины и в Москву, то должны быть другие причины столь ужасному злополучию.

Не в пользу мою действуют те, которые порочат моих противников и унижают их подвиги. Они вместе с тем унижают и мою славу и славу французской армии, состоящую в преодолении преград неожиданных. Как бы то ни было, никто не похитит у русских, что, невзирая на разрыв их линии при первом шаге моего вторжения, они умели избегнуть поражения и отступить тысячу двести верст, сохранив все тяжести и не оставив нам ни одного трофея. Если б мы творили одни чудеса, а неприятели наши одни ошибки, то как Барклай и Багратион, выступившие один из Дриссы, другой из Слонима, и отдаленные один от другого тремястами тысячами моего войска,— как могли бы они соединиться наперекор моему старанию не давать им соединиться? Как Витгенштейн, начальствовавший над корпусом, вполовину малочисленнее трех корпусов, действовавших против него, мог бы сохранить угрожательную осанку в течение всей кампании? Не менее сверхъестественно было бы и то, чтоб при непрестанных промахах армия, расстроенная под Бородиным, могла явиться в назначенный час под Красным и схватиться грудь с грудью с нашей армиею, как это случилось. Наконец, мог ли неприятель, если бы он не обладал ни военными качествами, ни дарованиями, и при начале кампании разделенный и раздробленный на части,— мог ли бы он сообразить и исполнить наступательное соединение обоих крыл и средины армии своей при Бере-

зине и к самой решительной эпохе привести из Финляндии и от берегов Прута войска, долженствовавшие оспаривать нам переправу?

Без сомнения, ему воспомоществовали обстоятельства, а против меня восстало все то, что ему благоприятствовало; но надо быть чрез меру ненавистливым, чрез меру несправедливым, чтобы порицать то, что достойно похвал и подражания.

Конечно, русские действовали не без ошибок. Главнейшие суть: начальное размещение сил на границе, направление к Дриссе и образ отступления от Смоленска; дознано также, что Кутузов мог бы сделать более того, что он сделал, и будь я на его месте,— я бы, верно, не упустил случая истребить армию, возвращавшуюся из Москвы; но, несмотря на излишнюю его осторожность, дóлжно признаться, что он дал искусное направление движениям своей армии.

Смешно уверять, будто русские совершенно были чужды в нашем злополучии. Правда, злополучию этому причиною не генеральные сражения, выигранные у нас нашими противниками; но как не согласиться в том, что ему способствовало пламенное рвение армии, правительства, народа и генералов, ознаменованное особенно во второй части кампании? Высокопарные ругательства могут иметь временное влияние на чернь и людей несмыслящих; истина господствует над веками!»

Заключим выписки эти извлечением из известного сочинения сэра Вальтера Скотта: [148]

«Причины такого ужасного события были в ложных расчетах, которые зародились при первых мыслях об этом предприятии и сделались очевидными при первом шаге к приведению их в действие. Мы знаем, что такой способ смотреть на предмет не во вкусе обожателей Наполеона. Веря безусловно словам, которые сам он рассеял, они считают, что их герой ничем не мог быть побежден, разве одними только стихиями. Об этом объявлено и в *двадцать девятом* бюллетене: «До 25 октября ст. ст., говорят там, успехи его *были одинаковы, но выпавший тогда снег в шесть дней расстроил дух его армии,* отнял мужество у солдат его и, ободрив презрительных казаков, лишил французов артиллерии, фуража и кавалерии и повергл их, хотя русские мало тому способствовали, в то жалкое положение, в каком они вступили в Польшу». Наполеон никогда не выходил из этого уверения, и оно — один из тех пунктов, от которых восторженные его обожатели отступают с крайним нехотением. Но прежде нежели согласиться с их мнением, надобно решить три вопроса: 1) Обыкновенное паде-

ние снега или поход чрез страну, покрытую снегом, должны ли непременно сами по себе причинить все те бедствия, которые французы им приписывают? 2) Возможность такого происшествия не должна ли была входить в расчеты Наполеона? 3) Падение ли снега, как бы, впрочем, оно чрезмерно ни было, причиною расстройства армии Бонапарте, или не действие ли климата благоприятствовало скорейшему развитию многих других причин ее гибели,— причин, неразлучных с этим походом при самом его зарождении и уже прежде жестокости зимы?

Бесполезно распространяться насчет первого вопроса. Падение снега, сопровождаемое сильным морозом, недостаточно само собою для того, чтобы разрушить до основания отступающую армию. Без сомнения, в этом случае солдаты самые слабые должны погибнуть; но целой армии удобнее производить движение зимою, нежели в дождливую погоду».

Тут знаменитый автор представляет некоторые удобности для военного действия зимою, вознаграждающие до некоторой степени нужды, причиняемые суровостью времени.

«Перейдем ко второму вопросу. Если мороз и снег в России суть бедствия непреодолимые, властные уничтожать целые армии, то как же эти обстоятельства не вошли в расчеты генерала, столь знаменитого, замыслившего предприятие столь огромное? Разве в России никогда не идет снег? Разве морозы в ноябре месяце там редкое явление? Говорят, что морозы начались ранее обыкновенного; мы уверены, что это оправдание не имеет никакого основания; но, во всяком случае, величайшее безрассудство — подвергать сохранение и целость всей армии, армии столь многочисленной и употребленной на такое важное предприятие, зависимости от мороза, могущего случиться несколькими днями ранее или позднее.

Дело в том, что Наполеон предвидел, что в октябре настанет стужа, так как он в июле предвидел необходимость собрать съестные припасы, достаточные для продовольствия своей армии; но увлеченный нетерпеливостью, он ни в том, ни в другом случае не принял меры для преодоления ни голода, ни стужи, которые предвидел.

В *двадцать втором* бюллетене сказано: *«Можно ожидать, что Москва-река и прочие реки России замерзнут в половине ноября»*. Это должно было приготовить императора к снегу и к началу морозов пятью или шестью днями ранее.

В *двадцать пятом* бюллетене признана необходимость зимних квартир, и император представлен с видом самодовольст-

вия осматривающим вокруг себя, где бы ему избрать квартиры: на юге ли России, или в приязненных владениях Польши. *«Время прекрасное,*— говорит бюллетень,— *но дóлжно ожидать холода в первых числах ноября и, следственно, дóлжно заботиться о зимних квартирах; особенно кавалерия имеет в них нужду».* Невозможно, чтобы тот, пред глазами которого составлялись эти бюллетени, или тот, кто составлял их сам, был изумлен выпадением снега 6 ноября: это такое событие, вероятность которого была предвидена, но против которого не взято было предосторожностей...»

Далее говорит автор о забытии начальством велеть перековать лошадей и запастись подковами.

«В-третьих, хотя, без сомнения, суровость погоды значительно умножала бедствия и потери армии, имевшей недостаток в съестных припасах, в одежде и подвергавшейся всякого рода нуждам, однако ж она не была первою и ни с какой точки зрения главнейшею причиною этих бедствий. Читатель должен припомнить поход чрез Литву: Наполеон, не быв поражен ни разу, потерял десять тысяч лошадей и около ста тысяч людей уже тогда, когда он проходил страною дружелюбною. Разве эта потеря, случившаяся в июне и в июле, причинена *ранним снегом,* каким называют снег, выпавший 6 ноября? Совсем нет: причину этому находят, как говорит бюллетень, в неизвестности, в томлении, в маршах и контрмаршах войск, в их усталости, в претерпении нужд, словом, в этой системе усиленных переходов, которая, впрочем, не доставила Наполеону никакой существенной выгоды,— системе, всегда стоившей ему около четвертой части армии, прежде нежели она доводила ее до какого-нибудь сражения [149]. Если предположим, что он оставил на обоих флангах и позади себя силу из ста двадцати тысяч человек, под командою Макдональда, Шварценберга, Удинó и других военачальников, то он начал настоящее шествие на Россию с двумястами тысячами. Половина этой значительной силы погибла прежде прибытия его в Москву, в которую он вступил с сотнею тысяч человек. Усталость погубила множество, битвы и гошпитали поглотили остальных.

Наконец Наполеон покидает Москву 7 октября (ст. ст.), как город, где ему нельзя уже было оставаться, хотя выход оттуда, как он предвидел, был сопряжен с значительными затруднениями. Тогда находилось под его начальством около ста двадцати тысяч человек. Армия его умножена была до этого числа присоединением к ней выздоровевших бродяг и команд, прибывших из резервов. Он дал сражение бесполезное, хотя и



«Победа при городе Духовщине 26 октября 1812 года, одержанная корпусом генерала-от-кавалерии графа Платова при деревне Манторовой между Дорогобущем и Духовщиною»
Гравюра С. Карделли по рисунку Д. Скотти (1814 г.)

с честью выдержанное, при Малоярославце; не успел пробить себе дороги к Калуге и Туле и принужден был бежать чрез Бородино по разграбленной и опустошенной Смоленской дороге. На этом пути он дал сражение под Вязьмою, в котором потеря французов была весьма значительна; его колонны были беспрестанно тревожимы казаками, и он лишился многих тысяч пленными. Два сражения, столь кровопролитные, не считая притом разбития Мюрата и беспрестанно возобновляемых стычек, стоили французам убитыми и ранеными,— потому что каждый раненый был уже погибшим для Наполеона,— по крайней мере двадцати пяти тысяч человек. Наконец наступило 25 октября. До того дня еще не видали клока снегу, который в самом деле пошел тогда уже, когда Наполеон испытал бо́льшую часть бедствий, потому что в то время фланги его и резерв уже выдерживали жестокие сражения и понесли большие уроны, не получив никакой существенной выгоды. Таким образом, почти три четверти армии, которую он привел в Россию, были разрушены, а остальная четвертая часть приведена была в жалкий беспорядок еще до выпадения снега, которому он потом за благо рассудил приписать неудачу свою.

Конечно, когда наступила чрезмерная стужа, тогда нужды и потери французской армии еще умножились; но зима была только *союзницею русских*, а не, как тогда думали, *единственною их защитницею:* отступление Наполеоновой армии совершилось под остриями казачьих пик прежде, нежели морозы Севера понудили ее к отступлению».

Из всех этих выписок можно заключить следующее:

Неприятельская армия, выступив из Москвы 7 октября ст. ст., шла хорошею погодою, по словам г. Шамбре и г. Жомини, до 28 октября, то есть *двадцать одни* сутки, а по словам Гурго — до 25 октября, то есть *восемнадцать* суток. Но от этого числа армия в течение *трех* суток, по словам Шамбре, Жомини и самого Наполеона, или в течение *пяти* суток, по словам Гурго, претерпела стужу, которая, по термометрическому наблюдению Шамбре, простиралась от двенадцати до семнадцати градусов, а по словам Жомини, от трех до восьми градусов. Далее все писатели соглашаются уже в том, что во время переходов французской армии от Смоленска до Орши стужа весьма уменьшилась, и, если позволено мне прибегнуть к моей собственной памяти, то смело могу уверить, что тогда морозы простирались от двух до четырех градусов. Наконец Шамбре, Гурго и Жомини соглашаются в том, что от Орши до Березины продолжалась *оттепель*. Последний упоминает даже об опасности, пред-

ставлявшейся при переправе чрез Днепр под Оршею 8 <ноября>; а мы помним, что, при переходе чрез эту реку корпуса Нея, при Гусинове, бо́льшая часть его тяжестей и некоторая часть войска этого отряда обрушилась под лед и погибла.

Итак, во все время шествия французской армии от Москвы до Березины, то есть в течение *двадцати шести дней,* стужа, хотя и не чрезвычайная (от двенадцати до семнадцати градусов), продолжалась не более *трех* суток, по словам Шамбре, Жомини и Наполеона, или *пяти* суток, по словам Гурго.

Между тем французская армия при выступлении своем из Москвы состояла, по списку французского главного штаба, отбитому нами во время преследования, из ста десяти тысяч человек свежего войска, а по словам всех историков кампании, представляла только сорок пять тысяч по прибытии своем к берегам Березины. Как же подумать, чтобы *стодесятитысячная* армия могла лишиться *шестидесяти пяти тысяч* человек единственно от *трех-* или *пятисуточных* морозов, тогда как гораздо сильнейшие морозы в 1795 году в Голландии, в 1807 году во время Эйлавской кампании, продолжавшиеся около двух месяцев сряду, и в 1808 году в Испании среди Кастильских гор, в течение всей зимней кампании, скользили, так сказать, по поверхности французской армии, не проникая в средину ее, и отстали от ней, не разрушив ни ее единства, ни устройства?

Все это приводит нас к тому уверению, что не стужа, а другое обстоятельство — причиною разрушения гигантского ополчения.

Читая представленные мною выписки, можно ясно видеть согласие всех историков кампании насчет причин события. Они полагают, что эти причины состоят: *во-первых,* в голоде, претерпенном французской армиею; *во-вторых,* в беспрерывных усиленных переходах, и *в-третьих,* в кочевье под открытым небом.

Соглашаясь отчасти с ними, я предлагаю вопрос: что обыкновенно производит голод в армиях? Действование или шествие армии по безлюдному или опустошенному краю без обозов, наполненных съестными припасами, или, как технически их называют, без подвижных магазинов?

Казалось, что это двойное несчастие не должно было угрожать французской армии, потому что при выступлении ее из Москвы она, по словам самого Наполеона, несла на себе и везла с собою на двадцать дней провианта[150]. Сверх того, как всем известно, она имела намерение и напрягала все усилия, чтобы, прибыв прежде нас чрез Малоярославец в Калугу, идти оттуда

на Юхнов и Рославль к Днепру, по краю невредимому и изобилующему съестными припасами, и быть преследуемой нашею армиею с тылу, *а не сбоку*, как это случилось.

Таким образом, французская армия никогда бы не имела недостатка в пище; переходы ее могли бы быть производимы без поспешности, потому что никто не угрожал бы пресечением пути ее отступления, и производимы под прикрытием сильного арьергарда, которого войска сменялись бы чрез каждые несколько дней свежими войсками; она была бы в возможности беспрепятственно располагать на квартиры если не все свои корпуса, то, по крайней мере, бóльшую часть их, что доставило бы покой ее войскам на ночлегах и укрыло бы их от стужи. Малого недоставало, чтобы не удалось это предприятие. Уже снабженная, как я выше сказал, на *двадцать дней* провиантом, обогнув потаенно оконечность левого фланга нашей армии, занимавшей тарутинскую позицию, французская армия почти касалась до той точки, от которой можно было ей отступать в довольствии всего и никем не тревожимой. Вдруг партизан Сеславин выхватывает солдата из колонн главной французской армии, дает о том знать Ермолову, находившемуся с корпусом Дохтурова в Аристове; тот немедленно извещает Кутузова и сам спешит занять Малоярославец до его прибытия; Кутузов с своей армиею летит от Тарутина туда же и заслоняет Наполеону Калужский путь, отбивает его от изобильного края, по которому он намеревался следовать, и принуждает его предпринять отступление по пути опустошенному. Еще при французской армии находилось на *двадцать дней* пищи, но и это вспомогательное средство вскоре исчезает. Кутузов бросает вслед за нею всю свою легкую конницу, и в трое суток не остается у неприятеля ни одной подводы с провиантом. Наконец представляется последний способ к прокормлению этой армии: в некотором расстоянии от опустошенного пути, по которому прошла она летом, находились еще деревни, не совершенно ограбленные; они могли бы снабдить ее хоть малым количеством пищи. Но и на фуражирование в этих деревнях нельзя было ей решиться с тех пор, как многочисленная легкая конница наша окружила ее своими толпами, истребляя все, что осмеливалось отделяться на один шаг от большой дороги. И вот французская армия идет по опустошенному пути, без обозов, наполненных пищею, и не смеет посылать фуражиров в придорожные деревни. Что ж этому причиною? Точка, избранная для лагеря при Тарутине, заслонение Калужской дороги при Малоярославце, отстранение неприятельской армии от края, изобилующего съестными при-

пасами, принуждение его идти по Смоленскому разоренному пути, взятие нашей легкою конницею неприятельских обозов с пищею, окружение ею французских колонн от Малоярославца до Немана, не дозволившее ни одному солдату отлучаться от большой дороги для отыскания себе пищи и приюта.

В таком положении Наполеону необходимо было спешить к магазинам своим в Литве; но как спешить с войском, у которого нечем подкрепить себя после каждого перехода и которое, следственно, становится с каждым днем неспособнее к физическим усилиям? Как было, между тем, и медлить для отдохновения или делать короткие переходы? Отдохновения, как бы ни продолжительны, переходы, как бы коротки ни были, а все не в состоянии без пищи подкреплять сами собою человека голодного! К тому ж и вот где сказывается превосходство флангового марша Кутузова: чем продолжительнее были бы Наполеоновы привалы и стоянки, чем переходы были бы короче, словом, чем медленнее происходило бы движение до Литвы, тем Кутузов, следуя с своею армиею параллельно французской армии по краю изобильному и никем еще неприкосновенному, по которому вначале намеревался следовать Наполеон, более и более опережал бы его, угрожая бы заслонением единственного пути отступления — по Смоленской дороге. Итак, беспрерывные переходы, которые, по словам иностранных писателей, были, не менее голода, причиною гибели французов, произошли от той же причины, от которой и голод, с прибавлением к ней еще флангового марша Кутузова, грозившего заслонить им путь отступления. Что касается до кочевий под открытым небом, то и они — следствие общей причины, произведшей и голод и беспрерывные переходы: путь, по которому, против воли своей, долженствовала следовать французская армия, разоренный отчасти русскими войсками во время нашего отступления летом и окончательно опустошенный неприятелем, нас преследовавшим, не представлял ни избы, ни сарая для приюта; а беспрерывный надзор и наезды легкой конницы нашей и поспешность, необходимая для достижения края, более изобилующего съестными припасами, не позволяли французам ни отделять малые части войск за черту большой дороги для отыскания себе приюта, ни отстранять большой громады войск от прямого пути, чтоб не увеличить окружными путями расстояния, отделяющего армию от избранной ею меты.

Словом, подведя к одному знаменателю все три причины гибели французской армии, мы видим, что гибель произошла, как я выше сказал, из отстранения неприятельских сил Кутузовым

от изобильного края, по которому хотели они следовать; от обращения их на путь опустошенный; от успешного действия легкой нашей конницы, отнявшей у ней обозы с пищею и не позволявшей ни одному солдату уклоняться с большой дороги для отыскания пищи и убежища; наконец, от флангового марша нашей армии, который угрожал Наполеону пресечением единственного пути отступления.

Но неужели можно ограничить гибель французской армии этими причинами? Если б было так, то ни одно ружье, ни одна пушка в русской армии не закоптились бы порохом; ни одна сабля, ни одна пика не облились бы кровью неприятельской, — а мы помним кровопролитные битвы под Тарутиным 6 октября, под Малоярославцем 12 октября и под Красным 5 и 6 ноября; я не говорю уже о каждодневных сшибках неприятеля с отдельными отрядами и даже с корпусами нашими.

Соединив три приведенные причины со всеми этими битвами, мы можем подвести приблизительный *итог* урону французской армии, согласить наши исчисления с показаниями историков кампаний и насчет количества неприятельских сил, погибших во время отступления от Москвы до Березины, и насчет того числа, которое прибыло к берегам этой реки, и этим заключить рассуждение.

Вальтер Скотт полагает, что урон французской армии в сражениях при Малоярославце и при Вязьме простирался до двадцати пяти тысяч человек: это чрезмерно! Я считаю, что это число тогда только будет верно, когда мы к двум сражениям при Вязьме и Малоярославце присоединим сражение при Тарутине, сшибку Платова при Колоцком монастыре и другие частные битвы, случившиеся до Смоленска.

Потом, по официальным спискам пленных, которые взяты были под Красным, спискам, составленным при отправлении пленных в недра России,— следственно, в верности не подлежавших ни малейшему сомнению,— мы видим, что число их состояло в двадцать одной тысяче ста семидесяти нижних чинах и трехстах офицерах.

Наконец, полагая слишком восемнадцать тысяч человек, что весьма умеренно, взятых и убитых легкою конницею, взятых и убитых крестьянами, замерзших и погибших на полях сражений от Смоленска до Березины,— мы удостоверимся, что французская главная армия действительно подошла к Березине в числе сорока пяти тысяч человек и что из ста десяти тысяч, выступивших из Москвы, пропало шестьдесят пять тысяч человек,— *но не от одной стужи,* как стараются в том

уверить нас неловкие приверженцы Наполеона или вечные хулители славы российского оружия, а посредством, что, кажется, я достаточно доказал, *глубоких соображений Кутузова, мужества и трудов войск наших и неусыпности и отваги легкой нашей конницы.* Вот истинная причина гибели неприятельской армии,— не что другое; все прочее есть выдумка, соображенная не без искусства, потому что ее изобретатели знали, что делают, смешивая две эпохи отступления, столь резко различествующие между собою. И подлинно, общее выражение: *«армия наполеоновская погибла от стужи и мороза»,* это выражение, сливающее в одно и эпоху ее отступления от Москвы до Березины и эпоху отступления ее от Березины до Немана,— самим смешением двух эпох сокрывает истину, облекая ее неоспоримым фактом: *стужею и морозом,* в некотором отношении не чуждым истреблению французской армии. Внимание слушателей и читателей, легко привлекаясь к этому факту ощутительнейшему и, следовательно, более постигаемому, чем факт отвлеченный, состоящий в соображениях и в разборе движений военных, прилепляется к нему всею силою убедительности, не требующей размышления.

Но чтобы извлечь истину из этого ложного состава, следует только, отделив одну эпоху от другой, прибегнуть к вопросу о времени настижения губительного феномена природы: наступило ли оно в *первую* или во *вторую* эпоху отступления неприятеля, или свирепствовало оно в обе эпохи?

Доказано уже, что в течение *двадцати шести* дней, составляющих первую эпоху, мороз от двенадцати до семнадцати градусов продолжался не более *трех* или *пяти* суток, а во второй — мороз достиг от двадцати до двадцати пяти градусов и продолжался *двадцать два дня,* почти беспрерывно.

Так, в первой эпохе влияние холода было весьма слабо на неприятельскую армию; во второй — истинно для нее губительно.

Но дело в том, что уже в конце первой эпохи, то есть уже у берегов Березины, армии не существовало: я говорю об армии в смысле военном, об армии, вооруженной, устроенной, твердой чинопослушанием и, следственно, способной к стройным движениям и битвам. Единая часть ее, еще находившаяся в этом положении, состояла из корпусов Удинó и Виктóра, пришедших от Полоцка, совершивших свой переход в одно время с главною армиею, которая бежала от Москвы к Березине подобно ей, перенесших *трех-* или *пятисуточный* мороз и нимало не потерявших от этого ни своего устройства,

ни числительной силы, потому что причины, разрушившие и устройство и числительную силу главной армии, не существовали при отступлении корпусов Удино́ и Викто́ра. Когда подошла вторая эпоха, то есть когда все эти войска перешли за Березину и настала *смертоносная стужа,* тогда, как я сказал, армии, в смысле военном, уже не существовало, и ужасное явление природы губило уже не армию, способную маневрировать и сражаться, а одну сволочь, *толпы людей,* скитавшихся без начальства, без послушания, без устройства, даже без оружия; или губило армию, приведенную в такое положение не стужею и морозами, а причинами, которые здесь представлены.

И на все сказанное мною не опасаюсь возражений,— вызываю их; бросаю перчатку: подымай, кто хочет!

ЗАНЯТИЕ ДРЕЗДЕНА

1813 года 10 марта

По окончании Отечественной войны и при вступлении армии нашей в неприятельские пределы некоторые войска получили новые размещения и назначения. Партизанский отряд мой занял передовое место в общей массе и чрез то превратился в один из авангардов передового корпуса главной армии.

Казалось, что положение это мало в чем уступало первому, заключая в себе достаточно еще средств к удовлетворению беспокойного моего честолюбия,— вышло иначе. Крутой оборот от независимых, вдохновенных и *напропалую* перелетов моих к размеренным переходам по маршрутам, доставляемым мне из корпусного дежурства; запрет в покушении на неприятеля без особого на это разрешения; и кипучая молодость, и какая-то безотчетная отвага, удалая и своевольная, и соблазнительная смежность с неприятелем — произвели тот последний наезд мой, от коего пострадала вся моя заграничная служба, от коего рушилась вся та будущность, которой (не для чего уже теперь жеманиться) я имел все право не бояться.

Передовой корпус, в состав которого поступил партизанский отряд мой, состоял из 8 460 человек пехоты, 3 109 человек регулярной конницы, 3 535 казаков и 69 орудий батарейных, легких и конных,— всего, считая с артиллеристами, до шестнадцати тысяч человек. Корпусом этим командовал генерал-лейтенант, генерал-адъютант барон Винценгероде [151]. Частные начальники оного были: генерал-адъютант князь Трубецкой, генерал-маиоры — Никитин, Бахметев, граф Витт, Талызин, Кнорринг и

столь же красивый наружностию, сколь блистательный мужеством Ланской[152].

Всем известно, в каком положении бежали восвояси остатки гигантского ополчения, нахлынувшего на Россию, и потому легко вообразить ничтожность сопротивления, противопоставляемого неприятелем главным силам нашим во время шествия их от Немана до Эльбы; отпоры встречаемы были одними передовыми войсками.

Главные силы эти разделены были на два потока: первый, управляемый графом Витгенштейном, шел чрез северную Пруссию к Берлину. Ему предшествовали три легкие отряда генерал-маиоров Чернышева, Бенкендорфа и полковника Теттенборна, с полной волей действовать по обстоятельствам. Другой, или главная армия, при коей находилась императорская квартира, шел чрез Варшавское герцогство и Силезию к Дрездену. Ему предшествовал корпус Винценгерода, а Винценгероду — два легкие отряда: подполковника Пренделя и мой. Оба эти отряда находились в полной зависимости от Винценгерода, запретившего им,— по крайней мере мне,— и сшибки с неприятелем и переходы с одного места на другое без ведома его или того генерала, коему я буду отдан им под команду.

Около половины февраля заключен был союз России с Пруссиею, и прусские войска двинулись на соединение с нами.

Армия графа Витгенштейна усилилась корпусами Иорка и Бюлова; корпус Блюхера выступил из Бреславля и составил авангард главной армии. Корпус Винценгерода поступил к нему в команду, с сохранением передового своего места.

Двадцатого февраля Чернышев овладел Берлином. Неприятель, оставя город, потянулся двумя колоннами к Эльбе: одною на Магдебург, другою на Виттенберг. За первою пошли Чернышев и Теттенборн, за второю — Бенкендорф.

В конце февраля Теттенборн отряжен был к Гамбургу; Бенкендорф и Чернышев остались пока на Эльбе для наблюдения, первый — Виттенберга, последний — Магдебурга.

Особый и независимый отряд флигель-адъютанта, гвардии ротмистра Орлова шел из Гоэрсверда к Гросенгейму.

Главная квартира графа Витгенштейна занимала Берлин; императорская и главная квартира князя Кутузова-Смоленского, главнокомандующего всеми союзными войсками,— Калиш.

С своей стороны вице-король Евгений, предводительствовавший шестидесятитысячною французскою армиею, составлен-

нoю из остатков главной армии, из некоторых войск, оставшихся в крепостях, и из резервов, прибывших из-за Рейна, разместил ее следующим образом:

Маршал Даву с семнадцатью тысячами защищал Эльбу, от Дрездена до Торгау. В команде его состояли: 7-й корпус Ренье, 31-я дивизия Жерара, баварский корпус Рехберга, и саксонские войска Лекока и Либенау.

Виттенберг, Магдебург и все расстояние между ними защищали Гренье и Лористон. Войска, ими командуемые, состояли из тридцати четырех тысяч и находились под личным начальством самого вице-короля.

Маршал Виктóр командовал на нижней Эльбе. Корпус его заключал в себе не более шести тысяч человек.

Остальные войска находились в Лейпциге, при главной квартире вице-короля и корпусной — маршала Даву.

Тут нужно представить два обстоятельства, имевшие непосредственное влияние на описываемое мною приключение.

Эта эпоха — я говорю о времени шествия нашего от Вислы к Эльбе — была краткою эпохою какого-то мишурного блеска оружия, впрочем необходимого для увлечения к общему усилию еще колебавшихся умов в Германии. Французы продолжали бегство; мнение о их непобедимости постепенно исчезало; некоторые союзники их соединились с победителями; но другие, ошеломленные неожиданностию события и еще подвластные влиянию гения, столь плодовитого средствами, непостижимыми для самого высокого разума,— ожидали. Надлежало нам пользоваться успехами нашими и до прибытия новых сил из Франции затопить силами нашими сколь можно более пространства, никем, или почти уже никем, не защищенного. Предприятие это заключало в себе две выгоды: умножение простора для военных действий в случае обратного появления Наполеона из-за Рейна и действие на воображение нерешительных пышными и частыми обнародованиями о занятии новых областей, новых столиц, новых городов, более других знаменитых.

Какая богатая жатва для охотников до известности, легко добываемой! Зато как они и воспрянули! Все в союзных армиях начало мечтать о столицах, торжественных въездах в столицы, повержении ключей столиц к стопам императора. Начиная с Блюхера, тогда еще без ореолов Кацбахского, Бриеннского и Ватерло, тогда еще алкавшего славы без разбора, как бы она ни досталась, всякий начальник отдельного, многочисленного корпуса требовал столиц на пропитание честолюбию своему,

потому что для огромных сил столицы доступны были не менее городков, предоставленных на поживу честолюбиям нашей братьи — голодной сволочи дробных героев. *К несчастию моему,* подручных столиц на это время было только две, из коих одну захватил уже Чернышев; другая — Дрезден — оставалась на удалого, и Блюхер, и Винценгероде пошли к этому доброму Дрездену, не постигнув в ярости своей, что слава подвига ценится бо́льшим или меньшим количеством средств, употребленных на предприятие, и что взятие Берлина всею армиею или сильным корпусом войск нимало не обратило бы на них ничьего внимания, тогда как взятие того же Берлина легким отрядом Чернышева справедливо его прославило.

К этому надо прибавить, что после разгрома несметных Наполеоновых полчищ в России никто уже не ожидал войны, по крайней мере, такой, какою она вновь явилась. Я скажу более: общее предугадание клонилось к миру, принимая в уважение, с одной стороны, начатый уже прилив нескольких сотен тысяч войск к Рейну; с другой — только что приступ к сбору, можно сказать, к возрождению сил, в одних мыслях определенных на отпор такому грозному приливу. В этом предположении мира каждый начальник многочисленной части войск бросался стремглав к сочетанию памяти о себе с последним выстрелом такой необычайной войны, к начертанию имени своего на последней странице такой грандиозной эпопеи,— стремление благородное и в котором начальники мои никому не уступали. Вот почему Блюхер, обладаемый желанием захватить Дрезден лично, отстранял Винценгерода к Гоэрсверду; Винценгероде, с теми же мыслями, отстранял Ланского и меня (находившегося тогда под командою Ланского) к Мейссену. Но Винценгероде под разными предлогами медлил в исполнении ему предписанного и, так сказать, украдкой подползал к привлекавшему предмету. Я тогда не понимал этого особого рода квинтича, еще менее предвидеть мог, чтобы все взаимные тонкости начальников моих остались втуне и что я определен судьбою, поддев их обоих, сломить себе голову.

Другое обстоятельство.

Многие и доныне уверяют меня в существовании приказа по армии, обнародованного еще в пределах России, насчет запрещения всякого рода сношений с неприятелем, еще более — заключения с ним каких бы то ни было договоров и условий. Верю, но никакие приказы, никакие распоряжения по армии, никакие даже известия о производствах, словом, ничего того, что обнародуется обыкновенно по армиям, не посылалось

в партии наши в течение всей Отечественной войны. Доказательством этому служит неведение мое, продолжавшееся два месяца сряду, о производстве меня в полковники, и занятие мною Гродны *вследствие переговоров* моих и некоторого рода перемирия, заключенного мною с австрийским генералом Фрейлихом, за что я награжден был самым лестным отзывом фельдмаршала князя Кутузова и удостоен ордена св. Владимира 3-й степени от императора Александра, прибывшего тогда в Вильну.

Итак, домогательство в личном овладении Дрезденом моих начальников и приказ, отданный по армии, чтобы никто не смел приступать к переговорам, а еще менее к заключению перемирий с неприятелем,— приказ мне неизвестный и, невзирая на то, послуживший к обвинению меня,— вот два подводные камня, на которые наскочило корсарское мое судно в полете на всех парусах отваги и беззаботности.

Между тем войска наши подвигались. Партия моя, состоявшая, как я сказал, в зависимости от Ланского, командовавшего авангардом Винценгерода, шла вправо от него на Мускау, Шпремберг, Гоэрсверде и вступила 7-го числа в деревню Бернсдорф, где застала партию флигель-адъютанта Орлова, готовую уже к выступлению в Гросенгейн. Орлов объявил мне о намерении своем перейти немедленно Эльбу для угрожения Дрездену со стороны левого берега.

Надо заметить, что в этот самый день (7 марта) корпус Блюхера находился еще в Силезии, в трех переходах *не доходя* Бунцлау; корпус Винценгерода на пути к Герлицу, а Ланской вступил в Бауцен.

По прибытии в Бернсдорф я, вследствие данного мне повеления Ланским, отрядил ротмистра Чеченского с командуемым им 1-м Бугским казачьим полком как для обозрения путей и окрестностей Дрездена, так и для сведения о самом городе.

Теперь обратимся к Дрездену и взглянем, что там происходило до прибытия моего в Бернсдорф и примкнутия к Чеченскому. Я для сего прибегну к сочинению саксонского генерала Оделебена, очевидца-повествователя [153].

Двенадцатого февраля король выехал из столицы в Плауэн, что в Войтгланде, передав управление королевством комитету государственных чиновников, именованному Непосредственною комиссиею. Половина гвардейского полка следовала за королем; другая половина перешла в Кенигштейн, куда предварительно перевезены были государственная казна и картины знаменитой Дрезденской галереи. Гусары, часть гвардии кира-

сирского полка и полка Застрова, находившиеся под командою генерала Либенау, размещены были по кантонир-квартирам в окрестностях Старого Города и в Новом Городе.

Двадцать третьего февраля генерал Ренье, приостановившийся на время в Бауцене, вступил в Дрезден с 7-м корпусом и разместил его частию по селениям, лежащим на левом берегу Эльбы, частию в Новом Городе вместо авангарда. Корпус этот простирался не далее пяти тысяч человек, принимая в счет и тысячу четыреста баварцев команды генерала Рехберга, отправленных в Мейссен немедленно по вступлении этих войск в Дрезден. Саксонская кавалерийская дивизия Либенау примкнула к Ренье, коему предписано было защищать переправу Эльбы под Дрезденом и Мейссеном. Вследствие сего он перевез на левый берег все суда, которые могли служить для переправы войск наших, приступил к начинке порохом двух сводов великолепного моста, соединяющего обе половины Дрездена, к перемещению гошпиталей и военных запасов в Старый Город из Нового и к сооружению вокруг последнего нескольких бастионов с куртинами, обнесенных палисадом.

В городе произошло смятение; народ долго не допускал войско к минированию моста; но Ренье восторжествовал, и два свода оного готовы уже были ко взрыву.

Между тем 28 февраля маршал Даву вступил в Мейссен с двенадцатитысячным корпусом, предал огню красивый деревянный мост, принадлежащий городу, и 1 марта прибыл в Дрезден. С прибытием его закипела деятельность к защите переправы; но строгость и притеснение всем сословиям дошли до невероятия. Ренье сдал команду 7-м корпусом генералу Дюрюту и выехал из города.

Седьмого и ночь на восьмое марта употреблены были на вывоз орудий с нововоздвигнутого укрепления, парка, фургонов и всякого рода тяжестей из Нового в Старый Дрезден.

Восьмого, в девятом часу утра, не принимая в уважение письменных просьб короля и презирая моления обывателей, Даву приказал зажечь мину, устроенную в мосте,— и два свода оного с треском и громом взлетели на воздух. Даву только этого и дожидался. Почти в одно время со взрывом он выступил в Мейссен, оставив в городе Дюрюта с 7-м корпусом, простиравшимся до трех тысяч французов, усиленных несколькими баталионами и эскадронами саксонцев под начальством генерала Лекока.

Дюрют приступил к исполнению своих обязанностей. Он поставил одну батарею на мосту, у самого провала, причиненного

взрывом, для обстреливания всего протяжения моста и главной улицы Нового Города; другую — у Брюлева за́мка на Валлергартене, и третью — у Фридрихштадта, где более чем где-нибудь опасался он покушения на левый берег по причине изгиба реки, способствующего переправе.

Укрепление Нового Города занял он двумя ротами пехоты, впереди коих, за палисадами, поместил саксонских стрелков и назначил майора саксонских войск Ешки комендантом этой половины города. В таком положении находился Дрезден при подскоке к нему Чеченского с 1-м Бугским полком, заключавшим в себе не более ста пятидесяти казаков.

Восьмого поутру, на походе из Берндсдорфа к Кенигсбрюку, я услышал сильный гул в направлении к Дрездену и узнал от обывателей селений, на пути моем лежащих, что гул этот произойти должен от взрыва дрезденского моста, в котором, говорили они, давно уже роются французские пионеры, и что для приведения в исполнение оного ожидали только прибытия Даву.

Этот проклятый гул был виновником всех неприятностей, претерпенных мною впоследствии. Он оживил честолюбие мое, заморенное стеснительною аккуратностью Винценгерода.

Я смекнул, что половина города, находившаяся на правом берегу Эльбы, или вовсе оставлена уже неприятелем или заключает в себе гарнизон под силу моей партии, и что, следственно, можно с надеждою на успех постучаться в ворота. Если, думал я, удастся мне вступить хоть в один Новый Город, то уже все сделано: кусок будет почат, и слава овладения всею столицею будет принадлежать мне, а не другому; этот другой был в мыслях моих или Орлов, или Прендель, или какой-либо отрядный начальник прусского корпуса, но ни сам Блюхер, ни Винценгероде, по отдалению их от Дрездена не входившие мне в голову. Закипела кровь молодецкая, но вместе с тем чинопослушание ухватило меня за ворот. Будучи под командою Ланского, с которым я, сверх того, был и приятелем, я и страшился и совестился отважиться на это предприятие совершенно уже без его ведома. Курьер поскакал к нему в Бауцен с запискою; я писал к нему слово в слово:

«Я не так далеко от Дрездена. Позвольте попытаться. Может быть, успех увенчает попытку. Я у вас под командой: моя слава — ваша слава».

По случаю тихой езды саксонских почтальонов я не прежде как по прошествии семи часов получил ответ от Ланского.

Он писал мне: «Я давно уже просил позволения послать вас попартизанить, но отказ был ответом на мою просьбу, полагая, что вы нужны будете здесь в 24 часа, а я, полагая эти меры слишком робкими, разрешаю вам попытку на Дрезден. Ступайте с богом. *Ланской*».

Получа разрешение, я в тот же миг послал приглашение к Орлову на пир, мною затеваемый, а в случае невозможности, просил у него подкрепления, держась французской пословицы: «Dieu est pour les gros bataillons» *. Вместе с посылкой к Орлову, то есть в четыре часа пополудни, я выступил из Кенигсбрюка. Едва начала партия моя вытягиваться на дорогу, как является ко мне казак с рапортом от Чеченского.

Рапорт

До самых стен города я ничего не мог узнать от жителей, кроме того, что нет никого в городе, почему я поскакал с пятьюдесятью казаками ближе; но только что подъехал к воротам, как был встречен сильным перекрестным огнем из-за палисадов. Слава богу, кроме трех лошадей, урону нет, и все благополучно. Я перед городом, расставя пикеты, ожидаю вашего приказания. *Ромистр Чеченский. 8 марта.*

Ответ мой Чеченскому

Держись, я спешу к тебе со всею партиею. *Денис Давыдов. 8 марта, в пятом часу пополудни.*

На половине пути моего новый посланный с новым рапортом является ко мне от Чеченского. Он писал:

Рапорт

Целый день неприятель сбивал занятые мною пикеты около города. Я, исполняя вашего высокоблагородия приказания, ни шагу не отступил, хотя ясно видел, что в упрямстве моем прока не будет. Вдруг выезжает бургомистр с просьбою о пощаде города. Я не показал никакого наружного удивления,

* Бог — на стороне больших баталионов.

но в уме моем не мог разгадать, что это значит. Однако я объявил ему, что если эту же ночь обыватели выгонят на ту сторону реки французов, занимающих Новый Город, то город не пострадает; в противном же случае не будет никому и ничему пощады. Бургомистр выпросил сроку два часа и возвратился в город. Я с полком остаюсь до возвращения его на дневных местах и по получении отзыва немедленно об оном донесу вам. Сего числа во время перестрелки хорунжий Ромоданов смертельно ранен; рядовых казаков ранено четыре; лошадей убито девять. *Ротмистр Чеченский. 8 марта.*

В ответ на этот рапорт я прибавил шагу.

Уже партия моя была в трех или четырех верстах от Чеченского, то есть на высотах, покрытых сосновым лесом, с которых дорога спускается к Дрездену, как новый посланный от него является ко мне с запиской:

«Батюшка Денис Васильевич! Из города явился бургомистр, который сказал мне, что комендант города желает говорить с офицером нашим; почему Левенштерн [154] ездил в город, но комендант сказал ему, что ежели бы у нас была хоть самая безделица пехоты, то в ту же минуту он оставил бы город; но что одним казакам он сдать города не может. *Александр Чеченский».*

Что было делать? Обстоятельства представлялись не в том уже виде, как прежде. Надо было прибегнуть к хитрости, хотя искони употребляемой, но всегда удающейся: я оставил сотню казаков на месте получения мною записки Чеченского с приказанием ничем другим не заниматься, как раскладкою бивачных огней по горе в четырех местах, и чтобы в каждом месте было костров до двадцати, а чем более, тем лучше. Чтобы всю ночь они не потухали, а, напротив, чтобы горели как можно ярче и виднее для города. Начальником команды этой я назначил из расторопнейших казачьих офицеров, оставя на его ответственности исполнение моего приказания и позволяя ему в подмогу себе набрать несколько поселян из ближних селений; сам поспешил с остальными четырьмя сотнями и с пятьюдесятью моими Ахтырскими гусарами к Чеченскому, с коим немедленно соединился.

Первым попечением моим было воспользоваться местностью и расположить войска мои так, чтобы показать неприятелю бо́льшее число, чем их было действительно. Я занял биваками все те улицы форштадта, коих отверстия обращены к городу,



А. Н. Сеславин. Гравюра И. Ческого по рисунку Витберга

выставил из них головы колонн и скрыл хвосты оных за строениями. В таком положении я ожидал полного рассвета, любуясь между тем бивачными огнями, разложенными казаками моими на высотах и горевшими как будто огни трехтысячного отряда.

В эту минуту убийственное письмо от Ланского пало на меня, как бомба! Он писал:

«Любезный мой полковник!

Невзирая на позволение, мною вам данное, я принужденным нахожусь изменить ваше направление вследствие повеления, сейчас полученного мною от корпусного командира. Итак, любезный друг, вместо Дрездена прошу вас обратиться уже из Кенигсбрюка в Радебург; но пошлите разъезды по всем путям, ведущим к Дрездену, и откройте все его окрестности. Расположите войска ваши вправо от Радебурга к Мейссену, которого окрестности также откройте как можно тщательнее. Прикажите забрать все суда, находящиеся на этом береге Эльбы, и пошлите разъезды по направлению к Торгау для сего же предмета. Поставьте пост в Пильзнице, который оставьте там до прибытия туда Мадатова. Мадатов поместится между вами и почтовым трактом, идущим из Бишофсверды к Дрездену, дабы закрыть движение нашего корпуса, который решительно сходит с Калишского пути и которого корпусная квартира переносится в Гоэрсверде *для очистки места пруссакам.* В Торгау находятся казаки Бенкендорфа; прикажите разъездам вашим до них доходить. Независимо от всего этого прикажите местным начальствам заготовлять как можно более провианта и фуража для корпуса, который, без сомнения, простоит некоторое время на этой стороне Эльбы по случаю затруднения в переправе. *Ланской.*

Я иду на Каменц».

Признаюсь, чтение этих строк жестоко поразило меня; но скоро я очнулся и решился продолжать раз уже затеянное предприятие, опираясь на следующее рассуждение.

Чего хочет Ланской, думал я, посылая меня в Радебург и к Мейссену? Первое: сбора судов и сбора продовольствия для корпуса; второе: заслонения моею партиею и отрядом Мадатова перемещения корпуса нашего с Калишской дороги к Гоэрсверде. Но заготовление продовольствия гораздо удобнее сделать посредством городских властей, имевших непосредственное влияние на земскую полицию, и потому я вернее выполню предписание Ланского по взятии города, чем в Радебурге и

Мейссене. Сбор судов? Но их нет, я это знаю,— но их и не может быть, в этом и рассудок мой и опытность моя мне порукою гораздо прежде еще, чем я узнал, что нет ни одной лодки к услуге нашей: ибо какой начальник войска, уходившего за обширную реку с намерением заградиться ею от нападения победителя, оставит суда на берегу, ему принадлежащем? Следственно, нечего мне и хлопотать о приобретении предметов, для нас не существующих и находящихся в руках неприятеля. Наконец заслонение перемещения корпуса Винценгерода? Но не удобнее ли я выполню виды Ланского и Винценгерода, поместя партию мою на точке соединения радиусов, по которым ходят неприятельские разъезды для разведывания о движениях войск наших, чем раздробя партию мою по радиусам, между коими всегда найдутся тропинки если не для разъездов, то для лазутчиков. Сверх всего этого, не видно ли по самому смыслу повеления Ланского, что оно писано им в продолжение пребывания моего в Кенигсбрюке, а не под Дрезденом? Что ж касается собственно до меня, то мой жребий брошен: я стою у палисадов Дрездена. Не было удачи первой попытки, потому что переговоры происходили с Чеченским, командующим только ста пятьюдесятью казаками, но теперь я тут с пятисотенною партиею, о чем, вероятно, неприятель уже знает или скоро узнает; к тому же вот огни, которые и меня обманули бы, если б я не знал, кем они разложены и поддерживаемы; в течение дня подойдет, может быть, Орлов или, по крайней мере, пришлет подмогу; Прендель тоже недалеко; все это украсит декорацию и, бог даст, все пойдет на лад; к тому же какой самый исполнительный фельдфебель решится в положении моем на буквальное исполнение предписания Ланского и на посрамительное для чести своей отступление в глазах и из-под выстрелов неприятеля! Приди это повеление прежде начатия переговоров — дело другое. Наскок Чеченского мог бы почесться обыкновенным казачьим обозрением, и все тут. Но уже требование покорения города сделано; угрозы, в случае медленности сдачи его, объявлены; умножение войска моего у ворот города уже ясно видимо неприятелем; и бивачные огни, горевшие на высотах, доказывают ему, что он дело уже имеет не со ста пятьюдесятью казаками. Так я рассуждал сам с собою. Рассуждение неоспоримое, но — увы! — близорукое, без проницательности. Как мне было не понять, что дело шло не о сборе судов, не о запасах пропитания войскам, не о заслонении корпуса при перемещении его к Гоэрсверде, а об отстранении меня и Ланского от пути и

пространства, по коим Винценгероде намерился прийти к Дрездену? Вот чего от меня последний требовал рикошетом чрез Ланского, который, подобно мне, не понял смысла этого требования и, добродушно передав оное моему добродушию, перешел из Бауцена в Каменц, тогда как я, убежденный в пользе довершения начатого, остался на месте, нимало не предвидя от того опасных для себя последствий.

Едва ободняло, я послал снова Левенштерна парламентером с требованием сдачи города, с известием о прибытии моем с конницею и пехотою, которой огни видны на ближних горах, и о незамедлительном начатии приступа в случае отказа. Ответом мне было желание генерала Дюрюта говорить с уполномоченным мною штаб-офицером. Я послал к нему Волынского уланского полка подполковника Храповицкого и, чтобы придать ему более важности, сочетал множество орденов, им носимых, с некоторыми моими орденами. Дюрют квартировал в Старом Городе. При переправе на лодке чрез Эльбу Храповицкому, как водится, завязали глаза платком (печатное изображение этого путешествия Храповицкого продавалось в Дрездене каким-то дрезденским спекулятором), повели его под руки на квартиру французского генерала, и переговоры начались. К ним допущены были саксонский генерал Лекок и члены Непосредственной комиссии. Уполномоченный со стороны Дюрюта был первый адъютант его, капитан Франк.

Между тем то, чего я ожидал, случилось. Орлов, занятый приготовлениями переправы чрез Эльбу, не мог прийти ко мне со всем своим отрядом, но прислал сотню донского казачьего полка Мелентьева, и отряд Пренделя показался на Бауценской дороге.

Однако, невзирая на прибывшие войска, переговоры, неразлучные с прениями, иногда довольно воинственными и жестокими с обеих сторон, продолжались целый день, и только в девять часов вечера уполномоченные подписали, Дюрют и я — ратификовали условия.

Одно из затруднений возникло от намерения моего вымарать некоторые статьи, считаемые мною вовсе ненужными, как например: 1) ту, которая касалась до продовольствия и размещения по квартирам войска моего, к чему, по условию, я обязывался допустить гражданских чиновников, избранных от города, вместе с чиновником, на этот предмет от меня назначенным, 2) ту, которая требовала безобидного обхождения с жителями, и 3) упоминающую о покровительстве и сбережении

имуществ королевских и частных и о занятии охранными караулами кадетского корпуса, королевской библиотеки и Японского дворца — все пошлые обязанности, исполняемые, без условий и самим собою, всяким начальником, занимающим всякий город мало-мальски значащий!

С своей стороны, Дюрют, соглашаясь на сдачу Нового Города, не соглашался на требование мое, чтобы прежде выхода из него в Старый Город тех войск, которые защищали укрепление, они *отдали бы честь русским, стоя, во всем параде, во фронте и сделав на караул при барабанном бое.* Затруднения эти не без борьбы и только что к вечеру исчезли. Я оставил в капитуляции статьи, считаемые мною излишними, подписав только под ними: «articles inutiles» («статьи ненужные»), а Дюрют согласился на повеление войскам своим отдать честь моим войскам с тем только, чтобы этой статьи не было помещено в капитуляции. Я был доволен, ибо желал этого не для газет, а для жителей Дрездена; мне хотелось, чтобы они были очевидцами унижения французов перед русскими.

Но была статья, которая подняла на меня всю *пернатую и плотоядную* тварь, кроющуюся, подобно гиенам, на кладбищах происшествий. Меня упрекали в согласии на статью, требующую *прекращения военных действий в самом Новом Городе и на расстоянии одной мили выше и ниже оного.*

Поистине это согласие с моей стороны было бы предосудительно и даже непростительно, если бы тут же не было сказано: *каждый из договаривающихся обязуется объявить противнику своему о начатии военных действий на сем пространстве за сорок восемь часов прежде их начатия,* и потому вот какой был расчет мой относительно самого себя при одобрении означенной статьи. Без перевозных судов, находившихся на противном берегу в руках неприятеля, а также и по слабости и по составу моей партии я сам собою ничего не мог предпринять против Дюрюта, занимавшего пехотою и артиллериею Старый Дрезден. Тогда как он, напротив, командуя этой пехотой и артиллериею и обладая, сверх того, всеми судами, принадлежащими городу и окрестностям, мог всегда напасть на меня в Новом Городе и заставить меня раскаяться за дерзость мою торчать у него под глазами с одной казачьей командою. Следственно, что касается лично до меня и до моей партии,— эта статья, охраняя нас от нападения Дюрюта, была нам не только полезна, но спасительна, и я по сие время не могу понять безумия Дюрюта, видевшего, напротив, в статье этой эгиду от переправы войск наших за Эльбу. Как будто непременно нужно переправляться

в самом Дрездене и не можно того же сделать в восьми, пятнадцати, двадцати и далее верстах выше или ниже этого города!

Хорошо,— но имел ли я право заключить конвенцию эту потому только, что она полезна для моей партии? Один ли я вел войну с Наполеоном? Я был гомеопатическая частица в общей громаде сил; как смел я обязать всю эту громаду в соблюдении договора, для меня одного полезного, но вредного, может быть, предначертаниям высшего начальства и общим выгодам?

Вот расчет мой относительно и высшего начальства и общих выгод. Корпуса Блюхера и Винценгерода были ближайшими из всей этой громады сил к Дрездену; но я официально и твердо знал, что в это время первый находился в Бунцлау, на границе Силезии и Саксонии, вне боевых происшествий, а последний — в Гёрлице. Будь Винценгероде в близком расстоянии от меня, я не должен был бы, я не смел одобрить, я не одобрил бы никак этой статьи, или бы вместо сорокавосьмичасного срока я назначил срок, сообразный с тем временем, которое необходимо было ему для перехода от места, им занимаемого, до Дрездена. Но, с одной стороны, я видел Винценгероде в Гёрлице, в девяноста верстах, то есть в трех переходах, или, что одно и то же, в семидесяти двух часах расстояния от Дрездена. С другой — мне в глаза бросилось господствование означенной статьи над всеми статьями, единственно для скрытия ее важности помещенными в условии. Я видел, что с отвержением ее я лишу себя довершения начатого и что Дюрют не сдаст мне города. Что же было делать? Надлежало принять статью эту, но надлежало вместе с сим освободить Винценгерода от уз, мною принятых. Мало: эту свободу в действии Винценгерода надо было уладить так, чтобы срок прибытия его к Дрездену соглашался час в час со сроком окончания перемирия, ибо малейшее опоздание его в соединении со мной могло подвергнуть меня неминуемому поражению. Итак, соображаясь с трехсуточным переходом Винценгерода от Гёрлица до Дрездена, я считал, что при выступлении его даже 11-го поутру из Гёрлица он непременно прибудет к Дрездену 13-го к вечеру. В этом предположении я, немедленно по занятии мною Нового Города, рапортовал генералу Ланскому о прекращении перемирия 13-го вечером, прося его известить о том генерала Винценгерода. Одиннадцатого же вечером я послал письменное объявление Дюрюту о начатии мною военных действий в городе и в окрестностях города чрез сорок восемь

часов, как о том условлено было в капитуляции. Таким образом, я совершенно развязал руки генералу Винценгероду, где и как ему заблагорассудится, и вместе с сим оградил себя от нападения Дюрюта до прибытия Винценгерода. К удивлению, самая передовая пехота последнего подошла к Дрездену не прежде 14-го вечером, что поставило партию мою на целые сутки у края бездны; хитрость понятная, но расчет неверный! Уже 14-го числа *меня не было* в Новом Городе, и срам изгнания из него партии моей не ко мне бы уже отнесся. Где же с моей стороны опрометчивость и неосмотрительность при согласии на осуждаемую статью? Чем оковала она действия Винценгерода в городе и в окрестностях города и, следственно, на чем основывается упрек, мне делаемый в принятии статьи, до главных операций армии не касавшейся, для начальника моего безвредной и, по даровании мне Дрездена, охранившей партию мою от гибели?

По ратификации условий, я немедленно послал копию с оных при рапорте моем генералу Ланскому:

Рапорт

Вчерашнего числа я предпринял усиленное обозрение Дрездена. Ротмистр Чеченский, командующий 1-м Бугским казачьим полком, отличился; это его привычка. Убито: обер-офицеров один, ранено казаков четыре; убито и ранено лошадей девять. Испуганный неприятель вступил в переговоры, вследствие коих я занимаю завтрашнего числа половину города Дрездена, и копию с условий, мною ратификованных, имею честь представить вашему превосходительству. *Полковник Давыдов. 1813 года марта 9-го дня, у палисад Дрездена.*

Однако, когда переезды из города в город, прения, требования и отказы, и согласие, и прибавление и убавление статей прекратились ратификациею условий, когда вокруг меня все улеглось и затихло,— тогда пришло время и раздумью.

Черные мысли заклубились в голове моей, и самый подвиг мой представился мне не с одной, а уже с двух точек зрения. С лучшей — я видел честь русского оружия во вторжении слабой партии казаков в столицу, защищенную вдесятеро ее сильнейшим числом пехоты и артиллерии, и имя мое — в описании военных действий, столь жадно тогда читаемых во всей Европе; с худшей — Винценгерода, стремящегося к занятию столицы

Саксонии *лично и своею особой,* а не посредством отряда своего корпуса; Винценгерода, заранее уже сочиняющего пышную реляцию о поражении им неприятеля, о торжественном вступлении своем в город, упоенного надеждами на великие и богатые монаршие милости,— и вдруг обманутого в своих упованиях, ошеломленного незапною моей удачей! Если, думал я, если точно Винценгероде метит сам на Дрезден, то какова должна быть злоба его на меня и какого рода должно быть посредничество такого посредника между мной, пылинкою, и государем! Впрочем, «что будет, то будет; а то будет, что бог даст»,— говаривал гетман Хмельницкий,— сказал я сам себе вполголоса, и с сими словами, повалясь на солому, разложенную перед костром моим, уснул сном невинности.

До рассвета я велел партии готовиться к парадному вступлению в город, то есть чиститься и хо́литься; надо было блеснуть чем бог послал. Сами мы нарядились в самые новые одежды. Я тогда носил курчавую, черную, как крыло ворона, и окладистую бороду; одежда моя состояла в черном чекмене, красных шароварах и в красной шапке с черным околышем; я имел на бедре черкесскую шашку, и ордена на шее: Владимира, Анну, алмазами украшенную, и прусский «За достоинство», в петлице — Георгия. Храповицкий и Чеченский были в подобной же одежде; но Левенштерн в пехотном мундире, так же, как и Бекетов с Макаровым в ментиках их полка и Алябьев в мундире казачьего графа Мамонова полка.

Порядок вступления войск в город я назначил следующий:

Я — впереди, окруженный Храповицким, Левенштерном, Бекетовым, Макаровым и Алябьевым. Ахтырские гусары позади нас, вроде моего конвоя. За нами 1-й Бугский казачий полк, предшествуемый песенниками. Потом донской Попова 13-го полк, а за ним сотня донского Мелентьева полка.

В десять часов утра явились ко мне гражданские чиновники — депутаты города.

Они ехали к казачьему начальнику, грубому, необразованному, и выпучили глаза, услыша меня, бородача, отвечавшего на приветствия их благодарностию, облеченною во французские фразы, впрочем, довольно пошлые.

После этого я долго говорил им о высокой судьбе, ожидающей Германию, если она не изменит призыву чести и достоинству своего имени; о благодарности, коей она обязана императору Александру; о средствах, кои у ней под рукою для изъявления этой благодарности; что я, казак, наездник, солдат,

не понимаю ничего в политике, но думаю, но уверен, что если саксонцы покажут пример восстания за дело столь справедливое, столь священное, они тем много угодят великодушному монарху российскому, вступившему в Германию для Германии, а не для себя, ибо его дело уже сделано. Словом, бог знает что я тут нагородил без малейшего затруднения. Все сказанное мною невольно черпалось из прокламаций, осыпавших тогда Германию. Ежедневное чтение их снабжало готовыми фразами людей бестолковейших. С моей стороны, я им много был обязан. Целые груды их лежали в памяти моей, как запас сосисок для угощения немцев. Я ими пользовался, но зато так в них сам въелся, что едва не заговорил с казаками и даже с денщиком моим отрывками из прокламаций.

Этого числа с самого утра Дюрют позволил переезд жителям из Старого в Новый Город и пребывание в нем до полудни, то есть до выступления гарнизона[155], что произвело в этой половине Дрездена чрезвычайное стечение народа. Многие даже, предвидя незамедлительное освобождение Старого Города от французов, не возвратились, а остались в Новом до ухода Дюрюта к Лейпцигу.

В полдень вся моя партия села на коней и по предписанному мною порядку вступила в ворота укрепления. Тут стоял гарнизон. *Он отдал честь, сделав на караул при барабанном бое*. У караула стоял тот самый капитан Франк, первый адъютант Дюрюта, который был уполномочен им при договоре. Я благодарил гарнизон легким приподнятием шапки, подозвал к себе капитана Франка и пригласил его на завтрак. Тогда мы двинулись вперед, и песенники, ехавшие впереди Бугского полка, залились:

Растоскуйся, моя сударушка!

Погода была прелестная. Число любопытных невероятно. На всей большой улице не оставалось пустого места. Во всех окошках двух- и трехэтажных домов торчали головы; крыши усеяны были народом. Иные махали платками, другие бросали шляпы на воздух, и все кричало, все ревело, все вопило: «Ура, Александр! Ура, Россия!» И в этом многогласном хоре, прославлявшем два столь огромные имени, недостойное имя мое извивалось, как извивается голос флейточки между громовыми звуками труб и литавр.

Мне отвели квартиру у банкира Прейлинга, на большой улице. Там дожидались меня все почетные чиновники города;

но я проехал мимо, прямо к берегу — для размещения пикетов вдоль Эльбы. Партия моя, между тем, располагалась биваками по большой улице, дабы быть всегда под рукою.

Окончa обязанности службы, я слез с коня и вошел на квартиру, где принял городских чиновников. Между ними я помню директора кадетского корпуса, толстоватого, рыжего генерала в красном военном мундире с желтыми отворотами, и начальника Японского дворца, кажется г-на Липиуса, старичка пудреного; прочих я забыл наружность, а имена и подавно. Я употребил в разговоре с ними тот же чужой ум, как и с депутатами, с некоторыми, однако ж, изменениями. Все они остались довольны, и я не менее их, когда, взаимно раскланявшись, мы расстались.

Немедленно поскакал от меня курьер к Ланскому с рапортом моим.

Рапорт

В полдень я вступил с войсками в Новый Дрезден. Завтра, 11 марта, вечером, я уничтожаю перемирие, заключенное мною с Дюрютом; следственно, 13-го вечером можно будет свободно действовать как внутри города, так и в окрестностях оного. Покорнейше прошу вашего превосходительства довести до сведения корпусного командира обстоятельство это. Замедление в прибытии пехоты и артиллерии в Новый Город легко может лишить нас приобретенного. *Полковник Давыдов. 1813 года, 10 марта, Н<овый> Г<ород> Дрезден.*

В этот самый день саксонский генерал Лекок с саксонскою пехотою, а Либенау с саксонскою кавалериею выступили из Старого Дрездена,— первый в Торгау, а последний к королю в Плауен, что в Войетланде. Их заменили баварцы Рехберха, пришедшие из Мейссена [156].

На другой день, осмотря пикеты, я с конвоем Ахтырских гусар ездил в кадетский корпус и в Японский дворец. Я помню, что, осматривая чертежи кадетов, я, в качестве казака, немало удивил памятью моею директора корпуса, показав ему на плане плауенской долины и ее окрестностей все подробности позиции Дауна во время Семилетней войны в 1758 году; напомнил ему, что австрийская конница расположена была на равнине между Дрезденом и Плауеном; что сам Даун с пехотою занимал высоты от Плауена до Виндберга, Сенсер стоял

на высотах Геншена для защиты тыла армии и посендорфской дефилеи, а Брентано — прежде в Стрелене, а потом в Никерне, и, наконец, смерив циркулем ширину долины между Плауеном и Подчапелем, просил позволения у генерала заметить ему, что на плане она шире, чем в натуре, ибо известно, что в этом месте ширина ее не простирается далее четырехсот шагов. Рыжий мой генерал выпучил глаза не хуже депутатов, коим я накануне заговорил на французском языке, и вместо рассуждения со мною о позиции Дауна и о Семилетней войне поднял руки кверху и с громогласным восклицанием спросил меня, неужели я *казацкой нации?* Я весьма серьезно уверил его в этом, и мы расстались.

Не то было в Японском дворце. Увы! — в этой сокровищнице искусств и художеств я сам наскочил на плауенскую, неприступную для меня позицию! Тут не было воспоминаний ни о Семилетней войне, ни о сражениях, ни о наездах: тут были статуи, треножники и прочие древности, вовсе чуждые невежественной моей современности. Я ходил по залам, дивился всему и не судил и не рядил, как в кадетском корпусе; тут я был истинным башкирцем.

В этот день приезжали ко мне, не более как на один час времени, князь Мадатов и Орлов. Оба они, как приятели, поздравляли меня с удачею моею, не предвидя того, что немало удивило меня в письме Ланского, полученном мною немедленно после их отъезда. Ланской писал:

«Очень поздравляю вас, любезный полковник, с занятием Нового Города Дрездена. Я отослал к генералу Винценгероде рапорт ваш, ко мне вместе с копиею капитуляции, заключенной вами с французским генералом Дюрютом, присланный. Вы напрасно, однако же, заключили перемирие без позволения ваших начальников, тем более что ни я, ни даже генерал Винценгероде не имели на это права. Я верю, что занятие Дрездена причинит большое удовольствие высшим властям и что в пылу радости они забудут о статье, касающейся до перемирия; но что вы забыли, не менее важно: это — лодки, плоты и паромы, о сборе коих я просил вас. Они не собраны, а если собраны, то я о том не знаю. Не лишнее, однако ж, было бы захватить те суда, на коих неприятель переправлялся, ибо из того все выгоды перемирия на его стороне, а не на нашей. *Ланской.*

Сейчас получил рапорт ваш о вступлении вашем в город, и этот рапорт посылаю также к корпусному командиру».

Я отвечал ему:

«Милостивый государь, Сергей Николаевич!

Позвольте вас спросить: где и кем было запрещено заключение условий и перемирий с неприятелем, когда они, идучи вне сферы общих предначертаний и потому не причиняя им ни малейшего вреда, не только полезны, но необходимы и спасительны для того, который их заключает? Впрочем, если такого рода запрещение точно существует, то я о том неизвестен по случаю отстранения всех нас, партизанов, во все время Отечественной войны от всякого рода приказов, постановлений и прочих распоряжений начальства по армии. Что же собственно до меня касается, то на сей случай дошла до меня одна только бумага: благоволение светлейшего князя Кутузова-Смоленского, заключавшее в себе извещение о высочайшем пожаловании меня кавалером ордена св. Владимира 3-й степени за взятие мною Гродны *по условию и с перемирием.*

Условия, заключенные мною с Дюрютом, полезны тем, что посредством их я овладел Дрезденом; перемирие мне спасительно было и продолжает быть спасительным, потому что по милости оного я безопасно стою с одними казаками пред пехотою и артиллериею Дюрюта, который без этого перемирия, бог знает для чего им заключенного, мог бы меня прогнать по шее из Нового Города, когда бы ему захотелось. Не скажут ли, что этим перемирием связал я руки корпусному командиру нашему? Но где его превосходительство? В трех переходах отсюда. Следственно, полагая выступление его сегодня утром из Гёрлица, он прежде послезавтрашнего числа быть сюда не может. К этому времени и перемирие кончается, ибо я имел уже честь донести вам, что, в силу заключенного мною условия, я посылаю сегодня вечером письменное объяснение Дюрюту об открытии с моей стороны военных действий чрез сорок восемь часов, то есть час в час с ожидаемым мною прибытием корпуса нашего. Так, в одно время, не стесняя действия генерала Винценгерода, я спасаю до прибытия его партию мою от неотразимой опасности. Что же касается до конницы, то она не принесет здесь никакой пользы. Придите вы сюда со всем вашим отрядом, приди сюда вся конница нашего корпуса,— мы без пехоты и артиллерии, действуя из Нового Города на Старый, ничего не сделаем.

Теперь слово насчет повеления вашего относительно собрания судов для переправы. Неприятель переправился чрез

Эльбу не посредством судов; он перешел чрез нее по существовавшим тогда мостам дрезденскому и мейссенскому, из коих первый взорван им на воздух, а последний — сожжен; но с переходом на левый берег реки он на левый же берег перевез и до последней лодки, плававшей между богемскою границею и Торгау. Этого дóлжно было ожидать. Какой безумец, оградясь рекой от неприятельского покушения и истребя мосты, на ней существовавшие, не довершит принятых им оборонительных мер перевозом на свою сторону судов, могущих служить для переправы противнику? Орлов также не нашел их на Эльбе; он воспользовался находившимися на Эльстервердовском канале, который от меня бог знает где и о коем мне ничего не было предписано.

Вашего превосходительства покорнейший слуга *Денис Давыдов.*

1813 года марта 11-го дня. Н<овый> Г<ород> Дрезден».

Уже с утра этого дня я предписал городскому правлению о принятии мер к заготовлению в городе и в окрестностях оного провианта и фуража на сорокатысячную армию, по крайней мере на месяц времени, и вместе с тем о свозе к берегу Эльбы материалов для постройки плотов и паромов, более, в мыслях моих, для пугания Дюрюта переправой, чем для переправы. Я полагал эту хитрость не лишнею в случае перехода Эльбы Орловым, который обещал мне с первого шага обратиться в тыл Старому Дрездену.

Двенадцатого бóльшая часть тяжестей и довольное число французских войск потянулись из города к Лейпцигу, и баварские войска Рехберха выступили в Мейссен[157]. В течение этого дня партия подполковника Пренделя вступила в Новый Город. Вечером пикетные мои дали мне знать о стуке пушечных колес и о шуме проходящих войск за рекою. Полагая, что это происходит от решительного выхода неприятеля из Старого Города, я бросился к мосту и, чтобы самому в этом увериться, пробрался тихонько к обвалу взорванных сводов, к самой неприятельской батарее, стоявшей по ту сторону обвала. Долго я прислушивался; но, кроме разговора французских канониров, на батарее находившихся, ничего не мог услышать. Я узнал после, что шум этот точно происходил от начатого уже отступления некоторой части войск Дюрюта, испугавшегося перехода на левый берег передовых войск Орлова и опасавшегося единовременного нападения на него с моей стороны. Он принял начатое мною приготовление к постройке паромов и

плотов за истинное намерение мое переправляться в Старый Дрезден при первом известии о переправе Орлова, старания и хлопоты коего насчет переправы ему уже были известны.

Казалось, что судьба, улыбаясь, призывала меня к овладению последнею половиною столицы Саксонии... как вдруг, 13-го, на рассвете, нагрянул на меня Винценгероде. Он не ходил в Гоэрсверде, а прискакал на почтовых в Дрезден из Бауцена. Я избавляю читателя от подробностей свидания нашего, тем более что оно состояло в одном монологе, как бывает и как должно быть между начальником и подчиненным [158]. Осуждение заключалось в трех пунктах:

1. Как я осмелился без позволения подойти к Дрездену, невзирая на получение уже мною иного направления и назначения?

2. Как я осмелился входить в переговоры с неприятелем, так строго запрещенные еще в пределах России?

3. Как я осмелился заключать перемирие с неприятелем, на что, говорил он, ни он, ни сам Блюхер права не имеют?

Последний поступок называл он государственным преступлением, достойным примерного наказания.

На первый вопрос я объявил ему, что я подошел к Дрездену не своевольно, а вследствие повеления генерала Ланского; но, опасаясь, чтобы осудитель мой не потребовал от меня бумаги Ланского, в которой вместе с позволением идти на Дрезден находилось изречение, насчет его довольно обидное, я поспешил прибавить: «Генерал Ланской сейчас приехал; я его видел. Ваше превосходительство может удостовериться в том у него изустно». Насчет запрета переговоров с неприятелем, а еще более перемирия с ним, я представил ему возражение, находящееся в письме моем к Ланскому.

Но все это ни к чему не послужило. «Как бы то ни было,— сказал он,— а ваша вина в том, что вы действовали наперекор запрещению вступать в переговоры и заключать перемирия с неприятелем. Нет отговорок в незнании приказов, издаваемых по армии, и потому я не могу избавить вас от военного суда. Сдайте вашу команду подполковнику Пренделю и извольте отправиться в императорскую и главную квартиры. Может быть, там будут с вами снисходительнее; я не люблю, я никогда не употребляю снисходительности в военном деле. Прощайте». Тем увенчан был подвиг, смело скажу, не без отваги предпринятый, не без ловкости исполненный. Я сдал партию свою господину Пренделю.

Кто когда-нибудь отрываем был от подчиненных своих, с которыми так долго разделял он и голод, и холод, и радость, и горе, и труды, и опасности,— тот поймет волнения души моей при передаче моей партии во власть другого. От Бородинского сражения до вступления в Дрезден я сочетал свою судьбу с ее судьбою, мою жизнь с ее жизнию. Я расставался уже не с подчиненными: я оставлял сына в каждом гусаре, в каждом казаке, друга — в каждом чиновнике. Между последними были люди — Храповицкий и Бекетов, с коими я заключил союз, можно сказать, кровного братства, родившегося от непрерывного товарищества, сочувствия и сообязательств взаимных пожертвований жизни, и поныне сохраняемого воспоминаниями... воспоминаниями святых и чудесных событий, с коими слилось наше братское чувство. О, как черствый сухарь на биваке, запах жженого пороха и купель кровавая роднят людей между собою! Пятьсот человек рыдало, провожая меня. Алябьев поехал со мною; он не имел команды и потому был свободен; но служба при партии представляла ему случай к отличию и к награждениям, езда со мною — одну душевную благодарность мою; он избрал последнее.

Я еще не вышел из квартиры моей, как явились ко мне депутаты сословия Мейссенского округа с депутатами градской думы. Узнав о неприятности, меня постигшей, они поспешили ко мне с изустным изъявлением своей благодарности за содержание в порядке команды моей, отчего, по словам их, город наслаждался спокойствием и безопасностию, как в мирное время. При сем они поднесли мне лист, который и поныне хранится у меня:

«Когда 20-го числа сего месяца российско-императорские войска приблизились к городу Дрездену, то нижепоименованные депутаты сословия Мейссенского округа с депутатами градской думы отправились в находящуюся пред Новым Городом Дрезденом главную квартиру начальника российско-императорского войска, господина полковника Давыдова, дабы поручить его превосходительству город, жителей, королевскую собственность и в особенности содержимые на счет общества магазины, и просить, чтобы, в силу заключенной конвенции, следствия войны были от них отвращены.

После сего желаемая конвенция была утверждена: королевские здания и магазины заняты были охранительными караулами; вступившие в город войска размещены надлежащим порядком по квартирам и обеспечены фуражом, потребным

для многочисленной кавалерии. Везде была соблюдена совершенная дисциплина, и повсюду господствовали спокойствие и безопасность. Нижеименовавшиеся не могли упустить сего случая, чтобы не засвидетельствовать подлинности сего дела и не присовокупить к тому уверения в искренней своей благодарности.

Следуют подписи.

Новый Город Дрезден, 24 марта 1813 года».

Я уже садился в почтовую коляску, как получил известие о переправе Орлова. Еще несколько часов — и Старый Дрезден был бы в руках моих; судьба предоставила добычу мою другому. Я выехал к ответу в те самые ворота Нового Города, в которые за два дня прежде я вошел впереди партии моей радостный и весь поэзия!

В Калише я явился прямо к начальнику главного штаба обеих союзных армий, князю Петру Михайловичу Волконскому. Князь немедленно пошел с бумагами, мною привезенными от Винценгерода, к светлейшему князю Кутузову. Кутузов, не отлагая ни минуты, предстал с ними пред покойного императора, напомнил ему о моей службе во времена тяжкие, напомнил о Гродне... Государь сказал: «Как бы то ни было,— победителей не судят». Вот слова его.

Винценгероде справедливо предсказал мне о снисходительности; сердца, в коих звенит струна русская, струна отечественная,— те сердца мне не опасны.

Спустя несколько дней гремели благодарственные молебствия с пушечными выстрелами за взятие Дрездена. Я слушал их, скитаясь по улицам Калиша. Однако на другой день светлейший прислал за мною, излился предо мною в извинениях, осыпал меня ласками и отправил обратно к Винценгероду с предписанием ему возвратить мне *ту самую* партию, которая была у меня в команде. Я ему был благодарен. Он не мог сделать более; власть его уже была ограничена.

Я нашел корпус наш в Лейпциге. Партия не была возвращена мне Винценгеродом под предлогом рассеяния оной по обширному пространству; но обещания его на составление мне другой команды не прекращались до испрошения мною позволения у него возвратиться в Ахтырский гусарский полк, коему я принадлежал. Наполеон подвигался; союзные армии шли к нему навстречу; надлежало ожидать сильного сшиба. Я хотел в нем участвовать с саблею в руке, а не в свите кого бы то ни было.

О взятии мною Дрездена обнародовано было так: «Генерал Винценгероде доносит из Бауцена, что Нейштадт, или часть Дрездена по правую сторону Эльбы, занят его войсками».

Ничего более.

Впоследствии я служил то в линейных войсках, то командовал отрядами, но временно, но без целей собственных, а по направлению других. Самая огромная команда (два полка донских казаков) препоручена мне была осенью, после перемирия, но и тут не отдельно, а под начальством австрийской службы полковника графа Менсдорфа, с коим я приобрел многое: уважение его ко мне и неограниченную преданность к нему восторженного моего сердца благородным обхождением, его образованностию, геройским духом, военными дарованиями и высокою нравственностию. Он теперь, как я слышу, генерал-фельдмаршалом-лейтенантом и военным генерал-губернатором Богемии.



А. С. Фигнер. Гравюра И. Ческого по рисунку О. Кипренского.

Статьи
Воспоминания
Анекдоты

О ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ

Односторонний взгляд на предмет или суждение о нем с мнимою предусмотрительностью есть причина того понятия о партизанской войне, которое не престает еще господствовать. *Схватить языка,* предать пламени несколько неприятельских хранилищ, недалеко отстоящих от армии, сорвать незапно передовую стражу или в умножении партий видеть пагубную систему раздробительного действия армии — суть обыкновенные сей войны определения. И то и другое ложно! Партизанская война состоит ни в весьма дробных, ни в первостепенных предприятиях, ибо занимается не сожжением одного или двух амбаров, не сорванием пикетов и не нанесением прямых ударов главным силам неприятеля. Она объемлет и пересекает все протяжение путей, от тыла противной армии до того пространства земли, которое определено на снабжение ее войсками, пропитанием и зарядами, чрез что заграждая течение источника ее сил и существования, она подвергает ее ударам своей армии обессиленною, голодною, обезоруженною и лишенною спасительных уз подчиненности. Вот партизанская война в полном смысле слова!

Без сомнения, такого рода война была бы менее полезна, если б воевали одними малосильными армиями, не требующими большого количества съестных потребностей и действующими одним холодным оружием. Но с тех пор как изобретены порох и огнестрельное оружие, с тех пор как умножили огромность военных сил, и, наконец, с тех пор как склонились более к системе сосредоточения, чем раздробления войск при размещении и направлении их в походах и в действии,— с тех пор и пропитание их, извлекаемое из того пространства земли,

которое они собою покрывают, должно было встретить невозможности, а производство зарядов в лабораториях, обучение рекрут и образование резервов — необоримые затруднения среди тревог, битв и военных случайностей.

При таковых обстоятельствах надлежало искать средства к снабжению войск всеми для войны необходимыми потребностями не чрез извлечения их из пространства земли, войсками покрываемого, что от несоразмерности потребителей с произведениями было бы невозможно, а из пределов, находящихся вне боевых происшествий. От сего произошло разделение театра войны на два поля: на *боевое поле* и на *поле запасов*, и снабжение первого произведениями второго, но не вдруг и не великими громадами, а по мере израсходования съестных и боевых предметов, возимых при армии, дабы не обременять ее излишними тяжестями и чрез то не оковывать ее движений. Но само собою разумеется, что изобретение это долженствовало произвести и со стороны противника изобретение к преграждению снабжения неприятельской армии предметами столь для нее необходимыми. Для достижения этой цели два способа представились при первом взгляде: или действие отрядами на боевое поле непосредственно в тыл фронта армии, где производится раздача привозимых зарядов и провианта и размещение прибывших войск из резервов, или действие оными же отрядами на самое поле запасов.

Но тут же удостоверились, что первое с трудом прикосновенно от смежности самой неприятельской армии с местом, назначенным для нападения, а последнее обыкновенно ограждаемо укреплениями, в средине коих заключаются склады продовольствия, приготовляются заряды и производится образование резервов. Осталось то пространство, по которому все сии три предмета доставляются в армию: вот поле партизанского действия. Оно не представляет тех препятствий, которыми изобилует и боевое поле и поле запасов, ибо как главные силы армии, так и укрепления, находясь на оконечностях оного, не в состоянии защищать его — первые от стремления всех усилий на борьбу с противоположной им главной армией, последние — по причине естественной неподвижности своей.

Из сего следует, что партизанская война существовать не может, когда неприятельская армия расположена на самом поле запасов; но чем более увеличивается пространство, отделяющее боевое поле от поля запасов, тем партизанская война полезнее и решительнее. Правда, что осторожные пол-

ководцы не минуют определять по всему протяжению главного пути, рассекающему означенное пространство, и укрепленные этапы, или приюты, для защиты подвозов во время их привалов и ночлегов, и отряды войск для прикрытия сих подвозов во время переходов их от этапа до этапа; меры благоразумные, но далеко уступающие и долженствующие уступить нападению многочисленных и деятельных партий, как всякое оборонительное действие уступает наступательному. К тому же надо прибавить и то, что эти укрепленные этапы, сколько ни были бы обширны, никак не в состоянии вмещать в себе то количество подвод, которое составляет и самый слабый подвоз армий нашего времени; прикрытие, сколько ни было бы многолюдно, никогда совокупно идти не может по той причине, что, охраняя все протяжение подвоза, оно принуждено растягиваться по мере протяжения оного во время переходов и потому всегда быть слабее на точке натиска партии, совокупно действующей. Независимо от этих неудобств, сколько надо боевой силы для снабжения ею сих укрепленных этап, более и более умножающих по мере движения вперед, по мере успехов, увлекающих наступающую армию далее и далее от поля запасов!

Теперь, чтобы окончательно выразить всю важность партизанской войны при огромных ополчениях и системе сосредоточения в действиях нашего времени, сделаем несколько вопросов и ответов. Во-первых, кем производится война? — Людьми, соединенными в армии.

Во-вторых, но люди, так сказать, с пустыми руками могут ли сражаться? — Нет. Война — не кулачный бой. Этим людям нужно оружие; но со времени изобретения пороха и оружие само собою недостаточно: этому оружию нужны и патроны и заряды для произведения действия, от него требуемого; а так как патроны и заряды более или менее выстреливаются в каждой битве и делание их затруднительно при движениях и действии войск, то необходимо нужно снабжать оружие новыми зарядами и патронами с того места, где они приготовляются. Это ясно доказывает, что армия и с оружием в руках, но без патронов и зарядов, не что иное, как устроенная толпа людей с рогатинами, толпа, которая от первого неприятельского выстрела должна рассеяться или, приняв битву, погибнуть. Словом, нет силы в армии, или, можно сказать, что со времени изобретения пороха — нет армии без зарядов и патронов.

В-третьих, требует ли армия подкрепления в течение войны? — Требует, по мере потери людей и лошадей в сражениях,

в стычках и перестрелках, также и от ран, получаемых ими в битвах, также и от болезней, умножающихся от усиленных переходов, ненастья, трудов и недостатков всякого рода. Без укомплектования себя армии должны мало-помалу уменьшаться и потом исчезнуть совершенно.

Наконец, в-четвертых, нечего спрашивать, нужна ли пища солдату, ибо человек без пищи не только сражаться, но и жить не может; а так как доказано, что по многолюдству своему армии нашего времени не в состоянии довольствоваться произведениями того пространства земли, которое они собою покрывают, то им необходимы подвозы с пищею, без которых они должны или умереть с голоду, или, рассеясь для отыскивания пропитания за круг боевых происшествий, превратиться в развратную толпу бродяг и грабителей и погибнуть по частям, без защиты и славы.

Итак, чтобы лишить неприятеля сих трех, можно сказать, коренных стихий жизненной и боевой силы всякой армии, какое для сего избрать средство? Нет другого, как истребление их во время их перемещения с поля запасов на боевое поле, следственно, средством партизанской войны. Что предпримет неприятель без пищи, без зарядов и без укомплектования себя войсками? Он принужден будет или прекратить действие миром, или пленом, или рассеянием без надежды на соединение — три последствия весьма неутешительные и совершенно противоположные тем, которые стяжает всякая армия при открытии военных действий. Независимо от гибели, которою угрожает партизанская война сим трем коренным стихиям силы и существования всякой армии, есть второстепенные необходимости, тесно связанные с благосостоянием ее, и не менее подвозов с пищею и с зарядами, не менее доставления к ней резервов подвергающиеся опасности: подвозы с одеждою, с обувью и с оружием на смену испорченному от чрезмерного употребления или потерянному в сумятицах сражений; хирургические и госпитальные вещи; курьеры и адъютанты, возящие иногда весьма важные повеления из неприятельской главной квартиры к оставшимся позади областям, резервам, заведениям, отдельным корпусам и отрядам, так, как и донесения последних в главную квартиру, чрез что разрушается содействие всех частей между собою. Транспорты раненых и больных, перевозимых из армии в больницы, или команды выздоровевших, возвращающиеся из больницы в армию; чиновники высшего звания, переезжающие с одного места

на другое для осмотра отдельных частей или для принятия отдельного начальства, и прочее.

Но это недостаточно. Партизанская война имеет влияние и на главные операции неприятельской армии. Перемещение ее в течение кампании по стратегическим видам долженствует встретить необоримые затруднения, когда первый и каждый шаг ее может немедленно быть известен противному полководцу посредством партий, когда сими же партиями, на первом и на каждом шагу, она может быть задержана засеками, истребленными переправами и атакована всеми противными силами в то время, как, оставя один стратегический пункт, она не успела еще достичь до другого, что приводит нам на память Сеславина и Малоярославец. Таковыми преградами угрожает неприятель и во время отступления своего. Преграды эти, воздвигнутые и защищаемые партиями, способствуют преследующей армии теснить отступающую и пользоваться местными выгодами для окончательного ее разрушения: зрелище, коему мы были свидетелями в 1812 году, при отступлении Наполеоновых полчищ от Москвы до Немана.

Но и этого мало. Нравственная часть едва ли уступает вещественной части этого рода действия. Поднятие упадшего духа в жителях тех областей, которые находятся в тылу неприятельской армии; отвлечение от содействия ей людей беспокойных, корыстолюбивых посредством всякого рода добычи, отбиваемой у нее и разделяемой с жителями в замену приманок, расточаемых им вождями противных войск в одних только прокламациях; одобрение собственной армии частым доставлением к ней и под глаза ее пленных солдат и чиновников, обозов и подвозов с провиантом, парков и даже орудий, и, сверх того, потрясение и подавление духа в противодействующих войсках — таковы плоды партизанской войны, искусно управляемой. Каких последствий не будем мы свидетелями, когда успехи партий обратят на их сторону все народонаселение областей, находящихся в тылу неприятельской армии, и ужас, посеянный на ее путях сообщения, разгласится в рядах ее? Когда мысль, что нет ни прохода, ни проезда от партий, похищая у каждого воина надежду при немочи на безопасное убежище в больницах, устроенных на поле запасов, а в рядах достаточное пропитание, с того же поля привозимое, в первом случае произведет в нем робкую предусмотрительность, в последнем — увлечет его на неизбежное грабительство, одну из главных причин падения дисциплины, а с дисциплиною — совершенного разрушения армии.

Иностранные писатели излагают законы военного искусства не для нас, русских, а для государств, коим принадлежали они, следственно, по масштабу и по свойству военной силы, им известной, а не по масштабу государства, коего военная сила, средства и местность, и поныне находясь за пределами понятий и расчетов их, столь резко разнствуют с другими государствами. Например, правила, чтобы не употреблять легкого войска на долгое время и на дальнее расстояние от главной армии, дабы чрез то не лишить ее той числительной силы, которая в генеральных сражениях так необходима, и что партизанская война безопасна только в собственном и в союзном государстве, но гибельна и невозможна в пределах неприятеля,— суть правила справедливые и неоспоримые относительно всех европейских государств, но ошибочные относительно России. Легкая европейская конница составлена из людей одинакового свойства с людьми, составляющими все другие части линейного войска.

Она различествует от них одною одеждою и названием, но ничем другим: ни особою способностью к наездам и поискам, ни особою отважностью, сноровкой и подвижностью; следственно, отделение от главной массы такой легкой конницы на предприятия, по неспособности ее, неверные и гадательные — есть истинное раздробление армии на части и лишение ее сил, необходимых в генеральных сражениях. К неспособности этой конницы на отдельное действие надо присовокупить и малочисленность оной, затрудняющую пребывание ее в неприятельской земле, которой народонаселение в такой вражде или в явном против нее восстании. Все это чуждо для российской армии. Легкая конница ее состоит не из бригад или дивизий, носящих только звание легкого войска, а из целых племен воинственных всадников, исключительно занимающихся наездами и из рода в род передающих способность свою к сему роду действия. Конница эта никогда нейдет у нас в счет с линейным войском для генеральных сражений и, мало полезная в них, превосходна и неподражаема в отдельных поисках. Итак, потому что европейскими армиями не употребляется партизанская война от неимения ни единого истинно легкого всадника и от необходимости содержать в общей массе даже и тех, кои носят звание легких всадников, неужели и мы, обладающие целыми народами летучих, неутомимых и врожденных наездников, нимало не послабляющих отсутствием своим регулярную армию, неужели и мы обязаны воспретить себе род действия, для нас столь полезный, для противников наших столь гибель-

ный? Если бы случилось России воевать государства, у коих не было бы ни артиллерии, ни конницы, неужели надлежало бы отказаться ей от употребления противу них и артиллерии и конницы? Что сказали бы об Англии, если б вздумала она заключить флот свой в пристанях, вместо того чтобы сражаться им в открытом море с флотами, столь много уступающими ему и качеством и количеством?

Вот, однако же, что делала Россия в отношении к своей легкой коннице. Насыщенная неразрывным рядом побед и завоеваний, приобретенных усилиями одних линейных войск своих, и потому имея все право избегать заботы в изыскании другого рода средств к покорению своих противников, она довольствовалась одними прямыми ударами штыка, ядра и сабли, столь усердно служивших ей в течение полного столетия. После Бородинского сражения приступлено было к испытанию этого нового употребления легкой конницы. Пущено некоторое число казачьих отрядов на пути сообщения неприятельской армии; и едва отделились они от главных наших сил, как безмятежные дотоле пути сообщения неприятеля приняли иной вид: все обратилось на них вверх дном и в хаос, и несметное число солдат и всяких степеней чиновников, подвозов с провиантом и с оружием, парков с зарядами и даже орудий загромоздили нашу главную квартиру. Безошибочно можно сказать, что более трети войска, отхваченного у неприятеля, и все транспорты, к нему шедшие и доставшиеся нам в сей решительный перелом судьбы России, принадлежат тем из казачьих отрядов, кои действовали в тылу и на флангах неприятельской армии. Если вывод единого испытания этого,— ибо по малочисленности партий, пущенных тогда на путь сообщения неприятеля, можно почесть это предприятие истинным испытанием,— если вывод этот, говорю я, представляет нам такой огромный выигрыш при употреблении таких слабых средств, то чего не можно ожидать от развития этого рода действия по размеру, сообразному с многочисленностью легкой конницы нашей в наступательных войнах с Европою?

Надо надеяться или, лучше сказать, можно с достоверностью ожидать, что со временем и эта часть военной силы, считаемая иноземцами недостойною внимания, потому что они судят о легких войсках наших по своим легким войскам, что и эта часть, от бо́льшего и бо́льшего усовершенствования, вскоре поступит на степень прочих частей военной силы государства. Огромна наша мать Россия! Изобилие средств

ее дорого уже стоит многим народам, посягавшим на ее честь и существование; но не знают еще они всех слоев лавы, покоящихся на дне ее. Один из сих слоев состоит, без сомнения, из полудиких и воинственных народов, населяющих всю часть империи, лежащую между Днепра, Дона, Кубани, Терека и верховьев Урала, и коих поголовное ополчение может выставить в поле сто, полтораста, двести тысяч природных наездников. Единое мановение царя нашего — и застонут поля неприятелей под копытами сей свирепой, неутомимо подвижной конницы, предводимой просвещенными чиновниками регулярной армии! Не разрушится ли, не развеется ли, не снесется ли прахом с лица земли все, что ни повстречается, живого и неживого, на широком пути урагана, направленного в тыл неприятельской армии, занятой в то же время борьбою с миллионною нашею армией, первою в мире по своей храбрости, дисциплине и устройству?

Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется!

ВОСПОМИНАНИЯ О ЦЕСАРЕВИЧЕ КОНСТАНТИНЕ ПАВЛОВИЧЕ

В памяти всех не может не быть запечатленным образ цесаревича Константина Павловича; одаренный замечательною физическою силою, будучи среднего роста, довольно строен, несколько сутуловат, он имел физиономию, поражавшую всех своею оригинальностью и отсутствием приятного выражения. Пусть всякий представит себе лицо с носом весьма малым и вздернутым кверху, у которого густая растительность лишь в двух точках над глазами заменяла брови; нос ниже переносицы был украшен несколькими светлыми волосиками, кои, едва заметные при спокойном состоянии его духа, приподнимались вместе с бровями в минуты гнева.

Неглупый от природы, не лишенный доброты, в особенности относительно близких к себе, он остался до конца дней своих полным невежею. Не любя опасностей по причине явного недостатка в мужестве, будучи одарен душою мелкою, не способною ощущать высоких порывов, цесаревич, в коем нередко проявлялось расстройство рассудка, имел много сходственного с отцом своим, с тем, однако, различием, что умственное повреждение императора Павла, которому нельзя было отказать в замечательных способностях и рыцарском благородстве, было последствием тех ужасных обстоятельств, среди которых протекла его молодость, и полного недостатка в воспитании, а у цесаревича, коего образованием также весьма мало занимались, оно, по-видимому, было наследственным. Цесаревич говорил однажды некоторым из ближайших к себе особ: «Не смея обвинять отца моего, я не могу, однако, не сказать, что императрица Екатерина, обратив все свое внимание на брата моего Александра, вовсе не занималась мною в детстве».

Будучи предоставлен самому себе, вовсе не любя, подобно и младшим братьям своим, умственных занятий, он не был окружен с самого детства своего наставниками, от которых император Александр заимствовал те возвышенные взгляды на вещи, тот просвещенный ум, ту очаровательную обходительность в обращении, которые не могли не произвести обаятельного действия на самого Наполеона. Конечно, блестящий ученик Лагарпа, коего подозрительный и завистливый характер немало всем известен, не был лишен недостатков; вполне женственное кокетство этого Агамемнона новейших времен было очень замечательным. Я полагаю, что это было главною причиною того, почему он с такою скромностью не раз отказывался от подносимой ему георгиевской ленты, которой черные и желтые полосы не могли идти к блондину, каким был император Александр. Но эту слабость, столь несвойственную и непростительную мужчине, он вполне искупал тонким, просвещенным умом, мужеством, хладнокровием и очаровательным обращением.

Но великий князь Константин Павлович резко отличался во всех отношениях от своего брата; то же отсутствие образования было заметно и в младших его братьях, коих воспитанием занималась императрица Мария Федоровна. Столь высокая обязанность далеко превосходила силы этой добродетельнейшей царицы, не обнаруживавшей никогда большого ума и немало любившей придворный этикет. Она однажды сказала князю П. И. Багратиону, назначенному в начале царствования императора Александра летним комендантом Павловска: «Любезный князь, прикажите производить смену караулов без музыки, а то дети, услышав барабан или рожок, бросают свои занятия и бегут к окну,— после того они в течение всего дня не хотят ничем другим заняться».

Вступив на действительную службу, цесаревич, бывший неумолимо взыскательным начальником относительно своих подчиненных, дозволял себе нередко в порыве своего зверства бить юнкеров, кои не обнаруживали быстрых успехов в знании службы. Участвовав в италианской войне, он имел при себе в качестве наставника и руководителя бесстрашного и благородного генерала Дерфельдена, высоко уважаемого самим Суворовым. Будучи однажды недовольным распоряжением цесаревича, Суворов отдал в своих заметках следующее: «Зелено, молодо, и не в свое дело прошу не вмешиваться»; встречаясь с ним, Суворов говаривал ему обыкновенно: «Кланяюсь сыну великого моего государя». В течение этой войны цесаревич,

оценив блестящие достоинства князя Багратиона, не переставал питать к нему чувство самой искренней приязни.

Заведуя в начале царствования императора Александра Днестровскою инспекциею, он квартировал в Дубно, куда еще съезжались со всех сторон на время контрактов множество помещиков и торговцев; он здесь сблизился с генералом Бауэром, высылавшим целые эскадроны гусар для конвоирования контрабандистов, уделявших ему за то значительную долю из своих барышей. Предаваясь пьянству с Бауэром и Пассеком (отравившим себя после события 14 декабря 1825 года), цесаревич нередко позволял себе с ними весьма неприличные выходки. Так, например, они, будучи одеты в мундирах, катались по городу без нижнего платья. Но зато на службе, во время похода или дороги, цесаревич, не дозволявший себе ради удобства ни малейшего отступления от формы, был поистине мучеником безумно понимаемого им долга.

Хотя он никогда не обнаруживал отваги на поле брани, но на военном совете в 1812 году в Смоленске он предложил наступательное против неприятеля движение. Впоследствии Барклай, недовольный тем, что окружающие цесаревича дозволяли себе публично порицать его действия, и стесняясь присутствием его в армии, решился выслать его под благовидным предлогом в Петербург; ему было поручено лично передать государю письмо важного содержания. Он был заблаговременно извещен об этом намерении главнокомандующего начальником штаба Ермоловым и правителем канцелярии Барклая Закревским.

По установлении русского владычества в Варшаве, цесаревич, сначала довольно милостивый к полякам, дал вскоре полную волю своему дикому, необузданному нраву. Посещая полки во время ученьев, он нередко в припадках бешеного гнева, врезываясь в самые ряды войск, осыпал всех самыми неприличными бранными словами. Он говаривал начальникам при всех: «Vous n'êtes que des cochons et des misérables, c'est une vraie calamité que de vous avoir sous mon commandement; * *я вам задам конституцию»*.

Вообще, хотя в эпоху правления Польшею цесаревича заботливостью нашего правительства благосостояние этой страны было увеличено, но это было вполне тяжкое для поляков время. Никакие заслуги, никакие добродетели не спасли тех,

---

* Вы — отъявленные свиньи и негодяи. Истинное несчастие — командовать вами.

кои имели несчастие заслужить неблаговоление цесаревича, действовавшего лишь по своему капризному произволу. Хотя он долгое время видел лишь зрелище любви и подобострастия к себе в поляках, но сердца их не могли быть преисполнены большою к нему нежностью. Отсутствие личного права, несправедливые действия цесаревича и безумное злоупотребление силы не могли не возбудить всеобщего негодования. К довершению всего он, в припадках ярости, часто лично наказывал тех, кои возбуждали его подозрение. Этот порядок вещей не мог долго продолжаться; мы видели, что ничтожное покушение нескольких подпрапорщиков послужило сигналом к явному против нас восстанию.

Но цесаревич, столь дерзкий во фронте, был у себя во дворце отменно вежлив относительно всех. Во время обедов во дворце на одном конце стола сидел обыкновенно сам цесаревич, а на противоположном — Курута, около которого теснились все любившие выпить хорошего вина, в коем ощущался недостаток на половине его высочества, довольствовавшегося в последнее время одною рюмкою посредственного вина.

Цесаревич, воспитанный лишь для парадов и разводов, чувствовал себя весьма неловким среди дамской компании. Однажды он, полагая необходимым поддерживать разговор, рассказал в одном из значительнейших домов Варшавы о неприятностях, возникших между ним и его женою.

Я никогда не пользовался особым благоволением царственных особ, коим мой образ мыслей, хотя и монархический, не совсем нравился, а потому я убедился по опыту, что между ними и частными людьми близких отношений существовать не может и не должно; мудрость частного человека, как бы высоко ни стоял он на служебной лестнице, должна заключаться в том, чтобы постоянно держать себя в почтительном от них отдалении, имея у себя всегда готовый им ответ.

Хотя цесаревич не мог иметь детей по причине физических недостатков, но госпожа Фридрихс, муж которой возвысился из фельдъегерей до звания городничего, сперва в Луцке, а потом в Дубно, будто бы родила от него сына, названного Павлом Константиновичем Александровым. Хотя его императорское высочество лучше чем кто-либо мог знать, что это был не его сын и даже не сын г-жи Фридрихс, надеявшейся этим средством привязать к себе навсегда великого князя, но он очень полюбил этого мальчика; состоявший при нем медик, будучи облагодетельствован его высочеством и терзаемый угрызением совести, почел нужным открыть истину цесаревичу,

успокоившему его объявлением, что он уже об этом обстоятельстве давно знал. Надобно отдать справедливость, что г-жа Фридрихс, не показываясь нигде с великим князем, вела себя весьма скромно; во время расположения гвардии в окрестностях Вильны пред самою Отечественною войною она появлялась на празднествах в сопровождении какого-либо угодливого штаб-офицера.

Однажды, после отъезда государя и императрицы Марии Федоровны, говоривших, без сомнения, цесаревичу о возможности для него вступить на престол, он сказал некоторым из своих окружающих: «Я эту шапку и сам надеть сумею».

Возвращаясь в 1815 году из Вены в Варшаву, цесаревич, проезжая чрез Краков, поспешил навестить больного Ермолова, который сказал ему: «Вы, ваше императорское высочество, спешите в свое вице-королевство», на что цесаревич отвечал: «Ты все шутишь, а я нахожу, что было бы гораздо полезнее учредить в Польше русских губернаторов и исправников». Цесаревич, никогда не любивший Барклая, говаривал о нем в этом же году: «Зачем у него такой большой штаб? Он, вероятно, хочет подражать Потемкину, но этот лишь по воле императрицы окружал себя во время войны с турками большою свитою затем, чтобы при заключении мира она не уступала свите турецкого паши; впрочем, у нас есть свой фельдмаршал в Кракове». (Он разумел Ермолова.)

Около 1820 года цесаревич познакомился со вдовою Грудзинскою, имевшею трех дочерей. Необыкновенная красота и превосходное воспитание трех сестер, которые были этим обязаны одной англичанке, избранной покойным их отцом, не могли не привлечь внимания цесаревича; он был, можно сказать, обворожен одною из них. Вдова Грудзинская, замечательная по своим ограниченным способностям, вступила во второй брак с гофмаршалом Броницом, человеком весьма веселого свойства и отличным собутыльником, у которого во время семилетнего странствования по чужим краям было конфисковано и продано самым беззаконным образом его имение. Этих трех девиц ожидали различные судьбы: на одной из них женился Гутаковский, которого император Александр назначил своим флигель-адъютантом; на другой, одаренной замечательным умом, женился полковник Хлаповский, весьма способный от природы человек, бывший некогда флигель-адъютантом (officier d'ordonnance) Наполеона; вынужденный цесаревичем оставить русскую службу, он проживал обыкновенно в Познани. На третьей, получившей титул княгини

Лович, женился сам цесаревич, утративший чрез это право на всероссийский престол.

Прибыв в 1826 году в Москву для присутствования во время обряда коронования императора Николая, цесаревич был встречен сим последним на дворцовой лестнице; государь, став на колени пред братом, обнял его колени; это вынудило цесаревича сделать то же самое. Таким образом свиделись оба царственные брата пред коронованием, по совершении которого цесаревич, выходя из собора, сказал Ф. П. Опочинину: «Теперь я отпет». Цесаревич, которому публика и народ оказывали лучший прием, чем государю, постоянно уезжал с балов и театров несколько ранее своего брата.

В последнее время состарившийся цесаревич крайне опустился: он, который прежде не выходил из мундира, просиживал по целым часам в халате и туфлях; страдая ногами, он даже с трудом садился на лошадь. Не являясь по целым неделям на разводы, он однажды сказал: «Если поляки плюнут мне в глаза, я лишь им дозволю обтереть себя». Любя поляков по-своему, он, как единогласно все утверждают, восхищаясь во время войны действиями их против нас, не раз восклицал: «Каковы мои! — молодцами дерутся». Он думал после окончания войны просить себе места военного губернатора в Твери, в память довольно продолжительного пребывания великой княгини Екатерины Павловны в этом городе.

Во время войны цесаревич, которого Хлаповский, сделавшийся партизаном, называл в своих письмах cher beau-frère * и угрожал захватить в плен, находился при нашей армии. Опасаясь плена, он выслал некоторых из окружавших его особ в Слоним и сам в сопровождении большого конвоя отправился в Витебск, где и умер от холеры. Вскоре после него скончалась в Царском Селе княгиня Лович, вследствие полного разложения внутренностей.

Цесаревич, никогда не принадлежавший к числу бесстрашных героев, в чем я не один раз имел случай лично убедиться, страстно любил, подобно братьям своим, военную службу; но для лиц, не одаренных возвышенным взглядом, любовью к просвещению, истинным пониманием дела, военное ремесло заключается лишь в несносно-педантическом, убивающем всякую умственную деятельность парадировании.

Глубокое изучение ремешков, правил вытягивания носков, равнения шеренг и выделывания ружейных приемов, коими

* Милый свояк.

Французскіе гвардейцы подъ конвоемъ бабушки Спиридоновны.

И. Теребенев.<?> «Французские гвардейцы под конвоем бабушки Спиридоновны».

щеголяют все наши фронтовые генералы и офицеры, признающие устав верхом непогрешимости, служит для них источником самых высоких поэтических наслаждений. Потому и ряды армии постепенно наполняются лишь грубыми невеждами, с радостью посвящающими всю свою жизнь на изучение мелочей военного устава; лишь это знание может дать полное право на командование различными частями войск, что приносит этим личностям значительные беззаконные материальные выгоды, которые правительство, по-видимому, поощряет.

Этот порядок вещей получил, к сожалению, полную силу и развитие со времени вступления на престол императора Николая; он и брат его, великий князь Михаил Павлович, не щадят ни усилий, ни средств для доведения этой отрасли военного искусства до самого высокого состояния. И подлинно, относительно равнения шеренг и выделывания темпов наша армия бесспорно превосходит все прочие. Но, боже мой! каково большинство генералов и офицеров, в коих убито стремление к образованию, вследствие чего они ненавидят всякую науку. Эти бездарные невежды, истые любители изящной ремешковой службы, полагают в премудрости своей, что война, ослабляя приобретенные войском в мирное время фронтовые сведения, вредна лишь для него. Как будто бы войско обучается не для войны, но исключительно для мирных экзерциций на Марсовом Поле.

Прослужив не одну кампанию и сознавая по опыту пользу строевого образования солдат, я никогда не дозволю себе безусловно отвергать полезную сторону военных уставов; из этого, однако, не следует, чтобы я признавал пользу системы, основанной лишь на обременении и притуплении способностей изложением неимоверного количества мелочей, не поясняющих, но крайне затемняющих дело. Я полагаю, что надлежит весьма остерегаться того, чтобы начертанием общих правил стеснять частных начальников, от бо́льшего или меньшего умственного развития коих должно вполне зависеть приложение к делу изложенных в уставе правил. Налагать оковы на даровитые личности и тем затруднять им возможность выдвинуться из среды невежественной посредственности — это верх бессмыслия. Таким образом можно достигнуть лишь следующего: бездарные невежды, отличающиеся самым узким пониманием дела, окончательно изгонят отовсюду способных людей, которые, убитые бессмысленными требованиями, не будут иметь возможности развиться для самостоятельного действия и безусловно подчинятся большинству.

Грустно думать, что к этому стремится правительство, не понимающее истинных требований века, и какие заботы и огромные материальные средства посвящены им на гибельное развитие системы, которая, если продлится надолго, лишит Россию полезных и способных слуг. Не дай боже убедиться нам на опыте, что не в одной механической формалистике заключается залог всякого успеха. Это страшное зло не уступает, конечно, по своим последствиям, татарскому игу!

Мне, уже состарившемуся в старых, но несравненно более светлых понятиях, не удастся видеть эпоху возрождения России. Горе ей, если к тому времени, когда деятельность умных и сведущих людей будет ей наиболее необходима, наше правительство будет окружено лишь толпою неспособных и упорных в своем невежестве людей. Усилия этих лиц не допускать до него справедливых требований века могут ввергнуть государство в ряд страшных зол.

Начальником главного штаба и гофмейстером двора цесаревича находился граф Дмитрий Дмитриевич Курута. Этот хитрый, но неспособный грек пользовался большим доверием великого князя и снискал признательность многих поляков, кои могли весьма легко соделаться жертвами бешеного и своенравного цесаревича. В минуты безумного гнева, когда он с пеною у рта приказывал наказать виновного, имевшего несчастие возбудить эту бурю каким-нибудь ничтожным отступлением от установленных форм, Курута успокаивал цесаревича словами: «Цейцас будет изполнено». Дав время успокоиться его высочеству, Курута успевал бóльшею частью убедить его смягчить свои приговоры. Хотя эти действия Куруты заслуживали величайших похвал, но неспособность его и другие свойства не могли внушать к нему большого уважения. Хотя и носились слухи, что Курута, любивший жить открыто и весело, не отказывался от приношений городских жителей, но он не оставил, однако, после себя большого состояния. Я слыхал от многих, что навещавшие его каждый вечер полковые командиры проигрывали ему суммы значительные, кои он издерживал на угощение своих посетителей.

Невзирая на благоволение цесаревича, Куруте нередко приходилось выслушивать строгие и оскорбительные замечания его высочества. Брат мой Евдоким, увидев однажды, что разъяренный цесаревич говорил что-то Куруте с особенным жаром на греческом языке, осведомился у него о значении одного из сказанных ему слов. Курута отвечал ему весьма хладнокровно: «C'est du j... f..., mon cher, mais dans la meilleure acception

du mot» (то есть нечто вроде ..., но только в лучшем значении слова).

Услыхав однажды о том, что Курута получил в одно время знаки Белого и Красного орлов, я невольно воскликнул: «На эту стерву слетаются все хищные птицы». Заведуя впоследствии войсками, входившими в состав резервной армии графа Толстого, Курута имел дело с поляками близ Вильны, на Понарской горе: оно, без сомнения, не кончилось бы в нашу пользу, если бы Куруту не выручил генерал Сакен (Дмитрий Ерофеевич).

Хотя цесаревич, бывший яростным врагом либерализма, не терпел ни малейшего возражения или противоречия со стороны своих подчиненных, он, однако, простирал до того свое благоволение к А. П. Ермолову, которому он оказывал покровительство с самой войны 1805 года, что нередко терпеливо выслушивал резкие замечания этого генерала. Цесаревич, любивший Ермолова, отзывался о нем в следующих словах: «Ермолов в битве дерется как лев, а чуть сабля в ножны, никто от него не узнает, что он участвовал в бою. Он очень умен, всегда весел, очень остер, и весьма часто до дерзости».

Письма свои к Ермолову его высочество начинал следующим образом: «Любезнейший, почтеннейший, храбрейший друг и товарищ». В одном из них, писанном еще в 1818 году, находится следующее место: «Вы, вспоминая древние римские времена, теперь проконсулом в Грузии, а я префектом, или начальствующим легионами, на границе Европы или, лучше сказать, в средине оной». В другом письме того же года цесаревич, иногда называвший Ермолова патером Грубером [159], пишет ему между прочим: «Я всегда был и буду одинаков с моею к вам искренностью, и оттого между нами та разница, что я всегда к вам был как в душе, так и на языке, а вы, любезнейший и почтеннейший друг и товарищ, иногда с обманцем бывали».

Ермолов имел не раз с цесаревичем весьма сильные столкновения, которые для другого могли бы повлечь за собою очень неприятные последствия. Однажды перед самою Отечественною войною его императорское высочество, оставшись недовольным фронтовым образованием баталиона гвардейского морского экипажа, коим командовал капитан-командор Карцов, выехавший на смотр на лошади, убранной лентами и бубенчиками, велел написать на его имя весьма строгий выговор; этот приказ, написанный дежурным штаб-офицером Кривцовым, был в присутствии его императорского высочества пред-

варительно прочтен всем частным начальникам; когда Кривцов готовился уже выйти из комнаты для отдания приказа в печать, Ермолов, командовавший в то время гвардейскою пехотною дивизиею, в состав которой входил и гвардейский морской экипаж, сказал ему: «Приказ хорош, но он не должен быть известен за порогом квартиры его высочества». Таким образом этот приказ, заключавший в себе выражения, оскорбительные для храбрых моряков, и бывший вполне несвоевременным, ибо в это время полчища Наполеона готовились уже переступить Неман, не был никогда обнародован. Весьма замечательно, что это не возбудило гнева цесаревича и не вызвало ни малейшего с его стороны замечания.

Получив в том же году известие об отделении корпуса графа Витгенштейна, Ермолов в разговоре своем с цесаревичем назвал это *придворным маневром.* «Помилуй, братец,— сказал цесаревич,— это тебе так кажется, а сестра Екатерина Павловна не знает, где родить». На это Ермолов отвечал: «Возможно ли, чтобы Наполеон, идя на Москву, послал корпус на Петербург, d'autant plus qu'il peut être tourné et culbuté dans la Baltique» *. Он бился об заклад, что неприятель не пройдет чрез псковские леса и болота, за тридцать червонцев, которые были ему выданы Курутою.

Однажды, в 1815 году, великая княгиня Екатерина Павловна просила цесаревича представить ей Ермолова. Увидав его, она сказала ему: «Я желала весьма с вами познакомиться; я слышала, что граф Витгенштейн и другие преследуют вас и успели даже очернить вас в глазах государя». Ермолов отвечал ей: «Эти господа несправедливо обвиняют меня лишь затем, чтобы оправдать свои неудачи; они подражают Наполеону, который свое поражение под Лейпцигом приписывает лишь полковнику, слишком рано взорвавшему мост; что же касается до неблаговоления государя, я, будучи награжден наравне с лицами, к коим его величество наиболее милостив, не имею повода замечать этого». Цесаревич сказал ей: «Ты, матушка, слывешь у нас в семье вострухою, не пускайся с ним слишком далеко, потому что он тебя двадцать раз продаст и выкупит». Ермолов сказал великой княгине: «Я почитаю себя весьма несчастливым тем, что, не будучи известен вашему высочеству, я представлен вам в столь неблагоприятном свете его высочеством, который бесспорно первый иезуит». Цесаревич, рассердившись, гневно спросил: «А почему?» В ответ на это

* Тем более что он может быть обойден и сброшен в Балтику.

Ермолов указал ему на вензель государя, украшавший генерал-адъютантские эполеты, за два дня перед тем пожалованные цесаревичу. Великая княгиня расхохоталась.

Однажды, в 1814 году, был назначен во Франкфурте парад, на который опоздал прибыть с полком мужественный флигель-адъютант Удом, командовавший лейб-гвардии Литовским полком. Хотя этот полк явился на смотр задолго до прибытия государя, но разгневанный цесаревич повторил два раза Ермолову приказание арестовать сего штаб-офицера; так как оно было ему объявлено перед фронтом, то Ермолов был вынужден лишь безмолвно опустить свою саблю. Когда по окончании смотра его императорское высочество еще раз подтвердил это приказание, Ермолов смело возразил ему: «Виноват во всем я, а не Удом, а потому я к сабле его присоединю и свою; сняв с себя однажды эту саблю, я, конечно, ее в другой раз не надену». Это обезоружило цесаревича, который ограничился легким выговором Удому.

В 1815 году Ермолов, находясь близ государя и цесаревича на смотру английских войск, с коими Веллингтон повторил маневр, употребленный им в сражении при Виттории, обратил внимание государя и великого князя на одного английского офицера, одетого и маршировавшего с крайнею небрежностью. На ответ государя: «Что с ним делать? Ведь он лорд»,— Ермолов отвечал: «Почему же мы не лорды?»

В 1821 году Ермолов, будучи вызван из Грузии в Лайбах для начальствования союзною армиею в Италии, был встречен в Варшаве с большою торжественностью; цесаревич, приготовив ему квартиру и караул со знаменем, приказал всем своим министрам представиться ему; Ермолов, не принявший этих почестей, остановился в гостинице. Избегая официальных встреч с польскими министрами, он выехал из гостиницы весьма рано утром. Многие генералы и полковые командиры, к коим цесаревич не благоволил, зная милостивое расположение его императорского высочества к Ермолову, просили его похвалить во время смотра заведываемые ими части. В самом деле, похвалы Ермолова этим частям войск не остались без последствий; по окончании смотра его императорское высочество объявил им свою признательность. Цесаревич, имея в виду, чтобы во время парадов все почести были бы отдаваемы Ермолову, а не ему, постепенно осаживал свою лошадь: это вынуждало Ермолова делать то же самое, но так как великий князь не переставал осаживать своей лошади, то Ермолов в присутствии многих генералов сказал ему: «Вы меня, ваше

императорское высочество, заставите явно ослушаться вас». После сего цесаревич занял свое место.

Хотя его императорское высочество писал государю, что он в предстоящей войне весьма бы рад служить под начальством Ермолова, но он был весьма недоволен действиями сего генерала во время пребывания его в Варшаве. Он в присутствии многих лиц сказал ему: «Государь желает слить Польшу с Россией, но вы, пользуясь огромною репутацией в армии, выказываете явное пренебрежение к полякам; вы даже не хотели принимать явившихся к вам польских министров». Ермолов возразил ему на это: «Меня в грубом обращении относительно подчиненных, а тем менее поляков, никто не может упрекнуть; подобными качествами может лишь щеголять молодой и заносчивый корнет уланского полка вашего императорского высочества!»

АНЕКДОТЫ О РАЗНЫХ ЛИЦАХ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБ АЛЕКСЕЕ ПЕТРОВИЧЕ ЕРМОЛОВЕ

В царствование сумасшедшей памяти императора Павла командир одного из артиллерийских полков, генерал-маиор Каннабих, читал лекции тактики во дворце; значительнейшие лица в государстве и в том числе фельдмаршал князь Николай Васильевич Репнин, желая угодить государю, являлись слушать эти лекции. Чтобы вернее изобразить нелепость читателя и читаемого, я здесь приведу несколько слов из них, причем неправильные ударения и произношения я буду изображать соответствующими им буквами. «Э, когда командуют: *повзводно направо,* офицер говорит коротко: *во;* э, когда командуют: *повзводно налево,* то просто: *на-лево.* Офицер, который тут стоял, так эспонтон держал и так маршировал; и только всего, и больше ничего» и т. д. Этот бессмысленный генерал подписывал следующим образом билеты увольняемых в отпуск рядовых: «Всемилостивейшего государя моего генерал-маиор, св. Анны 1-й степени и анненской шпаги, табакерки с вензелевым изображением его величества, бриллиантами украшенной, и тысячи душ кавалер».

В царствование этого государя комендантом Шлиссельбургской крепости, куда ссылались важнейшие государственные преступники, был почтенный, добрый и примерно благородный генерал Аникеев. Этот комендант, с трудом выучившийся подписывать свою фамилию, ободрял заключенных, в судьбе которых он принимал истинно отеческое участие. Однажды прислан был к нему француз, которого надлежало предварительно высечь кнутом, а потом заключить в крепость. Почтенный

Аникеев, приказав всем выйти из комнаты, кроме француза, сказал ему: «Пока я буду ударять кнутом об пол, а ты кричи как можно жалостливее». По приведении в исполнение этой процедуры Аникеев призвал подчиненных, до коих доходили крики француза, и сказал им: «Преступник уже наказан, отведите его куда следует».

Павел, узнав однажды, что Дехтерев (впоследствии командир С.-Петербургского драгунского полка) намеревается бежать за границу, потребовал его к себе. На грозный вопрос государя: «Справедлив ли этот слух?»,— смелый и умный Дехтерев отвечал: «Правда, государь, но, к несчастию, кредиторы меня не пускают». Этот ответ так понравился государю, что он велел выдать ему значительную сумму денег и купить дорожную коляску.

Однажды государь, выходя из своего кабинета и увидав свое семейство, с которым находился почтенный и доблестный Федор Петрович Уваров, сказал им, указывая на свою палку, называемую берлинкой: «Этой берлинке хочется по чьим-то спинам прогуляться». Все присутствующие были неприятно поражены этими словами, но государь, подозвав к себе Уварова, передал весьма хладнокровно какое-то приказание.

Император Павел, оставшись недовольным великим Суворовым, отставил его от службы; приказ о том был доставлен великому полководцу близ Кобрина. Приказав всем войскам собраться в полной парадной форме, он сам предстал пред ними во всех своих орденах. Объявив им волю государя, он стал снимать с себя все знаки отличий, причем говорил: «Этот орден дали вы мне, ребята, за такое-то сражение, этот за то» и т. д. Снятые ордена были положены им на барабан. Войска, растроганные до слез, воскликнули: «Не можем мы жить без тебя, батюшка Александр Васильевич, веди нас в Питер». Обратившись к присланному с высочайшим повелением генералу (по мнению некоторых, то был Линденер), Суворов сказал: «Доложите государю о том, что́ я могу сделать с войсками». Когда же он снял с себя фельдмаршальский мундир и шпагу и заменил его кафтаном на меху, то раздались раздирающие вопли солдат. Один из приближенных, подойдя к нему, сказал ему что-то на ухо; Суворов, сотворив крестное знамение рукою, сказал: «Что ты говоришь, как можно проливать кровь родную!»

Оставив армию, он прибыл в село Кончанское Новгородской губернии, где и поселился. Чрез несколько времени Павел, вследствие просьбы римского императора, писал Суворову замечательное письмо, в коем он просил его принять начальство над австрийскими войсками. Получив письмо, Суворов отвечал: «Оно не ко мне, потому что адресовано на имя фельдмаршала, который не должен никогда покидать своей армии» — и отправился в окрестные монастыри, где говел. Павел приказал между тем приготовить ему Шепелевский дворец; видя, что Суворов медлит приездом, он отправил к нему племянника его — генерала князя Андрея Ивановича Горчакова, с просьбой не откладывать более прибытия своего в столицу. На всех станциях ожидали Суворова офицеры, коим было приказано приветствовать фельдмаршала от имени государя и осведомиться о его здоровье. Государь лично осмотрел отведенный для Суворова дворец, откуда были вынесены часы и зеркала; тюфяки были заменены свежим сеном и соломою.

Суворов, не любивший пышных приемов, прибыл в простой тележке к заставе, где и расписался; ожидавший его здесь генерал-адъютант не успел его приветствовать. По мнению некоторых, Суворов виделся ночью с государем и беседовал с ним довольно долго. На следующий день, когда все стали готовиться к разводу, государь спросил кн. Горчакова: «А где дядюшка остановился? Попросите его к разводу». Кн. Горчаков отыскал его с трудом на Шестилавочной у какого-то кума, на антресолях; когда он передал ему приглашение государя, Суворов отвечал: «Ты ничего не понимаешь: в чем же я поеду?» Когда Горчаков объявил ему, что за ним будет прислана придворная карета, упрямый старик возразил: «Поезжай к государю и доложи ему, что я не знаю, в чем мне ехать». Когда доведено было о том до сведения Павла, он воскликнул: «Он прав, этот дурак (указывая на Обольянинова) мне не напомнил о том; приказать тотчас написать Сенату указ о том, что отставленный от службы фельдмаршал граф Суворов-Рымникский паки принимается на службу со всеми его прерогативами». Получив указ, Суворов прибыл во дворец, где, упав к ногам Павла, закричал: «Ах, как здесь скользко».

Государь, объявивший Суворову, что ему надлежало выбрать в свой штаб людей, знакомых с иностранными языками, пожелал видеть их; Суворов, принявший за правило противоречить во всем государю, представил ему тотчас коменданта своей главной квартиры Ставракова (человека весьма ограниченного и занимавшего ту же должность в 1812 году), кото-

рый на вопрос государя, на каких языках он говорит, отвечал: *«На великороссийском и на малороссийском»*. Когда Павел, обратясь к Суворову, сказал: «Вы бы этого дурака заменили другим»,— он отвечал: «О, помилуй бог! Это у меня первый человек!»

Впоследствии <Суворову> были присланы от короля сардинского знаки св. Маврикия и Лазаря для раздачи отличившимся, и низшую степень этого ордена — камердинеру его Прошке за сбережение здоровья фельдмаршала. Раздав их лицам, не выказавшим особого мужества и усердия, Суворов спросил Ставракова, что говорят в армии? На ответ Ставракова, что присланные ордена были им розданы плохим офицерам, Суворов сказал: «Ведь и орден-то плох». Таким же образом поступил он в отношении к ордену Марии-Терезии. Получив однажды знаки св. Георгия 3-го класса от императрицы Екатерины, приказавшей возложить их на достойного, он наградил им правителя гражданской канцелярии своей.

В день отъезда Суворова из Петербурга в армию поданы были ему великолепная карета и ряд экипажей для его свиты, состоявшей, по воле государя, из камергеров и разных придворных чиновников. Перепрыгнув три раза чрез открытые дверцы кареты, Суворов сел в фельдъегерскую тележку и прибыл весьма скоро в Вену, где его неожиданный и быстрый приезд немало всех изумил. Сидя в карете с австрийским генералом Кацом, Суворов на все его рассказы о предстоящих действиях, зажмурив глаза, повторял: *«Штыки, штыки»*. Когда Кац объявил ему, что к концу года союзникам надлежит находиться в таком-то пункте, Суворов резко отвечал: «Кампания начнется на том пункте, где, по мнению вашему, союзники должны находиться к концу года, а окончится, где бог велит».

К умирающему Суворову прислан был обер-шталмейстер граф Иван Павлович Кутайсов с требованием отчета в его действиях; он отвечал ему: «Я готовлюсь отдать отчет богу, а о государе я теперь и думать не хочу». Гроб сего великого человека, впавшего в немилость, сопровождали лишь три баталиона; государь, не желая, чтобы военные отдали последний долг усопшему герою, назначил во время его похорон развод.

Хотя Суворов находился весьма часто в явной вражде с Потемкиным, но он отдавал ему полную справедливость,

говоря: «Ему бы повелевать, а нам бы только исполнять его приказания». Проезжая в тележке чрез Херсон, он всегда останавливался у собора поклониться праху сего знаменитого мужа. Павел приказал разрушить все здания, мало-мальски напоминавшие Потемкина, коего прах велено было вынести из церкви, где он покоился, и перенести на общее кладбище. Хотя смотритель, коему было приказано привести это приказание в исполнение, был немец от рождения, но этот высокий человек, имя которого я, к сожалению, не упомню, не решился этого сделать; он оставил славный прах на месте, заложив лишь склеп камнями.

Граф Ф. В. Растопчин был человек замечательный во многих отношениях; переписка его со многими лицами может служить драгоценным материалом для историка. Получив однажды письмо Павла, который приказывал ему объявить великих князей Николая и Михаила Павловичей незаконнорожденными, он, между прочим, писал ему: «Вы властны приказывать, но я обязан вам сказать, что, если это будет приведено в исполнение, в России не достанет грязи, чтобы скрыть под нею красноту щек ваших». Государь приписал на этом письме: «Vous êtes terrible, mais pas moins très juste» *.

Эти любопытные письма были поднесены Николаю Павловичу, чрез графа Бенкендорфа, бестолковым и ничтожным сыном графа Федора Васильевича, графом Андреем.

Павел сказал однажды графу Растопчину: «Так как наступают праздники, надобно раздать награды; начнем с андреевского ордена; кому следует его пожаловать?» Граф обратил внимание Павла на графа Андрея Кирилловича Разумовского, посла нашего в Вене. Государь, с первою супругою коего, великою княгинею Наталиею Алексеевною, Разумовский был в связи, изобразив рога на голове, воскликнул: «Разве ты не знаешь?» Растопчин сделал тот же самый знак рукою и сказал: «Потому-то в особенности и нужно, чтобы об этом не говорили!»

Во время умерщвления Павла князь Владимир Михайлович Яшвиль, человек весьма благородный, и Татаринов задушили его, для чего шарф был с себя снят и подан Яковом Федоровичем Скарятиным. Беннингсен, боявшийся, чтобы Павел

* Вы ужасны, но справедливы.

не убедил своих убийц, ударил его в голову, сказав: «Nous nous sommes trop avancés pour pouvoir reculer; quand on veut faire une omelette, il faut commencer par casser les oeufs» *.

Граф Николай Александрович Зубов изрубил саблею высокого драбанта, стоявшего у двери; камердинер Павла был ранен саблею в щеку; он поступил впоследствии к цесаревичу. Фоку, придворному чиновнику, коего брат служил в артиллерии, проезжавшему в это время мимо дворца, кучер сказал: «Ну, барин, там ужасная идет завируха!» За два дня до того вся молодежь говорила о том во всех гостиных. Марию Федоровну, порывавшуюся играть роль Екатерины II, осадили. Подробности были мне сообщены братом Александром Михайловичем Каховским, которому, в свою очередь, рассказывали их сами Беннингсен и Фок.

По возвращении своем из персидского похода, в 1797 году, Алексей Петрович Ермолов служил в четвертом артиллерийском полку, коим командовал горький пьяница Иванов, предместник князя Цицианова (брата знаменитого правителя Грузии). Этот Иванов во время производимых им ученьев имел обыкновение ставить позади себя денщика, снабженного флягою с водкой; по команде Иванова: *зелена,* ему подавалась фляга, которую он быстро осушивал. Он после того обращался к своим подчиненным с следующей командой: *«Физики, делать все по-старому, а новое — вздор».* Рассердившись однажды на жителей города Пинска, где было нанесено оскорбление подчиненным ему артиллеристам, Иванов приказал бомбардировать город из двадцати четырех орудий, но, благодаря расторопности офицера Жеребцова, снаряды были поспешно отвязаны, и город ничего не потерпел. Пьяный Иванов, не заметивший этого обстоятельства, приказал по истечении некоторого времени прекратить пальбу; вступив торжественно в город и увидав в окне одного дома полицмейстера Лаудона, он велел его выбросить из окна.

Будучи произведен, по возвращении из похода в Персию, в подполковники, молодой Ермолов [160], командовавший артиллерийскою ротою, проживал в Несвиже; он квартировал вместе с доблестным князем Дмитрием Владимировичем Голицыным, братом его — умным князем Борисом, и двоюродным их бра-

* Мы зашли слишком далеко, чтобы отступить; когда хотят сделать яичницу, нужно разбить яйца.

том — князем Егором Алексеевичем. Ермолов был поручен еще в войну 1794 года командиру Низовского полка полковнику Ророку, который, в свою очередь, передал его капитану того же полка Пышницкому (впоследствии начальнику дивизии); он подружился здесь с подпоручиком Низовского полка князем Любецким, известным по своим высоким способностям и обширным сведениям [161].

Александр Михайлович Каховский, единоутробный брат А. П. Ермолова, столь замечательный по своему необыкновенному уму и сведениям, проживал спокойно в своей деревне Смолевичи, находившейся в сорока верстах от Смоленска, где был губернатором Тредьяковский, сын известного пииты, автора «Телемахиды». Богатая библиотека Каховского, его физический кабинет, наконец празднества, даваемые им, привлекали много посетителей в Смолевичи, куда молодой Ермолов прислал шесть маленьких орудий, взятых им в Праге после штурма этого предместия, и небольшое количество пороха, коим воспользовался хозяин для делания фейерверков. Независимое положение Каховского, любовь и уважение, коими он везде пользовался, возбудили против него, против его родных и знакомых — недостойного Тредьяковского, заключившего братский союз с презренным Линденером, любимцем императора Павла. Каховский и все его ближайшие знакомые были схвачены и посажены в различные крепости под тем предлогом, что будто бы они умышляли против правительства; село Смолевичи с библиотекою и физическим кабинетом было продано с публичного торга, причем каждый том сочинения и каждый инструмент были проданы порознь; Линденер удержал у себя из вырученной суммы двадцать тысяч рублей, а Тредьяковский пятнадцать тысяч рублей. Село Смолевичи досталось Реаду. Во время отступления наших войск от западной границы, в первую половину Отечественной войны, Ермолов, проходивший со штабом первой армии чрез Смолевичи, нашел здесь много книг с гербом Каховского.

Между тем гроза, разразившаяся над Каховским, не осталась без последствий и для Ермолова, которого было приказано арестовать. Отданный под наблюдение поручика Ограновича, он был заперт в своей квартире, причем все окна, обращенные на улицу, были наглухо забиты и к дверям был приставлен караул; одно лишь окно к стороне двора осталось отворенным. Вскоре последовало приказание о том, чтобы отвезти Ермолова на суд к Линденеру, проживавшему в

Калуге; невзирая на жестокие морозы, Ермолов был посажен с Ограновичем в повозку, на облучке которой сидело двое солдат с обнаженными саблями, и отправлен чрез Смоленск в Калугу. Остановившись для отдыха в Смоленске, Ермолов был предупрежден губернским почтмейстером, давним приятелем его семейства, о презренных свойствах Линденера, не любившего щадить кого бы то ни было. Между тем прислано было из С.-Петербурга высочайшее повеление о прощении подсудимых, вина которых была даже в Петербурге найдена ничтожною. Приезд Ермолова в Калугу, где он остановился у дома Линденера, возбудил всеобщее любопытство. Линденер, будучи в то время нездоров, приказал привести к себе в спальню Ермолова, которому было здесь объявлено высочайшее прощение. Линденер почел, однако, нужным сделать строгий выговор Ермолову, которого вся вина заключалась лишь в близком родстве и дружбе с Каховским; заметив удивление на лице Ермолова, Линденер присовокупил: «Хотя видно, что ты многого не знаешь, но советую тебе отслужить пред отъездом молебен о здравии благодетеля твоего — нашего славного государя». Приняв во внимание советы многих, утверждавших, что если им не будет отслужен молебен, то он вновь неминуемо подвергнется новым преследованиям, Ермолов, исполнив против воли приказание Линденера, отправился с Ограновичем в обратный путь.

Между тем коварный Линденер, донося государю о приведении в исполнение его воли, изъявил, однако, сожаление, что его величество помиловал *шайку разбойников*, заслуживающих лишь строжайшего наказания. Ермолов, возвратившись к своей роте, оставался спокойным в течение пятнадцати дней, но прибывшему после того фельдъегерю было приказано доставить его в С.-Петербург со всеми его бумагами; так как опасались бегства обвиненного, то фельдъегерю было приказано оказывать ему дорогою всевозможное внимание. Прибыв в Царское Село, Ермолов и его спутник спокойно обедали и оставались здесь до наступления темноты; введенный в заблуждение ласковым обращением фельдъегеря, Ермолов полагал, что государь имел намерение дать ему новое назначение, но когда ему было объявлено, что они прибудут в С.-Петербург лишь ночью, дабы не быть никем узнанным, он убедился в том, что его здесь ожидало.

Остановившись сперва у квартиры генерал-прокурора Лопухина на Гагаринской пристани, они были пересланы в дом, занимаемый Тайною канцеляриею, находившейся на Англий-

ской набережной. Вследствие приказания старшего чиновника этой канцелярии Ермолова повезли на время в Петропавловскую крепость, где заперли в каземат, находившийся под водою в Алексеевском равелине. Комната, в которой он был заключен под именем преступника № 9, имела шесть шагов в поперечнике и печку, издававшую сильный смрад во время топки; комната эта освещалась одним сальным огарком, которого треск, вследствие большой сырости, громко раздавался, и стены ее от действия сильных морозов были покрыты плесенью. Наблюдение за заключенными было поручено Сенатского полка штабс-капитану Иглину и двум часовым, неотлучно находившимся в комнате. Весьма часто, когда Ермолов обращался с каким-либо вопросом к одному из них, наиболее добродушному, он получал в ответ: «Не извольте разговаривать; нам это строго запрещено; неравно это услышит мой товарищ, который тотчас все передает начальству». После трехнедельного заключения он был повезен, в 7 часов утра, к Лопухину, у которого он застал несколько лиц в анненских лентах. Лопухин, строго приказав ему ничего не таить во время допроса, велел провести его в свою канцелярию; пройдя через ряд темных комнат, он вступил в ярко освещенный кабинет, где нашел чиновника Макарова, некогда коротко знакомого с отцом его, и встрече с коим в этом месте немало удивился.

По совету Макарова, Ермолов написал на имя государя письмо, которое, будучи сообща исправлено, было им переписано начисто. Хотя оно было несколько раз прочитано и по возможности исправлено, но от внимания сочинителя и читателей ускользнуло одно выражение, которое, возбудив гнев Павла, имело для Ермолова самые плачевные последствия. В начале письма находилось следующее: «Чем мог я заслужить гнев моего государя?» Прочитав письмо, государь приказал вновь заключить Ермолова в Алексеевский равелин, где он уже оставался около трех месяцев.

По прошествии этого времени Ермолову было приказано одеться потеплее и готовиться к дальней дороге; ему были возвращены: отобранное платье, белье, тщательно вымытое, и принадлежавшие ему сто восемьдесят рублей. В подорожной курьера не было обозначено место ссылки, но сказано было лишь: «С будущим». На все вопросы Ермолова курьер, который был родом турок, долго хранил упорное молчание; он был окрещен и облагодетельствован дядею отца Ермолова. Узнав о том, что он едет с родственником своего благодетеля,

курьер, сделавшись весьма ласковым с ним, уведомил его, что ему было приказано передать его костромскому губернатору, почтенному и доброму Николаю Ивановичу Кочетову, для дальнейшей отсылки в леса Макарьева на Унже. Будучи доставлен к губернатору, Ермолов узнал в сыне его бывшего сотоварища своего по московскому университетскому пансиону; по просьбе своего сына благородный Кочетов представил в Петербург, что в видах лучшего наблюдения за присланным государственным преступником он предпочел оставить его в Костроме. Это распоряжение костромского губернатора относительно Ермолова было одобрено в С.-Петербурге.

Здесь Алексей Петрович встретился и долго жил с знаменитым впоследствии Матвеем Ивановичем Платовым, имевшим уже восемь человек детей. Платов, уже украшенный знаками св. Анны 1-й степени, Владимира 2-й степени, св. Георгия 3-го класса, был сослан по следующей причине: государь, прогневавшись однажды на генерал-маиоров Трегубова, князя Алексея Ивановича Горчакова и Платова, приказал посадить их на главную дворцовую гауптвахту, где они оставались в течение трех месяцев. Платов видел во время своего ареста следующий сон, который произвел на него сильное впечатление: «Закинув будто бы невод в Неву, он вытащил тяжелый груз; осмотрев его, он нашел свою саблю, которая от действия сырости покрылась большою ржавчиною». Вскоре после того пришел к нему генерал-адъютант Ратьков (этот самый Ратьков, будучи бедным штаб-офицером, прибыл в Петербург, где узнал случайно один из первых о кончине императрицы; тотчас поскакал с известием о том в Гатчину, но, встретив уже на половине дороги императора Павла, поспешил поздравить его с восшествием на престол. Анненская лента, звание генерал-адъютанта и тысяча душ крестьян были наградами его усердия). Ратьков принес, по высочайшему повелению, Платову его саблю, которую Платов вынул из ножен, обтер об мундир свой и воскликнул: «Она еще не заржавела, теперь она меня оправдает...» Ратьков, видя в этом намерение бунтовать казаков против правительства, воспользовался первым встретившимся случаем, чтобы донести о том государю, который приказал сослать Платова в Кострому. Между тем Платов, выхлопотавший себе отпуск, отправился чрез Москву на Дон, но посланный по высочайшему повелению курьер, нагнав его за Москвой, повез в Кострому.

Однажды Платов, гуляя вместе с Ермоловым в этом городе, предложил ему, после освобождения своего, жениться



Английская карикатура на Павла I (1799 г.)

на одной из своих дочерей; он, в случае согласия, обещал назначить его командиром Атаманского полка. Платов, изумлявший всех своими практическими сведениями в астрономии, указывая Ермолову на различные звезды небосклона, говорил: «Вот эта звезда находится над поворотом Волги к югу; эта — над Кавказом, куда бы мы с тобой бежали, если бы у меня не было столько детей; вот эта над местом, откуда я еще мальчишкою гонял свиней на ярмарку».

Ермолов, воспользовавшись своим заточением, приобрел большие сведения в военных и исторических науках; он также выучился весьма основательно латинскому языку у соборного протоиерея и ключаря Егора Арсеньевича Груздева, которого будил ежедневно рано словами: «Пора, батюшка, вставать: Тит Ливий нас давно уже ждет».

Вскоре Платов был прощен и вызван в Петербург. Так как он был доставлен в Петербург весьма поздно вечером, то его, по приказанию Лопухина, свезли на ночь в крепость, где он был посажен рядом с врагом своим графом Денисовым. Так как государь должен был принимать его на другой день, то он, за неимением собственного мундира, надел мундир Денисова, с которого спороли две звезды. Государь был весьма милостив к Платову, получившему приказание следовать чрез Оренбург в Индию.

Между тем правитель дел инспектора артиллерии, маиор Казадаев, женатый на дочери генерала Резвого, любя Ермолова, советовал ему написать жалобное письмо к свояку своему, графу Ивану Павловичу Кутайсову (женатому на другой дочери Резвого), который ручался в том, что выхлопочет ему полное прощение и возвращение всего потерянного. При этом случае упрямство, коим всегда отличался Ермолов, обнаружилось в полном блеске. Хотя он благодарил Казадаева за его дружеское участие, но, вместе с тем, отказался писать к графу Кутайсову. Таким образом он отказался от царского прощения, которое по ходатайству графа Кутайсова не замедлило бы последовать, и тем обрекал себя на заточение, которое могло быть весьма продолжительным.

В это время проживал в Костроме некто Авель, который был одарен способностию верно предсказывать будущее; находясь однажды за столом у губернатора, Авель предсказал день и час кончины императрицы Екатерины с необычайною верностию. Простившись с жителями Костромы, он объявил им о намерении своем поговорить с государем; он был, по

приказанию Павла, посажен в крепость, но вскоре выпущен. Возвратившись в Кострому, он предсказал день и час кончины Павла. Добросовестный и благородный исправник, подполковник Устин Семенович Ярлыков, бывший адъютантом у генерала Воина Васильевича Нащокина, поспешил известить о том Ермолова. Все предсказанное Авелем буквально сбылось. Авель находился в Москве во время восшествия на престол Николая; он тогда сказал о нем: «Змей проживет тридцать лет».

По вступлении на престол императора Александра формуляр Ермолова, который был вовсе исключен из службы, был найден с большим трудом в главной канцелярии артиллерии и фортификации. Граф Аракчеев пользовался всяким случаем, чтобы выказать свое к нему неблаговоление; имея в виду продержать его по возможности долее в подполковничьем чине, граф Аракчеев переводил в полевую артиллерию ему на голову либо отставных, либо престарелых и неспособных подполковников. Однажды конная рота Ермолова, сделав переход в двадцать восемь верст по весьма грязной дороге, прибыла в Вильну, где в то время находился граф Аракчеев. Не дав времени людям и лошадям обчиститься и отдохнуть, он сделал смотр роте Ермолова, которая быстро вскакала на находящуюся вблизи высоту. Аракчеев, осмотрев конную выправку солдат, заметил беспорядок в расположении орудий. На вопрос его: «Так ли поставлены орудия на случай наступления неприятеля?» — Ермолов отвечал: «Я имел лишь в виду доказать вашему сиятельству, как выдержаны лошади мои, которые крайне утомлены». «Хорошо,— отвечал граф,— содержание лошадей в артиллерии весьма важно». Это вызвало следующий резкий ответ Ермолова в присутствии многих зрителей: «Жаль, ваше сиятельство, что в артиллерии репутация офицеров зависит от скотов». Эти слова заставили взбешенного Аракчеева поспешно возвратиться в город.— Это сообщено мне генералом Бухмейером.

Во время отступления первой армии к Смоленску Ермолов, увидя, что многие отставшие солдаты дозволяли себе грабить встречаемые ими на пути церкви, требовал примерного наказания виновных. Вследствие отданного Барклаем приказания главнейшие преступники были повешены. Так как приговор был приведен в исполнение 22 июля, то цесаревич, не раз упрекавший за это Ермолова, говорил: «Я никогда не прощу

вам, что у вас в армии в день именин моей матушки было повешено пятнадцать человек».— Это мне сообщено Ермоловым и Курутою.

Отправляя князя Волконского в армию, государь сказал ему: «Узнай, отчего при сдаче Москвы не было сделано ни одного выстрела; спроси у Ермолова, он должен все знать». Ермолов, избегая встречи с князем Волконским, уехал на время из штаба.

Однажды Платов сказал в 1812 году Ермолову, называвшему Вольцогена «wohl-gezogen»: * «Пришли ты мне этого скверного немца-педанта; я берусь отправить его в авангардную цепь, откуда он, конечно, не вернется живым».

После сражения при Бриенне государь, проезжая сквозь ряды войск, отдававших ему честь, сказал Ермолову следующие замечательные слова: «В России все почитают меня весьма ограниченным и неспособным человеком; теперь они узнают, что у меня в голове есть что-нибудь». Когда его величество повторил это же самое в Париже, Ермолов возразил ему: «Подобные слова редки в устах частных людей; но они несравненно реже встречаются у государей. Они тем более удивительны, что в настоящую великую эпоху слава вашего величества не уступает славе величайших монархов в истории».

В Париже Ермолов увидал в числе представлявшихся нашему государю генерала Лекурба, человека исполинского роста, одетого в мундир времен республики. Он разговорился с ним о знаменитой кампании его в Граубиндене. Лекурб сказал ему громко, указывая на французских маршалов, тут находившихся: «Je ne voudrais pas de ces pleutres-là pour des chefs de demi-brigades» **.

В 1815 году Ермолов, возвращавшийся из Парижа, остановился в Эрфурте; он обласкал хозяина дома, где ему отведена была квартира. Хозяин, будучи тем тронут, дал ему письмо к главе иллюминатов Вейсгаупту, проживавшему в Готе. Пользуясь репутацией весьма либерального человека, Ермолов, не желая дать многочисленным врагам своим нового

* Хорошо воспитанный *(нем.)*.

** Я не хотел бы видеть этих трусов командующими и половиной бригады.

оружия, не поехал в Готу; посланный им туда генерал Писарев был обласкан Вейсгауптом, который не сказал ему, однако, ничего особенного.

Однажды, в 1815 году, государь, оставшись недовольным Ермоловым за то, что он не прибыл к обеденному столу его величества по причине большого количества бумаг, оказывал ему в продолжение нескольких дней холодность; генерал-адъютант барон Федор Карлович Корф говорил по этому случаю: «Хотя государь теперь недоволен Ермоловым, но он ему скоро простит; быть ему нашим фельдмаршалом и пить нам от него горькую чашу».

Первые неудовольствия между Ермоловым и Паскевичем начались в этом же 1815 году; Ермолов, находя дивизию Рота лучше обученною, чем дивизия Паскевича, призвал первую в Париж для содержания караулов, присоединив к ней прусский полк из дивизии Паскевича; так как он самого Паскевича не вызвал, то это глубоко оскорбило сего последнего.

Аракчеев сказал однажды Ермолову: «Много ляжет на меня незаслуженных проклятий».

Ермолов, произведенный в генералы-от-инфантерии в 1818 году, чрез десять лет после производства своего в генерал-маиоры, не принадлежал, однако, никогда к числу особенных фаворитов государя. Граф Аракчеев в поздравительном письме своем от 2 августа 1818 года по этому случаю писал ему между прочим: «Когда вы будете произведены в фельдмаршалы, не откажитесь принять меня в начальники главного штаба вашего».

Ермолов сказал однажды государю: «Мои поселения на Кавказе гораздо лучше ваших; мои необходимы для края, где по причине недостатка в женщинах развелось в больших размерах мужеложство. Моим придется разводить виноград и сарачинское пшено, а на долю ваших — придется разведение клюквы». По мере приближения к Кавказу этих рот их оставляли в течение года на Кавказской линии, где они приучались постепенно к жаркому климату и зарабатывали себе деньги.

Граф Аракчеев и князь Волконский, видя, что расположение государя к Ермолову возрастает со дня на день, воспользовались отъездом его в Орловскую губернию, чтобы убедить

его величество, что Ермолов желает получить назначение на Кавказ. Ермолов, вызванный фельдъегерем в Петербург, узнал о своем назначении; государь, объявив ему лично об этом, сказал ему: «Я никак не думал, чтобы тебе такое назначение могло быть приятно, но я должен был поверить свидетельству графа Алексея Андреевича и князя Волконского. Я не назначил ни начальника штаба, ни обер-квартирмейстера, потому что ты, вероятно, возьмешь с собой Вельяминова и Иванова». Действительно, оба эти генерала, из которых второй погиб преждевременно жертвою ипохондрии, были утверждены в этих должностях.

Ермолов, опоздав однажды к обеденному столу на Каменном острове, вопреки приглашения высланного придворного чиновника, возвратился домой. Государь, увидав его вскоре после того, сказал ему: «Мы сели ранее за стол по случаю отъезда матушки, но я велел тебя непременно звать». Ермолов отвечал на это: «Я не люблю употреблять во зло чье бы то ни было внимание и беспокоить кого бы то ни было, так как я знаю, что вы не дозволили бы себе не встать из-за стола *для того, чтобы меня встретить, я решился уехать».* Государь отвечал: «Я сделал бы то же самое».

Ермолов, страдая рожею на ноге в 1821 году, просил однажды государя назначить адъютанта своего, молодого и неимоверно щедро одаренного природою графа Самойлова, флигель-адъютантом; он просил его величество сделать это в память службы Потемкина и отца его. Тогда государь отвечал: «Ты знаешь, что мне никто не дает адъютантов, а я сам их выбираю, но я сделаю это не для деда, не для отца, а для тебя».

На Терекской линии, недалеко от Ставрополя, находилась шотландская колония анабаптистов-сепаратистов, которая значительно разбогатела продажею овощей. Ермолов, не желая терпеть здесь присутствия этих безнравственных людей, изгнал их и поселил вблизи Волжский казачий полк. Ермолов не разделял мнения графа Тормасова, некогда просившего, в видах распространения просвещения, пригласить в Грузию католических миссионеров. Прибывшему сюда члену базельского евангелического общества Зарамбе Ермолов сказал: «Вместо того чтобы насаждать слово божие, займитесь лучше насаждением табака». Основатель лондонского Библейского общества

Пинкертон обласканный нашим министром духовных дел, прибыл в Грузию, но Ермолов поспешил его выслать. С 1745 года существовала миссия, имевшая целию обращать в христианскую веру осетин, коих привлекали к тому различными подарками. Эта миссия, которую Ермолов называл *конной миссией,* сопровождаемая пятьюдесятью казаками, ежегодно стоила казне пятьдесят тысяч рублей. Главою миссии был архиепископ Досифей из фамилии Пуркеладзе (принадлежавший некогда князю Эристову); этот архиерей, будучи архимандритом, предводительствовал разбойниками и был ранен. По просьбе Ермолова миссия была вызвана, а Досифей выслан.

В 1820 году вспыхнуло в Имеретии возмущение вследствие противозаконных требований нашего духовенства; митрополит Феофилакт [162], человек отлично умный и способный, по приказанию князя Голицына [163] стал требовать у жителей возвращения земель, за пятьдесят лет перед тем розданных им в аренду духовенством. Ермолов громко порицал это, говоря: «Я слышу руку вора, распоряжающегося в моем кармане, но, схватив ее, я увидел, что она творит крестное знамение, и вынужден ее целовать». В отсутствие Ермолова губернатор Тифлиса Роман Иванович Ховен допустил духовенство обратиться к жителям с этим требованием. Вспыхнул мятеж, митрополит бежал, будучи охраняем двумя ротами; прочее духовенство заперлось в соборе, из которого вышел епископ Софроний (из фамилии князей Цулукидзе) в полном облачении, с крестом в руках, и с трудом усмирил мятеж. Хотя епископ Софроний, напуганный возмутителями, и подписал одобрение их воззвания, но за мужество, высказанное им, впоследствии он был награжден анненскою лентою по ходатайству Ермолова, который приказал вывезти с фельдъегерем двух митрополитов — *Геннателя* и *Кукателя.*

При предместнике Ермолова начальник Кавказской линии Дельпоццо поселил близ Нарзана и реки Сунжи воинственный и враждебный чеченцам народ ингушей, исповедывавших магометанскую веру. Находясь по торговым делам в Тифлисе, некоторые из их старшин приняли христианскую веру. Возвратясь к себе, они увидели себя поставленными в неприятное положение: прочие единоплеменные им ингуши стали их чуждаться. Вновь обращенные выехали на линию и стали просить Ермолова дозволить им вновь обратиться в магоме-

танство, на что он отвечал им: «Ступайте к священникам и поговорите с ними». Они вскоре вновь сделались магометанами.

Ермолов просил выслать в Грузию тридцать три семейства немецких колонистов, хорошо изучивших земледелие; но вместо этого числа ему прислали пятьсот; один переезд их до Тифлиса стоил казне около миллиона рублей. Ермолов же приготовил на Иоре близ Мухровани лишь тридцать три дома; прибывшие немцы были анабаптисты, незнакомые с земледелием, которые менялись между собою женами; двести из них входили некогда в состав германского контингента Наполеона. Они, не желая подчиняться местным властям, хотели быть под покровительством императрицы Марии Федоровны; Ермолов потребовал их к себе и объявил, что если они не дозволят себя наказывать за совершаемые ими преступления, то он немилосердно станет предавать суду виновных. Они, посоветовавшись с своими старшинами, дозволили наказывать тех из них, которых вины будут обнаружены. Вместе с тем Ермолов писал государю: «Прибывшие немцы неспособны к земледелию; переезд их в Грузию стоит весьма дорого, но пусть убыток падет на казну за неосмотрительный вывоз иностранцев».— Я это знаю от Ермолова, Марченки и некоторых приближенных государя.

Бо́льшая часть наших писателей, несмотря на известное к Ермолову неблаговоление Николая Павловича, восхваляли Ермолова в прозе и в стихах. Незабвенный наш А. С. Пушкин посещал его несколько раз в Орле; Ермолов сказал ему однажды: «Хотя Карамзин есть историк-дилетант, но нельзя не удивляться тому терпению, с каким он собирал все факты и создал из них рассказ, полный жизни». В ответ на это Пушкин сказал ему: «Читая его труд, я был поражен тем детским, невинным удивлением, с каким он описывает казни, совершенные Иоанном Грозным, как будто для государей это не есть дело весьма обыкновенное».

Хотя Ермолов не был никогда облечен властью главнокомандующего, но он присвоил себе права, превышавшие власть этих уполномоченных лиц; он, например, сам назначал начальников на Кавказскую линию, в Абхазии и в Дагестане. Оставшись вполне довольным образом действий шамхала тарковского, он, священным именем государя, наградил его семью тысячами подданных; таким же образом он наградил Аслан-хана кюрин-

ского — ханством Казикумыхским, заключавшим в себе не менее пятнадцати тысяч жителей, а Бековича и Татар-хана наградил обширными землями в Кабарде. Он, вместе с тем, приобрел для казны почти миллион десятин земли.

Находясь в 1821 году в Петербурге, Ермолов прибыл 30 августа во дворец для принесения поздравлений государю в день его тезоименитства. Государь, сказавший ему по этому случаю: «Ты во все царствование мое в первый раз на моих именинах»,— хотел возвести его и Раевского в графское достоинство; Ермолов, не желавший того, громко говорил, что оно ни к кому так мало не пристало, как к нему, и что он в этом не нуждается. Вследствие этого указа о том и не последовало.

Известный статс-секретарь при Потемкине — Василий Степанович Попов — упрекал его за то, что он отказался от пожалованной аренды в сорок тысяч рублей на двадцать лет [164]. Ермолов не желал принять от Попова ста десятин земли в Крыму, которые этот последний предлагал ему; Попов приказал даже выстроить дом для Ермолова, согласившегося принять лишь пять десятин земли. Граф Воронцов, находясь с ним также в коротких отношениях и зная благоволение императора Александра к Ермолову, предлагал также выстроить ему дом на своей земле; но со вступлением на престол Николая Воронцов вдруг прервал все свои с ним дружеские сношения и не упоминал более о своем прежнем предложении. Воронцов желал овладеть пограничным ему клоком земли, принадлежащим сыну В. С. Попова, где протекал ручей воды, в которой ощущается вообще большой недостаток в Крыму. Не успев склонить Попова (сына статс-секретаря и бывшего адъютанта Ермолова) к уступке этого участка, Воронцов написал его величеству донос, в коем он называл Попова крайне либеральным человеком. Попов был сослан в Вятку, где и оставался в продолжение нескольких лет. Вследствие просьб Ермолова и других лиц граф Бенкендорф, воспользовавшись отъездом Воронцова за границу и убедившись чрез жандармского офицера в несправедливости обвинений, исходатайствовал прощение Попову, который вскоре после умер.

Император Александр, приказавший посылать Ермолову всю нашу дипломатическую переписку с прочими дворами, написал ему однажды между прочим: «Quant à vos principes si larges» *.

---

* Что касается ваших столь широких принципов.

В бытность Ермолова в Султании старшая жена шаха передала ему письмо к императрице Марии Федоровне, в коем находилось следующее: «Ты вмещала в себе коробку, где находились первые перлы твоей империи». Письмо ее к императрице Елизавете Алексеевне заключало в себе: «Пусть зефир дружбы моей навевает под широкие полы твоего пышного платья».

Ермолов, самовольно отправивший Муравьева в Хиву, требовал от хана, чтобы он ему писал как старшему, прикладывал свою печать сверху. Ермолов рассказывал государю, что хан хивинский в бумагах своих к нему величал его следующим образом: «Великодушному и великому повелителю стран между Каспийским и Черным морями».

Граф Сергий Кузьмич Вязмитинов был человек не глупый, но вялый и нерасторопный; Ермолов называл всегда Вязмитинова, не бывшего никогда военным человеком, *тетушкой Кузминишной*.

Василий Степанович Попов и Дмитрий Прокофьевич Трощинский были люди замечательных способностей и обширного ума; по мнению их, надлежало учредить департаменты Сената не в столице, но в различных городах, чрез что значительно бы ускорилось течение дел.

Граф Илларион Васильевич Васильчиков — человек вполне благородный, благонамеренный, мужественный, но не отличающийся, к сожалению, ни большим умом, ни сведениями. Ермолов, отдававший всегда полную справедливость замечательным доблестям Васильчикова, называл всегда этого генерала, в эпоху его могущества, *матушкой-мямлей*. Во время войны 1812 года, близ Вильны, Ермолов помирил Васильчикова с пылким, но благородным Сеславиным, который, не желая сносить начальнических выходок Васильчикова, наговорил ему много неприятностей. Командуя впоследствии гвардией, Васильчиков не умел предупредить истории Семеновского полка, которая имела для многих столь плачевные последствия. Извещенный в 1822 году библиотекарем гвардейского штаба Грибом, прозвавшимся Грибовским, человеком весьма умным, коварным и алчным, о существовании заговора, он пренебрег вначале этим известием. Узнав о том впоследствии обстоятельнее от брата своего, бесстрашного Дмитрия Васильчикова,

Илларион Васильевич просил зятя своего, князя Дмитрия Владимировича Голицына, известить его тотчас: находятся ли подозреваемые лица в Москве? По получении удовлетворительного ответа Васильчиков, приказав Грибовскому изложить все им рассказанное на бумаге, отправил все к государю, который находился в это время на конгрессе в Вероне. После кончины его величества этот список найден в шкатулке государя, который сделал на нем свои замечания карандашом. Нынешний государь, вопреки представлениям Васильчикова, назначил Грибовского губернатором; но, будучи обвинен в страшных злоупотреблениях, он вскоре был удален со срамом.

Граф Аракчеев находился с 1808 года в весьма хороших сношениях с Ермоловым; оставшись недоволен отзывом Ермолова о военных поселениях, впервые устроенных близ Могилева, он немного охладел к нему.

Незаконный сын Аракчеева, Шумский, одаренный необыкновенными способностями, был, к сожалению, горьким пьяницею; эта болезнь развилась в нем, по показанию медиков, вследствие болезни солитера. Император Николай, разжаловав его из флигель-адъютантов, прислал в Грузию, где Ермолов имел о нем большое попечение. Граф Аракчеев, называемый Закревским «Змеей, что на Литейной живет», прислал последний поклон Ермолову чрез губернатора Тюфяева. Он велел ему передать: «Весьма желал бы с вами видеться, но в обстоятельствах, в коих мы с вами находимся, это невозможно». Этот отлично умный, хотя грубый и кровожадный солдат нередко пугал военные поселения именем достойного своего адъютанта Клейнмихеля. Найдя после смерти своей любовницы Настасьи много писем с подарками, он собрал их в одну комнату; пригласив к себе всех просителей, имена которых находились в конце писем, он сказал им: «Это ваши вещи, пусть каждый возьмет свое».

Министр финансов граф Канкрин говорил Николаю Павловичу: «Хотя Ермолов никогда не воображал быть администратором, но он вник в нужды края и многое, им сделанное на Кавказе, очень хорошо; не надобно было разрушать того, что было им сделано, а лишь дополнить».

Ермолов предложил в Государственном совете уничтожить в сенатских департаментах звание первоприсутствующих, кои, по его мнению, могли иметь в виду лишь одно — угождать министру юстиции.

Он находился вполне в отличных сношениях с нашим знаменитым адмиралом графом Мордвиновым, у которого граф А. И. Чернышев, столь способный на всякий благородный подвиг, именем рассудительного Николая похитил в его присутствии все бумаги; Ермолов защищал в совете дело его о Байдарской долине (купленной им у Высоцкого, которому она досталась в наследство после князя Потемкина) и которую самым незаконным образом оспаривал Воронцов именем татар крымских. Престарелый адмирал, редко являвшийся в совет, лишь тогда подписывал приносимые ему на дом дела, когда встречал подпись Ермолова.

Ермолов был всегда в отличных сношениях с адмиралом Шишковым; когда он ослеп и оставил министерство, то жена его, родом полька, говорила: «Один Ермолов остался нам верным».

Ермолов, выехавший с Кавказа в 1821 году, узнав в земле донских казаков, что генерал А. И. Чернышев, известный по своему примерному хвастовству и презренным душевным свойствам, отдал под суд генерала А. К. Денисова, решился спасти его. Чернышев, о котором Александр Львович Нарышкин сказал государю вскоре после возвращения его с Дона: «Si le général n'a pas le don de la parole, il a au moins la parole du Don *, нашелся вынужденным, вследствие разговора своего с Ермоловым, освободить Денисова от суда. Хотя Денисов, увидав после того Ермолова, благодарил за его ходатайство, но он при этом сказал следующее: «Я благодарю вас за себя, но не за казаков, потому что, если б суд состоялся, я не преминул бы выставить все глупости и злоупотребления Чернышева, о коих я теперь вынужден молчать».

Генералу Чернышеву удалось совершить замечательные подвиги в 1812 и 1813 годах, слишком преувеличенные и превознесенные его презренным холопом Михайловским-Данилевским. Чернышев омрачил, к сожалению, все свои подвиги непомерным хвастовством и полным отсутствием скромности.

Ермолов прибыл в 1821 году в Петербург, куда ожидали государя из Германии; в это время возвратился из Сибири знаменитый Мих. Мих. Сперанский. Так как большинство придвор-

* Непереводимый каламбур: «Если генерал не имеет дара речи, то он, по крайней мере, имеет право говорить от имени Дона».

ных было враждебно расположено к Сперанскому, то Ермолов при посредничестве отлично-способного чиновника своего Рыхлевского (назначенного государем вскоре после того олонецким губернатором) сошелся с ним. Вскоре пришло известие о новом конгрессе и о том, что государь вернется лишь чрез восемь месяцев. Ермолов, желая видеть государя, писал князю Волконскому письмо, в котором он, между прочим, говорил, что непринятие его государем будет почтено в Грузии знаком неблаговоления к нему, а потому курс его в этой стране значительно упадет. Он был вскоре после того вызван и назначен главнокомандующим союзною армиею в Италии. Когда он представлялся государю, его величество спросил его: «Ты, верно, знал о своем назначении; я знаю это из письма твоего к князю Волконскому». На это Ермолов отвечал: «Я имел нужду видеть ваше величество, но нисколько не ожидал получить это назначение, тем более что у вас есть много генералов, несравненно более меня достойных и знаменитых». На вопрос его величества: «Знаешь ли ты Сперанского?» — он отвечал: «Я был слишком ничтожен, чтобы обратить на себя внимание столь значительного лица, но узнав его теперь короче, я имел случай оценить его достоинства». Государь сказал на это: «Он действительно усердный, способный и полезный человек; если б война не началась так внезапно, многого бы не случилось. Хотя я во многом перед ним виноват, но я не пропускал ни одного случая, чтобы не посылать ему поклонов в ссылку». Когда Ермолов передал впоследствии эти слова Сперанскому, тот отвечал ему: «Государь никогда не почитал себя виновным относительно меня, а я получал его поклоны лишь весьма редко; если бы я уступил и поддался внушениям некоторых лиц (которых он не хотел назвать), многое бы изменилось».

Почтенный Федор Петрович Уваров советовал Ермолову представить государю необходимость уменьшения состава нашей армии, требующей огромных издержек. Государь, любивший употреблять слова: prépondérance politique *, прогнал от себя графа Петра Александровича Толстого, который решился ему о том говорить. Вследствие настоятельных советов Уварова, говорившего ему: «Хотя государь выгнал от себя графа Толстого, но он тебя выслушает»,— Ермолов навел незаметно разговор на этот предмет, но государь возразил на это: «Я с тобой вполне согласен, что надлежит уменьшить число войск,

* политический перевес.

но ты, вероятно, не посоветуешь мне сделать это теперь, когда умы еще не совсем успокоились и армия нам нужна pour notre prépondérance politique» *. Ермолов предложил государю в Лайбахе допустить гласность в военных судах, на что его величество отвечал: «Надо об этом подумать; надо бы допустить гласность и в гражданских судах, где она может быть еще полезнее».

Князь Любецкий, оканчивавший в 1821 году в Вене счеты между Россией и Австрией, сказал Ермолову: «Ты думаешь, что ты прибыл сюда лишь для содействия австрийцам; нисколько; твой приезд для меня необходим и крайне выгоден. Мы остаемся должны Австрии за прошлые кампании, но с твоим приездом я поверну дела в нашу пользу». И точно, дела были поведены Любецким таким образом, что император Франц нашелся вынужденным прибегнуть к великодушию нашего государя.

Во все время царствования императора Александра Ермолов, никогда не просивший его о себе, любил ходатайствовать о других; он излагал подобного рода просьбы в письмах своих к князю Волконскому, Кикину и Меллер-Закомельскому. Зная, как много пострадало во время вторжения французов от заразительных болезней имение А. М. Каховского, и так как на основании существующих правил надлежало ему заплатить кварту или четвертую часть доходов, равно как и недоимки за несколько лет,— Ермолов просил графа Гурьева об уничтожении всего долга. Вследствие отказа графа Гурьева, отвечавшего, что он не смеет утруждать о том его величества, Ермолов написал одному из своих приятелей письмо, которое было прочитано государем. Это письмо оканчивалось словами: «Граф Гурьев почел нужным поручиться в том, что его величество недоступен чувству великодушия и справедливости, и просил меня потому не входить впредь с подобными просьбами». Государь, много смеявшийся во время чтения письма, повелел сложить с Каховского все недоимки и уничтожить все кварты.

Генерал Пестель, невзирая на неудачу свою под Багилами, в 1819 году, донес в Тифлис, что он одержал победу над горцами; так как он давно не получал наград, Ермолов ходатайствовал о награждении его знаками св. Анны 1-й степени. Когда истина обнаружилась и надлежало выслать Муравьева, ко-

* для нашего политического перевеса.

торый поправил дела, Ермолов советовал Пестелю отбыть в Россию. В письме своем к государю Ермолов, прося извинения в том, что он ввел его в заблуждение, присовокупил: «Пестель скоро будет иметь счастие лично представить вашему величеству свою неспособность».

Оставив недостроенную крепость Грозную, Ермолов двинулся к Карабудахкенту, близ которого находились огромные массы неприятелей; благодаря внезапной ночной атаке неприятель, занимавший сильную позицию, был обращен в бегство. Высланные из акушинского селения Меге пять представителей, увидав малочисленность русского отряда, наделали дерзостей шамхалу, угощавшему их обедом. Ермолов, советовавший шамхалу не выказывать своего неудовольствия, приказал после победы своей под Ловашами высланным старшинам строго наказать самого дерзкого из их посланных.

Ермолов, зная, что у шамхала Зухум-кадия существовало *канлы*, или кровомщение, к одному значительному жителю акушинскому, убедил его прекратить его и предать все дело полному забвению. По прочтении муллою молитвы и трекратных взаимных глажений бород мир между ними был установлен. В ауле Губдене Ермолов, имевший сначала также в виду помирить два враждебные семейства, отказался от того; они хотя объявили ему, что готовы исполнить его волю, но присовокупили, что потеряют после того всякое уважение жителей. Шамхал питал большую дружбу и глубокое уважение к Ермолову; жена его, которая была сестрою бывшего хана дербентского, взяла к себе старшего сына Ермолова, рожденного от туземки, и сама нянчилась с ним.

Ермолов сохранил в Грузии прежнее число агаларов, но Паскевич и его преемники значительно увеличили количество их. Ермолов, негодовавший на жителей аула Дадал-Юрт, находившегося близ Терека, за постоянное содействие, оказываемое ими хищникам, вторгшимся в наши земли, готовил им страшное наказание. Усыпив их ласковым обращением, он внезапно окружил этот аул, овладел им, причем погибли все жители, за исключением детей; мужчины, не видя себе спасения, сами закалывали своих жен. Это подействовало на всех соседних жителей.

Объезжая в первый раз Кавказ, Ермолов прибыл в Дербент, где содержался под стражей Ибрагим-хан табасаранский с братом, которые, имея вражду с третьим братом, жившим в воль-

ной Табасарани и весьма враждебным нашему правительству, зарезали его самого, равно как и его беременную жену. Они были преданы суду и на основании высочайшей конфирмации, еще, впрочем, не объявленной им, надлежало одного повесить, а другого сослать в Сибирь. Ермолов, узнав, что они желали его видеть, потребовал их к себе. Объяснив ему ход дела, они присовокупили: «Хотя мы слышали, что мы уже приговорены к наказанию, но мы мстили брату не столько за себя, сколько за постоянные набеги в русские земли; дозволь одному остаться заложником, а другому сходить в горы для устройства дел». Ермолов, отпустив одного в горы, ходатайствовал о них пред государем, говоря, что надлежит принять во внимание дикие нравы виновных и постоянную преданность их России. Так как государь дозволил Ермолову поступить в этом случае по его благоусмотрению, он простил князей и этим приобрел в них России весьма полезных и преданных слуг.

Находясь всегда в весьма коротких сношениях со всеми участниками заговора 14 декабря, я не был, однако, никогда посвящен в тайны этих господ, невзирая на неоднократные покушения двоюродного брата моего Василия Львовича Давыдова. Он зашел ко мне однажды перед событием 14 декабря и оставил записку, которою приглашал меня вступить в Tugendbund, на что я тут же приписал: «Что ты мне толкуешь о немецком бунте? Укажи мне на русский бунт, и я пойду его усмирять». Эта записка была представлена нынешнему государю, который сказал: «Это видно, что Денис Давыдов ни о чем не знает».

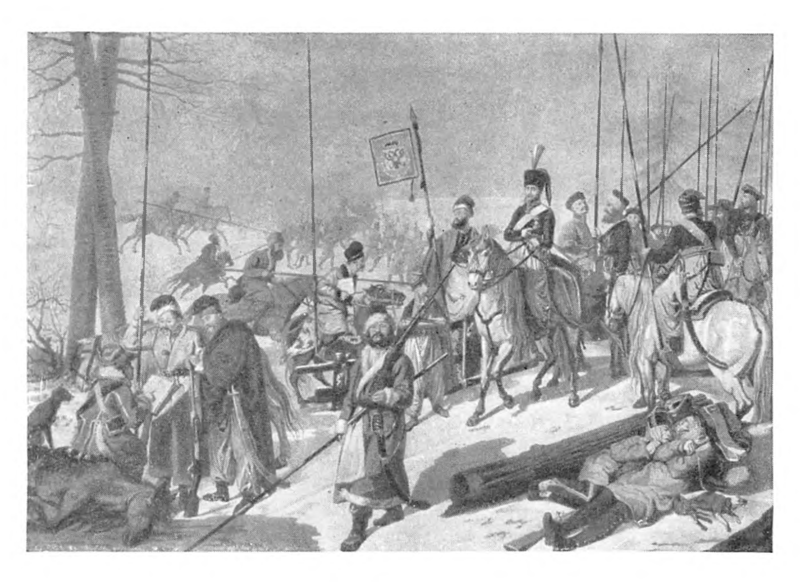
Странный характер у нашего нынешнего государя: иногда великодушен, но бо́льшею частью крайне злопамятен. Накануне казни главнейших заговорщиков 14 декабря он во весь вечер изыскивал все способы, чтобы придать этой картине наиболее мрачный характер: в течение ночи последовало высочайшее повеление, на основании которого приказано было барабанщикам бить во все время бой, какой употребляется при наказании солдат сквозь строй. Государь не изъявил согласия на просьбу графини Канкриной, ходатайствовавшей об отправлении в Сибирь лекаря для пользования сосланного больного брата ее, Артамона Муравьева.

Закревскому, которого государь всегда разумел лишь как верного исполнителя своих повелений, расширяли власть во время продолжительного отсутствия императора Александра за

границей и с ним князя Волконского. Я помню, как в нем постоянно в то время искали всесильные ныне граф Бенкендорф и П. Д. Киселев. Этот последний—человек умный и отменно любезный, никогда не был администратором; он был после Бородинского сражения назначен адъютантом к Милорадовичу лишь вследствие ходатайства Павла Христофоровича Граббе. Когда государь вернулся в 1821 году в Петербург, Ермолов спросил князя Волконского, к какой награде должен был быть представлен Закревский? Услыхав, что ему хотели дать лишь Владимира 2-й степени, Ермолов возразил, что, принимая во внимание обширные занятия Закревского как дежурного генерала, он почитает эту награду слишком ничтожною, тем более что это была лишь очередная награда, какую он мог получить во всякое другое время. Хотя Волконский, рассердившись, сказал ему: «Не прикажете ли дать ему андреевского ордена?», но, зная, что Ермолов довел бы об этом обстоятельстве до сведения государя, он исходатайствовал генерал-лейтенантский чин Закревскому, который по этому случаю обошел весьма многих.

Князь Багратион, имевший всегда большое влияние на Платова, любившего предаваться пьянству, приучил его в 1812 году к некоторому воздержанию от горчишной водки — надеждой на скорое получение графского достоинства. Платов часто осведомлялся у Ермолова, не привезен ли был в числе бумаг указ о возведении его в графское достоинство. Ермолову долгое время удавалось обманывать Платова, но атаман, потеряв наконец всякую надежду быть графом, стал ужасно пить; он был поэтому выслан из армии в Москву; Кутузов же, отправляясь в армию, вызвал его опять туда и в октябре того года доставил ему графский титул.

Фельдмаршал князь Паскевич, которому, конечно, никто не откажет в блистательном мужестве, хладнокровии в минуты боя, вполне замечательной заботливости о снабжении продовольствием армии и покровительстве, оказываемом им угнетенным полякам,— есть, однако, баловень судьбы. Прибыв на Кавказ, он нашел превосходные войска, созданные в течение десяти лет Ермоловым, умевшим воодушевить их духом суворовским. Он прибыл в армию, действовавшую против польских инсургентов, которою временно командовал умный и энергичный граф Толь. До его прибытия в армию один корпус перешел уже Вислу, а вся армия, хотя и значительно рассеянная по огромному пространству вследствие распоряжений Дибича,



Атаман Платов с казаками. Гравюра Ф. Тюгеля по рисунку Шаделя

намеревалась атаковать Варшаву. Несогласия, возникшие между жителями Варшавы, контрреволюция, вспыхнувшая там, и уныние, распространившееся по всему царству,— предвещали уже близкое торжество нашего оружия. Нельзя, однако, не воздать Паскевичу хвалу за все им совершенное, но не слепую и безусловную, какую требует он от многочисленных льстецов своих, но хвалу в пределах справедливости и законности. Оставаясь верным истине, я не могу не упомянуть о великих заслугах лиц, кои подготовили ему значительные материалы и много способствовали в одержании успехов; я тем более решаюсь обратить на них внимание моих читателей, что эти лица имели несчастие подвергнуться вполне недобросовестному приговору слишком пристрастного и недальновидного правительства.

А. С. Грибоедов, знаменитый автор комедии «Горе от ума», служил в продолжение довольно долгого времени при А. П. Ермолове, который любил его, как сына. Оценяя литературные дарования Грибоедова, но находя в нем недостаток способностей для служебной деятельности или, вернее, слишком малое усердие и нелюбовь к служебным делам, Ермолов давал ему продолжительные отпуски, что, как известно, он не любил делать относительно чиновников, не лишенных дарований и рвения. Вскоре после события 14 декабря Ермолов получил высочайшее повеление арестовать Грибоедова и, захватив все его бумаги, доставить с курьером в Петербург; это повеление настигло Ермолова во время следования его с отрядом из Червленной в Грозную. Ермолов, желая спасти Грибоедова, дал ему время и возможность уничтожить многое, что могло более или менее подвергнуть его беде. Грибоедов[165], предупрежденный обо всем адъютантом Ермолова Талызиным, сжег все бумаги подозрительного содержания. Спустя несколько часов послан был в его квартиру подполковник Мищенко для произведения обыска и арестования Грибоедова, но он, исполняя второе, нашел лишь груду золы, свидетельствующую о том, что Грибоедов принял все необходимые для своего спасения меры. Ермолов простер свою, можно сказать, отеческую заботливость о Грибоедове до того, что ходатайствовал о нем у военного министра Татищева.

После непродолжительного содержания в Петербурге, в главном штабе, Грибоедов был выпущен, награжден чином и вновь прислан на Кавказ. С этого времени в Грибоедове, которого мы до того времени любили как острого, благородного и талантливого товарища, совершилась неимоверная перемена.

Заглушив в своем сердце чувство признательности к своему благодетелю Ермолову, он, казалось, дал в Петербурге обет содействовать правительству к отысканию средств для обвинения сего достойного мужа, навлекшего на себя ненависть нового государя. Не довольствуясь сочинением приказов и частных писем для Паскевича (в чем я имею самые неопровержимые доказательства), он слишком коротко сблизился с Ванькой-каином, то есть Каргановым, который сочинял самые подлые доносы на Ермолова. Паскевич, в глазах которого Грибоедов обнаруживал много столь недостохвального усердия, ходатайствовал о нем у государя. Грустно было нам всем разочароваться насчет этого даровитого писателя и отлично острого человека, который вскоре после приезда Паскевича в Грузию сказал мне и Шимановскому следующие слова: «Как вы хотите, чтоб этот дурак, которого я коротко знаю, торжествовал бы над одним из умнейших и благонамереннейших людей в России; верьте, что *наш* его проведет, и Паскевич, приехавший еще впопыхах, уедет отсюда со срамом». Вскоре после того он говорил многим из нас: «Паскевич — несносный дурак, одаренный лишь хитростью, свойственною хохлам; он не имеет ни сведений, ни сочувствия ко всему прекрасному и возвышенному, но вследствие успехов, на которые он не имел никакого права рассчитывать, будучи обязан ими превосходным ермоловским войскам и искусным и отважным Вельяминову и Мадатову, он скоро лишится и малого рассудка своего».

Но в то же самое время Грибоедов, терзаемый, по-видимому, бесом честолюбия, изощрял ум и способности свои для того, чтобы более и более заслужить расположение Паскевича, который был ему двоюродным братом по жене. Дружба его с презренным Ванькою-каином, который убедил Паскевича, что Ермолов хочет отравить его, подавала повод к большим подозрениям. В справедливом внимании за все достохвальные труды, подъятые на пользу и славу Паскевича, Грибоедову было поручено доставить государю Туркманчайский договор. Проезжая чрез Москву, он сказал приятелю своему Степану Никитичу Бегичеву: «Я вечный злодей Ермолову» [166]. По ходатайству Паскевича Грибоедов был, согласно его желанию, назначен посланником в Тегеран, где он погиб жертвою своей неосторожности...

Предместник Грибоедова в качестве посланника в Персии, Мазарович, был человек отлично-способный и умный; будучи медиком, он, вследствие ходатайства Ермолова, был назначен первым постоянным посланником при персидском шахе. Гри-

боедов, состоявший некоторое время при нем в качестве советника, был человеком блестящего ума, превосходных способностей, но бесполезный для службы. Не зная никаких форм, он во время отсутствия Мазаровича писал бумаги в Тифлис, где ими возбуждал лишь смех в канцелярии Ермолова.

Однажды явился к Мазаровичу армянин, некогда захваченный персиянами в плен, бывший помощником Манучар-хана, хранителя сокровищ и любимца шаха, с просьбой исходатайствовать ему позволение возвратиться к нам в Грузию. Так как это могло дать повод к различным обвинениям, потому что, в случае пропажи чего-либо, наше посольство и армянин были бы подозреваемы в похищении шахских сокровищ, Ермолов советовал Мазаровичу убедить армянина отказаться от своего намерения.

Грибоедов, отправленный к государю с Туркманчайским договором, говорил, не стесняясь, мне, Шимановскому и весьма многим: [167] «Паскевич так невыносим, что я не иначе вернусь в Грузию как в качестве посланника при персидском дворе». Это желание Грибоедова, благодаря покровительству его нового благодетеля, исполнилось, но на его пагубу... Действия этого пылкого и неосмотрительного посланника возбудили негодование шаха и персиян. Он в лице шахского зятя Аллаяр-хана нанес глубокое оскорбление особе самого шаха. Грибоедов, вопреки советам и предостережениям одного умного и весьма способного армянина, служившего при нем в качестве переводчика, потребовал выдачи нескольких русских подданных — женщин, находившихся в гареме Аллаяр-хана в должности прислужниц. Это требование Грибоедова было, вероятно, предъявлено им вследствие ложного понимания вещей и с явным намерением доказать свое влияние и могущество у персидского двора. Хотя шах не мог не видеть в этом нарушения персидских обычаев, но, не желая отвечать на требование Грибоедова положительным отказом, он дозволил ему взять их самому; посланные в гарем конвойные привели пленниц в посольский дом. Персияне, видевшие в этом явное неуважение русских к особе шахского зятя, к самому шаху и к существующим народным обычаям,— взволновались. Вскоре вспыхнуло возмущение, вероятно, не без одобрения шаха; около сорока человек наших было убито, в том числе весьма много полезных лиц; спасся один бесполезный Иван Сергеевич Мальцов и с ним двое людей, вследствие особенного к нему расположения каких-то персиян, которые спрятали его в сундук на чердаке.

Фельдмаршал Паскевич оказал России и в особенности Кавказу неоцененную заслугу присоединением к нему некоторых провинций, но на выгоднейшую границу со стороны Персии указал Ермолов, который, будучи изгнан из службы, был поражен грубыми ошибками, коими был наполнен присланный из С.-Петербурга план с обозначением границы, какую надлежало требовать при заключении мира. Наше самонадеянное правительство, весьма мало понимающее нужды края, но никогда не почитающее необходимым прибегать к советам людей, известных по своей опытности и глубокому знанию дела, решилось само начертать новую границу: она должна была проходить в двадцати верстах от Тавриза чрез Хойское ханство, где палящий жар вынуждает природных жителей откочевывать летом в горы; один из пунктов, который надлежало укрепить и занять нашими войсками, находился на расстоянии половинного перехода от Тавриза к Тегерану. Занимая его, мы могли весьма легко пресечь сообщение между Тавризом, резиденциею наследника престола, и Тегераном, что вынуждало бы нас содержать огромную армию на Кавказе и потребовало бы значительных издержек. Правительство наше вовсе упустило из виду местечко Кульп, где добывается в большом количестве каменная соль и куда, до начатия последней войны, с разрешения шаха приходил ежегодно из Грузии караван под предводительством грузинского князя. Хотя Ермолов был изгнан из Грузии самым позорным образом и проживал в орловской деревне под присмотром земской полиции и наблюдением местных воинских властей, но он слишком пламенно любил свое отечество и край, коим он так славно управлял в течение десяти лет, чтобы не указать на ошибки правительства, которое, по его мнению, не могло заключить прочного мира на вышеизложенных условиях. Он говорил, что самые войска, расположенные на границах, коих правительство хотело требовать, подвергнутся губительному действию климата; он находил притом необходимым требовать уступки Кульпа. Правительство, оценив эти мудрые возражения, воспользовалось ими, но оно сочло излишним выразить Ермолову малейшую за то признательность. Границы наши со стороны Персии весьма хороши, но нельзя того же сказать относительно новой границы Кавказа со стороны Азиатской Турции.

Паскевич, при замечательном мужестве, не одарен ни прозорливостью, ни решительностью, ни самостоятельностью, свойственными лишь высоким характерам. Не отличаясь ни особенной твердостью духа, ни даром слова, ни способностью

хорошо излагать на бумаге свои мысли, ни уменьем привлекать к себе сердца ласковым обращением, ни сведениями по какой-либо отрасли наук, он не в состоянии постигнуть духа солдат и потому никогда не может владеть сердцами их. В настоящее время толпы низкопоклонных льстецов превозносят этого любимца и советника государева, приписывая ему качества и достоинства, коих никто и никогда в нем прежде не замечал. Паскевич до сорокапятилетнего возраста слыл храбрым, но и весьма ограниченным человеком даже в семье своей; слова его, не отличавшиеся остроумием, назывались тогда в насмешку des pasquinades[168]. Отличаясь лишь посредственным умом, он, подобно всем землякам своим, малороссиянам, обладает необыкновенною хитростью и потому может быть по всей справедливости назван заднепровским италиянцем.

Предвещания Грибоедова сбылись: высокомерие, гордость, самонадеянность Паскевича, которому успехи и почести совершенно вскружили голову, не имеют пределов; он почитает себя великим человеком и первым современным полководцем. Во время первого пребывания Паскевича в Петербурге после взятия Варшавы все спешили заявить ему свое благоговение. В числе особ, поздравлявших его с одержанными успехами, находилась одна дама, которой князь Варшавский по врожденной скромности своей сказал: «Я давно имел право занимать то положение, на которое я ныне поставлен: я еще в 1812 году указывал на грубые ошибки Наполеона и Кутузова, но меня не послушали». Однажды льстецы, говоря с отцом его, Федором Григорьевичем Паскевичем, восклицали: «Князь Варшавский — гений». Умный старик возразил по-малороссийски: «Що гений, то не гений, а що везе, то везе».

Пред отправлением своим под Елизаветполь Паскевич явился к Ермолову; Алексей Петрович, придавший ему двух отличных генералов, Вельяминова и Мадатова, начертал карандашом на своем предписании диспозицию войск на случай сражения. Ермолов, по причине малочисленности войск, советовал ему строить войска в двухротные каре, причем начертил карандашом подобного рода каре на своем предписании, которое должно ныне храниться в кавказском штабе[169].

Слава о мудрой справедливости, бескорыстии и могуществе Ермолова, справедливо почитаемого одним из умнейших, способнейших, благонамереннейших и бескорыстнейших людей своего времени, распространилась по всему Востоку, где имя его производило на всех жителей обаятельное действие. Если б

он показался пред персиянами, им, без сомнения, была бы одержана победа, далеко и во всех отношениях превзошедшая Елизаветпольскую. Мне известно, что в начале этого сражения Паскевич не отступил с поля сражения лишь вследствие советов Вельяминова и Мадатова, ручавшихся за успех, невзирая на огромное превосходство в числе людей армии Аббас-Мирзы. В этом сражении сарбазы, или регулярные войска персидские, стоявшие некогда в почетном карауле у Ермолова во время пребывания его в Султании, отдались нам потому, что они полагали, что Ермолов лично предводительствует нашими войсками. Впоследствии сам государь сказал Мирза-Сале, сопровождавшему Хозрева-Мирзу: «Благодарите бога, что моими войсками предводительствовал в последнюю войну не Ермолов; они были бы непременно в Тегеране».

Ермолов с самого 1817 года не переставал доносить государю, что война с Персией неотвратима. Аббас-Мирза, которому шах почти передал управление всем краем, находясь под влиянием лиц, нам враждебных, мечтал лишь о возвращении провинций, которые Ермолову удалось удержать за Россией. Ермолов писал в Петербург, что своевременная присылка одной дивизии была бы достаточною для того, чтобы предупредить войну с персиянами, коих дерзость и высокомерие возрастают лишь вследствие убеждения, что мы слабы и не в состоянии противоставить им больших сил. Он даже убедительно просил заготовить провиант в Астрахани и в Баку; но его представления не были уважены. Граф Нессельрод утверждал, что война лишь в мыслях Ермолова, желавшего ее из честолюбивых видов, и что заготовление провианта в вышесказанных городах может подать повод к войне.

В 1823 году съехались со стороны Персии и России чиновники для определения границ; Аббас-Мирза приказал своим чиновникам оказывать русским явное невнимание и не соглашаться ни на одно из наших представлений. Ермолов писал в 1824 году государю из Белого Ключа: «Многие завидуют мне в том, что я пользуюсь благоволением вашего величества, а в случае войны с Персией обвинят меня в подании к тому повода; я весьма сожалею, что управляющий министерством иностранных дел не хотел внять моим представлениям и что война с Персией неотвратима. Не желая заслужить этого нарекания, я прошу ваше величество уволить меня от командования корпусом, дозволив остаться в Грузии частным человеком, дабы быть ближе свидетелем унижения недостойной каджарской династии».

Ермолов писал нынешнему государю: «Я глубоко сожалею, что его величество в бозе почивающий государь последовал советам графа Нессельрода. Война, внезапно начатая, не может нанести мне бесчестия как частному человеку, но в качестве правителя края тяжело видеть репутацию свою, страдающую чрез неспособность министра иностранных дел».

В день 14 декабря находился в Петербурге английский полковник Шиль, пользовавшийся неограниченным доверием Аббас-Мирзы; на другой день он выехал из Петербурга. Прибыв в Тавриз, он уверял Аббас-Мирзу, что в России вспыхнула междоусобная война между двумя братьями-императорами и что на основании Гюлистанского мира Россия обратится к Персии с просьбой о помощи. По мнению Шиля, наступил для персиян самый благоприятный момент для вторжения в Грузию, где у русских были весьма слабые силы. Персияне двинулись, и князь Меншиков, отправленный послом в Тегеран, встретил уже их почти на самой границе нашей. Таким образом Аббас-Мирза без предварительного объявления войны вторгнулся в провинции Бамбакскую и Шурагельскую.

Ермолов приказал полковникам Назимову и Реуту поспешно отступить пред превосходными силами неприятеля и стараться, избегая с ним встреч, сосредоточить свои войска. Зная, что они получили георгиевские кресты в войне с персиянами при генерале Ртищеве, он почитал их наиболее способными для вновь начинающейся войны с персиянами. Они вовсе не оправдали возлагаемого на них доверия; персиянам удалось истребить несколько наших рот и взять две пушки. Ермолов сделал в этом случае великую и непростительную ошибку, которая имела прямое и гибельное влияние на все его поприще. Он должен был лично выступить против персиян и по одержании над ними решительной победы возвратиться в Тифлис, где он мог заняться необходимыми для войны приготовлениями. Вместо того он выслал сперва Мадатова, который нанес при Шамхоре решительное поражение персиянам, причем Аминь-Сардарь, дядя Аббас-Мирзы, был убит. Из донесения Паскевича, отправленного вскоре после того, видно, что пространство от Шамхора до Елизаветполя было покрыто трупами персиян. Ермолов, не зная характера нового государя и почитая свое присутствие более необходимым в Тифлисе, выслал Паскевича против персиян. Победа, одержанная при Елизаветполе, внушила государю мысль, что он может вполне вверить <Паскевичу> войска Кавказского корпуса и удалить Ермолова, к которому он оказывал явное неблаговоление. Между

тем Грузия и Кахетия, вследствие приближения многочисленной персидской армии, пришли в волнение; внимание всех было обращено на Ермолова, одно присутствие которого удерживало весь край в спокойствии и повиновении. Оставшись в Тифлисе лишь с четырьмястами человек, Ермолов, озабоченный заготовлением провианта и всего необходимого для войны, обнаруживал невозмутимое хладнокровие. Жители Кахетии прислали в Тифлис князя Григория Чалокаева затем, чтобы удостовериться, в каком расположении духа находится Ермолов.

Хотя вследствие его распоряжений персияне были изгнаны из наших пределов, но вся слава была отнесена к Паскевичу. Ряд замечаний и выговоров государя вывел Ермолова из терпения; не пользуясь доверием государя, который вел мимо его конфиденциальную переписку с Паскевичем, Ермолов решился написать государю известное письмо от 3 марта 1827 года.

Ермолов думал разделить персидскую войну на три кампании; по его мнению, надлежало сохранить преимущественно войска, не подвергая их губительному действию знойного климата страны, где колодцы, наполненные вредными насекомыми, встречались лишь чрез каждые сорок верст. В первую кампанию надлежало, по его мнению, занять пространство до Аракса, выслав кавалерию и лошадей на высоты Ардебиля; потом следовало двинуться зимним путем на Тегеран, стараясь миновать возвышенности Султании, покрытые снегом; в третий период войска должны были прибыть на высоты Ардебиля, где, выждав жары, возвратиться в Грузию. Персияне, невзирая на их многочисленность, будучи предводительствуемы неспособным Аббас-Мирзою, могли оказать нам лишь ничтожное сопротивление. В Петербурге видели в этом лишь желание Ермолова властвовать неограниченно в течение трех лет.

Между тем Мадатов, предводительствуя летучим отрядом, явился в Карабах, где овладел весьма важным пунктом — Агарь; если б у него было более войска, он мог бы пресечь сообщения Аббас-Мирзы с Тегераном. В опровержение мнения, будто бы Ермолов не избрал сильного пункта, снабженного всем необходимым и где бы малочисленные отряды могли бы найти убежище в случае быстрого наступления большой неприятельской армии, можно указать на Шушу. Так как в исходе 1826 года ни одного неприятеля не оставалось более в наших пределах, Ермолов приказал Мадатову, которого главные персидские силы готовились окружить, присоединиться к прочим войскам. Вскоре после того Абул-Фет-хан карабахский, брат Мехти-Кули-хана карабахского, просил Ермолова назначить

его беглербеком Тавриза, обещаясь в таком случае взбунтовать весь Адербиджан; но в это время прибыл в Грузию курьер с приказанием удалить Ермолова.

Паскевич, вскоре после прибытия своего в Грузию и находясь еще под начальством Ермолова, получил от государя письмо, в котором было, между прочим, сказано: «Помнишь, когда мы с тобой играли в военную игру; а теперь я твой государь и ты — мой главнокомандующий». Это доказывает, что государь, отправляя Паскевича в Грузию, твердо положил в уме своем заменить им Ермолова, главная вина которого заключалась в медленности, с какою войска были приведены к присяге. Паскевич, который не мог простить Мадатову занятия Агари, очернил его в глазах государя. Мадатова, обвиненного в грабительстве, лишили владений, пожалованных ему Мехти-Кули-ханом карабахским по ходатайству Ермолова, имевшего в виду приучить кавказских владетелей жаловать землями храбрых русских генералов, на что император Александр изъявил свое соизволение.

Во время персидской и турецкой войн Паскевич, боясь, чтобы победы, им одержанные над бездарными пашами, предводительствовавшими сволочью, не были отнесены к генералам, пользовавшимся в армии хорошею репутацией, высылал их из армии на другой день после одержания какой-либо победы и беспрестанно менял начальников штаба.

Не принадлежа никогда к числу почитателей Паскевича, я не могу, однако, не заметить, что, во-первых, он никогда не обнаруживал крайне утомляющей суетливости Дибича, прозванного Ермоловым le grand brouillon *. Но что в Паскевиче заслуживало величайшие похвалы — это примерная заботливость о снабжении армии провиантом. Этим редким и неоцененным качеством, вынуждавшим его часто терять много драгоценного времени, он превзошел многих полководцев, под начальством которых я когда-либо служил в течение моего военного поприща.

Прибыв в 1831 году в армию нашу в Польше, Паскевич принял сперва все необходимые меры для того, чтобы вполне обеспечить армию продовольствием, и лишь тогда уже решился он подступить к Варшаве. Еще до приезда Паскевича распоряжениями Толя был наведен мост чрез Вислу и один корпус находился уже на правом берегу реки; Толь воспользовался для этой цели судами, нагруженными хлебом, которые были

* великий путаник.

высланы по распоряжению русского правительства вверх по Висле. На собранном военном совете фельдмаршал, выслушав мнения всех членов относительно лучшего способа овладеть Варшавой, предпочел атаку Волы, как наисильнейшего пункта, падение которого должно было неминуемо повлечь за собой покорение Варшавы и, следовательно, Польши. Будучи оконтужен в самом начале дела, представлявшего неимоверные затруднения по причине недостатка в лестницах, кои были притом слишком коротки, Паскевич, отъезжая от армии, объявил Толю, что в случае неудачи вся ответственность падет на него одного!

Деятельность, мужество и энергия Толя, на которого, однако, не может не пасть доля нареканий, столь справедливо заслуженных Дибичем, были в этот день неимоверными. Не было вполне опасного пункта, куда бы Толь не появлялся; не было колонны войск, мало-мальски изнуренной и отбитой мужественным неприятелем, которую бы Толь не поспешил ободрять; короче сказать: в этот решительный и кровопролитный бой он был истинным ангелом-хранителем русской армии.

Узнав о благополучном исходе боя, Паскевич поспешил напомнить о себе армии, тщетно отыскивавшей его во время ужасов кровавого побоища. Заслуг Паскевича никто не отрицает, но знаменит и велик подвиг Толя, который, будучи предоставлен самому себе во все время этого рокового побоища, умел извернуться таким образом, что отсутствие фельдмаршала не только не имело гибельного влияния на исход битвы, но даже осталось никем не замеченным. Паскевич, никогда не отличавшийся скромностью и беспристрастием, свойственными лишь высоким, избранным характерам, не хотел в своем донесении государю выставить в надлежащем свете заслуги многих лиц, блистательному содействию которых он был обязан одержанной победой. Напротив того, алчность к присвоению чужих заслуг, нисколько не умаляющих его собственные, желание приписать всю славу победы лишь самому себе — побудили его отозваться не совсем благоприятно о многих лицах.

Ряд милостей посыпался на Паскевича — *вождя, достойного времен великого Николая,* как выразился редактор одного журнала; почести окончательно вскружили ему голову, и он, в пылу самонадеянности, возмечтал о себе, что он полубог. Не имея повода питать глубокого уважения к фельдмаршалу князю Варшавскому, я, однако, для пользы и славы России не могу не желать ему от души новых подвигов. Пусть деятельность нашего Марса, посвященная благу победоносного рос-

сийского воинства, окажет на него благотворное влияние. Пусть он, достойно стоя в челе победоносного русского воинства, следит за всеми усовершенствованиями военного ремесла на Западе и ходатайствует у государя, оказывающего ему полное доверие, о применении их к нашему войску; я в таком случае готов от полноты души извинить и позабыть прежние гнусные его поступки и недостойные клеветы, к коим он не возгнушался прибегать для достижения высокого своего сана.

Князь Мадатов, изгнанный с Кавказа Паскевичем, убедившим государя, что этот генерал, пользуясь будто бы благоволением Ермолова, ограбил жителей Карабаха, что было совершенно ложно,— ознаменовал себя блистательною храбростью в Европейской Турции: под Шумлой со спешенными гусарами он овладел несколькими редутами. Он умер в Молдавии, и перед смертью ему было суждено выслушать следующее признание умирающего генерал-адъютанта Константина Христофоровича Бенкендорфа, столь ограниченного умом, сказавшего ему: «Я перед вами, но в особенности перед Алексеем Петровичем Ермоловым, много виноват; я вам обоим много повредил через брата моего, но верьте, что это лишь по одному неведению, а потому простите меня».

Мадатов, который не был князем от рождения, но стал называть себя князем впоследствии, носил имя своей матери; дядя его Петрус-бек пользовался большим уважением в Карабахе. Алексей Петрович Ермолов, любивший Мадатова, сказал ему однажды: «Ты настоящий яшка» (уменьшительное от армяшка); на это Мадатов возразил: «Если я *Яшка,* вы целый Яков Яковлевич». Граф Дибич сказал ему однажды: «Я знаю, что Паскевич вам много повредил; если вы когда-нибудь попадете ко мне, я постараюсь вам все вознаградить».

Мадатов, говоривший: «Не все надо брать храбростью, нужно и хитростью»,— был женат на дочери генерала Саблукова, в которую я был долго влюблен. Этот до невероятия неустрашимый и хитрый генерал, трепетавший одного взгляда Ермолова, вступил в брак лишь в надежде получить звание генерал-адъютанта. Молодая жена его согласилась выйти за него замуж в убеждении, что князь Мадатов весьма значительное в Карабахе лицо. Вскоре после приезда молодых в Карабах княгиня изъявила желание посетить могилу своего тестя, человека безнравственного, ничтожного и которого место погребения не было никому известно. Князь Мадатов, не желая на первых порах разочаровать свою молодую жену, приказал

одному расторопному офицеру, состоявшему при нем в должности адъютанта, отыскать на армянском кладбище богатую гробницу, убрать ее цветами и проложить к ней дорожку. Исполнив приказание, адъютант донес о том своему генералу, который повел жену свою к этой гробнице. Молодая княгиня, введенная таким образом в заблуждение, став на колени, возносила молитвы о упокоении души усопшего. Невзирая на то, что Мадатов вступил в брак с молодой и весьма красивой женщиной, он продолжал предаваться гнусному пороку, столь распространенному на Востоке. Однажды княгиня, войдя совершенно неожиданно в кабинет мужа, была поражена зрелищем, которое не могло не возмутить ее; но князь, нимало не смутившийся этим внезапным появлением жены, сказал ей: «Это ничего, Софья; я это делаю для того, чтобы сохранить влияние на здешний народ».

Мадатов, будучи весьма умным и чрезвычайно хитрым человеком, владел довольно хорошо русским языком; невзирая на то, он с намерением употреблял часто в разговоре весьма неправильные обороты. Опоздав однажды к Ермолову, он извинился тем, что его задержал какой-то жид. «Он думал провести меня по-жидовски,— сказал князь,— но я ему запустил армянского, и он остался в накладе».

Ермолов, поручив ему однажды дочь одного кадия, или старшины, объявил ему грозно, что он желает, чтобы она была доставлена к родителям в целомудренном состоянии; Мадатов, боявшийся одного взгляда Ермолова, говорил: «Я нашелся вынужденным не спать по ночам, потому что не мог поручиться за своих адъютантов».

Во время пребывания в Тифлисе барона Дибича он отсоветовал Ермолову предпринимать что-либо против персидского города Энзели. Дибич сказал ему однажды следующее: «Государь весьма недоволен тем, что вы самовольно дозволяете себе заключать многих штаб-офицеров в крепость на продолжительное время». Ермолов отвечал: «Я это делаю потому, что желаю скорее подвергнуть виновных временному наказанию, чем такому, которое могло бы иметь для них неприятные и невыгодные последствия. Я ограничиваюсь временным заключением их в крепость, но не предаю уже их суду. Ни один из них за то на меня не пожалуется. Вам это трудно понять, потому что вы, рано отделившись от толпы, скоро возвысились; но мне, сроднившемуся с толпой, несравненно более знакомы ее нужды».

Иван Никитич Скобелев, из солдат выслужившийся в генералы, отличался необычайным мужеством и хладнокровием, замечательным природным умом, изумительною сметливостью и непомерным корыстолюбием. Этот хитрый человек, известный также по своему хвастовству и по уменью превосходно излагать на бумаге свои мысли, составил себе огромное состояние самыми беззаконными способами.

Я всегда полагал, что император Николай одарен мужеством, но слова, сказанные мне бывшим моим подчиненным, вполне бесстрашным генералом Чеченским, и некоторые другие обстоятельства поколебали во мне это убеждение. Чеченский сказал мне однажды: «Вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому вы поверите моим словам. Находясь в день 14 декабря близ государя, я во все время наблюдал за ним. Я вас могу уверить честным словом, что у государя, бывшего во все время весьма бледным, душа была в пятках. Не сомневайтесь в моих словах, я не привык врать». Во время бунта на Сенной государь прибыл в столицу лишь на второй день, когда уже все начинало успокоиваться. До тех пор он находился в Петергофе и сам как-то случайно проговорился: «Мы с Волконским стояли во весь день на кургане в саду,— сказал он,— и прислушивались, не раздаются ли со стороны Петербурга пушечные выстрелы». Вместо озабоченного прислушивания в саду и беспрерывных отправок курьеров в Петербург он должен был лично поспешить туда: так поступил бы всякий мало-мальский мужественный человек.

Генерал-губернатор П. К. Эссен, столь известный по отсутствию умственных способностей, думал успокоить народ речью, которой никто не понял; но Васильчиков, Закревский и Василий Перовский привели войска на Сенную площадь и тем восстановили там порядок. На следующий день государь, имея около себя князя Меншикова и графа Бенкендорфа, въехал в коляске в толпу, наполнявшую площадь; он закричал ей: *«На колени»* — и толпа поспешно исполнила это приказание. Сказав короткую, но прекрасную речь, государь приказал Закревскому отслужить тотчас панихиду по убиенным. Так как толпы любопытствующих последовали за экипажем его величества на площадь, государь, увидав несколько лиц, одетых в партикулярных платьях, вообразил себе, что это были лица подозрительные; он приказал взять этих несчастных на гауптвахты и, обратившись к народу, стал кричать: «Это все подлые полячишки, они вас подбили». Подобные неумест-

ные выходки совершенно испортили, по моему мнению, результаты дня.

Все мною здесь сказанное сообщено мне очевидцами, заслуживающими полного доверия.

Во время войны 1828 года в Турции корабль, на коем находился государь с своей свитой, едва не был прибит бурею к Константинополю. Государь, не желая быть узнанным, переоделся в партикулярное платье; молодой и смелый князь Александр Суворов громко сказал при этом случае: «Пусть узнают монархи, что стихии им, по крайней мере, не подвластны». Этот самый молодой человек, которого отец был в самых приятельских сношениях с Ермоловым, состоял при сем последнем на Кавказе. Известно, что после изгнания Ермолова из Кавказа жители Гурии, желая угодить Паскевичу, вынесли портрет Алексея Петровича из залы, в которой дан был ими обед графу Эриванскому. Князь Суворов, присутствуя на одном официальном обеде и видя, что никто не хочет вспомнить о бывшем начальнике, предложил его здоровье; присутствующие были вынуждены, против своего желания, последовать его примеру.

Когда впоследствии жандармские власти стали допрашивать прибывших в Петербург грузин с намерением узнать от них что-либо, могущее послужить к бóльшему обвинению Ермолова, они отвечали: «Мы лишь за то были недовольны им, что он говорил, что у грузин вместо голов — тыквы».

Величайшие и вполне непростительные ошибки Ермолова суть: во-первых, то, что он не отправился под Елизаветполь лично, но отправил туда Паскевича, придав ему двух отличных генералов Вельяминова и Мадатова, которые убедили Паскевича принять сражение, а, во-вторых, поступление его вновь на службу. Невзирая на то, Паскевич распространил слух, что Ермолов, отправляя его в Елизаветполь, обрекал его на верную гибель; Ермолов должен был, по моему мнению, проникнуть гораздо ранее намерение государя не давать ему должностей, которые бы соответствовали его способностям, и переехать в Москву.

При увольнении Ермолова от службы ему было назначено около четырнадцати тысяч рублей бумажками пенсиона; графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская, узнав о том, ска-

зала, что она почла бы себя счастливою, если бы Ермолов взял в свое распоряжение одно из ее богатых поместий. Так как все вообще пенсионы были значительно увеличены, то Ермолову, ничего не получавшему от отца своего, было еще прибавлено, вследствие ходатайства графа Дибича, около четырнадцати тысяч рублей бумажками.

Прибыв в Москву, Ермолов посетил во фраке дворянское собрание; приезд этого генерала, столь несправедливо и безрассудно удаленного со служебного поприща, произвел необыкновенное впечатление на публику; многие дамы и кавалеры вскочили на стулья и столы, чтобы лучше рассмотреть Ермолова, который остановился в смущении у входа в залу. Жандармские власти тотчас донесли в Петербург, будто Ермолов, остановившись насупротив портрета государя, грозно посмотрел на него!!!

Сестра его, Анна Петровна, вышла замуж за некоего А. А. Павлова, вполне замечательного по своему уму и вполне презренного по свойствам души. Хотя Ермолов на основании духовной отца своего обязан был выделить сестре своей лишь $^1/_3$ часть имения, но, имея намерение дать ей гораздо бо́льшую часть, он поручил одному из своих приятелей заняться разделом. Медленность, с которой этот раздел совершался, внушила Павлову мысль, воспользовавшись известным неблаговолением государя к Ермолову, подать прошение его величеству с приложением нескольких писем Ермолова, писанных им когда-то в либеральном духе. Хотя последовал указ о принуждении Ермолова ускорить раздел, но он, в справедливом негодовании на презренный поступок своего зятя и сестры, объявил, что никакая сила не заставит его выделить часть, бо́льшую того, что было ей назначено покойным их родителем. Ермолов получил в наследство около двухсот восьмидесяти тысяч рублей бумажками.

В бытность государя в Москве осенью 1831 года Ермолов был приглашен во дворец, куда он поехал в отставном мундире; государь, принявший его необыкновенно радушно, вышел из кабинета в сопровождении Ермолова, что было принято многими за знак особенного к нему благоволения. Императрица, увидя его, не скрыла своего смущения; она сказала ему: «Je vous aurais reconnu à l'instant même, général; tous vos

portraits vous ressemblent» *. Будучи позван к императорскому столу, он едва не навлек гнева государя принятием участия в некоторых польских генералах, которые, как он выразился, поступили как благородные граждане. Государя, начавшего неприлично возвышать голос и намекать на то, что эти любезные ему граждане будут сосланы в Сибирь, Ермолов успокоил лишь словами: «Никто их, конечно, не убедит, что милосердие государя никогда не обратится на них».

Государь, ожидавший, что Ермолов, обласканный им, вступит вновь на службу, был крайне недоволен тем, что он даже не намекнул ему о подобном желании. Граф Бенкендорф, посетив Ермолова, сказал ему по поручению государя следующее: «Его величеству весьма неприятно то, что вы, будучи столь милостиво приняты им, не изъявили до сего времени желания поступить на службу»,— на что Ермолов отвечал: «Государь властен приказать мне это, но никакая сила не заставит меня служить вместе с Паскевичем». Это было передано куда следует.

Граф А. Ф. Орлов, посетив Ермолова в то время, как он собирался в подмосковную, объявил ему о воле государя, дабы он вступил вновь в ряды войска. Он сказал ему, что государь дает ему слово, что он его никогда не сведет с фельдмаршалом. Вынужденный написать в этом смысле письмо к государю, он сам отправился к Хрущеву, куда прибыл генерал Адлерберг с объявлением, что приказ о принятии его в службу состоялся. Таким образом, Ермолов, вполне обманутый государем, для которого предстояла возможность употребить с пользою его дарования, вновь надел мундир; это было со стороны Ермолова непростительною ошибкою, сильно потрясшею огромную популярность, какою он пользовался в армии, тем более что государь, вовсе не сочувствовавший людям способным и бескорыстным, не имел, как оказалось, намерения воспользоваться его способностями и опытностью.

Государь был, однако, первое время чрезвычайно милостив и внимателен к Ермолову, которому удалось по кончине доблестного Н. Н. Раевского выхлопотать вдове его следующие милости: ей было прощено триста тысяч рублей ассигнациями казенного долга, а взнос должных покойным мужем еще пятисот тысяч рублей был разложен на весьма продолжительные сроки. По предложению Ермолова, указавшего государю на

---

* Я бы сразу узнала вас, генерал; все ваши портреты так похожи на вас.



Н. Н. Раевский. Гравюра С. Карделли

невыгоду бессрочных вещей, как, например, штыков, которые, не будучи отточены, делаются весьма часто на Кавказе добычей горцев,— это было отменено.

Ермолов имел сначала намерение воспитать своих сыновей за границею, но вследствие вновь появившегося в 1834 году указа и настояния великого князя Михаила Павловича, он поместил их в артиллерийское училище.

На одном бале у князя Дмитрия Владимировича Голицына государь имел с Ермоловым следующий разговор:

Г<осударь>.— Как хороша Скрыпицына! как стройна!

Е<рмолов>.— Да, государь, она — как стебель лилии.

Г.— О! да ты поэт, как брат твой Денис. Как жаль, что этот человек служит урывками! С его средствами и дарованиями, чем бы он не был! Писал ли ты когда-нибудь стихи?

Е.— Никогда, государь, не мог прибрать ни одной рифмы, и ни с одним стихом не умел сладить.

Г.— А Денис пишет ли стихи?

Е.— Редко теперь,— он занимается сериозными сочинениями.

Г.— Я этого не знал; может быть, урывками, так же, как служит?

Е.— Нет, государь, весьма постоянно, можно сказать, как трудолюбивейший комментатор.

Г.— К чему он не способен, когда захочет, с его способностями и дарованием? Он, однако, прежде писал неприличные стихи.

Е.— Правда, государь; быв гусаром, он славил и пел вино и оттого прослыл пьяницею, а он такой же пьяница, как я.

Г.— Это я знаю; жаль, что он урывками служит. Он был бы полезен и для всех и для себя, и пошел бы далеко.

Заседая в Государственном совете, Ермолов, никогда не почитавший себя администратором, не принимал почти никакого участия в прениях. Он, однако, предложил отменить звание первоприсутствующих в департаментах Сената; в его понятиях первоприсутствующий имеет лишь в виду угождать министру юстиции, а для наблюдения за правильным ходом дел было, по его мнению, достаточно обер-прокурора.

Ермолова назначали членом комитета о преобразовании Оренбургского края, председателем которого был бездарный П. К. Эссен, и членом <комитета> о преобразовании каран-

тинного устава, где он не мог оказать никакой пользы. Он отдал здесь полную справедливость отличным способностям графа Павла Сухтелена, столь рано умершего для Оренбургского края.

Хотя Ермолова не назначали присутствовать в комитетах о военных дорогах и о преобразовании конных полков, но многие обращались к нему за советами. Невзирая на то, что государь сказал ему: «Я хочу вас всех, стариков, собрать около себя и беречь, как старые знамена»,— это были лишь слова. Ермолов, видя себя совершенно бесполезным, сказал однажды государю: «Ваше величество, вероятно, потеряли из виду, что я лишь военный человек; все мои назначения доселе убеждают меня в том, что я совершенно бесполезен и что все возлагаемые на меня поручения не соответствуют моим сведениям и, могу сказать, моей опытности». На это государь отвечал: «Ты, верно, слишком любишь отечество, чтобы желать войны; нам нужен мир для преобразований и улучшений, но в случае войны я употреблю тебя».— «Я верю, государь,— отвечал Ермолов,— слову рыцаря».— «Отчего не государя?» — сказал Николай.

После этих довольно милостивых слов последовало полное неблаговоление к Ермолову, которому предложили место председателя в генерал-аудиториате; граф Чернышев, предложивший ему это место от имени государя, сказал ему, что не он сам, а лишь его канцелярия будет подчинена военному министру. Ермолов отказался под следующим предлогом: «Единственным для меня утешением была привязанность войска; я не приму этой должности, которая бы возлагала на меня обязанности палача». Государь сказал на это: «Ермолов не так это понимает». Графиня Бенкендорф, посетив вскоре после того графиню Закревскую, сообщила ей о том, что государь поверил гнусным наветам на Ермолова своих окружающих, и сказала: «Ермолова съинтриговали».

Между тем Ермолов, возвратившись в Петербург, просил графа Бенкендорфа объяснить его величеству желание его быть уволенным от заседания в Государственном совете по той причине, что, быв лишь военным человеком и не успев приготовить себя к занятиям гражданским, он почитает себя не способным исполнять обязанность высокой важности, к какой он призван милостью государя.

Граф Бенкендорф не решался будто бы доложить о том его величеству в течение двух недель; а между тем он его уверял, что он избирает лишь благоприятную минуту, тем более что он знает, сколь будет неприятно его величеству уклонение от занимаемой должности Ермолова, который непременно навле-

чет тем на себя гнев государя. «Его обезоружит чистосердечное мое признание»,— говорил Ермолов, не перестававший настаивать на своей просьбе. Однажды граф Бенкендорф, не застав Ермолова дома, оставил нижеследующую записку: «Mon trés-honoré général, sa majestê m'a chargé de vous dire, qu'elle désire que vous lui écriviez ce que je lui ai dit sur les raisons qui vous engagent à quitter le Conseil» *.

Письмо, вслед за этим здесь помещенное, возбудило гнев государя, приказавшего отдать в приказе, что генерал Ермолов увольняется от службы по собственному признанию в неспособности. Приказ этот должен был быть опубликован, но граф Бенкендорф успел отговорить государя, сказав, что никто тому не поверит [170].

Его императорскому величеству.

Генерал-адъютант граф Бенкендорф объявил мне высочайшую волю вашу, всемилостивейший государь, дабы я письменно изложил причины, заставляющие меня просить увольнения от заседания в Государственном совете. Исполняю волю сию с откровенностью солдата, гордящегося честью сорокалетнего служения государям и отечеству.

Я вполне постигаю, государь, сколь высоко звание члена Государственного совета, где могут обрести самую лестную награду лица, оказавшие важные заслуги отечеству. Исполнен я удивлением к неизреченному великодушию монарха, вверяющего малому числу избранных рассмотрение важнейших административных дел, изменения в законах, предложение новых, не прежде освящая их державною своею властью, как по выслушании их мнения.

Но, государь, всю жизнь свою провел я на военном поприще, на котором не успел ознакомиться с занятиями, к которым я нынче призван. Они мне чужды и усиливают во мне лишь убеждение и горестную мысль, что я бесполезен, и потому не могу оправдать ожиданий моего государя.

Как русский и как солдат, я не избегал трудов и не робел перед опасностями на службе государя; не останавливаясь ни минуты вступить вновь на службу, когда мне было объявлено повеление о том вашего величества, я устыжусь, однако, самого себя, если позволю себе желать остаться в настоящем поло-

* «Мой высокочтимый генерал, его величество поручил мне сказать вам, что он желает, чтобы вы изложили письменно причины, побуждающие вас покинуть Совет, о которых я ему доложил».

жении, с коим неразлучно убеждение, что лета, опытность, усердие недостаточны, а необходимы сведения, коих у меня нет.

Простите, государь, смелость, с которою я всеподданнейше повергаю просьбу мою о увольнении меня от присутствия в Государственном совете.

10 марта 1839

Чрез несколько дней Ермолов получил от военного министра графа Чернышева следующие две бумаги:

Милостивый государь Алексей Петрович.

Государь император, прочитав всеподданнейшее письмо вашего высокопревосходительства от 10-го числа сего месяца, поручить мне соизволил уведомить вас, милостивый государь, что его величество весьма сожалеет, что вы, несмотря на долголетнее управление вами Закавказского края и по гражданской части, не предполагаете ныне в себе способностей, потребных для исполнения обязанностей, к которым вы призваны высочайшею доверенностью, и что вследствие того, удовлетворяя желанию вашему, его величество увольняет вас в отпуск до излечения болезни.

Сообщив высочайшую сию волю председателю Государственного совета, честь имею и вас об оной, милостивый государь, уведомить.

14 марта 1839
№ 1552.

Милостивый государь Алексей Петрович.

Я доводил до высочайшего сведения о желании вашего высокопревосходительства воспользоваться зимним путем для выезда из С.-Петербурга и о просимом вами дозволении откланяться государю императору. Его величество поручить мне изволил уведомить вас, милостивый государь, что чрезвычайно увеличившиеся занятия препятствуют принять вас в скором времени, а потому, не желая вас задерживать, его величество разрешает отъезд ваш.

16 марта 1839
№ 1574.

Примечания, составленные Денисом Давыдовым

[1] Известно, что он упал к ногам императора Павла, говоря: «Боже, спаси царей!» «Вам,— сказал император,— предстоит спасать их». Видя, что Суворов с трудом подымается, государь сказал своим придворным: «Помогите встать графу». При этих словах Суворов сам быстро встал, воскликнув: «О, помилуй бог, Суворов сам подымается, никто в том ему не помогает».

[2] Суворов просился однажды в Москву в отпуск с Моздокской линии, устройство которой ему было поручено. Так как императрица не изъявила своего согласия на продолжительный отпуск, он получил лишь пятнадцатидневный. Прибыв в Москву ночью, он благословил спящих детей и тотчас предпринял возвратный путь на линию.

[3] Однажды Военная коллегия жаловалась императрице на Суворова, в полках которого было слишком много музыкантов, что вынуждало его уменьшать число фронтовых солдат. Собран был военный совет, на котором присутствовал и Суворов, который, выслушав все мнения, сказал: «Хороший и полный хор музыкантов возвышает дух солдат, расширяет шаг; это ведет к победе, а победа — к славе». Императрица вполне предоставила это дело на его благоусмотрение. (Многие сведения о великом Суворове были мне сообщены князем Андреем Ивановичем Горчаковым.)

[4] Взятие Варшавы в 1831 году без грабежа нисколько не опровергает всего мною сказанного, ибо гарнизон города имел свободный выход, которым и воспользовался. Если б гарнизон нашелся вынужденным сражаться на улицах, в домах и костелах, город подвергся бы страшным бедствиям.

[5] Рассеяние части армии на осады некоторых крепостей в Италии принадлежит единственно венскому Военному совету. Суворов неоднократно восставал на такой распорядок и два раза просил себе отзыва из армии. Не вмешивайся этот совет

в его распоряжения, нет сомнения, что, по превосходству числительной силы Суворова над силою французской армии и гения его над дарованиями Моро, союзные войска еще в июне месяце были бы на границах Франции, Макдональд, занимавший Неаполь, увидел бы себя без сообщения с Франциею, и Массена принужден был бы оставить Швейцарию.

[6] Маршал Макдональд сказал однажды в Париже нашему послу графу П. А. Толстому: «Хотя император Наполеон не дозволяет себе порицать кампанию Суворова в Италии, но он не любит говорить о ней. Я был очень молод во время сражения при Требии; эта неудача могла бы иметь пагубное влияние на мою карьеру; меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов».

[7] В 1794 году Суворов, выступив из Бреста-Литовского, оставил здесь несколько гренадер для охранения имущества отставного польского полковника Детерко, опасавшегося быть разоренным русскими войсками, которые должны были следовать чрез этот город в Варшаву после выступления Суворова. После взятия Варшавы императрица наградила Суворова фельдмаршальским жезлом и местечком Кобриным, где он провел несколько суток во время проезда своего в свою главную квартиру, находившуюся в Тульчине. Явившись в Кобрин, Детерко со слезами обратился к Суворову и объявил ему, что, невзирая на присутствие оставленных гренадер, он был совершенно ограблен нашими войсками. Суворов спросил у управляющего Кобриным: «Сколько у нас денег?» На ответ управляющего: «До десяти мешков и в каждом не менее тысячи рублей»,— Суворов приказал все отдать Детерко, который был крайне удивлен этой щедростью. (Это мне сообщено А. П. Ермоловым.)

[8] Тележка эта хранилась у покойного отца моего как драгоценность и сожжена в Бородине, во время сражения, в 1812 году, вместе с селом, домом и всем имуществом, оставленным в доме.

[9] В народе существует предрассудок, что будто в шеях некоторых сильных и прытких лошадей находятся две особые жилы.

[10] Суворов, соединившись в Кобылках с корпусом Дерфельдена, входившим до этого времени в состав армии князя Репнина, двинулся к Праге. Авангардом этого корпуса командовал граф Валериан Александрович Зубов, которому оторвало ногу при переправе чрез Нарев близ деревни Поповки; ему пожаловали за то андреевский орден, что давало право на генерал-лейтенантский чин. Все офицеры корпуса Дерфельдена должны

были представляться Суворову; в комнатах, где был назначен прием, невзирая на холодное время года, были заблаговременно отворены все окна и двери для выкуривания немогузнаек. Так как Суворов не любил черного цвета, то было строго запрещено представляться в нижнем платье этого цвета. В числе представляющихся находился Дерфельден, высокоуважаемый Суворовым, князь Лобанов-Ростовский (племянник князя Репнина и впоследствии министр), украшенный Георгием 3-го класса за Мачинское сражение, Ливен (впоследствии князь), капитан А. П. Ермолов, много иностранных волонтеров, в числе которых находились подполковник граф Кенсона и граф Сен-При. Суворов, обратясь к Лобанову, сказал с усмешкой: «Помилуй бог, ведь Мачинское сражение было кровопролитно». Смотря на Ливена, он сказал: «Какой высокий, должно быть, весьма храбрый офицер. Отчего это я на вас не вижу ни одного ордена?» Сказав графу Сен-При: «Вы счастливо служите; в ваши лета я был только поручиком»,— он вдруг бросился его целовать, говоря: «Ваш дядя был моим благодетелем, я ему многим обязан». Эти слова не были понятны в то время, но впоследствии узнали, что дядя Сен-При, будучи французским министром, возбудил первую турецкую войну. Обратясь к графу Кенсона, Суворов спросил его: «За какое сражение получили вы носимый вами орден и как зовут орден?» Кенсона отвечал, что орден называется Мальтийским и им награждаются лишь члены знатных фамилий. «Какой почтенный орден! — возразил Суворов.— Позвольте посмотреть его». Сняв его с Кенсона, он его показывал всем, повторяя: «Какой почтенный орден!» Обратясь потом к прочим присутствовавшим офицерам, он стал их поодиночке спрашивать: «За что получили вы этот орден?» — «За взятие Измаила, Очакова и прочее»,— было ответом их. «Ваши ордена ниже этого,— сказал Суворов.— Они даны вам за храбрость, а этот почтенный орден дан за знатный род».

Все представлявшиеся были приглашены к обеденному столу Суворова, который имел обыкновение садиться за стол в девять часов утра. Приглашенные заняли места по старшинству за столом, на котором была поставлена простая фаянсовая посуда. Перед обедом Суворов, не поморщившись, выпил большой стакан водки. Подали сперва весьма горячий и отвратительный суп, который надлежало каждому весь съесть; после того был принесен затхлый балык на конопляном масле; так как было строго запрещено брать соль ножом из солоницы, то каждому следовало заблаговременно отсыпать по кучке соли возле себя. Суворов не любил, чтобы за столом катали шарики

из хлеба; замеченному в подобной вине тотчас приносили рукомойник с водой; А. М. Каховский, замечательный по своему необыкновенному уму, избавился от подобного наказания лишь острым словом.

Опасаясь после штурма Праги быть застигнутым неприятелем врасплох, Суворов приказал артиллерии сжечь большой мост, ведущий в Варшаву, где в то время находилось еще десять тысяч хорошего войска под начальством Вавжецкого. В нашем лагере все ликовало после удачного штурма и пило по случаю победы; солдаты Фанагорийского полка, не будучи в состоянии чистить свое оружие, наняли для этого других солдат. Погода стояла хорошая, но весьма холодная; из поднятых палаток поднимался пар от красных лиц солдат, что доставляло немало удовольствия Суворову, говорившему: «Помилуй бог, после победы день пропить ничего, лишь бы начальник позаботился принять меры противу внезапного нападения». Он приказал построить узкий мост для пешеходов, по которому было дозволено жителям приходить в Прагу для отыскивания тел своих ближних. Суворов справедливо рассчитал, что это ужасное зрелище должно неминуемо поколебать мужество поляков; в самом деле, Варшава вскоре сдалась. Суворов торжественно отправился в карете в королевский дворец; в карете сидел против него дежурный генерал Потемкин, человек замечательного ума (он служил впоследствии на Кавказе и сделал на воротах Екатеринограда, обращенных к стороне Тифлиса, надпись: «Дорога в Грузию»). Король встретил его у подъезда. Простившись с его величеством, Суворов не допустил его сойти с лестницы. Во время выступления польских войск в числе десяти тысяч человек из Варшавы казачьему маиору Андрею Карповичу Денисову удалось захватить всех польских начальников, беспечно завтракавших в гостинице; подъехав после того к польским войскам, Денисов, с хлыстиком в руках, приказал им положить оружие, что и было тотчас исполнено. (Это было мне сообщено А. П. Ермоловым.)

В 1820 году этот самый Денисов, уже в чине генерал-лейтенанта, был отдан под суд, за превышение власти, генералом А. И. Чернышевым. А. П. Ермолов, будучи вызван около этого времени в Лайбах для начальствования армиею в Италии и заехав дорогой в Новочеркасск, узнал о том от Бóлгарского, правителя канцелярии Чернышева. Убедившись в невинности храброго генерала Денисова, он решился его спасти. Прибыв в Лайбах, Алексей Петрович увидел Чернышева, который сказал ему: «Я слышал, что вы находите мой поступок несправед-

ливым; но я не мог не подвергнуть суду Денисова, превысившего власть свою». На это Ермолов возразил: «Во-первых, я знаю положительно и докажу вам, что ваше обвинение несправедливо и совершенно неосновательно; во-вторых, я спрошу вас: дерзнули ли вы бы сделать малейшее замечание Матвею Ивановичу Платову, который несравненно более Денисова и весьма часто превышал свою власть, и, в-третьих, я обращу ваше внимание на следующее: я был еще ничтожным офицером, а вы — ребенком, когда этот храбрый Денисов, отличаемый Суворовым, заставил в 1794 году десятитысячный польский корпус положить оружие и спас с двумя полками пруссаков после отражения их от Варшавы». Зная благосклонность императора Александра к Ермолову, который не преминул бы довести это до сведения его величества, Чернышев нашелся вынужденным освободить Денисова из-под суда. Возвращаясь в Грузию, Ермолов проехал чрез Аксай, куда выехали к нему навстречу многие донцы, которые весьма любили и уважали его. В числе прибывших находился и Денисов, который приехал благодарить за ходатайство его об нем. (Мне рассказал это сам Бóлгарский и дополнил А. К. Денисов.)

[11] Сентября 13-го 1804 года я был переведен из поручиков Кавалергардского полка в Белорусский гусарский полк ротмистром. Подробности этого обстоятельства изложены в моих записках.

[12] В самом этом нумере стоял сын фельдмаршала, граф Николай Михайлович Каменский, по возвращении своем из Финляндии в начале 1809 года. Быв в то время прислан курьером из финляндской нашей армии к военному министру, я навещал графа в сей квартире и с каким-то необыкновенным чувством удовольствия видел то место, где предпринял первую мою попытку на боевую службу.

[13] У князя я нашел трех офицеров. Странно, что изо всех, присутствовавших в горнице его, я один остался в живых. Во-первых, сам князь Багратион пал под Бородиным; Голицын (князь Михаил Сергеевич) убит под Ландсбергом в 1807 году; граф Грабовский убит под Красным в 1812 году, а граф Сен-При убит под Реймсом в 1814 году.

[14] Часть Австрийской Галиции, граничившая с театром военных действий, шла тогда от Мнишева по правому берегу Вислы почти до Праги; потом склонялась вправо к Сироцку, продолжая идти по левому берегу Буга, мимо Брок, Бреста и далее до Хотина.

[15] Числительная сила французских корпусов взята из документов, отбитых в обозах французской армии.

[16] Из записок генерала Беннингсена.

[17] Князь Багратион прибыл в армию из Петербурга и немедленно принял начальство над главным авангардом.

[18] Дмитрия Владимировича.

[19] Я имел честь и счастие служить тогда адъютантом при князе.

[20] На этом поле сражения были селения Шлодитен и Шмодитен. К первому примыкал правый фланг нашей армии; последнее лежит позади первого, в близком расстоянии от него.

[21] Один из трех известных генералов Корбино.

[22] 5 584 человека. Из рапорта Лестока.

[23] Из записок генерала Беннингсена.

[24] Покойным генерал-фельдмаршалом.

[25] Как некогда сказал Кутузов Себастиани. Себастиани, после долгого хвастовства, фанфаронства и исчисления монархов, покорных воле Наполеона, переменя речь, разговорился о Платове и вдруг, оборотясь к Кутузову, спросил его: «Qu'est ce que c'est qu'un Hettman des cosaques?» (Что такое казачий атаман?) — «C'st une espéce de votre Roi de Westphalie» (Это что-то похожее на вашего Вестфальского короля),— отвечал Кутузов. Себастиани закусил губы. Это было в Яссах, в конце 1807 года, за обеденным столом у главнокомандующего молдавской армией фельдмаршала князя Прозоровского. Себастиани проезжал тогда из Константинополя в Париж.

[26] Mémoires tirés des papiers d'un homme d'État (Hardenberg). Tome 9.

[27] Mémoires tirés des papiers d'un homme d'État (Hardenberg). Tome 9, page 431 et 432.

[28] Посетив однажды лагерь французских войск, императоры заехали в полк, находившийся под начальством полковника Николá. Наш государь, попробовав похлебку из принесенного котелка, приказал наполнить его червонцами. Спустя пять лет этот Николá был взят в плен и находился при А. П. Ермолове. Во время приезда государя в Вильну, в конце 1812 года, этот Николá, одетый в партикулярное платье и с головою, повязанною платком вследствие ран, ожидал в толпе вместе с другими приезда государя. Несмотря на его костюм и повязку на голове, государь, увидав его, сказал ему весьма ласково: «Я вас где-то видал».— «Я имел счастье принимать ваше величество у себя в полку, а ныне я ранен и в плену». Государь приказал тотчас выдать ему двести червонцев. Впоследствии, в 1814 году,

государь спросил однажды в Париже Ермолова: «Где твой Николá, зачем ты его с собой не привез?» — «Я не смел этого сделать,— отвечал он,— потому что вашим величеством было строго приказано оставить всех пленных в России».

[29] Родовая деревушка Кульневых, Калужской губернии, Козельского уезда.

[30] Приказ Кульнева накануне нападения, которого начало назначено было за два часа до рассвета.

[31] Напечатано было особо в 1825 году под названием: «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона». Я полагаю, что сему разбору лучшее место здесь; впрочем, я много к оному прибавил.

[32] Mémoires pour servir à l'histoire de France, par Napoléon publiés par Montholon. Tome I, page 98.

[33] Mémoires pour servir à l'histoire de France, par Napoléon publiés par Montholon. Tome II, page 112.

[34] Les mêmes. Tome II, page 119.

[35] Я с намерением выпускаю слово *и Московской,* дабы особо говорить о сей кампании.

[36] Mémoires pour servir à l'histoire de France, par Napoléon publiés par Montholon. Tome II, page 55.

[37] «Moniteur» de 1807.

[38] «Moniteur» de 1807.

[39] Ложное показание. В сей день взято шестьдесят офицеров, тысяча пятьсот рядовых и два орудия: одни казаки взяли пятьдесят пять офицеров и семьсот пять рядовых.

[40] Сущность дела взята из донесения главнокомандующего государю императору; некоторые подробности его собраны мною на месте сражения.

[41] Имена частей города, составляющих средину Москвы.

[42] Насыпь, окружающая Москву.

[43] Не надо принимать Фиглева за Фигнера. Первый служил в Белорусском гусарском полку, а последний — в артиллерии. Первый находился в отряде генерала Винценгероде, а последний был партизаном и действовал в то время около Москвы, между дорогами Тульскою и Калужскою.

[44] Из «Histoire de l'expédition en Russie, par M*** (Chambray). Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre entre la Russie et la France par Vaudoncourt. Донесение Дорохова фельдмаршалу Кутузову от 29 сентября и 2 октября 1812 года.

[45] Lettre du M. Berthier au M. P. Koutousoff. 8/20 octobre, Troitzcoé.

[46] Lettre de Koutousoff à Berthier. 9/21 octobre. Taroutino.

[47] Larrey. Mémoires de la Chirurgie militaire.
[48] Chambray. Histoire de l'expédition en Russie. Tome III.
[49] Chambray. Histoire de l'expédition en Russie. Lettre de Napoléon au Major-général. 3 sept., 1812, Gjatsck. Tome III.
[50] Histoire de l'expédition en Russie par M*** (Chambray). Tome III, page 249.
[51] Lettre du M. Berthier à Junot. 23 octob., 1812, Fominskoé.
[52] Lettre de Napoléon au major-général. 24 octob., 1812, Borovsk.
[53] Lettre du M. Berthier à Victor. 9 nov., Smolensk.
[54] Histoire de l'expédition en Russie, par M*** (Chambray). Tome III, page 247.
[55] Histoire de l'expédition en Russie, par M*** (Chambray). Tome III, page 151.
[56] Lettre du gén. Baraguay d'Hilliers au M. Berthier. 1812.
[57] 23-me bulletin, 10 octob., Moscou.
[58] Lettre du M. Berthier à Murat. 1812, 22 sept., Moscou. Этот набег, встревоживший маршала Бертье, был произведен сорока казаками, но потеря неприятеля состояла не в пятнадцати, а в тридцати шести палубах, двух капитанах, пяти офицерах и девяноста двух рядовых. Это можно видеть в рапорте Дорохова, хранящемся в главном штабе его величества. Это нападение было произведено на село Перхушково сотником Юдиным.
[59] Lettre de Berthier à Bessière. 1812, 22 sept., Moscou.
[60] Lettre du M. Berthier à Bessière, 23 sept., Moscou. Я не считаю за нужное оспаривать странное мнение маршала Бертье, будто бы посредством движения кавалерии Бессьера к Подольску и к Десне можно было остановить покушение партий наших на Смоленскую дорогу. Нелепость такого мнения не достойна опровержения. Но то, что считаю необходимым, это объяснение дел, о коих упоминает сей маршал; дело, означенное в выписке этого письма, принадлежит полковнику Сиверсу, который взял в плен ехавшего с повелениями адъютанта маршала Нея с одним капитаном и тремя рядовыми. В 23-м бюллетене и выписке письма Бертье к Бессьеру от 26 сентября, о которой я упомяну, говорится о другом деле, происходившем у села Бурцова, что на Боровской дороге; в этом деле взяты маиор Мартод, четыре офицера и сто восемьдесят шесть рядовых; с нашей стороны урон был значительный: убит полковник Сиверс, тяжело ранены полковник князь Хилков и маиор граф Гудович, нижних чинов ранено и убито двадцать пять.
[61] Lettre de Napoléon au M. Berthier. 23 sept., 1812, Moscou.
[62] Lettre de Napoléon au M. Berthier. 24 sept., 1812, Moscou.

[63] Lettre du M. Berthier à Bessière. 26 sept., Moscou.

[64] Lettre de Napoléon au M. Berthier. 27 sept.

[65] Хорош завоеванный народ, о коем несколько строк выше сказано, что он вооружен против завоевателей!

[66] Lettre du général Baragay-d'Hilliers au M. Berthier. 30 sept., 1812, Viasma.

[67] Lettre de Napoléon à Berthier. 6 oct., Moscou.

[68] Lettre de Napoléon au M. Berthier. 6 oct., 1812, Moscou.

[69] 25-me bulletin. 20 oct., 1812, Noilskoé.

[70] Lettre du M. Berthier à Davoust, 2 nov., Viasma.

[71] Lettre du même à Mey. 2 nov., 1812, Viasma.

[72] 28-me bulletin. 11 nov., 1812, Smolensk.

[73] 29-me bulletin. 3 dec., 1812, Molodetchno.

[74] Du même bulletin.

[75] Главное депо находилось не в Клементьеве, а в Горках; сие депо было под командою маиора Бланкарда и было разбито наголову и частию взято 21 ноября (3 декабря) в Копысе моею партиею.

[76] Генерал Гурго умолчал о партизане Фигнере и вместо *Денисова* должен был бы сказать: *графом Орловым-Денисовым*, ибо фамилия Денисовых весьма многочисленна на Дону, почему нельзя узнать, по словам господина Гурго, который из Денисовых был в сем деле.

[77] Examen critique de l'ouvrage de M. Segur par le gén. Gourgaud.

[78] Mémoires du général Rapp; page 226 et 227.

[79] 27-me bulletin. 27 oct., 1812, Vereia.

[80] Духин-Вонсович.

[81] Chambray. Histoire de l'expédition en Russie. Tome III.

[82] Известно, что у князя Багратиона за несколько минут перед тем, как он получил смертельную рану, из души, так сказать, вырвалось громкое *браво* 57-му линейному французскому полку, первому из полков корпуса Даву, который вскочил на флеши, расположенные пред Семеновским и самим князем Багратионом защищаемые.

[83] В то время гусарские полки состояли из двух баталионов, каждый баталион в военное время заключал в себе четыре эскадрона.

[84] Это было при Колоцком монастыре, в овине, где была его квартира.

[85] Общее мнение того времени, низложенное твердостию войска, народа и царя.

[86] Некоторые военные писатели приняли в настоящее время за правило искажать события, в которых принимал участие генерал Ермолов; они умалчивают о заслугах сего генерала, коего мужество, способности, бескорыстие и скромность в донесениях слишком всем известны. Так как подобные описания не могут внушить никакого доверия, я решился либо опровергать вымыслы этих господ, либо сообщать моим читателям все то, о чем им не угодно было говорить. Так, например, в описании Бородинского сражения никто не дал себе труда собрать все сведения о взятии нами редута Раевского, уже занятого неприятелем. Почтенный Николай Николаевич Раевский, именем которого назван этот редут, описывая это событие, упоминает слегка об Ермолове, выставляя лишь подвиги Васильчикова и Паскевича. Отдавая должную справедливость блистательному мужеству этих двух генералов и основываясь на рапорте Барклая и на рассказах очевидцев и участников этого дела, все беспристрастные свидетели этого побоища громко признают Ермолова главным героем этого дела; ему принадлежит в этом случае и мысль и исполнение.

Это блистательное дело происходило при следующих обстоятельствах: получив известие о ране князя Багратиона и о том, что 2-я армия в замешательстве, Кутузов послал туда Ермолова с тем, чтобы, ободрив войско, привести его в порядок. Ермолов приказал храброму полковнику Никитину (ныне генерал-от-кавалерии) взять с собой три конные роты и не терять его из виду, когда он отправится во 2-ю армию. Бывший начальник артилерии 1-й армии граф Кутайсов решился сопровождать его, несмотря на все представления Ермолова, говорившего ему: «Ты всегда бросаешься туда, куда тебе не следует, давно ли тебе был выговор от главнокомандующего за то, что тебя нигде отыскать не могли. Я еду во вторую армию, мне совершенно незнакомую, приказывать там именем главнокомандующего, а ты что там делать будешь?» Они следовали полем, как вдруг заметили вправо на редуте Раевского большое смятение: редутом овладели французы, которые, не найдя на нем зарядов, не могли обратить противу нас взятых орудий; Ермолов рассудил весьма основательно: вместо того чтобы ехать во 2-ю армию, где ему, может быть, с незнакомыми войсками не удастся исправить ход дела, не лучше ли восстановить здесь сражение и выбить неприятеля из редута, господствующего над всем полем сражения и справедливо названного Беннингсеном ключом позиции. Он потому приказал Никитину поворотить вправо к редуту, где они уже не нашли Паскевича, а простреленного пол-



А. П. Ермолов. Гравюра Т. Райта с портрета Г. Дау

ковника 26-й дивизии Савойни с разнородной массой войск. Приказав ударить сбор, Ермолов мужественно повел их на редут. Найдя здесь баталион Уфимского полка, последний с края 1-й армии, Ермолов приказал ему идти в атаку развернутым фронтом, чтобы линия казалась длиннее и ей легче было бы захватить большее число бегущих. Для большего воодушевления войск Ермолов стал бросать по направлению к редуту георгиевские кресты, случайно находившиеся у него в кармане; вся свита Барклая мужественно пристроилась к ним, и в четверть часа редут был взят. Наши сбрасывали с вала вместе с неприятелем и пушки; пощады не было никому; взят был в плен один генерал Бонами, получивший двенадцать ран (этот генерал жил после долго в Орле; полюбив весьма Ермолова, он дал ему письмо в южную Францию к своему семейству, которое он просил посетить. При получении известий о победах французов раны его закрывались, и он был добр и спокоен, при малейшем известии о неудачах их — раны раскрывались, и он приходил в ярость).

Так как вся масса наших войск не могла взойти на редут, многие в пылу преследования, устремившись по глубокому оврагу, покрытому лесом и находящемуся впереди, были встречены войсками Нея. Ермолов приказал кавалерии, заскакав вперед, гнать наших обратно на редут. Мужественный и хладнокровный до невероятия, Барклай, на высоком челе которого изображалась глубокая скорбь, прибыв лично сюда, подкреплял Ермолова войсками и артиллерией. В это время исчез граф Кутайсов, который был убит близ редута; одна лошадь его возвратилась. Один офицер, не будучи в состоянии вынести тела, снял с него знак св. Георгия 3-го класса и золотую саблю. (Этот молодой генерал, будучи полковником гвардии <в> пятнадцать лет и генералом — <в> двадцать четыре года, был одарен блистательными и разнообразными способностями. Проведя вечер 25 августа с Ермоловым и Кикиным, он был поражен словами Ермолова, случайно сказавшего ему: «Мне кажется, что завтра тебя убьют». Будучи чрезвычайно впечатлителен от природы, ему в этих словах неизвестно почему послышался голос судьбы.) Ермолов оставался на редуте около трех часов, пока усилившаяся боль, вследствие сильной контузии картечью в шею, не вынудила его удалиться.

Барклай написал Кутузову следующий рапорт о Бородинском сражении: «Вскоре после овладения неприятелем всеми укреплениями левого фланга сделал он, под прикрытием сильнейшей канонады и перекрестного огня многочисленной его

артиллерии, атаку на центральную батарею, прикрываемую 26-ю дивизиею. Ему удалось оную взять и опрокинуть вышесказанную дивизию; но начальник главного штаба генерал-маиор Ермолов с свойственною ему решительностью, взяв один только третий баталион Уфимского полка, остановил бегущих и толпою, в образе колонны, ударил в штыки. Неприятель защищался жестоко; батареи его делали страшное опустошение, но ничто не устояло... третий баталион Уфимского полка и Восемнадцатый егерский полк бросились прямо на батарею, Девятнадцатый и Сороковой егерские полки по левую сторону оной, и в четверть часа наказана дерзость неприятеля; батарея во власти нашей, вся высота и поле около оной покрыты телами неприятельскими. Бригадный генерал Бонами был один из снискавших пощаду, а неприятель преследован был гораздо далее батареи. Генерал-маиор Ермолов удержал оную с малыми силами до прибытия 24-й дивизии, которой я велел сменить расстроенную атакой 26-ю дивизию». Барклай написал собственноручное представление, в котором просил князя Кутузова удостоить Ермолова орденом св. Георгия 2-го класса; но так как этот орден был пожалован самому Барклаю, то Ермолов был лишь награжден знаками св. Анны 1-го класса.

В Бородинском сражении принимал участие и граф Федор Иванович Толстой, замечательный по своему необыкновенному уму и известный под именем *Американца;* находясь в отставке в чине подполковника, он поступил рядовым в московское ополчение. Находясь в этот день в числе стрелков при 26-й дивизии, он был сильно ранен в ногу. Ермолов, проезжая после сражения мимо раненых, коих везли в большом числе на подводах, услыхал знакомый голос и свое имя. Обернувшись, он в груде раненых с трудом мог узнать графа Толстого, который, желая убедить его в полученной им ране, сорвал бинт с ноги, откуда струями потекла кровь. Ермолов исходатайствовал ему чин полковника.

После Бородинского сражения Ермолов отправился с Толем и полковником (русским, австрийским и испанским) Кроссаром с Поклонной горы к Москве отыскивать позицию, удобную для принятия сражения. Войска были одушевлены желанием вновь сразиться с неприятелем; когда, после Бородинского сражения, адъютант Ермолова Граббе объявил войскам от имени светлейшего о новой битве, это известие было принято всеми с неописанным восторгом. Отступление наших войск началось лишь по получении известия с нашего правого фланга, которого неприятель стал сильно теснить и обходить. Князь Кутузов, не

желая, однако, оставить столицу без обороны, имел одно время в виду вверить защиту ее со стороны Воробьевых гор — Дохтурову, а со стороны Драгомиловской заставы — принцу Евгению Виртембергскому. Граф Растопчин, встретивший Кутузова на Поклонной горе, увидав возвращающегося с рекогносцировки Ермолова, сказал ему: «Алексей Петрович, зачем усиливаетесь вы убеждать князя защищать Москву, из которой уже все вывезено; лишь только вы ее оставите, она, по моему распоряжению, запылает позади вас». Ермолов отвечал ему, что это есть воля князя, приказавшего отыскивать позицию для нового сражения. Кутузов, узнав, что посланные не нашли хорошей позиции, приостановил движение корпуса Дохтурова к Воробьевым горам. На Поклонной горе видны доселе следы укреплений, коих надлежало защищать принцу Виртембергскому. Кутузов отправил в другой раз к Москве Ермолова с принцем Александром Виртембергским, Толем и Кроссаром; принц, отличавшийся большою ученостью, сказал: «En faisant creneler les murs des convents, on aurait pu y tenir plusieurs jours» *. Возвратившись в главную квартиру, Ермолов доложил князю, что можно было бы, не заходя в столицу, совершить в виду неприятельской армии фланговое движение на Тульскую дорогу, что было бы, однако, не совсем безопасно. Когда он стал с жаром доказывать, что невозможно было принять нового сражения, князь, пощупав у него пульс, сказал ему: «Здоров ли ты, голубчик?» — «Настолько здоров,— отвечал он,— чтобы видеть невозможность нового сражения».

Хотя на знаменитом военном совете в Филях Ермолов, как видно из предыдущего, был убежден, что новое сражение бесполезно и невозможно, но, будучи вынужден подать свой голос одним из первых, дорожа популярностью, приобретенною им в армии, которая приходила в отчаяние при мысли о сдаче Москвы, и не сомневаясь в том, что его мнение будет отвергнуто большинством, он подал голос в пользу новой битвы. Беннингсен, находившийся в весьма дурных сношениях с Кутузовым, постоянно предпочитавшим мнения противоположные тем, кои были предложены этим генералом, требовал того же самого; неустрашимый и благородный Коновницын поддержал их. Доблестный и величественный Барклай, превосходно изложив в кратких словах материальные средства России, кои были ему лучше всех известны, требовал, чтобы Москва была отдана без

* Если бы сделать бойницы в стенах монастырей, то можно было бы продержаться несколько дней.

боя; с ним согласились граф Остерман, Раевский и Дохтуров. По мнению сего последнего, армия, за недостатком генералов и офицеров, не была в состоянии вновь сразиться с неприятелем. Граф Остерман, питавший большую неприязнь к Беннигсену с самого 1807 года, спросил его: «Кто вам поручится в успехе боя?» На это Беннигсен, не обращая на него внимания, отвечал: «Если бы в этом сомневались, не состоялся бы военный совет, и вы не были бы приглашены сюда». Вернувшись после совета на свою квартиру, Ермолов нашел ожидавшего его артиллерии поручика Фигнера, столь знаменитого впоследствии по своим вполне блистательным подвигам. Этот офицер, уже украшенный знаками св. Георгия 4-го класса за смелость, с которою он измерял ширину рва Рущукской крепости, просил о дозволении остаться в Москве для собрания сведений о неприятеле, вызываясь даже убить самого Наполеона, если только представится к тому возможность. Он был прикомандирован к штабу и снабжен на Боровском перевозе подорожною в Казань. Это было сделано затем, чтобы слух об его намерениях не разгласился бы в армии.

На втором переходе после выступления из Москвы армия наша достигла так называемого Боровского перевоза. Здесь арьергард был задержан столпившимися на мосту в страшном беспорядке обозами и экипажами частных лиц; тщетны были просьбы и приказания начальников, которые, слыша со стороны Москвы пушечные выстрелы и не зная об истинном направлении неприятеля, торопились продвинуть арьергард; но обозы и экипажи, занимая мосты и не пропуская войск, нисколько сами не подвигались. В это время подъехал к войскам Ермолов; он тотчас приказал командиру артиллерийской роты, здесь находившейся, сняться с передков и обратить дула орудий на мост, причем им было громко приказано зарядить орудия картечью и открыть по его команде огонь по обозам. Ермолов, сказав на ухо командиру, чтобы не заряжал орудий, скомандовал: «Пальба первая». Хотя это приказание не было приведено в исполнение, но испуганные обозники, бросившись частью в реку, частью на берег, вмиг очистили мост, и арьергард благополучно присоединился к главной армии. Лейб-медик Вилье, бывший свидетелем всего этого, назвал Ермолова: «Homme aux grands moyens» *.

Бывший дежурный генерал 2-й армии Марин, автор весьма многих комических стихотворений, часто посещал Ермолова,

* Человек больших возможностей.

о котором он говорил: «Я люблю видеть сего Ахилла в гневе, из уст которого никогда не вырывается ничего оскорбительного для провинившегося подчиненного».

[87] Генерал-маиор Тучков (он ныне сенатором в Москве), отлично сражавшийся, был изранен и взят в плен в сражении под Заболотьем, что французы называют Валутинским. Это сражение, называемое также Лубинским, описано генералом Михайловским-Данилевским, который даже не упомянул о рапорте, поданном Ермоловым князю Кутузову. Я скажу несколько слов о тех обстоятельствах боя, которые известны лишь весьма немногим. Распорядившись насчет отступления армии из-под Смоленска, Барклай и Ермолов ночевали в арьергарде близ самого города. Барклай, предполагая, что прочие корпуса армии станут между тем выдвигаться по дороге к Соловьевой переправе, приказал разбудить себя в полночь для того, чтобы лично приказать арьергарду начать отступление. Когда наступила полночь, он с ужасом увидел, что второй корпус еще вовсе не трогался с места; он сказал Ермолову: «Nous sommes en grand danger; comment cela a-t-il pu arriver?» * К этому он присовокупил: «Поезжайте вперед, ускоряйте марш войск, а я пока здесь останусь». Дурные дороги задержали корпус Остермана, который следовал потому весьма медленно. Прибыв на рассвете в место, где корпуса Остермана и Тучкова 1-го располагались на ночлег, Ермолов именем Барклая приказал им следовать далее. Князь Багратион, Ермолов и Толь утверждают, что Тучкову 3-му надлежало не только занять перекресток дорог, но и придвинуться ближе к Смоленску на подкрепление Карпова и смену князя Горчакова. Услыхав пушечные выстрелы, Ермолов писал отсюда Барклаю: «Если выстрелы, мною слышанные,— с вашей стороны, мы можем много потерять; если же они со стороны Тучкова 3-го,— бóльшая часть нашей артиллерии может сделаться добычей неприятеля; во всяком случае прошу ваше высокопревосходительство не беспокоиться, я приму все необходимые меры».

В самом деле, сто восемьдесят орудий, следуя медленно и по дурным дорогам, находились еще в далеком расстоянии от Соловьевой переправы. К величайшему благополучию нашему, Жюно, находившийся на нашем левом фланге, не трогался с места; Ермолов обнаружил здесь редкую деятельность и замечательную предусмотрительность. По его распоряжению, граф Кутайсов и генерал Пассек поспешили к артиллерии, которой

---

* Мы в большой опасности, как это могло произойти?

приказано было следовать как можно скорее; здесь в первый раз была употреблена команда: «На орудие садись». Ермолов, достигнув перекрестка, поехал далее по направлению к Соловьевой переправе и возвращал назад встречаемые им войска. Принц Александр Виртембергский, не имевший команды, просил Ермолова поручить ему что-нибудь; придав принцу сведущего штаб-офицера с солдатами, он просил его заняться улучшением дорог. Возвратившись к перекрестку, Ермолов узнал здесь от генерала Всеволожского, что Тучков 3-й находится лишь в трехстах саженях отсюда. Князь Багратион в письме своем Ермолову от 8 августа, между прочим, пишет: «Надо примерно наказать офицера квартирмейстерской части, который вел Тучкова 3-го; вообрази, что за восемь верст вывел далее, а Горчаков дожидался до тех пор, пока армия ваша пришла». Взяв в плен двух вестфальцев корпуса Жюно, Тучков 3-й препроводил их к Ермолову, которому они объявили, что у них шестнадцать полков одной кавалерии. Ермолов писал отсюда с капитаном квартирмейстерской части Ховеном (впоследствии тифлисским военным губернатором) великому князю Константину Павловичу, следовавшему в колонне Дохтурова, что надо поспешить к Соловьевой переправе, перейти там реку и, расположившись на позиции, покровительствовать переправе прочих войск. Приказав именем Барклая Остерману и Тучкову 1-му подкрепить Тучкова 3-го, Ермолов направил графа Орлова-Денисова к Заболотью, где он, однако, не мог бы выдержать натиска неприятеля, если бы вместе с тем не велено было командиру Екатеринбургского полка князю Гуриелю занять рощу; во время нападений неприятеля на графа Орлова-Денисова Гуриель поддерживал его батальным огнем из рощи.

Получив записку Ермолова, Барклай отвечал: «С богом, начинайте, а я между тем подъеду». Прибыв вскоре к колонне Тучкова 3-го и найдя, что здесь уже были приняты все необходимые меры, Барклай дозволил Ермолову распоряжаться войсками. Между тем неприятель, заняв одну высоту несколькими орудиями, наносил нам большой вред; Ермолов приказал Желтухину с своими лейб-гренадерами овладеть этой высотой. Желтухин, не заметив, что высота весьма крута, повел слишком быстро своих гренадер, которые, будучи весьма утомлены во время подъема, были опрокинуты неприятелем. Неприятель, заметив, что этот храбрый полк, здесь сильно потерпевший, намеревается вновь атаковать высоту, свез свои орудия. Между тем Наполеон навел пять понтонов, чрез которые французы могли атаковать наши войска с фланга и тыла; если б Тучков

3-й придвинулся бы ближе к Смоленску, он бы мог быть отрезан. Все наши войска и артиллерия, благодаря неутомимой деятельности, энергии и распорядительности Ермолова, но в особенности бездействию Жюно, достигли благополучно Соловьевой переправы. Барклай, оценив вполне заслуги Ермолова, поручил ему представить от своего имени рапорт о том князю Кутузову.

Однажды Барклай приказал Ермолову образовать легкий отряд. Шевич был назначен начальником отряда, в состав которого вошли и казаки под начальством генерала Краснова. Хотя атаман Платов был всегда большим приятелем Ермолова, с которым он находился вместе в ссылке в Костроме в 1800 году, но он написал ему официальную бумагу, в которой спрашивал, давно ли старшего отдают под команду младшего, как, например, Краснова относительно Шевича, и притом в чужие войска? Ермолов отвечал ему официальною же бумагою, в которой находилось, между прочим, следующее: «О старшинстве Краснова я знаю не более вашего, потому что в вашей канцелярии не доставлен еще формулярный список этого генерала, недавно к вам переведенного из Черноморского войска; я вместе с тем вынужден заключить из слов ваших, что вы почитаете себя лишь союзниками русского государя, но никак не подданными его». Правитель дел атамана Смирной предлагал ему возражать Ермолову, но Платов отвечал: «Оставь Ермолова в покое, ты его не знаешь, он в состоянии сделать с нами то, что приведет наших казаков в сокрушение, а меня в размышление».

[88] П. П. Коновницын был в полном смысле слова благородный и неустрашимый человек, отличавшийся весьма небольшими умственными способностями и еще меньшими сведениями. Будучи назначен дежурным генералом всех армий, он вначале посылал бумаги, им получаемые, к Ермолову, прося его класть на них резолюции. Ермолов исполнил на первый раз его просьбу, но, выведенный из терпения частыми присылками большого количества бумаг, он возвращал их в том виде, в каком получал, с адъютантом своим Фонвизиным, который будил ночью Коновницына и обратно возвращал ему бумаги. Коновницын, прочитав однажды записку Ермолова, в которой было, между прочим, сказано: «Вы напрасно домогаетесь сделать из меня вашего секретаря»,— сказал Фонвизину: «Алексей Петрович ругается и ворчит». Он приобрел отличного руководителя и наставника в квартирмейстерском полковнике Говардовском, авторе знаменитого письма графа Буксгевдена к графу Аракчееву. Этот даровитый штаб-офицер погиб в Бородин-

ском сражении. Впоследствии Толь совершенно овладел Коновницыным.

[89] За два дня до моего прихода в село Егорьевское, что на дороге от Можайска на Медынь, крестьяне ближней волости истребили команду Тептярского казачьего полка, состоящую из шестидесяти казаков. Они приняли казаков сих за неприятеля от нечистого произношения ими русского языка. Сии же самые крестьяне напали на отставшую мою телегу, на коей лежал чемодан и больной гусар Пучков. Пучкова избили и оставили замертво на дороге, телегу разрубили топорами, но из вещей ничего не взяли, а разорвали их в куски и разбросали по полю. Вот пример остервенения поселян на врагов отечества и, вместе с сим, бескорыстия их.

[90] Но не писать слогом объявлений Растопчина. Это оскорбляет грамотных, которые видят презрение в том, что им пишут площадным наречием, а известно, что письменные люди немалое имеют влияние над безграмотными, даже и в кабаках.

[91] Во время войны 1807 года командир Лейб-гренадерского полка Мазовский носил на груди большой образ св. Николая-чудотворца, из-за которого торчало множество маленьких образков.

[92] День вступления французской армии в Москву. Но мы о том не знали.

[93] Я всегда сдавал пленных под расписки. Валовая сделана была по окончании моих поисков, в окрестностях Вязьмы, и подписана юхновским дворянским предводителем Храповицким.

[94] Покойного Василия Федоровича.

[95] Он отряжен был в Москву для вербования уланов. Волынский уланский полк находился в западной армии, под командою генерала Тормасова, на Волыни.

[96] Вопреки многим, я и тогда полагал полезным истребление Москвы. Необходимо нужно было открыть россиянам высший предмет их усилиям, оторвать их от *города* и обратить к *государству*.

Слова *«Москва взята»* заключали в себе какую-то необоримую мысль, что Россия завоевана, и это могло во многих охладить рвение к защите того, что тогда только надлежало начинать защищать. Но слова *«Москвы нет»* пресекли разом все связи с нею корыстолюбия и заблуждения зреть в ней Россию. Вообще все хулители сего превосходного мероприятия ценят одну гибель капиталов московских жителей, а не поэзию под-

вига, от которого нравственная сила побежденных вознеслась до героизма победительного народа.

[97] Ныне генерал-маиор в отставке.

[98] Умер генерал-маиором по кавалерии.

[99] Ныне полковником в отставке

[100] Ныне в отставке.

[101] Ныне в отставке маиром.

[102] Был хорунжиим и убит 1813 года, во время преследования неприятеля, после победы под Лейпцигом.

[103] Ныне прапорщиком Екатеринославского гарнизонного баталиона.

[104] Генерал Бараге-Дильер был губернатором Смоленской губернии и имел пребывание свое в Вязьме.

[105] Другие уверяли меня, что на сие отважился сам начальник отряда, проходившего тогда из Смоленска в Москву; он только истребовал от губернатора позволение действовать против моей партии.

[106] По взятии 22 октября города Вязьмы генералом Милорадовичем адъютант его, Кавалергардского полка поручик (что ныне генерал-адъютант) Киселев, отыскал в разбросанных бумагах один из циркуляров, рассылаемых тогда генералом Бараге-Дильером по войскам, в команде его находившимся и проходившим чрез Смоленскую губернию, и подарил мне оный. В сем циркуляре описаны были приметы мои и изложено строгое повеление *поймать и расстрелять меня*; я долго хранил его как лучший аттестат действий моих под Вязьмою, но, к сожалению, затерял его в походе 1813 и 1814 годов.

[107] Я вначале намерен был каждому из них поручить в командование по полусотне человек в поголовном ополчении, но они на это сказали: «Когда-то еще бог приведет им подраться, а здесь мы всегда на тычку!» Как жаль, что в походах я затерял записку с именами сих почтенных воинов!

[108] Так называется и искони называлась долина в трех верстах от Городища.

[109] А ныне и владетель оного.

[110] Ныне один из важнейших генералов бельгийской армии и, кажется, не главнокомандующий ли?

[111] В то время некоторые гусарские полки были вооружены пиками с флюгерами, как уланы. Из числа сих полков был и Ахтырский.

[112] В описаниях знаменитого Тарутинского сражения многие обстоятельства, предшествовавшие сражению и во время самого боя, выпущены из виду военными писателями. Главная

квартира Кутузова находилась, как известно, в Леташевке, а Ермолов с Платовым квартировали в расстоянии одной версты от этого села. Генерал Шепелев дал 4-го числа большой обед, все присутствовавшие были очень веселы, и Николай Иванович Депрерадович пустился даже плясать. Возвращаясь в девятом часу вечера в свою деревушку, Ермолов получил чрез ординарца князя Кутузова, офицера Кавалергардского полка, письменное приказание собрать к следующему утру всю армию для наступления против неприятеля. Ермолов спросил ординарца, почему это приказание доставлено ему так поздно, на что он отозвался незнанием, где находился начальник Главного штаба. Ермолов, прибыв тотчас в Леташевку, доложил князю, что, по случаю позднего доставления приказания его светлости, армию невозможно собрать в столь короткое время. Князь очень рассердился и приказал собрать все войска к 6-му числу вечером; вопреки уверениям генерала Михайловского-Данилевского, князь до того времени и не выезжал из Леташевки. В назначенный вечер, когда уже стало смеркаться, князь прибыл в Тарутино. Беннингсену, предложившему весь план атаки, была поручена вся колонна, которая была направлена в обход; в этой колонне находился и 2-й корпус. Кутузов со свитой, в числе которой находились Раевский и Ермолов, оставался близ гвардии; князь говорил при этом: «Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель, приняв свои меры, заблаговременно отступает». Ермолов, понимая, что эти слова относятся к нему, толкнул коленом Раевского, которому сказал: «Он на мой счет забавляется». Когда стали раздаваться пушечные выстрелы, Ермолов сказал князю: «Время не упущено, неприятель не ушел, теперь, ваша светлость, нам надлежит с своей стороны дружно наступать, потому что гвардия отсюда и дыма не увидит». Кутузов скомандовал наступление, но чрез каждые сто шагов войска останавливались почти на три четверти часа; князь, видимо, избегал участия в сражении. Место убитого ядром Багговута заступил мужественный принц Евгений Виртембергский, который стал у головного полка. Ермолов послал сказать чрез капитана квартирмейстерской части Ховена графу Остерману, чтобы он следовал с своим корпусом быстрее. Остерман выслал к назначенному месту лишь полковые знамена при ста рядовых. Беннингсен, выведя войска к месту боя, вернулся назад; если б князь Кутузов сделал с своей стороны решительное наступление, отряд Мюрата был бы весь истреблен. Фельдмаршал, окруженный многими

генералами, ехавшими верхом, возвратился вечером в коляске в Леташевку. Он сказал в это время Ермолову: «Голубчик, неприятель понес большую потерю, им оставлено много орудий в лесу». Кутузов, не расспросив о ходе дела у главного виновника победы Беннингсена, послал государю донесение, в котором вместо девятнадцати орудий, взятых у неприятеля, показано было тридцать восемь. С этого времени вражда между Беннингсеном и Кутузовым достигла крайних размеров и уже никогда не прекращалась.

[113] Отряд сей состоял из одного баталиона 19-го егерского полка, двух баталионов Полоцкого пехотного полка, двух баталионов Вильманстрандского пехотного полка, из Мариупольского гусарского полка, четырех эскадронов Елисаветградского гусарского полка, из донских полков Иловайского 11-го и восьми орудий.

[114] Весь этот разговор был тотчас доведен до сведения государя находившимся в то время при нашей армии бароном Анштетом.

[115] Ермолов, следуя после Малоярославского сражения с войсками Милорадовича, отдавал именем Кутузова приказы по отряду; отправляя его, Кутузов сказал ему: «Голубчик, не все можно писать в рапортах, извещай меня о важнейшем записками». Милорадович, имея под своим начальством два пехотных и два кавалерийских корпуса, мог легко отрезать арьергард или другую часть французской армии. Ермолов приказал потому именем Кутузова наблюдать головным войскам возможную тишину и порядок, дабы не встревожить неприятеля, который мог бы расположиться вблизи на ночлег. Однажды главные силы французов оставались для ночлега близ корпуса принца Евгения Виртембергского, у самой дороги, по обеим сторонам которой тянулись насыпи. Эта узкая и длинная дорога, значительно испортившаяся вследствие продолжительных дождей, представляла как бы дефиле, чрез которое неприятелю и нам надлежало следовать. Войска бесстрашного принца Виртембергского, всегда находившегося при головных своих полках, открыли сильный огонь противу неприятеля, который, снявшись с позиции, двинулся поспешно далее в ужаснейшем беспорядке; это лишало нас возможности, атаковав его на рассвете, отрезать какую-либо колонну. Французы, побросав на дороге много орудий, значительно задержали тем наши войска, которые были вынуждены заняться на другой день в продолжение нескольких часов расчищением пути, по коему им надлежало продолжать свое дальнейшее движение. Милорадович ограничился

лишь весьма легким замечанием принцу, но Ермолов объявил ему именем Кутузова весьма строгий выговор.

Ермолов просил не раз Кутузова спешить с главною армиею к Вязьме и вступить в этот город не позже 22 ноября; я видел у него записку, писанную рукою Толя, следующего содержания: «Мы бы давно явились в Вязьму, если бы получали от вас более частые уведомления и с казаками, более исправными; мы будем 21-го близ Вязьмы». Князь, рассчитывавший, что он может довершить гибель французов, не подвергая поражению собственных войск, подвигался весьма медленно; хотя он 21-го находился близ Вязьмы, но, остановившись за восемь верст до города, он не решался приблизиться к нему. Желая, однако, убедить государя в том, что он лично находился во время битвы под Вязьмой, он выслал к этому городу гвардейскую кавалерию с генерал-адъютантом Уваровым, который, чтобы не подвергать батарею Козена напрасной потере, отвел ее назад, ограничившись ничтожною канонадой по городу чрез речку. Федор Петрович Уваров, отличавшийся рыцарским благородством и мужеством, пользовался всегда полным благоволением государя, которому он не раз говаривал: «Выслушайте, ваше величество, со вниманием все то, что я вам скажу; это принадлежит не мне, а людям, несравненно меня умнейшим». Ермолов, потеряв весьма много по службе в последние годы царствования императора Павла, был даже несколько старее в чине Уварова и князя Багратиона во время штурма Праги в 1794 году; они были потому в близких между собою сношениях, и во время Отечественной войны Уваров не раз говаривал Ермолову: «Мне скучно, ты меня сегодня еще не приласкал».

Прибыв из отряда Милорадовича в главную квартиру, находившуюся в Ельне, Ермолов застал Кутузова и Беннингсена за завтраком; он долго и тщетно убеждал князя преследовать неприятеля с большею настойчивостью. При известии о том, что, по донесениям партизанов, Наполеон с гвардией уже близ Красного, лицо Кутузова просияло от удовольствия, и он сказал ему: «Голубчик, не хочешь ли позавтракать?» Во время завтрака Ермолов просил Беннингсена, на коленах которого он не раз в детстве сиживал, поддержать его, но этот генерал упорно молчал. Когда князь вышел из комнаты, Беннингсен сказал ему: «Любезный Ермолов, если б я тебя не знал с детства, я бы имел полное право думать, что ты не желаешь наступления; мои отношения к фельдмаршалу таковы, что мне достаточно одобрить твой совет, чтобы князь никогда бы ему не последовал».

116 Отряд сей состоял из четырех тысяч человек, принадлежавших разным полкам. Поручение, данное командиру его, видно выше.

117 В то время Наполеон особою своею был уже в Вязьме, ибо он прибыл туда 19-го, в четыре часа пополудни. Генерал же Эверс не пошел далее и, вследствие полученного им повеления, прибыл 18-го к вечеру обратно в Вязьму.

118 Первого отряд состоял из шести казачьих полков и Нежинского драгунского, а второго — из 19-го егерского, Мариупольского гусарского, двух донских, двух малороссийских казачьих полков и шести орудий конной артиллерии.

119 По сочинению г. Шамбре видно, что при французской армии шло 605 орудий, 2 455 палубов и более 5 000 фур, карет и колясок.

120 Порядок марша неприятеля от Вязьмы был следующий: корпус Жюно, молодая гвардия, 2-й и 4-й кавалерийские корпуса, старая гвардия, корпус Понятовского, корпус принца Евгения, корпус Даву и корпус Нея, который составлял арьергард армии.

121 Сей генерал поступил на место генерала Винценгероде, взятого в плен посреди Москвы во время выступления из сей столицы французской армии.

122 Фигнер и Сеславин, как артиллеристы, были безгранично преданы А. П. Ермолову, к которому в армии, а особенно в артиллерии, питали глубокое уважение и любовь за его замечательный ум, постоянно веселый нрав и ласковое со всеми обращение. На записку Ермолова, заключавшую в себе: *«Смерть врагам, преступившим рубеж России»*, Фигнер отвечал: *«Я не стану обременять пленными»*. Фигнер и Сеславин, приезжая в главную квартиру, останавливались у Ермолова, который, шутя, не раз говорил: «Вы, право, обращаете мою квартиру в вертеп разбойников». В самом деле, близ его квартиры часто находились партии этих партизанов в самых фантастических костюмах. При Тарутине Фигнер не раз показывал ту точку в средине неприятельского лагеря, где он намеревался находиться в следующий день. В самом деле, на другой день он, переодетый во французский мундир, находился в средине неприятельского лагеря и обозревал его расположение. Это повторялось не раз.

123 Сражение под Красным, носящее у некоторых военных писателей пышное наименование трехдневного боя, может быть по всей справедливости названо лишь трехдневным поиском на голодных, полунагих французов; подобными трофеями могли

гордиться ничтожные отряды, вроде моего, но не главная армия. Целые толпы французов, при одном появлении небольших наших отрядов на большой дороге, поспешно бросали оружие. В самом Красном имел пребывание Милорадович, у которого квартировал Лейб-гусарского полка полковник Александр Львович Давыдов. Толпа голодных французов, в числе почти тысячи человек, под предводительством одного единоплеменника своего, служившего некогда у Давыдова в должности повара, подступила к квартире Милорадовича. Появление этой толпы, умолявшей лишь о хлебе и одежде, немало всех сначала встревожило. Храбрый командир Московского драгунского полка полковник Николай Владимирович Давыдов, называемый torse * по причине большого количества полученных им ран, ворвался в средину французского баталиона, которому приказал положить оружие. Утомленная лошадь его упала от истощения среди баталиона, который тотчас исполнил его требование. Близ Красного адъютант Ермолова Граббе взял в плен мужественного и ученого артиллерийского полковника Marion, который очень полюбил Ермолова. Когда в 1815 году Ермолову было приказано обезоружить гарнизон Меца или, в случае его сопротивления, овладеть штурмом этой крепостью, комендантом был Marion. Почитая бесполезным обороняться, когда уже вся Франция была занята союзниками, он сдал Мец, где, принимая Ермолова как старого приятеля, он познакомил его с своим семейством.

124 Атаман Платов загремел в Европе чрез кампанию 1807 года. Начальствуя отрядом, составленным из полков: десяти казачьих, 1-го егерского, Павлоградского гусарского и двенадцати орудий донской конной артиллерии, он взял в плен в течение всей вышеозначенной кампании сто тридцать девять штаб- и обер-офицеров и четыре тысячи сто девяносто шесть рядовых. Соразмеряя силу его отряда с моей партией, мне следовало бы взять только семьсот рядовых и двадцать три офицера. Что же причиною, что число пленных, взятых моими двумя полками, почти равняется с числом пленных, взятых двенадцатью полками атамана? Не что иное, как действие двух полков моих на *сообщение* неприятеля, а двенадцати полков атамана — на *фронт боевой линии* оного. В «Опыте партизанского действия», мною изданном, представляется превосходство первого действия над последним.

---

* кривой.

125 Князь Кутузов, отличавшийся необыкновенным даром слова, не умел, однако, хорошо излагать на бумаге свои мысли.

126 Фигнер еще не прибыл в то время из Петербурга, куда, как уже я сказал, он послан был курьером с донесением о деле при Ляхове.

127 В числе оных взята была моими казаками карета господина Фена с картами топографического кабинета Наполеона, с рукописями и с бумагами. К несчастью, я узнал о том вечером, когда, подошед к бивачному огню, я увидел все сии сокровища пылающими в костре. Все, что я мог спасти, состояло в карте России господина Самсона, в кипе белой веленевой бумаги и в визитных карточках, с которыми господин Фен намеревался разъезжать с визитами по Москве и по коим я узнал, что все сие ему принадлежит.

128 Этот жид имел на себе дубликат, ибо такое же повеление нес на себе другой жид, которого перехватил Сеславин.

129 Село, отделенное Днепром от Копыса.

130 Дивизионный генерал маркиз Илорно, или Алорно, португалец родом, бывший губернатором в Могилеве, оставил город сей 9 ноября и отошел в Бобр.

131 Он был тогда подпоручиком 26-го егерского полка и адъютантом генерала Бахметева. Когда генерал сей лишился ноги в Бородинском сражении, он пристал к генералу Раевскому, а потом служил в моей партии.

132 Он был ранен в левую ляжку пулею, от которой освободился только в 1818 году, что, однако же, не воспретило ему служить с честью 1813 и 1814 года кампании. Он ныне генерал-маиором в отставке.

133 Граф Витгенштейн обязан был взятием Полоцка ополчению, коим предводительствовал действительный статский советник Мордвинов, которому здесь неприятельское ядро раздробило ногу. Уже было послано войскам приказание отступать, но ратники воспротивились, и Витгенштейн, вынужденный их поддержать, овладел городом.

134 Адмирал Чичагов, названный Наполеоном cet imbécile d'amiral *, был весьма умен, остер и изъяснялся весьма хорошо и чисто на французском и английском языках. Управление его морским министерством было ознаменовано тремя подвигами: истреблением части Балтийского флота (по мнению некоторых, была уничтожена лишь самая гнилая и негодная часть флота) как бесполезного для России, потому что Зунд принад-

---

* этот слабоумный адмирал.

лежит Дании; испрошением адмиралу Сенявину ордена св. Александра Невского вместо св. Георгия 2-го класса за победу при Тенедосе, где им было выказано более мужества, чем искусства; и переменою покроя морского мундира. Оставив министерство, он долго жил за границей и по возвращении своем был послан в Молдавию; негодуя на светлейшего, лишившего его чести подписать мир с турками, он обнаружил некоторые злоупотребления князя во время командования его Молдавскою армиею.

Он вознамерился (по мнению некоторых, вследствие особого приказания) сделать диверсию полумиллионной армии Наполеона, подступавшей уже к Москве, движением своим чрез Кроацию и Боснию в Италию; он для этой цели остановился в Яссах, где, как говорят, приказал убить несколько тысяч волов, из которых ему хотелось сделать бульон на армию. В армии Чичагова господствовала строгая дисциплина, далеко превосходившая ту, которая существовала в армии Витгенштейна. Во время обеда, данного Чичаговым в Борисове, авангард его под начальством графа Павла Палена, выставленный в Неманице, был опрокинут войсками Домбровского, которые преследовали наших до самого города; все устремились к единственному мосту, где столпились в страшном беспорядке. К счастию, неприятель, пришедший сам в расстройство, не мог довершить поражения; однако несколько орудий, много обозов и серебряный сервиз адмирала достались ему в руки. Когда Чичагов, вернувшись из Игумена, решился атаковать французов, он, по мнению некоторых, обратясь к своему начальнику штаба Ивану Васильевичу Сабанееву (отлично-способному генералу, которого Ермолову удалось впоследствии оправдать в глазах императора Александра, почитавшего его пьяницей), сказал ему: «Иван Васильевич, я во время сражения не умею распоряжаться войсками, примите команду и атакуйте неприятеля». Сабанеев атаковал французов, но был ими разбит по причине несоразмерности в силах.

Военный писатель, генерал Водонкур, человек весьма умный, но не храбрый, знавший отлично теорию военного искусства до первого выстрела и пользовавшийся долго гостеприимством Чичагова, написал ему похвальное слово. Генерал Гильемино, человек глубоких сведений, ясного ума и блистательной храбрости, бывший начальником штаба 4-го Италианского корпуса, артиллериею которого командовал Водонкур, говорил мне, что он во время сражения никогда не мог отыскать Водонкура для передачи ему приказаний.

[135] Так как переправа совершилась 16-го числа, то покажется сверхъестественным, чтобы я мог узнать об оной того же дня, быв удален на сто верст от французской армии. Я сему другой причины не полагаю, как то, что переправа началась 14-го в восемь часов утра, а как известие о том дошло до меня посредством жителей, которым достаточно увидеть мост и десять человек на противном берегу, чтобы заключить об успехе,— то видно, что при появлении первых неприятельских войск на правом берегу распространился слух о переходе всей армии, и этот-то слух дошел и до меня.

[136] Полковник Толь, добрым расположением которого я всегда пользовался, был человек с замечательными способностями и большими сведениями. Он получил воспитание в одном из кадетских корпусов во время командования ими Михаила Илларионовича Кутузова, покровительством которого он всегда пользовался. Во время Отечественной войны он был еще молод и мало опытен, а потому он нередко делал довольно значительные ошибки. Так, например, во время отступления наших армий к Дорогобужу он за несколько верст до этого города нашел для них позицию близ деревни Усвятья. Во время осмотра этой позиции, которая была весьма неудобна, потому что правый фланг отделялся от прочих частей армии болотом и озером, князь Багратион, в присутствии многих генералов, сказал Толю: «Вы, господин полковник, своего дела еще не знаете, благодарите бога, что я здесь не старший, а то я надел бы на вас лямку и выслал бы вон из армии». Не дождавшись неприятеля, обе армии, вопреки уверениям Барклая, отошли к Дорогобужу, где Толем была найдена другая позиция, которою князь Багратион также не мог остаться довольным. Во время осмотра новой позиции Ермоловым граф Павел Строганов указал ему на следующую ошибку Толя: его дивизия была обращена затылком к тылу стоящей позади ее другой дивизии. Трудно объяснить себе, каким образом столь искусный и сметливый офицер, каков был Толь, мог делать столь грубые ошибки; почитая, вероятно, невозможным принять здесь сражение, он не обратил должного внимания на выбор позиции. Несмотря на записку, поданную Барклаю Ермоловым, всегда отдававшим полную справедливость способностям и деятельности Толя, он был выслан из армии. Князь Кутузов, проезжая в армию и найдя Толя в Москве, взял его с собою. Впоследствии он приобрел большую опытность и заслужил репутацию искусного генерала. Он, в качестве начальника Главного штаба, принимал участие в войнах 1828, 1829, 1831 годов; эти войны, в особенности первая

половина войны 1831 года, богаты немаловажными ошибками. Зная недружелюбные отношения графа Дибича и Толя между собою, невозможно положительно сказать, в какой степени каждый из них здесь виноват; во всяком случае, Толь, по званию своему во время ведения этих войн, не может не принять на себя ответственности за многое, совершенное в эту эпоху. Но венец его славы — это взятие Варшавы; здесь деятельность, мужество и в особенности вполне замечательная решительность Толя достойны величайших похвал.

[137] Ковна заключала в себе огромные магазины и казну в два с половиною миллиона франков. Местечко сие защищаемо было полутора тысячами человек новобранных немецких воинов и сорока двумя орудиями, из коих двадцать пять имели полную упряжь.

[138] Когда по совершении сего блистательного подвига Сеславин кормил лошадей и отдыхал за Березиной, казачий генерал Денисов с партиею от Платова отряда перешел чрез пустой город и донес атаману, что он занял оный, а не Сеславин. Платов приказал последнему отдать пленных Денисову и, взяв на себя как славу занятия Борисова, так и открытия сообщения с Чичаговым, донес о том главнокомандующему. Пораженный такою наглою несправедливостью, Сеславин того же дня написал к генералу Коновницыну: «Платов отнимает славу моего отряда, усиленного пехотою Чичагова. Неужто надо быть генералом, чтобы быть правым? Спросите обо всем у адмирала, я врать не стану».

Девятнадцатого был сделан запрос от светлейшего Чичагову, правда ли, что Сеславин, усиленный его пехотою, первый занял Борисов, открыл сообщение графа Витгенштейна с его армиею и чрез то был виновником взятия нескольких тысяч пленных? Вот ответ Чичагова: «Имея честь получить предписание вашей светлости от 19-го сего месяца под № 553, обязанностию поставляю донести, что гвардии капитан Сеславин действительно первый занял город Борисов и открыл сообщение со мною генерала-от-кавалерии графа Витгенштейна, доставя от него в то же время письменное ко мне об его движении и предположениях уведомление; равным образом и сдача в плен нескольких тысяч неприятеля была следствием занятия им сего города и соединенного действия с вверенною мне армиею корпуса графа Витгенштейна. Чичагов. № 1944. Ноября 22-го дня 1812 года. М. Илия».

Я вошел в подробности сего случая для того только, чтобы показать, сколько дух зависти обладать может и воином, свер-

шившим круг, обильный блистательными подвигами, гремевшим в Европе славным именем, и коему желать, кажется, ничего не оставалось. Что же должно было ожидать партизанам от тех, кои, удрученные пышными названиями, считают число чинов и крестов своих числом контузий и поклонов, приправленных подарками сочинителям реляций и представлений!

[139] 1810 года на штурме Рущука, шедши спереди колонны с охотниками, он получил жестокую рану в *правую руку*; пуля раздробила кость и прошла навылет.

[140] Кажется, что светлейшего намерение было подстрекнуть графа Ожаровского на следование поспешнее к Гродне, дабы тем облегчить покушение на сей город моей партии, ибо 4-го числа послана была к нему бумага следующего содержания: «Весьма приятны были светлейшему данные вашим сиятельством известия; а как неприятель, вероятно, отступает за границу нашу, то и приказал его светлость по близости вашей к Шварценбергу наблюдать за его движениями и предоставляет вам случай завладеть Гродною. Генерал-лейтенант Коновницын». Означенная бумага разъехалась с рапортом графа Ожаровского, в котором он писал: «В Белице и в окрестностях ее совершенный недостаток в провианте, а особливо в фураже, по долговременному пребыванию там австрийских войск; почему, заняв донскими казаками Белицу и Ищолку, прошу ваше превосходительство позволить мне с остальною частию вверенного мне отряда остаться в Лиде *для удобнейшего продовольствия и поправления кавалерии*. Генерал-адъютант граф Ожаровский». 8-го числа декабря отряд его приказано было распустить.

[141] Сабля эта, осыпанная драгоценными алмазами, была пожалована ее отцу императрицей Екатериной во время каруселя. Письмо графини Орловой было доставлено Милорадовичу чрез адъютанта его Окулова. Милорадович в присутствии своего штаба несколько раз спрашивал у Окулова: «Что говорила графиня, передавая тебе письмо?» — и, к крайнему прискорбию своему, получал несколько раз в ответ: *«Ничего»*. Милорадович возненавидел его и стал его преследовать. Окулов погиб скоро в аванпостной сшибке.

Граф Милорадович был известен в нашей армии по своему необыкновенному мужеству и невозмутимому хладнокровию во время боя. Не будучи одарен большими способностями, он был необразованный и малосведущий генерал, отличался расточительностью, большою влюбчивостью, страстью изъясняться на незнакомом ему французском языке и танцевать мазурку. Он получил несколько богатых наследств, но всё было им

издержано весьма скоро, и он был не раз вынуждаем прибегать к щедротам государя. Беспорядок в командуемых им войсках был всегда очень велик; он никогда не ночевал в заблаговременно назначаемых ночлегах, что вынуждало адъютантов подчиненных ему генералов, присылаемых за приказаниями, отыскивать его по целым ночам. Он говаривал им: «Что я скажу вашим начальникам; они лучше меня знают, что им следует делать». После Малоярославского сражения Ермолов, которого он всегда называл sa passion *, следуя при его отряде, отдавал приказания именем Кутузова. Впоследствии, будучи С.-Петербургским генерал-губернатором, Милорадович, выделывая прыжки перед богатым зеркалом своего дома, приблизился к нему так, что разбил его ударом головы своей; это вынудило его носить довольно долго повязку на голове. Он был обожаем солдатами, и, невзирая на то, что не только не избегал опасности, но отыскивал ее всегда с жадностью, он никогда не был ранен на войне. Умирая, Милорадович сказал: «Я счастлив тем, что не умираю от солдатской пули». Он был влюблен в госпожу Дюр; когда она занемогла жабой в горле, он всюду рассказывал: «Elle a l'èquinoxe à la gorge» **.

142 «Разбор трех статей Наполеона».

143 Examen critique de l'histoire de Napoléon et de la grande armée par le comte de Ségur et de la critique qu'en a faite le général Gourgaud.

144 Examen critique de l'histoire de la campagne de 1812 du comte de Ségur, par le général Gourgaud.

145 Histoire de l'expédition de Russie, par M *** (Chambray). Tome III.

146 Mémoires pour servir à l'histoire de France, par Napoléon, publiés par Montholon. Tome II, page 113.

147 Vie politique et militaire de Napoléon. Tome IV.

148 Vie de Napoléon Bonaparte, par Sir Walter Scott. Tome IV.

149 Мнение совершенно ложное (замечание сочинителя статьи).

150 Mémoires, pour servir à l'histoire de France, par Napoléon, publiés par Montholon. Tome II, page 113.

151 Генерал Винценгероде служил в Гессен-Касельском войске маиором. В 1797 году июня 8-го дня принят был тем же чином в российскую службу с назначением в адъютанты к его высочеству великому князю Константину Павловичу. 1798 года

---

* своей страстью.

** у нее равноденствие в горле.

мая 5-го дня произведен из маиоров в полковники. 1799 года февраля 3-го дня исключен из службы без абшида, выехал за границу и немедленно вступил в австрийскую службу, а в 1801 году, возвратясь в Петербург, принят снова в российскую службу генерал-маиором с назначением в генерал-адъютанты. После Аустерлицкого сражения, невинно очерненный в общем мнении, он принужден был оставить российскую службу и опять вступить в австрийскую. Но в начале 1812 года обратно перешел в российскую службу в чине генерал-лейтенанта. Командовал отрядом войск прежде около Смоленска, потом в Духовщине и, наконец, около Клина. Был взят в плен в Москве, куда он въехал один, без конвоя, в средину неприятельских войск, которых он полагал вне уже столицы; отослан во Францию и на пути, в окрестностях Молодечно, выручен из плена полковником Чернышевым (ныне военным министром) во время отважного перехода его с партиею казаков из армии Чичагова к корпусу графа Витгенштейна, наперерез всех затыльных сообщений неприятеля. Винценгероде умер скоропостижно несколько лет по заключении мира с Франциею.

152 Умерший от раны, полученной им в сражении под Краоном, во Франции, 1814 года.

153 Relation circonstanciée de la campagne de 1813 en Saxe, par M. le baron d' Odeleben, l'un des officiers généraux de l'armée. Paris, 1817.

154 Штабс-капитан Левенштерн, прикомандированный к партии моей в Гродне. Он ныне полковником в отставке.

155 Из Оделебена.

156 Из Оделебена.

157 Из Оделебена.

158 Генерал Винценгероде разругал при этом случае всех партизанов вообще и своего приятеля генерала Чернышева в особенности.

159 Грубер был генерал ордена иезуитов, жил в Петербурге в царствование императора Павла и некоторое время пользовался его отменною благосклонностию.

160 Сведения о заточении Ермолова и Платова я почерпнул из рассказов А. П. Ермолова, графа Платова и Казадаева, дополненных некоторыми костромскими старожилами.

161 Князь Ксаверий Францович Любецкий был министром финансов в Царстве Польском с 1815 по 1830 год; нынче член русского Государственного совета.

162 Так как митрополит Феофилакт был характера крутого и ума замечательного, то при отправлении его в Грузию, коею

управлял в то время Ермолов, все говорили: «Два медведя в одной берлоге не уживутся». Невзирая на это предсказание, Ермолов и Феофилакт находились в весьма приятельских отношениях, это, однако, не мешало им писать друг другу весьма резкие бумаги. Феофилакт, знавший, что Ермолов называл плохих генералов епископами, спросил однажды у Алексея Петровича об одном из них: «Ведь это, кажется, епископ?»

163 Министр народного просвещения и духовных дел князь Александр Николаевич Голицын, отъявленный враг Ермолова, отличался и подлостию, и придворным интриганством, и порочными вкусами, на востоке столь распространенными.

164 Я это знаю от статс-секретарей Василия Романовича Марченки и Петра Андреевича Кикина и от графа Закревского.

165 Ермолов, Вельяминов, Грибоедов и известный шелковод А. Ф. Ребров находились в средине декабря 1825 года в Екатеринодаре; отобедав у Ермолова, для которого, равно как и для Вельяминова, была отведена квартира в доме казачьего полковника, они сели за карточный стол. Грибоедов, идя рядом с Ребровым к столу, сказал ему: «В настоящую минуту идет в Петербурге страшная поножовщина»; это крайне встревожило Реброва, который рассказал это Ермолову лишь два года спустя. Ермолов, отправляя обвиненного с преданным ему фельдъегерем в Петербург, простер свою заботливость о Грибоедове до того, что приказал фельдъегерю остановиться на некоторое время во Владикавказе, где надлежало захватить два чемодана, принадлежавшие автору «Горя от ума». Фельдъегерь получил строгое приказание дать Грибоедову возможность и время, разобрав заключавшиеся в них бумаги, уничтожить все то, что могло послужить к его обвинению. Это приказание было в точности исполнено, и Грибоедов подвергся в Петербурге лишь непродолжительному заключению. Все подробности были мне сообщены Талызиным, Мищенко, самим фельдъегерем и некоторыми другими лицами.

166 Я это знаю от зятя моего — Дмитрия Никитича Бегичева.

167 Так как я в это время не находился уже более в Грузии, то я привожу здесь подробности, которые мне были сообщены многими лицами, заслуживающими доверия. Причину этих действий Грибоедова должно, сколько мне известно, искать в следующем: Грибоедов, невзирая на блистательные дарования свои, никогда не принадлежал к числу так называемых деловых людей; он провел довольно долгое время в Персии, где убе-

дился лишь в том, что слабость и уступчивость с нашей стороны могли внушить персиянам много смелости и дерзости, а потому он хотел озадачить их, так сказать, с первого раза. К сожалению, далеко было от уступчивости до настоятельных требований относительно гаремных прислужниц, некогда взятых в плен во время вторжения персиян в Грузию, что заключало в себе много оскорбительного для самолюбия этого народа. Настойчивость Грибоедова была необходимою во всех тех случаях, где надлежало ему наблюдать за точным исполнением важнейших пунктов Туркманчайского трактата; в прочих случаях надо было обнаружить много ловкости, проницательности и осторожности, дабы не оскорбить понапрасну народной гордости. Грибоедову, назначенному посланником в Персию после наших счастливых военных действий, было легче приобресть влияние, чем Ермолову, отправленному туда в 1817 году.

Невзирая на то, что этот последний прибыл в Тегеран после обещания, данного государем персидским послам возвратить некоторые присоединенные уже к нам области, он выказал при этом случае так много искусства и энергии, что шах отказался от своих требований. В случае несогласия шаха Ермолов, не могший поддержать своих представлений войском, которого в то время не было под рукой, нашелся бы вынужденным уступить, что было небезызвестно персиянам. Невзирая на то, что сам принц Аббас-Мирза явно уже выказывал нам свои неприязненные чувства, Ермолов успел склонить шаха к уступкам. Ермолов, всегда умевший выказывать большое уважение к обычаям народов, с коими ему приходилось действовать, внушил персиянам высокое к русским уважение, каким мы даже не пользовались после наших успехов над ними. Мне говорил один важный персидский чиновник, что своевременная присылка войск в Грузию предупредила бы войну с персиянами, коих самонадеянность возросла лишь вследствие убеждения, что мы к ней не готовы и что мы можем противуставить их полчищам лишь ничтожные силы. Наконец самые действия умного и энергичного Мазаровича, никогда не раздражавшего народной гордости персиян, были весьма поучительны для Грибоедова, который пренебрег, к сожалению, уроками своих предместников.

Я полагаю, что, вероятно, существовала возможность выручить пленниц без предъявления несвоевременных и оскорбительных для персиян требований; во всяком случае, надо было приискать средства к их выдаче, не жертвуя для того столь многими людьми. Если бы, по причине существующих обычаев, невозможно было этого сделать тотчас, то не следовало явно

нарушать обычаев, освященных веками, и тем возбуждать противу себя жителей, но следовало выждать удобное к тому время.

[168] Мне повторяли это не раз многие из его родственников; надобно, впрочем, присовокупить, что вследствие непрестанных сношений с умнейшими людьми Царства Польского, он приобрел в последнее время, сколько мне известно, довольно верный взгляд на дела и некоторые сведения. Желая также приобрести популярность в царстве, он часто ходатайствует у государя о несчастных и вполне угнетенных поляках. С какою бы целью Паскевич это ни делал, он заслуживает больших похвал за покровительство, оказываемое им этому несчастному народу.

[169] Паскевич и его далеко не бескорыстные почитатели утверждали и утверждают, что Ермолов отправил его с ничтожными средствами против полчищ Аббас-Мирзы с явным намерением погубить его. В опровержение этого можно сказать, что Ермолов, не раз доносивший еще во время Отечественной войны о мужестве и усердии Паскевича, никогда не почитал его человеком умным и еще менее опасным для себя. Он мог и должен был лично выступить против персиян и вверить Паскевичу начальство лишь над второстепенным отрядом, что сделал бы, без сомнения, всякий другой начальник. Войск же, как известно, находилось в Грузии весьма мало, а потому Ермолов вверил ему начальство над тем количеством войск, каким лишь мог располагать.

[170] Граф Канкрин сказал по этому поводу Ермолову: «Государь не мог, батюшка, не обидеться тем, что вы писали потому, что известно, что у нас в Государственном совете сидят одни дураки».

Примечания

В настоящее издание вошли стихи и избранная проза Дениса Давыдова. Открывается книга его автобиографией.

В первом разделе собраны все стихи Давыдова, за исключением двух-трех мелочей, написанных «на случай», и нескольких необработанных набросков. Стихотворения расположены в хронологической последовательности — по годам написания. Незначительные отступления от хронологического порядка допущены в двух случаях: во-первых, для не поддающихся точной датировке шести эпиграмм (1805—1814 гг.), выделенных в особую группу, и, во-вторых, для девяти элегий (1814—1817 гг.) — из тех соображений, чтобы не дробить целостный элегический цикл Давыдова. Стихотворения, точные даты которых не установлены, отнесены к десятилетиям. Предположительные даты сопровождаются вопросительным знаком. Стихотворения, радикально переработанные автором в позднейшее время, помечены двумя датами; вторая дата указывает на время переработки.

Второй раздел книги занимает мемуарный цикл Дениса Давыдова, за исключением двух очерков: неоконченных «Воспоминаний о 1826 годе» и «Воспоминаний о польской войне 1831 года». Произведения, составляющие «Военные записки партизана Дениса Давыдова», расположены по плану автора — в хронологической последовательности описанных событий.

В третий раздел вошли: статья «О партизанской войне», напечатанная в пушкинском «Современнике», а также ценные в историческом отношении и остро разоблачительные «Воспоминания о цесаревиче Константине Павловиче» и «Анекдоты о разных лицах...».

Прозаические произведения печатаются по изданию: Денис Давыдов, Военные записки. Редакция Вл. Орлова, Гослитиздат, М. 1940, где впервые был восстановлен по рукописным источникам подлинный текст Давыдова, в прежних изданиях подвергшийся самым грубым искажениям (подробнее см. во вступительной заметке к примечаниям в указанном издании «Военных записок»).

Очерки «Встреча с великим Суворовым», «Дневник партизанских действий 1812 года» и др. Д. Давыдов сопроводил обширными примечаниями. Эти примечания, носящие характер дополнений и экскурсов, помещены в конце книги. К ним отсылают цифры 1, 2, 3 и т. д.

Иноязычные слова и выражения, встречающиеся в тексте (за исключением нескольких, особо оговоренных), взяты из французского языка. В некоторых случаях перевод принадлежит самому Д. Давыдову, что тоже оговорено.

В угловых скобках даны дополнения и пояснения редактора.

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ДЕНИСА ВАСИЛЬЕВИЧА ДАВЫДОВА

В первоначальной редакции было написано, вероятно, в 1820 или 1821 г. Впоследствии Давыдов несколько раз дополнял и перерабатывал автобиографию и напечатал ее дважды: в 1828 г. («Русский зритель», ч. 1) и в 1832 г. (в качестве предисловия к сборнику своих стихотворений),— оба раза анонимно, как произведение одного из своих «друзей-сослуживцев» (позже он выдавал за автора своего командира по службе в Белорусском гусарском полку генерала О. Д. Ольшевского, умершего в 1832 г.). В обществе ходили слухи, что автором «Некоторых черт» был А. П. Ермолов. В этой связи видный чиновник цензурного ведомства В. Д. Комовский сделал знаменательное замечание в письме к поэту Н. М. Языкову: «Если так, то это доказывает, что оппозиция... уже переходит в литературу» («Литературное наследство», 1935, № 19/21, стр. 91). Однако вскоре читатели и журнальная критика разгадали мистификацию Давыдова — главным образом, по «бойкому воинскому слогу», напоминающему «все приемы любимого певца биваков» (см., например, «Московский телеграф», 1828, № 7, стр. 371—372; «Северные цветы на 1829 год», стр. 25—26). Автографа автобиографии не сохранилось. Здесь она печатается в сводной, наиболее полной редакции — по изданию сочинений Давыдова 1893 г., с добавлениями и исправлениями по первопечатному тексту и отрывку, опубликованному в «Русском архиве», 1889, т. 1, стр. 399—403. В первоначальной редакции автобиография имела иное окончание (последний абзац):

«Он, как уже мы видели, писал стихи, *любил* вино и женщин — сего достаточно, чтобы заслужить имя неделового и даже неосновательного человека. Напротив того, бо́льшая часть офицеров армии почитают его умным, неустрашимым и предприимчивым воином. Мы оставляем другим решить, справедливо или нет сие мнение. Чтобы

одною чертою выразить Давыдова, скажем, что в голове его эпиграмма, а в сердце элегия; что он соединяет в себе два, редко соединяемые качества: *доброго малого* и *острого малого*. Вот весь Давыдов».

Стр. 33. *...на этот раз перемена климата...*— Давыдов намекает на замену А. П. Ермолова И. Ф. Паскевичем (см. стр. 579).

Стр. 36. *...кагульских... очаковских инвалидов-героев новому поколению забалканских и варшавских щеголей-победителей.*— Кагул и Очаков — сражения с турками (в 1770 и 1788 гг.), ознаменовавшие громкие победы русского оружия в XVIII веке. Далее — намек на презиравшихся Давыдовым военачальников николаевской эпохи — гр. И. И. Дибича-Забалканского и гр. И. Ф. Паскевича-Эриванского, кн. Варшавского.

СТИХОТВОРЕНИЯ ДЕНИСА ДАВЫДОВА

Голова и Ноги.— Впервые — «Русская старина», 1872, т. 5. Эту басню в числе других «вольных сочинений», «способствовавших развитию либеральных понятий», упоминает декабрист В. И. Штейнгель в письме к Николаю I (в 1826 г., из крепости): «Кто из молодых людей, несколько образованных, не читал и не увлекался сочинениями Пушкина, дышащими свободою, кто не цитировал басни Дениса Давыдова «Голова и Ноги»!» («Общественное движение в России в первую половину XIX века», т. 1 — Декабристы. СПб. 1905, стр. 490).

Река и Зеркало.— Впервые — «Русский вестник», 1869, т. 84 (под заглавием: «Деспот»). Перевод басни Луи-Филиппа Сегюра «Дитя, Зеркало и Река». Давыдов добавил от себя заключительное двустишие.

Сон.— Впервые — Денис Давыдов, Полное собрание стихотворений. Редакция В. Н. Орлова, «Библиотека поэта», 1933 (в дальнейшем указывается сокращенно: издание 1933 г.). Сатира Давыдова, как и его политические басни, вызвала шум в обществе. Известен ответ на нее — одноименное стихотворение, написанное гвардейским офицером А. В. Аргамаковым:

Я лег вчерась в постелю
И видел странный сон:
Мальчишку-пустомелю
Сек розгой Аполлон.

Как бог, он без притворства
Ему так говорил:
«Ты дар мой стихотворства
Во зло употребил.

Ты, мальчик, зашалился,
Имеешь медный лоб,
Осмеивать пустился
Почтенных ты особ.

Вступя в знакомство с знатью,
Дал волю языку;
За это вашу братью
Я розгами секу».

Тут мальчик побожился,
Что врать не будет он.
От сна я пробудился,—
Ах, жаль, что это сон!

(«Архив князя Воронцова», т. 35, СПб. 1889, стр. 421; в несколько иной редакции это стихотворение было напечатано без подписи в журнале «Друг просвещения», 1806, ч. 2). В сатире Давыдова упомянуты гвардейские офицеры (С. Н. Марин, А. Д. Копьев, И. И. Дибич) и придворные (А. Л. Нарышкин, Н. А. Загряжский, Н. П. Свистунов, гр. И. С. Лаваль). *Для счастья нашего законы нам писал...*— А. Д. Копьев был литератором-дилетантом; в 1799 г. он перевел с французского небольшой трактат Неккера «Счастье глупцов». *Багратиона нос...*— О длинном носе генерала П. И. Багратиона в обществе ходило множество анекдотов; один из них, в котором главную роль играет Денис Давыдов, в 1815 г. записал А. С. Пушкин.

Орлица, Турухтан и Тетерев.— Впервые — «Былое», 1906, № 7. Один из наиболее авторитетных списков этой басни (сделанный А. Т. Болотовым) сопровожден следующим примечанием: «Сие хотя ловко сочиненное, но дерзкое и ядом и злостью дышащее и сожжения достойное стихосплетение пошло в народе в начале 1805 года: О сочинителе всеобщая молва носилась, что был он некто г. Давыдов, человек острый, молодой, но привыкнувший к таковым злословиям. И за сие будто бы был наказан ссылкою в Сибирь, чего он по всей справедливости был и достоин». *Орлица* — Екатерина II, *Турухтан* — Павел I, *Тетерев* — Александр I (как известно, он был глуховат).

Бурцову. *Призывание на пунш.*— Впервые — «Стихотворения Дениса Давыдова». М. 1832 (в дальнейшем указывается сокращенно: издание 1832 г.).

Бурцову («В дымном поле, на биваке...»).— Впервые — издание 1832 г. *И георгья за совет!* — Имеется в виду награждение георгиевским крестом не за отличие в бою, а за участие в военном совете.

Гусарский пир.— Впервые — издание 1832 г.

Мудрость.— Впервые — «Собрание русских стихотворений», изданное В. А. Жуковским, ч. 2 (1810); вторично — «Вестник Европы»,

1811, № 1 (под заглавием: «Премудрость»). *Анакреонтическая ода* — по имени древнегреческого поэта Анакреона (570—478 до н. э.), воспевавшего любовь и пиршества. Этому стихотворению подражал молодой А. С. Пушкин в лицейских куплетах 1814 г.:

Мы недавно от печали,
Пущин, Пушкин, я, барон,
По бокалу осушали
И Фому прогнали вон...

Договоры.— Впервые — «Вестник Европы», 1808, ч. 39 (под заглавием: «Договор»); в новой редакции — «Библиотека для чтения», 1837, т. 23. Ко второй редакции Давыдов сделал (в рукописи) следующее примечание: «Стихотворение это, напечатанное 1808 года в «Вестнике Европы», принято было за элегию, тогда как оно, под личиною элегии, есть чистая сатира на старых холостяков, заключающих брачные союзы с молодыми и светскими девушками. Впрочем, сему ложному понятию виною я сам, не выразив, как видно, мысли моей с достаточной ясностью. Вот почему решаюсь вторично выдать в свет стихотворение это, по уменью моему, сколько возможно, исправленным». Стихотворение является вольным переводом элегии французского поэта Виже (1768—1820) «Мои договоры». *И тайные статьи явятся напоказ.*— Речь идет о беременности.

Чиж и Роза.— Впервые — «Вестник Европы», 1811, № 1. Перевод басни Жака Делиля «Роза и Скворец».

«Поведай подвиги усатого героя...» — Впервые — «Сын отечества», 1838, ч. 3. Отрывок большого стихотворения, сообщенный Давыдовым по памяти в очерке «Воспоминание о Кульневе в Финляндии» (см. стр. 276 наст. издания).

Подражание Горацию.— Впервые — издание 1832 г. Источник подражания — VIII ода (из второй книги од) Горация. Обращено к известной в свое время светской красавице Аглае Антоновне Давыдовой, француженке родом (жене двоюродного брата поэта — А. Л. Давыдова).

Графу П. А. Строганову.— Впервые — издание 1832 г. *...Мой предок Чингисхан...*— Давыдов полагал, что его род ведет начало от древних монгольских владетелей. *Линдор* — тип влюбленного франта и вертопраха, персонаж комедии Бомарше «Севильский цирюльник».

Моя песня.— Впервые — «Сын отечества», 1820, № 44. Подражание популярным в свое время куплетам французского поэта Жозефа Пэна (1773—1830) «Житье холостяка». *Мой гардероб лежит в ряду...*— то есть заложен в лавке ростовщика, в «торговом ряду». *Таврический сад* — в Петербурге.

В альбом.— Впервые — издание 1832 г.

К Е. Ф. С—ну, убеждавшему меня написать ему что-нибудь.— Впервые — альманах «Сириус», кн. 1 (1826). К кому обращено — не установлено.

К портрету Бонапарте.— Впервые — «Столица и усадьба», 1915, № 42 (без последнего стиха). В эпиграмме имеется в виду возведение Наполеоном своих братьев на престолы: Жозефа — на неаполитанский (в 1806 г.), Людовика — на голландский (в 1806 г.), Жерома — на вестфальский (в 1807 г.).

К портрету NN — Впервые — «Собрание русских стихотворений», изданное В. А. Жуковским, ч. 5 (1811). Направлено против Ф. П. Уварова — человека весьма недалекого ума, сделавшего тем не менее блестящую военную карьеру, как утверждали современники, благодаря «амурным дурачествам» с кн. Е. Н. Лопухиной, матерью влиятельной фаворитки Павла I.

На К.— Впервые — «Сочинения в стихах и прозе Дениса Давыдова», ч. 1, СПб. 1840 (в дальнейшем указывается сокращенно: издание 1840 г.). По некоторым сведениям, эта эпиграмма, как и следующая, направлена против состоявшего на русской службе генерала Августа Бетанкура (1758—1824), человека неопределенной национальности.

На него же.— Впервые — «Сочинения Дениса Васильевича Давыдова», ч. 3, М. 1860 (в дальнейшем указывается сокращенно: издание 1860 г.). См. предыдущее примечание.

Надпись к сочинениям г.** — Впервые — «Сын отечества», 1820, ч. 66. Перевод анонимной французской эпиграммы на поэта Жозефа Дорá (1734—1780).

Эпиграмма («Остра твоя, конечно, шутка...»).— Впервые — «Сын отечества», 1820, ч. 66.

К моей пустыне.— Впервые — издание 1933 г. *Холмы Аи* — окрестности французского городка Аи (в Шампани), центр производства шампанского знаменитой марки «Аи».

В. А. Жуковскому.— Впервые — издание 1933 г. Наброски послания, оставшегося незаконченным. Ответ на обращенную к Давыдову строфу в «Певце во стане русских воинов» В. А. Жуковского (1812).

«Гераков! прочитал твое я сочиненье...» — Впервые — в книге Г. Гераков, Продолжение путевых записок по многим российским губерниям..., П. 1830. Имеется в виду патриотическое сочинение Геракова «Твердость духа русских» (1813—1814).

Песня.— Впервые — «Сын отечества», 1820, ч. 66 (под заглавием: «Военная песня»).

Другу-повесе.— Впервые — издание 1832 г. Обращено к гр. Ф. И. Толстому. *Хариты* (греч. миф.) — три спутницы Афродиты, олицетворение юной прелести.

П о э т и ч е с к а я ж е н щ и н а.— Впервые — издание 1832 г.

О т в е т н а в ы з о в н а п и с а т ь с т и х и.— Впервые — альманах «Северная звезда» (1829). Обращено к Елизавете Антоновне Злотницкой (1800—1862), на которой Давыдов собирался жениться. В начале 1817 г. Злотницкая была помолвлена с другим. Ей же посвящены элегии IV, V, VI и VII и стихотворения «Вольный перевод из Парни» и «Неверной».

Э л е г и я I.— Впервые — «Рецензент», 1821, № 2; вторично — «Русский инвалид», 1822, № 24; перепечатка — в альманахе «Новые Аониды» (1823). Эта и две следующие элегии обращены к московской балерине Татьяне Ивановне Ивановой (Глушковской) (ок. 1795—1855), в которую был влюблен Давыдов. *Боги Пафоса* (греч. миф.) — Афродита и ее спутница — грации, или хариты (на острове Пафос процветал культ Афродиты). *Бог Фракии* — Арей, бог войны в греческой мифологии.

Э л е г и я II.— Впервые — «Амфион», 1815, № 5. Подражание элегии II (из первой книги элегий) римского поэта Тибулла (I век до н. э.). Здесь Давыдов имел в виду Московское театральное училище, где «за хладными стенами» «томилась» Т. И. Иванова. «Мучитель» Ивановой — актер Украсов, которому был поручен надзор за воспитанницами театрального училища. *Бог-мститель* — Зевс.

Э л е г и я III.— Впервые — альманах «Полярная звезда на 1823 год». *Терпсихора* (греч. миф.) — муза танца.

Э л е г и я IV.— Впервые — «Рецензент», 1821, № 20; вторично — «Русский инвалид», 1822, № 11; перепечатка — в альманахе «Новые Аониды» (1823).

Э л е г и я V.— Впервые — «Труды Общества любителей российской словесности», 1816, ч. 5. Вольный перевод V элегии французского поэта Парни (1753—1814).

Э л е г и я V I.— Впервые — «Труды Общества любителей российской словесности», 1816, ч. 6. Вольный и сокращенный перевод IX элегии Парни.

Э л е г и я VI.— Впервые — «Труды Общества любителей российской словесности», 1817, ч. 8; вторично (с исправлениями) — альманах «Полярная звезда на 1823 год».

Э л е г и я VIII.— Впервые — издание 1832 г. *Бешенство желанья.*— Это выражение запомнилось молодому А. С. Пушкину: оно буквально повторено им в стихотворениях «Мечтателю» (1818) и «Юрьеву» (1820).

Э л е г и я IX.— Впервые — издание 1933 г. Стихотворение осталось незавершенным. В феврале 1824 г. Давыдов процитировал четыре стиха из «Элегии IX» в письме к А. А. Бестужеву.

Вольный перевод из Парни.— Впервые — альманах «Северная звезда» (1829), под заглавием: «Романс (Подражание Парни)». Источник перевода — отрывок из третьей песни поэмы Парни «Иснель и Аслега».

Неверной.— Впервые — «Сын отечества», 1820, ч. 66 (под заглавием: «Отставка»).

На монумент Пожарского.— Впервые — издание 1832 г. Было написано по случаю открытия на Красной площади в Москве памятника Минину и Пожарскому (работы И. Мартоса). *Смоленский* — фельдмаршал М. И. Кутузов, носивший титул князя Смоленского.

Песня старого гусара.— Впервые — «Соревнователь просвещения и благотворения», 1819, № 4 (под заглавием: «Старые гусары»); вторично — «Благонамеренный», 1819, № 8. *Жомини* — см. в Указателе имен. Выражение *«Жомини да Жомини, а об водке ни полслова»* прочно вошло в обиходную речь, превратилось в популярную поговорку. В. И. Ленин применил это выражение в 1913 г. в статье «Кабинет Бриана».

Логика пьяного.— Впервые — «Благонамеренный», 1819, № 8. Перевод сказочки французского поэта Понс де Вердэна (1749—1844) «Пьяница-философ».

Решительный вечер.— Впервые — издание 1832 г. Один из автографов стихотворения озаглавлен: «К невесте». Давыдов женился в апреле 1819 г. на богатой помещичьей дочке Софье Николаевне Чирковой (1795—1880).

Надпись к портрету князя Петра Ивановича Багратиона.— Впервые — «Литературная газета», 1937, № 49. *Клия* — Клио (греч. миф.), муза истории.

«Как будто Диоген с зажженным фонарем...» — Впервые — «Древняя и новая Россия», 1876, т. 3. С именем древнегреческого философа Диогена (V век до н. э.) связан анекдот, что он будто бы «днем с фонарем» искал «настоящего человека»; при встрече с человеком действительно высоких нравственных качеств фонарь должен был погаснуть.

Богомолка.— Впервые — сборник Н. П. Огарева «Русская потаенная литература XIX столетия», ч. 1, Лондон, 1861.

Листок.— Впервые — «Библиотека для чтения», 1837, т. 22. Перевод одноименного стихотворения французского поэта Антуана Винсента Арно́ (1766—1834). Стихи эти в свое время пользовались широкой популярностью и приобрели известный политический смысл, поскольку образ сорванного бурей листка ассоциировался с судьбой самого Арно, в 1816 г. изгнанного Бурбонами из Франции, и вообще — с судьбой политического изгнанника, жертвы произвола и тирании. Арно, узнав

о том, что Давыдов перевел его стихотворение, в 1825 г. обратился к нему с таким мадригальным четверостишием:

> À vous, poète, à vous, guerrier,
> Qui sablant le champagne au bord de l'Hipocrène,
> Avez d'une feuille de chêne
> Fait une feuille de laurier.
> *Arnault, de l'Académie*

В переводе:

> Тебе, певец, тебе, герой,
> Кто пьет взахлест вино на бреге Ипокрены
> И кто дубовый лист простой
> Преображает в лавр священный.
> *Арно, академик*

Гусар.— Впервые — «Московский телеграф», 1827, № 23.

Эпитафия.— Впервые — издание 1860 г. Была написана еще при жизни некоего князя А. А. Кольцова-Масальского, прозванного в обществе за худощавость «князь-мощи».

Вечер в июне.— Впервые — издание 1832 г.

Ответ.— Впервые — издание 1840 г. *Пинд* (греч. миф.) — горная цепь, в которую входили вершины Геликон и Парнас, служившие местопребыванием Аполлона и муз. *Кастальский ток* (греч. миф.) — источник на Парнасе; символ поэтического вдохновения.

Генералам, танцующим на бале при отъезде моем на войну 1826 года.— Впервые — издание 1860 г.

Товарищу 1812 года, на пути в армию.— Впервые — издание 1832 г.

Тост на обеде донцов.— Впервые — издание 1840 г.

Партизан.— Впервые — «Московский вестник», 1827, № 4 (датировано: 28 ноября 1826 г.). Здесь Давыдов изобразил самого себя во время «партизанских поисков» в 1812 г. *Нара* — река неподалеку от Москвы, на берегу которой было приостановлено наступление французской армии в 1812 г.

Полусолдат.— Впервые — «Московский вестник», 1827, № 3. *Война родная* — Отечественная война 1812 г. *Торнео* — город в Финляндии, на границе со Швецией. *Секвана* — старинное кельтское название реки Сены, на которой расположен Париж. *Родимая звезда*—Полярная звезда.

На смерть NN.— Впервые — издание 1832 г. Заглавие носит маскировочный характер: четверостишие было написано в связи с опалой, наложенной Николаем I на А. П. Ермолова, в 1827 г. уволенного от командования Отдельным Кавказским корпусом и с должности главноуправляющего в Грузии.

При виде Москвы, возвращаясь с персидской войны.— Впервые — «Сочинения Дениса Васильевича Давыдова», т. 1,

СПб. 1893. Первоначально (в рукописи) входило в стихотворение «Партизан».

Зайцевскому, поэту-моряку.— Впервые — «Литературная газета», 1830, № 9. Е. П. Зайцевский ответил Давыдову благодарственным посланием:

Я вызван из толпы народной
Всезвучным голосом твоим,
Певец-герой! Ты благородным
Почтил вниманием своим
На службе юного солдата;
О славе мне заговорил,
Призвал меня призывом брата
И лирой свету огласил!
Твоею дружбою, хвалою
Горжуся! Преданной душою
Тебя я чту, пока я жив!
Ты прав, Давыдов, я счастлив!
Счастлив: мне раненую руку
Пожал увенчанный герой
И славой я обязан звуку
Ахилла лиры золотой.

Камена (греч. миф.) — муза.

Бородинское поле.— Впервые — «Литературная газета», 1830, № 10 (без подписи).

С. А. К<ушки>ной.— Впервые — издание 1832 г. *С. А. Кушкина* — симбирская помещица; ей посвящены также и два следующих стихотворения. *Пафосский бог* — Афродита.

Душенька.— Впервые — «Литературная газета», 1830, 8 февраля. Эпиграф взят из статьи В. А. Жуковского «Рафаэлева Мадонна. Из письма о Дрезденской галерее» (1821).

NN («Вы хороши! — Каштановой волной...»).— Впервые — «Литературная газета», 1830, № 17.

Герою битв, биваков, трактиров и б...— Впервые — издание 1832 г. Третья строфа была сочинена А. С. Пушкиным; Давыдов, по-видимому, ее слегка переделал.

Голодный пес.— Впервые — «Русский архив», 1866. Направлено против фельдмаршала гр. И. И. Дибича, по происхождению немца, командовавшего русскими войсками в Турецкую кампанию 1828—1829 гг. и во время подавления польского восстания в 1831 г. Давыдов, в молодости общавшийся с Дибичем (см. сатиру «Сон»), впоследствии считал его «оскорбителем чести, славы и оружия» русской армии. Приведя «Голодного пса» в своих «Воспоминаниях о польской войне 1831 года», Давыдов предпослал стихам следующее пояснение: «Упоенный удачами своими в Турции, Дибич уже ехал в Польшу в полной уверенности на победу при первом своем появлении. Произошло, однако,

то, чего должно было ожидать. Одержанные им успехи в Турции вознесли самонадеянность его за пределы благоразумия, а первый отпор в Польше и многосложность неблагоприятных обстоятельств, вдруг воспрянувших и им вовсе не предвиденных, окончательно поколебали эту самонадеянность и совершенно убили в нем присутствие духа... Получив начальство над армиею в Польше, что почиталось его совместниками за верх благополучия, он возвысился над толпой, насколько веревка возвышает висельника. Под влиянием этих мыслей и подозрения, невольно запавшего в душу каждого солдата, что главнокомандующий подкуплен врагами, я написал следующую песню, имевшую некоторый современный успех» (Сочинения, т. 2, СПб. 1893, стр. 250). В «Голодном псе» слышится явственный отзвук испанской революционной песни «Трагала, перро!» («Глотай ее, собака!»), получившей широкое распространение в годы освободительной борьбы в Испании (1820—1823) и, очевидно, известной и в России.

Гусарская исповедь.— Впервые — издание 1832 г.

NN («Вошла — как Психея, томна и стыдлива...»).— Впервые — «Современник», 1836, т. 3. Этим четверостишием открывается лирический цикл 1833—1836 гг., посвященный Евгении Дмитриевне Золотаревой — дочери пензенского помещика, в которую бурно влюбился стареющий Давыдов. В 1836 г. Е. Д. Золотарева вышла замуж за В. О. Мацнева. *Психея* (греч. миф.) — олицетворение человеческой души.

Ей.— Впервые — издание 1840 г. Подражание мадригалу Вольтера «Портрет мадам Сен-Жюльен».

Вальс.— Впервые — «Северная пчела», 1834, № 48. О *Е. Д. Золотаревой* — см. выше.

«О, кто, скажи ты мне, кто ты...» — Впервые — «Исторический вестник», 1883, № 1.

Романс («Не пробуждай, не пробуждай...»).— Впервые — издание 1840 г.

«Я вас люблю так, как любить вас должно...» — Впервые — издание 1840 г.

На голос русской песни.— Впервые — издание 1840 г.

После разлуки.— Впервые — «Современник», 1836, т. 3 (без заглавия). Подражание «Мадригалу» французского поэта Жана Берто́ (1570—1611), который Давыдов ошибочно приписывал перу Вольтера.

И моя звездочка.— Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. 3. Заглавие («*И* моя звездочка»), может быть, имеет в виду стихотворение В. А. Жуковского «Пловец» (1811), сходное по теме.

Речка.— Впервые — «Библиотека для чтения», 1837, т. 21. Об этом стихотворении Давыдов писал А. М. и Н. М. Языковым в июне 1834 г.: «Мое мнение, что в нем нет единства; читатель не догадается, к кому более страсти — к речке или к деве, которая в конце пиесы является;

надо было бы менее огня в начале, а то нет оттенка; эта ошибка неизгладима. Но стихи, кажется, и звучны и хороши».

25 октября.— Впервые — издание 1840 г. (без заглавия).

Записка, посланная на бале.— Впервые — издание 1840 г. (без заглавия).

«Что пользы мне в твоем совете...» — Впервые — издание 1860 г. Посылая это четверостишие Е. Д. Золотаревой, Давыдов писал: «У вас хватает смелости предлагать мне дружбу, жестокий друг!..» («Исторический вестник», 1890, т. 41, стр. 87).

«В былые времена она меня любила...» — Впервые — издание 1840 г.

«Унеслись невозвратимые...» — Впервые — «Исторический вестник», 1890, т. 41. По всей видимости, это две строфы, извлеченные из какого-то стихотворения; Давыдов процитировал их в письме к Е. Д. Золотаревой.

Романс («Жестокий друг, за что мученье?..»).— Впервые — издание 1840 г.

«Я помню — глубоко...» — Впервые — издание 1840 г.

Выздоровление.— Впервые — издание 1840 г. Этим стихотворением завершается цикл, посвященный Е. Д. Золотаревой.

Вечерний звон.— Впервые — издание 1933 г. Вариация на тему стихотворения И. И. Козлова (1779—1840) «Вечерний звон» (1828), ставшего популярным романсом. Выделенный курсивом рефрен — стихи Козлова.

«Меринос собакой стал...» — Впервые — «Современник», 1836, т. 3 (за подписью: Н.). Эпиграмма направлена против И. В. Сабурова (1784—1837) — пензенского помещика, увлекавшегося разведением тонкорунных баранов-мериносов. Написана была в связи с появлением пасквильной книжки Сабурова «Четыре роберта жизни. Олицетворенная дума Мурзы Чета» (1835), в которой он «не пощадил пензенских жителей обоего пола». В книжке содержатся обидные намеки и на Давыдова — «партизана-подагрика», увлекшегося на старости лет молодой девушкой.

Ученый разговор.— Впервые — «Современник», 1836, т. 3 (без подписи). Эпиграмма направлена против Д. А. Бекетова — пензенского помещика, старинного приятеля Давыдова, сослуживца его по кампании 1812 г.

«Нет, кажется, тебе не суждено...» — Впервые — «Современник», 1836, т. 3 (за подписью: Н.). Эпиграмма обращена, очевидно, к А. С. Пушкину и направлена против Фаддея Булгарина, преследовавшего Пушкина пасквилями и доносами. В последнем стихе речь идет о пощечине.

Челобитная.— Впервые — «Современник», 1836, т. 3. А. А. Башилов состоял в это время директором московской «Комиссии строе-

ний» и ведал, между прочим, покупкой домов для казны. Великолепный дом Давыдова до сих пор стоит в Москве на улице Пречистенке (ныне улица Кропоткина).

Современная песня.— Впервые — альманах «Утренняя заря» на 1840 г. *Филипп Филиппыч* — известный мемуарист Ф. Ф. Вигель, непременный посетитель московских салонов. *Маленький аббатик* — Петр Яковлевич Чаадаев, передовой русский мыслитель, автор «Философических писем», подвергшийся цензурным и полицейским преследованиям в 1836 г.; назван «аббатиком» за симпатии к католицизму.

ВОЕННЫЕ ЗАПИСКИ ПАРТИЗАНА ДЕНИСА ДАВЫДОВА

ВСТРЕЧА С ВЕЛИКИМ СУВОРОВЫМ

Впервые — «Библиотека для чтения», 1835, т. 11. Было написано, вероятно, в 1834—1835 гг. Много лет собирая материалы о Суворове, Давыдов предполагал написать более обширное сочинение о своем «герое-полубоге». В сентябре 1835 г. он сообщил родственнику Суворова гр. Д. И. Хвостову: «...Я намерен был писать о великом Суворове, но не жизнь его,— это мне не под силу,— а étude или рассуждение о Суворове. Я его долго, то есть с юношества моего, изучал, вникал в намерения его, старался угадывать их и систему его действия, считаемую тогда мнимыми великими тактиками не системою, а каким-то безобразным действием, внушенным своенравными порывами бестолковой отважности, и потому тем еще более Суворову подручною и выгодною. Я, кажется, постиг ее, по крайней мере столько, сколько может постичь человек обыкновенный произведения ума человека необыкновенного. При всем том, к сожалению моему, я должен прекратить священный труд мой от недостатка в материалах... И я, невзирая на рвение мое, должен положить перо и не писать! А грустно! В кои-то веки наделил нас бог гением самобытным, и мы от преступного равнодушия ко всему собственному лишаем отечественную историю блистательнейшего украшения» (Сочинения, т. 3, СПб. 1893, стр. 201).

ВСТРЕЧА С ФЕЛЬДМАРШАЛОМ ГРАФОМ КАМЕНСКИМ

Впервые — «Библиотека для чтения», 1834, т. 2. Было написано, вероятно, в 1833 г.

Стр. 184. *Эскадронный командир* — Б. А. Четвертинский.

Наконец пришла весть о разбитии прусской армии под Иеной.—

Россия была в союзе с Пруссией. В начале октября 1806 г. Пруссия предъявила Наполеону ультиматум, требуя отвода французских войск от прусской границы. В ответ на это требование Наполеон перешел границу. Вскоре, 14 октября, прусские войска были разгромлены при Иене и Ауэрштадте, 27 октября французы вступили в Берлин, в начале ноября были сданы прусские крепости Штеттин, Кюстрин и Магдебург. Наполеон угрожал русским границам.

Стр. 193. *...красную ленту на голубую, голубую на полосатую!* — Речь идет об орденских лентах: красная — александровская, голубая — андреевская (высшего достоинства), полосатая (черно-желтая) — георгиевская.

Материалы для современной военной истории

Под этим объединяющим заглавием Давыдов предполагал издать все свои записки о военных кампаниях, в которых он участвовал. План этот остался нереализованным, но из рукописей Давыдова видно, что первую часть «Материалов» должны были составить записки о войне 1806—1807 гг. Трем отдельным очеркам («Урок сорванцу», «Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау» и «Тильзит в 1807 году») Давыдов предполагал предпослать вводный общий очерк войны 1806—1807 гг., содержащий также характеристики ряда видных русских военных деятелей начала XIX века. Очерк этот, над которым Давыдов работал с начала 1810-х годов до конца 1830-х, здесь не печатается (он опубликован в Сочинениях — в издании 1860 г., т. 2, стр. 51—179, и в издании 1893 г., т. 1, стр. 124—246).

I. УРОК СОРВАНЦУ

Впервые — «Библиотека для чтения», 1836, т. 15, под заглавием: «О том, как я, будучи штаб-ротмистром, хотел разбить Наполеона». В рукописи — вариант заглавия: «Урок повесе».

II. ВОСПОМИНАНИЕ О СРАЖЕНИИ ПРИ ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ

Впервые — «Библиотека для чтения», 1835, т. 12. Этот очерк Давыдов называл «любимым своим детищем». «Эту статью я вам рекомендую; вы ею будете довольны, ручаюсь,— писал он 17 сентября 1835 г. А. И. Михайловскому-Данилевскому.— В ней я говорю про вдохновение во время сражения; говорю, что оно столько же нужно полководцу, сколько витию и поэту, и потом вот слова мои: «Принадлежность Суворова, принадлежность Наполеона — поэтов и витий действия, как Пиндара, как Мирабо — полководцев слова». Это недурно» (Сочинения, т. 3, 1893, стр. 206).

III. ТИЛЬЗИТ В 1807 ГОДУ

Впервые — сборник «Сто русских литераторов», т. I, СПб. 1839, с обширными цензурными купюрами. В марте 1838 г. Давыдов писал Н. В. Путяте о «Тильзите» и других своих очерках: «Эти статьи были в цензурном комитете во время моего последнего приезда в Петербург <в 1837 г.— *В. О.*> и потерпели, как храбрые эскадроны после горячей и неудачной сечи. Я отретировался с ними в Москву, где, исключа из фрунта все убитое и раненое, соединил разорванные части и двигаюсь с войском моим снова на поприще... С моей стороны все сделано в угодность умогасительному комитету» (неизданное письмо в архиве Мурановского музея им. Ф. И. Тютчева).

ВОСПОМИНАНИЕ О КУЛЬНЕВЕ В ФИНЛЯНДИИ

Впервые — «Сын отечества», 1838, ч. 3. Было написано, вероятно, в начале 1820-х годов, так как отрывок из этого очерка, под заглавием: «Извлечение из записок генерал-маиора Д. В. Давыдова. Кампания 1808 года. Финляндия», был напечатан в альманахе «Мнемозина», ч. 1, М. 1824.

1812 год

Состав этого центрального раздела записок Давыдова закреплен в беловой рукописи 1830-х годов, подготовленной для отдельного издания. На рукописи — помета Давыдова (без даты): «Прочитана и исправлена, можно хоть сейчас печатать». Во всех изданиях сочинений Давыдова три статьи, составляющие этот раздел, печатались разобщенно. Впервые они были объединены в книге: Денис Давыдов, Военные записки, М. 1940.

I. ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

Впервые (в сокращенной редакции) — отдельная брошюра: «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона», М. 1825,— с посвящением: «Посвящается моим друзьям и сотрудникам, служившим в моей партии 1812 года». Было написано, вероятно, в 1824 г.

Стр. 285. *Пале-Рояль* — дворец герцога Орлеанского в Париже; часть дворцовых помещений была занята клубом, игорным домом и книжными магазинами. Давыдов упоминает о Пале-Рояле как об одном из центров политической жизни Парижа.

Стр. 291. *...от победы... 6/18 октября...*— Имеется в виду Тарутинское сражение, поднявшее дух русской армии и послужившее последним толчком, заставившим Наполеона оставить Москву.

II. ДНЕВНИК ПАРТИЗАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ 1812 ГОДА

Впервые (целиком) — Сочинения Давыдова, издание 1860 г., с приложением «Оправдательных статей» — составленного самим Давыдовым обширного собрания документов и служебной переписки (в наст. издании этот раздел опущен). К описанию своих «партизанских поисков» 1812 года Давыдов приступил по свежим следам еще в 1814 г., в бытность свою в Париже. В сентябре 1815 г. он сообщил А. А. Закревскому: «Пишу, что я видел в течение 1812, 1813 и 1814 годов и уже кончил первую часть, то есть до занятия Москвы. Занимаюсь теперь отступлением — обширное поле *брани!!!* Есть где погулять на чужой счет!» («Сборник Русского исторического общества», т. 73. СПб. 1890, стр. 511). Первоначальный черновой набросок «Дневника» сохранился в бумагах Давыдова. Впоследствии он его многократно дополнял и перерабатывал. «В праздные часы я занимаюсь приведением в порядок *Дневника* моих *поисков,* и уже почти половину написал,— извещал он П. А. Вяземского 2 июня 1818 г.— Там я весь: дурен ли, хорош ли, но чувства и мысли мои — все там. Когда кончу, немедленно пришлю к тебе помыть и поутюжить» («Письма поэта-партизана Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому», П. 1917, стр. 10). Уже много лет спустя, в мае 1832 г., Давыдов писал Вяземскому, что «партизанские записки на 1812 год... исправил и добавил, а некоторые статьи вычеркнул» (т а м ж е, стр. 28). Но и позже он продолжал работу над «Дневником»; в мае 1836 г. писал А. И. Михайловскому-Данилевскому: «Партизанский дневник мой я прежде зимы не могу вам доставить; он много измаран; надо будет переписать его» (С о ч и н е н и я, т. 3, 1893, стр. 220). Закончил эту работу Давыдов, вероятно, лишь в 1838 г. В печати при жизни Давыдова появились только отрывки из «Дневника» — в «Отечественных записках», 1820 (№№ 1, 3 и 8), 1821 (№№ 17 и 18) и 1822 (№№ 23 и 24) гг. Посмертно «Отрывки из партизанского дневника» были напечатаны в «Сыне отечества», 1840, т. 2. В настоящем издании «Дневник» печатается по беловой рукописи, выправленной Давыдовым, очевидно, в 1838 г., с дополнениями по другим, более ранним рукописям, ибо в окончательной редакции Давыдов вынужден был сделать ряд купюр явно в уступку цензуре.

Стр. 317. *Светлейший согласился послать...*— В письме к А. Ф. Воейкову от 4 октября 1829 г. (напечатанном в газете «Русский инвалид», 1829, № 274) Давыдов передает слова М. И. Кутузова: «Князь Кутузов, соглашаясь на предложение мое, чрез князя П. И. Багратиона представленное, сказал ему: «На таковую, почти верную гибель я не дам много людей. Назначь ему на пробу пятьдесят гусар и около сотни

казаков,— но пусть он, Давыдов, сам за это возьмется» (Сочинения, т. 3, 1893, стр. 171).

Он дал мне свою собственную...— Эта полуистлевшая «Карта Смоленской губернии, Юхновского уезда. Сочинена в 1802 году», вычерченная от руки и иллюминованная в масштабе пяти верст в дюйме, сохранилась в архиве Давыдова (ЦГВИА, ф. 194, оп. 194, ед. хр. 10). На карте помета: «Несчастная карта, по коей я партизанил 1812 года. Денис Давыдов».

Стр. 318. *...Багратион... без ропота поступивший под начальство Барклая...*— Давыдов идеализирует отношения Багратиона и Барклая. Оба генерала враждовали открыто и ожесточенно. Багратион ненавидел Барклая, подозревал его в измене, всячески чернил его и дискредитировал. Впрочем, во вступительном очерке к «Материалам для современной военной истории» Давыдов с большей объективностью писал о взаимоотношениях обоих военачальников.

«Назначение Барклая главнокомандующим 1-ю армиею и подчинение ему князя Багратиона немало оскорбило сего последнего. С этого времени оба полководца начали питать взаимное недоверие, которое усилилось вследствие различия их характеров и одинаковости их положения. Пламенный, решительный и нетерпеливый князь Багратион не мог сочувствовать холодному, расчетливому и методическому Барклаю. Блестящие качества, открытый характер и ласковое со всеми обращение князя привлекали к нему все сердца его подчиненных, из которых самые слабые и робкие, воодушевляемые его примером, становились героями. Напротив того, бесстрашный, неутомимый, но мало приветливый Барклай, невзирая на высокие свои достоинства, не умел привязать к себе войск. Таким образом Барклай, будучи несравненно моложе князя, столкнулся с ним в своих честолюбивых стремлениях. Князь Багратион, не знавший положительно о численности неприятельских сил, был весьма мало сведущ в правилах высшей военной науки; ненавидя, подобно великому Суворову, малейшее отступление, он глубоко скорбел при виде бедствий, тяготевших над нашим отечеством. Называя Барклая методиком, Давустом, князь, не знавший материальных средств России, кои были лучше известны военному министру, был убежден, что одна наступательная война могла отвратить бедствия, постигшие Россию; он потому непрестанно твердил: «Если мы не перейдем в наступление, я сниму с себя мундир; ведь мы французов шапками закидаем». Вот истинная причина того, почему он тяготился зависимостью своею от Барклая, обнаружившего в этом случае несравненно бо́льшую проницательность... Способный к увлечениям, пылкий и запальчивый князь мог заблуждаться, но он не мог быть обвинен в недостатке искренности и благородства; недостойные клеветы оскорбленного и раздраженного Барклая на князя и многих наших

славных деятелей Отечественной войны не заслуживают доверия. Желая, однако, остаться верным истине, я с глубоким сожалением нахожусь вынужденным упрекнуть, в свою очередь, моего знаменитого и несравненного благодетеля за страшные и неосновательные обвинения его против Барклая, оказавшего России бессмертные заслуги. Исполненный самою пламенною любовью к нашему отечеству, князь с свойственною всем азиатцам неудержимою пылкостью питал какое-то озлобление против Барклая; это чувство, проистекавшее лишь из глубокой неприязни его к немецкой партии, значительно усилилось вследствие постоянного отступления наших войск, великие результаты которого князь не успел предугадать. Подобные обвинения сего рыцарски благородного, нетерпеливого, вулканического и нередко крайне запальчивого героя встречаются, к несчастию, даже и в некоторых его частных письмах» (Сочинения, 1893, т. 1, стр. 133—135).

Стр. 350. *При этих пакетах было много писем...* — Часть этих писем опубликована в Сочинениях, 1860, т. I, стр. 146—149. Партизан кн. Н. Д. Кудашев извещал Давыдова, что имя его «гремит в журналах» (то есть в журналах военных действий, составлявшихся в главной квартире). Атаман М. И. Платов, «радуясь успехам» Давыдова, писал ему: «Бей и воюй, достойный Денис Васильевич, и умножай славу оружия российского и свою собственную». П. П. Коновницын сообщал: «Крайне вы нас обрадовали своими подвигами: продолжайте делать то чаще, будьте уверены, что начальство умеет ценить заслуги, родине оказываемые». И «новый приятель» — генерал В. Ф. Шепелев, начальник калужского ополчения, в свою очередь, восхвалял «геройские подвиги», «рвение» и «храбрость» Давыдова.

Стр. 361. *Мы часто говорим о Фигнере...* — Ценным дополнением к этой характеристике А. С. Фигнера (верной в общих чертах) служит обширное и замечательно интересное письмо Давыдова к М. Н. Загоскину от 6 марта 1830 г. (Сочинения, т. 3, 1893, стр. 173—176). Фигнер выведен в романе Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году», где широко использованы сведения, сообщенные автору Давыдовым.

Стр. 378. *Это был мой Аркольский мост!* — При местечке Арколе (в Италии) 15—18 ноября 1796 г. Наполеон одержал одну из своих первых блистательных побед в упорном сражении с австрийцами, проявив при этом личную неустрашимость в схватке на мосту через речку Альпино.

Стр. 384. *...мужественного защитника Петрополя...* — Давыдов иронически применяет к гр. П. Х. Витгенштейну это прозвище, упрочившееся за ним в официозной литературе 1810—1820-х годов. Корпус Витгенштейна был выделен для прикрытия Петербурга.

Стр. 391. *...список чиновников...* — Представленный Давыдовым М. И. Кутузову список чиновников, присягнувших Наполеону, напеча-

тан в *Сочинениях*, т. 1, 1860, стр. 185. В списке — тринадцать человек, из которых только двое русские (упоминавшийся выше помещик Маслеников и отставной поручик Глотов), остальные — поляки. Могилевский архиерей Варлаам Шишацкий, по приказанию маршала Даву, привел население Могилева к присяге на верность Наполеону, служил молебны с поминанием его имени, сочинял проповеди в его честь и приказал делать то же самое всем священникам своей епархии. В 1813 году Варлаам был судим, расстрижен в монахи и сослан навечно в Новгород-Северский Спасский монастырь. В объяснениях Синоду Варлаам оправдывал свои действия тем, что якобы хотел спасти от разорения церковное имущество, но на самом деле причина их была иная: уверенный, что в случае победы Наполеона западные губернии будут отторжены от России и перейдут к Польше, он хотел покорностью перед французами обеспечить дальнейшее существование православной епархии и оградить ее от покушения католической церкви.

III. МОРОЗ ЛИ ИСТРЕБИЛ ФРАНЦУЗСКУЮ АРМИЮ В 1812 ГОДУ?

Впервые — «Библиотека для чтения», 1835, т. 10.

ЗАНЯТИЕ ДРЕЗДЕНА

Впервые — «Современник», 1836, т. 4, с большими цензурными купюрами (исключена была, в частности, вся концовка, посвященная генералу Винценгероде). Статья проходила военную цензуру; военным министром в это время был А. И. Чернышев — недоброжелатель Давыдова. В мае 1836 г. Давыдов писал А. С. Пушкину: «Правда твоя, видно, какая-нибудь особого рода немецкая ведьма горой стоит и за Дрезден и за Винценгерода. Вот другой раз как я в дураках от этого проклятого городишки, и другой раз как Ч<ернышев> спасает Винценгерода: первый раз от французских жандармов, которые везли его *на заклание* во Францию; в другой раз от анафемы, воспетой мною поганой его памяти. Право, это замечательно!.. Надо, чтобы в министерство его, 23 года после, я вздумал потешиться над человеком, которого он продолжает прикрывать своею эгидою и за пределами гроба... Как бы то ни было, а эскадрон мой, как ты говоришь, опрокинутый, растрепанный и изрубленный саблею ценсуры, прошу тебя привести в порядок: убитых похоронить, раненых отдать в лазарет, а с остальным числом всадников — ура! и снова в атаку на военно-ценсурный комитет». Написан очерк был, вероятно, в 1835 году.

СТАТЬИ. ВОСПОМИНАНИЯ. АНЕКДОТЫ

О ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ

Впервые — «Современник», 1836, т. 3. Было написано в 1836 г. В беловой рукописи сочинения Давыдова «Опыт теории партизанских действий» эта статья (в переработанной и сокращенной редакции) служит вступлением. Здесь она печатается по тексту «Современника». Отдельной рукописи ее не сохранилось. Направляя статью А. С. Пушкину, Давыдов писал ему в июне 1836 г.: «Посылаю тебе того удальца-партизана, о котором писал тебе; ты увидишь, что писал правду. Он может пройти бодро и смело мимо цензурного комитета, не ломая шапки, а в случае каприза наплевать членам в глаза,— *так — здорово живешь*, от нечего делать, чтобы показать, что никого не боится. Прочти со вниманием эту статью и исправь слог ее, потому что я ее писал сплеча, наскоро,— а между тем заметь: мысль богатая. Это открытие нового рудника силы империи и намека, как из него бить монету славы. Недостаток статьи состоит в гомеопатической ее краткости». Пушкин в черновике ответного письма (август 1836 г.) заметил: «Ты думал, что твоя статья о партизанской войне пройдет сквозь цензуру цела и невредима. Ты ошибся: она не избежала красных чернил. Право, кажется, военные цензоры марают для того, чтоб доказать, что они читают».

ВОСПОМИНАНИЯ О ЦЕСАРЕВИЧЕ КОНСТАНТИНЕ ПАВЛОВИЧЕ

Впервые — «Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные», Лондон — Брюссель, 1863 (издание известного политического эмигранта кн. П. Долгорукова). Рукопись «Воспоминаний» не сохранилась; здесь они печатаются по изданию Долгорукова.

Стр. 469. *...для начальствования союзною армиею в Италии...*— А. П. Ермолову было предположено поручить командование экспедиционной армией, которую Александр I (находившийся в то время на конгрессе в Лайбахе) собирался послать на помощь австрийским войскам, подавлявшим революционное восстание в Пьемонте (март — апрель 1821 г.). Ко времени прибытия Ермолова в Лайбах (26 апреля) революция была разгромлена и выступление русских войск не состоялось.

АНЕКДОТЫ О РАЗНЫХ ЛИЦАХ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБ А. П. ЕРМОЛОВЕ

Впервые — «Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурою не пропущенные», Лондон — Брюссель, 1863. Автографической рукописи «Анекдотов» не сохранилось; в архиве Давыдова имеется лишь

неполный писарский список позднейшего времени. Здесь «Анекдоты» печатаются по первопечатному тексту, с некоторыми дополнениями и исправлениями по указанному списку. Давыдов писал «Анекдоты», вероятно, в разное время. В августе 1828 г. он сообщал А. А. Закревскому, что «в свободные минуты пишет записки, воспоминания и *анекдоты*» («Сборник Русского исторического общества», т. 73, СПб. 1890, стр. 553). Вместе с тем из текста «Анекдотов» видно, что работу над ними Давыдов продолжал до самых последних дней жизни: в них приведены документы, датированные мартом 1839 г. (Давыдов умер 22 апреля того же года).

Стр. 475. *Во время умерщвления Павла...*— Существует несколько разноречивых версий об обстоятельствах убийства Павла I. Большинство достоверных показаний сходится на том, что ударил Павла в голову (табакеркой) не Л. Л. Беннингсен (он, по некоторым данным, вообще не присутствовал при самом убийстве), а гр. Н. А. Зубов. Слова о яичнице были сказаны не Беннингсеном, а гр. П. А. Паленом, и сказаны были раньше — за ужином у генерала Талызина. Вместе с тем, некоторые мемуаристы с разными вариациями приписывают Беннингсену первую половину приведенной Давыдовым фразы («Мы зашли слишком далеко...») — см., например, свидетельства фон Веделя и А. Чарторыжского (со слов самого Беннингсена) в сборнике «Цареубийство 11 марта 1801 года», издание 2-е, СПб. 1908, стр. 168 и 273.

Стр. 479. *«С будущим»* — почтовый термин, означавший разрешение взять с собою спутника, от которого не требовалось особого удостоверения на право выезда.

Стр. 481. *...приказание следовать... в Индию.*— В 1800 году во внешней политике Павла I произошел крутой поворот (разрыв с Англией и наметившийся союз с наполеоновской Францией). В январе 1801 года донским казачьим войскам был отдан приказ выступить в поход на Британскую Индию. Поход этот, сопровождавшийся большими трудностями и лишениями, был прекращен по воцарении Александра I.

Стр. 483. *Иллюминаты* — члены одного из тайных масонских обществ, подвергавшиеся гонениям.

Стр. 487. *...Пушкин посещал его несколько раз...*— А. С. Пушкин только однажды посетил опального А. П. Ермолова в Орле (вообще это была их единственная встреча) — в мае 1829 г., по дороге на Кавказ. Встречу эту Пушкин описал в «Путешествии в Арзрум»: «...Из Москвы поехал я на Калугу, Белёв и Орел, и сделал таким образом двести верст лишних, зато увидел Ермолова...» и т. д. Здесь, между прочим, Пушкин передает следующий отзыв Ермолова о Карамзине: «Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу».

«Разговор несколько раз касался литературы,— пишет Пушкин.— О стихах Грибоедова говорит он, что от их чтения скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова». Известен также отзыв Ермолова о Пушкине, переданный Давыдовым в письме к П. А. Вяземскому от 30 декабря 1829 г.: «Кстати о Пушкине: он проездом в Грузию заезжал к Ермолову, который пишет мне: «Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я нашел в себе чувство, кроме невольного уважения...» В другом месте письма, хваля сочинения Пушкина, он говорит: «Вот это поэзия! Это не стихи нашего знакомого Грибоедова, от *жевания* которых скулы болят» («Письма поэта-партизана Д. В. Давыдова к кн. П. А. Вяземскому», П. 1917, стр. 21—22). Сохранился черновик письма Пушкина к Ермолову от апреля 1833 г., в котором он писал: «Подвиги ваши суть достояние Отечества и ваша Слава принадлежит России... Прошу вас дозволить мне быть вашим историком».

Стр. 488. *Ермолов, не желавший того...*— В ноябре 1820 г. А. П. Ермолов писал А. А. Закревскому: «По обыкновенному вещей порядку долговремянное служение ведет ко многим наградам, и мне... могут предстоять оные. Боже избави, если и меня вздумают обезобразить графским *титулом!* Это хуже и самой аренды, и сего я не мог бы перенесть. Поверишь ли, любезный друг, что это будет указ об отставке!» («Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 45, Махачкала, 1926. стр. 39).

Стр. 489. *...истории Семеновского полка..*— В октябре 1820 г. произошло восстание солдат лейб-гвардии Семеновского полка, доведенных до отчаянья зверской жестокостью полкового командира Ф. Е. Шварца. Давыдов, как и все передовые офицеры русской армии, был глубоко возмущен палаческим поведением Шварца и во вступительном очерке к «Материалам для современной военной истории», говоря о старых заслуженных солдатах — «обломках века побед и славы»,— сделал такое примечание: «Кому не известны Мусинов, Дмитриев и пр.? Мусинов, до которого сам Шварц, по чувству невольного уважения, не смел коснуться нечестивою рукою своею» (с рукописи; в печатном тексте это примечание было опущено).

...заговора...— то есть заговора декабристов.

Стр. 490. *...отправил все к государю...*— Донос М. К. Грибовского (члена Союза Благоденствия и с 1820 г. тайного агента политической полиции) был подан царю через А. Х. Бенкендорфа не в 1822, а в 1821 году.

Стр. 495. *Tugendbund* («Союз доблести») — полутайное общество, существовавшее в Германии в 1808—1809 гг.; вело пропаганду патрио-

тических и освободительных идей. У Давыдова — тайная организация декабристов.

Стр. 497—499. *Грибоедов ∽ на чердаке.*— Резкий и далеко не во всем справедливый отзыв Давыдова об А. С. Грибоедове был продиктован чувством негодования по поводу «измены» Грибоедова А. П. Ермолову. Грибоедов, сблизившийся с Давыдовым через ближайшего своего приятеля С. Н. Бегичева (брат которого, Д. Н. Бегичев, был женат на сестре Давыдова), относился к нему с большой любовью и уважением. «Дениса Васильевича обнимай и души от моего имени,— писал он С. Н. Бегичеву из Петербурга в 1825 г.— Нет, здесь нет эдакой буйной и умной головы, я это всем твержу; все они, сонливые меланхолики, не стоят выкурки из его трубки». Давыдов, в свою очередь, писал о Грибоедове А. П. Ермолову: «Мало людей мне более по сердцу, как этот урод ума, чувства, познаний и дарования!.. Истинно могу сказать, что еще не довольно насладился его беседою!» («Щукинский сборник», вып. 9, М. 1910, стр. 325). В 1827 году Грибоедов, многим обязанный А. П. Ермолову и тесно с ним связанный, неожиданно для всех людей ермоловского окружения принял сторону И. Ф. Паскевича, с которым его, помимо прочего, связывали отдаленные родственные отношения. Значительная часть входящего в состав «Анекдотов» отзыва о Грибоедове вошла, с некоторыми вариантами и дополнениями, в незаконченный очерк Давыдова «Воспоминания о 1826 годе» (Сочинения, т. 2, 1893, стр. 184—199). Здесь он писал, между прочим: «Находясь с <Грибоедовым> долго в весьма близких отношениях, я более чем кто-нибудь был глубоко огорчен его действиями в течение 1826 и 1827 годов. Грибоедов, терзаемый под конец своей жизни бесом честолюбия, заглушил в сердце своем чувство признательности к лицам, не могшим быть ему более полезными; но зато он не пренебрег никакими средствами для приобретения полного благоволения особ, кои получили возможность доставить ему средства к удовлетворению его честолюбия; это не мешало ему, посещая наш круг, строго судить о своих новых благодетелях. Тяжело разочароваться насчет кого бы то ни было, но еще более — относительно личностей, столь щедро одаренных природой! Видя поведение Грибоедова, которого я так любил, я душевно скорбел». Обстоятельства ареста Грибоедова (22 января 1826 г.) по делу декабристов изложены Давыдовым верно. О ходатайстве Ермолова за Грибоедова перед военным министром Татищевым дополнительных сведений не имеется. Освобождением из-под ареста с «очистительным аттестатом» (2 июня 1826 г.) Грибоедов был обязан отсутствию прямых улик и, дополнительно, заступничеству Паскевича (о чем пишет и Давыдов). Последнее обстоятельство, очевидно, и может служить объяснением, почему Грибоедов стал иначе относиться к Паскевичу по возвращении своем в Закавказье. О «дружбе» Грибоедова с И. О. Карга-

новым (Кургановым), адъютантом Паскевича, подтверждающих данных нет; напротив, Грибоедов назвал его в письме к Паскевичу «подлецом» («Дела и дни», кн. 2, П. 1921, стр. 63). Назначение Грибоедова посланником в Персию (после того как в марте 1828 г. он привез в Петербург текст Туркманчайского мирного договора с Персией, в заключении которого принимал ближайшее участие) произошло помимо и даже вопреки его желанию. Обстоятельства гибели Грибоедова изложены Давыдовым довольно точно, но трактовка этого события нуждается в поправках и уточнениях (см. новейшую работу: С. Шостакович, Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова, М. 1960).

Стр. 501. *...имя его производило... обаятельное действие.*— Типичное проявление столь характерной для Давыдова тенденции всячески идеализировать А. П. Ермолова. На деле «имя» Ермолова внушало ужас туземному населению Кавказа, поскольку он последовательно и не стесняясь в средствах осуществлял колониальную политику русского царизма. Поэт-декабрист Федор Глинка был гораздо ближе к истине, когда писал про Ермолова:

И именем его младенцев
Пугали жены диких гор.

Стр. 505. *...государь... твердо положил... заменить... Ермолова...*— В июле 1826 г. персидские войска, нарушив русскую границу, открыли военные действия. Ермолов, располагавший весьма незначительными силами, разработал план затяжной войны, рассчитывая на то, что тем временем подойдут подкрепления из России. Недостаточная активность Ермолова вызвала сильное раздражение Николая I. Уже 10 августа царь, выразив в письме к Ермолову резкое недовольство его «оплошностью» и «медлительностью», послал на Кавказ своего любимца И. Ф. Паскевича — официально в качестве «сотрудника» Ермолова (в должности командующего войсками, под общим руководством Ермолова), а фактически — в качестве его заместителя. Приезд Паскевича, облеченного самыми широкими полномочиями и сносившегося с царем помимо Ермолова, произвел на «проконсула Кавказа» весьма тяжелое впечатление. Между обоими генералами сразу же возникли разногласия. В целях разрешения конфликта Николай I послал на Кавказ (в феврале 1827 г.) начальника Главного штаба И. И. Дибича, уполномочив его в случае нужды сместить Ермолова. Дибич в донесениях царю обрисовал положение в невыгодном для Ермолова свете, и 12 марта царь приказал Дибичу заменить Ермолова Паскевичем. Однако, предугадывая свою судьбу, оскорбленный Ермолов еще 3 марта сам послал царю просьбу об увольнении. 29 марта Дибич известил Ермолова о том, что просьба его уважена, и 3 мая Ермолов выехал из Тифлиса.

В ноябре того же 1827 г. он был вовсе уволен со службы «по домашним обстоятельствам».

Стр. 509. *Во время бунта на Сенной...*— Имеется в виду так называемый «холерный бунт» 21—23 июня 1831 года (в Петербурге). Появление Николая I на Сенной площади было использовано в целях создания монархической легенды о твердом и мужественном царе, одним своим «царским словом» укрощающем бунтующую толпу.

ПРИМЕЧАНИЯ, СОСТАВЛЕННЫЕ ДЕНИСОМ ДАВЫДОВЫМ

Стр. 523.—*...изложены в моих записках.*— В дошедших до нас мемуарных очерках Давыдов нигде не касается этого эпизода.

Стр. 536. *...слогом объявлений Растопчина.*— Московский генерал-губернатор гр. Ф. В. Растопчин в июле — августе 1812 года издавал написанные им самим сусально-патриотические прокламации (так называемые «растопчинские афишки»), обращенные к населению Москвы. Писал он эти «афишки» пошлым, псевдонародным языком — якобы от лица подвыпившего московского мещанина Корнюшки Чихирина. Успеха в народе они не имели.

Стр. 548. *Умирая, Милорадович сказал...*— М. А. Милорадович был смертельно ранен 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади декабристом П. Г. Каховским.

Стр. 550. *...в весьма приятельских отношениях...*— Насколько «приятельскими» были эти отношения, видно из письма А. П. Ермолова к А. А. Закревскому от 13 апреля 1820 г.: «Мне сюда дали, конечно, из умнейших монахов в России, митрополита Феофилакта, но нет сумнения, что я более монах по свойствам, нежели он. Душа его, кажется, прекрасно подобрана по цвету монашеской одежды! Я подобного ябедника и шпиона не видывал... С духовною ябедою, поддержанною князем Голицыным, меня ненавидящим, у нас добра не выйдет, и больно понести неудовольствия за духовную каналью!» («Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», вып. 45, Махачкала, 1926, стр. 12).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

---

* Имена широко известных государственных, военных и культурных деятелей, а также лиц, бегло упомянутых Д. Давыдовым, как правило, оставлены без пояснений.

СЛОВАРЬ

Абшид — свидетельство об увольнении, вообще: отставка.

Аи — марка шампанского.

Арак — крепкий спиртной напиток.

Аренда — форма награждения, применявшаяся в XIX веке (доход с казенного поместья).

Ареопаг — верховный суд в Древних Афинах, вообще: судилище.

Балаган — в военном языке: временный барак, шалаш.

Беглербек — титул областного начальника (губернатора) в Персии.

Брызги — в языке охотников: первая весенняя ростепель.

Глагол — слово, речь; многоглаголание — многоречивость.

Депо — в военном языке: склад боеприпасов, оружия, продовольствия.

Дефиле — в военном языке: узкий проход, теснина.

Дирекция — направление.

Доломан, дуломан — гусарский мундир.

Драбант — солдат из личного конвоя командира.

Ёра — озорной человек, гуляка.

Зефиры — в поэтическом языке: легкие, теплые ветерки.

Кабинет (его величества) — личная канцелярия царя.

Кагал — собрание старшин, управляющее еврейской общиной.

Кагальный — глава общины.

Каданс — ритм в стихе, в танце.

Казимир — сорт полушерстяной ткани.

Кантонир квартиры — временное расположение войск (в отличие от зимних или непременных квартир).

Карбонары (карбонарии) — угольщики (*итал.*); члены тайного политического общества в Италии; в начале XIX века это название распространялось вообще на вольнодумцев, революционеров.

Квартирмейстер — офицер, ведавший в походе установлением маршрута, размещением отряда на стоянке и обеспечением питания.

Кенкеты — старинные лампы.

Клир — духовенство, служащее в одной церкви.

Клоб — клуб (*старинное*).

Контракты — ярмарки, на которых закупались лошади для кавалерии.

Конфирмация (высочайшая) — утверждение царем решений властей.

Крепс — термин карточной игры.

Кресчендо — музыкальный термин, означающий нарастание силы звука.

Куртинец — курд.

Л а з а р о н и — нищий, босяк (*итал.*).
Л я д у н к а — патронташ у кавалеристов.

М а г а з и н — склад боеприпасов.
М а д р и г а л — комплиментарное стихотворение.
М е н т и к — короткая гусарская куртка с меховой опушкой, которую носили внакидку.
М о э т — марка шампанского.
Н е п р е м е н н ы е к в а р т и р ы — см. Кантонир-квартиры.

П а л у б — платформа, на которой устанавливалось артиллерийское орудие.
П е р у н ы — в поэтическом языке: громы и молнии.
П л а т о — поднос с украшениями или цветами, ставившийся на обеденный стол.
П л у т о н г и или п о л у п л у т о н г и — мелкие подразделения войск в строю.
П о з о р и щ е — зрелище.
П о н т и р о в к а — термин карточной игры.
П о р о ш и — в языке охотников: охота по свежевыпавшему, рыхлому снегу.
П р и ч е т (причт) — то же, что и Клир (см.).

Р а з в о д — смена военных караулов; в Петербурге разводы производились в торжественной обстановке, часто в присутствии царя.
Р е г и с т р а т о р (коллежский регистратор) — низший гражданский чин по табели о рангах, введенной Петром I.
Р е л я ц и я — письменное донесение.

Р е т и р а д а — отступление.
С а р б а з ы — солдаты регулярных войск в Персии.
С е и д — в мусульманских странах почетный титул лиц, ведущих свой род от Магомета; в широком значении: верный сторонник, приверженец.
С е л а д о н — ухажер, волокита (по имени героя романа французского писателя XVII века д'Юрфе «Астрея»).
С и г к л и т — неправильно произнесенное слово синклит (сборище).

Т а л и я — термин карточной игры.
Т а л ь в е г — пониженное место рельефа земной поверхности.
Т а ш к а — гусарская сумка, украшенная гербом и вензелем (первая буква имени царя).
Т о р о к и — ремешки, которыми крепится к седлу поклажа.
Т р а н т е л ь-в а — термин карточной игры.
Т у р у х т а н — кулик (отличается драчливостью).

У г а р — в военном жаргоне: сорванец, лихой вояка.
Ф а б р а — косметическая мазь для усов.
Ф а ш и н ы — связки прутьев, применявшиеся при сооружении полевых укреплений.
Ф и а л — чаша.
Ф л а н к е р ы — конные (как правило) застрельщики, высылавшиеся либо перед фронтом, либо на фланги для разведки и завязывания боя с противником.
Ф л а н к и р о в к а — действия кавалерии в рассыпном строю, в целях прикрытия флангов.
Ф л ю г е р а — флажки на пиках, которыми были вооружены уланы.
Ф о р ш т а д т — предместье города.

Ц е в н и ц а — свирель.

Ч е к м е н ь — мужская кавказская одежда.

Ш л о с с — замок, крепость (*нем.*).

Я н ы ч а р ы — отборные войска в Турции.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ВОЕННЫЕ ЗАПИСКИ ПАРТИЗАНА ДЕНИСА ДАВЫДОВА

Материалы для современной военной истории (1806—1807)

1812 год

СТАТЬИ. ВОСПОМИНАНИЯ. АНЕКДОТЫ

ДАВЫДОВ
ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ

СОЧИНЕНИЯ

Редактор Е. Малинина
Художественный редактор И. Жихарев
Технический редактор Г. Каунина
Корректор Е. Патина

Сдано в набор 28/VI 1962 г.
Подписано к печати 11/VIII 1962 г.
Бумага $60\times84^{1}/_{16}$ = 38,25 печ. л.
34,81 усл. печ. л. 31,71 уч.-изд. л. +
32 вклейки = 33,53 л. Тираж 50 000
Заказ № 3116. Цена 1 р. 36 коп.

Гослитиздат
Москва Б-66, Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Московского городского совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

Отпечатано в Московской типографии № 2 Мосгорсовнархоза
Москва, проспект Мира, 105 з. 2116

1р. 36к.